

4
T 383
6 I-II

$\sqrt[4]{383}$

~~$\sqrt[4]{383}$~~

~~дефектная~~

~~нет стр. 165-172. + 1~~

ЭБ

П. Смирновскій.

587

201-88
12542-9

4
383

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ДЕВЯТНАДЦАТАГО ВѢКА.

ВЫПУСКЪ

I-II

Карамзинъ въ до-Александровскую эпоху.

Цѣна 1 р. 25 к.



70
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

30
Складъ изданія въ „Петербургскомъ Учебномъ Магази́нѣ“, Петерб. ст., Большо́й пр., 7.

1899.

74
383

ИСТОРИЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЕВЯТНАДЦАТАГО ВѢКА.

ВЫПУСКЪ I.-2

Карамзинъ въ до-Александровскую эпоху.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Складъ изданія въ „Петербургскомъ Учебномъ Магази́нѣ“, Петербургъ, ст., Большо́й пр., 7.
1899.



2007041274

то вернѣнъ на место
того же мѣста. Изданный
Министерствомъ
просвѣщенія
1881.

Студентъ, курсистка, офицеръ-академикъ, гимназистъ^{ка} старшихъ классовъ и наконецъ всякій, желающій подробнѣе познакомиться съ исторіей нашей литературы XIX вѣка, — вотъ мои предполагаемые читатели. Но въ виду того, что въ трудѣ моемъ не только группировка, описаніе и объясненіе произведеній даннаго писателя, но въ немъ дано мѣсто и тому матеріалу, который почерпывается изъ такъ называемой ученой литературы, и въ которомъ заключены разнаго рода мнѣнія, отзывы и разсужденія о той или другой сторонѣ дѣятельности даннаго писателя, — въ книгу мою, быть можетъ, заглянетъ и преподаватель.

П. Смирновскій.

Второй
надтвержден
слова наука
товерено. 4
купно 210 о 210
издательство
1882

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
Вступленіе	1
Предварительный общій взглядъ на Карамзина и отношеніе къ нему критики	—
Жизнь и литературная дѣятельность Карамзина въ до-Александровскую эпоху.	
I. Годы домашняго воспитанія и образованія.	5
II. Въ пансіонѣ Шадена	12
III. Въ военной службѣ. — Первыя пробы пера. — Жизнь въ Сим- бирскѣ	16
IV. Въ Дружескомъ обществѣ.	
1. Общеніе съ масонами и Новиковымъ	19
2. Вліяніе мистицизма	26
3. Вліяніе оптимизма	—
4. Общеніе съ Петровымъ	32
5. Вліяніе изученія Шекспира.	35
X 6. Вліяніе сентиментализма.	36
X 7. Положительное и отрицательное отношеніе Карамзина къ Руссо	47
8. Характеръ образованія, полученнаго Карамзинымъ въ Дру- жескомъ обществѣ	51
V. Литературная дѣятельность Карамзина въ періодъ его пре- быванія въ Дружескомъ обществѣ	53
VI. Біографическія свѣдѣнія о Карамзинѣ за періодъ времени съ весны 1789 г. по 12 марта 1801 г.	68
VII. Письма русскаго путешественника.	
1. Происхожденіе «Писемъ» и степень ихъ оригинальности. .	77
2. Преобладающее впечатлѣніе отъ «Писемъ русскаго путеше- ственника».	86
3. Патріотизмъ автора «Писемъ».	86
4. Отголоски оптимизма въ «Письмахъ».	86

5. Политическіе и социальныя взгляды автора «Писемъ»	149
6. Сентиментализмъ «Писемъ русск. путешественника»	157
7. «Письма русск. путешественника», какъ литературная новость своего времени	162

VIII. Повѣсти.

Фроль Силинъ	163
× Бѣдная Лиза	165
× Наталья, боярская дочь	171
Островъ Борнгольмъ	176
Юлія	180
Главное значеніе разсмотрѣнныхъ повѣстей Карамзина для современнаго ему общества	187

IX. Произведенія, отразившія двѣ пережитыя Карамзинымъ драмы	187
---	-----

X. Стихотворенія	226
----------------------------	-----

XI. Московскій журналъ и несрочные литературные сборники. Московскій журналъ	238
Несрочные литературные сборники	250

XII. Характеръ и значеніе Карамзина, какъ литературнаго дѣя- теля въ до-Александровскую эпоху	257
--	-----

ВАЖНѢЙШІЯ ОПЕЧАТКИ:

Напечатано:			Ч я т а й:
Стр.	3 строка	13 св. человѣческая	человѣчная
" 19	" 10	св. полученныхъ	полученнымъ
" 31	" 7	св. философскіе	философскіе
" 52	" 14	св. пыталъ	питалъ
" 53	" 5	св. философскій	философскій
" 62	" 10	св. Миленкій	Миленскій
" 64	" 15	св. написалъ	написалъ
" —	" 19	св. самого	самаго
" 114	" 15	св. наука	науки
" 140	" 8	св. сбособомъ	способомъ
" —	" 14	св. роши;	роши,
" 182	" 20	св. Геминей	Гименей
" 184	" 11	св. прочимъ,	прочимъ
" 196	" 27	св. И такъ	Итакъ

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЕВЯТНАДЦАТАГО ВѢКА.

Послѣ сравнительнаго затишья въ нашей литературѣ въ царствованіе императора Павла, дѣятельность ея ознаменовалась появленіемъ „Вѣстника Европы“ Карамзина. Этотъ журналъ поставилъ его издателя во главѣ литературнаго движенія у насъ въ Александровскую эпоху. Но Карамзинъ вошелъ въ XIX вѣкъ уже съ громкимъ литературнымъ именемъ и какъ писатель съ опредѣленными уже характерными чертами своей личности и дѣятельности. Само собой разумѣется, что эти черты, развивавшіяся и жившія въ теченіе многихъ лѣтъ, не могли исчезнуть съ наступленіемъ новой эпохи—и вотъ причина, почему полное пониманіе Карамзина и оцѣнка его, какъ писателя времени императора Александра, возможна лишь при знакомствѣ не только съ его предшествовавшею дѣятельностью, но и съ условіями его воспитанія и образованія. И это обстоятельство заставляетъ насъ начать нашу „Исторію русской литературы XIX вѣка“ очеркомъ жизни и дѣятельности Карамзина въ эпоху еще до-Александровскую, бросивъ однако предварительный общій взглядъ на этого писателя и указавъ отношеніе къ нему критики.

Предварительный общій взглядъ на Карамзина и отношеніе къ нему критики.

Извѣстно, что Петръ Великій, просвѣщая Россію, имѣлъ время позаботиться главнымъ образомъ лишь о практическихъ ея нуждахъ. Императрица Екатерина II, подъ вліяніемъ идей западныхъ писателей, выдвигаетъ уже вопросъ о воспитаніи у насъ „новой породы“ людей путемъ нравственнаго ихъ совершенства.

ванія. Каковъ былъ тотъ идеалъ, къ которому стремилась императрица, это достаточно видно какъ изъ ея знаменитаго „Наказа“ и изъ разныхъ литературныхъ ея произведеній, такъ и изъ многихъ произведеній современныхъ ей нашихъ писателей, и между прочимъ — изъ комедіи Фонвизина: „Недоросль“, въ которой понятіе объ этомъ идеалѣ дается и путемъ изображенія идеальныхъ лицъ — Милона и Софьи, и путемъ выведенія на сцену резонеровъ — Стародума и Правдина.

Что стремленіе императрицы къ образованію „новой породы“ людей имѣло достаточное основаніе, на это указываетъ та же литература ея времени, изображающая тогдашніе нравы. Вспомнимъ сатиру самой императрицы, сатиру тогдашнихъ журналовъ и наконецъ сатиру Фонвизина.

Одной изъ желаемыхъ чертъ идеала „новой породы“ людей было воспитанное сердце. Къ воспитанію его стремилась и императрица и современные ей писатели — Фонвизинъ, Козицкій, Новиковъ, Державинъ и Крыловъ. Но въ рукахъ ихъ не было того средства, которымъ можно вліять на сердце всего сильнѣе. Сердце воспитывается сердцемъ же. Для подобной воспитательной цѣли вообще нужна сердечная мягкость, а для того грубаго времени нуженъ былъ человѣкъ, одаренный особенной чувствительностью. И такимъ человѣкомъ явился Карамзинъ. Между тѣмъ какъ дѣятели литературы Екатерининскаго времени избрали для себя главнымъ орудіемъ воздѣйствія на общество сатиру, Карамзинъ выступилъ съ орудіемъ иного рода — и орудіе это, какъ показываютъ факты, оказалось могущественнымъ: Карамзинымъ стали зачитываться, проливали слезы надъ его „Бѣдной Лизой“, подражали ея автору, имя его превознесли. Орудіемъ этимъ была у Карамзина чувствительность. Впервые онъ выступилъ съ нимъ на сцену въ 1783 году, а именно со своимъ переводомъ идилліи Геснера: „Деревянная нога“, за который онъ взялся, руководясь не только личнымъ вкусомъ, но и мнѣніемъ своего воспитателя — Шадена, утверждавшаго, что русскимъ людямъ, какъ грубымъ жителямъ сѣвера, полезно читать чувствительныя произведенія. Выступивъ въ указанномъ году въ качествѣ чувствительнаго писателя, Карамзинъ оставался таковымъ до самаго конца дней своихъ.

Другимъ стремленіемъ императрицы было воспитать хорошихъ гражданъ. Но быть хорошимъ гражда. нъ нельзя безъ чувства національнаго самоуваженія. Между тѣмъ мы знаемъ, что чувство это въ тогдашнемъ русскомъ обществѣ было въ значительной мѣрѣ парализовано галломаніей, а иногда оно и со-

всѣмъ убивалось. Появившееся еще во времена императрицы Елизаветы французское вліяніе вскорѣ усилилось до того, что многіе русскіе стали не только благоговѣть передъ всѣмъ французскимъ, но и презирать все русское. Карамзинъ въ свою очередь старался парализовать вліяніе галломаніи, поднять въ современномъ ему обществѣ чувство національнаго самоуваженія и вообще обратить вниманіе русскихъ на Россію, хотя, правда дѣятельность его въ этомъ направленіи относится главнѣйшимъ образомъ къ Александровской эпохѣ, во время которой онъ явился публицистомъ, политикомъ и историкомъ.

Вотъ безспорно положительныя заслуги Карамзина передъ русскимъ обществомъ. Коротко формулируя ихъ, можно выразиться такъ: Карамзинъ въ первый періодъ своей литературной дѣятельности былъ воспитателемъ русскаго человѣка, какъ „человѣка“; во второмъ—онъ воспитывалъ въ немъ русскаго „гражданина“.

Указанныя заслуги Карамзина признаются всѣми серьезными его критиками. Тѣмъ не менѣе во многихъ критическихъ статьяхъ о Карамзинѣ читатель найдетъ и такія строки, въ которыхъ выражается несочувствіе этому писателю и осужденіе его. Причина такого отрицательнаго отношенія къ Карамзину лежитъ въ томъ же, въ чемъ лежитъ и причина увлеченія имъ: въ его чувствительности. Это двойственное отношеніе къ Карамзину сжато, но опредѣленно выражено въ одной изъ статей А. Н. Пыпина ¹⁾ „Чувствительность, которая и въ самой европейской литературѣ являлась желаннымъ противовѣсомъ сухой разсудочности и смятчала самыя формы псевдо-классицизма“, — говоритъ этотъ критикъ,—„у насъ тѣмъ болѣе могла имѣть благотворное значеніе, какъ болѣе человѣческая струя, введенная въ обычные грубые нравы: она учила, что есть внутренняя жизнь сердца, что есть обязанность и радость въ сочувствіи чужой человѣческой жизни, что можетъ быть наслажденіе въ чувствѣ природы... Но если въ тогдашнемъ состояніи общества этотъ приливъ сентиментальности могъ имѣть упомянутое полезное вліяніе, то съ другой стороны ея искусственность могла быть неумѣстна и прямо вредна, когда распространялась на теоретическіе вопросы, на дѣла общественныя и на исторію. Карамзинъ самъ замѣчалъ это, когда въ статьѣ: «Нѣчто о наукѣ» говоритъ о Руссо; но подобное произошло и съ нимъ, когда внушенія чувствительности онъ хотѣлъ дѣлать аргументомъ или украшеніемъ исторіи, или рѣшать ею общественный вопросъ. Сентиментальность не давала какого-либо

устойчиваго міровоззрѣнія: прежній поклонникъ Франклина и Вильгельма Телля потомъ забылъ объ нихъ, и прежній панегиристъ Петра Великаго впоследствии жеманно осуждаетъ реформу въ «Запискѣ о древней и новой Россіи».

Многое, что здѣсь сказано объ отрицательной сторонѣ дѣятельности Карамзина, раздѣляется и другими его критиками, но зато многое и разсматривается ими подъ инымъ угломъ зрѣнія и находитъ себѣ защиту. Словомъ сказать, въ то время, какъ указанныя нами положительныя заслуги Карамзина не возбуждаютъ ни у кого сомнѣнія,—относительно нѣкоторой части того, что въ статьѣ Пыпина отнесено къ категоріи явленій отрицательныхъ, существуетъ различное мнѣніе: одни Карамзина осуждаютъ, другіе находятъ ему оправданіе.

Разрѣшеніе вопроса о томъ, на чьей сторонѣ болѣе правды, въ нѣкоторыхъ случаяхъ не представляетъ затрудненія. Но тамъ, гдѣ затрогиваются вопросы крайне сложные, какъ напр. вопросъ объ отношеніи Карамзина къ реформамъ Сперанскаго,—то вполне убѣжденно стать на ту или другую сторону можно только послѣ серьезнаго, глубокаго и всесторонняго изученія вопроса, ибо въ противномъ случаѣ основаніемъ для поступленія въ лагерь защитниковъ или обвинителей Карамзина остается также главнымъ образомъ лишь субъективное чувство.

Впрочемъ каковы бы ни были разсужденія Карамзина объ общественныхъ и политическихъ вопросахъ, интересъ его для исторіи литературы все-таки остается неизмѣннымъ. Она занимаетъ въ немъ не только оцѣнкой значенія писателя, но, имѣя дѣло съ идеями, интересуется каждымъ болѣе или менѣе крупнымъ литературнымъ дѣятелемъ и помимо вопроса о пользѣ или вредѣ его дѣятельности, ибо выражаемыя имъ мысли суть результатъ различныхъ вліяній, подъ которыми онъ воспитывался и развивался, и слѣдовательно литературная его дѣятельность отражаетъ въ себѣ извѣстную долю того сложнаго цѣлаго, которое называютъ жизнью общества. Съ этой точки зрѣнія и Карамзинъ, если дѣятельность его разсматривать въ связи съ тѣмъ, изъ чего она развилась, во всякомъ случаѣ представляетъ глубокій интересъ. Къ такому разсматриванію дѣятельности этого писателя мы теперь и перейдемъ.

жизнь и литературная дѣятельность Карамзина въ до-Александровскую эпоху.

I. Годы домашняго воспитанія и образованія.

Предки Карамзина вели свой родъ отъ татарскаго князька ара-мурзы, изъ имени котораго и образовалась ихъ фамилія. Они были нижегородскими помѣщиками, но дѣдъ Карамзина уже владелъ помѣстьями въ нынѣшней Симбирской губерніи, одно изъ которыхъ—село Михайловка—досталось отцу Карамзина, Михайлу горючичу, отставному капитану, служившему при Неплюевѣ въ египетскомъ полевомъ батальонѣ. Въ этомъ-то селѣ и родился Николай Михайловичъ Карамзинъ 1-го декабря 1766 года ²⁾.

Не смотря на скудость свѣдѣній о годахъ дѣтства Карамзина, мы все же можемъ имѣть о нихъ довольно опредѣленное представленіе, почерпая его главнымъ образомъ изъ недоконченной повѣсти самого же Карамзина: „Рыцарь нашего времени“, а которую надо смотрѣть, какъ на поэтическую автобіографію первыхъ лѣтъ его жизни, и въ которой, въ лицѣ главнаго ея героя—Леона, онъ изобразилъ самого себя, хотя и съ нѣкоторыми отступленіями отъ дѣйствительности. Изъ этой повѣсти мы узнаемъ слѣдующее.

„Отецъ Леоновъ былъ русскій коренной дворянинъ, ни богатый ни убогій, человекъ добрый и на русскую статью“. Мать Леона имѣла удивительную склонность къ меланхоліи, такъ что цѣлые дни могла просиживать въ глубокой задумчивости; когда же говорила, то говорила умно, складно и даже съ разительнымъ краснорѣчіемъ; а когда взглядывала на человека, то всякому хотѣлось остановиться на себѣ глаза ея: такъ они были привѣтливы и ясны!... Отъ колыбели до маленькой кровати, отъ жестяной греюшки до маленькаго раскрашеннаго конька, отъ первыхъ неройныхъ звуковъ голоса до внятнаго произношенія словъ—Леонъ зналъ неволи, принужденія, горя и сердца. Любовь питала, грѣвала, тѣшила, веселила его, была первымъ впечатлѣніемъ о души... Вотъ основаніе характера его!.. Душа Леонова обрабатывалась любовью и для любви“...

Но „дунулъ сѣверный вѣтеръ на нѣжную грудь нѣжной родины, и геній жизни ея погасилъ свой факелъ“.

По словамъ автора повѣсти, Леонъ лишился матери, будущи лѣтъ; Дмитріевъ же рассказываетъ, что на широкую, во время торжества свадьбы отца Карамзина, онъ встрѣтилъ будущаго исторіо-

графа лишь пятилѣтнимъ мальчикомъ ³⁾. Но какъ бы то ни было, сиротство Карамзина во всякомъ случаѣ было очень раннимъ. Тѣмъ не менѣе память о матери сохранилась въ его душѣ, и это имѣло для него великое нравственное значеніе въ годы юности, о чемъ онъ самъ свидѣтельствуетъ въ своемъ „Посланиіи къ женщинамъ“ (1795), гдѣ, обращаясь къ умершей, говоритъ:

...образъ твой священный, милый
Въ груди моей запечатлѣнъ,
И съ чувствомъ въ ней соединенъ!
Твой тихій нравъ остался мнѣ въ наслѣдство;
Твой духъ всегда со мной.
Невидимой рукою
Хранила ты мое безопытное дѣтство;
Ты въ лѣтахъ юности меня къ добру влекла,
И совѣстью моею въ часъ слабостей была.
Я часто тѣнь твою съ любовью обнимаю,
И въ вѣчности тебя узнаю!

Описавъ скорбь Леона и его отца, авторъ повѣсти переходитъ къ изображенію жизни осиротѣвшаго ребенка, и прежде всего говоритъ о его ученн. „Сельскій дьячокъ былъ первымъ учителемъ Леона, и не могъ нахвалиться его понятіемъ... Первая свѣтская книга, которую маленькій герой нашъ, читая и читая, наизусть затвердилъ, были Эзоповы басни... Скоро отдали Леону ключъ отъ желтаго шкапа, въ которомъ хранилась библіотека покойной его матери, и гдѣ на двухъ полкахъ стояли романы, а на третьей нѣсколько духовныхъ книгъ... Даира — восточная повѣсть, Селимъ и Дамасина, Мирамондъ, Історія лорда Н. — все было прочитано въ одно лѣто... Леону открылся новый свѣтъ въ романахъ: онъ увидѣлъ, какъ въ магическомъ фонарѣ, множество разнообразныхъ людей на сценѣ, множество чудныхъ дѣйствій, приключеній — игру судьбы, дотолѣ ему совѣмъ неизвѣстную... Передъ глазами его безпрестанно поднимался новый занавѣсъ: ландшафтъ за ландшафтомъ, группа за группою являлись взору... Сіе чтеніе не только не повредило его юной душѣ, но было еще весьма полезно для образованія въ немъ *нравственнаго чувства*. Въ Даирѣ, Мирамондѣ, въ Селимѣ и Дамасинѣ — однимъ словомъ, во всѣхъ романахъ желтаго шкапа герои и героини, не смотря на многочисленныя искушенія рока, остаются добродѣтельными; всѣ злодѣи описываются самыми черными красками; первые наконецъ торжествуютъ, послѣдніе наконецъ, какъ прахъ, исчезаютъ. Въ нѣжной Леоновой душѣ непримѣтнымъ образомъ, но буквами неизгладимыми начерталось слѣдствіе: *итакъ любезность и добро-*

дѣтель одно! итакъ зло безобразно и гнусно! итакъ добродѣтельный всегда побѣждаетъ, а злодѣй гибнетъ!.. торжество порока есть обманъ и призракъ!"

Здѣсь мы на время прервемъ рассказчика, чтобы поближе познакомиться съ нѣкоторыми книгами желтаго шкапа и такимъ образомъ живѣе судить о тѣхъ впечатлѣніяхъ и чувствахъ, которыя испытывалъ ребенокъ при чтеніи ихъ ⁴).

„Селимъ и Дамасина“ — африканская повѣсть, переведенная съ французскаго въ 1761 г. Герой ея, Селимъ, былъ сынъ Карла-де-Бурбона, конетабля Франціи, и донны Белы, дочери итальянца Флорента Метели. Еще въ дѣтствѣ похищенный турецкимъ шпиономъ и доставленный морскому разбойнику Эрадину Барбароссѣ, ставшему, по смерти своего брата Гаруша, алжирскимъ королемъ, Селимъ, не зная истиннаго своего происхожденія, считаетъ себя сыномъ Эрадина и страстно влюбляется въ Дамасину, одну изъ красавицъ сераля Барбароссы. Подъ конецъ повѣсти Дамасина оказывается Агнесою, тоже христіанкою, дочерью Элеоноры Эльведо, „знатной гишпанской госпожи“. Она выходитъ замужъ за Селима, и оба, „по претерпѣніи великихъ несчастій, начали наслаждаться общимъ покоемъ“. Вотъ нѣсколько строкъ, характеризующихъ Селима.

„Никогда натура и искусство столь много добрыхъ качествъ въ одномъ человѣкѣ не соединили, сколь оными сей молодой принцъ отъ нихъ одаренъ былъ. Видъ его, поступки и дѣла заключали въ себѣ нѣчто героическое и величественное, возбуждающее къ нему во всѣхъ почтеніе, сопряженное съ любовію. Безстрашенъ среди непріятелей; въ огнѣ и опасностяхъ будучи воспитанъ, презиралъ смерть; сражающіеся съ нимъ сильной и храброй рукѣ его всегда уступать были должны; а наконецъ Селимъ въ такихъ лѣтахъ старымъ и искуснымъ уже воиномъ назваться могъ, въ какихъ иной и ружья носить бываетъ еще не въ состояніи“.

Конечно, такой герой долженъ былъ чрезвычайно увлекать юнаго читателя, вызывать его горячее сочувствіе, воспламенить воображеніе, особенно въ тѣ моменты, когда герой этотъ является избавителемъ несчастной жертвы отъ грозящей ей опасности. Такъ, напримѣръ, сильно должно было дѣйствовать на Карамзина слѣдующее мѣсто:

„Бдучи мимо развалинъ города Карфагены, услышалъ (Селимъ) шпажной стукъ, такъ какъ бы двухъ бьющихся между собою, и притомъ жалостный женскій голосъ, требующій помощи.

Селимъ не зналъ страху, а притомъ, будучи отъ природы великодушенъ и жалостливъ, не могъ удержаться, чтобы не помочь утѣсненному. Съ неустрашимостію подошелъ къ тому мѣсту, откуда крикъ былъ слышенъ, увидѣлъ, что двое въ великомъ жару и другъ противъ друга въ огорченіи дрались на шпагахъ, и казалось, что одинъ другому стоящей вблизи отъ нихъ къ лошади привязанной женщины уступить не хотѣлъ. За тогдашнею темнотою не можно было Селиму узнать, иѣмцы ль они были, или турки. Началъ съ ними говорить по-арабски; но они, услыша его голосъ, тотчасъ между собою драться перестали, какъ будто бы Селимовъ приходъ междоусобную ихъ брань для того разорвалъ, чтобы они оба на него нанали. Хотя партіи были и неравны, и Селимъ былъ одинъ, но, непривычный уступать, не устранился превосходной силы—и, вынувъ свою саблю, перваго, который на него напасть осмѣлился, съ одного маху на мѣстѣ убилъ; другой же, видя то, побѣжалъ отъ Селима, оставя его на мѣстѣ побѣдителемъ. Селимъ думалъ было, отвязывая оставленную ими женщину, спросить, кто она такая,—но въ какое пришелъ удивленіе, когда увидѣлъ, что она была Дамаскина!"

Восточная повѣсть: „Даира“ тоже переведена съ французскаго и тоже имѣетъ своимъ предметомъ различныя приключенія европейца среди мусульманскаго міра—на островѣ Критѣ. Между дѣйствующими въ ней лицами есть также герои добродѣтели. Подобныя повѣсти, уводившія читателя въ разныя страны Стараго и Новаго свѣта, эти своего рода „робинзонады“, были тогда модными произведеніями. Онѣ переводились на русскій языкъ и находили себѣ подражателей. Однимъ изъ такихъ былъ Федоръ Эминъ (ум. 1770), написавшій, между прочимъ, „Похожденія Мирамонда“, повѣсть, наполненную всякими злоключеніями. Въ ней есть и нравственные мѣста въ родѣ слѣдующаго:

„Добродѣтель никогда втуне не остается: для того добродѣтельнымъ людямъ въ утѣсненіяхъ отчаиваться не должно, потому что они, какъ золото въ огнѣ, очищаются, и наконецъ знатнѣйшими, нежели какъ были прежде, становятся. Хотя бы и весь свѣтъ на добродѣтельнаго человѣка возсталъ и лишилъ его всего имѣнія, однако добродѣтель его при немъ останется, которой никакая сила похитить не въ состояніи. Злоба человѣческая не долговременное имѣетъ пребываніе и наконецъ къ своимъ сочинителямъ обращается, а Всевышняя власть добродѣтели не позабываетъ и никогда оную безъ награжденія не оставитъ“.

Такимъ образомъ для тѣхъ нравственныхъ выводовъ, на кото-

рыхъ мы прервали повѣсть Карамзина, чтеніе книгъ желтаго шкапа давало и реальныя примѣры и отвлеченныя разсужденія; вмѣстѣ съ тѣмъ описаніе разнаго рода бѣдствій и страданій дѣйствовало на мягкую душу ребенка и питало его врожденную чувствительность; возбуждалась и дѣятельность фантазіи, о чемъ далѣе говоритъ и самъ Карамзинъ, къ разсказу котораго мы теперь возвратимся.

„Съ какимъ живымъ удовольствіемъ маленькій нашъ герой, въ шесть или семь часовъ лѣтнаго утра, поцѣловавъ руку у своего отца, сѣвши съ книгою на высокій берегъ Волги, въ орѣховыя кусточки, подъ сѣнь древняго дуба!.. Иногда, оставляя книгу, смотрѣлъ онъ на синее пространство Волги, на бѣлыя парусы судовъ и лодокъ, на станицы рыболововъ, которые изъ-подъ облаковъ дерзко опускаются въ пѣну волнъ, и въ то же мгновеніе снова парятъ въ воздухѣ. Сія картина такъ сильно впечатлѣлась въ его юной душѣ, что онъ черезъ двадцать лѣтъ послѣ того, въ кипѣніи страстей и пламенной дѣятельности сердца, не могъ безъ особливаго радостнаго движенія видѣть большой рѣки, плывущихъ судовъ, летающихъ рыболововъ: Волга, родина и безпечная юность тотчасъ представлялись его воображенію, трогали душу, извлекали слезы“...

„Итакъ Леонъ читаетъ книги... Не смотря на маленькую мою слабость къ романамъ, признаюсь, что ихъ можно назвать теплицею для юной души, которая отъ сего чтенія зрѣетъ прежде времени... Леонъ на десятомъ году отъ рожденія могъ уже часа по два играть воображеніемъ и строить замки на воздухѣ. Опасности и героическая дружба были любимою его мечтою. Достоинно примѣчанія то, что онъ въ опасностяхъ всегда воображалъ себя избавителемъ, а не избавленнымъ... Герой нашъ мысленно летѣлъ во мракѣ ночи на крикъ путешественника, умерщвляемаго разбойниками, или бралъ штурмомъ высокую башню, гдѣ страдалъ въ цѣняхъ другъ его... Сверхъ того, онъ любилъ грустить, не зная о чемъ... Глаза Леоновы сіяли сквозь какой-то флеръ, прозрачную завѣсу чувствительности. Печальное сиротство еще усилило это природное расположеніе къ грусти“.

Указаніе, какъ въ Карамзинѣ - ребенокъ работала фантазія, ссть и въ „Письмахъ русскаго путешественника“, а именно въ письмѣ изъ Жсены отъ 2 октября 1789 г. „Обративъ глаза на долину“, — говоритъ Карамзинъ, — „вдругъ увидѣлъ я множество огней, которые въ темнотѣ представляли романическое зрѣлище. Мнѣ казалось, что я вижу тамъ замки благодѣтельныхъ фей,—и

всѣ сказки, которыя воспаляли младенческое мое воображеніе и дѣлали меня въ ребячествѣ маленькимъ Донъ-Кихотомъ, оживились въ моей памяти. Между прочими тогдашними подвигами моими вспомнилъ я одинъ вечеръ, сумрачный и бурный, въ который, ощутивъ вдохновеніе божественныхъ фей, укрылся я отъ своего, впрочемъ весьма бдительнаго дядьки, забрался въ ту горницу, гдѣ хранились разныя оружія, покрытыя почтенною ржавчиною, схватилъ саблю, которая пришлась мнѣ по рукѣ, и, заткнувъ ее за кушакъ тулупа своего, отправился на гумноискать приключеній и противиться силѣ злыхъ волшебниковъ; но, чувствуя въ себѣ на каждомъ шагу умноженіе страха, махнулъ саблею нѣсколько разъ по черному воздуху и благополучно возвратился въ свою комнату, думая, что подвигъ мой былъ довольно важенъ“.

Въ повѣсти: „Рыцарь нашего времени“ есть рассказъ объ одномъ случаѣ, имѣвшемъ вліяніе и на религіозное чувство Карамзина. „Въ одинъ жаркій день“—рассказываетъ автобіографъ— „Леонъ, по своему обыкновенію, читалъ книгу подъ сѣнію древняго дуба; старикъ дядька сидѣлъ на травѣ въ десяти шагахъ отъ него. Вдругъ нашла туча, и солнце закрылось черными парами. Дядька звалъ домой Леона. «Погоди», отвѣчалъ онъ, не спуская глазъ съ книги. Блеснула молнія, загремѣлъ громъ, пошелъ дождикъ. Старикъ непремѣнно хотѣлъ идти домой. Леонъ завернулъ книгу въ платокъ, всталъ и посмотрѣлъ на бурное небо. Гроза усиливалась; онъ любовался блескомъ молніи, и шелъ тихо, безъ всякаго страха. Вдругъ изъ густого лѣса выбѣжалъ медвѣдь—и прямо бросился на Леона. Дядька не могъ даже и закричать отъ ужаса. Двадцать шаговъ отдѣляютъ нашего маленькаго друга отъ неизбежной смерти... Грянулъ страшный громъ, какого Леонъ никогда не слыхивалъ; казалось, что небо надъ нимъ обрушилось, и что молнія обвилась вокругъ головы его. Онъ закрылъ глаза, упалъ на колѣни и только могъ сказать: «Господи!» Черезъ полминуты взглянулъ—и видитъ передъ собою убитаго громомъ медвѣдя. Дядька насилу могъ образумиться и сказать ему, какимъ чудеснымъ образомъ Богъ спасъ его. Леонъ стоялъ все еще на колѣняхъ, дрожалъ отъ страха и дѣйствія электрической силы; наконецъ устремилъ глаза на небо и, не смотря на черныя густыя тучи, онъ видѣлъ, чувствовалъ тамъ присутствіе Бога-спасителя... Леонъ не будетъ уже никогда атеистомъ, если прочитаетъ и Спинозу, и Гоббеса, и Систему природы“... 5)

На Леона-Карамзина имѣла вліяніе и среда тѣхъ симбирскихъ дворянъ, которые въ повѣсти: „Рыцарь нашего времени“ изображены въ лицѣ Громилова, Бурилова и Прямодушина, составлявшихъ вмѣстѣ съ отцомъ Леона тѣсный дружескій кружокъ. Характеръ этихъ лицъ ясно обозначенъ въ приведенномъ въ повѣсти договорѣ, которымъ однажды вздумалось имъ взаимно обязать другъ друга. Вотъ этотъ договоръ.

„Мы, нижеподписавшіеся, клянемся честію благородныхъ людей жить и умереть братьями. стоять другъ за друга горою во всякомъ случаѣ, не жалѣть ни трудовъ ни денегъ для услугъ взаимныхъ, поступать всегда великодушно, наблюдать общую пользу дворянства, вступаться за притѣсненныхъ и помнить русскую пословицу: тотъ дворянинъ, кто за многихъ одинъ; не бояться ни знатныхъ ни сильныхъ, а только Бога и Государя; смѣло говорить правду губернаторамъ и воеводамъ; никогда не быть ихъ прихлебателями и не такать противъ совѣсти. А кто изъ насъ не сдержитъ своей клятвы, тому будетъ стыдно, и того выключить изъ братскаго общества“.—„Слѣдуетъ восемь именъ“.

Имена эти, безъ сомнѣнія, принадлежали людямъ одного изъ самыхъ симпатичныхъ типовъ русскаго дворянства прошлаго времени: вліяніе ихъ честнаго и прямого характера распространялось нерѣдко не только на тѣсный кружокъ близкихъ, но и на всю мѣстность, въ которой они жили. II Карамзинъ имѣлъ основаніе вспоминать объ этихъ людяхъ съ благодарностью. „Добрые люди! миръ вашему праху!“—говоритъ онъ въ цитируемой нами повѣсти.—„Пусть другіе называютъ васъ дикарями: Леонъ въ дѣтствѣ слушалъ съ удовольствіемъ вашу бесѣду словохотную, отъ васъ заимствовалъ русское дружелюбіе, отъ васъ набрался духу русскаго и благородной дворянской гордости.. Добрые старики! миръ вашему праху!“—Эти „добрые старики“, стало быть, не только были нравственными воспитателями Карамзина, но дали ему возможность воспринять на свою душу, вмѣстѣ съ разными впечатлѣніями дѣтства, также и впечатлѣнія того, что онъ называлъ „русскимъ духомъ“ — заслуга, достойная доброй памяти потомства!

Вотъ обстоятельства, подъ вліяніемъ которыхъ началось нравственное и умственное развитіе Карамзина. Тутъ все было важно, все имѣло свое значеніе: и личность отца и матери, и окружающая среда знакомыхъ, и обстановка прекрасной природы Приволжья, и желтый шкафъ съ книгами, и этотъ убитый гро-

момъ медвѣдь, и наконецъ—раннее сиротство. Но ко всему этому надо прибавить еще нѣсколько чертъ.

Романы были не единственнымъ чтеніемъ Карамзина-ребенка: еще лѣтъ 8 или 9 онъ прочелъ римскую исторію. Замѣчательно, что и она возбуждала его фантазію и сильно затрогивала чувство: онъ воображалъ себя тогда маленькимъ Сципіономъ, и высоко поднималъ голову. Это былъ любимый его герой; Ганнибала же въ счастливыя времена его славы—ненавидѣлъ; но въ рѣшительный день, подъ стѣнами Карфагенскими, сердце его желало ему побѣды. „Когда всѣ лавры на головѣ его увяли и засохли; когда онъ, укрываясь отъ злобы мстительныхъ римлянъ, скитался изъ земли въ землю, тогда я“, — говоритъ Карамзинъ, вспоминая объ этомъ чтеніи ⁶⁾, — „былъ нѣжнымъ другомъ хотя несчастнаго, но великаго Ганнибала и врагомъ жестокихъ республиканцевъ“.

Хотя отецъ Карамзина былъ человекъ „на русскую статью“ и вовсе не былъ галломаномъ, тѣмъ не менѣе онъ былъ очень доволенъ, когда одна молодая дама, его сосѣдка, взялась обучать его сына французскому языку. Въ дѣтствѣ же познакомился Карамзинъ и съ нѣмецкимъ языкомъ, уроки котораго давалъ ему нѣмецъ-врачъ, человекъ добрый, кроткій и любившій дѣтей ⁷⁾. Впослѣдствіи Карамзинъ ознакомился и съ англійскимъ языкомъ, но когда началъ учиться ему впервые—въ точности неизвѣстно.

На основаніи всего здѣсь сказаннаго мы представляемъ себѣ маленькаго Карамзина ребенкомъ съ умомъ дѣятельнымъ, съ пробудившимся уже вниманіемъ къ явленіямъ нравственнаго міра и къ явленіямъ природы, съ заложеннымъ въ его душу зерномъ „русскаго духа“, хотя еще и безсознательно въ ней лежащимъ, съ искрой религіознаго чувства, съ сердцемъ добрымъ, нѣжнымъ и уже съ избыткомъ чувствительнымъ, съ воображеніемъ пылкимъ и съ склонностью къ меланхоліи и мечтательности.

II. Въ пансіонѣ Шадена.

Время, проведенное Карамзинымъ въ отцовскомъ домѣ, можно назвать *первымъ* періодомъ его воспитанія и образованія. *Второй* начался уже въ Москвѣ, куда отвезли его на четырнадцатомъ году и помѣстили въ пансіонѣ Шадена, профессора философіи въ Московскомъ университетѣ. Шаденъ имѣлъ огромное вліяніе на умственное и нравственное развитіе своего питомца. Карамзинъ, какъ мы видѣли, уже въ раннемъ дѣтствѣ сталъ останавливать

свое вниманіе на явленіяхъ нравственнаго міра; а Шаденъ былъ изъ числа тѣхъ людей, для которыхъ нравственные вопросы суть вопросы первѣйшей важности. Воспитанникъ Тюбингенскаго университета, гдѣ въ его время высоко чтли философію Лейбница, человѣкъ съ большими педагогическими способностями, набожный, краснорѣчивый и точный въ исполненіи обязанностей, онъ сильно дѣйствовалъ на слушателей своими лекціями нравственной философіи, которую преподавалъ по Геллерту, извѣстному саксонскому поэту и моралисту ⁸⁾).

„Moralische Vorlesungen“ Геллерта появились въ 1771 г. и въ 1775—1777 переведены были на русскій языкъ подъ именемъ: „Нравоученія“. Ихъ основаніе—начала христіанской нравственности. Все ей противное отвергается Геллертомъ, какъ пагубное. Вотъ главнѣйшія положенія Геллертова ученія ⁹⁾).


„Нравоученіе“ направляетъ нашъ разумъ къ мудрости, а сердце къ добродѣтели и такимъ образомъ приводитъ человѣка къ благополучію. Поэтому истинное благополучіе, или высочайшее добро, заключается въ соединеніи *мудрости съ добродѣтелью*. — Главнѣйшія добродѣтели суть: любовь къ Богу, умѣренность, владычество надъ своими желаніями, правосудіе, любовь къ человѣкамъ, нашимъ братьямъ, прилежаніе и трудъ въ своемъ званіи, тишина и терпѣніе въ несчастіи, кротость, упованіе на Божественный промыселъ, врученіе себя Его неисповѣдимымъ судьбамъ.— Приобрѣтеніе добродѣтели есть побѣда ¹⁰⁾; а гдѣ побѣда, тамъ нужны познанія, разумъ. Наша воля не дѣятельна, если разумъ не убѣдитъ ее; и наше убѣжденіе въ обязанностяхъ безсильно, если мы его часто не возобновляемъ. Отсюда вытекаютъ два правила: первое—старайся достигнуть яснаго, основательнаго и совершеннаго познанія своихъ обязанностей; второе — тщательно продолжай стараніе свое познавать обязанность, и снисканное познаніе предохраняй отъ заблужденій.

Эти уроки нравственной философіи легко усвоивались Карамзинѣмъ, такъ какъ они были лишь дальнѣйшимъ развитіемъ началъ, заложенныхъ въ него еще въ періодъ домашняго воспитанія. Впослѣдствіи, будучи за границей и взглянувъ въ Лейпцигъ на памятникъ Геллерту, съ глубокимъ чувствомъ вспомнилъ онъ его „Moralische Vorlesungen“ и включилъ въ свой путевой журналъ слѣдующія строки:

„Смотря на сей памятникъ добродѣтельнаго мужа, дружбою сооруженный, вспомнилъ я то счастливое время... когда профессоръ, преподавая намъ, маленькимъ своимъ ученикамъ, мораль

по Геллертовымъ лекціямъ, съ жаромъ говаривалъ: «Друзья мои, будьте таковы, какими учить васъ быть Геллертъ — и вы будете счастливы!»¹¹⁾.

Шаденъ однако вліялъ на своихъ учениковъ не только чрезъ посредство Геллерта, но и прямо своею личностью. Образъ мыслей его достаточно извѣстенъ изъ рѣчей, произнесенныхъ имъ на университетскихъ актахъ, изъ которыхъ особенно замѣчательны двѣ, касающіяся воспитанія. Одна изъ нихъ разсуждаетъ объ обязанностяхъ родителей относительно воспитанія дѣтей (1773), а другая—„О воспитаніи благороднаго юношества“ (1781)¹²⁾. Исходная мысль первой рѣчи слѣдующая: родители обязаны воспитывать дѣтей своихъ. Отсюда вытекаетъ важное значеніе семьи, какъ среды, воздѣйствующей на ребенка. Чтобы воздѣйствіе это было благодѣтельно, Шаденъ требуетъ отъ родителей извѣстныхъ качествъ: во-первыхъ, они должны быть привержены къ религіи, добродѣтельны и мудры. Во-вторыхъ, они обязаны знать законы своего отечества, особенно относящіеся къ тому званію, въ которомъ они живутъ. Отецъ долженъ понимать характеръ государственнаго устройства: живущій въ монархическомъ правленіи да внушаетъ своему сыну начала монархическія. Въ-третьихъ, отъ родителей требуется строгое почитаніе брачной жизни. Чистота нравовъ, соблюдаемая въ семейной жизни, производитъ и дѣтей чистыхъ, благородныхъ, не зараженныхъ пороками. Но прежде чѣмъ за воспитаніе примется отецъ, оно находится въ рукахъ матери. Хороша только мать-домосѣдка; мать же, не любящая домашней жизни—плохая воспитательница.

Въ рѣчи: „О воспитаніи благороднаго юношества“ Шаденъ высказываетъ такія мысли:¹³⁾ 

„Каждый человѣкъ стремится къ славѣ. Безъ этого стремленія, присущаго его природѣ, человѣчество лишилось бы залога, которымъ обезпечивается его совершенствованіе. Внутреннее самодовольствіе, одобрительный голосъ совѣсти, какъ слѣдствіе жизни, угодной Богу, и похвала ближнихъ имѣють источникомъ душевныя совершенства. Самое высшее изъ нихъ—*нравственное чувство, озаренное свѣтомъ разума, сочетаніе добродѣтели и мудрости*. Почтенны люди, движимые любовью къ ближнимъ, употребляющіе свои силы на ихъ пользу. Какъ весело воздымается наше сердце, поставившее цѣлью своихъ дѣйствій—благосостояніе общественное! Желаетъ ли пріобрѣсти уваженіе себѣ подобныхъ? Исполни свои обязанности, движимый единственно мудростью и добродѣтелью. Слава есть тѣнь, ими отбрасываемая и никогда ихъ не покидающая“.

Отъ славы личной Шаденъ переходитъ къ славѣ народной. Послѣдняя „тѣмъ приличнѣе, чѣмъ сильнѣе въ лицахъ истинное славолубіе. Какъ достоинство гражданина состоитъ въ добродѣтели, въ гармоніи его внутреннихъ силъ: такъ и государство, это единое нравственное тѣло, пріобрѣтаетъ славу въ то время, когда въ немъ все согласно между собою и съ цѣлью достиженія блага, безопасности, спокойствія. Слава государства предполагаетъ твердые, постоянные, строго исполняемые законы. Въ законовъ нѣтъ ни согласія, ни изящества, ни славы“.

„Изъ всѣхъ политическихъ тѣлъ монархія преимущественно способна къ пріобрѣтенію, утвержденію, возвышенію славы: ибо монархическое правленіе наиболѣе походитъ на правленіе божеское. Какъ въ послѣднемъ Богъ есть источникъ всѣхъ благъ, щедро изливаемыхъ на созданія, такъ и въ монархіи государь есть источникъ, изъ котораго, посредствомъ мудрыхъ законовъ, льется на всѣхъ гражданъ благосостояніе“. Прибавимъ еще, что самымъ высшимъ правомъ монарха Шаденъ считалъ распространеніе между подданными наукъ и искусствъ.

„Что монархія между другими государственными устройствами, то дворянство между другими сословіями: оно весьма способно къ пріобрѣтенію, утвержденію и возвышенію славы. Благородный долженъ быть мужемъ добродѣтельнымъ и мудрымъ, жертвовать всѣмъ общей пользѣ, поставлять величайшую награду въ самой добродѣтели... Страсти подчиняетъ онъ нравственному чувству, озаренному свѣтомъ разума. Такихъ людей уважаютъ сограждане, и уваженіе свое переносятъ на ихъ потомковъ. Важное призваніе дворянства требуетъ отъ него и важныхъ заслугъ. Средства совершать ихъ даются воспитаніемъ“.

„Назначеніе благороднаго юношества опредѣляется сущностью наслѣдственнаго дворянства. II благодарность престолу и славные примѣры предковъ побуждаютъ его къ пріобрѣтенію знаній, дающихъ способы къ точному исполненію благодѣтельныхъ законовъ“.

Образъ мыслей Шадена имѣлъ несомнѣнное вліяніе на Карамзина: въ послѣдствіи въ своихъ сочиненіяхъ, въ особенности въ статьяхъ „Вѣстника Европы“, онъ во многихъ случаяхъ высказывалъ воззрѣнія, одинаковыя съ воззрѣніями его воспитателя. Онъ, какъ увидимъ, такъ же смотрѣлъ на монархическій образъ правленія, на порядокъ и законность, на дворянство, на обязанности родителей, на семейную жизнь.

Итакъ вліяніе Шадена выразилось въ томъ, что онъ не

только увеличилъ въ глазахъ Карамзина значеніе нравственной стороны человѣка, но и указалъ ему, что добродѣтель должна быть „озарена свѣтомъ разума“, другими словами — онъ указалъ ему на необходимость просвѣщенія, и такимъ образомъ, двигая впередъ его начавшееся еще дома нравственное развитіе, началъ вмѣстѣ съ тѣмъ развивать въ немъ и преданность просвѣщенію. Рядомъ съ этимъ Шаденъ далъ Карамзину цѣлый рядъ идей, касающихся политической и общественной жизни, — и идеи эти отличаются извѣстной окраской: онѣ являются, такъ сказать, выросшими на почвѣ нравственнаго воззрѣнія. Извѣстно, что Карамзинъ, какъ политикъ, публицистъ и историкъ, тоже любилъ руководиться въ своихъ сужденіяхъ нравственными принципами. Впослѣдствіи впрочемъ, какъ онъ выражался, „политикъ“ въ немъ иногда побѣждалъ „философа“.

Но все это только одна сторона вліянія Шадена. Въ пансіонѣ его были и такіе элементы, которые подготовляли въ Карамзинѣ будущаго литератора. Однимъ изъ важныхъ предметовъ была тамъ риторика, не сама по себѣ, а по той идеѣ, которую вложилъ Шаденъ въ преподаваніе этого предмета: изученіе риторики, по требованію Шадена, состояло не въ сухомъ заучиваніи теорій, а въ чтеніи лучшихъ писателей и въ частыхъ упражненіяхъ въ сочиненіи. Отсюда мы имѣемъ право заключить, что Карамзинъ уже въ пансіонѣ Шадена могъ пріобрѣсти охоту къ литературнымъ занятіямъ и значительную начитанность. Пріобрѣтеніе послѣдней облегчалось еще и тѣмъ, что Шаденъ обращалъ серьезное вниманіе на изученіе учениками новыхъ языковъ.

Наконецъ Шаденъ, съ цѣлью дать своимъ пансіонерамъ возможность больше развиться, позволялъ старшимъ изъ нихъ посѣщать университетскія лекціи. Карамзинъ, въ послѣднее время своего пребыванія въ пансіонѣ, посѣщалъ эти лекціи, въ особенности лекціи классической литературы профессора Маттеи. Но самымъ древнимъ языкамъ Шаденъ не обучалъ Карамзина, а между тѣмъ классическое образованіе, какъ предполагаетъ Гротъ, „можетъ быть, предохранило бы его отъ излишняго перевѣса чувствительности“¹⁴⁾.

III. Въ военной службѣ.—Первыя пробы пера.—Жизнь въ Симбирскѣ.

Окончивъ шестнадцать лѣтъ курсъ у Шадена, Карамзинъ думалъ довершить свое образованіе въ Лейпцигскомъ университетѣ, какъ это видно изъ одного лейпцигскаго письма его, гдѣ

„Здѣсь-то, милые друзья мои, желалъ я провести : сюда стремились мысли мои за нѣсколько лѣтъ педѣсь хотѣлъ я собрать нужное для исканія той истины, о которой съ самыхъ младенческихъ лѣтъ тоскуетъ мое сердце! Но судьба не хотѣла исполнить моего желанія“.—Поѣздка не состоялась — и Карамзинъ (вѣроятно, въ началѣ 1783 г.) поступилъ, по волѣ отца, въ военную службу, въ Преображенскій полкъ. Въ Петербургѣ онъ сблизился съ землякомъ своимъ—Ив. Ив. Дмитріевымъ, съ которымъ въ первый разъ встрѣтился еще ребенкомъ, въ Симбирскѣ, на свадебномъ пиру своего отца, а теперь увидѣлъ его уже взрослымъ и воиномъ.—„Однажды“,— рассказываетъ Дмитріевъ въ своихъ запискахъ ¹⁵⁾, — „я, будучи еще и самъ сержантомъ, возвращаюсь съ прогулки. Вхожу въ горницу—и вижу румянаго, миловиднаго юношу, который съ пріятною улыбкою вручаетъ мнѣ письмо отъ моего родителя. Стоило только услышать имя Карамзина, какъ онъ уже былъ въ моихъ объятіяхъ; стоило намъ сойтись два-три раза, какъ мы уже стали короткими знакомцами. Едва ли не съ годъ мы были неразлучными; склонность наша къ словесности, можетъ быть — что-то сходное и въ нравственныхъ качествахъ укрѣпляли связь нашу день отъ дня болѣе. Мы давали взаимный отчетъ въ нашемъ чтеніи; между тѣмъ я показывалъ ему иногда и мелкіе мои переводы, которые были печатаемы особо и въ тогдашнихъ журналахъ“ Подъ вліяніемъ примѣра Дмитріева, Карамзинъ тоже принялся за литературный трудъ—и перевелъ съ нѣмецкаго: „Разговоръ Маріи-Терезіи съ русскою императрицею Елизаветою въ Елисейскихъ поляхъ“ и идиллію Геснера: „Деревянная нога“. „Разговоръ“ до насъ не сохранился, и мы будемъ говорить только объ идилліи. Содержаніе ея слѣдующее. Молодой пастухъ, пасшій въ долигѣ стадо козъ, встрѣчаетъ сѣдовласаго старика на деревянной ногѣ и, разговорившись съ нимъ, узнаетъ, что старикъ потерялъ ногу въ сраженіи при Нефельсѣ (1733), и могъ бы погибнуть, если бы сражавшійся подлѣ него товарищъ не вынесъ его съ поля битвы. Старикъ заключаетъ свой рассказъ выраженіемъ сожалѣнія, что онъ до сихъ поръ ничего не знаетъ о своемъ спасителѣ, не знаетъ даже, живъ ли онъ еще. Изъ дальнѣйшаго разговора между тѣмъ выясняется, что услугу старику оказать отецъ пастуха, умершій уже года два тому назадъ. Старикъ въ восторгѣ, что можетъ наконецъ отблагодарить за доброе дѣло, приглашаетъ пастуха къ себѣ въ домъ, женить его на своей дочери (которая вовсе не противится желанію отца, ибо „пастухъ

быть прекрасенъ“) и передаетъ молодой четѣ свое имущество. А старикъ „имѣлъ съ излишествомъ земли и стада“.

Любопытно взглянуть на эти первыя пробы Карамзинскаго пера. Вотъ нѣсколько строкъ начала перевода:

„На горѣ, съ коей текущей источникъ своими струями орошалъ близлежащую долину, пасъ молодой пастухъ своихъ козъ. Ехо его свирели распространялось по всей долины, и производило пріятный шумъ. Тутъ увидѣлъ онъ стараго и съдынами украшеннаго человѣка, всходящаго на поверхность горы, которой опираясь на свой посохъ, ибо одна его нога была деревянная тихими шагами къ нему приближался, и свѣтъ возлѣ его на одномъ камнѣ. Молодой пастухъ смотрѣлъ на него съ удивленіемъ и устремилъ взоръ свой на его подбѣланную ногу. Юноша, сказалъ ему съ усмѣшкой старикъ, ты конечно думаешь, что я безразсудно поступаю всходя на сію гору? Сіе путешествіе изъ долины дѣлаю я каждый годъ одинъ разъ. Нога, которую ты у меня видишь, приноситъ мнѣ болѣе чести, нежели иному двѣ цѣлыя; а почему? ты долженъ оное узнать. Пусть оно почтительно, старичокъ, сказалъ пастухъ; но я объ закладъ быюсь, что одно другаго лучше. Но ты, думаю, усталъ. Если хочешь, то я пойду и принесу тебѣ свѣжей воды изъ сей стремнины текущаго ручья“...

Идилліи Саломона Геснера (1730 — 1787) принадлежатъ къ разряду тѣхъ произведеній, сентиментальность которыхъ, по отзыву Геттнера, ¹⁶⁾ въ свое время сильно затрогивала читателей — обстоятельство, объясняющее, почему Карамзинъ и выбралъ одну изъ нихъ для перевода.

Но петербургская жизнь Карамзина продолжалась недолго: въ 1784 г. отецъ его умеръ, и онъ, оставивъ военную службу въ чинѣ поручика, уѣхалъ въ Симбирскъ для устройства своихъ дѣлъ по наслѣдству.

Въ Симбирскѣ Карамзинъ, какъ молодой и образованный человѣкъ, радушно былъ принятъ въ обществѣ — и поневолѣ повелъ свѣтскую жизнь. Будучи еще слишкомъ юнымъ, онъ могъ бы пожалуй и увлечься ею; но пріѣхавшій туда же Ив. Петров. Тургеневъ, одинъ изъ дѣятельныхъ членовъ Новиковскаго кружка и будущій директоръ Московскаго университета (при императорѣ Павлѣ), уговорилъ Карамзина отправиться съ нимъ въ Москву, куда они и прибыли лѣтомъ 1785 г. Здѣсь Тургеневъ познакомилъ даровитаго юношу съ Новиковымъ, основавшимъ „Дружеское общество“ (1782) съ цѣлію распространять полезныя знанія и облагораживать нравы, а также и съ цѣлію заниматься дѣлами

благотворительности. Карамзинъ вступилъ въ это общество, и съ этихъ поръ начался *третій* періодъ его воспитанія и образованія.

IV. Въ Дружескомъ обществѣ.

Годы, проведенные Карамзинымъ въ Дружескомъ обществѣ, были для него самымъ замѣчательнымъ, а для его біографа—самымъ интереснымъ временемъ его воспитанія и образованія. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ Карамзинъ въ эти годы подвергался такого рода вліяніямъ, которыя не находились въ противорѣчіи съ воспитаніемъ, полученныхъ имъ до поступленія въ это общество; но зато Карамзинъ познакомился теперь и кое съ чѣмъ такимъ, что не согласовалось ни съ ученіемъ Шадена ни съ ученіемъ Новиковскаго кружка. Онъ, привыкшій слышать, что счастья надо искать въ просвѣщеніи, вдругъ встрѣчаетъ мнѣніе, что просвѣщеніе-то и есть помѣха счастью, и что золотой свой вѣкъ человѣчество уже прожило во время своего первобытнаго состоянія. Приученный уважать монархію, онъ вдругъ слышитъ горячія рѣчи о заманчивой политической свободѣ. Правда, эти новыя для него ученія не были имъ приняты, но нѣкоторый осадокъ отъ нихъ все-таки образовался—и вызвалъ кое-какія увлеченія, благодаря которымъ и явилась возможность упрекать его въ „неустойчивости міровоззрѣнія“. Неустойчивость должна была образоваться и въ его отношеніи къ народности, такъ какъ съ одной стороны были вліянія, поддерживавшія уваженіе къ ней, а съ другой—были и такія, которыя значеніе ея въ глазахъ Карамзина умаляли. Всѣ эти противоположности должны были нѣкоторое время (однѣ дольше, другія короче) бродить въ Карамзинѣ, пока наконецъ не установилось нѣчто прочное и опредѣленное. Если принять во вниманіе впечатлительность Карамзина и его способность увлекаться, то эта временная неустойчивость не представится удивительной.

Перейдемъ же къ указанію тѣхъ вліяній, которыя дѣйствовали на Карамзина во время его пребыванія въ Дружескомъ обществѣ.

1. Общеніе съ масонами и Новиковымъ.

Во главѣ Дружескаго общества стоялъ Н. И. Новиковъ, а кружокъ его составляли масоны: профессоръ Шварцъ, Лопухинъ, Тургеневъ, Гамалѣя, двое князей Трубецкихъ и др. Ближайшій другъ Новикова—Шварцъ, горячій послѣдователь мистиковъ Бёме и Сенъ-Мартена, хотя и умеръ еще до поступленія Карамзина въ

Дружеское общество (въ 1784 г.), однако имя и ученіе его хранились, какъ святыня, въ кружкѣ масоновъ, равно какъ хранились и записки его лекцій о богопознаніи и высокомъ предназначеніи человѣка.

Въ виду того, что кружокъ Новикова состоялъ изъ масоновъ, мы въ краткихъ и общихъ чертахъ напомнимъ читателю какъ о свѣтлыхъ, такъ и темныхъ сторонахъ масонства.

Масонство признавало сущностью человѣческой природы—нравственность, и въ этомъ смыслѣ оно противопоставляется матеріалистическимъ ученіямъ и можетъ разсматриваться, какъ реакція этимъ послѣднимъ. Масоны стремились къ нравственному самосовершенствованію, добродѣтели, благотворительности, распространяли идею братства и сближали людей различныхъ сословій, состояній, національностей и вѣроисповѣданій. За такія стремленія масонство получило названіе „культурнаго элемента XVIII вѣка“ ¹⁷⁾. Но присоединившаяся къ масонству струя мистицизма внесла въ него много разныхъ странностей, каковы, напр. исканіе во всемъ таинственнаго смысла, желаніе обставить себя таинственными обрядами, увлеченіе средневѣковыми тайными науками—алхиміей, астрологіей, магіей. Кроме того, масоновъ—русскихъ по крайней мѣрѣ—упрекаютъ еще и въ томъ, что они чуждались общественныхъ вопросовъ и витали въ сферѣ слишкомъ отвлеченной. Политикой они не занимались, такъ какъ, по ихъ мнѣнію, нравственно совершенствоваться человѣкъ можетъ при всякомъ политическомъ устройствѣ.

Новиковъ, справедливо называемый ¹⁸⁾ „высокимъ дѣятелемъ просвѣщенія“, примкнулъ къ масонству еще въ 1775 г. Его привлекли къ нему не орденскія тайны, а нравственная сторона масонства и его борьба съ матеріализмомъ. Присоединившись къ масонству, онъ началъ издавать одинъ за другимъ журналы серьезнаго направленія, въ которыхъ толковалось о разныхъ нравственныхъ и религіозно-философскихъ вопросахъ. Таковы журналы: „Утренній свѣтъ“ (1777—1780), „Московское ежемѣсячное изданіе“ (1781) и „Вечерняя заря“ (1782). ¹⁹⁾ Цѣль изданія перваго изъ нихъ указана редакціей въ предувѣдомленіи къ благосклонному читателю.

„Разумныя существа состоятъ изъ тѣла, души и духа. Пусть парикмахеры, портные и изобрѣтатели моды украшаютъ наружность человѣка; пусть медики пользуют ихъ тѣлесныя болѣзни; единственнымъ нашимъ предметомъ будетъ душа и духъ. Всего полезнѣе и пріятнѣе то, что тѣснымъ союзомъ связано съ чело-

вѣкомъ и имѣеть своимъ предметомъ добродѣтель, благоденствіе и счастіе его. Познаніе самого себя — вотъ къ чему должны мы вести публику. Средство для этого — наставленія, руководимыя кротостію“.

Согласно съ духомъ масонства, Новиковъ проводитъ въ своемъ журналѣ мысль о суетности земного величія, богатства, славы, завоевательныхъ стремленій, тщеславія и гордости и, какъ противникъ матеріализма, въ цѣломъ рядѣ статей приводитъ доказательства безсмертія души.

Чтобы читателю не показалось страннымъ, зачѣмъ масонская литература ставила себѣ задачей доказывать безсмертіе души, пусть онъ вспомнитъ о французскихъ матеріалистахъ XVIII-го вѣка—Ламеттри, Гольбахъ, Дидро и др., ученіе которыхъ, развившись изъ сенсуализма Локка, стало не только матеріалистическимъ, но и атеистическимъ. Ламеттри, напримѣръ, признавалъ человѣка не болѣе, какъ машиной, и училъ, что такъ какъ человѣкъ есть только тѣло, то нѣтъ никакого другого наслажденія, кромѣ тѣлеснаго. Гольбахъ еще рѣшительнѣе отрицалъ Бога, безсмертіе и духовную жизнь человѣка.²⁰⁾ Противъ такихъ ученій и возсталъ масонство вообще и Новиковъ въ частности.

„Московское ежемѣсячное изданіе“, тоже имѣвшее въ виду противодѣйствовать ученію матеріалистовъ, проводитъ между прочимъ слѣдующія мысли:

„Причина всѣхъ заблужденій человѣчества есть *невѣжество*, а совершенства—*знаніе*. Если скажутъ, что невѣріе или безбожіе суть плоды учености, то мы скажемъ: сіе не отъ наукъ происходитъ, а отъ невѣжества въ наукахъ“.

„Предметъ наукъ и познаній троякій: мы сами, природа и Творецъ. Если ученый не соединитъ всѣхъ трехъ предметовъ во-едино, и всѣ свои познанія не устремитъ къ совершенному разрѣшенію загадки: на какой конецъ человѣкъ рождается, живетъ и умираетъ, и если онъ при учености своей злое имѣетъ сердце, то онъ со всѣмъ своимъ знаніемъ есть сущій невѣжда, вредный себѣ и обществу. Отъ таковыхъ-то ученыхъ вся мерзость на земномъ шарѣ имѣетъ свое начало. И послѣдній мужикъ, если только чистое имѣетъ сердце, можетъ лучше чувствовать истину, нежели самый звѣздочетъ съ развращеннымъ сердцемъ“.

„Науки есть плоды созрѣвшаго безсмертнаго человѣческаго духа. Если человѣкъ цѣлую жизнь упражняется въ томъ, въ чемъ и животныя,—то наука разума не только ему бесполезна, но и пагубна. Когда же человѣкъ имѣетъ главною своею цѣлью—со-

вершенство духа, состоящее въ познаніи безсмертныхъ истинъ,— то наука разума приносить ему пользу“.

„Многіе нынѣшняго вѣка высокіе и вмѣстѣ низкіе любомудрцы прославляютъ истину, состоящую въ послѣдованіи склонностямъ нашимъ, каковы бы онѣ ни были и куда бы ни стремились, говоря, что природа къ тому насъ побуждаетъ, и что безумно налагать оковы на природу, виновницу толикихъ удовольствій и сладости.— Безумно, конечно, отрещись отъ всѣхъ удовольствій; но надобно разсматривать, какія удовольствія приличны человѣку. Человѣкъ выше животнаго: онъ можетъ возлетать до круговъ вѣчности и восхищаться мудростью Всевышняго. Онъ долженъ изъ чувственнаго круга, общаго съ животными, выходить въ собственный кругъ умозрѣнія. Ему дарованы разумъ и воля къ его совершенному благополучію“.

Въ „Вечерней зарѣ“ помѣщенъ между прочимъ рядъ психологическихъ статей, занимавшихся вопросами о душѣ, разумѣ, волѣ, совѣсти, о познаніи самого себя.

Кромѣ литературной дѣятельности, Новиковъ, а также и друзья его воспитывали на свой счетъ бѣдныхъ молодыхъ людей, учили ихъ въ школахъ и университетахъ и вообще употребляли не малыя суммы на благотвореніе.

По указаннымъ нами фактамъ уже можно судить о томъ, какова была та среда, въ которую судьба привела Карамзина и заставила пробыть въ ней около четырехъ лѣтъ. Въ этой средѣ ярче всего выдѣлялись нравственные интересы; затѣмъ уже можно поставить и струю специально мистико-масонскую. О расположеніи Карамзина къ нравственнымъ интересамъ мы уже знаемъ: въ этомъ отношеніи Дружеское общество могло найти въ немъ самаго воспріимчиваго ученика; струя же мистико-масонская была для него еще новостью. Не останавливаясь пока на этой послѣдней, посмотримъ, какъ отозвалась на Карамзинѣ преданность Новиковскаго кружка нравственнымъ интересамъ.

Дружеское общество, имѣя въ виду распространеніе книгъ, соотвѣтствующихъ его цѣлямъ, привлекало образованныхъ молодыхъ людей и поручало имъ переводъ разныхъ сочиненій и между прочимъ—религіозно-философскихъ. Карамзинъ охотно принялъ участіе въ переводѣ Штурмовыхъ „Бесѣдъ съ Богомъ, или размышленій въ утренніе часы, на каждый день года“. Теперь стоитъ только представить себѣ ту среду, въ которой долженъ былъ вращаться Карамзинъ; ту серьезную атмосферу, которою былъ онъ окруженъ; тѣ рѣчи о необходимости стремленія къ само-

усовершенствованію, которыя вокругъ него постоянно раздавались; стоитъ только представить себѣ личность Новикова, учающаго, что человѣкъ „можетъ возлетать до круговъ вѣчности и восхищаться мудростью Всевышняго“; что „онъ долженъ изъ чувственнаго круга, общаго съ животными, выходить въ собственный человѣческій кругъ умозрѣнія“; наконецъ стоитъ только представить себѣ ту сферу мыслей, въ которой Карамзинъ жилъ, переводя Штурмовы „Бесѣды съ Богомъ“ и знакомясь съ тѣмъ, что говорилъ Шварцъ о высокомъ предназначеніи человѣка²¹⁾,— и мы поймемъ силу дѣйствія Дружескаго общества на впечатлительнаго юношу, притомъ же вполне подготовленнаго къ тому, чтобы какъ нельзя болѣе поддаться вліянію этого дѣйствія. Онъ самъ навсегда поставилъ для себя самыми высшими интересами—интересы нравственные, и Дмитріевъ, имѣвшій случай видѣть образъ жизни Карамзина въ Симбирскѣ послѣ его выхода изъ военной службы, встрѣтясь съ нимъ года черезъ четыре уже какъ съ ученикомъ, закончившимъ курсъ въ школѣ Новикова, не узналъ его: „Это былъ“,—говоритъ онъ въ своихъ запискахъ,—„уже не тотъ юноша, который читалъ все безъ разбора, плѣнялся славою воина, но благочестивый ученикъ мудрости, съ пламеннымъ рвеніемъ къ усовершенію въ себѣ человека... Главная мысль, первая желанія его стремились къ высокой цѣли. Тогда я почувствовалъ передъ нимъ всю мою незначительность и дивился, за что онъ любитъ меня попрежнему!“²²⁾

Рвеніе усовершенствовать въ себѣ человѣка выразилось у Карамзина, во-первыхъ, желаніемъ разрѣшить для себя многіе нравственные вопросы, а во-вторыхъ — внутренней работой надъ самимъ собою. Первое заставило Карамзина углубляться въ вопросы о нравственномъ бытіи человѣка и искать на нихъ отвѣта. Этими же вопросами занимались и мистики и оптимисты. Карамзинъ, какъ теперь извѣстно, познакомился и съ первыми, но, не удовлетворенный ими, остановился на оптимизмѣ. Что же касается до внутренней работы надъ самимъ собою, то она привела Карамзина къ желанію любить человѣчество, къ готовности помочь ближнему, къ необыкновенной мягкости въ сношеніяхъ съ людьми, къ терпимости вообще и къ вѣротерпимости въ частности, къ уваженію человѣческой личности независимо отъ ея общественнаго положенія, къ отвращенію отъ всякаго искательства и корыстолюбія—и вообще къ тѣмъ свѣтлымъ чертамъ, съ которыми мы привыкли связывать представленіе о Карамзинѣ на основаніи фактовъ, приводимыхъ его біографами.

Нечего, конечно, и говорить, что идеаль, къ которому стремился Карамзинъ, былъ въ то же время и идеаломъ Новикова-скаго кружка вообще. Но прежде чѣмъ перейти къ указанію вліянія на Карамзина мистиковъ и оптимизма, скажемъ объ этомъ кружкѣ еще нѣсколько словъ.

Масоны имѣли въ виду нравственное усовершенствованіе человека. Они, по выраженію Порфирьева, ²³⁾ „трудились для созданія духовнаго храма Всевышнему, храма добродѣтели“. Высшая добродѣтель есть любовь къ ближнему безъ различія національности. Работая на такой почвѣ, масоны должны были отличаться космополитической окраской.

Эта струя космополитизма коснулась и Новикова. До знакомства съ масонами онъ держался разумной середины между западничествомъ и народничествомъ: онъ умѣлъ уважать народность—и упрекалъ своихъ современниковъ за слѣпую подражательность французамъ, за ихъ презрительное отношеніе къ національному; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ уважалъ и европейское просвѣщеніе, совѣтовалъ усвоить отъ Европы все лучшее, благоговѣлъ передъ личностью Петра Великаго и поощрялъ путешествія по чужимъ землямъ съ цѣлю знакомства съ лучшими сторонами западной культуры ²⁴⁾. Въ предисловіи къ своей „Древней россійской Вивліюнкѣ“, которая начала выходить съ 1773 г., Новиковъ выразилъ свой умѣренный взглядъ такими словами: „Полезно знать права, обычаи и обряды древнихъ чужеземныхъ народовъ; но гораздо полезнѣе имѣть свѣдѣнія о своихъ прародителяхъ; похвально любить и отдавать справедливость достоинствамъ иностранныхъ; но стыдно презирать своихъ соотечественниковъ, а еще паче и гнушаться оными“. Но подъ вліяніемъ масонства идея общечеловѣчности стала у Новикова брать верхъ надъ идеей народности. Разсуждая въ журналѣ: „Покоящійся трудолюбецъ“ о пользѣ путешествій въ чужіе края, онъ говоритъ: „Надо прежде узнать свое отечество; россіянинъ долженъ выискнуть въ древній вкусъ многихъ старинныхъ кремлевскихъ строеній, прежде нежели разсматривать станеть луврскую колоннаду, или прежде долженъ удивляться монументу великаго не только въ Россіи, но и въ цѣломъ свѣтѣ мужа (т.-е. Петра), нежели будетъ столбенѣть при воззрѣніи на тюильерійскія статуи. Не должно спрашивать у иностранцевъ о ихъ достопамятностяхъ, если не можемъ рассказать имъ о своей землѣ... При отъѣздѣ въ чужія земли въ насъ невольно является безпокойство: на родинѣ я былъ гражданинъ, всякій былъ мнѣ защитникъ и братъ;... здѣсь (на

чужбинѣ) меня отдѣляетъ отъ окружающихъ меня людей различіе въ языкѣ, обычаяхъ, нравахъ, въ самой религіи“. Но далѣе высказываются идеи уже космополитическія: человѣчество называется „священнѣйшимъ братствомъ“; „любезнымъ отечествомъ“ признается „вся вселенная“, а друзьями—„все честные люди“, и говорится, что сколько бы люди ни старались отгораживать себя національностью,—трудъ ихъ напрасенъ. „Смертные! Полагайте предѣлы своимъ владѣніямъ, да раздѣлитъ воздвигнутый камень ваши народы; да перемѣнятъ васъ разные ваши обычаи по внѣшности на сто различныхъ поколѣній; да учинятъ васъ тысячи различныхъ свойствъ языка чужестранцами и непріятелями;... обычаи да перемѣнятъ и обезобразятъ и самую природу... Но напрасно вы будете трудиться: вы всегда останетесь подобны по сущности, всегда будете слабы, боязливы даже и въ варварскомъ состояніи, расположены къ взаимной любви даже и при самыхъ убійствахъ; будете всегда братья, не смотря на различныя свои наименованія“.

Профессоръ Кояловичъ, выписавъ эту цитату въ своемъ сочиненіи: „Исторія русскаго самосознанія“, замѣчаетъ: „Приведенныя слова, надѣюсь, ясно показываютъ, что у Новикова идея общечеловѣчности опредѣленнѣе и тверже, чѣмъ идея національности, и что между ними очевидно противорѣчіе, слишкомъ несостоятельно прикрытое. Массонство въ Новиковѣ было тогда гораздо сильнѣе, чѣмъ его знаніе національных русскихъ задачъ“ ²⁵).

Карамзинъ, какъ человѣкъ тогда еще юный и увлекающійся, конечно, тоже не умѣлъ примирить такія противоположности, какъ космополитизмъ и западничество—съ одной стороны, и народничество—съ другой. Эти противоположности такъ и оставались у него непримиренными довольно долгое время. Правда, воспринятый имъ еще въ дѣтствѣ „русскій духъ“, благодаря вліянію Новикова, отлился въ горячее патріотическое чувство; но въ своихъ сужденіяхъ о Россіи онъ становился то на космополитическую точку зрѣнія, то на національную; то онъ не видѣлъ въ до-Петровской Руси почти ничего хорошаго и противопоставлялъ ей западную культуру, то идеализировалъ древнюю Русь и съ симпатіей говорилъ о ея самобытности. Устойчивость воззрѣнія явилась у него только впоследствии.

2. Вліяніє мистицизма.

Карамзинъ не поступивъ въ самый орденъ, т.-е. не былъ посвященнымъ масономъ и не проявлялъ никакого сочувствія обрядовой сторонѣ масонства; но, отыскивая разрѣшеніе занимавшихъ его нравственныхъ вопросовъ, онъ не могъ не заглядывать въ мистическія книги, какъ объ этомъ можно догадываться по перепискѣ его съ Лафатеромъ. Заинтересовавшись надѣлавшею въ свое время много шуму „Физиономикой“ Лафатера, въ которой толковалось о „симпатіи физиономіи просвѣщенію сердца“, Карамзинъ рѣшается вступить въ переписку съ авторомъ упомянутой книги и предлагаетъ ему такіе вопросы, которые носятъ мистическій характеръ и слѣдовательно свидѣтельствуютъ о нѣкоторой прикосновенности Карамзина къ мистицизму. Такъ напр. онъ спрашиваетъ: „Какимъ образомъ душа наша соединена съ тѣломъ, тогда какъ они совершенно различныхъ стихій? Не служило ли связующимъ между ними звеномъ еще третье отдѣльное вещество, ни душа ни тѣло, а совершенно особенная сущность? Или же душа и тѣло соединяются посредствомъ постепеннаго перехода одного вещества въ другое?“ Лафатеръ, конечно, не удовлетворилъ Карамзина и сказалъ, что на такіе вопросы онъ отвѣчать не въ силахъ.²⁶⁾

Но вообще надо сказать, что сношеніе Карамзина съ мистиками не оставило по себѣ никакихъ замѣтныхъ слѣдовъ въ его литературной дѣятельности: онъ хотя и заинтересовался мистицизмомъ, думая найти въ немъ отвѣты на свои вопросы, но туманность этого ученія, стремившагося открыть истину не при помощи методическаго примѣненія понятій, а путемъ погруженія въ глубину духа, путемъ вдохновенія, озаренія и восторга,—не могла удовлетворить его—и онъ сосредоточился на оптимизмѣ.

3. Вліяніє оптимизма.

Если мистицизмъ не могъ удовлетворить Карамзина, то зато по душѣ пришелся ему оптимизмъ—и онъ сталъ изъ него черпать свое міровоззрѣніе.

Оптимизмъ²⁷⁾ есть одно изъ философскихъ ученій, основная идея котораго: „все въ мірѣ благо, все устроено къ наилучшему концу“. Оптимистическіе взгляды высказывались еще греческими философами, въ особенности Платономъ; въ ближайшее же къ намъ время оптимистическая теорія стала разрабатываться впервые въ

Англии. Мыслителей XVII и XVIII вѣковъ занималъ вопросъ о происхожденіи зла. Въ Англіи въ 1702 г. появилось сочиненіе епископа Кинга: „De origine mali“, а нѣсколько лѣтъ спустя, за этотъ же вопросъ принялся лордъ Шефтсбѣри и изложилъ свои мысли въ двухъ сочиненіяхъ: въ „Разсужденіи о добродѣтели“ и въ рэсодіи: „Моралисты“ (1709). Оба эти сочиненія, изъ которыхъ второе дополняетъ первое, заключаютъ въ себѣ изложеніе оптимистической системы мировоззрѣнія. Годомъ позже появилась Лейбница „Теодицея“, гдѣ авторъ совершенно самобытно высказалъ тѣ же основныя положенія, что и Шефтсбѣри. Оба философа нашли себѣ многихъ послѣдователей, между которыми особенно замѣчательны по полнотѣ изложенія системы—англійскій поэтъ Поупъ, написавшій оптимистическое сочиненіе въ стихахъ: „Опытъ о человѣкѣ“ (1733), и нѣмецкій—Галлеръ, сочинившій поэму: „О происхожденіи зла“ (1734). Если свести мысли Шефтсбѣри, Попа и Галлера, то оптимистическая система представится намъ въ слѣдующемъ видѣ.

Видимый міръ есть изящество и гармонія. Красота міра состоитъ въ соединеніи противоположностей, сливающихся въ одну общую гармонію, какъ это бываетъ, напримѣръ, въ музыкальной симфоніи или въ живописной картинѣ, требующей и свѣта и тѣней. Каждая порода существъ и каждое отдѣльное существо пребываетъ согласно съ великой, стройной міровой системой. Растенія умираютъ, но своею смертію поддерживаютъ животныхъ, а тѣ и другія поддерживаютъ людей; люди же и животныя возвращаютъ тѣло свое землѣ и питаютъ этимъ растительное царство. Воздухъ, насъ окружающій, испаренія, выходящія изъ земли, проносящіяся надъ нашими головами метеоры—все это дѣйствуетъ сообразно своимъ законамъ и служитъ къ поддержкѣ цѣлаго. Поэтому не должно удивляться, если живыя твари терпятъ отъ бурь, землетрясеній, наводненій, небеснаго и земного огня: цѣлое нисколько не страдаетъ отъ частныхъ потерь, ибо гибель одного зарождастъ или восстанавливаетъ другое. Созданія, обреченныя по своей природѣ переменамъ и смерти, платятъ дань инымъ созданіямъ, служатъ ступенями для высшихъ цѣлей. Видимыя бѣдствія ведутъ къ невидимому, но несомнѣнному счастью. Кажущееся зло есть истинное добро въ итогѣ цѣлаго. Такой міровой порядокъ, въ которомъ все уряжено на самоподдержку, и въ которомъ всякая поруха въ частяхъ ведетъ къ безпрерывному восстановленію цѣлаго, къ благу общаго—доказываетъ лучше всего, что міръ есть твореніе Всевышняго и Всемогущаго. Это — мысли Шефт-

сбѣри. Поппъ прибавляетъ еще мысль о томъ, что изъ всѣхъ возможныхъ міровыхъ системъ, которыя могли явиться по волѣ всемогущаго и прѣмудраго Творца, система нашего міра есть совершеннѣйшая.

Итакъ, по воззрѣнію оптимизма, въ мірѣ физическомъ нѣтъ зла: міръ есть красота, и все въ немъ ведетъ къ благу. Отсюда выводъ, что красота и благо, или иначе—прекрасное и благое—одно и то же.

Этотъ прекрасный міръ сотворенъ Богомъ для счастья людей — и природа сдѣлала все, чтобы человѣкъ былъ счастливъ: она дала ему страсти—любовь къ самому себѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ вложила въ него и любовь къ ближнимъ и дала разумъ, при помощи котораго онъ можетъ соглашать и регулировать эти оба вида любви: жить, любя себя, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не нарушая закона доброжелательства. Въ исполненіи этого правила и заключается красота нравственная, или добродѣтель. По толкованію Поппа, истинная любовь къ самому себѣ требуетъ общаго блага и усердно ему споспѣшествуетъ, потому что мы вѣдь члены одного великаго цѣлаго, котораго душа—Богъ, тѣло — природа. — Жить, соглашая любовь къ себѣ съ любовью къ ближнему, значить жить, не уклоняясь отъ путей природы и быть счастливымъ. Поэма Галлера и указываетъ, что люди когда-то такъ и жили и были счастливы; но въ послѣдствіи они уклонились отъ природы: дали развиться въ себѣ неестественнымъ эгоистическимъ страстямъ къ злату, чести и сластолюбію—и погубили свое счастье: въ нравственномъ мірѣ возникло зло.

Но, по ученію Шефтсбѣри, человѣку врождено чувство прекраснаго, а слѣдовательно—и благого. Душа его сама собою различаетъ прекрасное и безобразное, или иначе — благое и злое: первое встрѣчаетъ съ умиленіемъ и восторгомъ, второе—съ презрѣніемъ и отвращеніемъ. При этомъ условіи возможна, такъ сказать, культура этого чувства, воспитаніе его. Такой воспитывающей силой признается лордомъ Шефтсбѣри образованіе, направляющее человѣка къ добродѣтели. Конечная цѣль науки и есть *изящный*, или *благой* человѣкъ. Поппъ тоже признавалъ важное значеніе образованія въ вопросѣ о человѣческомъ счастьи, и самую важную наукою считалъ самопознаніе.

Таково оптимистическое міровоззрѣніе въ общихъ чертахъ. Нѣкоторыя же подробности его можно видѣть изъ поэмы Галлера, содержаніе которой мы и приводимъ, въ особенности въ виду того, что Карамзину она такъ понравилась, что онъ даже перевелъ ее, и очевидно, она имѣла для него большое значеніе.

Поэма Галлера: „О происхожденіи зла“, переведенная Карамзиннымъ въ 1786 г., основана на мысляхъ Шефтсбѣри и согласной съ ними „Теодицея“ Лейбница. Основная мысль высказывается въ поэмѣ слѣдующими словами: „Міръ сотворенъ ко счастію гражданъ своихъ; всеобщее благо одушевляетъ натуру, и все ознаменовано добромъ высочайшимъ“. Поэма состоитъ изъ трехъ частей (пѣсней). Первая начинается описаніемъ красотъ природы; эти красоты признаются „дарами Провидѣнія“; далѣе авторъ указываетъ, что рядомъ съ ними — въ мірѣ нравственномъ существуетъ зло. Вторая часть уводитъ читателя въ первыя времена по сотвореніи міра и имѣетъ цѣлю убѣдить, что тогда еще не было зла. Прежде людей были сотворены ангелы. „Ничего еще не было въ нихъ такого, что бы не ко благу влекло ихъ; не возбуждалось въ нихъ никакое побужденіе, которое бы не соотвѣтствовало высокому ихъ происхожденію“ ²⁸). За созданіемъ ангеловъ слѣдовало созданіе человѣка. Родъ человѣческій есть нѣчто посредствующее между ангелами и скотами“. „Но и мы, ахъ! и мы были добра исполнены. Счастливое юношество міра не зрѣло тогда ничего вокругъ себя, кромѣ блаженства и добродѣтели. И въ насъ впечатлѣлъ Богъ величественный образъ Свой... Ему угодно было вложить во внутренность нашу два различныя побужденія: любовь къ самимъ себѣ и любовь къ ближнему. Одна другой превосходитъ, но первая, будучи невинна, какова тогда еще была она, есть плодоносный источникъ трудовъ и терпѣнія... Она бдитъ надъ благомъ нашимъ, научаетъ насъ пещися о будущемъ, и грядущій недостатокъ награждаетъ прежнимъ изобиліемъ... Она въ мѣстахъ дикихъ ищетъ врачевства отъ глада; отъ плодовъ тучныя паствы одѣваетъ она нагихъ; въ помощь путешествію нашему пролагаетъ путь черезъ море; въ сраженіи желѣза съ камнемъ обрѣла она источникъ огня, ископала покорившую всѣхъ звѣрей руду; изъ травъ вывариваетъ она врачевство для скорбей тѣлесныхъ, проникла въ сокровенныя свойства природы, и вооружаетъ умъ искусствомъ и науками“. Любовь къ ближнему признается однако болѣе благородной. Вотъ въ чемъ она проявляется: „Любовь сія была первою цѣлю человѣковъ. Она творитъ намъ общежитіе пріятнымъ, собираетъ насъ во грады, отверзаетъ сердце наше при возрѣніи на терпящаго; она охотно раздѣляетъ хлѣбъ съ бѣднымъ, и производитъ въ насъ удовольствіе, Титомъ часто желанное, когда подобная намъ тварь отъ руки нашей получаетъ счастье свое. Отъ нея происходитъ дружба, сія сладостная сердцу пища, которую Богъ, среди мно-

жества нуждъ нашихъ, даровалъ намъ въ послѣднее утѣшеніе". Наконецъ на этой же любви къ ближнему покоятся и основы семейной жизни. Въстѣ съ этими двумя побужденіями — любовью къ себѣ и любовью къ ближнему — даны человѣку и воля, свободный выборъ поступковъ, и совѣсть, судящая его поступки. „Въ совѣсти предначертало Небо человѣку естественныя обязанности". Въ третьей части говорится о грѣхопадении. Причина паденія — „злато, честь, сластолюбіе". Имъ нарушено равновѣсіе между любовью человѣка къ себѣ и любовью къ ближнему, т.-е. нарушено то, что оптимисты называли добродѣтелью, — и въ мірѣ нравственномъ явилось зло. Оно, по словамъ поэмы, живетъ теперь не только въ цивилизованныхъ народахъ, но и въ тѣхъ, „которые считаются сохранившими невинность нравовъ своихъ". Такъ живущіе среди ледяныхъ горъ лапландцы, хотя еще и не пали такъ глубоко, какъ образованное общество, но „суть также рабы пороковъ; они подобно намъ, нерадивы, исполнены скотскихъ вождельній, суетны, корыстолюбивы, лѣнны, завистливы и злобны. Не все ли едино, рыбій ли жиръ, или злато смертоносную вражду производитъ?"

Выводъ изъ поэмы ясенъ: человѣчество должно вернуться къ своей первобытной добродѣтели. II Галлеръ надѣется, что Богъ, по благодати своей, можетъ быть, когда-нибудь и дать людямъ возможность „усиленнымъ духомъ" проникнуть въ Его тайны — и „тогда", восклицаетъ Галлеръ, — „Отче нашъ! всѣ въ истинѣ поклонятся Тебѣ и, познавая совѣтъ Твой, поносимый слѣпотствующими, въ правосудіи узрять токмо милость и премудрость безконечную!"

Оптимистическое міровоззрѣніе увлекло многихъ и вызвало идиллическое стремленіе къ природѣ, вызвало голоса противъ испорченности образованнаго общества и горячую защиту добродѣтели, вызвало рѣчи о блаженствѣ тихой семейной жизни на лонѣ природы, этой благой матери человѣчества. Словомъ сказать, оно вызвало то настроеніе, главнымъ выразителемъ котораго явился Ж. Ж. Руссо.

Оптимистической системой міровоззрѣнія увлекся и Карамзинъ. Онъ усвоилъ себѣ эту систему, переводилъ сочиненія оптимистическаго характера и вносилъ мысли и чувства оптимистовъ въ свои собственные произведенія. Правда, у него нѣтъ ни одного сочиненія, гдѣ бы оптимистическая система излагалась во *всей* ея полнотѣ, какъ стройная совокупность понятій, — тѣмъ не менѣе воззрѣнія этой системы часто встрѣчаются у него, разсѣ-

являлись тамъ и здѣсь, и онъ долгое время не разставался съ по-
нравившейся ему гипотезой, и лишь въ 1803 г. въ статьѣ: „О
счастливѣйшемъ времени жизни“ открыто заявилъ о своемъ раз-
рывѣ съ оптимизмомъ.

Чѣмъ же оптимизмъ увлекъ Карамзина?—Онъ увлекъ его,
во-первыхъ, какъ стройная, художественная система, разрѣшав-
шая, какъ ему казалось, тѣ философскіе вопросы, въ которые
онъ началъ такъ рано углубляться; во-вторыхъ, оптимизмъ со-
отвѣтствовалъ мирному характеру Карамзина. Суровость опти-
мизма, объясняющаго бѣдствія, какъ явленіе необходимое для
общаго блага, можетъ быть незамѣченной тѣмъ, кто не испы-
талъ еще крупныхъ потрясеній, и въ глазахъ такого человѣка
оптимизмъ можетъ казаться ученіемъ мирнымъ и успокоительнымъ:
вѣдь „міръ сотворенъ ко счастію гражданъ своихъ; всеобщее
благо одушевляетъ натуру, и все ознаменовано добромъ высо-
чайшимъ“; зло въ нравственномъ мірѣ есть лишь уклоненіе че-
ловѣка отъ путей природы, а потому, чтобы быть счастливымъ,
стоитъ только не удаляться отъ этихъ путей, стоитъ лишь раз-
вить въ себѣ добродѣтель, нравственную красоту. А эта выстав-
ленная оптимизмомъ необходимость стремиться къ нравственной
красотѣ тоже, конечно, должна была привлекать къ нему Карам-
зина: къ такому же стремленію побуждали его и Шаденъ, и Но-
виковъ, и масоны, требовавшіе нравственнаго самоусовершен-
ствованія.

Въ чемъ же собственно выразилось вліяніе оптимизма на
Карамзина?

Въ оптимизмѣ можно различать двѣ стороны: одну — нрав-
ственную, или этическую, а другую вѣрнѣе всего назвать идил-
лической. Воздѣйствіе на Карамзина первой, присоединившись
къ нравственному же воздѣйствію на него Шадена и Новиков-
скаго кружка, образуетъ наконецъ изъ него энтузіаста нравствен-
наго человѣческаго достоинства. Идиллическая же сторона опти-
мизма вліяетъ на Карамзина подобнымъ же образомъ, какъ по-
вліяла она и на Руссо: она тоже развиваетъ въ немъ, такъ ска-
зать, любовный взглядъ на природу, развиваетъ желаніе наслаж-
даться ея дарами и красотами съ внутреннимъ спокойствіемъ ду-
ши, побуждаетъ его говорить о темныхъ сторонахъ великосвѣтскаго
общества и о счастіи тихой семейной жизни на лонѣ природы.
Но въ то время, какъ Руссо направляется отъ оптимизма къ ра-
ботѣ надъ разрушеніемъ стараго и созиданіемъ новаго, — къ ра-
ботѣ, приведшей къ извѣстнымъ „французскимъ событіямъ“. —

Карамзинъ почерпаетъ изъ оптимизма то, что такъ соотвѣствовало его характеру: любовь къ мирному теченію жизни. И эта любовь могла развиваться въ немъ тѣмъ успѣшнѣе, что и въ ученіи Шадена и въ ученіи Новикова было много такого, что тоже направляло человѣка къ тишинѣ и миру: Шаденъ миръ и тишину считалъ условіемъ счастливой жизни какъ семейной, такъ и государственной; Новиковъ говорилъ о суетности земного величія, богатства, славы, завоевательныхъ стремленій, тщеславія и гордости.

Такимъ образомъ въ воспитаніи Карамзина, сдѣлавшемъ его энтузіастомъ этической стороны въ человѣкѣ, были и такіе элементы, которые располагали его къ консерватизму, и увлекаясь, онъ доходилъ иногда до крайности, напримѣръ, когда говорилъ, будто всякая переменѣ въ государствѣ опасна²⁹). Впрочемъ консерватизмъ Карамзина проявлялся только въ нѣкоторыхъ вопросахъ; въ вопросѣ же о просвѣщеніи онъ былъ однимъ изъ передовыхъ людей своего времени.

4. Общеніе съ Петровымъ.

Въ числѣ молодыхъ людей, привлеченныхъ Дружескимъ обществомъ для указанной уже нами цѣли (с. 22), былъ одинъ, съ которымъ Карамзинъ съ разу же сошелся, и который имѣлъ на него большое вліяніе. Молодой человѣкъ этотъ былъ — Петровъ.

Александръ Андреевичъ Петровъ, по отзыву Дмитріева, „знакомъ былъ съ древними и новыми языками; при глубокомъ знаніи отечественнаго слова, одаренъ былъ и глубокимъ умомъ и необыкновенною способностію къ здоровой критикѣ“³⁰). — „Карамзинъ“, — продолжаетъ тотъ же свидѣтель, — „полюбилъ Петрова, хотя они были не во всемъ сходны между собою: одинъ пылокъ, откровененъ, и безъ малѣйшей желчи; другой угрюмъ, молчаливъ, и подчасъ насмѣшливъ. Но оба питали равную страсть къ познаніямъ, имѣли одинаковую доброту въ сердцахъ, и это заставило ихъ прожить долгое время подъ одною кровлею, у Меншиковой башни, въ старинномъ каменномъ домѣ, принадлежащемъ Дружескому обществу“³¹). Съ Петровымъ, отличавшимся страстной любовью къ литературѣ и изящнымъ литературнымъ вкусомъ, Карамзинъ проводилъ вечера, а иногда и ночи за чтеніемъ европейскихъ писателей, велъ съ нимъ дружескія бесѣды, повѣрялъ ему свои мысли и свои первыя стихотворныя упражненія и выслушивалъ его оцѣнку и совѣты. Впрочемъ о характерѣ отно-

шеніи между обоими молодыми людьми лучше всего можно судить по прозаической элегии Карамзина: „Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона“, посвященной памяти рановременно умершаго Петрова (1793) и проникнутой чувствомъ благодарности ея автора и горячей любви его къ своему другу. Вотъ что между прочимъ говоритъ Карамзинъ въ этой элегии:

„Въ самыхъ цвѣтущихъ лѣтахъ жизни нашей мы увидѣли и полюбили другъ друга. Я полюбилъ въ Агатонѣ мудраго юношу, котораго разумъ украшался лучшими знаніями человѣчества, котораго сердце образовано было нѣжною рукою музъ и граціи... Я нашелъ въ немъ то, что съ самаго ребячества было пріятнѣйшею мечтою моего воображенія—человѣка, которому могъ я открывать всѣ милыя свои надежды, всѣ тайныя сомнѣнія; который могъ разсуждать и чувствовать со мною, показывать мнѣ мои заблужденія и научать меня не повелительнымъ голосомъ учителя, но съ любезною кротостію снисходительнаго друга; однимъ словомъ, я нашелъ въ немъ сокровище, особливый даръ Неба, который не всякому смертному въ удѣлъ достается, и время нашего знакомства, нашего дружества будетъ всегда важнѣйшимъ періодомъ жизни моей“.

„Свѣтъ былъ тогда чуждъ и мнѣ и ему: ему еще болѣе, нежели мнѣ; но мы любили книги, и не думали о свѣтѣ; имѣли не много, немногимъ были довольны, и не чувствовали недостатка. Прелести разума, прелести душевныя казались намъ всего любезнѣе: ими плѣнялись мы, ими въ твореніяхъ великихъ умовъ наслаждались, и не рѣдко за Оссіаномъ, Шекспиромъ. Боннетомъ просиживали половину зимнихъ ночей. Часто духъ нашъ на крыльяхъ воображенія облеталъ небесныя пространства, гдѣ Орионъ и Сиріусъ въ златыхъ вѣнцахъ сіяютъ; тамъ искали мы нѣжныхъ друзей своему сердцу,—и часто заря утренняя красила восточное небо, когда я разставался съ Агатонемъ и возвращался домой съ покойною душою, съ новыми знаніями или съ новыми идеями“...

„Въ семъ искреннемъ сообщеніи душъ нашихъ пріобрѣлъ я и нѣкоторое эстетическое чувство, нужное для любителей литературы. Вѣрный вкусъ друга моего, отличавшійся съ великою тонкостію посредственное отъ изящнаго, изящное отъ превосходнаго, выученное отъ природнаго, ложныя дарованія отъ истинныхъ, былъ для меня свѣтильникомъ въ искусствѣ и поэзіи. Восхищенный красотою цвѣтовъ, растущихъ на семъ полѣ, дерзалъ я иногда младенческими руками образовать нѣчто подобное онымъ,

и незрѣлыя свои мысли изливать на бумагу; онъ былъ первымъ моимъ судьей, и хотя замѣчалъ недостатки, однакоже, по снисхожденію и нѣжности своей, ободрялъ меня въ сихъ упражненіяхъ. Ахъ! я жалѣю о томъ человѣкѣ, который занимается литературою и не имѣетъ знающаго друга!“...

„Одинакіе вкусы могутъ быть при различныхъ свойствахъ души: Агатонъ и я любили *одно*, но любили *различнымъ образомъ*. Гдѣ онъ *одобрялъ* съ спокойною улыбкою, тамъ я *восхищался*; огненной пылкости моею противопологалъ онъ холодную свою разсудительность; я былъ мечтатель, онъ—дѣятельный философъ. Часто, въ меланхолическихъ припадкахъ, свѣтъ казался мнѣ унылъ и противенъ, и часто слезы лились изъ глазъ моихъ; но онъ никогда не жаловался, никогда не вздыхалъ и не плакалъ; всегда утѣшалъ меня, но самъ никогда не требовалъ утѣшенія; я былъ чувствителенъ, какъ младенецъ; онъ былъ твердъ, какъ мужъ: но онъ любилъ мое младенчество такъ же, какъ я любилъ его мужество“...

Изъ приведенныхъ словъ Карамзина видно, что общеніе его съ Петровымъ прежде всего дало ему возможность продолжать то литературное образованіе, которое началось еще въ пансіонѣ Шадена. Это образованіе выразилось какъ въ литературной начитанности Карамзина, такъ и въ пріобрѣтеніи имъ изящнаго вкуса. И дѣйствительно, „Письма русскаго путешественника“ показываютъ, что начитанность Карамзина была для того времени необыкновенной. Шекспиръ, Оссіанъ ³²⁾, Аддисонъ, Томсонъ, Юнгъ, Стернъ, Руссо, Вольтеръ, Боннетъ, Лессингъ, Клопштокъ, Гердеръ, Виландъ, Клейстъ, Рамлеръ, Морицъ—все это и многое другое не только было прочитано, но и твердо усвоено. Изящный вкусъ Карамзина вырабатывался частію чтеніемъ, частію критикою Петрова, частію же изученіемъ теоріи аббата Баттѣ, которая очень нравилась Петрову. Сочиненія Баттѣ — „*Traité de beaux-arts*“ и „*Cours de belles-lettres*“, принимавшія основнымъ принципомъ въ искусствѣ подражаніе прекрасному въ природѣ,—считались въ то время въ эстетикѣ авторитетными. Что же касается Петрова, то изъ писемъ его къ Карамзину, которыхъ онъ писалъ въ то время, когда обоимъ друзьямъ приходилось не надолго разставаться, видно, что онъ въ поэтическомъ произведеніи болѣе всего цѣнилъ простоту чувства. „Простота чувствованія—превыше всякаго умничанья“, говоритъ Петровъ въ одномъ изъ писемъ къ своему другу ³³⁾.

Итакъ главное значеніе Петрова для Карамзина состояло въ

томъ, что во время своего общенія съ нимъ нашъ будущій преобразователь въ области литературы проходилъ хорошую литературную школу подъ руководствомъ „знающаго друга“. Но нѣтъ сомнѣнія, что Петровъ раздѣлялъ съ Карамзинымъ и его оптимистическіе восторги. Доказательствомъ этому уже служить то, что онъ просиживалъ съ своимъ другомъ цѣлыя ночи за Боннетомъ и за такими бесѣдами, въ которыхъ молодые люди на крыльяхъ воображенія облетали небесныя пространства, гдѣ Оріонъ и Сиріусъ въ златыхъ вѣнцахъ сіяютъ, и гдѣ они искали нѣжныхъ друзей своему сердцу. Такое направленіе мысли къ „нѣжнымъ друзьямъ сердца“, живущимъ въ небесномъ пространствѣ, вполне понятно, если сопоставить его съ мыслями Боннета и Галлера. Боннетъ въ своемъ оптимистическомъ „Созерцаніи природы“, въ главѣ о „множествѣ міровъ“, высказывалъ предположеніе, что небесныя міры обитаемы, а Галлеръ предполагалъ, что наша планета есть „менѣ изящная точка міра“, и что „звѣзды могутъ быть столицею духовъ просвѣтленныхъ, гдѣ вѣчно царствуетъ добродѣтель“. Понятно, какъ подобныя мысли должны были занимать Карамзина, и какъ онъ долженъ былъ привязываться къ нимъ, видя, что и уважаемый имъ другъ его относится къ нимъ съ глубокимъ интересомъ.

5. Вліяніе изученія Шекспира.

Мы видѣли, что Карамзинъ и Петровъ увлекались между прочимъ Шекспиромъ. Это увлеченіе тоже навѣяно было изъ западной Европы, гдѣ во второй половинѣ XVIII-го вѣка началось изученіе великаго англійскаго драматурга. Первый занялся этимъ Лессингъ, и когда городъ Гамбургъ (1767), послѣ того, какъ комедія Лессинга: „Минна фонъ Баригельмъ“, по требованію публики, была представлена 12 разъ съ ряду, захотѣлъ преобразовать свой театръ, — то для осуществленія этого дѣла былъ приглашенъ Лессингъ, чтобы своими сужденіями о пьесахъ и о представленіи онъ воспиталъ и актеровъ и публику. Изъ статей его по этому предмету образовалось сочиненіе, извѣстное подъ именемъ „Гамбургской драматургіи“. Въ немъ Лессингъ убѣждаетъ, что образцоваго драматическаго искусства надо искать не у Корнеля и Вольтера, а у Шекспира. Къ этому присоединяется мастерское толкованіе „Поэтики“ Аристотеля, съ яснымъ доказательствомъ того, что если понимать ее, какъ слѣдуетъ, то выйдетъ, что Шекспиръ удовлетворяетъ ей гораздо лучше, чѣмъ французы ³⁴⁾. Эстетическая критика Лессинга открыла Европѣ

дотоѣ извѣстнаго почти лишь въ одной Англіи Шекспира и пробудила любовь къ нему и желаніе заняться изученіемъ его. Явились знатоки твореній великаго драматурга, и одинъ изъ нихъ, въ лицѣ нѣмецкаго поэта Ленца, случайно попалъ и къ намъ, въ Москву, и пріютился у Дружескаго общества ³⁵). Петровъ,—который, зная хорошо англійскую и нѣмецкую литературу, первый, по всей вѣроятности, и заинтересовалъ Карамзина Шекспиромъ,—познакомилъ его съ Ленцемъ, они вмѣстѣ посѣщали его, слушали его восторженные рѣчи объ этомъ писателѣ — и дѣло кончилось тѣмъ, что Карамзинъ страстно увлекся Шекспиромъ, изучилъ его, перевелъ одну изъ его трагедій („Юлія Цезаря“) и, на основаніи его твореній, а также и статей Лессинга, выработалъ себѣ взглядъ на драму вообще, высказывалъ его въ своихъ сочиненіяхъ—и даже однажды выступилъ, какъ драматургъ, съ явными слѣдами подражанія Шекспиру ³⁶).

6. Вліаніе сентиментализма.

Сентиментализмъ есть повышенный тонъ чувства, выраженный чувствительнымъ стилемъ (слогомъ). Тѣ произведенія западно-европейской литературы, съ которыми Карамзинъ знакомился во время своего пребыванія въ Дружескомъ обществѣ, а также и раньше, въ большинствѣ случаевъ принадлежали къ разряду сентиментальныхъ. Таковы напр. были произведенія Томсона, Оссіана, Юнга, Стерна, Руссо, Клопштока, Клейста, Геснера и др. Сентиментализмъ въ литературѣ XVIII-го вѣка былъ вызванъ обращеніемъ ея къ такимъ предметамъ, которые всегда въ состояніи дѣйствовать на чувство, а именно — къ природѣ и къ внутренней жизни сердца—не героя, а обыкновеннаго человѣка среди его обыденной, повседневной обстановки и главнымъ образомъ—среди его быта семейнаго. Отнестись къ природѣ съ особенно любовнымъ чувствомъ было вполне естественно послѣ того, какъ оптимизмъ выставилъ природу, какъ гармоническую красоту, какъ благую мать людей. Заинтересоваться внутренней жизнью сердца обыкновеннаго человѣка также было естественно послѣ того, какъ въ Европѣ, въ особенности въ Англіи, стало развиваться значеніе личности. Первымъ поэтомъ въ XVIII-мъ вѣкѣ, который сумѣлъ трогательно выразить и свое любовное чувство къ природѣ и свое состраданіе къ человѣческому горю, хотя и заурядному, но тѣмъ не менѣе тяжелому для того, кому приходится переживать его,—былъ шотландскій поэтъ Томсонъ (ум. 1748), послѣдователь оптимизма, написавшій поэму: „Времена

года". Слѣдую оптимистамъ въ ихъ воззрѣніи на природу вообще, на весь міръ, Томсонъ примѣнилъ это воззрѣніе къ отдѣльнымъ ея явленіямъ и провелъ его въ послѣдовательномъ рядѣ картинъ: его поэма состоитъ изъ описанія весны, лѣта, осени и зимы съ точки зрѣнія оптимистовъ. Геттнеръ называетъ Томсона масте-ромъ въ описательной поэзіи. „Всѣ его картины живы и свѣжи, полны горячаго одушевленія и часто поразительной красоты. Его весна цвѣтетъ и благоухаетъ, какъ лугъ, усыпанный цвѣтами; подъ его солнцемъ стоитъ горячее небо и зеленая пышность прекрасныхъ августовскихъ дней; осеннія поля, деревья, вино-градныя лозы наклоняются къ землѣ съ ношею своихъ плодовъ, и мы слышимъ и чувствуемъ непріятный трескъ и стонъ зимняго льда, какъ будто бы замирающая природа еще разъ собирала всѣ силы, чтобы помолодѣть въ зернахъ и почкахъ новой весны“ ³⁷). Поэмѣ своей Томсонъ придалъ необыкновенный для того вре-мени чувствительный тонъ. Для характеристики ея тона, ея стиля, а равно и для доказательства оптимистическаго характера этой поэмы, приводимъ изъ нея слѣдующія мѣста (изъ описанія зимы, ³⁸) въ переводѣ Карамзина):

„Природа, мудрая мать, управляющая кружащимися време-нами года! какъ величественны дѣла твои! какимъ пріятнымъ ужасомъ наполняютъ они душу, всегда на тебя взирающую!... Сильные вѣтры, нынѣ вѣющіе! повѣдайте мнѣ: гдѣ ваши запас-ныя храмины? скажите: въ какихъ отдаленныхъ странахъ вы тог-да спите, когда бываетъ совершенная тишина, или когда одни зефиры играютъ на поляхъ вашихъ?“

Затѣмъ авторъ начинаетъ изображать то, что въ явленіяхъ зимы можетъ казаться зломъ.

„Страшны зимою дѣйствія бури. Несчастный поселянинъ, идущій по своимъ полямъ, не знаетъ дороги. Новые холмы без-престанно передъ нимъ возвышаются. Не видитъ онъ ни лѣса ни рѣки: ужасное опустошеніе все сокрываетъ. Онъ идетъ отъ холма къ долинѣ, отъ долины къ холму, болѣе и болѣе удаляясь отъ подлинной дороги. Желаніе придти домой напрягаетъ всѣ силы нервъ его; онъ спѣшитъ, безпрестанно засыпаемый снѣгомъ. Какъ страдаетъ душа его, какое мрачное отчаяніе, какой трепетъ объемлетъ сердце его, когда, обманутый зрѣніемъ, вмѣсто деревни приходитъ къ новымъ снѣжнымъ громадамъ! Удаленнаго отъ сча-стливаго жилища человѣческаго, застигаетъ его ночь, и ревъ вѣтра дѣлаетъ пустыню еще пустѣйшею... Уже падаетъ онъ въ снѣжную бездну, воображая всю жестокость смерти своей, то-

меня мучительною мыслию не видать уже никогда жены, дѣтей и друзей своихъ. Напрасно трудолюбивая жена его разводитъ большой огонь и готовить для него теплую одежду. Напрасно выглядываютъ изъ воротъ маленькія дѣти и со слезами невинности зовутъ отца своего. Горе, горе вамъ, бѣдныя! Жена! ты никогда не увидишь мужа твоего! Дѣти! вы никогда не обнимете отца вашего! Друзья! другъ вашъ борется со смертію! Смертный хладъ входитъ въ каждую нерву его, истребляетъ чувствительность и, заморозивъ всѣ лучшіе жизненные духи, повергаетъ его внизъ лицомъ... Сѣверный вѣтеръ надуваетъ на окостенѣлый трупъ синеватую блѣдность“.

Но та же зима, которая производитъ частныя бѣдствія, въ итогѣ цѣлаго является благою.

„Возвратись, муза моя, въ любезныя свои мѣста; ибо зимніе дни, не взирая на великій хладъ, имѣютъ свои пріятности, и по ясной лазури носится эфирная селитра, хотя грубое наше око и не можетъ видѣть ее. Сія тончайшая селитра истребляетъ вредныя пары и снова сообщаетъ жизнь небесному воздуху. Сжимающаяся атмосфера укрѣпляетъ тѣло наше, одушевляетъ и питаетъ кровь, утончаетъ жизненные соки и напрягаетъ нервы, черезъ кои дѣйствуетъ душа, живущая во внутренности мозга. Вся природа чувствуетъ обновляющую силу зимы, и токмо одинъ неразмышляющій думаетъ, что она все разрушаетъ. Мерзлая земля втягиваетъ въ себя растительную душу и собираетъ силы для будущаго года“.

Въ заключительномъ гимнѣ къ своей поэмѣ Томсонъ явленія природы называетъ великими чудесами и говоритъ, что міры держатся Всеобщею Любовью, которая „вѣчно благо выводитъ изъ того, что *кажется намъ зломъ*“. Но мы видѣли, что Томсонъ, не смотря на признаніе явленій природы въ общемъ итогѣ—благими, съ сердечностью относится и къ тѣмъ, кто потерпѣлъ отъ ея разрушительныхъ силъ. Такимъ образомъ Томсонъ вноситъ въ свою поэму сильную ноту чувствительности, которая звучитъ у него какъ тогда, когда онъ говоритъ о величій природы, такъ и тогда, когда онъ говоритъ о человѣческихъ бѣдствіяхъ.

Чувствительный тонъ и стиль Томсона подхватываетъ Ричардсонъ и передаетъ ими свои семейные романы, сюжеты которыхъ ужъ сами по себѣ трогательны. Первый романъ его—„Памела, или награжденная добродѣтель“—появился въ 1740 г. Сюжетъ его взять прямо изъ жизни. У Геттнера есть по этому

поводу слѣдующее объясненіе. Одинъ дворянинъ, съ которымъ Ричардсонъ былъ очень друженъ въ молодости, рассказывалъ ему однажды, какъ въ одномъ изъ своихъ путешествій онъ узналъ двухъ молодыхъ супруговъ, которые своею кротостію и благодѣліями привлекали къ себѣ вниманіе цѣлаго края. Бѣдная молодая дѣвушка, цвѣтушая, пріятная и добродѣтельная, жила служанкой у одной знатной дамы, у которой былъ любезный, но легкомысленный сынъ. По смерти матери онъ пустилъ въ ходъ всѣ средства, чтобы соблазнить дѣвушку. Она прибѣгала къ разнымъ невиннымъ хитростямъ, чтобы избѣжать сътей разставленныхъ ея добродѣтели, но однажды, въ отчаяніи, почти рѣшилась броситься въ воду. Наконецъ ея благородное сопротивление, ея прекрасные поступки и всѣ другія качества обезоружили ея соблазнителя; онъ сдѣлалъ ее своею женой. Она держала себя потомъ съ такою мягкостью и достойною скромностью, что пріобрѣла общую любовь всѣхъ окружающихъ. Ричардсонъ вспомнилъ объ этомъ рассказѣ, когда двое друзей его, Ривингтонъ и Осборнъ, вызывали его написать имъ въ семейныхъ письмахъ небольшую книгу, которая бы заключала полезныя размышленія о предметахъ вседневной жизни,—и сдѣлалъ его темой своего романа, полагая, что онъ затронетъ молодые сердца ³⁹). Расчетъ оправдался. Геттнеръ говоритъ: „Эта книга тотчасъ имѣла самый невѣроятный успѣхъ естественностью рассказа, тонкимъ и убѣдительнымъ изображеніемъ характеровъ и моралью трогательною“.

За „Памелой“ слѣдовалъ другой романъ (въ 1748 г.), которому Ричардсонъ далъ характерное заглавіе: „Кларисса, или исторія молодой дѣвушки, заключающая въ себѣ важнѣйшіе отношенія семейной жизни и въ особенности открывающая несчастія, которыя происходятъ, когда родители и дѣти неосмотрительны въ дѣлахъ брака“. Романъ этотъ—лучшее произведеніе Ричардсона. Сюжетъ его такой: Кларисса, изображенная поэтомъ, какъ высочайшій идеалъ женственности, преслѣдуется суровымъ отцомъ и братомъ, завистливой сестрой, слабой матерью и всѣми членами семейства, принуждающаго ее, изъ-за корыстныхъ цѣлей, выйти замужъ за богатаго, но ненавистнаго ей господина. Послѣ цѣлаго ряда бѣдствій, Кларисса не находитъ иного спасенія, какъ тайно бѣжать изъ отцовскаго дома и отдаться подъ покровительство ея поклонника — Ловеласа, джентельмена тогдашняго высшаго свѣта, ловкаго, обязательнаго, рыцарскаго, но и развратнаго. Въ страхъ своего сердца Кларисса довѣрилась

его клятвамъ въ любви, и должна узнать, что теперь, когда она совершенно во власти Ловеласа, онъ считаетъ ее лишь своею легкой добычей. Его врожденная склонность къ хитрому и насильственному соблазну, усиленная еще жаждой отомстить семейству Клариссы, отъ котораго онъ испыталъ такъ много пренебреженія, наполняетъ его страстнымъ желаніемъ побѣдить добродѣтель дѣвушки. Испытавъ тщету всѣхъ убѣжденій и приманокъ, онъ достигаетъ наконецъ своей цѣли при помощи опіума. Но преступленіе находитъ возмездіе въ самомъ себѣ. Кларисса, великая и благородная и въ своемъ несчастіи, глубоко оскорбленная въ своемъ женскомъ достоинствѣ, изнываетъ отъ горя и гнѣва. Раскаяніе и мученіе совѣсти овладѣваютъ Ловеласомъ—и онъ кончаетъ свою жизнь на поединкѣ отъ шпаги дяди Клариссы, который никогда не раздѣлялъ суровости семейства противъ Клариссы, и потому тѣмъ болѣе былъ способенъ отомстить ея позоръ и несчастіе.

Оцѣнивая этотъ романъ, Геттнеръ говоритъ: „Кларисса поставила Ричардсона на вершину его славы. И эта слава была вполне заслуженная, потому что смѣло можно сказать, что такой потрясающей жизненности и психологической истины характеровъ еще не было со временъ Шекспира“ ⁴⁰).

Третій романъ Ричардсона — „Сэръ Чарльзъ-Грандисонъ“ (1753)—значительно слабѣе первыхъ, такъ какъ герой его—Грандисонъ—слишкомъ придуманно идеаленъ, почему и названъ критиками „безпогрѣшнымъ чудищемъ“ ⁴¹); но и въ этомъ романѣ есть много трогательнаго въ изображеніи итальянки Климентины, которая, любя Грандисона, таитъ свое чувство въ глубинѣ души, и такъ какъ католическая религія перечитъ браку ея съ протестантомъ, она впадаетъ въ меланхолическое помѣшательство.

Наконецъ вслѣдъ за романами Ричардсона въ Англіи же появляется первый образецъ такъ называемыхъ „сентиментальныхъ путешествій“. Это—„Sentimental journey“ Стерна, въ которомъ заключается описаніе путешествія автора по Франціи и Италіи. Стерну же принадлежитъ и изобрѣтеніе самого слова: „sentimental“. Въ этомъ проникнутомъ юморомъ произведеніи, въ которомъ Стернъ не столько занятъ описаніемъ внѣшняго міра, сколько выраженіемъ своихъ чувствъ и ощущеній, дано очень много мѣста и трогательному, какъ напр. въ описаніи того, какъ путешественникъ съ глубокимъ чувствомъ спѣшитъ на помощь къ бѣднякамъ, особенно смирнымъ и застѣчивымъ, или какъ онъ развеселяетъ и утѣшаетъ несчастную дѣвушку, убитую горемъ

вслѣдствіе того, что ея предательски покинулъ любимый ею человекъ; или наконецъ, какъ онъ горячо сочувствуетъ даже скворцу, лишенному свободы и заключенному въ клѣтку. Значеніе своего „Чувствительнаго путешествія“ самъ Стернъ указалъ слѣдующими словами: „Мое путешествіе есть спокойное путешествіе *сердца къ природѣ* и такимъ *ощущеніямъ*, которыя проистекаютъ изъ нея и *побуждаютъ насъ любить другихъ людей и даже цѣлый свѣтъ* больше, чѣмъ мы обыкновенно любимъ“.

Томсонъ, Ричардсонъ и Стернъ положили основаніе сентиментализму въ литературѣ, который во второй половинѣ XVIII-го вѣка сталъ въ ней явленіемъ весьма распространеннымъ. „Времена года“ Томсона тотчасъ же были переведены на всѣ языки и вызвали подражанія. Въ числѣ другихъ имъ подражали нѣмецкіе поэты—Клопштокъ и Клейстъ. Ричардсонъ нашелъ себѣ подражателя главнымъ образомъ въ лицѣ Руссо, написавшаго, въ подражаніе „Клариссѣ“, свою „Новую Элоизу“ (1761), которая, въ свою очередь, тоже имѣла многихъ подражателей. За путешествіемъ Стерна появился цѣлый рядъ сентиментальныхъ произведеній подобнаго рода, каковы напр. „Le voyageur sentimental ou ma promenade à Iverdun“ Верна, „Winterreise“ и „Sommerreise“ Георга Якоби, „Reisen eines Deutschen in England“ Морица, и др. Наконецъ, говоря о сентиментальныхъ произведеніяхъ, нельзя не вспомнить и идиллій Геснера.

Для характеристики сентиментальнаго тона и стиля приведемъ еще одно мѣсто изъ Стернова путешествія, а именно то, гдѣ онъ выражаетъ свое сочувствіе къ страдающей женщинѣ. Онъ восклицаетъ: „Будь ты на моей родинѣ, гдѣ у меня есть домъ, я взялъ бы тебя и пріютилъ въ немъ; ты ѣла бы мой хлѣбъ и пила бы изъ моей чаши... На закатѣ солнца я читалъ бы молитвы, а затѣмъ ты играла бы на свирѣли свою вечернюю пѣсенку,—и ошмѣамъ моей жертвы не былъ бы принятъ хуже отъ того, что восходилъ бы на небо вмѣстѣ съ ошмѣамомъ разбитаго сердца“ ⁴²⁾. — Вспомнимъ и стереотипное въ сентиментальныхъ произведеніяхъ междометіе: *ахъ!* какъ напр. у Галлера: „Но и мы, *ахъ!* и мы были добра исполнены“.

Карамзину, какъ человеку чувствительному, сентиментальныя произведенія очень нравились. Онъ ихъ читалъ, перечитывалъ, переводилъ—и они имѣли большое вліяніе какъ на его душу, такъ и на слогъ его. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отношеніи вліяніе сентиментальныхъ произведеній имѣло и свою выгодную и свою невыгодную сторону. Остановимся сперва на вліяніи указанныхъ произведеній на душу Карамзина.

Сентиментальныя произведенія прежде всего подняли и безъ того уже значительную чувствительность Карамзина. Излишній перевѣсъ ея заставлялъ его увлекаться. Увлеченіе доводило его иногда до крайностей. Такъ, напримѣръ, однажды, какъ уже мы знаемъ, онъ довелъ до крайности свой консерватизмъ, сказавши, будто всякая переменна въ государствѣ опасна. Съ другой стороны—увлеченіе порождало и противорѣчія: оно заставляло его отнестись сочувственно къ тому, къ чему въ другую, спокойную, минуту онъ относился съ критикой; заставляло его называть мрачнымъ то, что въ другое время онъ называлъ свѣтлымъ. Такъ напр. онъ, высоко цѣня просвѣщеніе XVIII-го вѣка, вдругъ начнетъ восторженно говорить о счастливой жизни пастуховъ первобытныхъ временъ, и потомъ самъ же назоветъ свою Аркадію пустой мечтой; находясь подъ обаяніемъ оптимистическихъ представлений, онъ скажетъ, что люди сотворены для счастья, и что боги влили много радостей въ чашу жизни нашей, а въ минуту столкновенія съ непріятной дѣйствительностью назоветъ здѣшній міръ мрачнымъ и скажетъ, что въ немъ „немного благъ, но много бѣдъ“. Само собою разумѣется, что противорѣчія эти относятся главнымъ образомъ къ тѣмъ годамъ, которые, по выраженію самого Карамзина, были годами „кипѣнія страстей и пламенной дѣятельности сердца“ ⁴³). Но тѣмъ не менѣе эта пламенная дѣятельность сердца не давала ему, — по крайней мѣрѣ долгое время,—сдѣлаться мыслителемъ съ устойчивыми во всѣхъ отношеніяхъ воззрѣніями.

И Карамзинъ въ тѣ пылкіе годы и не гнался за сглаживаніемъ противорѣчій: напротивъ, онъ вовсе не относился къ нимъ отрицательно, находилъ ихъ естественными, и для оправданія ихъ написалъ цѣлый трактатъ въ стихахъ, подъ заглавіемъ: „Протей, или несогласія стихотворца“ (1798). Стихотвореніе это отнесено къ поэтамъ вообще, но изъ содержаніе его очевидно, что авторъ, говоря о другихъ, говоритъ главнымъ образомъ о самомъ себѣ. Въ данномъ случаѣ оно и важно для насъ, какъ указаніе самого Карамзина на то, какое значеніе имѣла для него чувствительность.

Стихотвореніе начинается мыслью, что поэтъ (а мы имѣемъ право дополнить: и самъ Карамзинъ), какъ человѣкъ впечатлительный, не можетъ „всегда одно лишь пѣть“:

Чувствительной душѣ не сродно ль измѣняться?
Она мягка, какъ воскъ, какъ зеркало, ясна,
И вся природа въ ней съ отбѣнками видна.

Затѣмъ слѣдуютъ примѣры того, какъ поэтъ можетъ въ

равной мѣрѣ сочувственно относиться къ самымъ противоположнымъ явленіямъ (конечно, въ различные моменты ихъ созерцанія), и наоборотъ—различно отзываться объ одномъ и томъ же предметѣ, смотря по тому, съ какой стороны онъ взглянетъ на него. Такъ, при видѣ деревни, при видѣ „невинности златой, сердечной простоты“, онъ можетъ восхититься сельской жизнью и утверждать, что человѣкъ только и счастливъ среди природы. Но когда глазамъ поэта представится городъ, пѣвецъ села, созерцая плоды цивилизаціи, можетъ придти въ восторгъ отъ городской жизни, забыть свою свирѣль и взять лиру, чтобъ пѣть „успѣхи просвѣщенія“. Тогда онъ можетъ сказать, что не въ деревнѣ, а среди просвѣщеннаго общества счастливъ человѣкъ; что

Не въ полѣ, не въ лѣсахъ святая добродѣтель
Себѣ воздвигла храмъ: Сократъ въ Аѣинахъ жилъ,
И въ Римѣ Нума царь, своихъ страстей владѣтель,
Своихъ законовъ рабъ, безсмертье заслужилъ.

Человѣкъ же, живущій среди природы, безъ просвѣщенія — не болѣе, какъ „ничтожный рабъ ея“.

Другой примѣръ: слава въ извѣстную минуту можетъ показаться поэту высокой наградой за подвигъ; но

часто видя, какъ сердца людей коварны,
Какъ души низкія все любятъ унижать,
Какъ души слабыя въ добрѣ неблагодарны,
Онъ въ горести гласитъ: О слава! ты—мечта!

Авторъ стихотворенія говоритъ, что „противорѣчій сихъ въ порокъ не должно ставить“, ибо они — отраженіе жизни сердца; а сердце „полюбитъ вещь—не влюбитъ черезъ часъ“, такъ какъ

Предметы разныхъ видъ имѣютъ здѣсь для насъ:
Съ которой стороны они явятся взору—
И чувству таковы.

Положимъ, что въ разные моменты различно относиться къ „вещамъ“ вообще свойственно всѣмъ болѣе или менѣе впечатлительнымъ людямъ; но указанная въ разсмотрѣнномъ стихотвореніи степень зависимости отъ впечатлѣній должна быть названа очень высокой.

II Карамзинъ любилъ предаваться чувствительности. Не даромъ заставляетъ онъ изображеннаго имъ въ „Протѣѣ“ поэта сказать:

Чувствительность! люблю я быть рабомъ твоимъ!

Сентиментальныя произведенія должны были усиливать и склонность Карамзина къ мечтательности. И дѣйствительно, мы видимъ, что онъ любилъ, въ особенности въ грустныя минуты, предаваться мечтательности, искать отрады у богини Фантазіи. Конечно, съ лѣтами эта любовь исчезла, или по крайней мѣрѣ значительно умѣрилась; но что она была у него не только въ ранней юности, но и позднѣе, свидѣтельствуется небольшая пьеска его: „Посвященіе куши“ (1791), написанная въ формѣ обращенія къ упомянутой богинѣ, которую онъ тутъ называетъ „усладительницей“ своей жизни. Написана она, разумѣется, въ одну изъ грустныхъ минутъ. Вотъ что читаемъ въ этой пьескѣ:

„Прекрасная, вѣчноюная, многообразная, крылатая богиня, цвѣтушая Фантазія! сію мрачную, уединенную, безмолвную кушу, окропляемую тѣнистымъ ручьемъ, съ гранитнаго утеса ниспадающимъ, посвящаю тебѣ, божественная!“

„Здѣсь, удалясь отъ всего міра, буду я сидѣть въ молчаніи, и съ кроткимъ трепетаніемъ сердца внимать шуму приближающагося твоего полета. Во всякомъ образѣ будешь мнѣ пріятна“...

„Благодѣтельная богиня, утѣшительница человѣковъ! ты снимаешь цѣпи съ невольника, на африканскомъ берегу стенающаго, и на быстрыхъ крыльяхъ своихъ переносишь его въ дражайшее отечество, въ нѣдра милаго семейства; ты прикосновеніемъ розовыхъ перстовъ своихъ превращаешь свинцовое бремя жизни въ легкое, зефиромъ несомое перо, и гиметскимъ медомъ *) услаждаешь горестъ слезъ, проливаемыхъ сиротою; ты единымъ махомъ крыла своего возносишь послѣдняго изъ пастуховъ на тронъ царскій, и предъ повелительнымъ взоромъ его преклоняешь выю цѣлыхъ народовъ“.

„Кто исчислить твои образы? Кто исчислить твои дѣйствія, храмовъ и алтарей достойная?“

„Сія уединенная куша (ибо ты любишь уединеніе) да будетъ храмомъ твоимъ, усладительница моей жизни, цвѣтушая Фантазія!“

Итакъ пьеска эта есть доказательство, что Карамзинъ въ тѣхъ случаяхъ, когда „бремя жизни“ казалось ему тяжелымъ, любилъ на время уходить душою отъ дѣйствительной жизни и погружаться въ сладостный міръ фантазіи, въ которомъ онъ воленъ былъ распоряжаться соотвѣтственно влеченію сердца. И это соприкосновеніе души его съ тѣмъ, чего желало сердце, достав-

*) Гиметскій медъ почитался у древнихъ грековъ самымъ лучшимъ. Пчелы горы Гимета питали Юпитера въ его младенчествѣ. (Прим. Карамз.).

ляло ему отраду, наслаждение. На эту счастливую способность отодвигать отъ себя на время непріятныя явленія дѣйствительности и ставить на мѣсто ихъ явленія міра фантазіи и находитъ себѣ въ этомъ отраду—на эту способность указываетъ и стихотвореніе: „Меланхолія“ (1800), написанное въ подражаніе французскому поэту Делілю. Приведемъ это стихотвореніе цѣликомъ. Въ немъ слѣдуетъ видѣть изображеніе того меланхолическаго состоянія, которымъ разрѣшались у Карамзина его мучительные припадки грусти.

Страсть нѣжныхъ, кроткихъ душъ, судьбою угнетенныхъ,
 Несчастливыхъ счастье и сладость огорченныхъ!
 О меланхолія! ты имъ милѣе всѣхъ
 Искусственныхъ забавъ и вѣтреныхъ утѣхъ.
 Сравнится ль что-нибудь съ твоею красотою,
 Съ твоей улыбкою и тихою слезою?
 Ты первый скорби врачъ, ты первый сердца другъ:
 Тебѣ оно свои печали повѣряетъ;
 Но, утѣшаясь, ихъ еще не забываетъ.
 Когда, освободясь отъ ига тяжкихъ мукъ,
 Несчастный отдохнетъ въ душѣ своей унылой,—
 Съ любовію ему ты руку подаешь,
 И лучше радости, для горестныхъ немилый,
 Ласкаешься къ нему, и въ грудь отраду льешь
 Съ печальной кротостью и съ видомъ умиленья.
 О меланхолія! нѣжнѣйшій переливъ
 Отъ скорби и тоски къ утѣхамъ наслажденья!
 Веселья нѣтъ еще, но нѣтъ уже мученья;
 Отчаянье прошло... Но, слезы осушивъ,
 Ты радостно взглянуть на свѣтъ еще не смѣешь,
 И матери своей; печали, видъ имѣешь.
 Бѣжишь, скрываешься отъ блеска и людей,
 И сумерки тебѣ милѣе ясныхъ дней.
 Безмолвіе любя, ты слушаешь унылый
 Шумъ листьевъ, горныхъ водъ, шумъ вѣтровъ и морей.
 Тебѣ пріятенъ лѣсъ, тебѣ пустыни милы;
 Въ *удиненіи* ты больше съ собой.
 Природа мрачная твой нѣжный взоръ плѣняетъ:
 Она какъ будто бы печалится съ тобой.
 Когда свѣтило дня на небѣ угасаетъ,
 Въ задумчивости ты взираешь на него.
 Не шумныя весны любезная веселость,
 Не лѣта пышнаго роскошный блескъ и зрѣлость
 Для грусти твоя пріятнѣе всего,
 Но осень блѣдная, когда, изнемогая
 И томною рукой вѣнокъ свой обрывая,
 Она кончины ждетъ. Пусть веселится свѣтъ
 И счастье грубое въ разсѣяніи новѣмъ

Старается найти: тебѣ въ немъ нужды нѣтъ;
 Ты счастлива мечтой, одною мыслью—словомъ!
 Тамъ музыка гремитъ, въ огняхъ пылаетъ домъ;
 Блещутъ красотой, алмазами, умомъ:
 Тамъ пиршество... но ты не видишь, не внимаешь,
 И голову свою на руку опускаешь;
 Веселіе твое—задумавшись молчать—
 И на прошедшее взоръ нѣжный обращать.

Это „обращеніе нѣжнаго взора на прошедшее“ заключалось въ устремленіи фантазіи къ тому далекому прошлому, которое, по своему привлекательному характеру, представлялось Карамзину совершенно противоположнымъ непріятно переживаемой дѣйствительности. Примѣромъ такого обращенія къ прошлому служить, какъ увидимъ, статья: „Аѳинская жизнь“.

Но если чувствительность мѣшала Карамзину, какъ мыслителю, то зато она служила хорошимъ средствомъ ему, какъ воспитателю сердца. Благодаря сильной чувствительности, произведенія его получили характеръ какой-то особенной теплоты, сердечности, что для тогдашняго русскаго общества было очень полезно, и мы уже приводили (стр. 3) сдѣланную Пыпинымъ оцѣнку значенія чувствительности для современниковъ Карамзина. Въ Карамзинское время,—и главнымъ образомъ въ то время, которое относится къ до-Александровской эпохѣ,—чувствительность была для нашего общества большой воспитательной силой.

Вліяніе сентиментальныхъ произведеній отразилось, конечно, и на слогѣ Карамзина. Онъ очень цѣнилъ чувствительное выраженіе—и вотъ напр. что говоритъ онъ о Стернѣ, какъ о художникѣ сентиментальнаго стиля. „Стернъ несравненный! въ какомъ ученомъ университетѣ научился ты столь нѣжно чувствовать? Какая риторика открыла тебѣ тайну двумя словами потрясать тончайшія фибры сердецъ нашихъ? Какой музыкантъ такъ искусно звуками струнъ повелѣваетъ, какъ ты повелѣваешь нашими чувствами?“ ⁴⁴⁾. И Карамзинъ стремился усвоить себѣ манеру выраженія европейскихъ писателей — и усвоить ее. Это обстоятельство тоже имѣло и свою хорошую и свою невыгодную сторону. Стремясь выражать чувство сентиментальнымъ слогомъ, Карамзинъ обогащалъ нашъ языкъ нѣжными струнами, вырабатывалъ тонкую передачу оттѣнковъ душевныхъ движеній, создавалъ граціозныя и трогательныя выраженія—и этотъ новый языкъ его, отражающій притомъ искреннее, дѣйствительно переживаемое чувство, служилъ ему тоже, какъ и Стерну, сильнымъ

средствомъ воздѣйствія на сердца современныхъ ему читателей. Но когда Карамзинъ заносилъ сентиментальные приемы въ „Исторію“ и вносилъ сентиментализмъ въ изображеніе русской старинной или простонародной жизни, онъ вредилъ вѣрности въ передачѣ колорита. Правда, это не чувствовалось его современниками, и для нихъ, можетъ быть, было даже скорѣе полезно, чѣмъ вредно, но зато сильно почувствовалось позднѣйшими поколѣніями.

Мы указали здѣсь только болѣе или менѣе общія стороны вліянія на Карамзина западно-европейскихъ сентиментальныхъ произведеній. Но, кромѣ общихъ сторонъ, были еще частности, отразившіяся лишь на томъ или другомъ отдѣльномъ его сочиненіи, напр. на его „Письмахъ р. путешественника“, на его нѣкоторыхъ повѣстяхъ. Но объ этомъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ.

7. Положительное и отрицательное отношеніе Карамзина къ Руссо.

Шекспиръ, Оссіанъ, Боннетъ, Стернъ — все это любимцы Карамзина; но съ наибольшимъ жаромъ вспоминалъ онъ въ своихъ сочиненіяхъ о Руссо. — Что Руссо долженъ былъ производить на Карамзина сильное впечатлѣніе — это становится яснымъ, лишь только мы вспомнимъ слѣдующія черты этого писателя, главное историческое значеніе котораго Геттнеръ видитъ въ томъ, что онъ спасъ *идеализмъ сердца* ⁴⁵⁾.

Прежде всего отмѣтимъ страстную любовь Руссо къ природѣ, его идиллическое стремленіе къ естественнымъ условіямъ жизни и желаніе возвратитъ къ этимъ условіямъ все человѣчество. При этомъ не забудемъ, что любовь къ природѣ была у Руссо соединена съ мечтательностью. И какъ {завлекательно умѣлъ онъ описывать картины природы, затишье лѣсовъ и водъ, горъ и долинъ! При томъ же Руссо смотрѣлъ на природу глазами оптимиста. Вотъ образчикъ его отношенія къ ней. „Какъ вы думаете“ — обращается онъ въ третьемъ письмѣ къ Мальзербу, — „какія времена я всего охотнѣе вызываю въ своемъ воспоминаніи? Это не радости моей юности: онѣ были слишкомъ рѣдки, слишкомъ соединены съ горечью; это — блаженство моего уединенія, это — мои одинокія прогулки... Когда я вставалъ передъ восходомъ солнца, чтобы видѣть пробужденіе дня, то первымъ желаніемъ моимъ было, чтобы ни письма ни посѣщенія не могли нарушить этой сладкой радости. Я быстро спѣшилъ въ лѣсъ. Какъ я былъ радъ тогда! Я искалъ себѣ какого-нибудь дикаго мѣста, гдѣ бы ничто не показывало мнѣ руки человѣка, гдѣ ни-

кто третій не становился между мной и природой. Золото дрока, пурпуръ солнечныхъ лучей наполняли мое сердце и глаза восторгомъ; величіе деревьевъ, покрывавшихъ меня своею тѣнью, нѣжность кустовъ, меня окружавшихъ, разнообразіе травъ и цвѣтовъ, сгибавшихся подъ мои шаги, держали мой умъ въ постоянномъ напряженіи и удивленіи. Мое воображеніе наполняло эту прекрасную землю существами, которыя были мнѣ по сердцу; я составлялъ себѣ общество, котораго я считалъ себя не недостойнымъ, выдумывалъ себѣ золотой вѣкъ и трогался до слезъ этими истинными удовольствіями человѣческой жизни, этими чудными чистыми удовольствіями, которыя такъ близки и однако такъ далеки теперь человѣчеству“ ⁴⁶).

Противополагая неиспорченную природу испорченному обществу, Руссо враждебно относился къ великосвѣтской жизни, къ пустой болтовнѣ салоновъ и изображалъ прелести тихо-счастливой семейной жизни, гдѣ главные удовольствія заключаются въ заботахъ о дѣтяхъ и домѣ, о садѣ и полѣ; онъ стоялъ за святость брака и высказывалъ мысль, что очищеніе нравовъ можетъ выйти только изъ очищенія упавшей семейной жизни; онъ спорилъ съ матеріалистами, съ жаромъ доказывалъ величіе человѣческаго сана, былъ горячимъ защитникомъ добродѣтели, говорилъ, что вѣрнѣйшій руководитель поступковъ есть совѣсть, считалъ любовь къ добру прелестью жизни, былъ глубоко религіозенъ и училъ вѣротерпимости.

Припомнимъ то, чему учили Карамзина другіе его воспитатели, и мы увидимъ, что указанные здѣсь идеи и чувства Руссо гармонировали не только съ характеромъ Карамзина, но и съ духомъ его воспитанія. Вѣдь и Шаденъ внушалъ ему тѣ же этическія идеи и ту же мысль, что нравственно-чистыя дѣти выходятъ только изъ нравственно-чистой семьи; Новиковъ тоже спорилъ съ матеріалистами и тоже высоко ставилъ санъ, челоѣка; оптимисты тоже говорили о нравственной красотѣ и тоже пробуждали любовь къ природѣ. Но дѣло въ томъ, что никто изъ воспитателей Карамзина не высказывалъ своихъ идей и чувствъ съ такимъ необыкновеннымъ жаромъ и съ такой необыкновенной художественностью, никто не говорилъ такимъ голосомъ нѣжнаго сердца, какъ Руссо, сумѣвшій придать своему міросозерцанію прелесть поэзіи—и вотъ почему Карамзинъ заявлялъ, что онъ обязанъ Руссо не только многими изъ своихъ любезнѣйшихъ идей, но и прибавлялъ, что сочиненія этого писателя сильно дѣйствовали на его сердце, что душа Руссо „отчасти перелилась“

въ его собственную душу ⁴⁷⁾. И дѣйствительно, Руссо тоже принималъ участіе въ воспитаніи Карамзина энтузіастомъ нравственной стороны въ человѣкѣ, но преимущественно предъ другими велъ это воспитаніе на поэтической подкладкѣ и, будучи, по словамъ Геттнера, спасителемъ идеализма сердца, болѣе другихъ могъ вліять на развитіе этого идеализма и въ Карамзинѣ. Этимъ-то такъ и привлекалъ къ себѣ Руссо своего чувствительнаго и благодарнаго ученика.

Но это еще не все: въ виду того, что Шаденъ нападалъ на Руссо за то, что онъ отдалялъ своего Эмиля отъ общества, мы можемъ предполагать, что и Карамзинъ не во всемъ соглашался съ воспитательной теоріей Руссо; тѣмъ не менѣе, мы знаемъ, что онъ очень высоко цѣнилъ его сочиненіе: „*Emil ou de l'éducation*“ и называлъ эту книгу „единственной въ своемъ родѣ“ ⁴⁸⁾.

Но что касается до увлеченія Руссо, заставившаго его писать противъ наукъ и искусствъ и доказывать ихъ вредное вліяніе на общество,—то Карамзинъ не только не раздѣлялъ этого увлеченія, но даже выступилъ горячимъ противникомъ Руссо ⁴⁹⁾ и называлъ его „мизософомъ“ ⁵⁰⁾. Иначе отнестись Карамзинъ и не могъ. Уваженіе къ просвѣщенію и мысль о необходимости его для нравственнаго усовершенствованія человѣка уже начали поселять въ немъ Шаденъ; далѣе, какъ мы знаемъ, продолжалъ дѣлать то же самое Новиковъ. Сверхъ того, этотъ дѣятель, прежде столь внимательный къ явленіямъ общественной жизни, но, подъ вліяніемъ масонства, на время отвернувшійся отъ нихъ,—начавъ въ „Вечерней зарѣ“ снова затрогивать общественные вопросы, помѣстилъ въ ней рядъ педагогическихъ статей, въ которыхъ говорилъ, что воспитаніе сердца и обогащеніе ума знаніями *одинаково важны*. Новиковъ требовалъ образованія—и притомъ разносторонняго, т.-е. такого, въ которомъ соединялись бы элементы и образованія классическаго (древніе языки) и образованія реальнаго (естествознаніе). {Оптимисты тоже учили, что для пріобрѣтенія нравственной красоты нужны познанія, а Боннетъ, одинъ изъ любимѣйшихъ писателей Карамзина, въ своемъ „Созерцаніи природы“ помѣстилъ цѣлую главу подъ заглавіемъ: „Человѣкъ, одаренный разумомъ, упражняющійся въ наукахъ и художествахъ“—и глава эта была Карамзинымъ переведена. Въ ней говорится слѣдующее:}

„Поспѣшимъ рассмотреть человѣка, какъ существо разумное. Человѣкъ одаренъ разумомъ; онъ имѣетъ идеи; сравниваетъ сіи идеи, судитъ о ихъ согласіяхъ или противоположностяхъ, и

дѣйствуетъ по разсужденію. Только онъ одинъ между всѣми животными пользуется даромъ слова, облакаетъ свои понятія въ выраженія или въ произвольные знаки, и чрезъ сіе удивительное преимущество производитъ между ими связь, которая изъ воображенія и памяти дѣлаетъ *неогнѣнное сокровище познаній*. Чрезъ сіе человѣкъ сообщаетъ свои мысли и возвышаетъ способности; чрезъ сіе достигаетъ до всѣхъ художествъ и наукъ; чрезъ сіе вся натура покорена ему“. Далѣе слѣдуетъ исчисленіе прелести и пользы наукъ и искусствъ.

Послѣ всего этого понятно, что „прелести *разума*“ должны были сдѣлаться Карамзину одинаково любезными съ „прелестями *душевными*“, какъ онъ и сказалъ объ этомъ въ своей элегіи: „Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона“. Энтузіастъ нравственной стороны въ человѣкѣ слился въ немъ неразрывно съ энтузіастомъ просвѣщенія.

Однако Руссо, какъ антагонистъ просвѣщенія, хотя и вызвалъ со стороны Карамзина горячія возраженія,—все-таки же кое чѣмъ и затронулъ своего противника. И вліяніе антагониста просвѣщенія выразилось не только въ томъ, что онъ, вторя оптимистамъ въ своемъ воззрѣніи на первобытное состояніе человѣка, значительно помогаль Карамзину увлекаться идилліей, но и въ томъ, что онъ заставилъ его почувствовать въ культурной жизни и такія стороны, которыя можно назвать досадливыми: это—„тысячи заботъ, тысячи безпокойствъ, которыхъ не зналъ человѣкъ въ прежнемъ своемъ состояніи“. На эти мелочныя заботы и безпокойства и указаль Карамзинъ въ знаменитомъ своемъ письмѣ съ долины Гасли.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о политическомъ ученіи Руссо, изложенномъ въ его „Общественномъ договорѣ“ (*Contrat social*). Въ этомъ сочиненіи, по выраженію Геттнера, „изъ каждой строки слышатся столь роковыя въ послѣдствіи слова: *Liberté* и *Egalité*“ ⁵¹⁾. Основной принципъ его чисто демократическій: верховное право принадлежитъ народу. По ученію Руссо, всѣ граждане свободны и равны; цѣль всякаго закона должна быть свобода и равенство.

Во внутреннемъ мірѣ Карамзина съ политическимъ ученіемъ Руссо случилось нѣчто сходное съ тѣмъ, что случилось и со счастливой Аркадіей оптимистовъ. Подобно тому, какъ Карамзинъ, энтузіастъ просвѣщенія, давалъ иногда волю своему сердцу и увлекался на время золотымъ вѣкомъ пастуховъ: такъ точно онъ, ученикъ Шадена, останавливался иногда чувствомъ и надъ

гражданской свободой, надъ „правами вольности, любезной человѣческому сердцу“ ⁵²⁾, но разсудкомъ былъ всегда на сторонѣ монархіи. Руссо могъ возбуждать его чувство, но умомъ его владелъ въ этомъ отношеніи Шаденъ, тѣмъ болѣе, что взглядъ Шадена на монархію очень походилъ на взглядъ оптимистовъ на управление вселенной Богомъ: какъ во вселенной, такъ и въ монархіи все направляется правящей властью къ благой цѣли. Имѣлъ вліяніе на Карамзина и Боннетъ. Въ „Созерцаніи природы“, въ главѣ: „Человѣкъ въ общежитіи“, которая тоже переведена Карамзинымъ, авторъ проводитъ мысль о нравственномъ значеніи правителя. „Подъ сѣнію законовъ король, князь, судья пользуются своею праведною властью, ободряютъ добродѣтель, обуздываютъ порокъ и распространяютъ повсюду счастливыя вліянія своего правленія“. Въ Новиковскомъ кружкѣ тоже проповѣдывали нравственное равенство людей, но не политическое, и Лопухинъ, въ своемъ „Нравоучительномъ катехизисѣ истинныхъ франмасоновъ“ вмѣнялъ въ обязанность чтить правительство и „во всякомъ страхѣ повиноваться ему“. Вскорѣ на помощь этимъ теоретическимъ разсужденіямъ за монархію явились впечатлѣнія отъ французской революціи, отъ наблюденій надъ Швейцаріей и наконецъ отъ занятій исторіей—и вліяніе всего этого выразилось въ томъ, что Карамзинъ говорилъ о любезной вольности лишь изрѣдка, главнымъ образомъ — какъ поэтъ, но, какъ публицистъ и политикъ, онъ предлагалъ своимъ согражданамъ довѣриться мудрости властей и „жить спокойно, повиноваться охотно“ ⁵³⁾.

8. Характеръ образованія, полученнаго Карамзинымъ въ Дружескомъ обществѣ.

Карамзинъ не получилъ, подобно Ломоносову, научнаго образованія: образованность его заключалась главнымъ образомъ въ начитанности. Тѣмъ не менѣе Погодинъ и Шевыревъ не безъ основанія пребываніе Карамзина въ Дружескомъ обществѣ уподобляютъ пребыванію въ университетѣ ⁵⁴⁾. Дѣйствительно, начитанность Карамзина не заключалась только въ знакомствѣ съ одними чисто литературными произведеніями: онъ былъ знакомъ и со многими трудами иного рода. Ему, какъ это видно изъ „Писемъ р. путешественника“, были извѣстны многія философскія сочиненія, и между прочимъ — Канта. Изъ одного его примѣчанія къ переводу Галлеровой поэмы можно заключить и о его большой богословской начитанности. Переводя то мѣсто, гдѣ Галлеръ, описывая состояніе духа по смерти, говоритъ: „Истина,

коей силѣ полагаетъ препоны мятежъ міра, не обрѣтаетъ (по смерти человѣка) уже ничего, чтобы ощущеніе ея въ сей пустынѣ умалить могло; пожирающій огонь ея пронизываетъ внутренность натуры и въ глубочайшемъ мозгѣ ищетъ самомалѣйшихъ слѣдовъ зла“, — Карамзинъ замѣчаетъ: „Сочинитель, нѣкоторымъ образомъ темно, предлагаетъ здѣсь священную истину, такую истину, которую мы не найдемъ и во множествѣ томовъ сочиненій новѣйшихъ модныхъ теологовъ“. Тутъ нельзя кстати не указать, что какъ благодаря углубленію въ богословскія книги, такъ благодаря и Шадену, человѣку очень набожному, и Новиковскому кружку, и оптимистамъ, и наконецъ Руссо, зароненная еще въ дѣтскую душу Карамзина искра религіознаго чувства сильно разгаралась. Судя по сочиненіямъ Карамзина, это чувство выражалось въ любви къ Богу, какъ Благости, въ преданности Провидѣнію, и, какъ уже мы говорили, было чуждо всякой нетерпимости.

Въ Дружескомъ же обществѣ Карамзинъ познакомился и съ бывшими у насъ тогда сочиненіями по русской исторіи. По крайней мѣрѣ въ виду того, что въ одномъ изъ своихъ заграничныхъ писемъ ⁵⁵⁾ онъ говоритъ: „Больно, но должно по справедливости сказать, что у насъ до сего времени нѣтъ хорошей російской исторіи“, надо полагать, что ему были хорошо извѣстны труды Татищева, Щербатова, Болтина и изданія Миллера и Новикова. Судя по „Письмамъ р. путешественника“, онъ былъ довольно начитанъ и въ исторіи западной Европы.

Нельзя также сказать, чтобы Карамзинъ не интересовался и тѣмъ, что относится къ области такъ называемыхъ положительныхъ наукъ, и не пыталъ глубокаго уваженія къ ихъ представителямъ. Въ бытность свою за границей онъ посѣтилъ мѣста, гдѣ жили Руссо, Вольтеръ, но съ благоговѣніемъ остановился и передъ памятникомъ Ньютона; а по поводу упущеннаго случая взглянуть на бывшее жилище Коперника, онъ написалъ слѣдующія строки: „Какъ же досадно было мнѣ, что я не могъ видѣть тѣхъ комнатъ, въ которыхъ жилъ сей славный математикъ и астрономъ, и гдѣ онъ, по своимъ наблюденіямъ и вычетамъ, опредѣлилъ движеніе земли вокругъ ея оси и солнца—земли, которая, по мнѣнію его предшественниковъ, стояла неподвижно въ центрѣ планетъ, и которую послѣ Тихо-де-Браге хотѣлъ было онять остановить, но тщетно!—И такимъ образомъ Пифагоровы идеи, надъ которыми смѣялись греки, вѣрившіе своимъ чувствамъ болѣе, нежели философу, воскресли въ системѣ Николая Коперника! —

Сей астрономъ былъ счастливѣе Галилея: суевѣріе — хотя онъ жилъ еще подъ его скипетромъ—не заставило его клятвенно отрицаться отъ ученія истины. Коперникъ умеръ спокойно въ своемъ мирномъ жилищѣ, но Тихо-де-Браге долженъ былъ оставить свой философскій замокъ и отечество. Науки, подобно религіи, имѣли своихъ страдальцевъ“ ⁵⁶).

Наконецъ, подъ вліяніемъ ли Новикова, требовавшего разносторонняго образованія, подъ вліяніемъ ли знавшаго древніе языки Петрова, или же подъ вліяніемъ обоихъ ихъ, но только мы знаемъ, что Карамзинъ во время своего пребыванія въ Дружескомъ обществѣ началъ изучать греческій языкъ—по грамматикѣ данцигскаго профессора Тренделенбурга ⁵⁷). Въ одномъ письмѣ къ Дмитріеву ⁵⁸), посылая ему стихи, написанныя греческимъ размѣромъ, Карамзинъ говоритъ: „...бѣдный московскій стихотворецъ, учащійся нынѣ разбирать по складамъ греческихъ поэтовъ, осмѣливается греческимъ стихосложеніемъ воспѣвать хвалу своему другу!“ Правда, онъ не изучилъ греческаго языка основательно, но во всякомъ случаѣ, благодаря этимъ своимъ филологическимъ занятіямъ, а также и прежнимъ лекціямъ профессора Маттеи, онъ понималъ и цѣнилъ красоту греческой поэзіи—и въ своихъ произведеніяхъ нерѣдко обращался къ ней и заимствовалъ изъ нея то сравненіе, то сказаніе, то какой-либо образъ.

Итакъ образованіе Карамзина хотя и не было научнымъ, но оно было шире того, которое обыкновенно называютъ литературнымъ: начитанъ онъ былъ многосторонне.

V. Литературная дѣятельность Карамзина въ періодъ его пребыванія въ Дружескомъ обществѣ.

Во время своего пребыванія въ Дружескомъ обществѣ Карамзинъ воспитывался и образовывался не только путемъ чтенія и общенія съ различными личностями, но и путемъ собственныхъ литературныхъ занятій, которыя потому и называютъ, да и самъ Карамзинъ впоследствии называлъ ихъ — ученическими. Однако нѣкоторыя изъ его работъ, относящихся къ этому періоду, имѣли значеніе и не для одного только ихъ автора. Мы сперва представимъ очеркъ этихъ работъ, а потомъ укажемъ и ихъ значеніе.

Войдя въ Дружеское общество, Карамзинъ, какъ мы знаемъ, принялъ участіе въ переводѣ „Бесѣдъ съ Богомъ“ Штурма, и, по свидѣтельству Дмитріева, перевелъ ихъ „два или три то-

ма" ⁵⁹). Для характеристики этого сочиненія, приводимъ нѣсколь-
ко строкъ изъ него.

„Сохрани меня, святѣйшій Иисусе мой, отъ такого рода жизни, личиною добродѣтели прикрывающагося и влекущаго за собою извѣстнѣйшую смерть. Хотя бы и всѣ люди не вѣровали въ тебя и посрамляли заповѣди твои, однако я вѣровать въ тебя буду. Но не есмь ли я дерзостный Петръ? Съ какою холодностію и любопытствомъ грѣюся я всегда у огня міра, забывая добродѣтели и обѣты свои. Доколѣ будетъ еще продолжаться сіе, до-толѣ буду я присвоивать себѣ только имя, а не существо благочестія“...

Одновременно съ размышленіями Штурма Карамзинъ занимался и другими переводами. Такъ онъ перевелъ уже извѣстную намъ поэму Галлера: „О происхожденіи зла“. Нечего, кажется, и говорить о томъ, что мысли и чувства Галлера должны были не только нравиться Карамзину, но и многое изъ нихъ должно было въ послѣдствіи повториться въ немъ, какъ собственное чувство, какъ собственная мысль. На глубокое сочувствіе Карамзина этой поэмѣ указываютъ уже сдѣланныя имъ примѣчанія къ ней. Такъ напр. къ тому мѣсту, гдѣ авторъ, описывая красоту швейцарской природы, говоритъ: „Коль пріятно... раздающееся эхо, когда соборъ счастливыхъ тварей, исполненныхъ спокойствія, въ беззаботномъ наслажденіи воспѣваетъ радостныя пѣсни“,—переводчикъ сдѣлалъ такое примѣчаніе: „Подъ сими счастливыми тварями разумѣтъ Галлеръ альпійскихъ пастуховъ. Все слышанное мною отъ путешественниковъ по Швейцаріи о родѣ жизни ихъ—въ восхищеніе приводило меня. Размышленіе о сихъ счастливицахъ часто понуждало меня восклицать: О смертные, почто уклонились вы отъ начальной невинности своей! почто гордитесь мнимымъ просвѣщеніемъ своимъ!“ Замѣчательно совпаденіе тона этого примѣчанія съ тономъ поэмы Галлера: какъ тутъ, такъ и тамъ философское возрѣніе тѣсно соединено съ идиллическимъ мечтаніемъ. Въ другомъ примѣчаніи—къ словамъ Галлера: „Извигъ не втекаетъ никакое утѣшеніе, когда мы во внутренности мучимся. Наслажденіе бываетъ для насъ отвратительно, коль скоро лишаемся истинныхъ потребностей“,—Карамзинъ говоритъ: „Истина неопровергаемая и каждымъ человѣкомъ ощущаемая! Будешь окруженъ возлюбленными, будешь знатенъ, будешь богатъ, но все еще не будешь спокоенъ. Для чего? Для того, что ты лишенъ истинныхъ потребностей: всѣ сіи блага суть для тебя блага чуждыя“.

За Галлеровой поэмой слѣдуетъ рядъ переводовъ для „Дѣт-

скаго чтенія“—журнала, посвященнаго „благородному россійскому юношеству“ и издававшагося Новиковымъ при его „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ безденежно въ теченіе пяти лѣтъ (1785—1789). Главными сотрудниками этого журнала были Петровъ и Карамзинъ. Участіе послѣдняго опредѣленно начинается съ 1787 г.

Для „Дѣтскаго чтенія“ Карамзинъ перевелъ между прочимъ „Времена года“ Томсона, нѣсколько главъ изъ „Созерцанія природы“ Боннета, рассказы г-жи Жанлисъ и нѣсколько пьесъ Вейсе.

О поэмѣ Томсона мы уже говорили (с. 37), и потому начнемъ съ Боннета.—Боннетъ поклонникъ Попа, въ своемъ „Созерцаніи природы“ популяризовалъ идеи оптимизма. Объ оптимистическомъ характерѣ этого сочиненія можно судить уже по 3-ей главѣ его, озаглавленной такъ: „Единство и доброта (Bonté) вселенной“. Приведемъ важнѣйшее изъ этой главы (въ переводѣ Карамзина).

„Единство чертежа Вселенной ведетъ насъ къ единству Разума, его изобрѣтшаго. Гармонія вселенной, или отношенія, находящіяся между разными частями сего огромнаго зданія, доказываютъ, что причина онаго *одна*. Дѣйствіе сей причины также *одно*. Вселенная есть сіе дѣйствіе. Она заключаетъ въ себѣ все то, что есть и быть могло... *Разумъ*, который вдругъ объемлетъ всѣ связи возможностей, искони видѣлъ *Истинное Добро*, и никогда не совѣтовался. Онъ дѣйствовалъ; онъ употребилъ свою самовластную свободу—и Вселенная получила бытіе“.

„Итакъ міръ имѣетъ свое совершенство, какое только могъ онъ получить отъ *Причины*, въ которой одно изъ первыхъ свойствъ есть *премудрость*, и въ которой *Благость* есть также *премудрость*“.

„Итакъ нѣтъ совершеннаго зла во Вселенной, ибо она не заключаетъ въ себѣ ничего такого, чтобы не могло быть дѣйствіемъ или причиною какого ни есть добра, которое бы не существовало безъ того, что мы *зломъ* называемъ. Если бы все было одно отъ другого отдѣлено, не было бъ гармоніи“...

„Ты говоришь: для чего человѣкъ не такъ совершенъ, какъ ангелъ? безъ сомнѣнія, хочешь ты сказать, для чего человѣкъ не ангелъ. Спроси также, для чего олень не человѣкъ. Но для существованія оленя потребны были травы, которыя питаютъ его: итакъ неужели захочешь, чтобы и сѣн травы сдѣлались маленькими человѣчками?“...

„Почувствуй свое заблужденіе и признай, что каждое существо имѣетъ совершенство сообразное цѣли его“...

„Итакъ не станемъ судить о существахъ единственно по нимъ самимъ; но будемъ цѣнить ихъ по ихъ отношенію къ тому мѣсту, которое надлежало имъ занять въ системѣ. Нѣкоторыя слѣдствія ихъ натуры можно назвать *зломъ*, но чтобы сего зла не было, надлежало бы сіи существа оставить въ небытіи, или сотворить другую Вселенную. Отъ взаимнаго дѣйствія твердыхъ и жидкихъ частей происходитъ *жизнь*; но самое сіе дѣйствіе въ продолженіи есть натуральная причина *смерти*. Итакъ безсмертіе требовало бы другого плана, ибо планета наша не годилась для существъ безсмертныхъ“.

„Совокупность всѣхъ родовъ *относительныхъ* совершенствъ составляетъ дѣйствительное совершенство того Цѣлаго, о которомъ Богъ сказалъ: *добро есть*“...

Разказы Жанлисъ—сентиментальнаго характера. Понятіе о нихъ дадимъ словами Галахова ⁶⁰).

„Ему (Карамзину) принадлежитъ, по свидѣтельству Дмитріева, переводъ двухъ томовъ сочиненія Жанлисъ: „*Les veillées du château*“. Переводчикъ назвалъ ихъ „Деревенскими вечерами“, оставивъ неприкосновеннымъ повѣствованіе, но измѣнивъ имена дѣйствующихъ лицъ и мѣстопробываніе рассказчиковъ и рассказчицъ. Такъ, маркизъ де-Клемиръ явился г-мъ Добролюбовымъ, дочери его—Каролина и Пульхерія, обратились въ Елисавету и Катерину, служанка Викторія въ Анну, и т. д. По случаю отъѣзда г. Добролюбова въ армію, жена его съ дочерьми и прислугой отправляются — не изъ Парижа, а изъ Москвы — въ село Уединенное, гдѣ скуку уединенія услаждаютъ разными повѣстями и разказами. Всѣхъ разказовъ 15: „Дельфина, или счастливое излѣченіе“, „Мѣдникъ, или взаимная благодарность“, „Великодушіе дружбы“, „Эглантина, или исправленная лѣньность“, „Исторія господина Чудина“, „Евгенія и Леонсъ“, „Альфонсъ и Далинда“, „Невольники, или сила благодѣянія“, „Памела“, „Олимпія и Теофилъ“, „Пустынники въ Нормандіи“, „Дафнисъ и Пандроза“, „Исторія герцогини Ч.“, „Пустынникъ“, „Благодѣяніе“ *).

„Весьма замѣчателенъ разказъ: „Пустынникъ“ по тѣмъ чертамъ сходства въ образѣ мыслей и даже въ обстоятельствахъ жизни, которое находимъ между англійскимъ путешественникомъ Девисомъ и швейцарскимъ пустынникомъ съ одной стороны и

*) Послѣдніе 4 разказа переведены изъ другихъ сочиненій Жанлисъ... Подъ разказомъ: „Благодѣяніе“ выставлены слѣдующія слова: „Конецъ сочиненія г-жи Добролюбовой“. (Примѣч. Галахова).

нашимъ съ другой. Девису особенно полюбилась Швейцарія, къ которой и Карамзинъ чувствовалъ особенное влеченіе. Одною изъ цѣлей путешествія того и другого было желаніе познакомиться съ извѣстными учеными людьми и славными писателями. Въ Швейцаріи Девисъ посѣщалъ „славнаго“ Боннета и „великаго“ Лафатера, пользовавшихся подобнымъ почетомъ и отъ Карамзина. Исторія „Пустынника“ также представляетъ нѣчто аналогичное тому, что извѣстно о нашемъ писателѣ изъ его сочиненій. Пустынникъ съ самаго дѣтства любитъ Англію: въ дѣтствѣ же Карамзинъ воображалъ ее самую пріятною землею въ мірѣ. Воспитатель одного — профессоръ Л. напоминаетъ воспитателя другого — профессора Шадена: оба они преподавали своимъ ученикамъ нравственную философію; оба учили, что, не обуздывая страстей, не исправляя сердца, нельзя быть мудрымъ и слѣдовательно—счастливымъ. Пустынникъ получилъ образованіе въ Лейпцигскомъ университетѣ, который былъ также предметомъ стремленій Карамзина. Томсонъ и Шекспиръ—любимые ихъ писатели въ англійской литературѣ. Пустынникъ читаетъ семейству лорда Томсонову „Осень“, переведенную въ „Дѣтскомъ чтеніи“. Въ театрѣ онъ смотритъ „Юлія Цезаря“, откуда цитируется одно мѣсто. Потерявъ супругу и оставшись съ младенцемъ-сыномъ, пустынникъ занялся его воспитаніемъ, по окончаніи котораго удалился въ Швейцарію и посвятилъ себя наукамъ. Мысли его о связи и постепенности твореній выказываютъ ученика Боннета, изучавшаго „Созерцаніе природы“ — сочиненіе, которое думалъ Карамзинъ перевести вполнѣ и откуда перевелъ только отрывки, помѣщенные въ „Дѣтскомъ чтеніи“...

„Должно думать, что Карамзинъ съ особеннымъ удовольствіемъ переводилъ означенный рассказъ: въ немъ видѣлъ онъ съ одной стороны напоминаніе прошедшаго, съ другой—представленіе будущаго, отношеніе къ его желанію путешествовать по Европѣ“.

Обращеніе за статьями для „Дѣтскаго чтенія“ къ нѣмецкому писателю и педагогу Вейсе объясняется отзывомъ о немъ самого Карамзина: „Въ Германіи многіе писали и пишутъ для дѣтей и молодыхъ людей, но никто не писалъ и не пишетъ лучше Вейсе. Онъ самъ отецъ, и отецъ нѣжный, посвятившій себя воспитанію юныхъ сердецъ. Со всѣхъ сторонъ осыпали его благодарностію, когда онъ издавалъ свои еженедѣльные листы: дѣти благодарили за удовольствіе, а отцы за видимую пользу, которую сіе чтеніе приносило ихъ дѣтямъ“ ⁶¹⁾. Изъ „Друга дѣтей“ Вейсе

Карамзинъ перевелъ между прочимъ сельскую драму въ одномъ дѣйствіи: „Аркадскій памятникъ“.

Рядомъ съ переводомъ указанныхъ произведеній Карамзинъ занимался и переводомъ Шекспирова „Юлія Цезаря“, а затѣмъ Лессинговой „Эмилии Голотти“. Первый былъ напечатанъ въ 1787 г., а второй въ 1788. Какъ смотрѣлъ Карамзинъ на Шекспира, какъ зналъ и понималъ его — объ этомъ можно судить по прибавленному къ переводу предисловію, статья весьма серьезной, характеризующей ея автора, какъ критика, и отчасти, какъ переводчика. Предисловіе это, по заявленію самого Карамзина, вызвано отсутствіемъ въ тогдашнемъ нашемъ обществѣ знакомства съ Шекспиромъ, почему Карамзинъ, указавъ на этотъ фактъ, тотчасъ же и переходитъ къ общей характеристикѣ твореній англійскаго драматурга—и говоритъ:

„Время, сей могущественный истребитель всего того, что подъ солнцемъ находится, не могло еще доселѣ затмить изящности и величія Шекспировыхъ твореній. Вся почти Англія согласна въ хвалѣ, приписываемой мужу сему... Мильтонъ, Юнгъ, Томсонъ и прочіе прославившіеся творцы—пользовались многими его мыслями, различно ихъ украшая. Немногіе изъ писателей столь глубоко проникали въ человѣческое естество, какъ Шекспиръ; немногіе столь хорошо знали всѣ тайнѣйшія человѣка пружины, сокровеннѣйшія его побужденія, отличительность каждой страсти, cadaго темперамента и cadaго рода жизни, какъ удивительный сей живописецъ. Всѣ великолѣпныя картины его непосредственно натурѣ подражаютъ; всѣ оттѣнки картинъ сихъ въ изумленіе приводятъ внимательнаго разсматривателя. Каждая степень людей, каждый возрастъ, каждая страсть, каждый характеръ говоритъ у него собственнымъ своимъ языкомъ. Для каждой мысли находитъ онъ образъ, для cadaго ощущенія выраженіе, для cadaго движенія души наилучшій оборотъ. Живописаніе его сильно, и краски его блистательны, когда хочетъ онъ явить сіяніе добродѣтели; кисть его весьма льстива, когда изображаетъ онъ кроткое волненіе нѣжнѣйшихъ страстей; но самая же сія кисть гигантскою представляется, когда описываетъ жестокое волненіе души“.

Далѣе Карамзинъ упоминаетъ о невѣрномъ взглядѣ на Шекспира творца ложно-классическихъ трагедій—Вольтера, который, проживъ нѣкоторое время въ Англіи, ознакомился съ его произведеніями, но судилъ о нихъ съ точки зрѣнія ложно-классической теоріи.

„Но и сей великій мужъ“—говоритъ Карамзинъ:—„подобно многимъ, не освобожденъ отъ колкихъ укоризнъ нѣкоторыхъ худыхъ критиковъ своихъ. Знаменитый софистъ, Вольтеръ, силится доказать, что Шекспиръ былъ весьма средственный авторъ, исполненный многихъ и великихъ недостатковъ. Онъ говорилъ: «Шекспиръ писалъ безъ правилъ, творенія его суть и трагедіи и комедіи вмѣстѣ, или траги-коми-пастушьи фарсы, безъ плана, безъ связи въ сценахъ, безъ единствъ; непріятная смѣсь высокаго и низкаго, трогательнаго и смѣшного, истинной и ложной остроты, забавнаго и безсмысленнаго; онѣ исполнены такихъ мыслей, которыя достойны мудреца, и притомъ такого вздора, который только шута достоинъ; онѣ исполнены такихъ картинъ, которыя принесли бы честь самому Гомеру, и такихъ карикатуръ, которыхъ бы и самъ Скарронъ ⁶²⁾ устыдился». Излишнимъ почитаю теперь опровергать пространно мнѣнія сіи, уменьшеніе славы Шекспировой въ предметъ имѣвшія. Скажу только, что всѣ тѣ, которые старались унижить достоинства его, не могли, противъ воли своей, не сказать, что въ немъ *много и превосходнаго*. Человѣкъ самолюбивъ: онъ боится хвалить другихъ людей, дабы, по мнѣнію его, самому симъ не унижиться. Вольтеръ лучшими мѣстами въ трагедіяхъ своихъ обязанъ Шекспиру; но, не взирая на сіе, сравнивалъ его съ шуткомъ и поставилъ ниже Скаррона. Изъ сего бы можно было вывести весьма оскорбительное для памяти Вольтеровой слѣдствіе; но я удерживаюсь отъ сего, вспомя, что человѣка сего нѣтъ уже въ мірѣ нашемъ“.

„Что Шекспиръ не держался правилъ театральныхъ—правда. Истинною причиною сему, думаю, было пылкое его воображеніе, не могшее покориться никакимъ предписаніямъ. Духъ его парилъ, яко орелъ, и не могъ паренія своего измѣрять тою мѣрою, которою измѣряютъ полетъ свой воробы. Не хотѣлъ онъ соблюдать такъ называемыхъ *единствъ*, которыхъ нынѣшніе наши драматическіе авторы такъ крѣпко придерживаются; не хотѣлъ онъ полагать тѣсныхъ предѣловъ воображенію своему: онъ смотрѣлъ только на натуру, не заботясь впрочемъ ни о чемъ. Извѣстно было ему, что мысль человѣческая мгновенно можетъ перелетать отъ запада къ востоку, отъ конца области Моголовой къ предѣламъ Англіи. Геній его, подобно генію натуры, обнималъ взоромъ своимъ и солнце и атомы. Съ равнымъ искусствомъ изображалъ онъ и героя и шута, умнаго и безумца, Брута и башмачника. Драмы его, подобно неизмѣримому театру натуры, исполнены многоразумія; все же вмѣстѣ составляетъ совершенное цѣ-

лое, не требующее исправленія отъ нынѣшнихъ *театральныхъ* писателей“.

Послѣ этой общей характеристики Шекспировой драмы, Карамзинъ переходитъ къ переведенной имъ трагедіи и продолжаетъ такъ:

„Трагедія, мною переведенная, есть одно изъ превосходныхъ его твореній. Нѣкоторые недовольны тѣмъ, что Шекспиръ, назвавъ трагедію сію *Юліемъ Цезаремъ*, послѣ смерти его продолжаетъ еще два дѣйствія; но неудовольствіе сіе окажется ложнымъ, если съ основательностію будетъ все разсмотрѣно. Цезарь умерщвленъ въ началѣ третьяго дѣйствія, но духъ его живъ еще; онъ одушевляетъ Октавія и Антонія, гонитъ убійцъ Цезаревыхъ—и послѣ всѣхъ ихъ погубляетъ. Умерщвленіе Цезаря есть содержаніе трагедіи; на умерщвленіи семъ основаны всѣ дѣйствія“.

„Характеры, въ сей трагедіи избранные, заслуживаютъ вниманіе читателей. Характеръ Брутовъ есть наилучшій. Французскіе переводчики Шекспировыхъ твореній ⁶³⁾ говорятъ объ ономъ такъ: «Брутъ есть самый рѣдкій, самый важный и самый занимательный характеръ. Антоній сказалъ о Брутѣ: *вотъ мужъ!* а Шекспиръ, изображавшій его намъ, могъ сказать: *вотъ характеръ!* ибо онъ есть дѣйствительно изыщнѣйшій изъ всѣхъ характеровъ, когда-либо въ драматическихъ сочиненіяхъ изображенныхъ“.

Предисловіе заканчивается краткой замѣткой автора о своемъ переводѣ.

„Что касается до перевода моего, то я наиболѣе старался перевести вѣрно, стараясь притомъ избѣжать и противныхъ нашему языку выраженій... Мыслей автора моего нигдѣ не перемѣнялъ я, почитая сіе для переводчика испозволеннымъ“.

Какъ замѣтка эта, такъ и сличеніе удостовѣряютъ, что Карамзинъ переводилъ не съ французскаго перевода, а съ англійскаго подлинника.

За переводомъ „Юлія Цезаря“ слѣдовалъ переводъ „Эмилиі Галотти“. Трагедія эта переведена была сперва поспѣшно — для сцены, для славнаго въ то время московскаго актера Померанцева, а затѣмъ уже переводъ былъ выправленъ и напечатанъ со слѣдующимъ предисловіемъ:

„Переводивъ сію трагедію для представленія на театрѣ, спѣшилъ я перевести ее *поскорѣе*, и оттого не могъ перевести исправно. Послѣ замѣтилъ я, что было переведено дурно, и рѣшился переводъ мой выправить и напечатать, чтобъ нѣкоторымъ

образомъ загладить проступокъ свой предъ тѣми людьми, которые, зная истинныя красоты драмы, любятъ Лессинговы творенія и сожалѣли, что переводчикъ Эмилиа Галотти не почувствовалъ многихъ красотъ сей трагедіи, а потому и не показалъ ихъ въ своемъ переводѣ. Вамъ и посвящаю переводъ мой — вамъ, умѣющимъ цѣнить драматическія сочиненія и никогда не сравнивающимъ гишпанскихъ фарсовъ съ драмами Лессинга, — вамъ, видящимъ въ первыхъ однѣ острыя шутки, а въ послѣднихъ—произведенія философа, проникшаго взоромъ своимъ въ глубины сердца человѣческаго“.

„Эмилиа Галотти“—лучшее драматическое произведеніе Лессинга. Авторъ первоначально положилъ въ основаніе пьесы извѣстный трагическій случай съ Виргиніей, дочерью римскаго плебея Виргинія, которую отецъ публично закололъ, чтобы спасти отъ безчестныхъ намѣреній децемвира Аппія Клавдія Красса; но потомъ Лессингъ перенесъ событіе въ новѣйшее время. Трагедія написана въ Шекспировскомъ духѣ: развязка естественно вытекаетъ изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ и изъ правильно развивающагося происшествія. Выборъ для перевода такой пьесы снова показываетъ, что Карамзинъ уже въ ту пору выработалъ себѣ правильный взглядъ на драму и уже не могъ увлекаться французской или вообще псевдо-классической Мельпоменой: признавъ Шекспира высочайшимъ творцомъ драмы, онъ могъ затѣмъ останавливаться лишь на тѣхъ произведеніяхъ, которыя, по духу своему, приближались къ Шекспировскимъ. „Эмилиа Галотти“ въ этомъ отношеніи его удовлетворяла. Года три спустя послѣ перевода пьесы, Карамзинъ помѣстилъ въ „Московскомъ журналѣ“ разборъ какъ самой пьесы, такъ и исполненія ея на сценѣ.

Д

До сихъ поръ мы рассматривали лишь переводные труды Карамзина; къ порѣ пребыванія его въ Дружескомъ обществѣ относятся еще и первыя попытки его на „поприщѣ“ самостоятельной дѣятельности: одна повѣсть, статья: „Прогулка“ и нѣсколько стихотвореній. Имѣя въ виду помѣстить ниже очеркъ стихотвореній Карамзина, написанныхъ имъ въ до-Александровскую эпоху, мы не будемъ здѣсь касаться этого рода его произведеній, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ вообще немногихъ стихотвореній Карамзина, относящихся ко времени его пребыванія въ Дружескомъ обществѣ, напечатаны были позднѣе: въ Московскомъ журналѣ.

Поэтому остановимся лишь на его повѣсти и на статьѣ: „Прогулка“.

Дмитріевъ въ своихъ запискахъ говоритъ, что Карамзинъ въ „Дѣтскомъ чтеніи“ напечаталъ первую повѣсть, имъ сочиненную, но какую именно — не указываетъ ⁶⁴). Галаховъ, основываясь на характерѣ слога и сентиментальномъ тонѣ разсказа, найденнаго имъ въ 17-ой части „Дѣтскаго чтенія“ (1789 г.) подъ заглавіемъ: „Русская истинная повѣсть: Евгенийъ и Юлія“, полагаетъ, что это и есть то самое сочиненіе, о которомъ упоминаетъ Дмитріевъ, и говоритъ, что если догадка его вѣрна, то съ этого сочиненія долженъ вести свое начало рядъ нашихъ чувствительныхъ повѣстей ⁶⁵). Но намъ кажется, что принадлежность этой повѣсти Карамзину очевидна не только по сентиментальному тону и слогу, но и по всему ея содержанію, по всѣмъ выраженнымъ въ ней чувствамъ и мыслямъ, представляющимъ собою яркую характеристику ея автора. Содержаніе повѣсти слѣдующее. Госпожа Л. удалилась изъ Москвы въ деревню и жила тамъ въ полномъ уединеніи, съ Юліею, дочерью ея умершей пріятельницы. Весной и лѣтомъ обѣ наслаждались природою. Наслажденія эти описываются такимъ образомъ:

„Госпожа Л., пробуждаясь вмѣстѣ съ природою, нѣжными ласками прерывала покойный сонъ Юліи, и призывала ее пользоваться пріятностями утра. Обнявшись, выходили онѣ изъ дому; дожидались солнца, сидя на высокомъ холмѣ и встрѣчали его съ благословеніемъ. Насладясь симъ великолѣпнымъ зрѣлищемъ природы, возвращались онѣ домой съ чувствомъ веселія, ходили по саду, осматривали цвѣты, любовались ихъ освѣженною красотою и питались амброзическими испареніями. Госпожа Л., посмотрѣвъ на пышную розу, часто съ улыбкою обращала взоръ свой на Юлію, находя между ими великое сходство. Но Юлія любила болѣе всѣхъ цвѣтовъ — фіалку. «Миленькій цвѣточекъ!» говаривала она, прикасаясь нѣжными устами своими къ ея листочкамъ: «Миленькій цвѣточекъ! напрасно скрываешься въ густотѣ травы: я вездѣ найду тебя». — Говоря сіе, клялась внутренно быть всегда смиренною, подобно любезной своей фіалочкѣ. Послѣ обѣда хаживали онѣ смотрѣть полевые работы поселянъ, которые въ присутствіи ихъ трудились съ радостію. Вечеръ приносилъ съ собою новыя удовольствія. Смотрѣли на заходящее солнце; смотрѣли, какъ кроткія овечки при звукахъ пастушской свирѣли бѣгутъ домой, блеютъ и прыгаютъ — какъ утружденные поселяне одинъ за другимъ возвращаются въ деревню — и слушали, какъ они, бывъ довольны

успѣхомъ работъ своихъ, въ простыхъ пѣсняхъ благословляютъ мать натуру и участь свою“.

Уже въ этихъ строкахъ мы видимъ слѣды именно *Карамзинской* начитанности: тутъ слышны отзвуки и слащаво-сентиментальныхъ идиллій Геснера, и страстной любви къ природѣ Руссо, и благоговѣйнаго чувства къ ней оптимистовъ. Но послѣдуемъ за авторомъ повѣсти далѣе.

„Когда же наступала пасмурная осень, и густымъ мракомъ все твореніе покрывала, или свирѣпая зима, отъ сѣвера несущаяся, потрясала міръ бурями своими (вспомнимъ „Зиму“ Томсона!); когда въ нѣжное Юліино сердце вкрадывалась томная меланхолія и тихими вздохами колебала грудь ея: тогда брались за книги, безсмертныя творенія истинныхъ философовъ, писавшихъ для пользы рода человѣческаго; тогда читали и перечитывали письма любезнаго Евгенія, сына госпожи Л., учившагося въ чужихъ краяхъ. Иногда при чтеніи сихъ писемъ глаза Юліины наполнялись слезами—пріятными слезами любви и почтенія къ благоразумному и добросердечному юношѣ. «Ахъ! когда онъ къ намъ пріѣдетъ», часто говаривала госпожа Л.: «какъ счастлива буду я, когда его увижу, прижму къ своему сердцу, и тебя съ нимъ вмѣстѣ, Юлія!»

Наконецъ Евгеній пріѣхалъ, и скоро его дружба къ Юліи обратилась въ пламенную любовь. Онъ подарилъ ей „множество нотъ, множество французскихъ, итальянскихъ и нѣмецкихъ книгъ. Она прекрасно играла на клавесинѣ и пѣла. Клопштокова пѣсня, къ которой музыку сочинилъ кавалеръ Глукъ, ей отмѣнно полюбилась. Никогда не могла она безъ сердечнаго размягченія пѣть послѣдней строфы, въ которой Глукъ такъ искусно согласилъ тоны съ чувствами великаго поэта. — Кроткія, нѣжныя души! вы однѣ знаете цѣну сихъ виртуозовъ, и вамъ единственно посвящены ихъ безсмертныя сочиненія! Одна слеза ваша есть для нихъ величайшая награда“...

Молодые люди часто гуляли при свѣтѣ луны, любовались звѣзднымъ небомъ, дивились величеству Божію и, внимая шуму водопада, разсуждали о безсмертіи. „Сколько высокихъ нѣжныхъ мыслей сообщали они другъ другу, бывъ оживлены духомъ натуры! Какъ возвышалось сердце молодого человѣка, когда онъ въ лицѣ Юліи разсматривалъ образъ спокойной невинности, освѣщаемый лучами тихаго свѣтила!“

Когда Евгенію минуло двадцать два года, а Юліи двадцать одинъ, они отрылись одинъ другому въ любви — и госпожа Л.

была въ восторгѣ... „Но судьбы Всемогущаго суть для насъ непостижимая тайна. Пребывая искони вѣренъ законамъ своей премудрости и благодати, Онъ творить — мы изумляемся и благоговѣемъ—въ вѣрѣ и молчаніи благоговѣть должны“... Евгений простудился, заболѣлъ горячкою—и въ девятый день умеръ... „Такъ сокрылся изъ міра нашего любезный юноша. Прости, цвѣтъ добродѣтели и невинности! Прахъ твой покоится въ объятіяхъ общей матери нашей; но духъ, составлявшій истинное существо твое, плаваетъ въ безчисленныхъ радостяхъ вѣчности, ожидая своей любезной, съ которою не могъ онъ здѣсь соединиться вѣчнымъ союзомъ. Прости!“...

„Одинъ молодой чувствительный человѣкъ, проѣзжавшій черезъ деревню госпожи Л. и слышавшій сію печальную повѣсть, посѣтилъ гробъ Евгеньевъ и на бѣломъ камнѣ, лежавшемъ между цвѣтовъ на могилѣ, написалъ карандашомъ слѣдующую эпитафію, которая послѣ была вырѣзана на особливомъ мраморномъ камнѣ:

Сей райскій цвѣтъ не могъ въ семь мірѣ распуститься—
Увяль, изсохъ, опаль—и въ рай былъ пренесенъ“.

Нѣтъ сомнѣнія, что повѣсть эта есть отраженіе того самого внутренняго міра, который мы и должны предполагать въ Карамзинѣ, зная его характеръ и весь ходъ его воспитанія и образованія. Въ общемъ на эту повѣсть можно смотрѣть, какъ на попытку изобразить счастливую жизнь, заключающуюся въ умѣнны соединить идиллію съ просвѣщеніемъ ума и сердца. Въ частности же повѣсть эта есть отраженіе идиллическихъ и оптимистическихъ чувствъ ея автора, начитавшагося сентиментальныхъ произведеній, автора представлявшаго себѣ усовершенствованнаго человѣка въ тѣхъ именно чертахъ, въ какихъ онъ изображаетъ Юлію и—главнымъ образомъ—Евгенія, котораго онъ и называетъ „цвѣтомъ добродѣтели и невинности“. Слѣды свѣжаго впечатлѣнія отъ рѣчей масоновъ, какъ антагонистовъ матеріализма, видны въ выраженіи Карамзина: „духъ, составлявшій *истинное существо твое*, плаваетъ въ безчисленныхъ радостяхъ вѣчности“. Наконецъ замѣчательно и то мѣсто повѣсти, гдѣ авторъ объясняетъ настоящую причину *ранней* смерти Евгенья. Онъ говоритъ: „человѣкъ, по нѣкоторому природному побужденію—можетъ быть, счастливому, закрываетъ глаза свои, когда освѣщаетъ его лучъ будущихъ горестей!“ Итакъ Евгений умеръ потому, что смерть была его благомъ, ибо его, среди переживаемаго счастья, уже освѣтилъ лучъ грядущаго горя.—Вообще говоря, повѣсть: „Евгеній и Юлія“ можетъ служить прекрасной иллюстраціей, разъясняющей, какъ

отражались на Карамзинѣ тѣ вліянія, подъ которыми онъ воспитывался и образовывался, и въ этомъ отношеніи она представляетъ большой интересъ.

Такой же иллюстраціей, но болѣе частнаго характера, можетъ служить и статья: „Прогулка“, также помѣщенная въ „Дѣтскомъ чтеніи“ (1789). Она навѣяна главнымъ образомъ Боннетомъ и Томсономъ, мысли и чувства которыхъ отражаются въ ней такъ обильно. Содержаніе ея слѣдующее. Подъ вечеръ прекраснаго весенняго дня авторъ, съ Томсономъ въ рукѣ, пошелъ прогуляться за городъ. Очутившись лицомъ къ лицу съ природой, онъ сталъ размышлять о ней, о ея Творцѣ—и испытывать цѣлый рядъ ощущеній. Изложеніе этихъ мыслей и ощущеній и составляетъ содержаніе статьи. Вотъ нѣкоторые мѣста изъ нея.

Любуясь звѣздами, Карамзинъ говоритъ: „Сія свѣтлыя тѣла суть, конечно, солнца, освѣщающія невидимые для насъ міры, безъ сомнѣнія, населенные подобными намъ тварями, разумными, чувствующими тварями, познающими Творца своего въ дѣлахъ Его, удивляющимися Его премудрости, благодати и всемогуществу, и, можетъ быть, еще болѣе насъ имѣющими причину удивляться симъ свойствамъ Его. Братія наши!—симъ именемъ осмѣливаюсь назвать васъ: ибо и мы сотворены тѣмъ же великимъ Богомъ, Который васъ сотворилъ; и намъ открывается Онъ въ дѣлахъ Своихъ—собратія наши, живущіе съ нами въ единомъ пространномъ дому Отца нашего! — ибо всѣ міры вкупѣ составляютъ одинъ великій домъ, которымъ правитъ Іегова — думаете ли вы, что въ такомъ отъ васъ отдаленіи живутъ родственники ваши? Но вы, конечно, сіе чувствуете, будучи избыточно одарены разумными силами. Можетъ быть, взоръ вашъ проницательнѣе взора нашего; можетъ быть, вы ясно видите землю нашу, видите всѣхъ человѣковъ, и, любя ихъ, сожалеете, что они погружаются часто въ произвольномъ невѣжествѣ, слишкомъ много занимаются горстію земли, на которой живутъ, не рассматривая прилежно прекраснаго мірозданія, и вмѣстѣ съ вами не воспѣваютъ всегдашней хвалебной пѣсни Творцу всяческихъ“ ⁶⁶).

Далѣе слѣдуетъ выраженіе религіознаго экстаза, заканчивающагося тѣмъ же чувствомъ автора, съ которымъ мы впоследствии встрѣтимся и въ „Письмахъ р. путешественника“.

„Но дерзну ли обратиться къ Тебѣ, вѣчному, плодотворному Источнику, изъ Котораго истекли всѣ міры со всѣми своими жителями? Могу ли назвать Тебя именемъ, достойнымъ Твоего величія? Могу ли вообразить Тебя? Воображаю тебя творящаго;

но представляю себѣ единое твореніе, единое Твое дѣйствіе—существа Твоего вообразить не въ силахъ. Но поклоняюсь Тебѣ въ семъ великолѣпномъ храмѣ, въ которомъ Ты всегда присутствуешь; упадаю на колѣни, простираю къ Тебѣ, Невидимому, руки свои, и со слезами радостнаго восхищенія благодарю Тебя за то, что Ты сотворилъ меня—и сотворилъ *человѣкомъ*; что Ты даровалъ мнѣ способность чувствовать и разсуждать—чувствовать свое и Твое бытіе, — разсуждать о Тебѣ и себѣ самомъ, — разсуждать о свойствахъ Твоихъ и моемъ назначеніи по видимому мірозданію, дѣлу рукъ Твоихъ, и по собственному моему существу! Благодарю Тебя за данную мнѣ надежду узрѣть Тебя нѣкогда яснѣе, когда, свергнувъ съ себя нынѣшнее грубое тѣло свое, возмогу сносить свѣтъ, окружающій престолъ Твой! — Ожидаю сей блаженной минуты—умолкаю, и въ молчаніи поклоняюсь“.

Авторъ долго былъ „въ сладостномъ восторгѣ, производимомъ въ разумномъ существѣ живымъ чувствомъ величія и благости Бога его“. Такое напряженіе ослабило его душевныя силы— и онъ заснулъ. Проснулся онъ уже тогда, когда „обыкновенная натура въ торжественномъ молчаніи готовилась принять огненнаго царя своего“. Когда же солнце взошло, онъ нѣсколько минутъ провожалъ его глазами, и наконецъ, исполненный почтенія къ Творцу и разныхъ сладкихъ чувствъ, пошелъ въ городъ, и дорогою читалъ Томсоновъ гимнъ, „которымъ заключаетъ онъ безсмертную свою поэму“. Во весь тотъ день,—говоритъ авторъ,—чувствовалъ онъ необыкновенное веселіе въ сердцѣ и во всемъ тѣлѣ пріятную свѣжесть.

Какое же значеніе имѣла вся эта разсмотрѣнная нами литературная дѣятельность Карамзина? — Прежде всего она имѣла важное значеніе для него самого: на ней подготовлялся будущій крупный писатель, такъ какъ она была той школой литературной техники, которая нужна и самому даровитому автору. Въ этомъ отношеніи разсмотрѣнные труды Карамзина справедливо называютъ ученическими: на нихъ онъ вырабатывалъ себѣ тѣ приемы, тѣ навыки, которые характеризуютъ опытнаго писателя; на нихъ подготовлялся будущій авторъ увлекавшихъ въ свое время повѣстей, будущій публицистъ и историкъ; на нихъ, наконецъ, вырабатывался и слогъ его. Постепенное развитіе и успѣхи послѣдняго читатель легко можетъ прослѣдить: въ переводѣ Гес-

неровой идилии онъ видитъ первую попытку начинающаго ученика, а въ Галлеровой поэмѣ — робкое подражаніе Ломоносову; но языкъ предисловія къ трагедіи Шекспира уже обнаруживаетъ перо болѣе смѣлое и самостоятельное, а отъ слога повѣсти: „Евгеній и Юлія“ и статьи „Прогулка“ уже вѣетъ слогомъ „Писемъ р. путешественника“.

Однако, не смотря на то, что указанные труды Карамзина представляются, съ нашей точки зрѣнія, ученическими, — они въ свое время не лишены были значенія и для общества. Бѣльшая часть трудовъ Карамзина помѣщалась въ „Дѣтскомъ чтеніи“. А какъ относились къ этому изданію юные читатели — о томъ можно судить уже по примѣру С. Аксакова, который, какъ онъ самъ рассказываетъ, описывая свое дѣтство, не могъ оторваться отъ книги, когда ему, ребенку, подарили однажды цѣлую связку номеровъ „Дѣтскаго чтенія“ ⁶⁷). Журналъ этотъ высоко цѣнился и гораздо позднѣе. Профессоръ Шевыревъ въ 1862 г. далъ такой о немъ отзывъ: „Что касается до содержанія и выбора статей, то и до сихъ поръ «Дѣтское чтеніе» можетъ служить образцомъ вкуса и занимательности. Желательно было бы въ наше время встрѣтить новое его изданіе. Самое юное поколѣніе, конечно, читало бы его съ наслажденіемъ“ ⁶⁸). Несомнѣнно, что такими симпатіями къ себѣ журналъ немало обязанъ и трудамъ Карамзина. Далѣе: если Карамзинъ даже и въ 1787 г. уже не былъ единственнымъ у насъ переводчикомъ Шекспира, такъ какъ почти одновременно съ его „Юліемъ Цезаремъ“ появилась трагедія: „Жизнь и смерть Ричарда III, короля англійскаго“, переведенная съ французскаго лицомъ, подписавшимся буквами: А. Г-въ, — то это все-таки не умаляетъ его заслуги, какъ человѣка, ознакомившаго своихъ соотечественниковъ съ прекраснымъ произведеніемъ великаго драматурга, и притомъ ознакомившаго посредствомъ перевода не съ французскаго перевода же, а прямо съ англійскаго подлинника. Къ тому же Карамзинъ былъ у насъ не только переводчикъ Шекспира, но онъ явился и эстетическимъ его критикомъ, подобно тому, какъ явился имъ Лессингъ въ западной Европѣ. Немалая также заслуга и подарить обществу такую театральную пьесу, которая долгое время не сходила со сцены и доставляетъ зрителямъ здоровое наслажденіе. Трагедія: „Эмилія Галотти“ была любимой въ Москвѣ. Объ этомъ засвидѣтельствовалъ самъ переводчикъ въ своемъ разборѣ ея, помѣщенномъ въ „Московскомъ журналѣ“. „Сія трагедія“, говоритъ Карамзинъ, „есть одна изъ тѣхъ, которыхъ почтенная московская публика удо-

стоиваетъ особеннаго своего благоволенія. Уже нѣсколько лѣтъ играется она на здѣшнемъ театрѣ, и всегда при рукоплесканіяхъ зрителей“.—Нельзя не цѣнить и нѣкоторыя другія новинки, введенныя Карамзинымъ въ нашу литературу: повѣсть: „Евгеній и Юлія“ положила начало новому направленію въ нашей беллетристикѣ, а языкъ Карамзина въ его трудахъ 1788 и 1789 г. былъ уже крупнымъ и цѣннымъ шагомъ впередъ въ нашей литературѣ.

Въ добавокъ ко всему этому, разсмотрѣнные труды Карамзина имѣютъ еще большее, такъ сказать, біографическое значеніе. Мы уже говорили, что нѣкоторые изъ нихъ служатъ прекрасной иллюстраціей, разъясняющей, какъ отражались на Карамзинѣ тѣ вліянія, подъ которыми онъ воспитывался и образовывался. Въ этомъ отношеніи болѣе всего замѣчательна повѣсть: „Евгеній и Юлія“. Она характеризуетъ Карамзина не только въ періодъ его пребыванія въ Дружескомъ обществѣ, но и вообще. Повѣсть эта—сентиментальнаго характера. Сентиментализмъ Карамзина, что признаетъ и Пыпинъ, не былъ лишенъ содержанія. Міровоззрѣніе его, говоритъ этотъ критикъ, было „идеалистическое, направленное къ свободѣ и счастью людей, къ наслажденію красотою и дарами природы, къ внутреннему міру человѣка въ спокойствіи его души и въ уединеніи отъ мірскихъ тревоженій“⁶⁹). Съ такимъ именно содержаніемъ сентиментализмъ и является уже въ повѣсти: „Евгеній и Юлія“. Но, опредѣляя сущность Карамзина, какъ писателя, Пыпинъ не упоминаетъ о его страстной преданности нравственнымъ и умственнымъ интересамъ. А между тѣмъ эта преданность уже отразилась въ упомянутой повѣсти и проходитъ красною нитью по всей литературной дѣятельности Карамзина, ярко выдѣляется среди разнаго рода идиллическихъ и оптимистическихъ увлеченій, беретъ перевѣсъ надъ ними — и потому было бы несправедливо не признать за этой чертою первенствующаго значенія. Такое значеніе этой черты обнаружилось съ разу же, какъ только Карамзинъ выступилъ на серьезное литературное поприще по возвращеніи изъ-за границы.

VI. Біографическія свѣдѣнія о Карамзинѣ за періодъ времени съ весны 1789 г. по 12 марта 1801 г.

Пробывъ въ Дружескомъ обществѣ около четырехъ лѣтъ, Карамзинъ въ маѣ 1789 г. отправился черезъ Петербургъ и Ригу за границу, побывалъ въ Германіи, Швейцаріи, Франціи и Англіи—и осенью 1790 г. вернулся моремъ въ Кронштадтъ. Лите-

ратурнымъ памятникомъ, связаннымъ съ этой поѣздкой, остался путевой журналъ Карамзина, впоследствии обработанный имъ и изданный подъ именемъ „Писемъ русскаго путешественника“.

Хотя „Письма р. путешественника“ представляютъ богатый матеріалъ для біографіи Карамзина, тѣмъ не менѣе, имѣя въ виду подробное разсмотрѣніе этого памятника въ своемъ мѣстѣ, мы коснемся пока поѣздки Карамзина за границу лишь настолько, насколько она была шагомъ впередъ въ его постепенномъ развитіи и созрѣваніи для будущей дѣятельности.

О поѣздкѣ за границу Карамзинъ, какъ мы знаемъ, мечталъ уже въ пансіонѣ Шадена. Теперь, подъ вліяніемъ близкаго знакомства съ западною литературой, мечта эта должна была все больше и больше дѣйствовать на волю—и наконецъ она осуществилась, когда, по собственному признанію Карамзина, „путешествіе сдѣлалось потребностію души его: когда желаніе видѣть природу въ великолѣпномъ ея разнообразіи, видѣть тѣхъ великихъ мужей, которыхъ творенія сильно дѣйствовали на его чувства, превратилось въ совершенную страсть“⁷⁰).

Соотвѣтственно стремленію удовлетворить этой „страсти“. Карамзинъ посѣтилъ извѣстныхъ ему по ихъ твореніямъ европейскихъ поэтовъ, ученыхъ и философовъ—Канта, Николан, Рамлера, Морица, Платнера, Вейсе, Гердера, Виланда, Лафатера, Боннета и нѣкоторыхъ другихъ; посѣтилъ тѣ мѣста, гдѣ жили Руссо и Вольтеръ, поклонился гробницамъ Шекспира и Ньютона, полюбовался красотою швейцарской природы и, разумѣется, побывалъ у альпійскихъ пастуховъ. Въмѣстѣ съ этимъ Карамзинъ вездѣ интересовался плодами европейской образованности: осматривалъ библіотеки, музеи, памятники искусства, посѣщалъ театры, заходилъ въ академіи и слушалъ публичныя лекціи. Жизнь семейная и общественная также обращала на себя его вниманіе. въ особенности въ Англіи, и пзрѣдка касался онъ и вопросовъ политическихъ. Замѣтимъ еще, что во время своего путешествія Карамзинъ не переставалъ заниматься и чтеніемъ, частію повторяя то, что было ему уже знакомо, частію знакомясь съ тѣмъ, что было для него еще новостью. Такъ напр. въ Англіи онъ „съ великимъ вниманіемъ“ читалъ „Constitution de l'Angleterre“ (1771) Делольма, извѣстнаго публициста своего времени, а въ Женевѣ—французскихъ авторовъ, и старыхъ и новыхъ, „чтобы имѣть полное понятіе о французской литературѣ“.

Что же вынесъ Карамзинъ изъ своей поѣздки?—Не смотря на то, что онъ неминуемо увлекался и идиллическими мечтами

вообще и золотымъ вѣкомъ пастуховъ,—онъ съ восторгомъ отмѣтилъ фактъ распространенія наукъ въ Европѣ и видѣлъ благотворное вліяніе просвѣщенія на жизнь семейную, общественную и политическую—и въ концѣ-концовъ поѣздка за границу окончательно закрѣпила за нимъ убѣжденіе, что для счастья человѣческаго просвѣщеніе необходимо. Для счастья нужна добродѣтель, благонравіе. А палладіумъ благонравія есть просвѣщеніе, сказалъ Карамзинъ въ одномъ изъ своихъ сочиненій ⁷¹⁾, а въ другомъ изъ нихъ онъ отозвался о просвѣщеніи въ слѣдующихъ горячихъ словахъ: „Просвѣщеніе ведетъ къ добродѣтели, доказывая намъ тѣсный союзъ частнаго блага съ общимъ и открывая неизсякаемый источникъ блаженства въ собственной груди нашей; просвѣщеніе есть лѣкарство для испорченнаго сердца и разума; одно просвѣщеніе живодѣтельною теплотою своею можетъ изсушить сію тину нравственности, которая ядовитыми парами своими мертвитъ все изящное, все доброе въ мірѣ; въ одномъ просвѣщеніи найдемъ мы спасительный антидотъ для всѣхъ бѣдствій человѣчества!“ ⁷²⁾.

Такимъ образомъ убѣжденіе Карамзина въ важномъ значеніи просвѣщенія, до тѣхъ поръ бывшее болѣе или менѣе лишь теоретическимъ, послѣ поѣздки его за границу получило для него значеніе вывода изъ наблюдений. И тѣ земли, въ которыхъ онъ производилъ свои наблюденія, онъ призналъ образцами просвѣщенія, и просвѣщеніе это ставилъ такъ высоко, что даже нѣкоторое время считалъ конецъ XVIII-го вѣка уже близкимъ къ идеалу культурности и мечталъ, что онъ будетъ и „концомъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества“ ⁷³⁾.

Найдя высокую культуру въ западныхъ земляхъ, Карамзинъ, по возвращеніи изъ-за границы, окончательно рѣшается посвятить себя литературѣ, чтобы, при помощи ея вліянія, поднять культуру и въ своихъ соотечественникахъ. Каково было тогдашнее настроеніе его,—объ этомъ можно судить по его позднѣйшему „Посланію къ Дмитріеву“ (1793), гдѣ авторъ, говоря именно о годахъ, предшествовавшихъ этому „Посланію“, заявляетъ, что стремленіемъ его было

Источникъ радостей и благъ
Открыть въ чувствительныхъ душахъ,
Плѣнить ихъ истиной святою,
Ея нетлѣнной красотою,
Орудіемъ небеснымъ быть,
И въ памяти потомства жить.

Мѣстомъ осуществленія своихъ стремленій Карамзинъ избралъ Москву. „Возвратясь въ Петербургъ осенью 1790 г., въ модномъ фракѣ, съ шиньономъ и гребнемъ на головѣ, съ лентами на башмакахъ, Карамзинъ“, — пишетъ Погодинъ, цитируя Бантыша-Каменскаго, — „введенъ былъ И. И. Дмитриевымъ въ домъ славнаго Державина, и умными, любопытными разсказами обратилъ на себя его вниманіе“ ⁷⁴). Державину открылъ онъ свое намѣреніе посвятить себя литературѣ и приняться за изданіе журнала. Поэтъ отнесся сочувственно и обѣщалъ свое сотрудничество, но „постороннія лица, посѣщавшія Державина“, — читаемъ далѣе у Погодина, — „гордясь витіеватымъ, напыщеннымъ слогомъ своимъ, показывали молчаніемъ и язвительною улыбкою пренебреженіе къ молодому франту, не ожидая отъ него ничего добраго“. Однако, не смущаясь этими недружелюбными выходками, Карамзинъ отправился въ Москву, поселился въ домѣ своихъ короткихъ знакомыхъ — Плещеевыхъ, и 6-го ноября напечаталъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ объявленіе, въ которомъ оповѣщалъ публику, что съ января будущаго 1791 г. имъ будетъ издаваться „Московскій журналъ“. — „Въ началѣ каждаго мѣсяца будетъ выходить книжка въ осьмушку, страницъ до 100 и болѣе, въ спененькомъ бумажномъ переплетѣ, напечатанная четкими литерами на бѣлой бумагѣ, со всею типографическою точностію и правильностію“... Кромѣ Державина, издатель надѣялся еще на участіе Дмитриева, Хераскова, Нелединскаго-Мелецкаго, Львовыхъ, Капниста и др. Въ январѣ вышла первая книжка, гдѣ, въ предувѣдомленіи, между прочимъ было сказано слѣдующее: „Вотъ начало; издатель употребить всѣ силы свои, чтобы продолженіе было лучше и лучше. Журналъ выдавать не шутка, я знаю; однакожь чего не дѣлаетъ охота и прилежность. Множество иностранныхъ журналовъ лежатъ у меня передъ глазами; ни одного изъ нихъ не возьму за точный образецъ, но всѣмъ буду пользоваться“...

Московскій журналъ Карамзинъ издавалъ два года: 1791 и 1792. Онъ исполнилъ обѣщаніе: журналъ его дѣйствительно былъ таковъ, что ни одинъ изъ издававшихся у насъ до него не могъ идти съ нимъ въ сравненіе. Уже въ этомъ журналѣ ясно обнаружилось значеніе литературной дѣятельности Карамзина: оно состояло въ воздѣйствіи на *умъ, сердце и рѣчь* читателей — и читатели были въ восторгѣ. Но не смотря на громадный и необыкновенный успѣхъ, издатель въ декабрьской книжкѣ 1792 г. неожиданно объявилъ о прекращеніи своего прекраснаго журнала. Причина прекращенія и до сихъ поръ остается не выясненной.

такъ какъ ни въ статьяхъ ни въ письмахъ Карамзина нѣтъ никакого прямого на нее указанія. Остается лишь догадываться—и наиболѣе принятой догадкой надо считать предположеніе, что издателя слишкомъ утомляла срочность работы. Эта догадка очень вѣроятна: по отдѣлу поэзіи Карамзинъ имѣлъ сотрудниковъ: имена ихъ упомянуты выше; самыми усердными вкладчиками въ этомъ отношеніи были Дмитріевъ и Державинъ; по отдѣлу прозы Карамзину пришлось наполнять почти одному, что, конечно, требовало не мало труда. Да и съ поэтическими произведеніями было довольно хлопотъ: приходилось вести о нихъ переписку, просить, напоминать. Въ письмахъ Карамзина къ Дмитріеву, относящихся къ этому времени, очень часто встрѣчаются такія мѣста: „Я вызываю тебя по дружбѣ сочинить въ стихахъ сказочку или романъ. У насъ еще въ этомъ родѣ ничего нѣтъ. Или не можешь ли по крайней мѣрѣ перевести Вольтерову сказочку: „Les trois manières“, которая такъ начинается: Que les Athéniens étaient un peuple aimable! Пожалуй упражняйся въ поэзіи, и въ первомъ своемъ письмѣ ко мнѣ скажи, принимаешь ли мое предложеніе“ ⁷⁵). — „Не можешь ли прислать мнѣ новыхъ своихъ сочиненій?“ ⁷⁶)—„Прошу тебя прислать мнѣ сказку, которой начало читалъ ты мнѣ въ Москвѣ“ ⁷⁷).—„Пиши, мой другъ, пиши, и непременно пришли мнѣ ту сказку, которой начало читалъ ты мнѣ въ Москвѣ; видишь, какъ я ненасытимъ“ ⁷⁸).—Есть въ этихъ письмахъ просьбы или сдержанные укоры и по адресу другихъ лицъ, напримѣръ: „При случаѣ можешь сказать Гаврилу Романовичу, что я все еще надѣюсь получить отъ него что-нибудь для моего журнала. Херасковъ все общается; теперь передѣлываетъ онъ своего Владимира“ ⁷⁹).—„Прошу поблагодарить отъ меня г. Львова за его стансы и попросить его, чтобы онъ и впередъ сообщалъ мнѣ свои сочиненія“ ⁸⁰).—Все это, разумѣется, усложняло работу Карамзина, и онъ могъ придти къ рѣшенію прекратить журналъ и замѣнить его изданіями *несрочными*, имѣющими характеръ литературныхъ сборниковъ. На такія изданія прямо указывается въ приложенномъ имъ къ послѣдней книжкѣ журнала заявленіи: „У меня будутъ свободные часы, часы отдохновенія; можетъ быть, пріятели мои также что-нибудь напишутъ: сіи отрывки илищѣлыя пьесы намѣренъ я издавать въ маленькихъ тетрадкахъ, подъ именемъ... напримѣръ, Аглаи, одной изъ любезныхъ грацій. Ни времени ни числа листовъ не назначаю; не вхожу въ обязательство и не хочу подписки; выйдетъ книжка, публикуется въ газетахъ—и кому угодно, тотъ купитъ ее. Такимъ образомъ Аглая засту-

нить мѣсто Московскаго журнала. Впрочемъ она должна отличаться отъ сего послѣдняго строжайшимъ выборомъ пьесъ и вообще чистѣйшимъ, т.-е. болѣе выработаннымъ слогомъ, ибо я не принужденъ буду издавать ее въ срокъ“. И дѣйствительно, зимою 1793 г. вышла первая книжка Аглаи, а за нею, въ періодъ времени 1794—1801, послѣдовалъ цѣлый рядъ несрочныхъ изданій въ слѣдующемъ хронологическомъ порядкѣ: Аглая, книжка 2-ая (1794); Аониды ⁸¹⁾, книжка 1-ая (1796); Аониды, книжка 2-ая (1797); Пантеонъ иностранной словесности, въ 3 частяхъ (начать въ 1798); Аониды, книжка 3-ья (1799); Пантеонъ російскихъ авторовъ (1801).

Всѣ эти изданія продолжали дѣло, начатое „Московскимъ журналомъ“, т.-е. продолжали оказывать воздѣйствіе на умъ, сердце и рѣчь читателей, и притомъ способомъ легкимъ и пріятнымъ. Въ этомъ умѣньѣ вліять на читателей и заключалась важнѣйшая заслуга издателя. И общество оцѣнило его заслугу: Карамзинъ, какъ справедливо замѣтилъ Погодинъ, „поднялся на такую высоту, на какой не бывалъ еще ни одинъ изъ русскихъ писателей, не исключая Ломоносова и Державина“. Онъ сдѣлался любимцемъ читающей публики; для нѣкоторыхъ его сочиненій потребовались новыя изданія ⁸²⁾, а нѣкоторыя даже были переведены на иностранные языки ⁸³⁾. Старикъ Херасковъ въ московскомъ литературномъ кружкѣ былъ прозванъ старостой русской литературы; сравнительно съ нимъ еще очень молодого Карамзина тамъ же почтили именемъ ея десятичника. Молодежь не только имъ зачитывалась, но благоговѣла передъ нимъ. Казалось бы, все складывалось такъ, чтобы писатель чувствовалъ себя счастливымъ; но... Карамзинъ себя такимъ не чувствовалъ: у него были скорби, глубоко волновавшія его душу—и на нихъ мы должны нѣсколько остановиться.

Скорби Карамзина были—съ одной стороны, такъ сказать, домашнія, обусловливавшіяся разнаго рода бѣдами, постигавшими тѣхъ людей, къ которымъ онъ былъ сердечно привязанъ, а съ другой—онѣ вытекали изъ современныхъ политическихъ событій и касались Карамзина, какъ энтузіаста просвѣщенія. Мы остановимся прежде на первыхъ.

Зимою 1791 г. Петровъ, больной уже въ значительной степени, уѣхалъ въ Петербургъ. Карамзинъ съ грустью расстался со своимъ другомъ и написалъ на разлуку съ нимъ стихотвореніе, въ которомъ измилъ свои элегическія чувства и которое закончилъ слѣдующими строками:

Прости! твой другъ умереть тебя достойнымъ,
 Послушнымъ истинѣ, въ душѣ своей покойнымъ.
 Не скажутъ ввѣкъ объ немъ, чтобъ онъ чиновъ искалъ...
 Предъ Богомъ только онъ колѣна преклоняетъ;
 Страшится—одного себя;
 Достоинства одни сердечно уважаетъ,
 И любить всей душой тебя.

Проводивъ Петрова, Карамзинъ сильно тревожился его положеніемъ, переписывался о немъ съ Дмитріевымъ и, по мѣрѣ приближенія печальнаго конца, становился все тревожнѣе и тревожнѣе. Февраля 17-го 1793 г. онъ писалъ Дмитріеву: „Не можешь вообразить, въ какомъ я безпокойствѣ объ Александрѣ Андреевичѣ. Ужели пришелъ конецъ его? Эта мысль для меня слишкомъ мучительна. Пожалуй, мой другъ, увѣдомь—и если можно, увѣдомляй меня всякую почту, каковъ онъ; пиши хотя по одной строчкѣ“.—Въ мартѣ Петровъ умеръ. „Итакъ его уже нѣтъ! Одному мнѣ извѣстно, чего я въ немъ лишился—и сердце мое долго, долго не привыкнетъ къ своей потерѣ“,—писалъ Карамзинъ къ тому же Дмитріеву 21-го марта.

Кромѣ нѣжной привязанности къ Петрову, у Карамзина была не менѣе нѣжная привязанность къ семейству Алексѣя Александровича Плещеева, предсѣдателя какой-то палаты. Жена его (Настасья Ивановна, урожденная Протасова), образованная женщина, питала къ Карамзину, какъ говоритъ Дмитріевъ, чувства нѣжнѣйшей матери. Карамзинъ тоже очень любитъ и уважалъ ее, называлъ Аглаей ⁸⁴), и въ честь ея-то далъ это имя одному изъ своихъ несрочныхъ сборниковъ. Съ семействомъ Плещеевыхъ онъ познакомился еще въ 1786 г. и чувствовалъ себя въ немъ, какъ въ родномъ домѣ. Между тѣмъ къ 1795 году семья эта очутилась въ очень затруднительныхъ денежныхъ обстоятельствахъ, да вдобавокъ самъ Плещеевъ началъ прихварывать. Горестное положеніе семьи просто мучило Карамзина—и вотъ онъ (въ началѣ 1795 г.) ѣдетъ въ Симбирскъ, продастъ братьямъ свою часть имѣнія за 16 тысячъ и, по мѣрѣ полученія денегъ по срочнымъ векселямъ, передаетъ ихъ Плещеевымъ ⁸⁵), а самъ рѣшается жить лишь литературнымъ трудомъ своимъ. Въ одномъ изъ писемъ къ Дмитріеву ⁸⁶) онъ говоритъ: „Если бы только мои Плещеевы могли выпутаться изъ долговъ, я согласился бы работать день и ночь для своего пропитанія“.

Указанныя пока скорби Карамзина были чисто домашняго характера; но рядомъ съ ними Карамзину пришлось переживать и такія, которыя отчасти вызывались глубокимъ сочувствіемъ къ бѣдствіямъ

друзей, а отчасти обуславливались и чувством нѣкотораго стѣсненія.

Императрица Екатерина II, никогда не жаловавшая масонство, взволнованная происшествіями на Западѣ, заподозрила Новикова и его кружокъ въ политическихъ замыслахъ—и надъ масонами разразилась гроза ея: Дружеское общество перестало существовать еще съ ноября 1791 г., а въ апрѣлѣ 1792 г. Новиковъ былъ арестованъ. Разореніе гнѣзда, столь ему родного, больно отозвалось въ сердцѣ Карамзина и вызвало его оду: „Къ Милости“, которую авторъ напечаталъ въ Московскомъ журналѣ, не смотря на то, что немилость императрицы къ масонамъ отразилась въ извѣстной степени и на издателѣ этого журнала: государыня, принимая во вниманіе прежнюю связь Карамзина съ Новиковскимъ кружкомъ, относилась къ нему довольно холодно.

Въ своей одѣ, сказавъ, что ничего нѣтъ святѣе Милости, дщери благихъ небесъ, авторъ обращается къ императрицѣ съ такими смѣлыми словами:

Доколѣ милостію будешь,
Доколѣ права не забудешь,
Съ которымъ человѣкъ рождень;
Доколѣ гражданинъ довольный
Безъ страха можетъ засыпать,
И дѣти-подданные вольны
По мыслямъ жизнь располагать,
Природой наслаждаться,
Вездѣ наукой украшаться,
И славить прелести Твои;
Доколѣ злоба, дщерь Тифона,
Пребудетъ въ мракъ удалена
Отъ свѣтлозолотого трона;
Доколѣ правда не страшна,
И чистый сердцемъ не боится
Въ своихъ желаніяхъ открыться
Тебѣ, Владычицѣ души;
Доколѣ всѣмъ даешь свободу,
И свѣта не темнишь въ умахъ;
Пока довѣренность къ народу
Видна во всѣхъ Твоихъ дѣлахъ:
Дотолѣ будешь свято чтима,
Отъ подданныхъ боготворима
И славима изъ рода въ родъ.
Спокойствія Твоей державы
Ничто не можетъ возмутить;
Для чадъ Твоихъ нѣтъ большей славы.
Какъ вѣрность къ Матери хранить.
Тамъ тронъ вовѣкъ не потрясется,
Гдѣ онъ любовію брежется,
И гдѣ на тронѣ—Ты сидишь.

Наступившій затѣмъ 1793 г. принесъ съ собою еще большія волненія: кровавыя событія на Западѣ навели отчаяніе на Карамзина, какъ энтузіаста просвѣщенія, и заставили его пережить цѣлую драму, о которой мы теперь лишь упоминаемъ, а подробно разсмотримъ ее ниже, въ связи съ отразившими ее сочиненіями. Но не успѣлъ Карамзинъ успокоиться, какъ въ 1794 г. началась въ душѣ его новая драма: энтузіастъ просвѣщенія хочетъ дѣйствовать на его пользу—и встрѣчаетъ стѣсненіе со стороны цензуры и вообще начинаетъ чувствовать реакціонный духъ, отличавшій послѣдніе годы царствованія Екатерины. — духъ, вызванный, конечно, тѣми же кровавыми событіями въ Европѣ. — За этими годами наступилъ еще болѣе строгій режимъ правленія императора Павла. Карамзинъ долженъ былъ умѣрять свою литературную дѣятельность. Тогдашнее настроеніе его, о которомъ мы тоже скажемъ подробнѣе впослѣдствіи, можетъ быть пока охарактеризовано слѣдующими выраженіями изъ его писемъ къ Дмитріеву: „Сладкое и горькое—все перемѣшано въ моей чашѣ; боюсь, чтобы послѣднее не заглушило перваго“ ⁸⁷). — „Развѣ хорошее время будетъ моимъ лѣкаремъ“ ⁸⁸).

Хорошее время настало съ 12 марта 1801 года.

Отмѣтимъ еще нѣсколько фактовъ изъ жизни Карамзина, относящихся къ послѣднему пятилѣтію XVIII-го вѣка.—Въ 1795 г. онъ принималъ участіе въ изданіи „Московскихъ Вѣдомостей“ веденіемъ особаго отдѣла подъ названіемъ „Смѣси“, что соотвѣтствовало нынѣшнимъ такъ называемымъ фельетонамъ. Въ 1797 г. онъ началъ изучать итальянскій языкъ. „Я нынѣ весь въ итальянскомъ языкѣ; сплю и вижу Метастазія; его Libertá знаю наизусть“,—писалъ онъ своему другу. Ему же года черезъ полтора заявляетъ онъ, что умножилъ свою библіотеку новыми покупками только не романами, а философскими и историческими книгами. Карамзинъ, очевидно, уже готовился къ своему будущему большому труду.

Интересно сохранившееся отъ того времени описаніе наружности Карамзина, его жилища и нѣкоторыхъ чертъ его личности. Осенью 1799 г. пріѣзжалъ въ Москву молодой казанскій литераторъ, авторъ баллады: „Громвалъ“—Каменевъ. Захотѣлось ему повидать знаменитаго писателя—и онъ былъ представленъ Карамзину сыномъ Ив. П. Тургенева. Эту встрѣчу Каменевъ описалъ въ письмѣ къ своему пріятелю—Москательникову, гдѣ между прочимъ говоритъ слѣдующее:

„Поѣхали мы на Никольскую улицу и взошли въ нижній

этажъ зелененькаго дома (Шмита), гдѣ г. Карамзинъ нанимаетъ квартиру. Мы застали его съ Дмитріевымъ... Увидавши насъ, Карамзинъ всталъ изъ вольтеровскихъ креселъ, обитыхъ алымъ сафьяномъ, подошелъ ко мнѣ, взялъ за руку и сказалъ, что онъ любить знакомиться съ молодыми людьми, любящими литературу... Онъ росту болѣе, нежели средняго, черноглазъ, носъ довольно великъ, румянецъ неровный, а бакенбартъ густой. Говоритъ скоро, съ жаромъ... Дмитріевъ росту высокаго, волосовъ на головѣ мало, косъ и худощавъ. Они живутъ очень дружно и обращаются просто... Комнаты его очень хорошо убраны, и на стѣнахъ много портретовъ французскихъ и итальянскихъ писателей... Сколь онъ ни добръ, сколь характеръ его ни кротокъ, но имѣетъ много непріятелей, которые изъ зависти ему вредить стараются“⁸⁹).

Въ указанной въ этой главѣ литературной дѣятельности Карамзина и заключается главное значеніе его, какъ писателя до-Александровской эпохи. Но прежде, чѣмъ разсматривать въ цѣломъ его Московскій журналъ и несрочные сборники, мы разсмотримъ сперва въ отдѣльности болѣе важныя произведенія самого Карамзина, а именно его „Письма р. путешественника“ и повѣсти; затѣмъ обратимся къ тѣмъ его сочиненіямъ, которыя находятся въ связи съ двумя пережитыми имъ драмами, и наконецъ представимъ очеркъ его стихотвореній.

VII. Письма русскаго путешественника.

1. Происхожденіе „Писемъ“ и степень ихъ оригинальности.

Благодаря изслѣдованію В. В. Сиповскаго⁹⁰), мнѣніе, будто „Письма р. путешественника“ суть тѣ самыя письма, которыя Карамзинъ посылалъ изъ-за границы семейству Плещеевыхъ, оказывается невѣрнымъ—и упомянутое произведеніе нашего писателя приходится считать не чѣмъ инымъ, какъ *обработкой его путсвого журнала*. По изслѣдованію Сиповскаго, Карамзинъ дѣйствительно „описывалъ свои впечатлѣнія не на досугѣ, не въ тишинѣ кабинета, а гдѣ и какъ случалось, дорогой, на лоскуткахъ, карандашомъ“; но это описаніе имѣло характеръ лишь сырого матеріала, который потомъ, по возвращеніи Карамзина въ Москву, былъ имъ обстоятельно обработанъ и мало-помалу изданъ. Сиповскій приводитъ много весьма вѣскихъ доказательствъ въ пользу своего мнѣнія—и однимъ изъ нихъ является установленіе факта,

что Карамзинъ изъ-за границы не только не писалъ къ Плещеевымъ длинныхъ и подробныхъ писемъ, но и краткія извѣщенія о себѣ присылалъ имъ „не особенно часто“. Другимъ важнымъ фактомъ служить то обстоятельство, что Карамзинъ „отправился въ путь уже съ расчетомъ описать его и обнародовать въ будущемъ“. „Мы можемъ даже“,—говоритъ авторъ изслѣдованія,— „съ увѣренностью сказать, откуда явилась у Карамзина мысль вести путевой журналъ: Лафатеръ, передъ которымъ Карамзинъ благоговѣлъ, каждымъ словомъ котораго дорожилъ, какъ откровеніемъ, настойчиво совѣтовалъ путешествующимъ юношамъ вести такой дневникъ. Онъ говоритъ: *«gewöhnen sie sich, Ihre Beobachtungen in bestimmte, deutliche, darstellende Worte zu fassen und die wichtigsten davon kurz und auf der Stelle aufzuzeichnen... Gar sehr wurd' ich Ihnen ein Tagebuch zu halten anrahten mögen»* *). «Разныя правила для путешествующихъ» **), пишетъ Карамзинъ. Лафатеру 15-го марта 1789 г. — «мнѣ теперь особенно дороги, а почему? Потому что самъ я скоро, очень скоро—собираюсь путешествовать». Николай, писатель, уважаемый въ Новиковскомъ кругу, въ предисловіи къ своему «Путешествію по Германіи» заявляетъ: *«ein Reisender muss nothwendig ein ausführliches Tagebuch von seinen Beobachtungen und Bemerkungen halten und täglich fortführen»*. У Руссо Карамзинъ тоже нашелъ сочувственный отзывъ о путевыхъ журналахъ. Этотъ высокочтимый Карамзинымъ писатель въ своихъ «Confessions» говоритъ: *«La chose, que je regrette le plus dans les détails de ma vie, dont j'ai perdu la mémoire, c'est de n'avoir pas fait les journaux de mes voyages»*. Въ XVIII в. вообще обыкновеніе вести мемуары, дневники было явленіемъ очень распространеннымъ: въ «Письмахъ р. путешественника» рассказанъ одинъ комическій эпизодъ *); свидѣтель этого эпизода, какой-то нѣмецкій капитанъ, даже не спрашивая Карамзина, ведетъ ли онъ записки, прямо обращается къ нему съ просьбой: «Если когда-нибудь издадите вы журналъ своего путешествія, то прошу васъ не забыть шпоръ»“.

Что же касается эпистолярной формы журнала Карамзина, то она выбрана была, конечно, изъ подражанія. Сиповскій, занимаясь сличеніемъ „Писемъ“ Карамзина съ описаніями путешествій

*) Lavater, „Brüderliche Schreiben“, II Aufl. 1787 г. 43 стр. (Прим. Сиповскаго).

**) Сочиненіе того же Лафатера (Прим. Сиповскаго).

***) К—нъ, Соч. II, 53 (Прим. Сиповскаго).

XVIII вѣка, нашелъ, что послѣднія „почти всѣ составлены въ видѣ писемъ, всѣ они изобилуютъ обращеніями къ друзьямъ, оставшимся на родинѣ, всѣ носятъ характеръ бесѣды съ этими друзьями“.

Итакъ „Письма р. путешественника“ представляютъ собою обработку путевого журнала Карамзина въ модной и распространенной тогда эпистолярной формѣ.

Но обработка эта заключалась ли только въ приданіи журналу формы писемъ къ оставшимся на родинѣ друзьямъ?—То же изслѣдованіе Сиповскаго убѣждаетъ, что, обрабатывая свой журналъ, Карамзинъ заботился не только о формѣ, но и о содержаніи.

Во время своего заграничнаго путешествія Карамзинъ, несомнѣнно, имѣлъ въ карманѣ записную книжку, въ которую записывалъ результаты своихъ осмотровъ и наблюденій; но осматривалъ и наблюдалъ онъ не безъ руководства: онъ руководился многими уже раньше его сдѣланными описаніями, съ которыми онъ ознакомился частію еще до поѣздки, въ Москвѣ, а частію во время самаго путешествія. Когда, по возвращеніи въ Москву, онъ принялся за обработку своихъ „Писемъ“, то матеріаломъ для нихъ послужили какъ замѣтки въ записной книжкѣ, такъ и знакомыя ему описанія путешествій другихъ авторовъ. Между этими послѣдними главнѣйшее мѣсто занимали, по указанію Сиповскаго, слѣдующія сочиненія:

„Nouvelle description des environs de Paris“ и „Nouvelle description des curiosités de Paris“ Дюлора (Dulaure). „Оба эти произведенія“—говоритъ Сиповскій—„имѣли для Карамзина огромное значеніе: они не только дали много матеріала для «Писемъ р. путешественника», но, вѣроятно, въ нѣкоторой степени помогли Карамзину выработать манеру описывать разныя достопримѣчательности живо и интересно. Дюлоръ постоянно пользуется различными историческими анекдотами «pour instruire et amuser alternativement les Lecteurs»... Какъ Дюлоръ, Карамзинъ всегда обращаетъ большое вниманіе на различныя гробницы, списываетъ эпитафіи“. Затѣмъ авторъ изслѣдованія приводитъ нѣсколько сопоставленій, которыми убѣждаетъ, что „описаніе окрестностей Парижа въ «Письмахъ р. путешественника» — сокращенный перифразъ сочиненія Дюлора“. Вотъ, для примѣра, нѣсколько строкъ изъ этихъ сопоставленій.

Fontainebleau:

...depuis ces deux époques plusieurs Rois ont séjourné à Fontainebleau et y ont fait des établissements... S. Louis y fonda le Couvent des Religieux de la Sainte Trinité; et l'on voit beaucoup de lettres de ce Prince, qui se terminent par ces mots: *Donné en nos Déserts de Fontainebleau*... François I-er a recherché sur ses prédécesseurs par les vastes constructions, qu'il y a faites, par la magnificence et le bon goût qu'il y a répandu.

(...опредѣляетъ мѣсто, гдѣ)... le 6 Novembre 1657 fut assassiné le Marquis Monaldeschi par ordre de Christine, Reine du Suède, dont il étoit grand Ecuyer... On dit que le Marquis de Monaldeschi étoit son Amant.

En faisant l'histoire des Amours des Rois de France, Sauval nous peint les mœurs corrompues du siècle de François premier et d'Henri II...

Исследователь удостовѣряетъ, что такъ же „поразительно близко къ Дюлору“ описаны у Карамзина и другія окрестности Парижа: Сюрень, Исси, Версаль, Мёдонъ, Севе, Трианонъ, Отель, Аббатство св. Дениса, Багатель, Марли, Эрмитажъ, Мон-Моранси, Бельвю, Эрменонвиль, Шантильи и др. Однако къ этому удостовѣренію авторъ изслѣдованія присовокупляетъ слѣдующее: „спѣшимъ добавить, что нѣкоторыя добавленія, сдѣланныя Карамзинымъ къ Дюлору, выраженія его собственныхъ чувствъ, наконецъ, сравнительно небольшое количество описанныхъ окрестностей—все это, какъ намъ кажется, доказываетъ, что Карамзинъ писалъ только о томъ, что самъ видѣлъ“.

Вторымъ изъ указанныхъ сочиненій Дюлора Карамзинъ пользовался еще шире: нѣкоторыя мѣста изъ него онъ переводилъ почти дословно. Такія мѣста встрѣчаются въ описаніи Лувра, Тюльери, Французской Академіи и др. II мѣста эти Сиповскимъ указаны. Вотъ одно изъ нихъ:

Palais des Tuilleries, ainsi nommé, parce qu'on y fabriquoit de la tuile. Catherine de Médicis le fit bâtir en 1694. Toute la face de ce palais consiste en cinq pavillons, et quatre

Фонтенебло есть маленький городокъ, окруженный лѣсами, въ которыхъ французскіе короли забавлялись звѣриною ловлею. Св. Людовикъ подписывалъ на указахъ: *donné en nos déserts de Fontainebleau*... Тогда не было здѣсь почти ничего, кромѣ двухъ или трехъ церквей и монастыря; но Францискъ I построилъ въ пустынѣ огромный дворецъ и украсилъ его лучшими произведеніями итальянскаго искусства.

...показываютъ мѣсто, гдѣ жестокая Христина въ 1659 (?) году страшнѣйшимъ образомъ умертвила своего штальмейстера и любовника, маркиза Мональдески...

Соваль, адвокатъ парижскаго парламента, описывая любовныя похождения королей французскихъ, говоритъ, что вѣкъ Франциска I былъ самый развращенный.

Имя произошло отъ tuile, то-есть черепицы, которую нѣкогда тутъ дѣлали. Сей дворецъ построенъ Катериной Медицисъ, состоитъ изъ пяти павильоновъ съ четырьмя

corps-de-logis sur une même ligne. Les colonnes de la façade de côté du Caroussel sont de marbre brun et rouge; sur l'entablement régnе un fronton avec les armes de France.

коръ-де-логи; украшенъ мраморными колоннами, фронтономъ, статуями и, наконецъ, изображеніемъ лучезарнаго солнца — девизомъ Людовика XIV.

По убѣдительному доказательству Сиповскаго, довольно много матеріала дала Карамзину работа Saintfoix: „Essais historiques sur Paris“. Ею онъ пользовался для описанія напр. улицы Трюандери, улицы писателей, церкви св. Кома.

Имѣло вліяніе на Карамзина и сочиненіе Мерсье: „Tableau de Paris“: оно „дало ему философскую точку зрѣнія на Парижъ“ и научило его манерѣ „изображать парижскую сутолоку при помощи удачнаго группированія пестрыхъ образовъ“. И за усвоеніе этой манеры авторъ изслѣдованія хвалитъ Карамзина. Карамзинъ, — говоритъ онъ, — „прибѣгаетъ къ ней всякій разъ, когда ему приходится говорить объ общемъ впечатлѣніи, полученномъ имъ отъ шумнаго, суебливаго Парижа; когда ему хочется изобразить парижскую толпу, подвижную, говорливую; когда ему надо въ одной картинѣ представить цѣлый рядъ впечатлѣній. Эти страницы, встрѣчающіяся только въ письмахъ, посвященныхъ Парижу, принадлежатъ къ самымъ блестящимъ въ произведеніи Карамзина; онѣ обнаруживаютъ въ немъ умѣніе справляться съ многочисленными разнообразными впечатлѣніями, нахлынувшими на него, умѣніе создавать изъ этого множества отдѣльныхъ картинокъ — одну большую панораму. Мерсье облегчилъ Карамзину эту трудную задачу, давъ въ своей книгѣ цѣлый рядъ подобныхъ картинъ“.

Справочныя книги, которыми пользовался Карамзинъ, заключали въ себѣ не только одни факты, но и взгляды и чувства ихъ авторовъ. Относительно фактической стороны мы уже знаемъ, что Карамзинъ пользовался этими книгами лишь по отношенію къ тому, что видѣлъ и наблюдалъ самъ, при чемъ есть доказательства, что въ случаѣ несогласія найденнаго имъ описанія съ дѣйствительностью, онъ прямо указывалъ на это несогласіе. Такъ поступилъ онъ напр. съ Архенгольцевымъ описаніемъ Кингс-Бенча, лондонской темницы для неплатящихъ должниковъ, и заявилъ, что оригиналъ гораздо ниже его портрета⁹¹⁾. То же самое надо сказать и относительно взглядовъ и чувствъ тѣхъ авторовъ, сочиненіями которыхъ Карамзинъ пользовался, какъ справочными книгами. Онъ охотно бралъ изъ этихъ сочиненій тѣ мѣста, въ которыхъ выраженные взгляды и чувства совпадали съ его собственными взглядами и чувствами, тѣми взглядами и чувствами.

которые были свойственны ему, какъ ученику Шадена, Новикова, кружка и оптимистовъ; такія мѣста онъ переводилъ, перефразировалъ, словомъ сказать—пользовался ими, какъ готовымъ уже выраженіемъ своихъ собственныхъ мыслей, своихъ чувствъ и убѣжденій. Но если онъ встрѣчалъ въ этихъ сочиненіяхъ что-либо несогласное съ своимъ обычнымъ міровоззрѣніемъ, съ своими симпатіями, онъ это или вовсе обѣгалъ, или излагалъ объ этомъ по-своему. Вотъ доказательства.

Карамзинъ усвоилъ себѣ философскую точку зрѣнія Мерсье на Парижъ, какъ на новый Вавилонъ, потому что она пришлась по душѣ ему, врагу тщеславной роскоши и пустой суеты великосвѣтскихъ салоновъ. Но то раздраженіе, которое вызываетъ у Мерсье безцеремонныя шутки и дерзости по отношенію къ двору и правительству современной ему Франціи ⁹²⁾, не только не поразило Карамзина, а наоборотъ, онъ замѣнилъ его чрезвычайно сочувственными отзывами о королѣ, королевѣ и дофинѣ ⁹³⁾. Далѣе: пользуясь при описаніи Лондона сочиненіемъ Архенгольца: „England und Italien“ (Leipzig, 1787), Карамзинъ, говоря о семейной жизни англичанъ, „лишь повторяетъ и развиваетъ основныя мысли нѣмецкаго автора“. Но Архенголецъ былъ страстный англоманъ. „Пристрастіе его къ англичанамъ“,—говоритъ Сиповскій,—„сказывается довольно неумѣренно: онъ точно поставилъ себѣ задачей оправдать ихъ отъ тѣхъ обвиненій, которыя, часто повторяемыя всѣми путешественниками, сдѣлались какъ бы чертами ихъ характера. Англичане являются у него верхомъ совершенства во всѣхъ отношеніяхъ: они вовсе не грубы, а прямодушны; они благотворительны; самоубійства у нихъ вовсе не часты; по отношенію къ иностранцамъ они совсѣмъ не такъ дерзки, какъ это думаютъ о нихъ; воровъ и разбойниковъ у нихъ относительно немного; торговля неграми для нихъ необходима. Даже климатъ Англіи находитъ въ немъ защитника: этотъ климатъ, по его убѣжденію, вовсе не вреденъ для здоровья“. Карамзинъ, до поѣздки за границу и самъ увлекавшійся англичанами, побывавъ въ Лондонѣ, далеко не во всемъ согласился съ Архенгольцемъ—и относительно многого пришелъ къ мнѣнію прямо противоположному.

Итакъ, кромѣ данныхъ чисто фактическихъ, Карамзинъ бралъ изъ своихъ справочныхъ книгъ лишь то, что въ нихъ гармонировало съ его внутреннимъ міромъ. Въ этомъ случаѣ, какъ уже сказано, онъ видѣлъ въ нихъ какъ бы выраженіе его собственныхъ чувствъ и мыслей, и охотно пользовался такимъ готовымъ уже выраженіемъ. Послѣ этого не удивительно, что въ „Письмахъ р.

путешественника“ встрѣчается особенно много сходнаго съ сочиненіемъ Морица: „Reisen eines Deutschen in England“. Причина такого явленія объяснена у Сиповскаго слѣдующими словами: „Молодого нѣмца интересовало буквально то же, что и русскаго путешественника; оба автора и по натурѣ, и по характеру, и по развитію замѣчательно походили другъ на друга. Какъ Карамзинъ, Морицъ отправился путешествовать юношей, хорошо развитымъ, съ запасомъ вопросовъ, разрѣшить которые онъ хотѣлъ во время своего путешествія по Англіи. Страна эта манила его, какъ и Карамзина, еще съ дѣтства... Англія интересовала его своимъ политическимъ устройствомъ; своей богатой литературой, оригинальнымъ характеромъ ея жителей. Онъ внимательно приглядывается къ англичанамъ, ихъ нравамъ, наблюдаетъ жизнь городскую и деревенскую. Онъ всегда осматриваетъ достопримѣчательности, посѣщаетъ правительственныя учрежденія и разсуждаетъ объ ихъ достоинствахъ. Особенно интересуется его англійская литература. Сходство двухъ путешественниковъ простирается до того, что видъ просвѣщенной Англіи всегда вызываетъ у Морица и Карамзина сравненіе съ отечествомъ. Природа Англіи также занимаетъ Морица. Часто съ англійскими поэтами въ рукахъ свѣряетъ онъ оригиналь съ картиной. То же дѣлаетъ и Карамзинъ... Какъ у Карамзина, описанія природы сводятся у Морица часто къ описанію своихъ чувствъ... Подобно Карамзину, онъ интересуется постоянно своей психикой... У него можно найти фразы, постоянно попадающіяся въ произведеніяхъ другихъ сентиментальныхъ писателей, въ томъ числѣ и Карамзина: «лежъ подъ тѣнью зеленаго куста; читалъ Мильтона и восхищался величіемъ прекрасной природы»; «читалъ нѣсколько времени Мильтона и написалъ въ своей записной книжкѣ, что никогда не забуду сего дерева, которое такъ благосклонно приняло подъ гостепріимную тѣнь свою утомленнаго странника». Наконецъ отношеніе Морица къ друзьямъ, оставшимся на родинѣ, напоминаетъ тоже Карамзина съ его «Письмами»: „идучи далѣе, мечталъ о своей родинѣ, своихъ знакомыхъ и о тебѣ, любезный другъ! и думалъ: если бы они меня тутъ увидѣли! Въ сію минуту первый разъ почувствовалъ я, что нахожусь въ отдаленіи, и странствую по Англіи... Это произвело во мнѣ такое чувство, которое во всю мою жизнь не болѣе нѣсколькихъ разъ меня посѣщало... Сходство, сближающее обоихъ писателей, дѣйствительно порою поразительное, объясняется прежде всего тѣмъ обстоятельствомъ, что Карамзину пришлось описывать то, что уже раньше было описано

Морищемъ. Да, кромѣ того, замѣчательная близость духовныхъ интересовъ и развитія заставила обоихъ писателей смотрѣть на все съ одной и той же точки зрѣнія. Съ другой стороны, нельзя, конечно, отрицать и прямого вліянія Морица“.

На письмахъ Карамзина, описывающихъ Швейцарію, замѣтны, какъ утверждаетъ Сиповскій, слѣды вліянія сочиненія Кокса: «Lettres de M. William Coxe à M. W. Melmoth sur l'état politique, civil et naturele de la Suisse“. Оно переведено съ англійскаго и значительно дополнено Рамономъ (Ramond). И сочиненіе Кокса и дополненія Рамона „нравились Карамзину, главнымъ образомъ благодаря обилію и обстоятельности описаній картинъ природы. Карамзину часто приходилось въ своихъ «Письмахъ» рисовать тѣ же пейзажи или подобные, и на манеръ его письма сказалось, по нашему мнѣнію, нѣкоторое вліяніе работъ Кокса и Рамона“.

Наконецъ интересно и слѣдующее наблюденіе Сиповскаго: „Сочиненіе Nikolai: «Berlin et Potsdam» было знакомо Карамзину; онъ, рассказывая о порядкахъ Берлинской Королевской библіотеки, говоритъ: «такимъ образомъ Д^н взялъ для меня Николаево описаніе Берлина, которое хотѣлось мнѣ посмотреть». Но, вѣроятно, Карамзинъ ничего не вынесъ изъ чтенія этой книги,— до такой степени она неудобочитаема: это — подробнѣйшій перечень улицъ, церквей, общественныхъ зданій и т. д., не освѣщенный ни одной живой чертой. Потому, вѣроятно, и описаніе Берлина въ «Письмахъ р. путешественника» отличается бѣглостью, неполнотою: у Карамзина не было подъ руками такихъ обстоятельныхъ описаній, какія были для Парижа и Лондона: приходилось главнымъ образомъ руководствоваться бѣглыми, отрывочными замѣтками, набросанными въ записной книжкѣ“.

Касаясь внутренняго міра Карамзина, какъ автора „Писемъ р. путешественника“, мы до сихъ поръ имѣли въ виду болѣе или менѣе прочныя его воззрѣнія, убѣжденія и симпатіи. Но, назвавъ эти „Письма“ *зеркаломъ своей души*, Карамзинъ намекалъ на отраженіе въ нихъ и разнаго рода временныхъ настроеній, иногда даже мимолетныхъ порывовъ чувства. Сиповскій въ своемъ изслѣдованіи не оставилъ безъ вниманія и эту сторону внутренняго міра Карамзина—и изъ относящейся къ этому вопросу части его статьи мы можемъ извлечь слѣдующее:

1) „Письма р. путешественника“ чрезвычайно богаты разнообразіемъ мотивовъ чувства автора. „Если мы“—говоритъ Сипов-

скій—,можемъ назвать, напримѣръ, Томсона и Клейста—элегиками, Геснера—идилликомъ, то къ Карамзину не приложима ни одна изъ такихъ характеризующихъ поэта кличекъ. Онъ—и идилликъ, и элегикъ, и сатирикъ, и трезвый историкъ“.

2) „Письма р. путешественника представляютъ любопытнѣйшее сочетаніе всѣхъ впечатлѣній, всѣхъ настроеній, всѣхъ интересовъ, которыми жилъ Карамзинъ *до путешествія и во время путешествія*“. А это означаетъ вотъ что. Карамзинъ, по выраженію Сиповскаго, отправился путешествовать, „насквозь пропитанный западною сентиментальною литературой“, т.-е. произведеніями Томсона, Клейста, Юнга, Оссіана, Стерна, Руссо, Клопштока, Галлера, Геснера и др. Впечатлѣнія, воспріятыя имъ отъ дѣйствительности, у него тотчасъ же ассоціировались со впечатлѣніями, воспріятыми раньше, при чтеніи упомянутыхъ писателей—и въ результатъ получался въ одномъ случаѣ Карамзинъ-Томсонъ или Карамзинъ-Клейстъ, въ другомъ—Карамзинъ-Геснеръ, въ третьемъ Карамзинъ-Оссіанъ и т. д. „Когда Карамзинъ груститъ по какой бы то ни было причинѣ“—говоритъ авторъ изслѣдованія, — „мы всегда слышимъ у него тѣ же мотивы, съ которыми встрѣчались при чтеніи сентиментальныхъ элегій Клейста, Томсона. Когда онъ примиренными глазами смотритъ на міръ, который въ его глазахъ получаетъ тогда идиллическую окраску, — мы припоминаемъ Геснера, Маттисена съ ихъ пастушескими идилліями. Когда картины природы мрачны, ему вспоминаются оссіановскіе пейзажи. Если обстоятельства складываются такъ, что можно къ нимъ отнести юмористически, и настроеніе его въ данную минуту этому не противится,—юморъ Стерна готовъ къ его услугамъ. Но подъ особенно сложнымъ вліяніемъ былъ Карамзинъ въ Швейцаріи: то онъ предается философско-эстетическимъ мечтамъ Галлера, то впадаетъ въ слащавый тонъ Геснера, то увлекается тѣми же мыслями, что и Клопштокъ“. Само собою разумѣется, что не забывался Карамзиннымъ и любимый его поэтъ—Руссо.

Нельзя однако не замѣтить, что Карамзинъ любилъ и *подновлять* пережитыя впечатлѣнія отъ прочитаннаго: онъ любилъ въ извѣстной обстановкѣ перечестъ подходящее къ ней мѣсто изъ знакомаго поэта. Такъ, напримѣръ, полюбовавшись въ Веймарѣ „дикими, мрачными“ берегами стремительно текущаго ручья, онъ садится „на мшистомъ камнѣ“ и перечитываетъ первую книгу Фингала; желая увидѣть тѣ мѣста, „въ которыхъ безсмертный Руссо поселилъ своихъ романтическихъ любовниковъ“, онъ от-

правляется туда „съ Элоизою въ рукахъ“; плывя изъ Англіи по морю, онъ смотритъ, какъ „быстрый корабль черною своею грудью разсѣкаетъ волны“, и читаетъ Оссіана. И вотъ какое наслажденіе приготовилъ себѣ Карамзинъ этимъ чтеніемъ: корабль уже у береговъ Норвегіи, въ области опасныхъ скалъ; Карамзинъ сидитъ съ капитаномъ у руля, дрожитъ отъ холоднаго вѣтра, но любитъся сѣдыми облаками, сквозь которыя проглядываетъ луна, прекрасно разливая свѣтъ свой на миллионы волнъ — и „какой праздникъ для его воображенія, наполненнаго Оссіаномъ!“

Послѣ всего сказаннаго надо ли говорить о томъ, что Карамзинъ-Галлеръ, Карамзинъ-Руссо могъ иногда стать въ противорѣчіе съ Карамзинымъ, какъ ученикомъ Шадена и Новикова? или нужно ли дивиться тому, что въ рѣчахъ автора „Писемъ р. путешественника“, этого жизнерадостнаго оптимиста, иногда вдругъ зазвучитъ отголосокъ міровой скорби и напомнитъ намъ о „Ночныхъ думахъ“ Юнга, который, въ противоположность Пону, утверждавшему, что человѣкъ сотворенъ для счастья, выдвигаетъ тѣневую сторону жизни и говорилъ:

«Бокъ-о-бокъ съ старостію опытъ къ могилѣ всѣхъ приводитъ насъ
Путемъ заботъ, трудовъ, опасностей, страданій,
Да убѣдимся мы хоть въ смертный этотъ часъ,
Что жизнь-то наша вся—рядъ золь и испытаній?» ⁹⁴⁾

2. Преобладающее впечатлѣніе отъ „Писемъ русскаго путешественника“.

Не смотря на то, что „Письма“ Карамзина представляютъ большое разнообразіе и содержанія и мотивовъ чувства ихъ автора; не смотря на то, что въ нихъ сочетаются всѣ впечатлѣнія и всѣ настроенія, которыми жилъ Карамзинъ до путешествія и во время его,—все-таки преобладающее впечатлѣніе отъ нихъ есть впечатлѣніе труда, написаннаго энтузіастомъ умственного и нравственнаго просвѣщенія. И въ этомъ впечатлѣніи заключается та ихъ сила, съ которою они дѣйствовали и на современниковъ и на послѣдующія поколѣнія. И силу эту давнымъ давно уже признали „силой цивилизующей“. Такъ называлъ ее еще Буслаевъ ⁹⁵⁾. Значительно позднѣе, уже въ ту пору, когда повѣйшая критика стала обращать особенное вниманіе на темныя стороны Карамзина, какъ писателя, за „Письмами р. путешественника“ все-таки не перестали признавать великаго цивилизующаго значенія. „Письма русскаго путешественника“, — говоритъ Анучинъ ⁹⁶⁾, — „были самымъ значительнымъ произведеніемъ Карамзина за всю первую половину его литературной дѣятельности. Ни въ какомъ другомъ

его произведений этого періода (можно сказать даже—ни въ какомъ другомъ произведеніи русской литературы конца прошлаго вѣка) не было соединено столько образовательнаго матеріала, столько интересныхъ данныхъ объ европейской литературѣ и цивилизаціи, ни одно не было проникнуто такимъ сочувствіемъ къ европейскому просвѣщенію, уваженіемъ къ выдающимся его представителямъ, увлеченіемъ успѣхами общественности; ни одно, наконецъ, не выдѣлилось въ подобной степени изяществомъ и простотой формы и легкостью языка, какъ эти „Письма“ молодого русскаго писателя, соединявшаго въ себѣ обширную литературную начитанность съ художественнымъ вкусомъ и съ общительностью свѣтскаго европейскаго человѣка“.

Въ этой главѣ мы и обратимся къ той сторонѣ „Писемъ“ Карамзина, которая составляетъ ихъ цивилизующую силу и характеризуетъ ихъ автора, какъ человѣка, страстно преданнаго умственнымъ и нравственнымъ интересамъ. Эта сторона обнаруживается прежде всего въ тѣхъ письмахъ, гдѣ Карамзинъ описываетъ свои посѣщенія представителей образованности западной Европы—ея поэтовъ, ученыхъ и философовъ. Описывая эти посѣщенія, Карамзинъ обыкновенно передаетъ, о чемъ шла у него бесѣда съ посѣщеннымъ имъ лицомъ, знакомитъ читателя съ его личностью и дѣятельностью, оцѣниваетъ эту послѣднюю и высказываетъ свои мысли, чувства, впечатлѣнія.

Первымъ городомъ, съ котораго начались эти посѣщенія, былъ Кенигсбергъ. Въ немъ Карамзинъ посѣтилъ Канта. Но пусть рассказываетъ самъ авторъ.

„Вчера, въ семь часовъ утра, пріѣхалъ я сюда, любезные друзья мои... Вчерась же послѣ обѣда былъ я у славнаго Канта, глубокомысленнаго, тонкаго метафизика, который опровергаетъ и Малербранша и Лейбница, и Юма и Боннета—Канта, котораго іудейскій Сократъ, покойный Мендельзонъ, иначе не называлъ, какъ *der alles zermalmende Kant*, т.-е. «все сокрушающій Кантъ». Я не имѣлъ къ нему писемъ; но смѣлость города беретъ—и мнѣ отворились двери въ кабинетъ его“. По поводу этихъ словъ Погодинъ замѣчаетъ: „Нельзя не остановиться на этой смѣлости: такому молодому человѣку, какимъ былъ тогда Карамзинъ, 22 лѣтъ, явиться къ Канту, напроситься на разговоръ съ нимъ философскій, предлагать свои сомнѣнія, привлечь его вниманіе, выразумѣть ясно его отвѣты—это явленіе необыкновенное, которое дастъ уже предчувствовать, чего должно ожидать отъ смѣльчака“. ⁹⁷⁾ „Меня“ — продолжаетъ Карамзинъ — „встрѣтилъ маленькій, ху-

денькій старичокъ, отмѣнно бѣлый и нѣжный. Первые слова мои были: «Я—русскій дворянинъ, люблю великихъ мужей, и желаю изъяснить мое почтеніе Канту». Онъ тотчасъ попросилъ меня сѣсть, говоря: «Я писалъ такое, что не можетъ нравиться всѣмъ; не многіе любятъ метафизическія тонкости». Съ полчаса говорили мы о разныхъ вещахъ: о путешествіяхъ, о Китаѣ, объ открытіи новыхъ земель. Надобно было удивляться его историческимъ и географическимъ знаніямъ, которыя, казалось, могли бы одни загромоздить магазинъ человѣческой памяти; но это у него, какъ нѣмцы говорятъ, дѣло постороннее. Потомъ я, не безъ скачка, обратилъ разговоръ на природу и нравственность человѣка,—и вотъ что могъ удержать въ памяти изъ его разсужденій:

„Дѣятельность есть наше опредѣленіе. Человѣкъ не можетъ быть никогда совершенно доволенъ обладаемымъ, и стремится всегда къ приобрѣтеніямъ. Смерть застаётъ насъ на пути къ чему-нибудь, что мы еще имѣть хотимъ. Дай человѣку все, чего желаетъ; но онъ въ ту же минуту почувствуетъ, что это *все* не есть *всѣ*. Не видя цѣли или конца стремленія нашего въ здѣшней жизни, полагаемъ мы будущую, гдѣ узлу надобно развязаться. Сія мысль тѣмъ пріятнѣе для человѣка, что здѣсь нѣтъ никакой соразмѣрности между радостями и горестями, между наслажденіемъ и страданіемъ. Я утѣшаюсь тѣмъ, что мнѣ уже шестьдесятъ лѣтъ, и что скоро придетъ конецъ жизни моей: ибо надѣюсь вступить въ другую, лучшую. Помышляя о тѣхъ наслажденіяхъ, которыя имѣлъ я въ жизни, не чувствую теперь я удовольствія; но представляя себѣ тѣ случаи, гдѣ дѣйствовалъ сообразно съ *закономъ нравственнымъ*, начертаннымъ у меня въ сердцѣ, радуюсь. Говорю о нравственномъ законѣ: назовемъ его совѣстью, чувствомъ добра и зла—но онъ есть. Я солгалъ; никто не знаетъ лжи моей, но мнѣ стыдно. Вѣроятность не есть очевидность, когда мы говоримъ о будущей жизни; но, сообразивъ все, разсудокъ велитъ намъ вѣрить ей. Да и что бы съ нами было, когда бы мы, такъ сказать, *глазами увидѣли ее*? Если бы она намъ очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынѣшнею жизнію и были въ безпрестанномъ томленіи; а въ противномъ случаѣ не имѣли бы утѣшенія сказать себѣ въ горестяхъ здѣшней жизни: *авось тамъ будетъ лучше!*—Но, говоря о нашемъ опредѣленіи, о жизни будущей и проч., предполагаемъ уже бытіе всевѣчнаго творческаго Разума, все для чего-нибудь, и все благотворящаго. Что? какъ?... Но здѣсь первый мудрецъ признается въ своемъ невѣжествѣ. Здѣсь разумъ погашаетъ свѣтильникъ свой, и мы во

тѣмъ остаемся; одна фантазія можетъ носиться во тѣмъ сей и творить несобытное»“.

„Онъ“—продолжаетъ потомъ Карамзинъ свой рассказъ—„записать мнѣ титулы двухъ своихъ сочиненій, которыхъ я не читалъ: Kritik der reinen Vernunft и Metaphysik der Sitten—и сію записку буду хранить, какъ священный памятникъ.—Вписавъ въ свою карманную книжку мое имя, пожелалъ онъ, чтобы рѣшились всѣ мои сомнѣнія; потомъ мы съ нимъ разстались.—Вотъ вамъ, друзья мои, краткое описаніе весьма любопытной для меня бесѣды, которая продолжалась около трехъ часовъ. Кантъ говоритъ скоро, весьма тихо и не вразумительно, и потому надлежало мнѣ слушать его съ напряженіемъ всѣхъ нервъ слуха. Домикъ у него маленькій, и внутри приборовъ не много. Все просто, кромѣ... его метафизики“.

Замѣтимъ и съ своей стороны, что та смѣлость Карамзина, на которую обращаетъ вниманіе Погодинъ, вытекала, конечно, изъ непреодолимаго желанія „рѣшить свои сомнѣнія“. Онъ шелъ къ Канту съ опредѣленной программой бесѣды, и если не съ разу приступилъ къ ея выполненію, то во всякомъ случаѣ обратилъ такъ разговоръ на *природу и нравственность человека*, т.-е. завелъ рѣчь о томъ вопросѣ, въ который онъ углублялся еще въ „Дружескомъ обществѣ“,—и теперь шелъ къ Канту, какъ ученикъ къ учителю,—за разъясненіемъ того, что въ изучаемомъ вопросѣ осталось еще неяснымъ. О чемъ именно шла у нихъ бесѣда—можно легко догадаться по отвѣтному разсужденію Канта, которое, какъ видно изъ прощальнаго пожеланія философа, и было направлено имъ къ тому, чтобы сомнѣнія молодого человека „рѣшились“.

Въ Берлинѣ Карамзинъ бесѣдовалъ съ Николаемъ. Въ письмѣ, описывающемъ эту бесѣду, читатель, кромѣ чрезвычайно близкаго знакомства Карамзина съ современной ему нѣмецкой литературой, найдетъ и другую черту нашего писателя, весьма знаменательную: черта эта—терпимость, соединенная съ тѣмъ благоволеніемъ къ людямъ, въ которомъ Карамзинъ такъ закалился еще въ „Дружескомъ обществѣ“. Вотъ это письмо: „Я видѣлся“—пишетъ Карамзинъ—„съ извѣстнымъ Николаемъ, авторомъ и книгопродавцемъ... Онъ встрѣтилъ меня съ такою ловкостію, съ такою учтивостію, какой бы нельзя было ожидать отъ нѣмецкаго ученаго и книгопродавца. «Васъ знаютъ и въ Россіи, сказалъ я ему: знаютъ, что нѣмецкая литература обязана вамъ частію своихъ успѣховъ. Пріѣхавъ въ Берлинъ, спѣшилъ я видѣть друга Лес-

сингова и Мендельсонова».—Благодарю васъ, отвѣчалъ онъ съ улыбкою, и посадилъ меня на софѣ... Скоро обратилъ я разговоръ на берлинскій іезуитизмъ. Надо знать, что съ нѣкотораго времени начали писать въ Германіи—или, лучше сказать, въ Берлинѣ, и Николай первый подалъ къ тому мысль—будто есть тайные іезуиты, которые всѣми силами стараются снова овладѣть Европою; будто Каліостро и подобные суть ихъ миссіонеры, которые, обольщая легковѣрныхъ людей пышными обѣщаніями, порабощаютъ ихъ власти тайныхъ іезуитскихъ начальниковъ, и проч. и проч. Съ сего времени стали вездѣ искать скрытыхъ іезуитовъ: между учеными и неучеными, между пасторами и солдатами. Въ сочиненіяхъ нѣкоторыхъ писателей нашли что-то іезуитское. Началась ужасная война, и Берлинскій журналъ, издаваемый Бистеромъ и Гедике, избранъ былъ въ театръ сей войны. Съ іезуитизмомъ слили въ одно католицизмъ... Николай въ бесѣдѣ съ Карамзинымъ, приводя разные доводы не въ пользу католицизма и іезуитовъ, горячо вооружался противъ тѣхъ, кто высказывалъ сомнѣніе въ существованіи тайныхъ іезуитовъ и опасности со стороны католиковъ. И вотъ что возразилъ нѣмецкому ученому нашъ юный путешественникъ: „Все это очень хорошо... но зачѣмъ же съ такою жестокостію писать противъ нѣкоторыхъ почтеннѣйшихъ мужей Германіи для того единственно, что они сомнѣваются въ существованіи тайныхъ іезуитовъ и въ томъ, чтобы католики могли нынѣ быть опасны протестантамъ? Признаться вамъ, я не могъ безъ досады читать колкаго отвѣта доктора Бистера господину Гарве, одному изъ первыхъ вашихъ философовъ, который съ такою скромностію предложилъ свои сомнѣнія“. И затѣмъ Карамзинъ замѣчаетъ: „Признаться, сердце мое не можетъ одобрить тона, въ которомъ господа берлинцы пишутъ. Гдѣ искать терпимости, если самые философы, самые просвѣтители—а они такъ себя называютъ—оказываютъ столько ненависти къ тѣмъ, которые думаютъ не такъ, какъ они? Тотъ есть для меня истинный философъ, кто со всѣми можетъ ужиться въ мирѣ; кто любитъ и несогласныхъ съ его образомъ мыслей. Должно показывать заблужденія разума человѣческаго, съ благороднымъ жаромъ, но безъ злобы. Скажи человѣку, что онъ ошибается, и почему; но не поноси сердца его и не называй его безумцемъ. Люди, люди! подъ какимъ предлогомъ вы себя не мучите!“—

Въ Берлинѣ же посѣтилъ Карамзинъ поэта Рамлера. „Нынѣ былъ я у старика Рамлера, нѣмецкаго Горация. Самый по-

чтенный нѣмецъ! Ваши сочиненія, сказалъ ему я, почитаются у насъ классическими. Ему пріятно было слышать, что и въ Россіи читаютъ его стихи и знаютъ ихъ цѣну".—„Рамлеръ",—продолжаетъ Карамзинъ, приступая къ выраженію своего критическаго взгляда на произведенія этого писателя, — „напитался духомъ древнихъ, а особенно латинскихъ поэтовъ. Въ одахъ его есть истинные восторги, высокое пареніе мыслей и языкъ вдохновенія. Только иногда присвоиваетъ онъ себѣ и чужіе восторги, и заимствуетъ огонь у Горация или другихъ древнихъ поэтовъ—правда, всегда искуснымъ образомъ. Теперь онъ уже прожилъ вѣкъ поэзіи. Въ новыхъ его піесахъ надобно удивляться круглости, чистотѣ и гармоніи, т.-е. искусству его въ механизмѣ стихотворства; но въ нихъ нѣтъ уже піитическаго жара, который всегда съ лѣтами проходитъ. Кажется, что онъ самъ это чувствуетъ, и потому нынѣ мало сочиняетъ. Главное его упражненіе съ нѣкотораго времени состоитъ въ переводахъ римскихъ поэтовъ, въ которыхъ почти всегда соблюдаетъ мѣру оригинала. Сии піесы могутъ служить примѣромъ въ искусствѣ переводить"... Далѣе въ письмѣ этомъ есть мѣсто, въ которомъ Карамзинъ высказалъ свое мнѣніе о чувствѣ изящнаго у женщинъ. „Стихи свои, еще въ рукописи, читаетъ онъ (Рамлеръ) одной пріятельницѣ, которая, не будучи ученою, имѣетъ природное нѣжное *чувство изящнаго*. «Иногда, сказалъ онъ мнѣ, я спорю съ нею, когда она находитъ что-нибудь противное въ моихъ сочиненіяхъ. Говорите, что хотите, отвѣчаетъ она: я не могу опровергать васъ, но остаюсь при своемъ чувствѣ. Наконецъ, подумавъ хорошенько, нахожу, что она права, и винюсь передъ нею».—Мнѣ пришла,—замѣчаетъ Карамзинъ,—на мысль Аспазія, которой аѳинскіе поэты отдавали на судъ свои творенія; ушамъ ея вѣрили они болѣе, нежели своимъ—и я думаю, что женщины вообще могутъ чувствовать нѣкоторыя красоты поэзіи живѣе мужчинъ... Наконецъ я простился съ нимъ, и онъ на память подарилъ мнѣ оду, сочиненною имъ нынѣшнему королю... Рамлеръ высокъ, худощавъ, долгоносъ; говоритъ отборно и протяжно".

За посѣщеніемъ Рамлера слѣдовало посѣщеніе Морица. „Веди меня къ Морицу, сказалъ я наемному своему лакею.—«А кто этотъ Морицъ?»—Кто? Филиппъ Морицъ, авторъ, философъ, педагогъ, психологъ... Я имѣлъ великое почтеніе къ Морицу, прочитавъ его Anton-Reiser, весьма любопытную психологическую книгу, въ которой описываетъ онъ собственные свои приключенія, мысли, чувства и развитіе душевныхъ своихъ способностей.

Confessions de J. J. Rousseau, Stillings Jugendgeschichte и Anton Reiser предпочитаю и всѣмъ систематическимъ психологіямъ въ свѣтъ“.

„Человѣку съ живымъ чувствомъ и любопытнымъ духомъ трудно ужиться на одномъ мѣстѣ; неограниченная дѣятельность души его требуетъ всегда новыхъ предметовъ, новой пищи. Такимъ образомъ Морицъ, накопивъ отъ профессорскаго дохода своего нѣсколько лундоровъ, ѣздилъ въ Англію и потомъ въ Италію—собрать новыя идеи и новыя чувства. Подробное и, можно сказать, оригинальное описаніе перваго путешествія его, которое издалъ онъ подъ титуломъ: *Reisen eines Deutschen in England*, читалъ я съ великимъ удовольствіемъ“. Эта замѣтка Карамзина о поѣздкахъ Морица заставляетъ вспомнить другое его письмо (изъ Стразбурга отъ 6 авг.), въ которомъ онъ подобнымъ же образомъ разсуждаетъ о путешествіи. „Пріятно, весело, друзья мои“,—говоритъ онъ тамъ,—„переѣзжать изъ одной земли въ другую, видѣть новыя предметы, съ которыми, кажется, самая душа наша обновляется“, и далѣе прибавляетъ: *„путешествіе необходимо для духа и сердца нашего“*.

„Я представлялъ себѣ Морица (мы возвращаемся къ прерванному письму Карамзина)—не знаю, почему—старикомъ; но какъ же удивился, нашедши въ немъ еще молодого человѣка лѣтъ въ тридцать, съ румянымъ и свѣжимъ лицомъ! «Вы еще такъ молоды, сказалъ я, а успѣли уже написать столько прекраснаго!» Онъ улыбнулся.—Я пробылъ у него часъ, въ который мы перебрали довольно разныхъ матерій“...

Въ Лейпцигѣ Карамзинъ видѣлся съ Платнеромъ и Вейсе. О первомъ онъ пишетъ слѣдующее: „Никто изъ лейпцигскихъ ученыхъ такъ не славенъ, какъ докторъ Платнеръ, эклектическій философъ, который ищетъ истины во всѣхъ системахъ, не привязываясь особенно ни къ одной изъ нихъ; который, на примѣръ, въ иномъ согласенъ съ Кантомъ, въ иномъ съ Лейбницемъ; или противорѣчитъ обоимъ. Онъ умѣетъ писать ясно, и кто хотя нѣсколько знакомъ съ логикою и метафизикою, тотъ легко можетъ понимать его. *Афоризмы* Платнеровы весьма уважаются, и человѣку, хотящему пуститься въ лабиринтъ философскихъ системъ, могутъ они служить Аріадниною нитью“. Въ разговорѣ съ Карамзинымъ Платнеръ спросилъ его: „Какой или какимъ наукамъ вы особенно себя посвятили?“ — „Изящнымъ“, отвѣчалъ молодой человѣкъ, и покраснѣлся.—На другой день послѣ перваго свиданія съ Платнеромъ Карамзинъ отправился слушать

его „эстетическую лекцію“. „Эстетика есть *наука вкуса*“, замѣчаетъ по этому поводу авторъ приводимаго письма. „Она трактуетъ о чувственномъ познаніи вообще. Баумгартенъ первый предложилъ ее, какъ особливую, отдѣленную отъ другихъ науку, которая—оставляя логикѣ образованіе высшихъ способностей души нашей, т.-е. разума и разсудка—занимается исправленіемъ чувствъ и всего чувственного, т.-е. воображенія съ его дѣйствіями. Однимъ словомъ, эстетика учитъ наслаждаться изящнымъ“. Затѣмъ Карамзинъ переходитъ къ лекціи Платнера, передаетъ ея сущность и указываетъ, какъ относились въ Германіи къ профессорскимъ лекціямъ. „Превеликая зала“—пишетъ онъ—„была наполнена слушателями, такъ что негдѣ было упасть яблоку. Я долженъ былъ остановиться въ дверяхъ. Платнеръ говорилъ уже на кафедрѣ. Все молчало и слушало... Я былъ далеко отъ него, однакожъ не проронилъ ни одного слова. Онъ говорилъ о великомъ духѣ, или геніи. Геній, сказалъ онъ, не можетъ заниматься ничѣмъ, кромѣ важнаго и великаго—кромѣ природы и человѣка въ цѣломъ. Итакъ философія, въ высочайшемъ смыслѣ сего слова, есть его наука. Онъ можетъ иногда заниматься и другими науками, но только всегда въ отношеніи къ себѣ; имѣетъ *особливую* способность находить сокровенныя сходства, аналогію, тайныя согласія въ вещахъ, и часто видитъ связь тамъ, гдѣ обыкновенный человѣкъ никакой не видитъ; и потому часто находитъ важнымъ то, что обыкновенному человѣку, котораго взоръ простирается недалеко, кажется бездѣлкою... Наконецъ во всѣхъ дѣлахъ такого человѣка виденъ особливый духъ ревности, который, такъ сказать, оживляетъ ихъ и отличаетъ ихъ отъ дѣлъ людей обыкновенныхъ... Платнеръ говоритъ такъ свободно, какъ бы въ своемъ кабинетѣ, и очень пріятно... Когда онъ сошелъ съ кафедры, то ему, какъ царю, дали просторную дорогу до самыхъ дверей“.

Въ послѣднихъ словахъ авторъ письма проявилъ свой восторгъ при видѣ того уваженія къ наукѣ и ея представителю, которое онъ нашелъ въ европейскомъ обществѣ.

Съ удовольствіемъ, конечно, шелъ Карамзинъ къ Вейсе, какъ къ писателю, нѣкоторыя статьи котораго онъ переводилъ для „Дѣтскаго чтенія“. Небольшой отрывокъ изъ письма, описывающаго это свиданіе, мы уже привели выше (с. 57). Выпишемъ изъ него еще слѣдующее. „Вейсе, любимецъ драматической и лирической музы, другъ добродѣтели и всѣхъ добрыхъ, другъ дѣтей, который ученіемъ и примѣромъ своимъ распространилъ въ Германіи правила хорошаго воспитанія... обошелся со мною ласково

и сердечно, просто... Вейссе съ великою скромностію говорить о своихъ сочиненіяхъ, однакожъ безъ всякаго притворнаго смиренія, которое для меня такъ же противно, какъ и самохвальство. — Съ какимъ чувствомъ описываетъ семейственное свое счастье!... Если я любилъ Вейссе, какъ автора, то теперь, узнавъ его лично, еще болѣе полюбилъ, какъ человѣка... Наконецъ я съ нимъ простился. «Путешествуйте счастливо—сказалъ онъ—и наслаждайтесь всѣмъ, что можетъ принести удовольствіе чистому сердцу!»... А вы наслаждайтесь яснымъ вечеромъ своей жизни! сказалъ я, вспомнивъ Лафонтеновъ стихъ: *sa fin* (т.-е. конецъ мудраго) *est le soir d'un beau jour*—и пошелъ отъ него, будучи совершенно доволенъ въ своемъ сердцѣ“. Письмо заканчивается характерными словами: „Одинъ взглядъ на добраго есть счастье для того, въ комъ не загубѣло чувство добра“.

Вотъ наконецъ и Веймаръ, гдѣ тогда жили литературнымъ знаменитости—Гердеръ, Виландъ и Гёте. Прежде другихъ Карамзинъ посѣтилъ Гердера. „Узнавъ, что Гердеръ наконецъ дома, пошелъ я къ нему. *У него одна мысль, сказалъ объ немъ какой-то нѣмецкій авторъ, и сія мысль есть цѣлый міръ*. Я читалъ его *Urkunde des menschlichen Geschlechts*, читалъ, многого не понималъ; но что понималъ, то находилъ прекраснымъ. Въ какихъ картинахъ изображаетъ онъ твореніе! Какое восточное великолѣпіе! Я читалъ его *Бога*, одно изъ новѣйшихъ сочиненій, въ которомъ онъ доказываетъ, что Спиноза былъ глубокомысленный философъ и ревностный читатель Божества, отъ пантеизма и атеизма равно удаленный. Гердеръ сообщаетъ тутъ и свои мысли о Божествѣ и твореніи, прекрасныя, утѣшительныя для человѣка мысли. Чтеніе сей маленькой книжки усладило нѣсколько часовъ въ моей жизни. Я выписалъ изъ нея многія мѣста, которые мнѣ отъѣнно полюбились. Постойте—не найду ли чего-нибудь въ записной книжкѣ своей?... Нашелъ одно мѣсто, которое, можетъ быть, и вамъ полюбится—и для того включу его въ свое письмо. Авторъ говоритъ о смерти“. Тутъ мы прервемъ Карамзина и скажемъ, что на философскія воззрѣнія Гердера имѣлъ вліяніе между прочимъ и Шефтсбѣри—и то мѣсто, которое Карамзинъ приводитъ изъ Гердерова „Бога“ для характеристики міровоззрѣнія его автора, вполне гармонируетъ съ оптимизмомъ. Вотъ это мѣсто: „Взглянемъ на лилію въ полѣ; она виваетъ въ себя воздухъ, свѣтъ, всѣ стихіи—и соединяетъ ихъ съ существомъ своимъ для того, чтобы расти, накопить жизненнаго соку и расцвѣсть; цвѣтетъ—и потомъ исчезаетъ. Всю силу, любовь и жизнь

свою истощила она на то, чтобы сдѣлаться матерью, оставить по себѣ образы свои и размножить свое бытіе. Теперь исчезло явленіе лиліи; она истлѣла въ неутомимомъ служеніи натуры; готовилась къ разрушенію съ начала жизни. Но что разрушилось съ ней, кромѣ явленія, которое не могло быть долѣе, которое—достигнувъ до высочайшей степени, заключавшей въ себѣ видъ и мѣру красоты ея,—назадъ обратилось? и не съ тѣмъ, чтобы, лишась жизни, уступить мѣсто юнѣйшимъ живымъ явленіямъ—сіе было бы для насъ весьма печальнымъ символомъ—нѣтъ! напротивъ того, она, какъ живая, со всею радостію бытія произвела бытіе ихъ, и въ зародышѣ любезнаго вида предала его вѣчно-цвѣтущему саду времени, въ которомъ и сама цвѣтетъ. Ибо лилія не погибла съ симъ явленіемъ: сила корня ея существуетъ; она вновь пробудится отъ зимняго сна своего и возстанетъ въ новой весенней красотѣ, подлѣ милыхъ дочерей бытія своего, которыя стали ея подругами и сестрами. Итакъ нѣтъ смерти въ твореніи; или смерть есть не что иное, какъ удаленіе того, что не можетъ быть долѣе, т.-е. дѣйствіе вѣчно юной, неутомимой силы, которая, по своему свойству, не можетъ ни минуты быть праздною или покоиться. По *изящному* закону Премудрости и Благости, все въ быстрѣйшемъ теченіи стремится къ новой силѣ юности и *красоты*—стремится, и всякую минуту превращается“.—„Въ семъ сочиненіи“ — восторженно заявляетъ Карамзинъ — „все ясно и понятно и согласно. Тутъ не бурнопламенное воображеніе юноши кружится на высотахъ и сверкаетъ во мракѣ, подобно ночному метеору, блестящему и въ минуту исчезающему: но мысль мудраго мужа, разумомъ освѣщаемая, тихо несется на легкихъ крыльяхъ вѣющаго зефира—несется ко храму вѣчной Истины, и свѣтлою струею свой путь означаетъ“.—„Я читалъ еще его *Параміи* *), изъясняя произведенія цвѣтущей фантазіи, которыя дышатъ греческимъ духомъ и прекрасны, какъ утреннія роза“.—Упомянувъ затѣмъ о ласковомъ пріемѣ, оказанномъ ему Гердеромъ, Карамзинъ снова возвращается къ критикѣ—и обнаруживаетъ не только обширное знакомство съ западно-европейскими литературами, но и пониманіе духа литературы древне-греческой и особенностей языка ея. „Гердеръ, Гёте, и подобные имъ, присвоившіе себѣ духъ древнихъ грековъ“,—говоритъ онъ,—„умѣли и языкъ свой сблизить съ греческимъ и сдѣлать его самымъ бо-

*) Т.-е. „Отдохновенія“. Симъ именемъ называютъ еще и нынѣшніе греки свои забавныя краткія повѣсти. (Прим. Карамз.).

гатымъ и для поэзіи удобнѣйшимъ языкомъ; и потому ни французы ни англичане не имѣютъ такихъ хорошихъ переводовъ съ греческаго, какими обогатили нынѣ нѣмцы свою литературу. Гомеръ у нихъ—Гомеръ: та же неискусственная, благородная простота въ языкѣ, которая была душою древнихъ временъ, когда царевны ходили по воду, и цари знали счетъ своимъ баранамъ“.

Сказавъ въ концѣ письма, что Гердеръ—любезный человѣкъ, Карамзинъ въ слѣдующемъ письмѣ (отъ 21 іюл.) сообщаетъ еще дополнительныя свѣдѣнія о немъ и говоритъ: „Духъ вашъ, сказалъ я, прощаясь съ нимъ, извѣстенъ мнѣ по вашимъ твореніямъ; но мнѣ хотѣлось имѣть вашъ образъ въ душѣ моей, и для того я пришелъ къ вамъ—теперь видѣлъ васъ, и доволенъ.—Гердеръ невысокаго росту, посредственной толщены, и лицомъ очень не бѣлъ. Лобъ и глаза его показываютъ необыкновенный умъ... Видъ его важенъ и привлекателенъ; въ минѣ его нѣтъ ничего принужденнаго, ничего такого, что бы показывало желаніе *казаться чѣмъ-нибудь*. Онъ говоритъ тихо и внятно; даетъ вѣсь словамъ своимъ, но не излишній. Едва ли, по разговору его, можно подозрѣвать въ Гердерѣ скромнаго любимца музъ; но великій ученый и глубокомысленный метафизикъ скрытъ въ немъ весьма искусно“.

Письмо заканчивается слѣдующими словами: „Пріятно, милые друзья мои, видѣть наконецъ того человѣка, который былъ намъ прежде столько извѣстенъ и дорогъ по своимъ сочиненіямъ; котораго мы такъ часто себѣ воображали или вообразить старались. Теперь, мнѣ кажется, я еще съ большимъ удовольствіемъ буду читать произведенія Гердерова ума, вспоминая видъ и голосъ автора“.

Обратимся теперь къ письму о Виландѣ. Виландъ, какъ видно изъ переданнаго Карамзинымъ своего съ нимъ разговора, не любилъ новыхъ знакомствъ, а особливо съ такими людьми, которые ему ни по чему не извѣстны, и потому встрѣтилъ нашего путешественника холодно; но, разговорившись съ нимъ, отнесся теплѣе и пригласилъ его къ себѣ послѣ обѣда. Это второе свиданіе имѣло уже совершенно иной характеръ. „Начался разговоръ“,—разсказываетъ Карамзинъ,—„который минута отъ минуты становился живѣе и для меня занимательнѣе. Говоря о любви своей къ поэзіи, сказалъ онъ: «Если бы судьба опредѣлила мнѣ жить на пустомъ островѣ, то я написалъ бы все то же, и съ такимъ же стараніемъ выработывалъ бы свои произведенія, думая, что музы слушаютъ мои пѣсни». Онъ желалъ знать, пишу ли я, и не переведено ли что-нибудь изъ моихъ бездѣлокъ на нѣмец-

кій. Я сыскалъ въ записной своей книжкѣ переводъ *печальной вссны*. Прочитавъ его, сказалъ онъ: «Жалѣю, если вы часто бываете въ такомъ расположеніи, какое здѣсь описано. Скажите—потому что теперь вы вселили въ меня желаніе узнать васъ короче—скажите, что у васъ въ виду?»—Тихая жизнь, отвѣчалъ я. Окончивъ свое путешествіе, которое предпринялъ единственно для того, чтобы *собрать нѣкоторые пріятныя впечатлѣнія и обогатить свое воображеніе новыми идеями, буду жить въ мирѣ съ натурою и съ добрыми, любить изящное и наслаждаться имъ*... Если вспомнить, что по ученію оптимизма счастье человѣка обусловлено тѣмъ, чтобы онъ не уклонялся отъ путей природы, то окажется, что о мирѣ съ натурою Карамзинъ упомянулъ тутъ не случайно⁹⁸).—Разговоръ нашъ (продолжаемъ письмо Карамзина) касался и до философовъ. «Никто изъ систематиковъ, сказалъ Виландъ, не умѣетъ такъ *обольщать* своихъ читателей, какъ Боннетъ, а особливо такихъ читателей, которые имѣютъ живое воображеніе. Онъ пишетъ ясно, пріятно и заставляетъ любить себя и философію свою»...⁹⁹) Съ любезною искренностію открывалъ мнѣ Виландъ мысли свои о нѣкоторыхъ важнѣйшихъ для человѣчества предметахъ. Онъ ничего не отвергаетъ, но только полагаетъ различіе между чаяніемъ и увѣреніемъ. Его можно назвать скептикомъ, но только въ хорошемъ значеніи этого слова». Это мѣсто письма Карамзина показываетъ, что онъ и въ бесѣдѣ съ Виландомъ поднималъ все тотъ же мучившій его вопросъ о *природѣ и нравственности* человѣка, или точнѣе, о нравственномъ бытіи его,—вопросъ, который онъ пытался разрѣшить и у Канта.

„Я всталъ“, говоритъ Карамзинъ, описывая свое прощанье съ Виландомъ. „Онъ взялъ мою руку, и сказалъ, что отъ всего сердца желаетъ мнѣ счастья въ жизни. «Вы видѣли меня такимъ, каковъ я подлинно, промолвилъ онъ. Простите, и хотя изрѣдка увѣдомляйте меня о себѣ. Простите!»—Тутъ мы обнялись. Мнѣ казалось, что онъ былъ нѣсколько тронутъ; а это самого меня тронуло. На крыльцѣ мы въ послѣдній разъ пожали другъ у друга руку, и разстались — можетъ быть, навѣчно. Никогда, никогда не забуду Виланда! Если бы вы видѣли, друзья мои, съ какою откровенностію, съ какимъ жаромъ говоритъ сей почти шестидесятилѣтній человѣкъ, и какъ всѣ черты лица его оживляются въ разговорѣ! Душа его еще не состарѣлась, и силы ея не истощились“. Далѣе Карамзинъ опять выступаетъ, какъ критикъ, и указываетъ заслуги Виланда нѣмецкой литературѣ и мнѣніе о немъ нѣмецкой и французской критики. „Клелія и Си-

нибальдъ, послѣднія изъ его поэмъ“,—говорить онъ, — „писана съ такою же полнотою духа, какъ Оберронъ, какъ Музаріонъ и проч. Кажется еще, что онъ въ послѣднихъ своихъ твореніяхъ ближе и ближе къ совершенству подходитъ. Тридцать пять лѣтъ извѣстенъ Виландъ въ Германіи, какъ авторъ. Самыя первыя его сочиненія, наприм. *нравоучительныя повѣсти*, *Симпатіи* и проч., обратили на него вниманіе публики. Хотя строгая критика, которая тогда уже начиналась въ Германіи, и находила въ нихъ много недостатковъ; однакожъ отдавала автору справедливость въ томъ, что онъ имѣетъ изобрѣтательную силу, богатое воображеніе и живое чувство. Но эпоха славы его началась съ *колическихъ повѣстей*, признанныхъ въ своемъ родѣ превосходными и на нѣмецкомъ языкѣ тогда единственнымъ. Удивлялись его остротѣ, вкусу, красотѣ языка, искусству въ повѣствованіи. Потомъ издавалъ онъ поэму за поэмой, и послѣдняя всегда казалась лучшею. Давно уже Германія признала его однимъ изъ первыхъ своихъ пѣвцовъ; онъ поконитъ на лаврахъ своихъ, но не засыпаетъ. Если французы оставили наконецъ свое старое худое мнѣніе о нѣмецкой литературѣ (которое нѣкогда она въ самомъ дѣлѣ заслуживала, т.-е. тогда, какъ нѣмцы прилежали только къ сухой учености)—если знающіе и справедливейшіе изъ нихъ соглашаются, что нѣмцы не только во многомъ сравнились съ ними, но во многомъ и превзошли ихъ: то, конечно, произвели это отчасти Виландовы сочиненія, хотя и не хорошо на французскій языкъ переведенныя“.

„Вчера ввечеру, идучи мимо того дома, гдѣ живетъ Гёте, видѣлъ я его смотрящаго въ окно—остановился и разсматривалъ его съ минутой: важное греческое лицо! Нынѣ заходилъ къ нему; но мнѣ сказали, что онъ рано уѣхалъ въ Ену“. Свиданіе Карамзина съ Гёте такъ и не состоялось, и онъ, черезъ Эрфуртъ, Готу, Франкфуртъ на Майнѣ, Майнцъ, Мангеймъ, Стразбургъ пріѣхалъ въ Швейцарію.

Подъѣзжая къ Цюриху, Карамзинъ весь былъ охваченъ впечатлѣніями, пережитыми еще въ Москвѣ при чтеніи своихъ любимыхъ поэтовъ. „Съ отмыннымъ удовольствіемъ“—пишетъ онъ— „подъѣзжалъ я къ Цюриху; съ отмыннымъ удовольствіемъ смотрѣлъ на его пріятное мѣстоположеніе, на ясное небо, на веселыя окрестности, на свѣтлое зеркальное озеро и на красные его берега, гдѣ нѣжный Геснеръ рвалъ цвѣты для украшенія пастуховъ и пастушекъ своихъ; гдѣ душа безсмертнаго Клопштока наполнялась великими идеями о священной любви къ отечеству.

которыя послѣ съ дикимъ величіемъ излились въ его *Германію*; гдѣ Бодмеръ собиралъ черты для картинъ своей Наохиды, и пытался духомъ временъ патріаршихъ; гдѣ Виландъ и Гёте въ сладостномъ упоеніи обнимались съ музами, и мечтали для потомства; гдѣ Фридрихъ Штольбергъ, сквозь туманъ двадцати девяти вѣковъ, видѣлъ въ духѣ своемъ древнѣйшаго изъ творцовъ греческихъ, пѣвца боговъ и героев, сѣдого старца Гомера, лаврами увѣнчанныя, и пѣснями своими восхищающаго греческое юношество—видѣлъ, внималъ, и въ вѣрномъ отзывѣ повторялъ пѣсни его на языкѣ тевтоновъ... *) Мы пріѣхали сюда въ 10 часовъ утра... Послѣ обѣда пойду—нужно ли сказывать, къ кому?—Къ Лафатеру, конечно, отвѣтимъ мы, и перейдемъ къ письмамъ Карамзина объ этомъ писателѣ.

„Вошедши въ сѣни, я позвонилъ въ колокольчикъ, и черезъ минуту показался сухой, высокій, блѣдный человѣкъ, въ которомъ мнѣ не трудно было узнать—Лафатера. Онъ ввелъ меня въ свой кабинетъ. Услышавъ, что я тотъ москвитянинъ, который выманилъ у него нѣсколько писемъ, Лафатеръ поцѣловался со мною, поздравилъ меня съ пріѣздомъ въ Цюрихъ, сдѣлалъ мнѣ два или три вопроса о моемъ путешествіи и сказалъ: «Приходите ко мнѣ въ шесть часовъ; теперь я еще не кончилъ своего дѣла. Или останьтесь въ моемъ кабинетѣ, гдѣ можете читать и разсматривать, что вамъ угодно. Будьте здѣсь, какъ дома». — Тутъ онъ показалъ мнѣ въ своемъ шкапѣ нѣсколько фоліантовъ, съ надписью: *Физиономическій кабинетъ*, и ушелъ. Я постоялъ, подумалъ, сѣлъ и началъ разбирать физиономическіе рисунки. Между тѣмъ признаюсь вамъ, друзья мои, что сдѣланный мнѣ пріемъ оставилъ во мнѣ не совсѣмъ пріятныя впечатлѣнія“. Слѣдуетъ мѣсто, свидѣтельствующее объ искренности Карамзина, не скрывшаго тѣ чувства, о которыхъ люди обыкновенно предпочитаютъ умалчивать. „Ужели я надѣялся, что со мною обойдутся дружелюбнѣе и, услышавъ мое имя, окажутъ болѣе ласковаго удивленія? Но на чемъ же основалась такая надежда? Друзья мои! не требуйте отъ меня отвѣта, или вы приведете меня въ краску. Улыбнитесь про себя насчетъ вѣтренаго, безразсуднаго самолюбія человѣческаго, и предайте забвенію слабость вашего друга“.—„Лафатеръ три раза приходилъ опять въ кабинетъ, запрещалъ мнѣ вставать со стула, бралъ книгу или бумагу, и опять уходилъ назадъ. Наконецъ вошелъ онъ съ веселымъ видомъ,

*) Штольбергъ перевелъ *Иліаду*. (Примѣч. Карамз.)

взялъ меня за руку и повелъ—въ собраніе шрихскихъ ученыхъ, къ профессору Брейтингеру, гдѣ рекомендовалъ меня хозяину и гостямъ, какъ своего пріятеля. Небольшой человѣкъ съ пронзительнымъ взоромъ,—у котораго Лафатеръ пожалъ руку сильнѣе, нежели у другихъ,—обратилъ на себя мое вниманіе. Это былъ Пфенингеръ, издатель Христіанскаго магазина и Лафатеровъ другъ. При первомъ взглядѣ показалось мнѣ, что онъ очень похожъ на С. И. Гамалѣя, и хотя, рассматривая лицо его по частямъ, увидѣлъ я, что глаза у него другіе, лобъ другой, и все, все другое; однакожъ первое впечатлѣніе осталось, и мнѣ никакъ не можно было разувѣрить себя въ семъ сходствѣ. Наконецъ я положилъ, что хотя и нѣтъ между ими сходства въ наружной формѣ частей лица, однакожъ оно должно быть въ внутренней структурѣ мускуловъ! Вы знаете, друзья мои, что я еще и въ Москвѣ любилъ заниматься рассматриваніемъ лицъ человѣческихъ, искать сходства тамъ, гдѣ другіе его не находили, и проч. и проч., а теперь, будучи обвѣянъ воздухомъ того города, который можно назвать колыбелію новой фізіономики, метопоскопии, хиромантии, подоскопии—теперь и вы бойтесь мнѣ на глаза показаться!“...

„Я всякій день бываю у Лафатера, обѣдаю у него, и хожу съ нимъ по вечерамъ прогуливаться. Онъ, кажется, любитъ меня, ласкаетъ и спрашиваетъ иногда о подробностяхъ жизни моей, позволяя и мнѣ предлагать ему разные вопросы, а особливо на письмѣ. Въ примѣръ переведу вамъ отвѣтъ его на одинъ изъ моихъ вопросовъ. Вопросъ: «Какая есть всеобщая цѣль бытія нашего, равно *достижимая* для мудрыхъ и слабоумныхъ?»—Отвѣтъ: «Бытіе есть цѣль бытія. Чувство и радость бытія (*Daseynsfrohheit*) есть цѣль всего, чего мы искать можемъ. Мудрый и слабоумный ищутъ только средствъ наслаждаться бытіемъ своимъ, или чувствовать его—ищутъ того, черезъ что они самихъ себя сильнѣе ощутить могутъ.—Всякое *чувство* и всякій *предметъ*, постигаемый которымъ-нибудь изъ нашихъ чувствъ, суть прибавленія (*Beiträge*) нашего самочувствованія (*Selbstgeföhles*); чѣмъ болѣе самочувствованія, тѣмъ болѣе блаженства. — Какъ различны наши организаціи или образованія, такъ же различны и наши потребности въ средствахъ и предметахъ, которые новымъ образомъ даютъ намъ чувствовать наше бытіе, наши силы, нашу жизнь.—Мудрый отличается отъ слабоумнаго только средствами самочувствованія. Чѣмъ простѣе, вездѣсущнѣе, всенасладительнѣе, постояннѣе и благодѣтельнѣе есть средство или предметъ, въ которомъ или черезъ который мы сильнѣе существуемъ, тѣмъ существеннѣе (*existentier*)

мы сами, тѣмъ вѣрниѣ и радостнѣ бытіе наше — тѣмъ мы мудрѣе, свободнѣе, любящѣе (liebender), любимѣе, живущѣе, оживляющѣе, блаженнѣе, человѣчнѣе, божественнѣе, съ цѣлію бытія нашего сообразнѣе.—Изслѣдуйте точно: чрезъ что и въ чемъ вы пріятнѣе или тверже существуете? Что вамъ доставляетъ болѣе наслажденія — разумѣется, такого, которое никогда не можетъ причинить раскаянія — которое всегда съ спокойствіемъ и внутреннею свободою духа можетъ и должно быть снова желаемо? Чѣмъ достойнѣе и существеннѣе избираемое вами средство, тѣмъ достойнѣе и существеннѣе вы сами; чѣмъ существеннѣе вы дѣлаетесь, т.-е. чѣмъ сильнѣе, вѣрниѣ и радостнѣе существованіе ваше—тѣмъ болѣе приближаетесь вы ко всеобщей и особой цѣли бытія вашего. Отношеніе (Anwendung) и изслѣдованіе сего положенія (отношеніе и изслѣдованіе есть одно) покажетъ вамъ истину или (что опять все одно) всеотносимость онаго. Цюрихъ, въ четвертокъ ввечеру, 20 августа 1789. Іоаннъ Каспаръ Лафатеръ». Каковъ вамъ покажется сей отвѣтъ, друзья мои? Вы, конечно, не подумаете, чтобы я въ самомъ дѣлѣ надѣялся свѣдать отъ Лафатера цѣль бытія нашего; мнѣ хотѣлось только узнать, что онъ можетъ о томъ сказать“. Мало, или вѣрниѣ — ничего не говорящая сердцу формула: „Бытіе есть цѣль бытія“ не могла удовлетворить Карамзина, воспитанника „Дружескаго общества“, которое держалось того мнѣнія, что „человѣкъ имѣетъ главною своею цѣлью—совершенство духа, состоящее въ познаніи безсмертныхъ истинъ“,—Карамзина, поклонника Боннета, также полагавшаго цѣль земного бытія человѣка въ прогрессивномъ совершенствованіи его духа.—„Такимъ образомъ“—продолжаетъ Карамзинъ — „всякое утро прихожу къ нему съ какимъ-нибудь вопросомъ. Онъ прячетъ мою бумажку въ карманъ, и ввечеру отдаетъ мнѣ отвѣтъ, на ней же написанный, оставляя у себя копію“...

Лафатеръ славился, какъ проповѣдникъ. Однако та его проповѣдь, которую Карамзину довелось услышать, не понравилась нашему критику. Вотъ его отзывъ о ней. „Въ субботу ввечеру Лафатеръ затворяется въ своемъ кабинетѣ для сочиненія проповѣди—и черезъ часъ бываетъ она готова. Правда, если онъ говоритъ все такія проповѣди, какую я нынѣ слышалъ, то ихъ сочинять не трудно. *Спаситель снялъ съ насъ бремя грѣховъ: итакъ будемъ благодарить Его*—сін мысли, выраженные различнымъ образомъ, составляли содержаніе всего поученія. Одни восклицанія, одна декламация, и болѣе ничего! Признаюсь, что я ожидаю чего-

нибудь лучшаго. Вы скажете, что съ народомъ такъ говорить надобно; но Лаврентій Стернь ¹⁰⁰⁾, говорилъ съ народомъ, говорилъ просто, и трогалъ сердце — мое и ваше. Видѣть, съ какимъ проповѣдуетъ Лафатеръ, мнѣ понравился“.

Отмѣтилъ Карамзинъ также и необыкновенную дѣятельность Лафатера и ея характеръ. „Я все болѣе и болѣе“ — говоритъ онъ — „удивляюсь Лафатеру, любезные друзья мои. Вообразите, что онъ часа свободнаго не имѣетъ, и дверь кабинета его почти никогда не затворяется; когда уйдетъ нищій, придетъ печальный, требующій утѣшенія, или путешественникъ, не требующій ничего, но отвлекающій его отъ дѣла. Сверхъ того посѣщаетъ онъ больныхъ, не только живущихъ въ его приходѣ, но и другихъ... По сіе время Лафатеровы сочиненія составляютъ около пятидесяти томовъ... За всѣмъ тѣмъ, по его словамъ, сочиненіе есть для него не работа, а отдыхъ“.

Въ письмахъ изъ Женевы Карамзинъ описываетъ свои свиданія съ Боннетомъ. „Я думалъ найти слабаго старца, угнетеннаго бременемъ лѣтъ — обвѣтшалу ю скиню, которой временный обитатель, небесный гражданинъ, утомленный безпокойствомъ тѣлесной жизни, ежедневно собирается летѣть обратно въ свою отчизну — однимъ словомъ, развалины великаго Боннета. Что же нашелъ? хотя старца, но весьма бодрого — старца, въ глазахъ котораго блистаетъ огонь жизни — старца, котораго голосъ еще твердъ и пріятенъ — однимъ словомъ, Боннета, отъ котораго можно ожидать второй *Палингенези* *). Онъ встрѣтилъ меня почти у самыхъ дверей, и съ ласковымъ взоромъ подалъ мнѣ руку. «Вы видите передъ собою такого человѣка, сказалъ я, который съ великимъ удовольствіемъ и съ пользою читалъ ваши сочиненія, и который любитъ и почитаетъ васъ сердечно»... Мы сѣли... Я не могу отъ слова до слова описать вамъ разговора нашего, который продолжался около трехъ часовъ. Довольствуйтесь нѣкоторыми отрывками. — Боннетъ очаровалъ меня своимъ добродушіемъ и ласковымъ обращеніемъ. Нѣтъ въ немъ ничего гордаго, ничего надменнаго. Онъ говорилъ со мною, какъ съ равнымъ себѣ, и всякій комплиментъ мой принималъ съ чувствительностію“.

Въ Боннетѣ, философѣ и человѣкѣ добромъ, чувствительномъ, Карамзинъ видѣлъ воплощеніе того „высочайшаго добра“, которое, по ученію Геллерта, состоитъ въ соединеніи мудрости съ добро-

*) Титулъ одного изъ его сочиненій. (Примѣч. Карамз.).

дѣтелю, — и отсюда понятно, почему онъ относился къ этому ученому не только съ горячей сердечностью, но и съ благоговѣніемъ, и почему его письма о немъ носятъ такой панегирическій характеръ: Боннетъ, философъ съ чувствомъ, былъ въ глазахъ Карамзина идеаломъ мудреца, идеаломъ человѣка. „Ахъ! какая разнища“ — восклицаетъ нашъ путешественникъ — „между нѣмецкимъ ученымъ и Боннетомъ! Первый съ гордою улыбкою принимаетъ всякую похвалу, какъ должную дань, и мало думаетъ о томъ человѣкѣ, который хвалитъ его; но Боннетъ за всякую учтивость старается платить учтивостію... Если, по словамъ Виландовымъ, сочиненія Боннетовы заставляютъ читателя любить автора, то милое обхожденіе его еще увеличиваетъ эту любовь.— Ни съ кѣмъ не говорю я такъ смѣло, такъ охотно, какъ съ нимъ. И слова и взоры его ободряютъ меня. Онъ все выслушиваетъ до конца, во все входитъ, на все отвѣчаетъ. Какой человѣкъ!... Какая душа! и какъ мнѣ забыть его привѣтливость и ласки! Слезы не удержались въ глазахъ моихъ, когда мнѣ надлежало съ нимъ простаться. „Живите (сказалъ я), живите для блага человечества“... Милый, милый Боннетъ! Философъ съ чувствомъ!“

Карамзинъ, какъ мы знаемъ, перевелъ для „Дѣтскаго чтенія“ нѣсколько главъ изъ „Созерцанія природы“ Боннета. Теперь онъ получилъ отъ автора позволеніе перевести цѣликомъ не только это, но и другія его сочиненія. „Боннетъ“ — пишетъ Карамзинъ — „позволить мнѣ переводить его сочиненія на русскій языкъ. «Съ чего же вы думаете начать?» спросилъ онъ.—Съ «Созерцанія природы» (*Contemplation de la nature*), отвѣчалъ я, которое по справедливости можетъ быть названо магазиномъ любопытнѣйшихъ знаній для человѣка... «Вы рѣшились переводить Созерцаніе природы, сказалъ онъ: начните же переводить его въ глазахъ автора, и на томъ столѣ, на которомъ оно было сочиняемо. Вотъ книга, бумага, чернильница, перо». Съ радостію исполнилъ я волю его; съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ приблизился къ письменному столу великаго философа, сѣлъ на его кресло, взялъ перо его — и рука моя не дрожала, хотя онъ стоялъ за мною. Я перевелъ титулъ, первый параграфъ — и прочиталъ вслухъ. «Слышу и не понимаю», сказалъ любезный Боннетъ съ усмѣшкою: «но соотечественники ваши будутъ, конечно, умнѣе меня.—Эта бумага останется здѣсь въ память нашего знакомства»¹⁰¹).

Вотъ еще отрывокъ, характеризующій Боннета, Галлера, а также и Карамзина. Карамзинъ былъ на обѣдѣ у Боннета: были и другіе гости. Рѣчь зашла о Галлерѣ, покойномъ другѣ хозяина.

„Съ какимъ жаромъ великій Боннетъ произноситъ достоинства великаго Галлера! Тридцать лѣтъ любили они другъ друга. Слезы нѣсколько разъ показывались на глазахъ нашего почтеннаго старца. Онъ сыскалъ письма покойнаго друга своего и отдалъ Барзену (одному изъ гостей) читать ихъ; послѣднее, писанное Галлеромъ за нѣсколько дней передъ его смертію, всѣхъ насъ заставило плакать. Нѣкоторыя строки остались въ моей памяти: вотъ онѣ: «Скоро, любезный и почтенный другъ мой! скоро не будетъ меня въ семъ мірѣ. Обращаю глаза на прошедшую жизнь мою и, полагаясь на благость Провидѣнія, спокойно ожидаю смерти. Въ сію минуту болѣе, нежели когда-нибудь, благодарю Бога за то, что я воспитанъ былъ въ христіанской религіи, и что спасительныя истины ея всегда жили въ моемъ сердцѣ. Благодарю Его и за вашу драгоценную дружбу, которая служила мнѣ утѣшеніемъ въ жизни, и питала въ душѣ моей любовь къ *мудрости и добродѣтели*... Простите, дрожайшій другъ мой! Живите еще многія лѣта и просвѣщайте человѣчество; живите и распространяйте царство добродѣтели!... Простите! Въ сію минуту душа моя къ вамъ стремится: я хотѣлъ бы обнять васъ въ послѣдній разъ; хотѣлъ бы въ послѣдній разъ слышать изъ устъ вашихъ сладостное наименованіе друга; хотѣлъ бы словесно изъяснить вамъ всю признательность, всю чувствительность моего сердца... Я оставляю дѣтей: будьте имъ вторымъ отцомъ, наставникомъ, покровителемъ, другомъ!... Простите! Гдѣ и какъ мы увидимся—не знаю; но знаю то, что Богъ премудръ, благъ и всесиленъ: мы бессмертны! дружба наша бессмертна!... Скоро зашумитъ и подыметъ передо мною непроницаемая завѣса—слава Всевышнему!... Простите въ послѣдній разъ—рука моя слабѣетъ—въ послѣдній разъ называюсь здѣсь вашимъ вѣрнымъ, нѣжнымъ, признательнымъ, благодарнымъ, умирающимъ, но вѣчнымъ другомъ!» Съ такими чувствами, любезные друзья мои, кончилъ жизнь свою сей великій мужъ—и (прибавляетъ Карамзинъ) да будетъ конецъ нашъ подобенъ его концу... Боннетъ называетъ Галлерову поэму: „О происхожденіи зла“ самою лучшею изъ философическихъ стихотвореній“.

Въ Парижѣ Карамзинъ видѣлся и бесѣдовалъ съ Бартеlemi-Платономъ. „Нынѣшній день“—пишетъ онъ—„молодой скиѣ К., въ Академіи надписей и словесности, имѣлъ счастіе узнать Бартеlemi-Платона. Меня обѣщали съ нимъ познакомиться; но какъ скоро я увидѣлъ его, то, слѣдуя первому движенію, подошелъ и сказалъ ему: «Я русскій; читалъ Анахарсиса; умѣю

восхищаться твореніемъ великихъ, безсмертныхъ талантовъ. И такъ, хотя въ нескладныхъ словахъ, примите жертву моего глубокаго почтенія!»—Онъ всталъ съ кресель, взялъ мою руку, ласковымъ взоромъ предувѣдомилъ меня о своемъ благорасположеніи, и наконецъ отвѣчалъ:—Я радъ вашему знакомству; люблю Сѣверъ, и герой, мною избранный, вамъ не чужой. — «Мнѣ хотѣлось бы имѣть съ нимъ какое-нибудь сходство. Я въ Академіи: Платонъ передо мною; но имя мое не такъ извѣстно, какъ имя Анахарсиса» *).—Вы молоды, путешествуете—и, конечно, для того, чтобы украсить вашъ разумъ познаніями: довольно сходства!—«Будетъ еще болѣе, если вы позволите мнѣ иногда видѣть и слушать васъ, съ любопытнымъ умомъ, съ ревностнымъ желаніемъ образовать вкусъ свой наставленіями великаго писателя. Я не поѣду въ Грецію: она въ вашемъ кабинетѣ».—Карамзинъ, какъ видимъ, нигдѣ не упускалъ случая „совершенствоваться въ себѣ человека“. Не лишенъ интереса и взглядъ его на усидчивыя занятія: описывая наружность Бартелеми, онъ говоритъ: „Ему гораздо болѣе 70 лѣтъ; но голосъ его пріятенъ, станъ прямъ, всѣ движенія скоры и живы. Слѣдственно отъ ученыхъ трудовъ люди не старѣются. Не сидячая, но бурная жизнь страстей пестритъ морщинами лицо наше.“

Въ той же Академіи познакомился Карамзинъ съ Леккомъ, авторомъ Россійской исторіи, „которая“, — замѣчаетъ онъ, — „хотя имѣетъ много недостатковъ, однакожъ лучше всѣхъ другихъ“. Въ другой главѣ мы коснемся подробнѣе этого письма о Леккѣ, а здѣсь скажемъ только, что въ немъ Карамзинъ съ особенной силой проявилъ свой энтузіазмъ къ просвѣщенію и свое уваженіе къ западной Европѣ, какъ къ странѣ съ высокою цивилизаціей. Затронувъ вопросъ о реформахъ Петра Великаго, онъ съ жаромъ становится весь на его сторону, досадуетъ на тѣхъ критиковъ, которые упрекали преобразователя въ подражательности, и заявляетъ, что „главное дѣло быть людьми, а не славянами“. Это желаніе видѣть въ человѣкѣ прежде всего „человѣка“ и было руководящимъ мотивомъ автора указываемаго здѣсь парижскаго письма, и желаніе это, конечно, совершенно естественно въ энтузіастѣ умственнаго и нравственнаго просвѣ-

*) Анахарсисъ, пріѣхавъ въ Аѳины, нашелъ Платона въ Академіи. Il me reçut, говоритъ молодой скиѣ, avec autant de politesse que de simplicité, et me fit un si bel éloge du philosophe Anacharsis, dont je descends, que je rougissois de porter même nom.—Anach., vol. 2, ch. VII. (Примѣч. Карамз.).

щенія, хотя оно, какъ послѣ увидимъ, и выражено не безъ увлеченія.

Прибавимъ еще къ этому, что въ письмѣ изъ Ліона Карамзинъ называетъ Петра Великаго, за его реформы, благодѣтелемъ человѣчества и своимъ собственнымъ благодѣтелемъ.

Говорить о представителяхъ европейской образованности Карамзину подавали поводъ не только личныя свиданія съ ними, но и воспоминанія о нихъ: посѣщая то или другое мѣсто, связанное съ воспоминаніями о жившемъ или бывавшемъ въ немъ великомъ человѣкѣ, Карамзинъ отдавался этимъ воспоминаніямъ, въ душѣ его воскресало все извѣстное ему о данномъ великомъ человѣкѣ—и онъ свои мысли и чувства вносилъ въ письма, и такимъ образомъ дѣлился ими съ читателями. Такія воспоминанія занесъ онъ въ свое письмо о Коперникѣ (см. выше с. 52), такія воспоминанія волновали его, когда онъ подѣзжалъ къ Цюриху (с. 98); такими же воспоминаніями наполнитъ онъ и свои письма о Руссо (изъ Лозанны и Эрменонвиля) и о Вольтерѣ (изъ Женевы). Особенною страстностью проникнуты письма о Руссо.

„Въ пять часовъ поутру вышелъ я изъ Лозанны, съ весельемъ въ сердцѣ—и съ Руссовою Элоизою въ рукахъ. Вы, конечно, угадаете цѣль моего путешествія. Такъ, друзья мои! Я хотѣлъ видѣть собственными глазами тѣ прекрасныя мѣста, въ которыхъ безсмертный Руссо поселилъ своихъ романическихъ любовниковъ... Въ девять часовъ былъ я уже въ Вевѣ и, остановясь подъ тѣнію каштановыхъ деревьевъ гульбища, смотрѣлъ на каменные утесы Мельери, съ которыхъ отчаянный Сентъ-Прё хотѣлъ низвергнуться въ озеро и оттуда писалъ онъ къ Юліи слѣдующія строки: «Въ ужасныхъ изступленіяхъ и въ волненіи души моеѣ не могу я быть на одномъ мѣстѣ; брожу, съ усиліемъ взбираюсь на высоты, устремляюсь на вершины скалъ; скорыми шагами обхожу всѣ окрестности, и вижу во всѣхъ предметахъ тотъ самый ужасъ, который царствуетъ въ моеѣ внутренности. Нигдѣ уже нѣтъ зелени; трава поблекла и пожелтѣла, деревья стоятъ безъ листьевъ, холодный вѣтеръ надуваетъ сугробы, и вся натура мертва въ глазахъ моихъ, какъ мертва надежда въ моемъ сердцѣ. — Между скалами сего берега нашелъ я въ уединенномъ убѣжищѣ маленькую равнину, откуда виденъ счастливый городъ, въ которомъ ты обитаешь. Вообрази, съ какою жадностію устремился взоръ мой къ сему любезному мѣсту! Въ первый день я всячески старался найти глазами домъ твой, но отъ чрезмѣрной отдаленности

всѣ мои усилія оставались тщетными; и я, примѣтивъ, что воображеніе обманываетъ глаза мои, пошелъ къ священнику и взялъ у него телескопъ, посредствомъ котораго увидѣлъ жилище твое... Съ того времени цѣлые дни провожу въ семъ убѣжищѣ, и смотрю на блаженные стѣны, заключающія въ себѣ источникъ жизни моей. Не взирая на дурную погоду, прихожу туда поутру, и возвращаюсь оттуда ночью. Листья, сухія вѣтви, мною зажигаемая, и безпрестанное движеніе охраняють меня отъ чрезвычайнаго холода. Сіе дикое мѣсто мнѣ такъ полюбилось, что я приношу туда бумагу съ чернильницею, и теперь пишу тамъ письмо, на камнѣ, отвалившемся отъ ближней скалы»“.

Обстановка, среди которой очутился Карамзинъ. „Новая Элоиза“ въ рукахъ, только что приведенная изъ нея страница— яркій образчикъ сентиментализма—все это должно было подѣйствовать на чувствительнаго юношу—и вотъ онъ говоритъ: „Вы можете имѣть понятіе о чувствахъ, произведенныхъ во мнѣ сими предметами, зная, какъ я люблю Руссо, и съ какимъ удовольствіемъ читалъ съ вами его Элоизу!“ Вслѣдъ за сими словами Карамзинъ хочетъ выступить, какъ критикъ, но возбужденное чувство беретъ перевѣсъ—и спокойная разсудочность уступаетъ мѣсто чувствительности и мечтательности. Онъ пишетъ: „Хотя въ семъ романѣ много неестественнаго, много увеличеннаго — однимъ словомъ, много *романическаго*, — однакожъ на французскомъ языкѣ никто не описывалъ любви такими яркими, живыми красками, какими она въ Элоизѣ описана — въ Элоизѣ, безъ которой не существовалъ бы и нѣмецкій *Вертеръ* *). — Надобно, чтобы красота здѣшнихъ мѣстъ сдѣлала глубокое впечатлѣніе въ Руссовой душѣ; всѣ описанія его такъ живы, и притомъ такъ вѣрны! Мнѣ, казалось, что я нашелъ глазами и ту равнину (*éplapade*), которая была столь привлекательна для несчастнаго Сень-Прё. Ахъ, друзья мои! для чего въ самомъ дѣлѣ не было Юліи! для чего Руссо не велитъ искать здѣсь слѣдовъ ея! Жестокіи! ты описалъ намъ такое прекрасное существо, и послѣ говоришь: *со мной!* Вы помните это мѣсто въ его *Confessions*: «Я скажу всѣмъ, имѣющимъ вкусъ, всѣмъ чувствительнымъ: поѣзжайте въ Вевё, осмотрите его окрестности, гуляйте по озеру—и вы согласитесь, что сіи прекрасныя мѣста достойны Юліи, Клеры и Сень-Прё; но не ищите ихъ тамъ»“.

*) Основаніе романа то же, и многія положенія (*situations*) въ *Вертерѣ* взяты изъ *Элоизы*; но въ немъ больше натуры. (Примѣч. Карамз.).

Не менѣе проникнуто чувствомъ и то письмо, въ которомъ Карамзинъ описываетъ свое посѣщеніе Эрменонвиля, мѣстности, куда, по его словамъ, „спѣшать добрые странники видѣть мѣста, освященныя невидимымъ присутствіемъ генія; ходить по тропинкамъ, на которыхъ слѣды Руссовой ноги изображался; дышать тѣмъ воздухомъ, которымъ нѣкогда онъ дышалъ. и нѣжною слезою меланхолическою оросить его гробницу“. Далѣе помѣщена такая характеристика любимаго писателя: „Человѣкъ рѣдкій, авторъ единственный; пылкій въ страстяхъ и слогъ, убѣдительный въ самыхъ заблужденіяхъ, любезный въ самыхъ слабостяхъ! младенецъ сердцемъ до старости! мизантропъ, любви исполненный! несчастный по своему характеру между людьми, и завѣдно-счастливый по своей душевной нѣжности въ объятіяхъ натуры, въ присутствіи невидимаго Божества, въ чувствѣ Его благодати и красотъ творенія!... Всякая могила есть для меня какое-то святилище; всякій безмолвный прахъ говоритъ мнѣ:

И я быть живъ, какъ ты;
И ты умрешь, какъ я.

Сколь же краснорѣчивъ пепелъ такого автора, который сильно дѣйствовалъ на ваше сердце; которому вы обязаны многими изъ любезнѣйшихъ своихъ идей; котораго душа отчасти перелилась въ вашу?“

Замѣтимъ кстати, что слова этой характеристики: „убѣдительный въ самыхъ заблужденіяхъ, любезный въ самыхъ слабостяхъ“ заставляютъ вспомнить подобныя же слова Лессинга, который, говоря о „Discours sur les sciences et les arts“, такъ заключилъ свою статью: „чувствуешь какое-то тайное уваженіе къ человѣку, который говоритъ въ защиту добродѣтели противъ всѣхъ принятыхъ предразсудковъ, даже тогда, когда онъ заходитъ слишкомъ далеко“.

Письмо Карамзина о Вольтерѣ отличается гораздо большимъ спокойствіемъ. Мы уже имѣли случай слышать отъ него одно слово объ этомъ писателѣ: въ предисловіи къ своему переводу „Юлія Цезаря“ онъ называетъ Вольтера „знаменитымъ *софистомъ*“. Въ нижеприведенныхъ отрывкахъ изъ письма Карамзина рѣчь идетъ главнымъ образомъ о свѣтлыхъ сторонахъ произведеній Вольтера: правда, Карамзинъ не считаетъ его писателемъ гениальнымъ, но воздаетъ должное его таланту. „Кто, будучи въ Женевской республикѣ, не почтетъ за пріятную должность быть въ Фернеѣ, гдѣ жилъ славнѣйшій изъ писателей нашего вѣка?

Я ходилъ туда пѣшкомъ... Вольтеровъ замокъ построенъ на возвышенномъ мѣстѣ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ деревни Ферней... Описавъ это жилище философа, Карамзинъ продолжаетъ: „Спальня Вольтерова служила ему и кабинетомъ, изъ котораго онъ научалъ, трогалъ и смѣшилъ Европу. Такъ, друзья мои! должно признаться, что никто изъ авторовъ осьмогонадесяти вѣка не дѣйствовалъ такъ сильно на своихъ современниковъ, какъ Вольтеръ... Вольтеръ писалъ для читателей всякаго рода, для ученыхъ и неученыхъ; всѣ понимали его, и всѣ плѣнялись имъ. Никто не умѣлъ столь искусно показывать смѣшного во всѣхъ вещахъ, и никакая философія не могла устоять противъ Вольтеровой ироніи. Публика всегда была на его сторонѣ, потому что онъ доставлялъ ей удовольствіе смѣяться!—Вообще въ сочиненіяхъ Вольтеровыхъ не найдемъ мы тѣхъ великихъ идей, которыя гений натуры, такъ сказать, непосредственно вдыхаетъ въ избранныхъ смертныхъ; но сіи идеи и понятны бываютъ только немногимъ людямъ, и потому самому кругъ дѣйствія ихъ весьма ограниченъ. Всякій любитъ пареніемъ весенняго жаворонка; но чей взоръ дерзнетъ за орломъ къ солнцу?“ Особенное сочувствіе Вольтеру выражено въ слѣдующихъ словахъ: „Къ чести его можно сказать, что онъ распространилъ сію взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась характеромъ нашихъ временъ“. Эти слова Карамзина приводятъ на память другое его письмо (изъ Дрездена отъ 12 іюля), которое, конечно, имѣетъ прямое къ нимъ отношеніе. „Нынѣ поутру“—пишетъ Карамзинъ—„вошелъ я въ придворную *католическую* церковь во время обѣдни. Великолѣпіе храма, громкое и пріятное пѣніе, сопровождаемое согласными звуками органа; благоговѣніе молящихся, къ небу воздѣтыя руки священниковъ—все сіе вмѣстѣ произвело во мнѣ нѣкоторый восхитительный трепетъ. Мнѣ казалось, что я вступилъ въ міръ ангельскій, и слышу гласы блаженныхъ духовъ, славословящихъ Неизреченнаго. Ноги мои подогнулись; я сталъ на колѣни и молился отъ всего сердца“. Въ заслугу Вольтеру ставитъ Карамзинъ также и то, что онъ „наиболѣе посрамилъ гнусное лжевѣріе, которому еще въ началѣ осьмогонадесяти вѣка приносились кровавыя жертвы въ нашей Европѣ“; однако въ примѣчаніи къ этому мѣсту своего письма авторъ намъ говоритъ: „Но я не могу одобрить Вольтера, когда онъ отъ суевѣрія не отличалъ истинной христіанской религіи, которая, по словамъ одного изъ его соотечественниковъ, находится къ первому въ такомъ же отношеніи, въ какомъ находится правосудіе къ ябедѣ“.

Отъ писемъ о философахъ, ученыхъ и поэтахъ перейдемъ къ тѣмъ письмамъ, въ которыхъ идетъ рѣчь о театрѣ. Доставляя читателю матеріалъ для составленія понятія о тогдашнихъ заграничныхъ театрахъ, особенно парижскихъ, ихъ репертуаръ и актерахъ, письма эти указываютъ въ то же время и высокій взглядъ Карамзина на изящныя искусства вообще, и взглядъ его на драму въ частности. Для насъ они и интересны главнымъ образомъ въ двухъ послѣднихъ отношеніяхъ.

Взглядъ Карамзина на драму намъ отчасти уже извѣстенъ изъ его предисловія къ переводу „Юлія Цезаря“. Извлекаемое отсюда пополняется „Письмами“. Прежде всего прочтемъ письмо о Шекспирѣ ¹⁰²), гдѣ Карамзинъ высказываетъ такой же высокій взглядъ на этого автора, какой былъ высказанъ имъ и въ вышеупомянутомъ предисловіи.

„Въ драматической поэзіи“ — говоритъ Карамзинъ — „англичане не имѣютъ ничего превосходнаго, кромѣ твореній одного автора; но этотъ авторъ есть Шекспиръ — и англичане богаты! — Легко смѣяться надъ нимъ не только съ Вольтеровымъ, но и съ самымъ обыкновеннымъ умомъ; кто же не чувствуетъ великихъ красотъ его, съ тѣмъ я не хочу и спорить! Забавные Шекспировы критики похожи на дерзкихъ мальчишковъ, которые окружаютъ на улицѣ странно одѣтаго человѣка и кричатъ: «Какой смѣшной! какой чудакъ!» — Всякій авторъ ознаменованъ печатію своего вѣка. Шекспиръ хотѣлъ правиться современникамъ, знать ихъ вкусъ и угождать ему; что казалось тогда остроуміемъ, то нынѣ скучно и противно — слѣдствіе успѣховъ разума и вкуса, на которые и самый великій геній *не можетъ взять мѣрѣ своихъ*. Но всякій истинный талантъ, платя дань вѣку, творитъ и для вѣчности; современныя красоты исчезаютъ, а общія, основанныя на сердцѣ человѣческомъ и на природѣ вещей, сохраняютъ силу свою, какъ въ Гомерѣ, такъ и въ Шекспирѣ. Величіе, истина характеровъ, занимательность приключеній, *откровеніе* человѣческаго сердца и великія мысли, разсѣяанныя въ драмахъ британскаго генія, будутъ всегда ихъ магіею для людей съ чувствомъ. Я не знаю другого поэта, который имѣлъ бы такое всеобъемлющее, плодотворное, неистощимое воображеніе; и вы найдете всѣ роды поэзіи въ Шекспировыхъ сочиненіяхъ. Онъ есть любимый сынъ богини Фантазіи, которая отдала ему волшебный жезлъ свой, а онъ, гуляя въ дикихъ садахъ воображенія, на каждомъ шагу творитъ чудеса!“

Понятно, что, наслаждаясь Шекспировскими драмами, какъ

такими, которыя, по словамъ автора письма, магически дѣйствуютъ на челоуѣка съ чувствомъ, Карамзинъ не могъ высоко ставить тѣ произведенія, которыя не затрогиваютъ сердца. Такова была французская драма—и вотъ отзывъ о ней Карамзина¹⁰³): „На такъ называемомъ французскомъ театрѣ играютъ трагедіи, драмы и большія комедіи. Я и теперь не перемѣнилъ мнѣнія своего о французской Мельпоменѣ. Она благородна, величественна, прекрасна; но никогда не тронетъ, не потрясетъ сердца моего такъ, какъ муза Шекспирова и нѣкоторыхъ (правда, не многихъ) нѣмцевъ. Французскіе поэты имѣютъ тонкій, нѣжный вкусъ, и въ искусствѣ писать могутъ служить образцами. Только въ разсужденіи изобрѣтенія, жара и глубокаго чувства натуры—простите мнѣ, священные тѣни Корнелей, Расиновъ и Вольтеровъ!—должны они уступить преимущество англичанамъ и нѣмцамъ. Трагедіи ихъ наполнены изящными картинами, въ которыхъ весьма искусно подобраны краски къ краскамъ, тѣни къ тѣнямъ; но я удивляюсь имъ по большей части съ холоднымъ сердцемъ. Вездѣ смѣсь естественнаго съ романическимъ; вездѣ *mes feux, ma foi*; вездѣ греки и римляне *à la Française*, которые таютъ въ любовныхъ восторгахъ. иногда философствуютъ, выражаютъ одну мысль разными отборными словами и, теряясь въ лабиринтѣ краснорѣчія, забываютъ дѣйствовать. Здѣшняя публика требуетъ отъ автора прекрасныхъ стиховъ, *des vers à retenir*; они прославляютъ піесу, и для того стихотворцы стараются всячески умножать ихъ число, занимаясь тѣмъ болѣе, нежели важностію приключеній, нежели новыми, чрезвычайными, но естественными положеніями (*situations*), и забывая, что характеръ всего болѣе обнаруживается въ сихъ необыкновенныхъ случаяхъ, отъ которыхъ и слова заимствуютъ силу свою. — Коротко сказать, творенія французской Мельпомены славны—и будутъ всегда славны—красотою слога и блестящими стихами; но если трагедія должна глубоко трогать наше сердце или ужасать душу,—то соотечественники Вольтеровы не имѣютъ, можетъ быть, ни двухъ истинныхъ трагедій—и д'Аланбертъ сказалъ весьма справедливо, что всѣ ихъ піесы сочинены болѣе для чтенія, нежели для театра“¹⁰⁴). Подобное же сопоставленіе французской драмы съ Шекспировскою находимъ и въ письмѣ изъ Ліона: „Ударю шесть часовъ — театръ былъ наполненъ зрителями... Представляли новую трагедію—Карла IX, сочиненную г. Шенье. Слабый король, правимый своею суевѣрною матерью и чернодушнымъ прелатомъ (который всегда говоритъ ему именемъ Неба), соглашается пролить кровь своихъ подданныхъ для того, что они

не католики. Дѣйствіе ужасно; но не всякій ужасъ можетъ быть душою драмы. Великая тайна трагедіи, которую Шекспиръ похитилъ во святилищѣ человѣческаго сердца, пребываетъ тайною для французскихъ поэтовъ—и Карлъ IX холоденъ, какъ ледъ. Авторъ имѣлъ въ виду новыя происшествія, и всякое слово, относящееся къ нынѣшнему состоянію Франціи, было сопровождаемо плескомъ зрителей. Но отними сіи *отношенія*, и піеса показалась бы скучна всякому, даже и французу. На сценѣ только разговариваютъ, а не дѣйствуютъ, по обыкновенію французскихъ трагиковъ; рѣчи предлинныя и наполнены обветшалыми сентенціями“. — Зато Карамзинъ испытывалъ величайшее наслажденіе въ тѣхъ случаяхъ, когда драма трогала его сердце, о чемъ можно судить по письму его изъ Берлина отъ 2 іюля. „Давно уже“ — говоритъ онъ въ этомъ письмѣ—„не былъ я такъ пріятно растроганъ, какъ нынѣ въ театрѣ. Представляли драму: *Ненависть къ людямъ и раскаяніе*, сочиненную г. Концебу, ревельскимъ жителемъ. Авторъ осмѣлился вывести на сцену жену невѣрную, которая, забывъ мужа и дѣтей, ушла съ любовникомъ; но она мила, несчастлива — и я плакалъ, какъ ребенокъ, не думая осуждать сочинителя. Сколько бываетъ въ свѣтѣ подобныхъ исторій!... Концебу знаетъ сердце. Жаль только, что онъ въ одно время заставляетъ зрителей и плакать и смѣяться! Жаль, что не имѣетъ вкуса или не хочетъ его слушаться! Последняя сцена въ піесѣ несравненна. — Г. Флекъ играетъ роль мужа съ такимъ чувствомъ, что каждое слово его доходитъ до сердца. По крайней мѣрѣ я еще не видывалъ такого актера. Въ немъ соединены великія природныя дарованія съ великимъ искусствомъ... Я думаю, что у нѣмцевъ не было бы такихъ актеровъ, если бы не было у нихъ Лессинга, Гёте, Шиллера и другихъ драматическихъ авторовъ, которые съ такою живостью представляютъ въ драмахъ своихъ человѣка, каковъ онъ есть, отвергая всѣ излишнія украшенія, или французскія румяны, которыя человѣку съ естественнымъ вкусомъ не могутъ быть пріятны. Читая Шекспира, читая лучшія нѣмецкія драмы, я живо воображаю себѣ, какъ надобно играть актеру и какъ что произнести; но при чтеніи французскихъ трагедій рѣдко могу представить себѣ, какъ можно въ нихъ играть актеру хорошо, или такъ, чтобы меня тронуть. Вышедши изъ театра, обтеръ я на крыльцѣ послѣднюю сладкую слезу. Повѣрите ли, друзья мои, что нынѣшній вечеръ причисляю я къ счастливейшимъ вечерамъ моей жизни! Пусть теперь доказываютъ мнѣ, что изящныя искусства не имѣютъ вліянія на счастье наше! ¹⁰⁵⁾ Нѣтъ, я буду всегда благословлять ихъ дѣйствіе, пока сердце будетъ биться въ груди моей,—пока будетъ оно чувствительно!“

Итакъ Карамзинъ требуетъ, чтобы драма была основана „на сердцѣ человѣческомъ и на природѣ вещей“; онъ требуетъ „истины характеровъ“ и „откровенія человѣческаго сердца“ — и все это нужно для того, чтобы „глубоко трогать наше сердце или ужасать душу“. Испытывать на себѣ такое вліяніе драмы значитъ не только наслаждаться, но и воспитываться. И это воспитательное значеніе Карамзинъ приписываетъ изящнымъ искусствамъ вообще, что совершенно опредѣленно высказано имъ въ другомъ его сочиненіи — въ разсужденіи: „Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи“, гдѣ онъ говоритъ, что искусства, вмѣстѣ съ науками, „возвышаютъ душу, дѣлаютъ ее чувствительнѣе, нѣжнѣе, обогащаютъ сердце наслажденіями, и возбуждаютъ въ немъ любовь къ порядку, любовь къ гармоніи, къ добру“. Имѣя въ виду такое воздѣйствіе изящныхъ искусствъ, Карамзинъ и приписываетъ имъ вліяніе на человѣческое счастье, разумѣя подъ этимъ послѣднимъ — нравственное совершенство. Въ общемъ выводъ выходитъ, что Карамзинъ и объ искусствѣ говоритъ, какъ энтузіастъ просвѣщенія.

Библіотеки, академіи, музеи, памятники искусства — все это интересовало Карамзина, осматривалось имъ и описывалось. Описывать ли онъ эти предметы только на основаніи своихъ личныхъ наблюденій, или пользовался при этомъ и разными справочными книгами, — это въ данномъ случаѣ для насъ не важно: важно самое присутствіе подобныхъ описаній въ его „Письмахъ“. Описанія эти, интересныя уже сами по себѣ, такъ какъ касаются культурности западной Европы, становятся еще интереснѣе, благодаря разсѣяннѣ тамъ и сямъ замѣткамъ Карамзина, имѣющимъ цѣлью указать читателю на тѣ факты, которые громко говорятъ объ успѣхахъ просвѣщенія. Такъ, напримѣръ, онъ отмѣчаетъ, какъ признакъ высокой образованности Германіи, тотъ фактъ, что „во всякомъ нѣмецкомъ городѣ есть публичныя бібліотеки, изъ которыхъ можно брать для чтенія всякія книги, платя за то бездѣлку“ ¹⁰⁶). Въ другомъ мѣстѣ онъ заявляетъ, что „нигдѣ способы ученія не доведены до такого совершенства, какъ нынѣ въ Германіи“ ¹⁰⁷). Богатство и порядокъ Парижской Королевской бібліотеки и многихъ другихъ бібліотекъ Парижа приводятъ его въ восторгъ. „Здѣшняя Королевская бібліотека“ — говоритъ онъ — „есть первая въ свѣтѣ... Шесть превеликихъ залъ наполнены книгами. Мистическіе авторы занимаютъ пространство въ 200 футовъ длиною и въ 20 вышиною, схоластики 150 футовъ, юриспруденты 40 сажень, историкі вдвое. Поэтовъ считается

40.000, романистовъ 6.000, путешественниковъ 7.000. Все вмѣстѣ составляетъ 200.000 томовъ, къ которымъ надобно еще прибавить 60.000 рукописныхъ. Порядокъ рѣдкій. Наименуйте книгу—и черезъ нѣсколько минутъ она у васъ въ рукахъ... Здѣсь много и другихъ общественныхъ и частныхъ библіотекъ, отворенныхъ въ назначенные дни для всякаго. Читайте, выписывайте, что вамъ угодно. Нѣтъ въ свѣтѣ другого Парижа ни для ученыхъ, ни для любопытныхъ; все готово — только пользуйся“. — Приступая къ описанію парижскихъ академій, Карамзинъ уясняетъ значеніе этихъ учрежденій. „Работать соединенными силами, съ однимъ намѣреніемъ, по лучшему плану—есть предметъ всѣхъ академій. Выдумка благословенная для пользы наукъ, искусствъ и всѣхъ людей! Пріятная мысль быть участникомъ въ достохвальныхъ трудахъ, соревнованіе между членами, нераздѣлимость общей славы съ личною, взаимное усердное вспоможеніе — окрыляютъ разумъ человѣческій“. Но что особенно радуетъ Карамзина, такъ это то, что академіи служатъ звеньями, соединяющими людей различныхъ странъ и народностей. „Нѣмецкій ученый снимаетъ колпакъ, говоря о Лаландѣ и Лавуазьѣ“, замѣчаетъ Карамзинъ, указывая заслуги этихъ членовъ Французской Академіи Наукъ—одного въ области астрономіи, а другого въ области химіи. „Товарищъ мой Беккеръ не можетъ безъ восхищенія говорить о Лавуазьѣ, который дружески обласкалъ его, слыша, что онъ ученикъ берлинскаго химика Клапрота. Я всегда готовъ плакать отъ сердечнаго удовольствія, видя, какъ науки соединяютъ людей, живущихъ на Сѣверѣ и Югѣ; какъ они, безъ личнаго знакомства, любятъ, уважаютъ другъ друга. Что ни говорятъ мизософы, а наука—святое дѣло!“

Описывая парижскія академіи, авторъ письма сообщаетъ много подробностей о ихъ дѣятельности. „Собственно такъ называемая Французская Академія“,—говоритъ онъ,—„учрежденная кардиналомъ Ришельё для обогащенія французскаго языка, утверждена парламентомъ и королемъ... Главный плодъ сего академическаго древа есть лексиконъ французскаго языка, чистый, правильный, строгій, но неполный, такъ что въ первомъ изданіи господа члены забыли даже слово *Академія*! Напримѣръ, англійскій лексиконъ Джонсоновъ и нѣмецкій Аделунговъ гораздо совершеннѣе французскаго“.—„Академія Наукъ... занимается физикою, астрономіею, математикою, химіею... Каждый годъ выдаетъ она большой томъ сочиненій своихъ, полезныхъ для ученаго, пріятныхъ для любопытнаго. Они составляютъ подробнѣйшую

исторію наукъ со временъ Людовика XIV".— „Академія Надписей и Словесности... болѣе ста лѣтъ ревностно трудится для обогащенія исторической литературы; нравы, обыкновенія, монументы древности — составляютъ предметъ ея любопытныхъ изысканій. Она по сіе время выдала болѣе 40 томовъ, которые можно назвать золотою миною исторіи. Вы не знаете, что были египтяне, персы, греки, римляне, если не читали Записокъ Академіи; читая ихъ, живете съ древними; видите, кажется, всѣ ихъ движенія, малѣйшія подробности домашней жизни въ Аѳинахъ, въ Римѣ и проч.“

Поклонникъ изящныхъ искусствъ, Карамзинъ не мало говорить въ своихъ „Письмахъ“ о ихъ произведеніяхъ. Въ этомъ отношеніи прежде всего заслуживаетъ вниманія письмо о знаменитой дрезденской картинной галлерее, въ особенности замѣтки въ выноскахъ. Приведемъ, для примѣра, нѣкоторыя изъ этихъ замѣтокъ.

„Рафаэль, глава римской школы, признанъ единогласно первымъ въ своемъ искусствѣ. Никто изъ живописцевъ не выкалъ столько въ красоты антиковъ, никто не учился анатоміи съ такою прилежностію, какъ Рафаэль—и потому никто не могъ превзойти его въ рисовкѣ. Но знанія, которыя симъ средствомъ пріобрѣлъ онъ въ формѣ человѣческой, не сдѣлали бы его такимъ великимъ живописцемъ, если бы натура не одарила его творческимъ духомъ, безъ котораго живописецъ есть не что иное, какъ бѣдный копистъ. Небесный огонь оживляетъ черты кисти его, когда онъ изображаетъ Божество; въ чертахъ героев его видно непобѣдимое мужество; въ образѣ Венеры или Роксаны умѣлъ онъ соединить всѣ женскія прелести, а въ образѣ Маріи красоту, невинность и святость. Лица тирановъ, имъ изображенныя, приводятъ въ ужасъ; въ лицахъ мучениковъ его надобно удивляться живымъ чертамъ небеснаго терпѣнія. — Правда, что картины его не равной цѣны; послѣднія несравненно превосходятъ первыхъ. Преображеніе Христово считается лучшимъ его произведеніемъ. Сей великій художникъ скончалъ жизнь свою преждевременно... Онъ родился въ Урбино въ 1483 г., а умеръ въ Римѣ въ 1520 году“. — „Корреджіо, первый ломбардскій живописецъ, почти безъ всякаго руководства достигъ до высочайшей степени совершенства въ своемъ искусствѣ, не выѣзжавъ никогда изъ своего отечества и не издавъ почти никакихъ хорошихъ картинъ ни антиковъ. Кисть его ставится въ примѣръ нѣжности и пріятности. Рисовка не совсѣмъ правильна, однакожъ искусна; головы прекрасны, а краски не-

сравненны. Нагое тѣло писалъ онъ весьма живо, а лица его говорятъ. Однимъ словомъ, картины его отменно милы даже и для незнакоковъ, и если бы Корреджіо видѣлъ всѣ прекрасныя творенія искусства въ Римѣ и въ Венеціи, то превзошелъ бы, можетъ быть, самого Рафаэля. Всю жизнь свою провелъ онъ въ бѣдности, былъ скроменъ, доволенъ малымъ и челоуѣколюбивъ. Причина его смерти достойна замѣчанія. Продавъ въ Пармѣ одну картину свою, взялъ онъ за нее мѣшокъ мѣдныхъ денегъ и пошелъ съ нимъ пѣшкомъ въ Корреджіо. День былъ жарокъ, и ему надлежало перейти четыре мили. Радуюсь тому, что полученными деньгами можетъ на нѣкоторое время вывести изъ нужды семейство свое, не чувствовалъ онъ усталости; но, пришедши домой, занемогъ горячкою, которая черезъ нѣсколько дней прекратила жизнь его. Онъ родился въ 1532 г., а умеръ въ 1588 году“.—„Въ картинахъ Николая Пуссеня, славнаго французскаго живописца, видны высокія мысли и живое выраженіе страстей; рисовка его правильна, но краски не очень хороши. Въ семъ подобенъ онъ римскимъ живописцамъ, которые вообще не уважаютъ колорита. Ландшафты его прекрасны. Онъ родился въ 1594 г., а умеръ въ 1663 году“.

О художественномъ вкусѣ Карамзина можемъ судить по письму его изъ Стразбурга отъ 6 августа. „Въ лютеранской церкви св. Томаса видѣлъ я мраморный монументъ маршала, графа Саксонскаго, славное произведеніе рѣзца Пигалева. Маршалъ съ жезломъ своимъ сходитъ по ступенямъ въ могилу, и съ презрѣніемъ смотритъ на смерть, которая открываетъ гробъ. На правой сторонѣ два льва и орелъ, въ ужасѣ и смятеніи, изображаютъ соединенныя арміи, побѣжденные графомъ во Фландріи. На лѣвой сторонѣ представлена Франція въ образѣ прекрасной женщины, которая, со всѣми знаками живой горести, хочетъ одною рукою удержать его, а другою отталкиваетъ смерть. Печальный геній жизни обращаетъ къ землѣ свой факелъ; и на сей же сторонѣ развѣваются побѣдоносныя знамена Франціи.—Художникъ хотѣлъ, чтобы удивлялись его искусству: по мнѣнію знатоковъ, онъ достигъ своей цѣли. Я, не будучи знатокомъ, смотрѣлъ на фигуры — на ту, на другую, на третью—и былъ въ своемъ сердцѣ такъ холоденъ, какъ мраморъ, изъ котораго онѣ сдѣланы. Смерть въ образѣ скелета, одѣтаго мантиею, была мнѣ противна. Древніе не такъ изображали ее—и горе новымъ художникамъ, пугающимъ насъ такими представленіями! На лицѣ героя желалъ бы я видѣть другое выраженіе. Мнѣ хотѣлось бы, чтобы онъ имѣлъ болѣе

вниманія къ горестной Франціи, нежели къ гнусному скелету. Коротко сказать, Пигаль, по моему чувству, есть искусный художникъ, но худой поэтъ“.—Иначе относился Карамзинъ къ художникамъ, умѣвшимъ „влагать душу въ мраморъ“. „Въ Академіи Скульптуры“,—пишетъ онъ изъ Мангейма отъ 4 августа,—„видѣлъ я собраніе статуй, и между ними самыя вѣрнѣйшія копіи славныхъ бельведерскихъ антиковъ. Надобно удивляться древнему искусству, которое умѣло влагать душу въ мраморъ, и прекрасную душу. М^н съ восхищеніемъ говоритъ намъ о Лаокоонѣ: я видѣлъ эту группу, одинъ изъ прекраснѣйшихъ памятниковъ греческаго художества, и, по мнѣнію нѣкоторыхъ, произведеніе Фидіасова рѣзца. Утверждаютъ, что она подала Виргилію мысль къ описанію несчастнаго Лаокоонова конца. Смотри на нее, прочиталъ я нѣсколько разъ сіе мѣсто въ безсмертной Энеидѣ, которая была у меня въ рукахъ“. Приводится изъ Энеиды мѣсто о Лаокоонѣ, а затѣмъ письмо продолжается такими словами: „Съ какою живостію изображена боль въ лицѣ терзаемаго старца! Какъ сильно изображена въ немъ и горестъ несчастнаго родителя, который видитъ гибель дѣтей своихъ, и не можетъ спасти ихъ!—Фидіасъ былъ поэтъ“.

Памятники искусства по большей части суть въ то же время и памятники историческіе: они связаны съ тѣми или другими воспоминаніями о прошедшемъ. И Карамзинъ, описывая эти памятники, почти всегда уводитъ читателя въ прошедшее и такимъ образомъ вноситъ въ свои „Письма“ историческій элементъ, чѣмъ еще болѣе повышаетъ интересъ ихъ. Такъ, напримѣръ, историческій элементъ внесенъ имъ въ тѣ письма, гдѣ онъ описываетъ свой осмотръ статуи Фридриха Вильгельма, Женевской кафедральной церкви, картезіанской церкви въ Ліонѣ, Фонтенебло, Лувра, Тюльери, Люксанбура, Пале-Рояля, парижскихъ улицъ. Инвалиднаго дома и Парижской соборной церкви, кладбища въ Сенъ-Дени, Лондонской крѣпости—Tower, Вестминстерскаго аббатства. Но особенно интересными становятся эти письма въ томъ случаѣ, когда Карамзинъ по поводу указываемыхъ фактовъ внѣшняго міра выражаетъ—прямо или, какъ говорятъ, между строками—и свои собственныя мысли и чувства. Соберемъ важнѣйшее. Говоря о статуй Фридриха Вильгельма (въ п. изъ Штаргарда отъ 26 іюня), Карамзинъ замѣчаетъ: „Ты достоинъ сей почести! думалъ я, читая надпись. Не знаю, кого справедливѣе можно назвать великимъ, отца или сына, хотя послѣдняго всѣ безъ разбора величаютъ. Здѣсь должно смотрѣть только на дѣла ихъ, полезныя

для государства—не на ученость, не на острые слова, не на авторство. Кто привлекъ въ свое государство множество чужестранцевъ? Кто обогатилъ его мануфактурами, фабриками, искусствами? Кто населилъ Пруссію? Кто всегда отходилъ отъ войны?... Фридрихъ Вильгельмъ!“ Въ этихъ строкахъ мы узнаемъ автора письма о Петрѣ Великомъ: усмотрѣвъ въ дѣятельности прусскаго короля нѣкоторое сходство съ дѣятельностью своего любимаго монарха, нашъ горячо преданный интересамъ просвѣщенія путешественникъ не могъ, конечно, не признать и за Фридрихомъ Вильгельмомъ права на величіе. Это здѣсь главное; но въ частности тутъ есть еще одна обращающая на себя вниманіе мысль. Фридриху Вильгельму ставится между прочимъ въ заслугу то, что онъ „всегда отходилъ отъ войны“. Слѣдовательно война, по мнѣнію автора письма, есть зло. И дѣйствительно, въ такомъ взглядѣ его на войну убѣждаетъ насъ письмо изъ Маріенбурга отъ 21 іюня, въ которомъ Карамзинъ описываетъ свою бесѣду съ воинственнымъ прусскимъ капитаномъ, страстно желавшимъ „драться“. Возражая ему, нашъ путешественникъ „вооружался противъ войны всѣмъ своимъ краснорѣчіемъ, описывая ужасы ея: стонъ, вопль несчастныхъ жертвъ, кровавою рѣкою на тотъ свѣтъ уносимыхъ; опустошеніе земель, тоску отцовъ и матерей, женъ и дѣтей, друзей и сродниковъ; сиротство музъ, которыя скрываются во мракъ, подобно какъ въ бурное время бѣдныя малиновки и синички по кустамъ прячутся“. Однако Карамзинъ раздѣляетъ войну и воюющихъ: война сама по себѣ есть зло; но цѣна проявляющейся въ ней силы духа человѣческаго, цѣна подвиговъ самоотверженія, храбрости — отъ этого не умалается. Эта мысль выражена въ письмѣ, написанномъ по поводу посѣщенія парижскаго Инвалиднаго дома. Домъ этотъ—„печальное зрѣлище для философа, трогательное для всякаго чувствительнаго! Многіе инвалиды не могутъ ходить; многіе не могутъ даже ѣсть сами: ихъ кормятъ. Одни молятся передъ алтарями, другіе сидятъ подъ тѣнію густыхъ деревьевъ, разговаривая о побѣдахъ, купленныхъ ихъ кровію. Какъ охотно снимаю шляпу передъ сѣдымъ воиномъ, который носитъ на себѣ неизгладимые знаки храбрости и печать славы! Война бѣдственна, но храбрость есть великое свойство души. «Робкій человѣкъ можетъ быть добрымъ: но всякій дурной человѣкъ непременно долженъ быть трусомъ»,—говоритъ Стерновъ капраль Тримъ“ ¹⁰⁸). Тутъ кстати замѣтить, что авторъ „Писемъ“ вообще дорожитъ всякою свѣтлою чертою человѣческаго сердца, всякою его добродѣтелью, начиная отъ подвига герцога Рогана, жертво-

вавшего своей жизнью для французскихъ протестантовъ, и кончая добродушіемъ того ночного караульщика въ Лозаннѣ, который, услуживъ нашему путешественнику, отказался отъ предложенной ему денежной благодарности. Черты великодушія Рогана названы Карамзинымъ „блестящими перлами въ мрачной исторіи вѣковъ“¹⁰⁹), а поступокъ караульщика былъ занесенъ въ карманную книжку такими словами: „такого-то числа въ Лозаннѣ нашелъ добраго человѣка, который безкорыстно услуживаетъ ближнимъ“¹¹⁰).

Въ письмѣ, описывающемъ Парижскую соборную церковь, читаемъ слѣдующія строки: „Въ соборную церковь ходятъ всѣ удивляться искусству ваятеля Жирандона. На монументѣ, въ древнемъ вкусѣ, представленъ кардиналъ Ришельё; умирая въ объятіяхъ Религіи, онъ кладетъ правую руку на сердце, а въ лѣвой держитъ духовныя свои творенія. Наука, въ видѣ молодой женщины, рыдаетъ у ногъ его. Говорятъ, что Петръ Великій, смотря на сей памятникъ, сказалъ внуку кардинала, герцогу Ришельё: «Твой дѣдъ былъ величайшій изъ министровъ; я отдалъ бы половину своего государства за то, чтобы научили меня править другою, какъ онъ правилъ Франціею». Не вѣрю этому анекдоту; или государь нашъ не зналъ всѣхъ злодѣйствъ кардинала, хитраго министра, но свирѣпаго человѣка, врага непримиримаго; хвастливаго покровителя наукъ, но завистника и гонителя великихъ дарованій. Я представилъ бы кардинала не съ христіанскою, святою Религіею, а съ чудовищемъ, которое называется Политикою, и которое описываетъ Вольтеръ въ Генріадѣ:

Дщерь гордости властолюбивой,
Обмановъ и коварства мать,
Всѣ виды можетъ принимать:
Казаться мирною, правдивой,
Покойною въ опасный часъ;
Но сонъ вовѣки не смыкаетъ
Ея глубоко-впадшихъ глазъ;
Она трудится, вымышляетъ,
Печать у Истины беретъ,
И взоры обольщаетъ ею;
За Небо будто возстаетъ,
Но адской злобою своею
Разить лишь собственныхъ враговъ“.

Такимъ образомъ нравственное воззрѣніе, какъ руководство, при помощи котораго устанавливались отношенія Карамзина къ историческимъ дѣятелямъ, играетъ важную роль не только въ „Исторіи государства Россійскаго“, но и въ „Письмахъ русскаго путешественника“.

Общественный бытъ и семейная жизнь также были предметомъ наблюденія Карамзина, хотя и не вездѣ въ одинаковой мѣрѣ: замѣтки о нихъ есть и въ письмахъ изъ Германіи и Швейцаріи, но гораздо болѣе удѣляетъ онъ мѣста описанію нравовъ и типовъ парижскихъ, и наконецъ даетъ довольно полную картину общественной и семейной жизни англичанъ.

Такъ какъ авторъ „Писемъ“ не только описываетъ черты общественной и семейной жизни, но и выражаетъ свое сочувствіе или несочувствіе имъ, то является вопросъ: съ какой же точки зрѣнія производилась его оцѣнка?

Точка зрѣнія автора „Писемъ“ скрывается въ слѣдующихъ его положеніяхъ:

1) „Главное дѣло быть людьми“, сказалъ Карамзинъ, какъ мы уже знаемъ, въ своемъ письмѣ о Левекѣ и Петрѣ Великомъ. Ту же мысль находимъ и въ одномъ письмѣ его изъ Швейцаріи. При видѣ сооруженнаго швейцарцами изъ груды непріятельскихъ костей памятника въ честь своей побѣды надъ Карломъ Дерзостнымъ, памятника, который Карамзинъ называетъ „памятникомъ варварства“, онъ говоритъ: „Швейцары! неужели вы можете веселиться такимъ печальнымъ трофеемъ? Бургундцы по человечеству были вамъ братья... Гордясь именемъ швейцара, не забывайте благороднѣйшаго своего имени — имени человѣка!“ ¹¹¹⁾ — Требованіемъ Карамзина, чтобы человѣкъ былъ „человѣкомъ“ и обусловливается его сочувствіе всему истинно-человѣческому и несочувствіе всему тому, что шло въ разрѣзъ съ его понятіемъ о духовномъ усовершенствованіи.

2) „Человѣкъ рожденъ къ общежитію и дружбѣ“, говоритъ Карамзинъ въ письмѣ изъ Берлина отъ 30 іюня. На этомъ основаніи уединеніе признается неестественнымъ. „Уединеніе“ — читаемъ въ письмѣ изъ Ліона — „пріятно тогда, когда оно есть отдыхъ; но безпрестанное уединеніе есть путь къ ничтожеству. Сначала душа наша бунтуетъ противъ сего заключенія, противнаго ея натурѣ; чувство *недостатка* — (ибо человѣкъ самъ по себѣ есть фрагментъ, или отрывокъ: только съ подобными ему существами и съ природою составляетъ онъ цѣлое) — чувство недостатка мучитъ ее; наконецъ всѣ благородныя побужденія въ сердцѣ нашемъ усыпаютъ, и человѣкъ съ первой степени земного творенія ниспадаетъ въ сферу бездушныхъ тварей“. На томъ же вышеуказанномъ основаніи Карамзинъ требуетъ отъ людей такихъ чертъ, которыя дѣлаютъ общеніе съ ними пріятнымъ, и несочувственно относится къ тѣмъ чертамъ въ характерѣ чело-

вѣка, которая не только непріятны, но скорѣе способны отталкивать насъ отъ него.

3) Утверждая, что человѣкъ рожденъ къ общежитію, Карамзинъ тѣмъ не менѣе является врагомъ великосвѣтской пустоты и суетности и другомъ тихой семейной жизни. Последняя улаживается, по его мнѣнію, тѣмъ лучше, чѣмъ люди просвѣщеніе.

Вотъ философія Карамзина, изъ которой онъ исходитъ, оцѣнивая явленія въ общественной и семейной жизни посѣщенныхъ имъ странъ и мѣстностей. Изъ этой оцѣнки мы узнаемъ слѣдующее.

Отнесясь сочувственно къ трудолюбію и простому образу жизни нѣмцевъ, у которыхъ нашъ путешественникъ не замѣтилъ никакой суетной роскоши—этого, по его словамъ, „гроба добрыхъ нравовъ“ ¹¹²⁾,—онъ отмѣчаетъ у нихъ стремленіе къ общительности особаго рода — къ общительности съ дѣловою цѣлью: нѣмцы завели у себя „ученые клубы“ — и „тамъ говорятъ объ ученыхъ или политическихъ новостяхъ, судятъ книги и проч.“ ¹¹³⁾—Въ Швейцаріи онъ восторгается чистотою швейцарскихъ нравовъ какъ въ общественной, такъ и семейной жизни — и говоритъ: „Можетъ быть, ни въ какой землѣ, друзья мои, не бываетъ такъ мало преступленій, какъ въ Швейцаріи, а особливо воровства, которое считается здѣсь за великое злодѣяніе. О разбояхъ и убійствахъ совсѣмъ не слышно; миръ и тишина царствуютъ въ счастливой Гельвеціи“ ¹¹⁴⁾.—„Здѣсь еще строго соблюдаются законы супружеской вѣрности... Здѣсь мать почитаетъ воспитаніе дѣтей главнымъ своимъ упражненіемъ“ ¹¹⁵⁾. Но подмѣченныя Карамзинымъ въ характерѣ швейцарцевъ „нѣкоторая жесткость и холодность“ и „какая-то важность, похожая на угрюмость“, ему непріятны ¹¹⁶⁾.

Описывая парижскую жизнь, Карамзинъ съ видимымъ несочувствіемъ говоритъ о ея пышной и роскошной суетѣ и напротивъ, въ случаѣ, если ему удастся встрѣтить картину тихой, мирной жизни, онъ останавливается на ней сочувственно и какъ бы отдыхаетъ. Для доказательства—вотъ его описаніе парижскихъ бульваровъ: старыхъ и новыхъ.

„На первыхъ видите предметы вкуса, богатства, пышности; все вымышленное праздноствіемъ для занятія праздности: здѣсь — комедія, тутъ — опера; здѣсь — блестящія палаты, тутъ — гесперидскіе сады, въ которыхъ недостаетъ только золотыхъ яблокъ: здѣсь — кофейный домъ, обвѣшенный зелеными гирляндами, тутъ — бесѣдка, украшенная цвѣтами и подобная сельскому храму любви: здѣсь — маленькій пріятный лѣсочекъ, въ которомъ гремитъ му-

зыка, прыгаетъ на веревкѣ рѣзвая нимфа, или какой-нибудь фигляръ забавляетъ народъ своими хитростями, тутъ—показываются вамъ рѣдкія произведенія животнаго царства природы: птицы американскія, звѣри африканскіе, колибри и страусы, тигры и крокодилы; здѣсь, подъ каштановымъ деревомъ, сидитъ Цирцея, смотритъ на васъ томными глазами, кладетъ руку на сердце, и, видя, что вы съ равнодушіемъ идете мимо, говоритъ со вздохомъ: нечувствительный! жестокий! Тутъ—молодой растрепанный франтъ встрѣчается съ пожилымъ нѣжно-напудреннымъ петиметромъ, смотритъ на него съ усмѣшкою, и подаетъ руку оперной пѣвицѣ; здѣсь—длинный рядъ каретъ, изъ которыхъ выглядываютъ юность и древность, красота и безобразіе, умъ и глупость въ самыхъ живыхъ характерныхъ чертахъ — и наконецъ... маршируетъ отрядъ національной гвардіи. Цѣлый день употребилъ я на то, чтобы обойти эту шумную часть бульваровъ. Такъ называемая *новая* часть представляетъ совсѣмъ другое зрѣлище: тамъ деревья сѣнистые, аллеи красивѣе, воздухъ чище, но мало бываетъ гуляющихъ; не слышите ни стука каретнаго, ни топота лошадинаго, ни пѣсней, ни музыки; не видите ни англійскихъ ни французскихъ щеголей, ни распудренныхъ головъ, ни разрумяненныхъ лицъ. Здѣсь—въ густой тѣни отдыхаетъ добрый ремесленникъ съ своею женою и дочерью; тутъ—по аллеѣ медленными шагами прохаживается сынъ его съ молодою своею невѣстою; тамъ — поля съ хлѣбомъ, сельскія работы, трудящіяся земледѣльцы—словомъ, все просто, тихо и мирно“ ¹¹⁷).

„Пале-Рояль“—пишетъ Карамзинъ — „называется *сердцемъ, душою, мозгомъ, извлеченіемъ Парижа*“. И какъ же отзывается онъ въ концѣ концовъ объ этомъ сердцѣ? — „Тамъ“—говоритъ онъ — „собраны всѣ лѣкарства отъ скуки и всѣ сладкія отравы для душевнаго и тѣлеснаго здоровья, всѣ средства выманивать деньги и мучить безденежныхъ, всѣ способы наслаждаться временемъ и губить его“ ¹¹⁸)... Наконецъ въ одномъ изъ писемъ ¹¹⁹) Карамзинъ дѣлаетъ общую оцѣнку парижской жизни—и говоритъ такъ: „Правда, Парижъ есть городъ единственный. Нигдѣ, можетъ быть, нельзя найти столько матерій для философскихъ наблюденій, какъ здѣсь; нигдѣ столько любопытныхъ предметовъ для чело-вѣка, умѣющаго цѣнить искусства; нигдѣ столько разсѣянія и забавъ. Но гдѣ же и столько опасностей для философіи, особливо для сердца? Здѣсь тысячи сѣтей разставлены для всякой его слабости... Шумный океанъ, гдѣ быстрое стремленіе волнъ мчитъ васъ отъ Харибды къ Сциллѣ, отъ Сциллы къ Харибдѣ! Сирень

множество; и пѣніе ихъ такъ сладостно, усыпительно... Какъ легко забыться, заснуть! но пробужденіе едва ли не всегда горестно“.

Но Карамзинъ, какъ энтузіастъ умственного и нравственного просвѣщенія, умѣлъ миновать и Сциллу и Харибду: наблюдать, онъ все, но пользовался лишь избраннымъ. Вотъ какъ, по его словамъ, удалось ему устроить свою парижскую жизнь: „Имѣть хорошую комнату въ лучшей отели; поутру читать разные журналы, газеты, гдѣ всегда найдешь что-нибудь интересное, жалкое, смѣшное; ...а тамъ, надѣвъ чистый, просторный фракъ, бродить по городу, зайти въ Пале-Рояль, въ Тюльери, въ Елисейскія поля, къ извѣстному писателю, къ художнику, въ лавки, гдѣ продаются эстампы и картины, къ Дидоту—любоваться его прекрасными изданіями классическихъ авторовъ;... посмотрѣть на часы—и расположить время свое, чтобы, осмотрѣвъ какую-нибудь церковь, украшенную монументами, или галлереею картинную, или библіотеку, или кабинетъ рѣдкостей, явиться, съ первымъ движеніемъ смычка, въ оперѣ, въ комедіи, въ трагедіи, плѣняться гармоніею, балетомъ, смѣяться, плакать—и съ томною, но пріятныхъ чувствъ исполненною душою отдыхать въ Пале-Рояль, въ Café de Valois, de Caveau, за чашкою баваруаза; взглядывать на великолѣпное освѣщеніе лавокъ, аркадъ, аллей въ саду; вслушиваться иногда въ то, что говорятъ тамошніе глубокіе политики; наконецъ возвратиться въ тихую свою комнату, собраться съ идеями, написать нѣсколько строкъ въ своемъ журналѣ, броситься на мягкую постель, и (чѣмъ обыкновенно кончится и день и жизнь) заснуть глубокимъ сномъ съ пріятною мыслию о будущемъ“ ¹²⁰).—„Такъ я провожу время, и доволенъ“—прибавляетъ Карамзинъ къ описанію своего парижскаго дня. Это довольство своей парижской жизнью онъ выразилъ гораздо полнѣе въ томъ письмѣ, въ которомъ онъ прощался съ Парижемъ, гдѣ пробылъ около 4 мѣсяцевъ. Письмо это снова показываетъ, на что направлены были главные интересы „русскаго путешественника“, и вмѣстѣ съ тѣмъ свидѣтельствуетъ, какъ еще поверхностно занимали его тогда современныя политическія событія во Франціи. „Я оставилъ тебя, любезный Парижъ“,—пишетъ онъ,—„оставилъ съ сожалѣніемъ и благодарностію! Среди шумныхъ явленій твоихъ жилъ я спокойно и весело, какъ безпечный гражданинъ вселенной; смотрѣлъ на твое волненіе съ тихою душою, какъ мирный пастырь смотритъ съ горы на бурное море. Ни якобинцы ни аристократы твои не сдѣлали мнѣ никакого зла; я слышалъ споры—и не спорилъ; ходилъ въ великолѣпные храмы твои на-

слаждаться глазами и слухомъ: тамъ, гдѣ свѣтозарный богъ искусствъ сіяетъ въ лучахъ ума и талантовъ; тамъ, гдѣ геніи славы величественно покоятся на лаврахъ! Я не умѣлъ описать всѣхъ пріятныхъ впечатлѣній своихъ, не умѣлъ всѣмъ воспользоваться, но выѣхалъ изъ тебя не съ пустою душою: въ ней остались идеи и воспоминанія... Съ какимъ удовольствіемъ взошелъ бы я еще на гору Валеріанскую, откуда взоръ мой леталъ по твоимъ живописнымъ окрестностямъ! Съ какимъ удовольствіемъ, сидя во мракѣ Булонскаго лѣса, снова развернулъ бы передъ собою свитокъ исторіи *), чтобы найти въ ней предсказаніе будущаго... Прости, любезный Парижъ! прости, любезный Беккеръ! Мы родились съ тобою не въ одной землѣ, но съ одинаковымъ сердцемъ; увидѣлись, и три мѣсяца не разставались. Сколько пріятныхъ вечеровъ провелъ я въ твоей Сенъ-Жерменской отели, читая привлекательныя мечты единоплеменника и соученика твоего — Шиллера, или занимаясь собственными нашими мечтами, или философствуя о свѣтѣ, или судя новую комедію, нами вмѣстѣ видѣнную! "...

Вотъ какого рода впечатлѣнія и воспоминанія были Карамзину самыми дорогими, вотъ почему Парижъ названъ имъ „любезнымъ“. — Но названіе это можетъ имѣть еще и другую причину: не смотря на то, что Карамзинъ находилъ въ характерѣ французовъ нѣкоторыя темныя стороны, этотъ народъ все-таки ему очень полюбился, какъ это видно изъ того письма, гдѣ онъ приводитъ слѣдующую характеристику французовъ: „Скажу: огонь, воздухъ — и характеръ французовъ описанъ. Я не знаю народа умнѣе, пламеннѣе и вѣтреннѣе... Кажется, будто онъ *выдумалъ*, или для него *выдуманно общечитіе*: столь мила его обходительность, и столь удивительны его тонкія соображенія въ искусствѣ жить съ людьми! Сіе искусство кажется въ немъ любезною природою. Никто, кромѣ его, не умѣетъ приласкать человѣка однимъ видомъ, одною вѣжливою улыбкою. Напрасно англичанинъ или нѣмецъ захотѣлъ бы учиться ей передъ зеркаломъ: на лицѣ его она чужая, принужденная. Я хочу жить и умереть въ моемъ любезномъ отечествѣ; но послѣ Россіи нѣтъ для меня земли пріятнѣе Франціи, гдѣ иностранецъ часто забывается, что онъ не между своими. Говорятъ, что здѣсь трудно найти искренняго, вѣрнаго друга... Ахъ! друзья вездѣ рѣдки; и чужеземцу ли искать

*) Въ Булонскомъ лѣсу читалъ я Мабліеву исторію французскаго правленія. (Примѣч. Карамз.).

ихъ, тому, кто, подобно кометѣ, *являясь исчезаетъ*. Дружба есть потребность жизни: всякій хочетъ для нея предмета надежнаго. Но все, чего по справедливости могу требовать отъ чужихъ людей, французъ предлагаетъ мнѣ съ ласкою, съ *букетомъ цвѣтовъ*. Вѣтреность, непостоянство, которыя составляютъ порокъ его характера, соединяются въ немъ съ любезными свойствами души, происходящими нѣкоторымъ образомъ отъ сего самаго порока. Французъ непостояненъ—и не злопамятенъ; удивленіе, похвала можетъ скоро ему наскучить, ненависть также. По вѣтрености оставляетъ онъ доброе, избираетъ вредное: зато самъ первый смѣется надъ своею ошибкою — и даже плачетъ, если надобно. Веселая безразсудность есть милая подруга жизни его. Какъ англичанинъ радуется открытію новаго острова, такъ французъ радуется острому слову. Чувствителенъ до крайности, страстно влюбляется въ истину, въ славу, въ великія предпріятія; но любовники непостоянны! Минуты его жара, изступленія, ненависти—могутъ имѣть страшныя слѣдствія, чему примѣромъ служитъ революція. Жаль, если эта ужасная политическая переменна измѣнитъ и характеръ народа, столь веселаго, остроумнаго, любезнаго!“ ¹²¹).

Причина расположенія Карамзина къ французамъ, конечно, понятна: „человѣкъ рожденъ къ общежитію“, сказалъ онъ; слѣдовательно умѣнье жить съ людьми и способность создать пріятныя формы общежитія должны были имѣть въ его глазахъ большое значеніе. Только что приведенная характеристика и показываетъ, какъ высоко цѣнилъ онъ это умѣнье французовъ и эту ихъ способность.

Изъ Парижа Карамзинъ переѣхалъ въ Лондонъ. Въ англійской жизни онъ прежде всего оцѣнилъ внѣшній порядокъ и бросающееся въ глаза благосостояніе. Описывая дорогу изъ Дувра въ Лондонъ, онъ восклицаетъ: „Какія мѣста! какая земля! Вездѣ богатые темнозеленые и тучные луга, гдѣ пасутся многочисленныя стада, блестящія своею перловою и серебряною волною; вездѣ прекрасныя деревеньки... Какое многолюдство! какая дѣятельность! и притомъ какой порядокъ! Все представляетъ видъ довольства, хотя не роскоши, но изобилія“ ¹²²). Говоря о первыхъ своихъ впечатлѣніяхъ отъ Лондона, Карамзинъ замѣчаетъ: „Рѣдкая чистота и какое-то общее благоустройство во всѣхъ предметахъ образуютъ картину неописанной пріятности, и вы сто разъ повторяете: Лондонъ прекрасенъ! Какая разница съ Парижемъ! Тамъ огромность и гадость, здѣсь простота съ удивитель-

ною чистотою; тамъ роскошь и бѣдность въ вѣчной противоположности, здѣсь единообразіе общаго достатка; тамъ палаты, изъ которыхъ ползутъ блѣдные люди въ раздранныхъ рубищахъ: здѣсь изъ маленькихъ кирпичныхъ домиковъ выходятъ здоровье и довольствіе, съ благороднымъ и спокойнымъ видомъ—лордъ и ремесленникъ, чисто одѣтые, почти безъ всякаго различія“ ¹²³).— Не находя въ Лондонѣ роскоши парижской, Карамзинъ нашелъ въ немъ роскошь иного рода — и отнесся къ ней съ сочувствіемъ: это—„богатые лавки и магазины, наполненные всякаго рода товарами, индѣйскими и американскими сокровищами, которыхъ запасено тутъ на нѣсколько лѣтъ для всей Европы“. „Такая роскошь“,—говоритъ Карамзинъ,—„не возмущаетъ, а радуетъ сердце, представляя вамъ разительный образъ человѣческой смѣлости, нравственнаго сближенія народовъ и общественнаго просвѣщенія! Пусть гордый богачъ, окруженный произведеніями всѣхъ земель, думаетъ, что услажденіе его чувствъ есть главный предметъ торговли! Она, питая безчисленное множество людей, питаетъ дѣятельность въ мірѣ, переноситъ изъ одной части его въ другую полезныя изобрѣтенія ума человѣческаго, новыя идеи, новыя средства утѣшаться жизнію“ ¹²⁴).

Итакъ, чистота и общее благоустройство, изобиліе при отсутствіи возмущающей сердце роскоши, торговая дѣятельность, имѣющая своимъ слѣдствіемъ сближеніе народовъ и общественное просвѣщеніе—вотъ свѣтлыя стороны въ жизни англичанъ, отмѣченныя Карамзинымъ на первыхъ же порахъ его пребыванія въ Лондонѣ. Далѣе онъ къ этимъ сторонамъ прибавляетъ еще другія. Англичане умѣли внести благоустройство и въ свои общественныя учрежденія: осмотръ лондонскихъ темницъ заставилъ Карамзина хвалить попечительность англійскаго правительства; англійское судопроизводство (судъ присяжныхъ) вызвало слѣдующее замѣчаніе нашего путешественника: „Здѣсь, друзья мои, отдайте пальму англійскимъ законодателямъ, которые умѣли жестокое правосудіе смягчить человѣколюбіемъ, не забыли ничего для спасенія невинности и не боялись излишнихъ предосторожностей“ ¹²⁵). Въ Бедламѣ — замкѣ для душевнобольныхъ, Карамзинъ удивлялся порядку, чистотѣ, услугѣ и присмотру за несчастными, а по поводу своего посѣщенія пріюта для престарѣлыхъ матросовъ въ Гриничѣ — сказалъ: „Въ Англіи много хорошаго; а всего лучше общественныя заведенія, которыя доказываютъ благодѣтельную мудрость правленія. *Salus publica* есть подлинно девизъ его. Англичане должны любить свое отечество“ ¹²⁶).

Понравилась Карамзину чрезвычайно и семейная жизнь англичанъ. Вотъ что говоритъ онъ объ этой жизни, высказывая между прочимъ и свой взглядъ на свѣтскія собранія. „Картина добрыхъ нравовъ и семейственнаго счастья всего болѣе восхищаетъ меня въ деревняхъ англійскихъ, въ которыхъ живутъ теперь многіе достаточные лондонскіе граждане, дѣлаясь на дѣто поселянами. Всякое воскресенье хожу въ какую-нибудь загородную церковь слушать нравственную, ясную проповѣдь, во вкусѣ Нориковыхъ, и смотрѣть на спокойныя лица отцовъ и супруговъ... Матери окружены дѣтьми — и я нигдѣ не видывалъ такихъ прекрасныхъ малютокъ, какъ здѣсь... Изъ церкви каждая семья идетъ въ свой садикъ... Здѣсь рѣдкій холостой человѣкъ не вздохнетъ, видя красоту и счастье дѣтей, скромность и благонравіе женщинъ... Я говорю о среднемъ состояніи людей; впрочемъ и самые англійскіе лорды и самые англійскіе герцоги не знаютъ того всегдашняго разсѣянія, которое можно назвать стихіею нашего такъ называемаго *хорошаго* общества. Здѣсь балъ или концертъ есть важное происшествіе: объ немъ пишутъ въ газетахъ. У насъ правило: *вѣчно* *быть въ гостяхъ или принимать гостей*. Англичанинъ говоритъ: *я хочу быть счастливымъ дома, и только изрѣдка имѣть свидѣтелей моему счастью*. Какія же слѣдствія? Свѣтскія дамы, будучи всегда на сценѣ, привыкаютъ думать единственно о театральныхъ добродѣтеляхъ. Со вкусомъ одѣться, хорошо войти, пріятно взглянуть—есть важное достоинство для женщины, которая живетъ въ гостяхъ, а дома только спитъ, или сидитъ за туалетомъ... Напротивъ того, англичанка, воспитываемая для домашней жизни, пріобрѣтаетъ качества доброй супруги и матери, украшая душу свою тѣми склонностями и навыками, которые предохраняютъ насъ отъ скуки въ уединеніи, и дѣлаютъ одного человѣка сокровищемъ для другого. Войдите здѣсь поутру въ домъ: хозяйка всегда за рукодѣльемъ, за книгою, за клавесиномъ, или рисуетъ, или пишетъ, или учитъ дѣтей въ пріятномъ ожиданіи той минуты, когда мужъ, отправивъ свои дѣла, возвратится съ биржи, выйдетъ изъ кабинета и скажетъ: теперь я твой! теперь я вашъ! Пусть назовутъ меня, чѣмъ кому угодно; но признаюсь, что я безъ какой-то внутренней досады не могу видѣть молодыхъ супруговъ въ свѣтѣ и говорю мысленно: «несчастные! что вы здѣсь дѣлаете? Развѣ дома, среди вашего семейства, въ объятіяхъ любви и дружбы, вамъ не сто разъ пріятнѣе, нежели въ этомъ пусто-блестящемъ кругу, гдѣ не только добрыя свойства сердца, но и самый умъ едва ли не безъ дѣла»... Я всегда думалъ,

что дальнѣйшіе успѣхи просвѣщенія должны болѣе привязать людей къ домашней жизни. Не пустота ли душевная вовлекаетъ насъ въ разсѣяніе? Первое дѣло истинной философіи есть обратить человѣка къ неизмѣннымъ удовольствіямъ натуры. Когда голова и сердце заняты дома пріятнымъ образомъ; когда въ рукѣ книга, подлѣ милая жена, вокругъ прекрасныя дѣти,—захочется ли ѣхать на балъ или на большой ужинъ? — Мысль моя не та, чтобы супруги должны были всю жизнь провести съ глазу на глазъ. Гименей не есть ни тюремщикъ ни отшельникъ, и мы рождены для общества; но согласитесь, что въ свѣтскихъ собраніяхъ всего менѣе наслаждаются обществомъ. Тамъ нѣтъ мѣста ни разсужденіямъ, ни разсказамъ, ни изліяніямъ чувства; всякій долженъ сказать слово мимоходомъ и увернуться въ сторону, чтобы пустить другого на сцену; всѣ безпокойны, чтобы не проговориться и не обличить своего невѣжества въ *хорошемъ тонѣ*. Однимъ словомъ, это—вѣчная дурная комедія, называемая *принужденіемъ*, безъ связи, а всего болѣе безъ интереса. — Но пріятностію общества наслаждаемся мы въ короткомъ обхожденіи съ друзьями и сердечными пріятелями, которыхъ первый взоръ открываетъ душу; которые приходятъ къ намъ мѣняться мыслями и наблюденіями, шутить въ веселомъ расположеніи, грустить въ печальномъ. Выборъ такихъ людей зависитъ отъ ума супруговъ... Не смотря на лондонскую огромную церковь св. Павла; не глядя на Темзу, черезъ которую великолѣпные мосты перегибаются, и на которой пестрѣютъ флаги всѣхъ народовъ; не удивляясь магазинамъ Остъ-индской компаніи, и даже не въ собраніи здѣшняго Ученаго Королевскаго общества говорю я: *англичане просвѣщенны!* нѣтъ; но видя, какъ они умѣютъ наслаждаться семейственнымъ счастьемъ, твержу сто разъ: *англичане просвѣщенны!*“

Хотя это письмо Карамзина о семейной жизни англичанъ есть, какъ говоритъ Сиповскій, повтореніе и развитіе основныхъ мыслей Архенгольца, изложенныхъ впрочемъ кратко и сухо, ¹²⁷⁾, но сочувствіе Карамзина этой жизни объясняется отнюдь не слѣпымъ слѣдованіемъ нѣмецкому автору, а всѣмъ мировоззрѣніемъ Карамзина, обусловленнымъ, въ свою очередь, какъ душевнымъ складомъ его, такъ и воспитаніемъ. Онъ долженъ былъ хвалить семейную жизнь англичанъ, ибо, по его убѣжденію, истинныя и неизмѣнныя удовольствія человѣка, указанная самою природою его, какъ существа нравственно-разумнаго, суть тѣ, которыя питаютъ умъ и сердце. Тихая и мирная семейная жизнь англичанъ представляла, въ противоположность свѣтской пустотѣ, такую среду, въ которой человѣкъ находитъ эти истинныя удовольствія.

Просвѣщеніе англичанъ Карамзинъ характеризуетъ еще и слѣдующими фактами: „здѣсь ремесленники читаютъ Юмову исторію, служанки Нориковы проповѣди и Клариссу; здѣсь лавочникъ разсуждаетъ основательно о торговыхъ выгодахъ своего отечества, а земледѣлецъ говоритъ вамъ о Шеридановомъ краснорѣчіи; здѣсь газеты и журналы у всѣхъ въ рукахъ, не только въ городѣ, но и въ маленькихъ деревенькахъ“¹²⁸).

Но хваля англичанъ за многое, Карамзинъ въ общемъ все-таки не отнесся къ нимъ такъ же тепло, какъ и къ французамъ—и именно потому, что въ нихъ самихъ не нашелъ теплоты. „Было время“,—говоритъ онъ въ своемъ сентябрьскомъ письмѣ изъ Лондона:—„когда я, почти не видавъ англичанъ, восхищался ими, и воображалъ Англію самою пріятнѣйшею для сердца моего землею... Мнѣ казалось, что быть храбрымъ есть быть англичаниномъ, великодушнымъ—тоже, чувствительнымъ—тоже, истиннымъ человѣкомъ—тоже. Романы, если не ошибаюсь, были главнымъ основаніемъ такого мнѣнія. Теперь вижу англичанъ вблизи, отдаю имъ справедливость, хвалю ихъ—но похвала моя такъ холодна, какъ они сами... Холодный характеръ ихъ мнѣ совсѣмъ не нравится. *Это вулканъ, покрытый льдомъ*, сказалъ мнѣ разсмѣявшись одинъ французскій эмигрантъ. Но я стою, гляжу, пламени не вижу, а между тѣмъ зябну. Русское мое сердце любитъ изливаться въ искреннихъ, живыхъ разговорахъ; любитъ игру глазъ, скорыя перемѣны лица, выразительное движеніе руки. Англичанинъ молчаливъ, равнодушенъ, говоритъ—какъ читаетъ, не обнаруживая никогда быстрыхъ душевныхъ стремленій, которые потрясаютъ электрически всю нашу физическую систему... Фильдингъ утверждаетъ, что ни въ какомъ языкѣ нельзя выразить смысла англійскаго слова *humour*, означающаго и веселость, и шутливость, и замысловатость, изъ чего заключаетъ, что его нація преимущественно имѣетъ сіи свойства. Замысловатость англичанъ видна развѣ только въ ихъ карикатурахъ, шутливость—въ народныхъ глупыхъ театральныхъ фарсахъ, а веселости ни въ чемъ не вижу; даже на самыя смѣшныя карикатуры смотрятъ они съ преобладающимъ видомъ! а когда смѣются, то смѣхъ ихъ походитъ на истерическій. Нѣтъ, нѣтъ, гордые цари морей, столь же мрачные, какъ туманы, которые носятъ надъ стихіею славы вашей! оставьте французамъ всякую игривость ума. Будьте разсудительны, если вамъ угодно; но позвольте мнѣ думать, что вы не имѣете тонкости, пріятности разума и того живого сліянія мыслей, которое производитъ общественную любезность. Вы разсудительны — и

скучны!“ Но такой отзывъ Карамзинъ дѣлаетъ только о мужчинахъ: объ англичанкахъ же онъ отзывается съ похвалою, согласною съ похвалою Архенгольца. „Сохрани меня Богъ, чтобы я то же сказалъ объ англичанкахъ“, пишетъ нашъ путешественникъ.— Онѣ милы своею красотою и чувствительностію, которая столь выразительно изображается въ ихъ глазахъ: довольно для ихъ совершенства и счастья супруговъ... Теперь судимъ только мужчинъ“.

„Англичане“—продолжаетъ Карамзинъ свое сентябрьское письмо—„любятъ благотворить, любятъ удивлять своимъ великодушіемъ, и всегда помогутъ несчастному, какъ скоро увѣрены, что онъ не притворяется несчастнымъ. Въ противномъ случаѣ скорѣе дадутъ ему умереть съ голода, нежели помогутъ, боясь обмана, оскорбительнаго для ихъ самолюбія... Замѣчено, что они въ чужихъ земляхъ гораздо щедрѣе на благотѣянія, нежели въ своей, думая, что въ Англіи, гдѣ всякаго роду трудолюбіе по достоинству награждается, хорошій человекъ не можетъ быть въ нищетѣ—изъ чего вышло у нихъ правило: *кто у насъ бѣденъ, тотъ недостоинъ лучшей доли*—правило ужасное! Здѣсь бѣдность дѣлается порокомъ! Она терпится, и должна таиться! Ахъ! если хотите еще болѣе угнестъ того, кто угнетенъ нищетою, пошлите его въ Англію: здѣсь, среди предметовъ богатства, цвѣтущаго изобилія и кучами разсыпанныхъ гиней, узнаетъ онъ муку Тантала!... И какое ложное правило! Развѣ стеченіе бѣдъ не можетъ и самаго трудолюбиваго довести до сумы? Напримѣръ—болѣзнь“...

„Англичане честны... Ихъ слово, пріязнь, знакомство надежны: дѣйствіе, можетъ быть, ихъ общаго *духа торговли*, которая приучаетъ людей уважать и хранить довѣренность со всѣми ея отѣнками. Но строгая честность не мѣшаетъ имъ быть тонкими эгоистами. Таковы они въ своей торговлѣ, политикѣ и частныхъ отношеніяхъ между собою. Все придумано, все разочтено, и послѣднее слѣдствіе есть—личная выгода. Замѣьте, что холодные люди вообще бываютъ великіе эгоисты. Въ нихъ дѣйствуетъ болѣе умъ, нежели сердце; умъ же всегда обращается къ собственной пользѣ, какъ магнитъ къ сѣверу. Дѣлать добро, не зная для чего, есть дѣло нашего бѣднаго, *безразсуднаго* сердца“.

Въ заключеніе своей характеристики англичанъ Карамзинъ говоритъ: „Наконецъ, если бы однимъ словомъ надлежало означить народное свойство англичанъ,—я назвалъ бы ихъ угрюмыми... Видѣть Англію очень пріятно; обычаи народа, успѣхи просвѣщенія и всѣхъ искусствъ достойны примѣчанія и занимаютъ умъ ваптъ. Но жить здѣсь для удовольствій общежитія—есть искать цвѣтотъ“.

на песчаной долинь, въ чемъ согласны со мною всѣ иностранцы, съ которыми удалось мнѣ познакомиться въ Лондонѣ и говорить о томъ“.

Отмѣчено Карамзинымъ и высококомѣрное отношеніе англичанъ къ иностранцамъ. „Вы слыхали“—пишетъ онъ—¹²⁹⁾ „о грубости здѣшняго народа въ разсужденіи иностранцевъ: съ нѣкотораго времени она смягчилась, и учтивое имя french-dog (французская собака), которымъ лондонская чернь жаловала всѣхъ не-англичанъ, уже вышло изъ моды. Мнѣ случилось ѣхать въ каретѣ съ однимъ поселяниномъ, который, узнавъ, что я иностранецъ, съ важнымъ видомъ сказалъ: «Хорошо быть англичаниномъ, но еще лучше быть добрымъ человѣкомъ. Французъ, нѣмецъ — мнѣ все одно; кто честенъ, тотъ братъ мой». Мнѣ крайне полюбили такое разсужденіе; я тотчасъ записалъ его въ дорожной своей книжкѣ. Однакожъ не всѣ здѣшніе поселяне такъ разсуждаютъ; это былъ, конечно, вольнодумецъ между ними! Вообще англійскій народъ считаетъ насъ, чужеземцевъ, какими-то несовершенными, жалкими людьми. «Не тронь его», говорятъ здѣсь на улицѣ: «это иностранецъ»—что значитъ: это бѣдный человѣкъ или младенецъ“.

Взглядъ Карамзина на англійскій сплинъ заставляеть вспомнить то примѣчаніе его къ Галлеровой поэмѣ, въ которомъ онъ мысли этого писателя, что „извнѣ не втекаетъ никакое утѣшеніе“ и что „наслажденіе бываетъ для насъ отвратительно, коль скоро лишаемся истинныхъ потребностей“ назвалъ неопровергаемой истиной (см. выше, стр. 54). Вотъ что говоритъ онъ о сплинѣ: „Кто думаетъ, что счастье состоитъ въ богатствѣ и въ избыткѣ вещей, тому надобно показать многихъ здѣшнихъ Крезовъ, осыпанныхъ средствами наслаждаться, теряющихъ вкусъ ко всѣмъ наслажденіямъ и задолго до смерти умирающихъ душою. Вотъ англійскій сплинъ! Эту нравственную болѣзнь можно назвать и русскимъ именемъ: *скукою*, извѣстною во всѣхъ земляхъ, но здѣсь болѣе, нежели гдѣ-нибудь, отъ климата, тяжелой пищи, излишняго покоя, близкаго къ усыпленію. Человѣкъ — странное существо! въ заботахъ и безпокойствѣ жалуется; все имѣетъ, безпеченъ — и зѣваетъ. Богатый англичанинъ отъ скуки путешествуетъ, отъ скуки дѣлается охотникомъ, отъ скуки мотается, отъ скуки женится, отъ скуки стрѣляется. Они бываютъ несчастливы отъ счастья! Я говорю о здѣшнихъ *праздныхъ* богачахъ, которыхъ дѣды нажились въ Индіи“ ¹³⁰⁾.

Такимъ образомъ „Письма р. путешественника“ дѣйстви-
тельно производятъ впечатлѣніе труда, написаннаго энтузіастомъ
умственного и нравственнаго просвѣщенія, энтузіастомъ нрав-
ственнаго человѣческаго достоинства.

„Главное дѣло быть людьми“, говоритъ Карамзинъ въ своихъ
„Письмахъ“. Идеаль же человѣка состоитъ въ томъ, чтобы быть
носителемъ высочайшаго добра, т.-е. добродѣтели, озаренной свѣ-
томъ разума. Совершенствоваться въ себѣ человѣка и значить стре-
миться къ этому идеалу. Средствомъ для достиженія такого
стремленія Карамзинъ признаетъ просвѣщеніе. Отсюда и понятно,
почему авторъ „Писемъ“ является такимъ горячимъ сторонникомъ
просвѣщенія. Онъ самъ, не довольствуясь тѣмъ, что дала ему
Россія, ѣдетъ за границу, чтобы, какъ онъ признался Виланду,
обогатить свое воображеніе новыми идеями. За границей онъ не
упускаетъ ни одного случая поучиться у великихъ людей: всту-
паетъ въ бесѣду съ Кантомъ о природѣ и нравственности чело-
вѣка, разговариваетъ объ этомъ же съ Виландомъ, искушаетъ
Лафатера вопросомъ о цѣли бытія нашего, слушаетъ лекціи Плат-
нера и Бартелеми, бесѣдуетъ съ Боннетомъ. Онъ съ радостнымъ
чувствомъ отмѣчаетъ всякое явленіе, въ которомъ видитъ успѣхъ
просвѣщенія или залогъ его: онъ заявляетъ, что нигдѣ способы
ученія не доведены до такого совершенства, какъ въ Германіи;
что во всякомъ нѣмецкомъ городѣ есть публичныя библіотеки, и
что нѣмцы завели у себя ученые клубы; хвалитъ богатство и по-
рядокъ парижскихъ библіотекъ и приходитъ въ восторгъ при
мысли, что академіи окрыляютъ человѣческій разумъ и служатъ
звеньями, соединяющими людей различныхъ странъ и народностей;
сочувственно относится къ бойкой и обширной торговой дѣятель-
ности англичанъ, потому что считаетъ ее средствомъ къ нрав-
ственному сближенію народовъ и къ общественному просвѣщенію,
и на самую семейную жизнь ихъ смотритъ, какъ на слѣдствіе
просвѣщенія же.

Просвѣщеніе признается Карамзинымъ великой силой не
только потому, что оно ведетъ къ озаренію добродѣтели свѣтомъ
разума, но и по другой причинѣ. Основа добродѣтели— чувстви-
тельность; но она дана природою не всѣмъ людямъ въ равной
мѣрѣ. Просвѣщеніе можетъ и должно оказывать вліяніе на сердце,
смягчать его, облагораживать, словомъ — повышать чувстви-
тельность и вести такимъ образомъ къ добродѣтели. Отсюда и выте-
каютъ особенныя симпатіи Карамзина къ тѣмъ факторамъ про-
свѣщенія, которые способны оказывать болѣе или менѣе сильное

вліяніе на сердце: такъ въ сферѣ философіи особенными симпатіями его пользовался Боннетъ, какъ „философъ съ чувствомъ“: въ сферѣ поэзіи—любимцами его были такіе писатели, какъ Руссо и вообще представители сентиментальнаго направленія; въ драматической поэзіи отдавалось преимущество Шекспиру, главнымъ образомъ потому, что муза его способна „потрясать сердце“; въ сферѣ церковной проповѣди похвалу вызывалъ не Лафатеръ, а умѣвшій трогать сердце Лаврентій Стернъ; въ сферѣ искусства также высоко цѣнилось то, что можетъ трогать. Просвѣщеніе, даже касаясь людей, слабо одаренныхъ чувствительностью, возвышаетъ ихъ въ нравственномъ отношеніи. Англичане—народъ холодный; въ нихъ Карамзинъ замѣчаетъ перевѣсъ ума надъ сердцемъ—и отсюда выводитъ ихъ склонность къ эгоизму; въ нихъ, по его отзыву, нѣтъ сердечной теплоты, а напротивъ, есть готовность все клонить къ личной выгодѣ. Но просвѣщеніе и ихъ сдѣлало во многихъ отношеніяхъ гуманными: доказательство тому Карамзинъ видитъ въ нѣкоторыхъ ихъ общественныхъ учрежденіяхъ (суды, тюрьмы, больницы, пріюты).

Видя въ просвѣщеніи средство къ усовершенствованію человѣка, Карамзинъ не могъ, конечно, раздѣлять взглядъ на него Руссо. „Что ни говорятъ мизософы, а науки—святое дѣло!“—сказалъ онъ въ одномъ мѣстѣ; въ другомъ—онъ высказалъ убѣжденіе, что изящныя искусства имѣютъ вліяніе на счастье людей, и заявилъ, что онъ всегда будетъ благословлять ихъ дѣйствіе, пока сердце будетъ биться въ груди его. Поэтому онъ благоговѣнно относился къ тѣмъ, кто заботился о распространеніи просвѣщенія, и Петра Великаго называлъ благодѣтелемъ человечества и своимъ собственнымъ благодѣтелемъ, а Фридриха-Вильгельма за его заботы о просвѣщеніи ставилъ выше Фридриха Великаго. Любовью къ просвѣщенію объясняется и уваженіе Карамзина къ европейскимъ его представителямъ—уваженіе, тоже доходившее до благоговѣнія, до восторженнаго благоговѣнія.

„Человѣкъ рожденъ къ общежитію и дружбѣ“, говоритъ Карамзинъ. Отношенія людей другъ къ другу должны быть основаны на добродѣтели. Будучи нужной для общежитія, она и развивается въ общежитіи. Отсюда выводъ, что уединеніе можетъ быть полезно человѣку лишь временно; постоянное же уединеніе ведетъ къ ничтожеству. Самая главная добродѣтель общежитія—любовь къ ближнему. Доброта такъ высоко цѣнится Карамзинымъ, что уже одинъ взглядъ на добраго есть для него счастье. Отмѣчая съ радостнымъ чувствомъ явленія, свидѣтельствующія о просвѣ-

щенін, онъ еще больше радуется всякому проявленію гуманности; такъ, напримѣръ, онъ хвалитъ англичанъ за ихъ попечительность о заключенныхъ и о душевнобольныхъ, хвалитъ ихъ судопроизводство, говоря, что они „умѣли жестокое правосудіе смягчить челоѡколюбіемъ“. Кротость и терпимость требуются Карамзинымъ, какъ необходимое слѣдствіе любви къ ближнему, и кто со всѣми можетъ ужиться въ мирѣ, того онъ называетъ истиннымъ философомъ. Требуя любви и благоволенія къ людямъ, онъ и самъ проникнуть этими чувствами, и сердце его всегда готово сострадать всему угнетенному, всему страдающему. Такъ, напримѣръ, встрѣча съ парижской нищей въ замкѣ Булонскаго лѣса вызываетъ у него горячую реплику, исполненную сочувствія къ тѣмъ, кто угнетенъ „бременемъ бытія своего“¹³¹); видъ страданія въ ліонской больницѣ заставилъ „трепетать“ его сердце, а челоѡколюбивый уходъ за больными—воскликнуть: „Милосердіе! состраданіе! святія добродѣтели!“¹³²). Его трогаетъ не только всякое проявленіе добродѣтели, но и мягкія, гуманныя формы общежитія, между тѣмъ какъ холодность и угрюмость ему непріятны.

Между пороками общежитія Карамзинъ особенно указываетъ на злословіе и говоритъ (въ п. изъ Франкфурта отъ 1 авг.): „Дорога челоѡку добрая слава—и съ какимъ легкомысліемъ похищаемъ мы другъ у друга сіе сокровище! О Шекспиръ, Шекспиръ! кто зналъ такъ хорошо сердце челоѡческое, какъ ты? Кто убѣдительноѡе твоего представилъ все безумство злословія?“ Слѣдуетъ выписка изъ Шекспира, а въ выноскѣ—такой переводъ ея: „Доброе имя есть первая драгоцѣнность души нашей. Кто крадетъ у меня кошелекъ—крадетъ бездѣлку; онъ былъ мой, теперь сталъ его, и прежде служилъ тысячѣ другихъ людей. Но кто похищаетъ у меня доброе имя, тотъ самъ не обогащается, а меня дѣлаетъ бѣднѣйшимъ челоѡкомъ въ свѣтѣ“. Приведя слова Шекспира, Карамзинъ прибавляетъ: „Златые Пифагоровы стихи кажутся мѣдными подлѣ сихъ строкъ, которыя всякому челоѡку, христіанину и турку, индѣйцу и африканцу, надлежало бы вписать незагладымыми буквами въ свое сердце“.

Полагая достоинство челоѡка въ добродѣтели, авторъ „Писемъ“ съ грустью, а иногда и съ отгѣнкомъ негодованія говоритъ о томъ, что не согласно съ этимъ достоинствомъ, и что мѣшаетъ пріобрѣтенію его, и зло въ его глазахъ всегда остается зломъ, будетъ ли оно въ частномъ челоѡкѣ или въ государственномъ, въ общественной жизни или въ политикѣ. Помня взглядъ Геллерта на умѣренность, какъ на добродѣтель, а также помня и указаніе

Галлера на „злато, честь и снстолюбіе“, какъ на причину паденія людей, Карамзинъ не сочувствуетъ „суетной роскоши“, называетъ се „гробомъ добрыхъ нравовъ“ и предпочитаетъ простоту; но съ роскошью не смѣшиваетъ довольства, изобилія, видъ котораго его радуетъ, какъ доказательство дѣятельности, труда, благоустройства. Съ другой стороны, цѣня жизненные удобства, какъ плоды просвѣщенія, онъ тѣмъ не менѣе находилъ въ современной жизни множество разныхъ заботъ, обусловленныхъ этою жизнью, но нисколько не способствующихъ человѣческому счастью въ томъ смыслѣ, какъ онъ его понимаетъ ¹³⁸).

Ставя счастье людей въ зависимость отъ просвѣщенія, Карамзинъ въ частности ставилъ въ зависимость отъ него и счастье семейное. Человѣкъ — существо нравственно-разумное. Слѣдовательно истинныя, неизмѣнныя удовольствія его суть тѣ, которыя питаютъ умъ и сердце. Такія удовольствія можетъ доставлять не разсѣянная и пустая свѣтская жизнь, а жизнь семейная. Но для этого нужны слѣдующія условія: философія должна обратить человѣка къ исканію истинныхъ удовольствій, а воспитаніе должно дѣлать одного человѣка сокровищемъ для другого, при чемъ Карамзинъ особенно важное значеніе придаетъ воспитанію женщинъ. И авторъ „Писемъ“ выражаетъ надежду, что дальнѣйшіе успѣхи просвѣщенія привяжутъ людей къ домашней жизни.

А въ неистребимость просвѣщенія на землѣ нашъ путешественникъ крѣпко вѣрилъ. Отдѣльные народы могутъ падать и исчезать; но,—говоритъ онъ въ письмѣ съ рѣки Соны,—„съ паденіемъ народовъ не упадетъ весь родъ человѣческій; одни уступаютъ свое мѣсто другимъ — и если запустѣетъ Европа, то въ срединѣ Африки или въ Канадѣ процвѣтутъ новыя политическія общества, процвѣтутъ науки, искусства и художества“. Какъ высоко смотрѣлъ авторъ „Писемъ“ на человѣка, какъ убѣжденъ былъ въ его постоянномъ умственномъ прогрессѣ и какъ онъ радовался этому прогрессу, видно изъ того письма его, гдѣ онъ описываетъ Лувръ. Заговоривъ о луврской колоннадѣ, онъ замѣчаетъ: „Нельзя взглянуть безъ какого-то глубокаго почтенія на ея перистилли, портики, фронтоны, пиластры, столпы, которымъ вмѣсто крова служить терраса съ прекраснымъ балюстрадомъ. Я всякій разъ останавливаюсь противъ главныхъ воротъ, смотрю и думаю: «Сколько тысячелѣтій мелькнуло чрезъ земной шаръ въ вѣчность между первымъ сплетеніемъ гибкихъ вѣтвей, укрывшихъ дикаго Адамова сына отъ ненастья, и гигантскою колоннадою Лувра, дивомъ огромности и вкуса! Какъ малъ человѣкъ, но какъ

великъ умъ его! Какъ медленны успѣхи разума, но какъ они многообразны и безконечны!» — Хотя въ описаніи Лувра Карамзинъ во многомъ слѣдовалъ Дюлору, однако приведенное мѣсто не принадлежитъ къ числу заимствованныхъ.

3. Патріотизмъ автора „Писемъ“.

Энтузіастъ просвѣщенія, съ уваженіемъ смотрѣвшій на культурность западной Европы, авторъ „Писемъ р. путешественника“ является въ то же время и горячимъ патріотомъ. Въ чемъ же заключается патріотизмъ его?

Патріотизмъ автора „Писемъ“ проявляется прежде всего въ желаніи видѣть Россію на той же стѣпени культурности, на какой стояла современная ему западная Европа. Отсюда и вытекаетъ его горячее сочувствіе Петру Великому, который, какъ говоритъ Карамзинъ, двинулъ насъ своею мощною рукою, и мы въ нѣсколько лѣтъ почти догнали нѣмцевъ, французовъ, англичанъ, бывшихъ впереди русскихъ по крайней мѣрѣ шестью вѣками¹⁸⁴). Свои чувства къ этому монарху Карамзинъ выразилъ еще въ письмѣ изъ Ліона. Увидѣвъ въ Ліонѣ памятникъ Людовику XIV, онъ вспомнилъ Петра, и провелъ между обоими государями слѣдующую параллель: „Среди большой площади... стоитъ на мраморномъ подножіи бронзовая статуя Людовика XIV, такой же величины, какъ монументъ нашего російскаго Петра, хотя снѣ два героя были весьма не равны въ великости духа и дѣлъ своихъ. Подданные прославили Людовика: Петръ прославилъ своихъ подданныхъ; первый *отчасти* способствовалъ успѣхамъ просвѣщенія: второй, какъ *лучезарный богъ свѣта*, явился на горизонтѣ чело- вѣчества, и освѣтилъ глубокую *тьму* вокругъ себя; въ правленіе перваго тысячи трудолюбивыхъ французовъ принуждены были оставить отечество: второй привлекъ въ свое государство искусныхъ и полезныхъ чужестранцевъ; перваго уважаю, какъ сильнаго царя: второго почитаю, какъ великаго мужа, какъ героя, какъ благодѣтеля чело- вѣчества, какъ моего собственнаго благо- дѣтеля. При семъ случаѣ скажу, что мысль поставить статую Петра Великаго на дикомъ камнѣ есть для меня прекрасная, не- сравненная мысль, ибо сей камень служитъ разительнымъ обра- зомъ того состоянія Россіи, въ которомъ была она до времени преобразователя“. — Соотвѣтственно послѣднимъ словамъ, до-Пет- ровская Русь и въ извѣстномъ уже намъ майскомъ письмѣ изъ Парижа представлена грубой и невѣжественной. Петръ вывелъ ее изъ тьмы — и что же въ результатъ? — Въ результатъ, — для

Карамзина очевидномъ, на самомъ себѣ испытанномъ, — возможность чувствовать и сознавать себя просвѣщеннымъ европейцемъ. „Мы не таковы, какъ брадатые предки наши“, говоритъ съ гордостью юный путешественникъ: „грубость наружная и внутренняя, невѣжество, праздность, скука были ихъ долею и въ самомъ высшемъ состояніи: для насъ открыты всѣ пути къ утонченію разума и къ благороднымъ душевнымъ удовольствіямъ“.

Но, относясь къ преобразованіямъ Петра такъ восторженно, Карамзинъ между тѣмъ слышитъ раздающіеся то тамъ, то сямъ упреки преобразователю — и эти упреки раздражаютъ энтузіаста просвѣщенія. У Левека онъ встрѣчаетъ фразу: „on lui a peut-être refusé avec raison le titre d'homme de génie, puisque, en voulant former sa nation, il n'a su qu'imiter les autres peuples“ — „Я слыхалъ“, — говоритъ Карамзинъ, — „такое мнѣніе даже отъ русскихъ, и никогда не могъ слышать безъ досады. И вслѣдъ за этимъ онъ выступаетъ защитникомъ Петра отъ упрековъ въ подражаніи, въ заимствованіи, и строитъ свою защиту на слѣдующихъ соображеніяхъ: „Путь образованія или просвѣщенія *одинъ* для народовъ: всѣ они идутъ имъ вслѣдъ другъ за другомъ. Иностранцы были умнѣе русскихъ: итакъ надлежало отъ нихъ заимствовать, учиться, пользоваться ихъ опытами. Благоразумно ли искать, что сыскано? Лучше ли бѣ было русскимъ не строить кораблей, не образовывать регулярнаго войска, не заводить академій, фабрикъ для того, что все это не русскими выдуманно? Какой народъ не перенималъ у другого? и не должно ли *сравняться*, чтобы *прсвзойти*? «Однакожь», говорятъ, «начто подражать рабски? начто перенимать вещи, совсѣмъ не нужны?»—Какія же? Рѣчь идетъ, думаю, о платьѣ и бородѣ. Петръ Великій одѣлъ насъ по-нѣмецки для того, что такъ удобнѣе; обрилъ намъ бороды для того, что такъ и покойнѣе и пріятнѣе. Длинное платье не ловко, мѣшаетъ ходить... «Но въ немъ теплѣе!»... У насъ есть шубы... «Зачѣмъ же имѣть два платья?»... Затѣмъ, что нѣтъ способа быть въ одномъ на улицѣ, гдѣ 20 градусовъ мороза, и въ комнатѣ, гдѣ 20 градусовъ тепла. Борода же принадлежитъ къ состоянію дикаго человека; не брить ее—то же, что не стричь ногтей. Она закрываетъ отъ холоду только малую часть лица: сколько же неудобности лѣтомъ, въ сильный жаръ! сколько неудобности и зимою—носить на лицѣ иней, снѣгъ и сосульки! Не лучше ли имѣть муфту, которая грѣетъ не одну бороду, но все лицо? Избирать во всемъ лучшее есть дѣйствіе ума просвѣщеннаго; а Петръ Великій хотѣлъ просвѣтитъ насъ во всѣхъ отношеніяхъ. Монархъ

объявить войну нашимъ стариннымъ обыкновеніямъ во-первыхъ для того, что они были грубы, недостойны своего вѣка; во-вторыхъ и для того, что они препятствовали введенію другихъ, еще важнѣйшихъ и полезнѣйшихъ иностранныхъ новостей. Надлежало, такъ сказать, свернуть голову закоренѣлому русскому упрямству, чтобы сдѣлать насъ гибкими, способными учиться и перенимать. Если бы Петръ родился государемъ какого-нибудь острова, удаленнаго отъ всякаго сообщенія съ другими государствами, то онъ въ природномъ великомъ умѣ своемъ нашелъ бы источникъ полезныхъ изобрѣтеній и новостей для блага подданныхъ; но, рожденный въ Европѣ, гдѣ цвѣли уже искусства и науки во всѣхъ земляхъ, кромѣ русской, онъ долженъ былъ только разорвать завѣсу, которая скрывала отъ насъ успѣхи разума человѣческаго, и сказать намъ: «Смотрите, сравняйтесь съ ними—и потомъ, если можете, превзойдите ихъ!» Свою защиту Карамзинъ заканчиваетъ такими словами: „Всѣ жалкія *іереміады* объ измѣненіи русскаго характера, о потерѣ русской нравственной физіономіи—или не что иное, какъ шутка, или происходятъ отъ недостатка въ основательномъ размышленіи... Все народное ничто передъ человѣческимъ. Главное дѣло быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ; и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ!“

Далѣе Карамзинъ возражаетъ ужъ противъ другого мнѣнія Левека, которое авторъ письма называетъ „страннымъ“. Левекъ говоритъ: „Il est probable, que si Pierre n'avoit pas régné, les Russes seroient aujourd'hui ce qu'ils sont“, т.-е. хотя бы Петръ Великій и не училъ насъ, мы бы выучились. Карамзинъ возражаетъ: „Какимъ же образомъ? сами собою? но сколько трудовъ стоило монарху побѣдить наше упорство въ невѣжествѣ! Слѣдственно русскіе не расположены, не готовы были просвѣщаться. При царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ жили многіе иностранцы въ Москвѣ, но не имѣли никакого вліянія на русскихъ, не имѣвъ съ ними почти никакого обхожденія. Молодые люди, тогдашніе франты, катались иногда въ саняхъ по Нѣмецкой слободѣ, и за то считались вольнодумцами. Одна только ревностная, дѣятельная воля и безпредѣльная власть царя русскаго могла произвести такую внезапную, быструю перемѣну. Сообщение наше съ другими европейскими землями было очень не свободно и затруднительно; ихъ просвѣщеніе могло дѣйствовать на Россію только слабо, и въ два вѣка, по естественному, непринужденному ходу вещей,

едва ли сдѣлалось бы то, что государь нашъ сдѣлалъ въ 20 лѣтъ. Какъ Спарта безъ Лисурга, такъ Россія безъ Петра не могла бы прославиться“.

Хотя восторженное отношеніе къ Петру Великому, какъ преобразователю Россіи, совершенно естественно въ энтузіастѣ просвѣщенія и ученикѣ Новикова ¹³⁵⁾, — однако нельзя не допустить мысли, что восторгъ Карамзина былъ въ нѣкоторой степени усиленъ Томсономъ. Недаромъ же онъ въ выноскѣ къ своему лонскому письму приводитъ тѣ стихи, въ которыхъ этотъ поэтъ „прославилъ нашего незабвеннаго императора“. И въ стихахъ этотъ, тутъ же переведенныхъ Карамзинымъ, дѣйствительно встрѣчаются мысли и чувства, вполне соответствующія мыслямъ и чувствамъ автора „Писемъ р. путешественника“. До-Петровская Русь у Томсона также представлена погруженной въ „готическій мракъ“ и населенной народомъ „дикимъ и грубымъ“. Жители ея названы „непокорными“. Въ лицѣ ихъ Петръ „смирилъ жестокаго варвара“ и „возвысилъ нравственнаго человѣка“. Далѣе у Томсона слѣдуетъ восторженная похвала государю, который, послѣ своего заграничнаго путешествія, вернулся въ отечество, „обремененный сокровищами Европы“, — и вотъ „удаляется лѣность, невѣжество, пороки, коими прежнее варварство гордилось. Вездѣ является картина искусствъ, военныхъ дѣйствій, цвѣтущей торговли: мудрость его вымышляетъ, власть повелѣваетъ, примѣръ показываетъ — и государство благополучно!“

Въ 1798 г. Карамзинъ и самъ задумывалъ написать похвальное слово Петру, и уже набросалъ для него планъ. Въ этомъ планѣ мы встрѣчаемъ то же восторженное отношеніе къ преобразователю, то же раздраженіе противъ его критиковъ, тотъ же взглядъ на ходъ просвѣщенія у народовъ и то же нежеланіе признать важность значенія національнаго характера. Вотъ что набросалъ Карамзинъ въ своемъ планѣ, озаглавленномъ такъ: „Мысли для похвальнаго слова Петру I“:

„Чтобы искусство Фидіаса тѣмъ болѣе поразило насъ, взглянемъ на безобразный кусокъ мрамора: вотъ изъ чего сотворилъ онъ Юпитера Олимпійскаго!

Что была Россія?

Рожденіе первой мысли.

Живое чувство изящнаго, источникъ величія, характеръ всѣхъ великихъ людей.

Ле-форъ.

Ревность и терпѣніе. Что говоритъ Бюффонъ о послѣднемъ?

Презрѣніе опасностей. Надежность побѣдить. «Не бойся: съ тобою Цезарь и счастье его!»

Оправданіе его системы. Молчите, мелкіе умы! Ходъ природы одинаковъ; одно просвѣщеніе, и одинъ способъ къ совершенству, къ счастью! (Левекъ). Должно ли было остаться намъ въ семь духовномъ и моральномъ униженіи? Что значитъ ваша народная собственность (національный характеръ)? Одно назначеніе всѣхъ народовъ; другимъ способомъ не могъ онъ подвинуть насъ къ сей великой цѣли. Оправданіе нѣкоторыхъ жестокостей. Всегдашнее мягкосердечіе несовмѣстно съ великостію духа. *Les grands hommes ne voient que le tout*. Но иногда и чувствительность торжествовала.

Могу ли не воспламениться любовію къ отечеству, представляя себѣ Петра?—Мѣста, гдѣ онъ ходилъ; рошчи; имъ насажденные...“ (136).

Итакъ, въ только что разсмотрѣнныхъ нами произведеніяхъ Карамзинъ является горячимъ патріотомъ, но стоитъ онъ на почвѣ космополитизма и западничества. Критика, сочувственно относясь къ любви Карамзина къ просвѣщенію, къ его желанію видѣть въ русскомъ человѣкѣ прежде всего „человѣка“, тѣмъ не менѣе упрекаетъ его въ крайнемъ увлеченіи, заставившемъ его сгоряча употреблять такіа выраженія, въ которыхъ слишкомъ умалялось значеніе народности. Такъ, напримѣръ, Порфирьевъ въ своей „Исторіи русской словесности“ говоритъ: „Въ страстномъ, юношескомъ увлеченіи поразившей его европейской цивилизаціей. Карамзинъ еще не замѣчалъ, что народность есть не что иное, какъ только индивидуальная форма общечеловѣческаго духа; что человѣческое не можетъ существовать безъ народнаго, какъ необходимой формы, въ которой оно выражается; что само человѣчество существуетъ только въ идеѣ, а въ дѣйствительности живутъ народы — французы, нѣмцы, англичане, русскіе, а потому, чтобы быть человѣкомъ и служить человѣчеству, непременно надобно принадлежать къ какому-нибудь народу, и конечно—къ тому народу, обществу, средѣ, которымъ мы обязаны своимъ бытіемъ, и съ которымъ мы тѣсно связаны вѣрою, законами, правами и обычаями“ (137).

Но хотя у Карамзина, какъ человѣка увлекающагося, и срывались сгоряча выраженія, въ которыхъ умалялось значеніе народности, — однако и заложенное еще въ дѣтствѣ въ его душу зерно „русскаго духа“ не замерло въ ней, такъ какъ тотъ же учитель его, Новиковъ, указывалъ ему на необходимость уважать

родную старину и питать чувство національной гордости. Эта струя, противоположная космополитизму и западничеству, тоже оставила свои слѣды въ произведеніяхъ Карамзина перваго періода его литературной дѣятельности. Космополитическаго характера мысли высказывались имъ въ 1790 и въ 1798 г., и оба раза, какъ очевидно, не безъ вліянія на него чувства досады, возбуждаемаго критикой Петровскихъ реформъ, той критикой, которая, по его мнѣнію, исходила отъ „мелкихъ умовъ“. Но въ промежуткѣ между этими гранями онъ высказывалъ и свое сочувственное отношеніе къ тѣмъ временамъ, когда „русскіе были русскими“, и свое неодобреніе при видѣ отсутствія въ нашемъ обществѣ народнаго самолюбія. Первое мы находимъ въ повѣсти: „Наталя, боярская дочь“, о которой рѣчь впереди, а второе есть и въ „Письмахъ р. путешественника“, гдѣ оно высказано по поводу наблюденія надъ отличающимися народной гордостью англичанами. Такъ, заведя рѣчь объ англичанахъ въ третьемъ іюльскомъ письмѣ изъ Лондона, Карамзинъ вмѣняетъ имъ въ честь ихъ нежеланіе говорить на какомъ-либо иномъ языкѣ, кромѣ родного, сопоставляетъ въ этомъ отношеніи съ ними современное ему русское общество и замѣчаетъ: „Всѣ хорошо образованные англичане знаютъ французскій языкъ, но не хотятъ говорить имъ... Какая разница съ нами! У насъ всякій, кто умѣетъ только сказать *comment vous portez-vous?* безъ всякой нужды коверкаетъ французскій языкъ, чтобы съ русскимъ не говорить по-русски; а въ нашемъ такъ называемомъ *хорошемъ обществѣ* безъ французскаго языка будешь глухъ и нѣмъ. Не стыдно ли? Какъ не имѣть народнаго самолюбія? Зачѣмъ быть попугаями и обезьянами вмѣстѣ? Нашъ языкъ и для разговоровъ, право, не хуже другихъ; надобно только, чтобы наши умные свѣтскіе люди, особливо же красавицы, поискали въ немъ выраженій для своихъ мыслей. Всего же смѣшнѣе для меня наши *остроумцы*, которые хотятъ быть французскими авторами. Бѣдные! они счастливы тѣмъ, что французъ скажетъ объ нихъ: *pour un étranger, monsieur n'écrit pas mal!*“

Отзывъ о русскомъ языкѣ есть у автора „Писемъ“ еще и въ другомъ мѣстѣ. Найдя, что англійскій языкъ „грубъ, непріятенъ для слуха, богатъ *краденымъ*“; что въ немъ „слова отрывистыя, фразы короткія и ни малаго разнообразія въ періодахъ“; что „мѣра стиховъ всегда одинакая: ямбы въ 4 или въ 5 стопъ съ мужескимъ окончаніемъ“, — онъ восклицаетъ: „Да будетъ же честь и слава нашему языку, который въ самородномъ богатствѣ своемъ, почти безъ всякаго чужого примѣса, течетъ, какъ гордая, ве-

личественная рѣка—шумить, гремѣть — и вдругъ, если надобно, смягчается, журчитъ нѣжнымъ ручейкомъ и сладостно вливается въ душу, образуя всѣ мѣры, какія заключаются только въ паденіи и возвышеніи человѣческаго голоса!“ ¹³⁸).

Желая, чтобы просвѣщеніе Россіи не отставало отъ западно-европейскаго, авторъ „Писемъ р. путешественника“ гордится каждымъ успѣхомъ ея въ образованности и пользуется каждымъ случаемъ обратить вниманіе иностранцевъ на эти успѣхи и вообще на то, что могло возвысить ее въ глазахъ ихъ, за что Буслаевъ назвалъ Карамзина „краснорѣчивымъ и ловкимъ адвокатомъ за Россію передъ иностранцами“ ¹³⁹). И дѣйствительно, явившись къ Николаи, Карамзинъ начинаетъ свой разговоръ съ нимъ съ заявленія, что его знаютъ и въ Россіи, знаютъ, что нѣмецкая литература обязана ему частію своихъ успѣховъ. Бесѣдуя съ Рамлеромъ, онъ увѣдомляетъ его, что и въ Россіи читаютъ его стихи и знаютъ ихъ цѣну. Разговорившись съ Морищемъ, онъ вызываетъ у него желаніе узнать хоть что-нибудь о русскомъ языкѣ и литературѣ—и, удовлетворяя этому желанію, читаетъ ему нѣсколько стиховъ разной мѣры, гармонія которыхъ, какъ удостовѣряетъ Карамзинъ, показалась Морицу довольно пріятною. Еще большая забота о томъ, чтобы возвысить русскую литературу во мнѣніи иностранцевъ, видна въ письмѣ о Платнерѣ. „Онъ (Платнеръ) пригласилъ меня къ себѣ послѣ обѣда, и сказалъ, что хочетъ ужинать со мною въ такомъ мѣстѣ, гдѣ я увижу нѣкоторыхъ интересныхъ людей“, пишетъ Карамзинъ. Ужинъ, на который Платнеръ явился „съ ученою братією“, состоялся. „Всѣ были веселы и говорливы; хотѣли, чтобы и я говорилъ, и спрашивали меня о нашей литературѣ. Они очень удивились, слыша отъ меня, что десять пѣсней Мессіады переведены на русскій языкъ.“ ¹⁴⁰). «Я не думалъ бы,—сказалъ молодой профессоръ поэзіи, — чтобы въ вашемъ языкѣ можно было найти выраженія для Клопштоковыхъ идей». Еще то скажу вамъ, примолвилъ я, что переводъ вѣренъ и ясенъ.—Въ доказательство, что нашъ языкъ не противенъ ушамъ, читалъ я имъ русскіе стихи разныхъ мѣръ, и они чувствовали ихъ опредѣленную гармонію“. Не забылъ, конечно, Карамзинъ заявить и Виланду о существованіи русскаго перевода нѣкоторыхъ изъ важнѣйшихъ его сочиненій.

Наконецъ отмѣтимъ еще, какъ Карамзинъ заступился однажды за русскій народъ. Остановившись подъ вечеръ въ кур-

ляндской корчмѣ, онъ прилегъ на травѣ на берегу рѣчки и вносилъ замѣтки въ записную книжку. „Между тѣмъ“ — говоритъ онъ—„вышли на берегъ два нѣмца, ...легли подлѣ меня на травѣ, закурили трубки, и отъ скуки начали бранить русскій народъ. Я, переставъ писать, хладнокровно спросилъ у нихъ, были ли они въ Россіи далѣе Риги. Нѣтъ, отвѣчали они. А когда такъ, государи мои, сказалъ я, то вы не можете судить о русскихъ, побывавъ только въ пограничномъ городѣ“ ¹⁴¹).

Вмѣстѣ съ указаннымъ отношеніемъ къ Россіи автора „Писемъ“, отношеніемъ, вытекавшимъ изъ сознанія, въ немъ жило и непосредственное чувство любви къ своему отечеству, то чувство, которое онъ впоследствии назвалъ любовью физической и нравственной. Это чувство заставляло его часто вспоминать о своей родинѣ и друзьяхъ, грустить въ разлукѣ съ ними, и однажды оно вызвало у него такое замѣчаніе: „Для того, чтобы узнать всю привязанность нашу къ отечеству, надобно изъ него выѣхать; чтобы узнать всю любовь нашу къ друзьямъ, надобно съ ними разстаться“. ¹⁴²).

4. Отголоски оптимизма въ „Письмахъ“.

Воспитанникъ оптимистовъ, Карамзинъ не могъ, конечно, не отражать въ своихъ „Письмахъ“ оптимистическихъ чувствъ и воззрѣній. Отголоски оптимизма слышны въ его отношеніи къ природѣ и къ швейцарскимъ пастухамъ, а также и въ его политической теоріи.

Страстный любитель природы, еще съ дѣтства начавшій воспринимать ея впечатлѣнія и затѣмъ воспитавшій свою любовь къ ней на чтеніи Руссо, Карамзинъ значительно усилилъ въ себѣ это чувство оптимистическимъ воззрѣніемъ, вслѣдствіе чего природа стала въ его глазахъ не только источникомъ эстетическаго наслажденія, но и благой матерью человѣка, ведущей его къ счастью. Она являлась для него благимъ созданіемъ благого Творца—и потому вызывала въ немъ благоговѣйное чувство къ ея Устроителю. Такое отношеніе Карамзина къ природѣ находимъ, напримѣръ, въ письмѣ его изъ Дрездена (отъ 12 іюля, въ 10 часовъ вечера). „Я пошелъ“—пишетъ онъ—„гулять за городъ, въ такъ называемый Большой садъ. Длинная аллея вывела меня на обширный зеленый лугъ. Тутъ на лѣвой сторонѣ представи-

лась мнѣ Эльба и цѣпь высокихъ холмовъ, покрытыхъ лѣскомъ, изъ-за котораго выступаютъ кровли разбѣянныхъ домиковъ и шпицы башенъ. На правой сторонѣ поля, обогащенные плодами; вездѣ вокругъ меня разстилались зеленые ковры, устѣянные цвѣтами. Вечернее солнце кроткими лучами своими освѣщало сію прекрасную картину. Я смотрѣлъ и наслаждался; смотрѣлъ, радовался и—даже плакалъ, что обыкновенно бываетъ, когда сердцу моему очень, очень весело!—Вынулъ бумагу, карандашъ; написалъ: *любезная природа!* и болѣе ни слова! Но едва ли когда-нибудь чувствовалъ такъ живо, что мы созданы наслаждаться и быть счастливыми; и едва ли когда-нибудь въ сердцѣ своемъ былъ такъ добръ и такъ благодаренъ противъ моего Творца, какъ въ сіи минуты. Мнѣ казалось, что слезы мои льются отъ живой любви къ Самой Любви, и что онѣ должны смыть нѣкоторыя черныя пятна въ книгѣ жизни моей“. Итакъ здѣсь созерцаніе красиваго ландшафта связано у Карамзина съ цѣлымъ рядомъ оптимистическихъ представленій и чувствованій. Но еще сильнѣе связаны они у него съ созерцаніемъ красотъ Швейцаріи, въ особенности въ первый моментъ столкновенія съ ними лицомъ къ лицу. О тогдашнемъ настроеніи Карамзина даетъ намъ понятіе письмо его, озаглавленное: „Въ каретѣ дорогою“. Сперва мы видимъ въ этомъ письмѣ выраженіе восторга, хотя и крайне сильнаго, но все же еще не характеризующаго оптимиста. „Я уже наслаждаюсь Швейцаріею, милые друзья мои!“—пишетъ нашъ путешественникъ. — „Всякое дуновеніе вѣтерка проникаетъ, кажется, въ сердце мое и развѣваетъ въ немъ чувство радости. Какія мѣста! какія мѣста! Отъѣхавъ отъ Базеля версты двѣ, я выскочилъ изъ кареты, упалъ на лѣвѣтущій берегъ зеленаго Рейна, и готовъ былъ въ восторгѣ цѣловать землю“. Но дальнѣйшее движеніе чувства принимаетъ уже своеобразный характеръ: впечатлѣнія отъ созерцанія природы ассоціируются съ представленіями оптимистическими, природа является уже не только изящной, но и не знающей зла — и Карамзинъ, уносимый новой, усиленной волной чувства, представляетъ себѣ и жизнь среди красотъ ея не чѣмъ инымъ, какъ пріятнымъ сновидѣніемъ, и самую смерть тѣхъ, кто живетъ, не уклоняясь отъ путей природы,—и безболѣзненной и даже—тоже изящной. Онъ говоритъ: „Счастливые швейцары! всякій ли день, всякій ли часъ благодарите вы Небо за свое счастье, живучи въ объятіяхъ прелестной натуры,... въ простотѣ нравовъ?... Вся жизнь ваша есть, конечно, пріятное сновидѣніе, и самая роковая стрѣла должна кротко влетать въ грудь вашу, не возмущаемую тиранскими стра-

стями!“ Остановившись мысленно на изяществѣ и благѣ мірового порядка и, по поводу рѣчи о смерти, вспомнивъ предположеніе Боннета объ обитаемости небесныхъ міровъ и мысль Галлера о томъ, что наша планета есть „менѣе изящная точка міра“, и что „звѣзды могутъ быть столицею духовъ просвѣтленныхъ, гдѣ вѣчно царствуетъ добродѣтель“,—нашъ путешественникъ приходитъ въ состояніе экстаза, подобное тому, какое мы видѣли въ его статьѣ: „Прогулка“, и говоритъ: „Такъ, друзья мои! я думаю, что ужасъ смерти бываетъ слѣдствіемъ нашего уклоненія отъ путей природы. Думаю, и на сей разъ увѣренъ, что онъ не есть врожденное чувство нашего сердца. Ахъ! если бы теперь, въ самую сію минуту, надлежало мнѣ умереть, то я со слезою любви упалъ бы во всеобъемлющее лоно природы, съ полнымъ увѣреніемъ, что она зоветъ меня къ новому счастью; что измѣненіе существа моего есть возвышеніе красоты, переменна изящнаго на лучшее. И всегда, милые друзья мои, всегда, когда я духомъ своимъ возвращаюсь въ первоначальную простоту натуры человѣческой — когда сердце мое отвергается впечатлѣніямъ красотъ природы,—чувствую я то же и не нахожу въ смерти ничего страшнаго. Высочайшая Благость не была бы высочайшею Благостию, если бы она съ которой-нибудь стороны не усладила для насъ всѣхъ необходимостей—и съ сей-то услажденной стороны должны мы прикасаться къ нимъ устами нашими!“ Экстазъ разрѣшается чувствомъ благоговѣйнаго смиренія передъ Промысломъ. „Прости мнѣ, мудрое Провидѣніе, если я когда-нибудь, какъ буйный младенецъ, проливая слезы досады, ропталъ на жребій человѣка! Теперь, погружаясь въ чувство Твоей благости, лобызаю невидимую руку Твою, меня ведущую!“

Въ одномъ мѣстѣ „Писемъ“ Карамзинъ, по поводу своей встрѣчи въ замкѣ Булонскаго лѣса съ парижской нищей, сопоставляетъ міръ физическій съ міромъ нравственнымъ—и, говоря о второмъ, впадаетъ въ скорбный тонъ „Ночныхъ думъ“ Юнга, а на первый смотритъ глазами оптимиста. „Боже мой!“—воскликаетъ онъ:—„сколько великолѣпія въ физическомъ мірѣ, и сколько бѣдствія въ нравственномъ! Можетъ ли несчастный, угнетенный бременемъ бытія своего, отверженный, уединенный среди множества людей, хладныхъ и жестокихъ, — можетъ ли онъ веселиться твоимъ великолѣпіемъ, златое солнце! твоею чистою лазурью, свѣтлое небо! вашею красотою, зеленые луга и рощи? Нѣтъ, онъ томится; всегда, вездѣ томится, бѣдный страдалецъ! Темная ночь, сокрой его! Шумящая буря, унеси его... туда, туда.

гдѣ добрые не тоскуютъ; гдѣ волны океана, океана вѣчности, прохлаждаютъ истлѣвшее сердце!...“ 113)

Но, конечно, не всегда же смотрѣлъ Карамзинъ на природу, какъ влюбленный въ нее оптимистъ: въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ видѣлъ причиненія ею бѣдствія, любовь его къ природѣ умѣрялась сочувствіемъ къ потерпѣвшимъ. Такъ, картина наводненія заставила его внести слѣдующія строки въ свое письмо изъ Мангейма отъ 3 августа: „Но гдѣ бѣдствіе не посѣщаетъ отъ женъ рожденныхъ? Гдѣ небо грозными тучами не покрывается? Гдѣ слезы горести не ліются? Здѣсь ліются онѣ, и я видѣлъ ихъ— видѣлъ тоску поселянъ несчастныхъ. Рейнъ и Неккеръ, наполнившись отъ дождей, яростно разлили воды свои и затопили сады, поля и самыя деревни. Здѣсь неслась часть домика, гдѣ обитали передъ тѣмъ покой и довольствіе; тутъ бурная волна мчала за- пасть осторожнаго, но тщетно осторожнаго поселянина; тамъ плыла бѣдная блеющая овца“.

Въ связи съ отношеніемъ Карамзина къ природѣ было и увлеченіе его идилліей, т.-е мирной жизнью на лонѣ природы, въ простотѣ правотъ. Но между „Письмами р. путешественника“ есть одно, свидѣтельствующее, что, подъ вліяніемъ оптимистическихъ представленій, авторъ ихъ однажды увлекся идилліей до крайнихъ размѣровъ. Поводомъ къ тому послужила встрѣча съ добродушнымъ альпійскимъ пастухомъ, описанная въ письмѣ съ долины Гасли. Встрѣча эта вызвала у Карамзина ассоціацію съ представленіями, данными ему Галлеромъ. Мы уже знаемъ, что Галлеръ въ своей поэмѣ: „О происхожденіи зла“ изобразилъ золотой вѣкъ первобытныхъ людей, жившихъ добродѣтельно и слѣдовательно — счастливо, и противопоставалъ этому вѣку испорченную жизнь позднѣйшихъ поколѣній. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Галлеръ указалъ Карамзину, что есть еще и между позднѣйшими людьми „счастливыя твари“: это—альпійскіе пастухи; а въ другой своей поэмѣ: „Die Alpen“ — показалъ, въ чемъ ихъ счастье. Карамзинъ хорошо зналъ эту поэму: онъ въ письмѣ съ долины Гасли приводитъ отрывокъ изъ нея и тутъ же, въ выноскѣ, помѣщаетъ переводъ его. Отрывокъ этотъ тотъ самый, въ которомъ изображается счастье пастуховъ — и именно вотъ какъ:

„Здѣсь любовь пылаетъ свободно, никакой грозы не страшая; здѣсь любятъ для себя, а не для отцовъ своихъ. Когда молодой пастухъ почувствуетъ нѣжную страсть, которую пре-

красные глаза воспаляютъ въ веселомъ сердцѣ, то уста его не таятъ ее. Пастушка внимаетъ ему, сказываетъ свои чувства, и слѣдуетъ движенію своей склонности, если онъ достоинъ ея сердца: ибо сіе движеніе, раждаемое пріятностію и питаемое добродѣтелию, не постыдно для красавицы. Суетная пышность не тяготитъ страстныхъ желаній; онъ любитъ ее, она его любитъ—симъ заключается бракъ, который часто одною взаимною вѣрностію утверждается; согласіе служитъ вмѣсто клятвъ, поцѣлуй вмѣсто печати. Любезный соловей поздравляетъ ихъ съ ближнихъ вѣтвей; мягкая трава есть брачное ложе ихъ, дерево—занавѣсъ, уединеніе—свидѣтель, и любовь приводитъ невѣсту въ объятія молодого пастуха. Блаженная чета! Цари должны завидовать вамъ“.

Встрѣча съ пастухомъ напомнила Карамзину и оптимистическія представленія Галлера и изображенную имъ счастливую идиллію; напомнила, конечно, и Руссо, страстного любителя природы, тоже утверждавшаго, согласно съ оптимистами, что „все хорошо такъ, какъ оно вышло изъ рукъ виновника всего сущаго“, и что „все выражается подъ руками человѣка“, какъ сказалъ онъ въ своемъ „Эмилѣ“,—и вотъ Карамзинъ, съ одной стороны, идеализируетъ жизнь пастуховъ, а съ другой — выражаетъ свой протестъ противъ нѣкоторыхъ сторонъ жизни такъ называемаго образованнаго общества — и подъ вліяніемъ такого настроенія пишетъ знаменитое письмо свое съ долины Гасли. Вотъ что говоритъ онъ въ этомъ письмѣ:

„Жажда меня томилъ. Я остановился подлѣ одной хижины, на берегу чистаго ручья, и, видя молодого пастуха, у дверей стоящаго, попросилъ у него стака́на. Онъ не скоро понялъ меня; но, понявъ, тотчасъ бросился въ свой доми́къ и вынесъ чашку. «Она чиста», сказалъ онъ худымъ нѣмецкимъ языкомъ, показывая мнѣ дно ея; побѣждалъ къ ручью, зачерпнулъ воды, и опять вылилъ ее назадъ—посмотрѣлъ на меня и улыбнулся — зачерпнулъ въ другой разъ, и опять вылилъ—взглянулъ на меня и засмѣялся — почерпнулъ въ третій разъ, и принесъ мнѣ, говоря: «Пей, добрый человѣкъ, пей нашу воду!» Я взялъ чашку — и если бы не побоялся пролить воды, то, конечно, бы обнялъ добродушнаго пастуха, съ такимъ чувствомъ, съ какимъ обнимаетъ братъ брата: столь любезенъ казался онъ мнѣ въ эту минуту! — Для чего не родились мы въ тѣ времена, когда всѣ люди были пастухами и братьями! Я съ радостию отказался бы отъ многихъ удобностей жизни (которыми обязаны мы просвѣщенію дней нашихъ), чтобы возвратиться въ первобытное состояніе человѣка. Всѣми истин-

ными удовольствіями — тѣми, въ которыхъ участвуетъ сердце, и которыя насъ подлинно счастливыми дѣлаютъ—наслаждались люди и тогда, и еще болѣе, нежели нынѣ — болѣе наслаждались они любовью (ибо тогда ничто, не запрещало имъ говорить другъ другу: *люблю тебя*, и дарамъ природы не предпочитались дары слѣпого случая, не придающіе человѣку никакой существенной цѣны),—болѣе наслаждались дружбою, болѣе красотами природы. Теперь жилище и одежда наша покойнѣе: но покойнѣе ли сердца? Ахъ, нѣтъ! тысячи заботъ, тысячи безпокойствъ, которыхъ не зналъ человѣкъ въ прежнемъ своемъ состояніи, терзаютъ нынѣ внутренность нашу, и всякая пріятность въ жизни ведетъ за собою тѣмъ непріятностей. — Съ сими мыслями пошелъ я отъ пастуха; нѣсколько разъ оборачивался назадъ, и примѣтилъ, что онъ провожаетъ меня взорами своими, въ которыхъ написано было желаніе: «Поди, и будь счастливъ!» Богъ видѣлъ, что и я отъ всего сердца желалъ ему счастья;—но онъ уже нашелъ его!“

Нѣтъ сомнѣнія, что письмо это есть образчикъ крайняго увлеченія идилліей, увлеченія той счастливой Аркадіей, къ которой самъ же Карамзинъ въ другое время относился съ полной критикой и не вѣрилъ въ нее ¹⁴⁴). И въ литературѣ нашей не мало осуждали Карамзина за такое увлеченіе, и не только осуждали, но и глумились надъ нимъ. Но не должно забывать и того, что въ основѣ этого увлеченія все-таки лежитъ и нѣчто присущее всему культурному обществу. Люди, живущіе жизнью, ужъ слишкомъ удаленною отъ природы, всегда чувствуютъ эту свою удаленность, и отъ времени до времени начинаютъ тяготѣть къ лону природы, что доказывается, между прочимъ, и фактами всемірной литературы. Богатая образованностью Александрійская эпоха создала идиллію; Гораций проповѣдывалъ умеренность и восхвалялъ добродѣтель дикихъ скиѳовъ; Тацитъ убѣгалъ отъ испорченнаго императорскаго Рима въ первобытные лѣса Германіи; позднѣе,—не говоря ужъ о Руссо,—Баїронъ, разочаровавшись въ людяхъ, со страстью привязался къ природѣ; въ наше время не симпатизируетъ городской жизни Левъ Толстой и призываетъ образованное общество опроститься и стать ближе къ природѣ. Вспомнимъ хоть слѣдующія слова его: „И прежде уже чуждая мнѣ и странная городская жизнь теперь опротивѣла мнѣ такъ, что всѣ тѣ радости роскошной жизни, которыя прежде мнѣ казались радостями, стали для меня мученіемъ. И какъ я ни старался найти въ своей душѣ хоть какія-нибудь оправданія нашей жизни, я не могъ безъ раздраженія видѣть ни своей ни чужой гостиниой, ни

чисто, барски накрытаго стола, ни экипажа, сытаго кучера и лошадей, ни магазиновъ, театровъ, собраній“ ¹⁴⁵).

Письмо съ долины Гасли напоминаетъ о другомъ произведеніи Карамзина, въ которомъ онъ тоже идеализируетъ первобытныя времена и противопоставляетъ ихъ временамъ позднѣйшимъ. Мы говоримъ о его маленькой пьескѣ: „Невинность“, помѣщенной въ Московскомъ журналѣ за 1791 г. Вотъ что говорится въ этой пьескѣ:

„Веселье сіяетъ въ очахъ ея. Она улыбается подобно утру весеннему. На высокомъ челѣ ея изображается душевный миръ и спокойствіе. Неувядаемыя розы и лиліи цвѣтутъ на ея ланитахъ. Станъ ея подобенъ прямому стеблю нѣжнаго нарцисса. Рѣзвые зефиры, вѣясь вокругъ ея, развѣваютъ на ней легкую, бѣлую одежду, и распущенными власами ея играютъ; но едва дерзаютъ они прикасаться къ дѣвственнымъ грудямъ ея, подобнымъ чистѣйшему снѣгу двухолмистой горы въ Гельвеціи *), къ которому ничто смертное не прикасалось. Увѣнчанная цвѣтами грацій, шествуетъ она бодро по землѣ благословенной; бури и мраки отъ нея удаляются; ядовитыя змѣи не смѣютъ ужалить ноги ея; колючія травы смягчаются подъ ея стопами; небесная благодать изливается предъ нею въ лучахъ солнечныхъ“.

„Когда смертные повиновались гласу благодѣтельной природы, и жили въ любви, тишинѣ и мирѣ, тогда Невинность на землѣ обитала, гуляла по лугамъ съ пастушками, играла и пѣла съ ними въ хороводахъ... Но когда человекъ, въ гибельный часъ заблужденія, восхотѣлъ быть мудрѣе природы: тогда Невинность возвратилась на небеса, въ свое отечество. Съ того времени она уже рѣдко посѣщаетъ землю, и рѣдко бываетъ видима оку смертнаго“.

Оптимизмъ сильно повліялъ и на политическую теорію Карамзина. Но объ ней мы будемъ говорить въ слѣдующей главѣ.

5. Политическіе и соціальные взгляды автора „Писемъ“.

Коснувшись французской революціи въ одномъ изъ своихъ апрѣльскихъ писемъ изъ Парижа ¹⁴⁶), Карамзинъ, какъ бы въ возраженіе революціонерамъ, излагаетъ слѣдующую свою политическую теорію.

*) Сія гора называется Юнгферъ, т.-е. дѣвица. (Примѣч. Карамз.).

Сказавши, что „революція — отверстый гробъ для добродѣтели“, авторъ письма продолжаетъ: „всякое гражданское общество, вѣками утвержденное, есть святыня для добрыхъ гражданъ; и въ самомъ несовершеннѣйшемъ надобно удивляться чудесной гармоніи, благоустройству, порядку. Утопія *) будетъ всегда мечтою добраго сердца или можетъ исполниться непримѣтнымъ дѣйствіемъ времени, посредствомъ медленныхъ, но вѣрныхъ, безопасныхъ успѣховъ разума, просвѣщенія, воспитанія добрыхъ нравовъ. Когда люди увѣрятся, что для собственнаго ихъ счастья добродѣтель необходима, тогда настанетъ вѣкъ златой, и во всякомъ правленіи человѣкъ насладится мирнымъ благополучіемъ жизни. Всякія же насильственные потрясенія гибельны, и каждый бунтовщикъ готовитъ себѣ эшафотъ. Предадимъ, друзья мои, предадимъ себя во власть Провидѣнію: Оно, конечно, имѣетъ свой планъ; въ Его рукѣ сердца государей—и довольно“.

Существенныя черты этой теоріи слѣдующія. Человѣкъ можетъ быть счастливъ при всякомъ правленіи, такъ какъ какое бы оно ни было, въ гражданскомъ обществѣ всегда есть гармонія, благоустройство, порядокъ. Степень счастья гражданъ зависитъ отъ степени ихъ добродѣтели. Слѣдовательно, если въ гражданскомъ обществѣ есть какія-либо недостатки, то они должны исправляться не насильственнымъ путемъ, не путемъ революціи, которая гибельна, ибо она есть „отверстый гробъ для добродѣтели“, а путемъ хотя и медленныхъ, но вѣрныхъ и безопасныхъ успѣховъ разума, просвѣщенія, воспитанія добрыхъ нравовъ, т.-е. путемъ того, чѣмъ пріобрѣтается добродѣтель. Всякое же насиліе не только губитъ добродѣтель, но и не согласно съ довѣріемъ къ имѣющему свой планъ Провидѣнію.

Изложенную теорію, стоящую за мирное теченіе гражданской жизни, одинъ изъ критиковъ Карамзина называлъ философіей квіэтизма ¹⁴⁷⁾. И дѣйствительно, авторъ письма о французской революціи выступаетъ человѣкомъ, недружелюбно относящимся ко всякимъ переменамъ въ правленіи. „Легкіе умы“ — говоритъ онъ — „думаютъ, что все легко; мудрые знаютъ опасность всякой перемены, и живутъ тихо“.

Всматриваясь въ эту теорію Карамзина, мы замѣчаемъ, что она согласна и съ ученіемъ Шадена о добродѣтели и необходимости повиновенія законамъ, согласна и съ „Нравоучительнымъ катихизисомъ“ Лопухина, который вмѣнялъ въ обязанность чтить

*) Или царство счастья, сочиненіе Моруса. (Примѣч. Карамз.).

правительство и „во всякомъ страхѣ повиноваться ему“; согласна она и съ мнѣніемъ масоновъ вообще, что человѣкъ можетъ нравственно совершенствоваться при всякомъ политическомъ устройствѣ. Но гораздо полнѣе соотвѣтствуетъ ей ученіе Боннета, изложенное имъ въ „Созерцаніи природы“, въ главѣ: „Человѣкъ въ общежитіи“, гдѣ тоже проводится идея, что счастье гражданъ можетъ существовать во всякомъ „политическомъ тѣлѣ“, и что оно зависитъ отъ добродѣтели. Въ политическомъ тѣлѣ, говоритъ Боннетъ, „добродѣтель, честь, страхъ и польза, разнымъ образомъ раздѣленные или соединенныя, дѣлаются источникомъ мира, благополучія и порядка. Всѣ члены, другъ съ другомъ связанные, движутся правильно, согласно. Подъ сѣнію законовъ король, князь, судья пользуются своею праведною властію, ободряютъ добродѣтель, обуздываютъ порокъ и распространяютъ повсюду счастливыя вѣянія своего правленія“.

Но въ сопоставленіи политической теоріи Карамзина съ оптимизмомъ можно идти и дальше: можно уловить полную параллель между взглядомъ Карамзина на устройство государства и взглядомъ оптимистовъ на устройство вселенной. Вотъ эта параллель. Подобно тому, какъ во вселенной есть чудесная гармонія, благоустройство, порядокъ: такъ есть они и въ каждомъ государствѣ. Какъ міръ созданъ для счастья людей: такъ и государство создается для счастья гражданъ. Какъ въ жизни вообще счастье достигается добродѣтелью: такъ ею же достигается и счастье гражданское. Какъ губительно для счастья людей уклоненіе ихъ отъ путей природы: такъ губительно для гражданъ уклоненіе ихъ отъ утвержденного вѣками государственнаго порядка. Наконецъ, какъ человѣку вообще слѣдуетъ предать себя во власть имѣющему свой планъ Провидѣнію: такъ и гражданинъ долженъ довѣряться тому же Провидѣнію, держащему въ своей рукѣ сердца государей.

Однако теорія Карамзина, во-первыхъ, слишкомъ отвлеченна, такъ какъ она,—за исключеніемъ лишь послѣднихъ словъ ея, гдѣ говорится о государяхъ,—касается гражданскаго общества вообще, а во-вторыхъ—и неопредѣленна, ибо она ставитъ счастье гражданъ въ зависимость отъ добродѣтели, степень которой въ людяхъ можетъ быть весьма различна. Поэтому Карамзинъ, не смотря на то, что теорія его отрицаетъ значеніе формы правленія, на практикѣ не могъ не признавать этого значенія, и долженъ

былъ рѣшить для себя вопросъ о томъ, при какомъ же политическомъ устройствѣ „благополучіе гражданъ“ наиболѣе гарантировано. Анализъ его писемъ показываетъ, что сперва онъ было увлекся республикой, но, не удовлетворившись ею, перешелъ на сторону монархіи; затѣмъ, ознакомившись съ англійской конституціей, нашелъ и ее хорошей, хотя и не для каждой страны. Кончилъ же авторъ „Писемъ“ тѣмъ, что въ свое теоретическое положеніе: „человѣкъ можетъ быть счастливъ при всякомъ правленіи“ внесъ ограничивающую мысль, заключающуюся въ требованіи *справедливости*, и формулировалъ свое новое положеніе такъ: „всякое правленіе, котораго душа есть справедливость, благотворно и совершенно“ ¹⁴⁸). Въ этой формулировкѣ прежняя неопредѣленность нѣсколько сглаживалась.

Исторія хода мыслей и направленія симпатій автора „Писемъ“ слѣдующая.

Когда нашъ путешественникъ вѣзжалъ въ Швейцарію, въ немъ воскресли впечатлѣнія, исходившія отъ Руссо, и вызвали извѣстное настроеніе. Настроеніе это было усилено книгою Кокса и Рамона—людей, интересовавшихся политическимъ устройствомъ Швейцаріи и относившихся къ нему съ большимъ восторгомъ. У Кокса встрѣчается, напримѣръ, такая фраза: „J'éprouve un plaisir nouveau, je respire l'air de la liberté; tous les visages portent ici caractère de la satisfaction“ ¹⁴⁹). Подъ влияніемъ всего этого. Карамзинъ вѣзжалъ въ Швейцарію, какъ выразился Сиповскій, съ самыми республиканскими чувствами. Онъ представлялъ себѣ швейцарскія республики идеаломъ, въ которомъ осуществлено полное благополучіе гражданъ. „Итакъ я уже въ Швейцаріи, въ странѣ живописной натуры, въ *земль свободы и благополучія!*“ восклицаетъ онъ въ первомъ своемъ письмѣ изъ Базеля. „Кажется, что здѣшній воздухъ имѣетъ въ себѣ нѣчто оживляющее: дыханіе мое стало легче и свободнѣе, станъ мой распрямился, голова моя сама собою подымается, и я *съ гордостію помышляю о своемъ человечествѣ*“. Въ письмѣ, озаглавленномъ: „Въ каретѣ дорогою“, Карамзинъ называетъ швейцарцевъ счастливыми потому, что они живутъ не только „въ объятіяхъ прелестной натуры“ и „въ простотѣ нравовъ“, но и подъ „*благодѣтельными законами братскаго союза, служа одному Богу*“.

Однако этотъ пылъ Карамзина былъ непродолжителенъ. Исчезновеніе его надо объяснить слѣдующимъ образомъ. Самой идеѣ, на которой основана республика, Карамзинъ сочувствовалъ; но для счастливаго осуществленія ея требовалъ строгого условія:

онъ держался того убѣжденія, что если для счастья всякаго гражданскаго общества нужна добродѣтель, то для республики въ особенности. Отъ нравственной болѣзни, — говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ, — умираетъ свобода въ республикахъ ¹⁵⁰). Даже роскошь онъ считалъ „гробомъ вольности“ ¹⁵¹). Въѣзжая въ Швейцарію, онъ и представлялъ себѣ ея жителей живущими „въ простотѣ нравовъ“ и „не возмущаемыми тиранскими страстями“ ¹⁵²). Между тѣмъ въ швейцарскихъ республикахъ онъ замѣчаетъ кое-какія темныя стороны. Въ Бернѣ „нѣкоторыя фамиліи присвоили себѣ всю власть въ республикѣ“, а „все прочіе жители не имѣютъ участія въ правленіи“, которое такимъ образомъ является скорѣе аристократическимъ, нежели республиканскимъ ¹⁵³). Этимъ незаконнымъ присвоеніемъ уже нарушенъ принципъ справедливости. Въ Женевѣ нерѣдки „несогласія“ и борьба между партіями ¹⁵⁴). что съ точки зрѣнія Карамзина было нарушеніемъ порядка и нанесеніемъ ущерба благополучію гражданъ. Такое положеніе дѣла внушаетъ ему мысль, что республика, будучи привлекательной въ идеѣ, въ дѣйствительности, принимая во вниманіе страсти человѣческія, есть правленіе, слабо гарантирующее гражданское благополучіе. Послѣ такой мысли переходъ на сторону монархіи ясенъ самъ собою, и переходъ этотъ былъ для Карамзина тѣмъ легче, что путь къ тому былъ уже расчищенъ Шаденомъ, имѣвшимъ на Карамзина также, какъ извѣстно, очень сильное вліяніе. Карамзинъ теперь сталъ на сторону монархіи, хотя переходъ свой ясно мотивировалъ лишь въ „Вѣстникѣ Европы“, гдѣ онъ, рассуждая о той же Швейцаріи по поводу междоусобій въ ней, говоритъ: „безъ высокой народной добродѣтели республика стоять не можетъ. Вотъ почему монархическое правленіе гораздо счастливѣе и надежнѣе: оно не требуетъ отъ гражданъ чрезвычайностей и можетъ возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падаютъ“ ¹⁵⁵).

Но перейдя разсудкомъ на сторону монархіи, сердцемъ Карамзинъ все-таки не отвращался отъ республики: сѣмя, брошенное Руссо, какъ видно, не могло въ немъ заглухнуть; не забывалъ онъ, конечно, и впечатлѣній отъ книги Кокса и Рамона. Вотъ доказательство. Въ послѣднемъ своемъ письмѣ изъ Женевы онъ хотя и отзывается о ея жителяхъ нѣсколько проницательно и называетъ женевскую республику „игрушкой“, однако письмо это проникнуто скорѣе симпатіей, нежели отрицательнымъ чувствомъ. „Живучи здѣсь“, — пишетъ Карамзинъ, — „я часто досадовалъ на женевцевъ, и нѣсколько разъ хотѣлъ описать характеръ ихъ са-

мыми несвѣтлыми красками; но теперь, на прощаньи, не могу сказать объ нихъ ничего худого. Сердце мое помирилось съ ними, и я желаю имъ всякаго добра. Пусть цвѣтетъ маленькая область ихъ подъ тѣнію Юры и Салева! Да наслаждаются они плодами своего трудолюбія, искусства и промышленности! Да разсуждаютъ спокойно въ серкляхъ своихъ о происшествіяхъ міра, и пусть дамы ихъ загадываютъ загадки глухимъ баронамъ! ¹⁵⁶⁾ Пусть всѣ европейцы съ сѣвера и юга прїѣзжаютъ къ нимъ на вечеринки играть въ вистъ по гривнѣ партію и пить чай и кофе! Да будетъ ихъ республика многія, многія лѣта *прекрасною игрушкою* на земномъ шарѣ!“ Второе доказательство видимъ въ „Марѣ Посадницѣ“ и третье—въ „Історіи“, въ словахъ: „сердцу человѣческому свойственно доброжелательствовать республикамъ, основаннымъ на коренныхъ правахъ вольности, ему любезной“ ¹⁵⁷⁾.

Переходъ Карамзина на сторону, противоположную республикѣ, отразился уже на письмахъ изъ Франціи. Въ томъ же письмѣ о французской революціи находимъ слѣдующій его сочувственный отзывъ о французской монархіи, написанный, конечно, не безъ вліянія взгляда Шадена на монархическій образъ правленія. „Французская монархія“—говоритъ онъ—„производила великихъ государей, великихъ министровъ, великихъ людей въ разныхъ родахъ; подъ ея мирною сѣнію возрастали науки и искусства; жизнь общественная украшалась цвѣтами пріятностей, бѣдный находилъ себѣ хлѣбъ, богатый наслаждался своимъ избыткомъ... Но дерзкіе подняли сѣкиры на священное дерево, говоря: «Мы лучше сдѣлаемъ!»“. Въ письмѣ, предшествующемъ тому, изъ котораго приведены эти строки, Карамзинъ чрезвычайно сочувственно отзывался и о тогдашнемъ королѣ Франціи, о королевѣ и дофинѣ, и, рассказывая о томъ, какъ однажды въ Тюльери со всѣхъ сторонъ бѣжали люди, чтобы смотрѣть на дофина, и всѣ безъ шляпъ,—онъ съ радостнымъ чувствомъ присоединяетъ къ разсказу свой выводъ: „Народъ любитъ еще кровь царскую!“ Излагая свою политическую теорію уже по выѣздѣ изъ Швейцаріи, онъ хотя и относитъ ее ко всякому правленію вообще, но въ послѣднихъ словахъ своихъ имѣетъ въ виду однако монархію—и, говоря, что сердца государей находятся въ рукѣ Провидѣнія, указываетъ этимъ высокій взглядъ свой на монарха. Наконецъ въ письмѣ о Левекѣ и Петрѣ Великомъ, заявляя, что русскіе не расположены были просвѣщаться, и что одна только

„безпредѣльная власть“ царя могла такъ внезапно и быстро преобразовать Россію, и сочувствуя этому проявленію власти,—Карамзинъ уже ясно выступаетъ сторонникомъ самодержавія.

Такимъ образомъ, когда Карамзинъ пріѣхалъ въ Англію, счеты его съ республикой и самодержавіемъ были уже сведены. Но тутъ онъ встрѣчается съ новой, ему еще не знакомой формой правленія, и начинаетъ изучать ее, главнымъ образомъ — по сочиненію Делольма. Въ результатъ получается такой отзывъ объ англійской конституціи: „Законы хороши; но ихъ надобно еще хорошо исполнять, чтобы люди были счастливы. Напримѣръ, англійскій министръ, наблюдая только нѣкоторыя формы, или законныя обыкновенія, можетъ дѣлать все, что ему угодно: сыплеть деньгами, обѣщаетъ мѣста, и члены парламента готовы служить ему. Малочисленные его противники спорятъ, кричатъ—и болѣе ничего. Но важно то, что министръ всегда долженъ быть отмѣнно умнымъ человѣкомъ, для сильнаго, яснаго и скорого отвѣта на всѣ возраженія противниковъ; еще важнѣе то, что ему опасно во зло употреблять власть свою. Англичане просвѣщены, знаютъ наизусть свои истинныя выгоды, и если бы какой-нибудь Питтъ вздумалъ явно дѣйствовать противъ общей пользы, то онъ непременно бы лишился большинства голосовъ въ парламентѣ, какъ волшебникъ своего талисмана. Итакъ не конституція, а просвѣщеніе англичанъ есть истинный ихъ палладіумъ“ ¹⁵⁸). Сущность этого отзыва такова: англійская конституція хороша, но не безъ недостатковъ, и министру она сама по себѣ не мѣшаетъ злоупотреблять властью; но отъ такого нарушенія справедливости гарантируетъ англичанъ ихъ просвѣщеніе. Отсюда Карамзинъ приходитъ къ новому выводу: „Всякія гражданскія учрежденія должны быть соображены съ характеромъ народа; что хорошо въ Англіи, то будетъ дурно въ иной землѣ. Не даромъ сказалъ Солонъ: «Мое учрежденіе есть самое лучшее, но только для Аѳинъ»»“. Однако вслѣдъ за этимъ, Карамзинъ, какъ бы не желая разстаться со своей отвлеченной теоріей, отрицающей значеніе формы правленія, снова возвращается къ ней, но вноситъ уже извѣстную намъ поправку: „Впрочемъ всякое правленіе, котораго душа есть справедливость, благотворно и совершенно“. Но это только теорія; въ дѣйствительности же Карамзинъ отдалъ преимущество самодержавной монархіи — и затѣмъ уже все время стоялъ за нее, иногда только вспоминая о „любезной сердцу вольности“.

Теперь перейдемъ къ частному вопросу: къ вопросу объ отношеніи автора „Писемъ“ къ французской революціи. Критика упрекаетъ Карамзина въ томъ, что онъ не видѣлъ въ революціи ея широкаго историческаго значенія ¹⁵⁰). Нашъ путешественникъ, дѣйствительно, нигдѣ не приводитъ это явленіе въ связь съ предшествовавшей жизнью Франціи: онъ только указываетъ на различіе, какое онъ находилъ между прежнимъ положеніемъ этой страны, какъ цвѣтущей монархіи, и послѣдующимъ ея положеніемъ, какъ анархіи. Революція была для него явленіемъ неожиданнымъ. „Можно ли было“ — говоритъ онъ, — „ожидать такихъ сценъ въ наше время отъ зефирныхъ французовъ, которые славились своею любезностію и пѣли съ восторгомъ отъ Кале до Марсели, отъ Перпиньяка до Стразбурга:

Pour un peuple aimable et sensible
Le premier bien est un bon roi...“ ¹⁶⁰).

Понятно, что при такихъ условіяхъ Карамзинъ не могъ видѣть, хотя что-либо примиряющее во французскихъ событіяхъ, ибо и современные намъ историки, уже всесторонне изучившіе вопросъ, касающійся этихъ событій, не относятся сочувственно къ тому, чѣмъ сопровождалась революція: они съ грустью говорятъ о ея кровавыхъ ужасахъ, и анархію считаютъ горшею, чѣмъ замѣненный ею порядокъ, какъ бы плохъ онъ ни былъ. Такъ между прочимъ высказывается Оскаръ Іегеръ ¹⁶¹); но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ выражаетъ и ту мысль, что людямъ не дана способность достигать великихъ политическихъ цѣлей безъ особенно тяжелой борьбы ¹⁶²). Карамзинъ же не допускалъ этой мысли: онъ вѣрилъ въ возможность мирнаго прогресса человѣчества, а потому, если бы онъ и видѣлъ широкое историческое значеніе французской революціи, онъ все-таки не отнесся бы къ ней менѣе враждебно, такъ какъ революція въ его глазахъ осталась бы тѣмъ же „гробомъ добродѣтели“, и для достиженія счастья гражданъ онъ все-таки предлагалъ бы не борьбу составляющихъ государство элементовъ, а мирный путь „успѣховъ разума, просвѣщенія и воспитанія добрыхъ нравовъ“, ибо только этотъ путь соотвѣтствовалъ его взглядамъ вообще и его характеру.

Отмѣтимъ еще одно обстоятельство. Анушинъ ¹⁶³) обратилъ вниманіе на слѣдующее мѣсто августовскаго письма Карамзина изъ Лондона: „Если хотите, чтобы у васъ помутилось на душѣ, то загляните ввечеру въ подземельныя таверны, или въ питейные

домы, гдѣ веселится подлая лондонская чернь. — Такова судьба гражданскихъ обществъ: хорошо сверху, въ серединѣ, а внизъ не заглядывай. Дрожжи въ самомъ лучшемъ винѣ бываютъ столь же противны вкусу, какъ и въ самомъ худомъ“. Анучинъ выводилъ отсюда, что Карамзинъ признавалъ социальнымъ закономъ, что грязные пороки есть удѣлъ низшихъ слоевъ общества. Можетъ быть, замѣна слова *судьба* словомъ *законъ* и не совсѣмъ точна, но во всякомъ случаѣ вѣрно то, что Карамзинъ рѣзко отдѣлялъ здѣсь нижній слой общества отъ верхнихъ, что впрочемъ не мѣшало ему съ почтеніемъ относиться и къ простолюдину, когда онъ видѣлъ въ немъ добродѣтельнаго человѣка. Доказательство тому — его рассказъ: „Фролъ Силкинъ“.

Само собою разумѣется, что вышеуказанный взглядъ Карамзина на нижній слой общества не имѣлъ мѣста также и въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ говорилъ о пастухахъ подъ вліяніемъ оптимистическихъ представлений и вообще о поселянахъ — подъ вліяніемъ сентиментальной поэзіи. Но, находясь внѣ указанныхъ вліяній, онъ о тѣхъ же пастухахъ и поселянахъ отзывался иначе. Такъ, напримѣръ, описывая Тунское озеро, онъ говоритъ: „По обѣимъ сторонамъ озера непрерывно продолжаются горы... Внизу дымятся хижинны, жилища бѣдности, невѣжества и — можетъ быть — спокойствія... Вѣчная Премудрость! какое разнообразіе въ твоёмъ физическомъ и нравственномъ мірѣ!“

Если мы положимъ Карамзина: „просвѣщеніе есть палладіумъ благонравія“ примемъ за основное, то подмѣченный Ануцинымъ взглядъ нашего писателя на нижній слой общества, наименѣе просвѣщенный, явится естественнымъ слѣдствіемъ вышеуказаннаго основного положенія.

— 6. Сентиментализмъ „Писемъ р. путешественника“.

Повышенный тонъ чувства и выраженіе его чувствительнымъ слогомъ есть одна изъ выдающихся чертъ „Писемъ р. путешественника“. Черта эта бросается въ глаза при чтеніи перваго же письма, — письма изъ Твери, — написаннаго съ цѣлію выразить чувство грусти, охватившее автора при разставаньи съ Москвою и долго еще продолжавшее держаться и послѣ того, какъ онъ съ нею расстался. Вотъ тонъ этого письма и вотъ его чувствительный слогъ.

„Разстался я съ вами, милые, разстался! Сердце мое привязано къ вамъ всѣми нѣжнѣйшими своими чувствами, а я безпрестанно отъ васъ удаляюсь и буду удаляться!“

„О сердце, сердце! кто знаетъ, чего ты хочешь? — Сколько лѣтъ путешествіе было пріятнѣйшею мечтою моего воображенія? Не въ восторгѣ ли сказать я самому себѣ: наконецъ ты поѣдешь? Не въ радости ли просыпался всякое утро? Не съ удовольствіемъ ли засыпалъ, думая: ты поѣдешь? Сколько времени не могъ ни о чемъ думать, ничѣмъ заниматься, кромѣ путешествія? Не считалъ ли дней и часовъ? Но—когда пришелъ желаемый день, я сталъ грустить, вообразивъ въ первый разъ живо, что мнѣ надлежало разстаться съ любезнѣйшими для меня людьми въ свѣтѣ и со всѣмъ, что, такъ сказать, входило въ составъ нравственнаго бытія моего. На что ни смотрѣлъ — на столъ, гдѣ нѣсколько лѣтъ изливались на бумагу незрѣлыя мысли и чувства мои, — на окно, подъ которымъ сидѣлъ я подгорюнившись въ припадкѣ своей меланхоліи, и гдѣ такъ часто заставляло меня восходящее солнце,—на готическій домъ, любезный предметъ глазъ моихъ въ часы ночные, — однимъ словомъ, все, что попадалось мнѣ въ глаза, было для меня драгоцѣннымъ памятникомъ прошедшихъ лѣтъ моей жизни, не обильной дѣлами, но зато мыслями и чувствами обильной. Съ вещами бездушными прощался я, какъ съ друзьями; и въ самое то время, какъ былъ размягченъ, разтроганъ, пришли люди мои, начали плакать и просить меня чтобы я не забылъ ихъ и взялъ опять къ себѣ, когда возвращуся. Слезы заразительны, мои милые, а особливо въ такомъ случаѣ“.

„Но вы мнѣ всего любезнѣе, и съ вами надлежало разстаться. Сердце мое такъ много чувствовало, что я говорить забывалъ. Но что вамъ сказывать! — Минута, въ которую мы прощались, была такова, что тысячи пріятныхъ минутъ въ будущемъ едва ли мнѣ за нее заплатятъ“.

„Милый Петровъ провожалъ меня до заставы. Тамъ обнялись мы съ нимъ; и еще въ первый разъ видѣлъ я слезы его; — тамъ сѣлъ я въ кибитку, взглянулъ на Москву, гдѣ осталось для меня столько любезнаго, и сказалъ: *прости!* Колокольчикъ зазвенѣлъ, лошади помчались... и другъ вашъ осиротѣлъ въ мірѣ, осиротѣлъ въ душѣ своей!“

„Все прошедшее есть сонъ и тѣнь: ахъ, гдѣ, гдѣ часы, въ которые такъ хорошо бывало сердцу моему посреди васъ, милые?—Если бы человѣку, самому благополучному, вдругъ открылось будущее, то замерло бы сердце его отъ ужаса, и языкъ его онѣмѣлъ бы въ самую ту минуту, въ которую онъ думалъ назвать себя счастливѣйшимъ изъ смертныхъ!...“

„Во всю дорогу не приходило мнѣ въ голову ни одной ра-

достной мысли; а на послѣдней станціи къ Твери грусть моя такъ усилилась, что я, въ деревенскомъ трактирѣ, стоя передъ карикатурами королевы французской и римскаго императора, хотѣлъ бы, какъ говоритъ Шекспиръ, *выплакать сердце свое*. Тамъ-то все оставленное мною явилось мнѣ въ такомъ трогательномъ видѣ.—Но полно, полно! Мнѣ опять становится чрезмѣрно грустно.—Простите! Дай Богъ вамъ утѣшеній! — Помните друга, но безъ всякаго горестнаго чувства!“

Просматривая далѣе „Письма р. путешественника“, можно выписать изъ нихъ цѣлый рядъ такихъ мѣстъ, которыя отличаются подобной же чувствительностью, а очень часто вмѣстѣ съ тѣмъ—и мечтательностью. Красота природы, идиллическая картина, видъ семейнаго счастья, добродѣтель, невинность, великодушный подвигъ, страданіе, успѣхи просвѣщенія, трогательная театральная пьеса, мелодическая музыка или пѣніе — все это сильно шевелить сердце Карамзина, возбуждаетъ приливъ чувства, въ особенности, когда впечатлѣнія отъ созерцаемой дѣйствительности ассоціируются у него съ пережитыми прежде — при чтеніи какого-нибудь любимаго писателя, чаще всего—Руссо и оптимистовъ. Нѣсколько образчиковъ отношенія автора „Писемъ“ къ указаннымъ явленіямъ мы уже видѣли: вспомнимъ, напримѣръ, письмо изъ Дрездена, выражающее умиленіе нашего путешественника при созерцаніи „любезной природы“ (с. 144); вспомнимъ письма его о Боннетѣ (с. 103), о Вейсѣ (с. 94); вспомнимъ, какъ онъ былъ растроганъ представленной въ берлинскомъ театрѣ драмой Коцебу: „Ненависть къ людямъ и раскаяніе“ (с. 112); вспомнимъ затѣмъ письмо его о парижскихъ академіяхъ, въ которомъ авторъ говоритъ, что онъ „готовъ плакать отъ сердечнаго удовольствія, видя, какъ науки соединяютъ людей“ (с. 114); и вспомнимъ его чувства въ долиніѣ Гасли (с. 147). Для полноты характеристики присоединимъ ко всему этому еще нѣсколько отрывковъ.

Любуясь картиной, открывающейся взору съ горы Юры, Карамзинъ восклицаетъ: „Насыщайся, мое зрѣніе! я долженъ оставить сію землю... Для чего же, когда она столь прекрасна? Построю хижину на голубой Юрѣ, и жизнь моя протечетъ, какъ восхитительный сонъ!... Но ахъ! здѣсь нѣтъ друзей моихъ!—Величественный рельефъ натуры! впечатлѣйся въ моей памяти! Увижу ли тебя еще разъ въ жизни моей—не знаю; но если огнедышащіе вулканы не превратятъ въ пепелъ красотъ твоихъ; если земля не разступится подъ тобою, не осушитъ сего свѣтлаго озера (Женевскаго) и не поглотитъ береговъ его, — ты будешь

всегда удивленіемъ смертныхъ! Можетъ быть, дѣти друзей моихъ придутъ на сіе мѣсто: да чувствуютъ они, что я теперь чувствую—и Юра будетъ для нихъ незабвенна!“ ¹⁶⁴).

А вотъ образецъ, какъ дѣйствовала на Карамзина картина семейнаго счастья. Дѣло происходило въ окрестностяхъ Франкфурта на Майнѣ. „Уединенный домикъ съ садикомъ, не далеко отъ большой дороги, прельстилъ меня, и я пошелъ къ нему по узенькой тропинкѣ. Два мальчика, игравшіе на травѣ, бросились ко мнѣ на встрѣчу; но, закричавъ: «Это не онъ! это не Каспаръ!» побѣжали назадъ и скрылись въ домикъ. Старое каштановое дерево призывало меня въ свою тѣнь— я сѣлъ подъ его вѣтвями. Минуть черезъ пять мальчики выбѣжали, а за ними вышла женщина лѣтъ въ тридцать, пріятная лицомъ, въ бѣлой кафточкѣ и въ соломенной шляпкѣ. Она сѣла на крыльцѣ, и смотрѣла съ улыбкою на играющихъ мальчиковъ, съ такою улыбкою, по которой легко было узнать, что она мать ихъ. Они уговорились бѣгать въ запуски; взявшись за руки, отошли отъ крыльца шаговъ тридцать, остановились, выставили впередъ грудь и правую ногу, и дожидались, чтобы мать подала имъ знакъ. Она махнула имъ платкомъ, и они пустились, какъ изъ лука стрѣла. Большой опередилъ меньшого, прибѣжалъ къ матери, и, закричавъ: «Я первый», бросился цѣловать ее. Меньшой прибѣжалъ, и также кинулся къ ней на шею. Любезная картина семейственнаго счастья! Можетъ быть, въ городѣ она бы меньше меня тронула; но среди сельскихъ красотъ сердце наше живѣе чувствуетъ все то, что принадлежитъ къ составу истиннаго счастья, вліяннаго добродѣтельнымъ Существомъ въ сосудъ жизни человѣческой. Прости, уединенный домикъ! Миръ, тишина и покой да будетъ всегда наслѣдственнымъ добромъ твоихъ обитателей! А ты, вѣтвистое дерево, долго, долго еще принимай странниковъ въ тѣнь свою— и подъ кровомъ шумящихъ листьевъ твоихъ да веселятся они веселіемъ невинности и добродѣтели!“ ¹⁶⁵).

По поводу духовнаго концерта въ Парижѣ, гдѣ Карамзинъ слушалъ Гайденову Stabat Mater и Йомеллиево Miserere и проч., онъ занесъ въ свое письмо слѣдующія строки: „Нѣсколько разъ грудь моя орошалась жаркими слезами— я не отиралъ ихъ— я ихъ не чувствовалъ. — Небесная музыка! наслаждаясь тобою, возвышаюсь духомъ, и не завидую ангеламъ. Кто докажетъ мнѣ, чтобы душа моя, удобная къ такимъ святымъ, чистымъ эфирнымъ радостямъ, не имѣла въ себѣ чего-нибудь божественнаго, нетлѣннаго? Сии нѣжные звуки, вѣющіе, какъ

зефиръ на сердце мое, могутъ ли быть пищею смертнаго, грубаго существа?—Но ничто въ этомъ концертѣ не трогало меня такъ сильно, какъ одинъ прекрасный дуэтъ Ланса и Руссо. Они пѣли—оркестръ молчалъ—слушатели едва дышали... Несравненно!" ¹⁶⁶).

Большая степень чувствительности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и мечтательности видна въ слѣдующемъ майскомъ письмѣ изъ Парижа: „Шесть дней сряду... хожу въ Кармелитскій монастырь... для того, чтобы видѣть милую, трогательную Магдалину живописца Лебрюна, таять сердцемъ и даже плакать!.. О чудо несравненнаго искусства! Я вижу не холодныя краски и не бездушное полотно, но живую ангельскую красоту, въ горести, въ слезахъ, которыя изъ небесныхъ голубыхъ глазъ ея льются на грудь мою: чувствую теплоту, жаръ ихъ, вмѣстѣ съ нею плачу. Она узнала суету міра и злополучіе страстей! Сердце ея, для свѣта охладѣвшее, пылаетъ предъ алтаремъ Всевышняго. Не муки адскія ужасаютъ Магдалину, но мысль, что она недостойна любви Того, Кто любимъ ею столь ревностно и пламенно: любви Отца небеснаго—чувство нѣжное, однимъ прекраснымъ душамъ извѣстное! «Прости меня», говоритъ ея сердце, «прости меня», говоритъ ея взоръ... Ахъ! не только Богъ, совершенная благодѣтель, но и самые люди, рѣдко не жестоки, какихъ бы слабостей не простили такому искреннему, святому раскаянію?... Никогда я не думалъ, не воображалъ, чтобы картина могла быть столь краснорѣчива и трогательна. Чѣмъ болѣе смотрю на нее, тѣмъ глубже выикаю чувствомъ въ ея красоты. Все прелестно въ Магдалинѣ: лицо, станъ, руки, растрепанные волосы, служащіе покровомъ для лилейной груди; всего же прелестнѣе глаза, отъ слезъ покраснѣвшіе... Я видѣлъ много славныхъ произведеній живописи: хвалилъ, удивлялся искусству; но эту картину желалъ бы имѣть; *былъ бы счастливѣе съ нею*; однимъ словомъ, люблю ее! Она стояла бы въ моемъ уединенномъ кабинетѣ, всегда передъ моими глазами"... ¹⁶⁷).

Правда, чувствительность Карамзина нерѣдко льется черезъ край и далеко заводитъ его воображеніе; но мы не должны судить о ней, руководясь исключительно нашимъ вкусомъ: въ свое время она и правилась и имѣла, какъ уже знаемъ, большое значеніе.

Не смотря на то, что „Письма р. путешественника“ далеко нельзя назвать вполне оригинальными, такъ какъ помимо того, что авторъ ихъ пользовался различными „справочными книгами“ (см. гл. VII, 1), самое настроеніе его и слогъ, которымъ оно выражено, во многихъ случаяхъ напоминаютъ то то, то другое сен-

timentальное произведеніе западно-европейской литературы.—не смотря на все это, чувства автора „Писемъ“ все-таки не поддѣлка, не умышленное подражаніе, а дѣйствительныя чувства его собственной души. Когда онъ является передъ нами то Карамзинымъ - Руссо, то Карамзинымъ - Галлеромъ или Карамзинымъ - Юнгомъ и т. д.,—онъ является таковымъ потому, что въ данную минуту онъ на самомъ дѣлѣ *переживалъ* тѣ же чувства, которыя переживали Руссо, Галлеръ, Юнгъ, и т. д. Поэтому Карамзинъ имѣлъ право сказать о своихъ „Письмахъ“: „вотъ *зеркало души* моей въ теченіе осьмнадцати мѣсяцевъ! Оно черезъ 20 лѣтъ будетъ для меня еще пріятно... Загляну—и увижу, каковъ я былъ, какъ думалъ и мечталъ“ ¹⁶⁸).

7. „Письма русскаго путешественника“, какъ литературная новость своего времени.

Въ „Письмахъ р. путешественника“ есть многое, къ чему критика можетъ относиться отрицательно, и что объясняется излишней чувствительностью ихъ автора и его оптимистическими увлеченіями. Но, не смотря на это, „Письма“ Карамзина были въ свое время выдающеюся литературной новостью. Автору „Писемъ“ вѣняется въ заслугу то обстоятельство, что онъ въ нихъ далъ современному ему русскому читателю такъ много образовательнаго матеріала, что въ этомъ отношеніи съ ними не могло равняться ни одно произведеніе нашей литературы конца XVIII-го вѣка ¹⁶⁹). Произведеніе, отличающееся такою чертою было, конечно, ужъ само по себѣ замѣчательной новостью. Но вмѣстѣ съ тѣмъ новыми были и тѣ приемы, которыми авторъ „Писемъ“ обусловилъ успѣхъ ихъ. „Письма“ эти были чтеніемъ не только серьезнымъ, но и увлекательнымъ. Последняя черта ихъ, при маломъ еще тогда распространеніи въ нашемъ обществѣ охоты къ чтенію, была очень важна: она, такъ сказать, приманивала читателя. Увлекательными эти „Письма“ дѣлались, съ одной стороны, новымъ и изящнымъ языкомъ ихъ, который всего приличнѣе назвать языкомъ сердца, и о которомъ мы должны судить опять-таки не по тому, какое впечатлѣніе производитъ онъ теперь на насъ, а по тому, какое обаяніе имѣлъ онъ на огромное большинство современниковъ Карамзина; съ другой стороны, увлекала читателя легкость и художественность изложенія и чрезвычайно разнообразное содержаніе „Писемъ р. путешественника“. Они гораздо живѣе, художественнѣе и разнообразнѣе заграничныхъ писемъ Фонвизина. Разнообразя свое описаніе вѣнныя и внутренней жизни запад-
но-европейскихъ городовъ, онъ въ то же время описываетъ и внутреннюю жизнь русскаго общества того времени.

ной Европы то исторической замѣткой, то какимъ-либо рассказомъ или легендой [какъ напр. рассказомъ о графѣ Глейхенѣ, его супругѣ и сарацинкѣ ¹⁷⁰⁾ или легендой о влюбленномъ монахѣ ¹⁷¹⁾], то забавнымъ происшествіемъ или анекдотомъ, то стихотвореніемъ, то описаніемъ картины природы,—Карамзинъ умѣлъ гораздо искуснѣе сочетать серьезное съ легкимъ, при чемъ и самый сентиментализмъ его служилъ болѣе благодарнымъ фономъ для отраженія разнообразныхъ движеній чувства, чѣмъ однообразный сатирическій фонъ въ письмахъ Фонвизина. Наконецъ новостью для своего времени были и художественныя описанія картинъ природы. Эти описанія долго считались образцовыми и помѣщались въ школьныя христоматіи, гдѣ имъ удѣляютъ нѣкоторое мѣсто еще и въ наши дни.

Успѣхъ разсмотрѣнной нами литературной новинки подтверждается уже тѣмъ, что въ 1797 г. Карамзинъ приступилъ къ отдѣльному изданію своихъ „Писемъ“, а въ 1799 г. они стали переводиться на нѣмецкій языкъ ¹⁷²⁾. X

VIII. Повѣсти.

Въ періодъ времени отъ возвращенія изъ-за границы до наступленія Александровской эпохи Карамзинъ написалъ нѣсколько повѣстей, изъ которыхъ первою появилась „Бѣдная Лиза“ (1792); за нею слѣдовали: „Наталья, боярская дочь“ (1792), „Островъ Борнгольмъ“ (1793) и „Юлія“ (1796). Повѣстямъ этимъ предшествовалъ небольшой рассказъ: „Фроль Силинъ, благодѣтельный человѣкъ“ (1791).

«Фроль Силинъ».

Въ рассказчикѣ не трудно узнать автора „Писемъ р. путешественника“, сказавшаго въ одномъ изъ нихъ: „Одинъ взглядъ на добраго есть счастье для того, въ комъ не загроубѣло чувство добра“ ¹⁷³⁾. Слова эти могли бы служить вполне соотвѣтствующимъ эпиграфомъ къ рассказу, въ которомъ съ такимъ сочувствіемъ повѣствуется о томъ, какъ въ страшный голодный годъ, когда Карамзинъ „былъ еще ребенкомъ, но умѣлъ уже чувствовать, какъ большой человѣкъ, и страдалъ, видя страданіе своихъ ближнихъ“, Фроль Силинъ, трудолюбивый и запасливый крестьянинъ одной Симбирской деревни, сосѣдней съ Михайловкой, раздавалъ даромъ хлѣбъ бѣднѣйшимъ жителямъ; какъ онъ два раза помогъ погорѣльцамъ деньгами и своимъ имуществомъ, и какъ наконецъ, выкупивъ у помѣщика двухъ дѣвокъ, выдалъ замужъ

съ хорошимъ приданымъ. Добродѣтель. Фрола сильно тронула сердце Карамзина — и онъ заканчиваетъ свой разсказъ такими словами:

„Если ты еще не оставилъ насъ, другъ человѣчества, и не переселился въ міръ, тебя достойнѣйшій, въ міръ ангельскій, гдѣ рука Милости поставитъ тебя выше многихъ царей земныхъ, — то, конечно, и теперь благотворишь ты ближнему, и возвышаешь небесный санъ свой! ¹⁷⁴⁾ По особливому случаю и въ отдаленіи узнать я дѣла твои; живя близъ тебя, я не зналъ ихъ. Когда буду въ мѣстахъ, тобою украшаемыхъ, то съ благоговѣніемъ приближусь къ твоей хижинѣ, и поклонюсь добродѣтели въ лицѣ твоёмъ. Но если не найду тебя живого, то велю проводить себя ко гробу твоему, и на безчувственную землю пролью слезу чувствительности; сыщу бѣлый камень, положу его на твою могилу, и собственною рукою вырѣжу на немъ слова сіи: „Здѣсь поконится прахъ благодѣтельнаго человѣка“.

„Славнѣйшая нація въ Европѣ посвятила великолѣпный храмъ *) мужамъ великимъ, мужамъ, которые удивляли насъ своими дарованіями. Съ покрытою головою не пройду я мимо сего мѣста; но безъ слезъ сердечныхъ не прошелъ бы я мимо храма, посвященнаго добрымъ геніямъ человѣчества—и въ семъ храмѣ надлежало бы соорудить памятникъ Фролу Силину“.

Разсказъ относится къ области чувствительнаго и замѣчательнѣе тѣмъ, что героемъ его является простолюдинъ, на что авторъ и обращаетъ вниманіе читателя, начавши такимъ вступленіемъ: „Пусть Виргиліи прославляютъ Августовъ! Пусть красно-рѣчивые льстены хвалятъ великодушіе знатныхъ! Я хочу хвалить Фрола Силина, простого поселянина, и хвала моя будетъ состоять въ описаніи дѣлъ его, мнѣ извѣстныхъ“.

Упустивъ изъ виду, что авторъ этого разсказа имѣлъ въ виду не столько изобразить своего героя, сколько указать свое отношеніе къ нему, одинъ ужъ слишкомъ горячій критикъ Карамзина ¹⁷⁵⁾ приложилъ къ этому крошечному разсказу ту мѣрку, которою онъ оцѣниваетъ западно-европейскую такъ называемую мѣщанскую драму, и упрекнулъ Карамзина въ томъ, что его Фролъ Силинъ „ни единою чертою не напоминаетъ буржуазныхъ и демократическихъ героевъ“ упомянутой драмы. Но надо замѣ-

*) Въ Лондонѣ, въ Вестминстерскомъ Аббатствѣ, поставлены монументы многимъ славнымъ англійскимъ авторамъ. (Примѣч. Карам.). Эти монументы описаны Карамзинымъ въ письмѣ изъ Лондона подъ заглавіемъ: „Вестминстерское Аббатство“.

титъ, что „Фролъ Силшъ“, не смотря на отсутствіе въ немъ художественности разсказа, все-таки далеко не былъ лишенъ значенія у насъ въ такое время, когда Простакова могла говорить о больной крѣпостной дѣвкѣ: „Лежитъ! Ахъ, она бестія! Лежитъ! Какъ будто благородная!... Бредитъ, бестія! Какъ будто благородная!“ и когда Крыловъ въ 1792 г. печаталъ въ „Зрителѣ“ свою „Похвальную рѣчь въ память моему дѣдушкѣ“, въ которой авторъ говоритъ съ ироніей: „Сколько ни бредятъ философы, что, по родословной всего свѣта, мы братья, и сколько ни твердятъ, что всѣ мы дѣти одного Адама, но благородный человѣкъ долженъ стыдиться такой философій, и если уже необходимо надобно, чтобъ наши слуги происходили отъ Адама, то мы лучше согласимся признать нашимъ праотцемъ осла, нежели быть равнаго съ ними происхожденія. Ничто такъ человѣка не возвышаетъ, какъ благородное происхожденіе: это первое его достоинство“. Въ такое время поклониться добродѣтели въ лицѣ простого крестьянина и напомнить, что рука Милости поставитъ его за добродѣтель выше многихъ царей земныхъ, значило учить уважать человѣка не по соціальному его положенію, а по его внутреннему достоинству. Самый сентиментальный тонъ разсказа, непривычный для нашего уха, въ свое время только усиливалъ впечатлѣніе отъ него.

«Бѣдная Лиза».

Къ простонародному же быту обращается Карамзинъ и въ „Бѣдной Лизѣ“, но вмѣстѣ съ тѣмъ выводитъ и типъ изъ такъ называемаго образованнаго общества. Сюжетъ этой повѣсти, какъ извѣстно, простъ, не сложенъ. Молодой человѣкъ, по имени Эрастъ, встрѣтившись на одной изъ улицъ Москвы съ красивой семнадцатилѣтней крестьянской дѣвушкой—Лизой, влюбляется въ нее. Лиза также влюбляется въ „ласковаго и пригожаго“ барина. Нѣсколько недѣль длятся ихъ свиданія въ затишьи окрестностей Симонова монастыря, близъ котораго и жила Лиза съ своей старушкой матерью, кормя ее и себя своими трудами. Молодые люди счастливы взаимной искренней любовью — и Эрастъ обѣщаетъ Лизѣ жениться на ней. Въ эту минуту его любовь, доселѣ платоническая, перестаетъ быть таковою, послѣ чего у Эраста скоро наступаетъ періодъ охлажденія, и исторія любви кончается тѣмъ, что Эрастъ отталкиваетъ Лизу, женится на другой, а несчастная, удрученная горемъ дѣвушка бросается въ прудъ и гибнетъ.

Повѣсть эта напоминаетъ Ричардсонову „Клариссу“ въ томъ

отношеній, что героиня ея, какъ и Кларисса, принадлежитъ къ числу „униженныхъ и оскорбленныхъ“. Но надо сказать, что съ женой „Бѣдой Лизы“ еще проще, обыкновеннѣе сюжета Ричардсона романъ.

Разсмотримъ героя въ этой повѣсти, и начнемъ съ Эраста. Авторъ говоритъ о немъ слѣдующее:

„Эрастъ былъ довольно богатый дворянинъ, съ изряднымъ разумомъ и добрымъ сердцемъ, добрымъ отъ природы, но слабымъ и вѣтреннымъ. Онъ велъ разсѣянную жизнь, думалъ только о своемъ удовольствіи, искалъ его въ свѣтскихъ забавахъ, но часто не находилъ: скучалъ и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрѣчѣ сдѣлала впечатлѣніе въ его сердце. Онъ читалъ романы, идилліи, имѣлъ живое воображеніе, и часто переселялся мысленно въ тѣ времена (бывшія или не бывшія), въ которыя, если вѣрить стихотворцамъ, все люди безнечю гуляли по лугамъ, купались въ чистыхъ источникахъ, цѣловались, какъ голубицы, отдыхали подъ розами и миртами, и въ счастливой праздности все дни свои провожали. Ему казалось, что онъ нашелъ въ Лизѣ то, чего сердце его давно искало. «Натура призываетъ меня въ свои объятія, къ чистымъ своимъ радостямъ», думалъ онъ, и рѣшился—но крайней мѣрѣ на время—оставить большой свѣтъ“. Вотъ обстоятельства, объясняющія вполне искреннія отношенія Эраста къ Лизѣ. Онъ „восхищался своей настижкой — такъ называть Лизу — и, видя, сколько она любитъ его, казался самъ себѣ любезнѣе. Все блестящія забавы большого свѣта представлялись ему ничтожными въ сравненіи съ тѣми удовольствіями, которыми *счастливая дружба* невинной души питала сердце его. Съ отвращеніемъ помышлялъ онъ о презрительномъ сладострастіи, которымъ прежде унижались его чувства. „«Я буду жить съ Лизой, какъ братъ съ сестрою (думалъ онъ): не употреблю во зло любви ея, и буду всегда счастливъ»“. Эти слова Эраста вызываютъ такое обращеніе къ нему автора: „Безразсудный молодой человѣкъ! знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвѣчать за свои движенія? Всегда ли разсудокъ есть царь чувствъ твоихъ?“ И действительно у слабовольнаго и легкомысленнаго Эраста разсудокъ не могъ быть всегда царемъ чувствъ его: узнавъ, что за Лизу сватаются, онъ, совершенно неожиданно для самого себя, даетъ обѣщаніе на ней жениться, не смотря на то, что Лиза напоминаетъ ему о неравенствѣ ихъ положеній,—и обѣщаніе это было тоже искреннимъ. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ авторъ: „Однажды ввечеру Эрастъ долго ждалъ своей

Лизы. Наконецъ пришла она, но такъ невесела, что онъ испугался; глаза ея отъ слезъ покраснѣли. «Лиза, Лиза! что съ тобою случилось?»—Ахъ, Эрастъ! я плакала.—«О чемъ? Что такое?»—Я должна сказать тебѣ все. За меня сватается женихъ, сынъ богатаго крестьянина изъ сосѣдней деревни; матушка хочетъ, чтобы я за него вышла.—«И ты соглашаешься?»—Жестокій! можешь ли объ этомъ спрашивать? Да мнѣ жаль матушки; она плачетъ и говоритъ, что я не хочу ея спокойствія; что она будетъ мучиться при смерти, если не выдастъ меня при себѣ замужъ. Ахъ! матушка не знаетъ, что у меня есть такой милый другъ!—Эрастъ цѣловалъ Лизу; говорилъ, что ея счастье дороже ему всего на свѣтѣ; что по смерти матери онъ возьметъ ее къ себѣ, и будетъ жить съ нею неразлучно, въ деревнѣ и въ дремучихъ лѣсахъ, какъ въ раю. — «Однакожъ тебѣ нельзя быть моимъ мужемъ!» сказала Лиза съ тихимъ вздохомъ—Но почему же?—«Я крестьянка».—Ты обижаетъ меня. Для твоего друга важнѣе всего душа чувствительная, невинная душа—и Лиза будетъ всегда ближайшая къ моему сердцу.—Она бросилась въ его объятія — и любовь ихъ перестала быть платоническою. После этого „какъ все переменялось! Эрастъ не могъ уже доволенъ быть однимъ невинными ласками своей Лизы... Онъ желалъ больше, больше, и наконецъ ничего желать не могъ—а кто знаетъ сердце свое, кто размышлялъ о свойствѣхъ нѣжнѣйшихъ его удовольствій, тотъ, конечно, согласится со мною, что исполненіе *всѣхъ* желаній есть самое опасное искушеніе любви. Лиза не была уже для Эраста симъ ангеломъ непорочности, который прежде воспалялъ его воображеніе и восхищалъ душу. Платоническая любовь уступила мѣсто такимъ чувствамъ, которыми онъ не могъ *гордиться*, и которыя были для него уже не новы“. Началось охлажденіе. Иногда, прощаясь съ Лизой, Эрастъ говорилъ ей: „Завтра, Лиза, не могу съ тобою видѣться: мнѣ встрѣтилось важное дѣло“. Наступившія затѣмъ обстоятельства направили стремленія Эраста совсѣмъ въ иную сторону. Пять дней сряду не приходилъ онъ къ Лизѣ; „въ шестой пришелъ онъ съ печальнымъ лицомъ и сказалъ ей: „«Любезная Лиза! мнѣ должно на нѣсколько времени съ тобою проститься. Ты знаешь, что у насъ война; я въ службѣ; полкъ мой идетъ въ походъ»“. Эрастъ не обманывалъ: „онъ въ самомъ дѣлѣ былъ въ арміи; но вмѣсто того, чтобы сражаться съ неприятелемъ, игралъ въ карты—и проигралъ почти все свое имѣніе. Скоро заключили миръ, и Эрастъ возвратился въ Москву, отягченный долгами. Ему оставался одинъ способъ поправить

свои обстоятельства—жениться на пожилой богатой вдовѣ, которая давно была влюблена въ него“. На это онъ и рѣшился — и своимъ поступкомъ обусловить гибель Лизы.

Лиза погибла—но и „Эрастъ былъ до конца жизни своей несчастливъ“, говоритъ авторъ, и заканчиваетъ свою повѣсть такими словами: „Узнавъ о судьбѣ Лизинной, онъ не могъ утѣшиться, и почиталъ себя убійцею. Я познакомился съ нимъ за годъ до его смерти. Онъ самъ разсказалъ мнѣ сію исторію и привелъ меня къ Лизинной могилѣ.—Теперь, можетъ быть, они уже помирились!“

Вѣрно изображенный въ психологическомъ отношеніи, какъ одинъ изъ типовъ слабовольныхъ и легкомысленныхъ людей, Эрастъ не противорѣчитъ и исторической правдѣ. Онъ, говоритъ Галаховъ,¹⁷⁶⁾ „легко могъ встрѣчаться въ кругу тогдашней молодежи“, разумеется, той, которая, благодаря крѣпостному праву, могла вести безнечную жизнь, думая лишь объ удовольствіяхъ среди „большого свѣта“. А самъ Карамзинъ въ одной изъ статей своихъ въ „Вѣстникѣ Европы“ даже жаловался на то, что въ современномъ ему обществѣ онъ вообще мало находилъ *характеровъ*, и молодого человека „съ рѣшительнымъ образомъ мыслей“ считалъ „явленіемъ рѣдкимъ“¹⁷⁷⁾. Что Эрастъ считался романовъ и идиллій—также не представляетъ ничего невѣроятнаго. Естественнымъ слѣдствіемъ вліянія идиллій, конечно, могло быть и то, что онъ „часто переселялся мысленно“ въ счастливыя первобытныя времена, какъ иногда дѣлалъ это и самъ нашъ писатель. Но замѣтимъ мимоходомъ, что объ этихъ переселеніяхъ, равно какъ и о первобытномъ счастьи, авторъ повѣсти отзывается съ нѣкоторой прозіей, и въ строкахъ, сюда относящихся, ужъ не тотъ тонъ, который звучитъ въ письмѣ съ долины Гасли и въ пьескѣ: „Невинность“.

Теперь перейдемъ къ Лизѣ. Въ общихъ психологическихъ чертахъ и ея личность изображена вполне правдоподобно: семнадцатилѣтняя крестьянка могла полюбить „ласковаго и пригожаго“ барина, который такъ нѣжно съ нею обращался; понятень и пылъ ея первой любви, понятна и довѣрчивость ея неопытнаго сердца, понятно и то отчаяніе, которое овладѣло ею, когда она увидѣла себя отвергнутою. Но образъ Лизы, вѣрный и понятный въ общечеловѣческомъ смыслѣ, невѣренъ, какъ образъ русской крестьянки. Ея нѣкоторыя мысли и чувства и въ особенности способъ ихъ выраженія могли принадлежать лишь дѣвушкамъ изъ образованной среды, дѣвушкамъ, читавшей сентиментальныя романы

и умѣвшей выражаться въ духѣ этихъ романовъ. Такъ, напримеръ, несвойственны простой крестьянкѣ слѣдующія рѣчи Лизы: 1) „Если бы тотъ, кто занимаетъ теперь мысли мои, рожденъ былъ простымъ крестьяниномъ, пастухомъ, — и если бы онъ теперь мимо меня гналъ стадо свое: ахъ! я поклонилась бы ему съ улыбкою и сказала бы привѣтливо: «Здравствуй, любезный пастушокъ! куда гонишь ты стадо свое? И здѣсь растетъ зеленая трава для овецъ твоихъ; и здѣсь алѣютъ цвѣты, изъ которыхъ можно сплести вѣнокъ для шляпы твоей». Онъ взглянулъ бы на меня съ видомъ ласковымъ, взялъ бы, можетъ быть, руку мою... Мечта!“ 2) „Когда ты, — говорила Лиза Эрасту, — когда ты скажешь: «Люблю тебя, другъ мой!» когда прижмешь меня къ твоему сердцу и взглянешь на меня умилыми своими глазами: ахъ! тогда бываетъ мнѣ такъ хорошо, такъ хорошо, что я себя забываю, забываю все, кромѣ—Эраста. Чудно, чудно, мой другъ, что я, не зная тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мнѣ это не понятно“.

Неестественно чувствительна для крестьянки и мать Лизы, и неестественны въ устахъ ея такія слова: „Ахъ! Лиза!... какъ все хорошо у Господа Бога! Шестой десятокъ доживаю на свѣтѣ, а все еще не могу наглядѣться на дѣла Господни; не могу наглядѣться на чистое небо, похожее на высокій шатеръ, и на землю, которая всякій годъ новою травою и новыми цвѣтами покрывается. Надобно, чтобы Царь небесный очень любилъ человѣка, когда онъ такъ хорошо убралъ для него здѣшній свѣтъ. Ахъ, Лиза! кто бы захотѣлъ умереть, если бы иногда не было намъ горя?... Видно, такъ надобно. Можетъ быть, мы забыли бы душу свою, если бы изъ глазъ нашихъ никогда слезы не капали“.

Подобное нарушеніе жизненной правды въ изображеніи типовъ есть явленіе—съ нашей точки зрѣнія—антихудожественное, и не только теперь, но и во время Бѣлинскаго, какъ онъ замѣтилъ, никто не сталъ бы читать „Бѣдной Лизы“ для эстетическаго наслажденія. Но современники Карамзина отнеслись къ его повѣсти иначе: мало того, что она понравилась имъ: она просто овладѣла ихъ сердцами. „Симоновъ монастырь съ его окрестностями, гдѣ жила Лиза, сдѣлался любимымъ мѣстомъ для sentimentальныхъ прогулокъ. Посѣтители и посѣтительницы, гуляя по берегамъ пруда, въ который съ тоски и отчаянія бросилась героиня, мечтали о несчастной судьбѣ ея и вырѣзывали начальную букву ея имени на прибрежныхъ березахъ. Одни ставили себя

на мѣстѣ Эраста, другіе страшились быть обманутыми въ любви. Стихотворцы славили автора, или сочиняли элегіи «къ праху бѣдной Лизы». А сколько слезъ было пролито при чтеніи повѣсти! сколько подражаній ей написано! Одинъ изъ журналовъ замѣтилъ, что, увлекаясь Карамзинымъ, наши авторы не оставили ни одного монастыря въ покоѣ. Бѣдная Лиза стала забываться только съ того времени, какъ явилась Людмила Жуковскаго (1808)¹⁷⁸).

Такой необычайный успѣхъ „Бѣдной Лизы“ объясняется прежде всего тѣмъ, что современники Карамзина, еще не ставшіе въ порокъ нѣкоторые антихудожественныя погрѣшности повѣсти, захвачены были общечеловѣческимъ интересомъ ея сюжета, ея близостью къ обыкновенной жизни и ея чувствительнымъ тономъ. Послѣдній вѣдь тоже игралъ важную роль. Такъ, напримѣръ, сильно должно было дѣйствовать на читателей слѣдующее выраженіе сочувствія автора своей несчастной героинѣ: описавъ, какъ Лиза была отвергнута Эрастомъ, авторъ говоритъ: „Сердце мое обливается кровію въ сію минуту. Я забываю челоѣка въ Эрастѣ—готовъ проклинать его—смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ахъ! для чего пишу не романъ, а печальную быль?“ Затѣмъ надо сказать, что „Бѣдная Лиза“ была въ свое время въ нѣкоторомъ отношеніи новостью. Повѣстей и романовъ съ такимъ жизненнымъ и захватывающимъ сюжетомъ и съ такимъ чувствительнымъ тономъ было у насъ тогда еще немного, а оригинальнаго между ними, если не считать ученической еще повѣсти Карамзина: „Евгеній и Юлія“, и ничего не было. Это были или переводы иностранныхъ сентиментальныхъ произведеній, или подражанія имъ. Бѣдная же Лиза была взята изъ русской жизни, и если современники Карамзина легко относились къ погрѣшностямъ въ изображеніи типовъ, то изъ того еще не слѣдуетъ, что на нихъ не дѣйствовала пріятно самая принадлежность сюжета къ русской жизни. Наконецъ Гротъ указываетъ еще одну причину успѣха—впрочемъ не только „Бѣдной Лизы“, но и вообще всѣхъ повѣстей Карамзина: авторъ ихъ, — говоритъ онъ,—„обладалъ въ высшей степени даромъ пластическаго употребленія языка“¹⁷⁹).

Бѣлинскій, не приписывая „Бѣдной Лизѣ“ художественнаго значенія, признавалъ за ней большое значеніе историческое, которое и оцѣнилъ такими словами: „Она всегда сохранится въ исторіи русской литературы и общественнаго образованія, какъ важный памятникъ, какъ дѣло ума челоѣка необыкновеннаго, потому что она была первымъ произведеніемъ на русскомъ языкѣ,

которое убѣдило тогдашнее полуфранцузское общество, что у русскаго человѣка можетъ быть и душа, и сердце, и умъ, и талантъ, и что русскій языкъ не совсѣмъ варварскій, но имѣетъ свою способность къ выраженію нѣжныхъ чувствованій, свою прелесть, легкость и гибкость“¹⁸⁰).

Прибавимъ къ этому еще и смягчающее вліяніе повѣсти: она будила въ читателяхъ филантропическія чувства.

«Наталья, боярская дочь».

Повѣсть эта также взята изъ области чувствительнаго, также изъ русской жизни, но замѣчательна тѣмъ, что взята не изъ современности, а изъ быта Руси еще до-Петровской. Сюжетъ ея слѣдующій. Въ бѣлокаменной Москвѣ, при царѣ Алексѣѣ, жила въ своемъ теремѣ красавица Наталья, дочь богатаго боярина Матвѣя Андреевича. Жила она, по старинному обычаю, замкнутою жизнью, видя чужихъ людей только въ церкви, куда она и ходила ежедневно. Пришла семнадцатая весна ея жизни—и Наталья почувствовала „потребность любить“. Эта потребность, оставаясь неудовлетворенной, томила ее, пока въ наступившую зиму не увидѣла она въ церкви „прекраснаго молодого человѣка, въ голубомъ кафтанѣ съ золотыми пуговицами“, стоявшаго тамъ, „какъ царь среди всѣхъ прочихъ людей“. Взоры ихъ встрѣтились, и они оба влюбились другъ въ друга. Молодой человѣкъ, Алексѣй Любославскій, будучи сыномъ опальнаго боярина, не могъ рассчитывать на согласіе Матвѣя отдать свою дочь за того, кто не имѣлъ даже права быть въ Москвѣ и являлся туда лишь украдкой,—и потому рѣшился увезти красавицу тихонько. При помощи падкой на золото Натальиной няни состоялось свиданье влюбленныхъ—и Наталья на побѣгъ согласилась. Обвѣнчавшись въ одной изъ загородныхъ церквей, молодые супруги поселились въ глухомъ лѣсу, недалеко отъ Москвы. Они зажили счастливо, и только по временамъ смущала Наталью мысль объ оставленномъ отцѣ, который сильно горевалъ по дочери, открытъ свое горе царю—и разгнѣванный государь велѣлъ всюду разыскивать похитителя; но поиски были напрасны. Между тѣмъ зима прошла, и наступившая весна принесла съ собою для Алексѣя возможность снять съ себя опалу и примириться съ отцомъ Натальи. Однажды посланный въ Москву, чтобы навѣдаться о бояринѣ Матвѣѣ, — что дѣлалось по просьбѣ Натальи довольно часто, — возвратился съ вѣстью, что Москва въ смятеніи, такъ какъ свирѣпыя литовцы возетали на русское царство. Алексѣй захотѣлъ

воспользоваться случаемъ заслужить царскую милость — и присоединился къ московской ратн. Наталья, переодевшись воиномъ, послѣдовала за нимъ. Враги были разбиты, и честь побѣды принадлежала Алексѣю. Царь обласкалъ побѣдителя, а старецъ Матвѣй прижалъ къ своему сердцу обоихъ дѣтей своихъ—Наталью и Алексѣя.

Повѣсть эта, въ которой романическій сюжетъ вставленъ въ историческую рамку, не можетъ назваться „исторической“ въ томъ смыслѣ, какъ теперь понимаютъ этотъ терминъ. Историческая повѣсть есть поэтическое, но вѣрное воспроизведеніе извѣстной эпохи. У Карамзина же, правда, сохранены нѣкоторыя черты древне-русской жизни, но есть и значительныя погрѣшности противъ исторической вѣрности. Уже одно появленіе Натальи на войнѣ дѣлаетъ ее похожей скорѣе на Іоанну д'Аркъ, чѣмъ на москвитянку XVII вѣка, никогда не выходившую за предѣлы домашней жизни. Но не одна Наталья, а и Алексѣй, и бояринъ Матвѣй, и другія лица повѣсти слишкомъ удалены отъ своей эпохи той чувствительностью, которою надѣлилъ ихъ авторъ и тѣмъ самымъ приблизилъ къ себѣ и своимъ современникамъ. Но самое замѣчательное въ разсматриваемомъ произведеніи Карамзина—это его сочувственное отношеніе къ тѣмъ временамъ, когда „русскіе были русскими“, сочувственное отношеніе его къ „браатымъ предкамъ“, у которыхъ онъ находитъ много свѣтлыхъ чертъ, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже противопоставляетъ ихъ своимъ современникамъ, съ очевидной невыгодой для послѣднихъ. Такъ, во вступленіи къ повѣсти читаемъ:

„Кто изъ насъ не любитъ тѣхъ временъ, когда русскіе были русскими; когда они въ собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ по своему сердцу, т.-е. говорили, какъ думали? По крайней мѣрѣ я люблю сн времена, люблю на быстрыхъ крыльяхъ воображенія летать въ ихъ отдаленную мрачность, подъ сѣнію давно-истлѣвшихъ вязовъ искать браатыхъ моихъ предковъ, бесѣдовать съ ними о приключеніяхъ древности, о характерѣ славнаго народа русскаго, и съ нѣжностію цѣловать ручки у моихъ прабабушекъ, которыя не могутъ насмотрѣться на своего почтительнаго правнука, не могутъ наговориться со мною, удивиться моему разуму, потому что я, разсуждая съ ними о старыхъ и новыхъ модахъ, всегда отдаю преимущество ихъ подкашамъ и шубейкамъ передъ пылкими *bonnets à la...* и всѣми галло-албіонскими нарядами, блистающими на московскихъ красавицахъ въ концѣ осьмогонадесять вѣка“.

Затѣмъ сочувственное отношеніе къ древней Руси видимъ и въ самомъ разсказѣ, въ самомъ изображеніи характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Въ этихъ лицахъ Карамзинъ, очевидно, хотѣлъ изобразить все то, что ему представлялось свѣтлымъ въ древнерусскомъ человѣкѣ. Но къ изображенію этому онъ прибавилъ отъ себя и то, что ему такъ нравилось, что входило необходимою чертою въ его идеаль челоуѣка: чувствительность. Вотъ его герои.

Бояринъ Матвѣй былъ „человѣкъ умный, вѣрный слуга царскій и, по обычаю русскихъ, великій хлѣбосоль. Онъ владѣлъ многими помѣстьями, и былъ не обидчикомъ, а покровителемъ и заступникомъ своихъ бѣдныхъ сосѣдей, *чему въ наши просвѣщенные времена, можетъ быть, не всякій повѣритъ, но что въ старину совсѣмъ не почиталось рѣдкостію*. Царь называлъ его правымъ глазомъ своимъ, и правый глазъ никогда царя не обманывалъ. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, онъ призывалъ къ себѣ въ помощь боярина Матвѣя, и бояринъ Матвѣй, кладя чистую руку на чистое сердце, говорилъ: «Сей правъ (не по такому-то указу, состоявшемуся въ такомъ-то году, но) по моей совѣсти; сей виновенъ по моей совѣсти» — и совѣсть его была всегда согласна съ правдою и совѣстью царскою!» — „Еще не можемъ мы умолчать объ одномъ похвальномъ обыкновеніи боярина Матвѣя, обыкновеніи, которое *достойно подражанія во всякомъ вѣкѣ и во всякомъ царствѣ*, а именно: въ каждый дванадесятый праздникъ поставлялись длинные столы въ его горницахъ, чистыми скатертьми накрытые, и бояринъ, сидя на лавкѣ подлѣ высокихъ воротъ своихъ, звалъ къ себѣ обѣдать всѣхъ мимоходящихъ бѣдныхъ людей, сколько ихъ могло помѣститься въ жилищѣ боярскомъ; потомъ, собравъ полное число, возвращался въ домъ и, указавъ мѣсто каждому гостю, садился самъ между ними. Тутъ въ одну минуту являлись на столахъ чаши и блюда, и ароматическій паръ горячаго кушанья, какъ бѣлое тонкое облако, виселъ надъ головами обѣдающихъ. Между тѣмъ хозяинъ ласково бесѣдовалъ съ гостями, узнавалъ ихъ нужды, подавалъ имъ хорошіе совѣты, предлагалъ свои услуги, и наконецъ веселился съ ними, какъ съ друзьями. Такъ въ древнія патріархальныя времена, когда вѣкъ челоуѣческій былъ не столь кратокъ, почтенными сѣдинами украшенный старецъ насыщался земными благами со многочисленнымъ своимъ семействомъ—смотрѣлъ вокругъ себя, и, видя на всякомъ лицѣ, во всякомъ взорѣ живое изображеніе любви и радости, восхищался въ душѣ своей. Послѣ обѣда всѣ немущіе братья.

наполнивъ виномъ свои чарки, восклицали въ одинъ голосъ: «Добрый, добрый бояринъ и отецъ нашъ! мы пьемъ за твое здорье! Сколько капель въ нашихъ чаркахъ, столько лѣтъ живи благополучно!» Они пили, и благодарныя слезы ихъ капали на бѣлую скатерть. Таковъ былъ бояринъ Матвѣй, вѣрный слуга царскій, вѣрный другъ человѣчества».

Если въ представленномъ образѣ Матвѣя ослабить его слишкомъ мягкую чувствительность, онъ могъ бы служить типомъ древне-русскаго хлѣбосольнаго и добродушнаго боярина. Точно также онъ могъ бы служить и типомъ стариннаго любящаго отца и мужа, если бы въ уста его не было вложено авторомъ сентиментальное выраженіе его чувствованій, и если бы вообще онъ не былъ описанъ черезчуръ чувствительнымъ. Вотъ что узнаемъ мы отъ Карамзина о Матвѣѣ, какъ отцѣ и мужѣ. Онъ давно оплакалъ жену свою, „но кипарисы супружеской любви покрылись цвѣтами любви родительской: въ юной Натальѣ увидѣлъ онъ образъ умершей, и, вмѣсто горькихъ слезъ печали, возсіяли на глазахъ его сладкія слезы нѣжности“. — „Старецъ плакалъ отъ радости, видя, что дочь его день ото дня становилась лучше и милѣе, и не зналъ, какъ благодарить Бога за такой неоцѣненный даръ, за такое сокровище“. Когда обнаружилось бѣгство Натальи, волненіе боярина проявилось тѣмъ, что „дражащія ноги его подогнулись—онъ упалъ на землю. Нѣсколько минутъ продолжалось его безпамятство. Образумившись, приказалъ онъ людямъ вести себя къ государю... Царь утѣшалъ боярина, какъ своего друга. Вздохи и слезы облегчили стѣсненную грудь несчастнаго родителя, и чувство гнѣва въ сердцѣ его уступило мѣсто нѣжной горести. «Богъ видитъ» — сказалъ онъ, взглянувъ на небо—«Богъ видитъ, какъ я любилъ тебя, неблагодарная, жестокая, милая Наталья!... Такъ, государь! она и теперь мила мнѣ болѣе всего на свѣтѣ!... Кто увезъ ее изъ родительскаго дому? Гдѣ она? Что съ нею дѣлается?... Ахъ! на старости лѣтъ моихъ я побѣждалъ бы за нею на край свѣта!... Можетъ быть, какой-нибудь злодѣй обольстилъ невинную и послѣ бросить, погубить ее... Я плачу: она не видитъ слезъ моихъ; умру: она не затворитъ глазъ отца, который полагалъ въ ней жизнь и душу свою»“ Когда же Наталья явилась наконецъ передъ нимъ, „изумленный, восхищенный родитель не смѣлъ вѣрить сему явленію: но сердце чувствительнаго старца сильнымъ трепетомъ своимъ увѣряло его, что милая нашлася. Долго не говорилъ онъ ни слова, опустивъ голову на плечо Натальѣ; наконецъ назвалъ ее именемъ..

назвалъ ее своею милою, прекрасною—и при каждомъ ласковомъ словѣ сіялъ новый лучъ радости на лицѣ его, которое такъ долго было печальнымъ“. Въмѣстѣ съ милою дочерью онъ прижалъ къ сердцу своему и Алексѣя.

Въ лицѣ Натальи авторъ хотѣлъ изобразить древне-русскую простую сердцемъ и любящую женщину, и что опять-таки замѣчательно, такъ это то, что поклонникъ западнаго просвѣщенія на этотъ разъ какъ бы не считаетъ его единственнымъ средствомъ, образующимъ „человѣка“. Онъ говоритъ: „прелестная Наталья имѣла прелестную душу, была нѣжна, какъ горлица, невинна, какъ агнецъ... однимъ словомъ—имѣла всѣ свойства благовоспитанной дѣвушки, хотя русскіе не читали тогда ни Локка о воспитаніи, ни Руссова Эмиля“.

Алексѣй, крайне бѣдно очерченный, какъ типъ своего времени, изображенъ главнымъ образомъ, какъ человѣкъ съ нѣжною душою, умѣвшій говорить „языкомъ истинной чувствительности“, а „не языкомъ романовъ“. Такое отгѣненіе чувствительности Алексѣя показываетъ, что и этотъ герой повѣсти долженъ былъ намекать на замѣченное авторомъ различіе между древне-русскими людьми и многими его современниками—и опять-таки не къ выгодѣ послѣднихъ.

Сопоставляя „Наталью, боярскую дочь“ какъ съ извѣстнымъ парижскимъ письмомъ Карамзина 1790 г., такъ и съ набросанными имъ въ 1798 г. „Мыслями для похвальнаго слова Петру I“, мы,—въ особенности, если вспомнить еще и то письмо русскаго путешественника, въ которомъ онъ упрекаетъ современное ему наше общество въ отсутствіи „народнаго самолюбія“, ¹⁸¹⁾ —необходимо приходимъ къ заключенію, что въ первые годы литературной дѣятельности въ Карамзинѣ бродили такіа противоположныя начала, какъ космополитизмъ и западничество—съ одной стороны и народничество—съ другой, и отношеніемъ его къ народности и древней Руси управляли, смотря по обстоятельствамъ, то идея общечеловѣчности и увлеченіе европейскимъ просвѣщеніемъ, то жившій въ немъ „русскій духъ“ и внушенное Новиковымъ чувство уваженія къ родной старинѣ. Причиной, вызвавшей проявленную въ повѣсти: „Наталья боярская дочь“ симпатію къ древней Руси, считаютъ то обстоятельство, что Карамзинъ уже въ 1792 г. началъ обращаться къ ней могло такъ же сильно увлечь при случаѣ увлекался онъ и въ набросанныхъ въ 1798 г. „Мысли

я дочь“ симпатію къ что Карамзинъ уже гаринѣ; а обращеніе къ извѣстную сторону, какъ противоположную. Но альнаго слова Петру I“

показываютъ, что вліяніе на Карамзина его историческихъ занятій въ тѣ годы еще не было глубокимъ. Иначе онъ не могъ бы то вооружаться противъ нашихъ „брадатыхъ предковъ“, то идеализировать ихъ, то снова нападать на нихъ.

Въ наше время нельзя наслаждаться и этой повѣстью, погрѣшающей противъ исторической правды; но современникамъ Карамзина она нравилась: она не захватывала ихъ такъ, какъ „Бѣдная Лиза“, но все же ихъ очень трогало чувствительное описаніе и одинокой жизни дѣвушки въ терему, и положенія покинутаго старика отца, и скрывающейся молодой четы, и наконецъ радостнаго свиданія отца съ дочерью. Кромѣ того, сочувственное отношеніе автора къ древней Руси и къ народности, невольно отзываясь и въ читателѣ, могло пробуждать національное чувство въ тогдашнемъ, какъ выразился Бѣлинскій, полуфранцузскомъ нашемъ обществѣ.

«Островъ Борнгольмъ».

Содержаніе и этой повѣсти взято изъ области чувствительнаго, но уже не изъ русской жизни. По словамъ автора, она есть рассказъ объ одномъ приключеніи его во время возвращенія изъ Англіи въ Россію. Корабль, на которомъ плылъ онъ, остановился въ Гревсендѣ. Выйдя погулять по морскому берегу, авторъ встрѣтилъ тамъ подъ столѣтнимъ вязомъ „молодого человѣка, худого, блѣднаго, томнаго—болѣе привидѣніе, нежели человѣка. Въ одной рукѣ держалъ онъ гитару, другою срывалъ листочки съ дерева, и смотрѣлъ на синее море неподвижными черными глазами своими, въ которыхъ сіялъ послѣдній лучъ угасающей жизни“. Повидимому, это былъ глубоко несчастный человѣкъ. „Онъ вздохнулъ, поднялъ глаза къ небу, опустилъ ихъ опять на волны морскія — отошелъ отъ дерева, сѣлъ на траву, заигралъ на своей гитарѣ печальную прелюдію, смотря безпрестанно на море, и запѣлъ тихимъ голосомъ слѣдующую пѣсню (на датскомъ языкѣ):

Законъ осуждаютъ
Предметъ моей любви;
Но кто, о сердце! можетъ
Противиться тебѣ?...”

Въ пѣснѣ упоминался островъ Борнгольмъ, отъ береговъ котораго несчастный былъ удаленъ „родительскою клятвой“. Корабль долженъ былъ отправляться далѣе, и автору повѣсти не удалось узнать тайны этого человѣка. Но когда корабль присталъ къ Борнгольму, авторъ, въ надеждѣ узнать что-нибудь о гревсенд-

скомъ незнакомцѣ, возбуждившемъ въ немъ сильное чувство состраданія, пробрался на островъ, увидѣлъ старый, мрачный замокъ, зашелъ въ него—и былъ ласково принятъ хозяиномъ, „почтеннымъ сѣдовласымъ старцемъ“. „Ты долженъ, молодой человѣкъ“,—сказать онъ автору, — „извѣстить меня о происшествіяхъ свѣта, мною оставленнаго, но еще не совсѣмъ забытаго. Давно живу я въ уединеніи; давно не слышу ничего о судьбѣ людей. Скажи мнѣ: царствуетъ ли любовь на земномъ шарѣ? курится ли еиміамъ на алтаряхъ добродѣтели? благоденствуютъ ли народы въ странахъ, тобою видѣнныхъ?“—„Свѣтъ наукъ“—отвѣчалъ авторъ—„распространяется болѣе и болѣе; но еще струится на землѣ кровь человѣческая, льются слезы несчастныхъ, хвалятъ имя добродѣтели и спорятъ о существѣ ея“. „Старецъ вздохнулъ и пожалъ плечами“. Поговоривъ еще съ гостемъ объ исторіи сѣверныхъ народовъ, о происшествіяхъ древности и новыхъ временъ, хозяинъ пожелалъ ему доброй ночи. Ночью, встревоженный тяжелымъ сномъ, авторъ вышелъ освѣжиться въ садъ и тутъ набрелъ на пещеру, гдѣ „за желѣзною рѣшеткой, на которой висѣлъ большой замокъ, горѣла лампада, привязанная къ своду; а въ углу на соломенной постелѣ лежала молодая блѣдная женщина въ черномъ платьѣ. Она спала“... Далѣе слѣдуетъ мѣсто, особенно отличающееся чувствительностью:

„Друзья мои! кого не трогаетъ видъ несчастнаго? Но видъ молодой женщины, страдающей въ подземной темницѣ—видъ слабѣйшаго и любезнѣйшаго изъ всѣхъ существъ, угнетеннаго судьбою, могъ бы влить чувство въ самый камень. Я смотрѣлъ на нее съ горестію и думалъ самъ въ себѣ: «Какая варварская рука лишила тебя дневного свѣта? Неужели за какое-нибудь тяжкое преступленіе? Но миловидное лицо твое, но тихое движеніе груди твоей, но собственное сердце мое увѣряютъ меня въ твоей невинности!» Въ самую сію минуту она проснулась, взглянула на рѣшетку, увидѣла меня, изумилась, подняла голову, встала, приблизилась, потупила глаза въ землю, какъ будто бы собираясь съ мыслями, снова устремила ихъ на меня, хотѣла говорить и—не начинала. «Если чувствительность странника — (сказать я чрезъ нѣсколько минутъ молчанія) — рукою судьбы приведеннаго въ здѣшній замокъ и въ эту пещеру, можетъ облегчить твою участь; если искреннее его состраданіе заслуживаетъ твою довѣренность: требуй его помощи!» Она смотрѣла на меня неподвижными глазами, въ которыхъ видно было удивленіе, нѣкоторое любопытство, нерѣшимость и сомнѣніе. Наконецъ постѣ сильнаго внутренняго

движенія, которое какъ будто бы электрическимъ ударомъ потрясло грудь ея, отвѣчала твердымъ голосомъ: «Кто бы ты ни былъ, какимъ бы случаемъ ни зашелъ сюда, — чужеземецъ! я не могу требовать отъ тебя ничего, кромѣ сожалѣнія. Не въ твоихъ силахъ перемѣнить долю мою. Я лобызаю руку, которая меня наказываетъ». — Но сердце твое невиново, — сказалъ я: — оно, конечно, не заслуживаетъ такого жестокаго наказанія? — «Сердце мое», отвѣчала она, «могло быть въ заблужденіи. Богъ проститъ слабую. Надѣюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомецъ!» Тутъ приблизилась она къ рѣшеткѣ, взглянула на меня съ ласкою, и тихимъ голосомъ повторила: «Ради Бога оставь меня!.. Если онъ самъ послалъ тебя — тотъ, котораго страшное проклятіе гремитъ всегда въ моемъ слухѣ — скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь; что сердце мое высохло отъ горести; что слезы не облегчаютъ уже тоски моей. Скажи, что я безъ ропота, безъ жалобъ сношу заключеніе; что я умру его пѣжною, несчастною...» Она вдругъ замолчала, задумалась, удалилась отъ рѣшетки, стала на колѣни и закрыла руками лицо свое; черезъ минуту посмотрѣла на меня, снова потупила глаза въ землю, и сказала съ нѣжною робостію: «Ты, можетъ быть, знаешь мою исторію; но если не знаешь, то не спрашивай меня — ради Бога не спрашивай!.. Чужеземецъ, прости!» — Я хотѣлъ идти, сказавъ ей нѣсколько словъ, излившихся прямо изъ души моей; но взоръ мой еще встрѣтился съ ея взоромъ — и мнѣ показалось, что она хочетъ узнать отъ меня нѣчто важное для своего сердца. Я остановился, ждалъ вопроса; но онъ, послѣ глубокаго вздоха, умеръ на блѣдныхъ устахъ ея. Мы разстались“.

. . . „Боже мой! думалъ я — Боже мой! какъ горестно быть исключеннымъ изъ общества живыхъ, вольныхъ, радостныхъ тварей, которыми вездѣ населены необозримыя пространства натуры! Въ самомъ сѣверѣ среди высокихъ, мшистыхъ скалъ, ужасныхъ для взора, твореніе руки Твоей прекрасно, — твореніе руки Твоей восхищаетъ духъ и сердце. И здѣсь, гдѣ пѣнистыя волны отъ начала міра сражаются съ гранитными утесами, — и здѣсь десница Твоя напечатлѣла живые знаки Творческой любви и благодати; и здѣсь въ часъ утра розы цвѣтутъ на лазоревомъ небѣ; и здѣсь нѣжные зефиры дышатъ ароматами; и здѣсь зеленые ковры разстилаются, какъ мягкій бархатъ подъ ногами человѣка; и здѣсь поютъ птички — поютъ весело для веселаго, печально для печальнаго, пріятно для всякаго; и здѣсь скорбящее сердце въ объятіяхъ чувствительной природы можетъ облегчиться отъ бремени своихъ

горестей! Но—бѣдная, заключенная въ темницѣ, не имѣетъ сего утѣшенія; роса утренняя не окропляетъ ея томнаго сердца; вѣтерокъ не освѣжаетъ истлѣвшей груди; лучи солнечные не озаряютъ помраченныхъ глазъ ея; тихія бальзамическія изліянія луны не питаютъ души ея кроткими сновидѣніями и пріятными мечтами. Творецъ! почто даровалъ Ты людямъ гибельную власть дѣлать несчастными другъ друга и самихъ себя?“

Эти строки настолько характерны, что по нимъ и безъ подписи легко угадать ихъ автора: его выдають страстная любовь къ природѣ и нѣжное, чувствительное сердце.

Рано утромъ авторъ встрѣтился въ саду со старикомъ. „Мы сѣли“—говоритъ онъ, заканчивая свою повѣсть—„подъ деревомъ, и старикъ разсказалъ мнѣ ужаснѣйшую исторію—исторію, которой вы теперь не услышите, друзья мои; она останется до другого времени. На сей разъ разскажу вамъ одно то, что я узналъ тайну гревзендскаго незнакомца—тайну страшную!“

„Матросы дожидались меня у воротъ замка. Мы возвратились на корабль, подняли парусы, и Борнгольмъ скрылся отъ глазъ нашихъ. Море шумѣло. Въ горестной задумчивости стоялъ я на палубѣ, взявшись рукою за мачту. Вздохи тѣснили грудь мою; наконецъ я взглянулъ на небо—и вѣтеръ свѣялъ въ море слезу мою“.

Повѣсть эта дѣйствительно, какъ замѣтилъ Порфирьевъ ¹⁸²⁾, напоминаетъ старыя рыцарскія баллады, въ которыхъ изображаются рыцарскіе замки съ окружающими ихъ рвами, подъемными мостами, огромными залами, страшными башнями и подземными темницами, въ которыхъ томятся разные несчастные. Тѣмъ не менѣе есть основаніе предполагать, что у современниковъ Карамзина она послѣ „Бѣдной Лизы“ была едва ли не самою любимую повѣстью. По крайней мѣрѣ О. Н. Глинка разсказываетъ, что когда онъ поступилъ въ первый кадетскій корпусъ, то имѣлъ возможность убѣдиться, что изъ 1200 кадетъ рѣдкій не повторялъ наизусть какой-нибудь страницы изъ „Острова Борнгольма“ ¹⁸³⁾. Этому можно вѣрить: изображеніе страданія и трогательное глубокое сочувствіе ему автора должно было производить впечатлѣніе, по силѣ своей не уступающее впечатлѣнію отъ „Бѣдной Лизы“.

Но чѣмъ навѣяна эта повѣсть?—Принять ее за разсказъ о дѣйствительномъ приключеніи автора, хотя бы даже и значительно украшенномъ его фантазіей, конечно, нельзя: Карамзинъ не преминулъ бы хоть что-нибудь сказать о немъ въ своихъ „Пись-

махъ“; между тѣмъ въ описаніи его пути изъ Англіи въ Россію нѣтъ ни малѣйшаго намека на подобное приключеніе, нѣтъ даже имени ни Гревзенда, ни Борнгольма. — Не навѣяна ли она „Чувствительнымъ путешествіемъ“ Стерна?—Въ этомъ „путешествіи“ есть такой рассказъ: Стернъ остановился однажды передъ клѣткой со скворцомъ — и его чувствительное сердце прониклось состраданіемъ къ заключенной птичкѣ. Отъ пернатого узника онъ мысленно переходитъ къ узникамъ-людямъ, и воображенію его уже рисуется темница, а въ ней—несчастный страдалецъ. „Я“ — говоритъ Стернъ—„видѣлъ его тѣло, почти разрушенное долгимъ ожиданіемъ и заключеніемъ, и узналъ, какую сердечную боль приноситъ съ собой потеря надежды. Приглядѣвшись поближе, я увидалъ, что онъ блѣденъ и въ лихорадкѣ; уже тридцать лѣтъ западный вѣтеръ не освѣжалъ ни разу его крови; онъ не видалъ ни солнца ни луны; во все это время въ его окошко не звучалъ голосъ друга или родственника; его дѣти... Здѣсь сердце мое стало обливаться кровью...“ ¹⁸⁴). Чувства Стерна легко могли заразить Карамзина и вызвать у него желаніе и самому пережить ихъ и заставить пережить ихъ и своихъ читателей.

«Юлія» ¹⁸⁵).

Въ повѣсти: „Юлія“ Карамзинъ занятъ вопросомъ о вредномъ вліяніи разсѣянной свѣтской жизни. Вопросъ этотъ, какъ видно, очень занималъ Карамзина: его онъ коснулся и въ „Письмахъ“, и отчасти въ „Бѣдной Лизѣ“, и наконецъ посвятилъ ему цѣлую повѣсть, названную по имени героини ея „Юліей“. Суть повѣсти состоитъ въ слѣдующемъ.

Красавица Юлія была украшеніемъ московскаго большого свѣта. „Удивляясь красотѣ и разуму ея, всякій удивлялся, между прочимъ, и скромности ея взоровъ“. „Всѣ молодые люди обожали Юлію, и почитали за славу обожать ее... Что же Юлія? Любила болѣе всего—самое себя... Но мало-по-малу, приближаясь къ концу втораго десятилѣтія жизни своей, Юлія стала чувствовать, что ейміамъ суетности есть дымъ — хотя весьма пріятный, но все же дымъ, который худо питаетъ душу. Какъ ни обожай себя, какъ ни любуйся своими достоинствами—не довольно! Надобно любить что-нибудь кромѣ магической буквы Я—и Юлія начала съ большимъ вниманіемъ разсматривать многочисленную толпу своихъ искателей“.

Кто же окружалъ Юлію? — Карамзинъ въ общихъ чертахъ изображаетъ представителей тогдашняго великосвѣтскаго общества

и указываетъ отношеніе къ нимъ умной Юліи. Представитель одного разряда — *Легкоумъ*, „который, въ разсужденіи красоты, могъ бы поспорить съ самимъ Купидономъ—и не занимался ничѣмъ, кромѣ Юліи и зеркала“; представитель другого разряда — *Храбронъ*, „лаврами увѣнчанный воинъ, которому недоставало только греческаго платья, чтобы быть совершеннымъ Марсомъ“; представитель третьяго разряда—*Пустословъ*, „который, не смотря на важность судейскаго званія своего, вертѣлся на одной ногѣ, какъ Вестрисъ ¹⁸⁶), сочинялъ всякій день по десяти французскихъ каламбуровъ и зналъ наизусть лексиконъ анекдотовъ“. Разумѣется, Юлія не могла увлечься такими людьми: „Легкоумъ казался ей безразсуднымъ, самолюбивымъ мальчишкою, Храбронъ—виднымъ драгуномъ, и болѣе ничего, — забавный Пустословъ — скучною обезьяною“.

Полною противоположностью этимъ лицамъ былъ „любезный“ Арисъ—лицо, для насъ чрезвычайно интересное, такъ какъ авторъ собралъ въ немъ тѣ самыя черты, въ которыхъ мы, на основаніи знакомства съ „Письмами р. путешественника“ и должны представлять себѣ идеалъ Карамзина. Въ личности Ариса совмѣщаются тѣ черты, которыя характеризуютъ „усовершенствованнаго“ человѣка: въ немъ соединены мудрость и добродѣтель, въ немъ—огонь внутренняго чувства, въ немъ кротость, терпимость—словомъ, въ немъ тѣ качества, которыя общей гармоніей своей образуютъ „высочайшее добро“. Но приведемъ его характеристику словами самого Карамзина. Арисъ былъ „молодой человѣкъ, воспитанный въ чужихъ краяхъ подъ смотрѣніемъ не наемнаго гофмейстера, но благоразумнаго и нѣжнаго отца своего. Полезныя и пріятныя знанія украшали его душу, добродѣтельныя правила—сердце. Не будучи красавцемъ, онъ нравился своею милостивостію и кроткими, любезными взорами, одушевленными огнемъ внутренняго чувства. Онъ краснѣлся, какъ невинная дѣвушка, отъ всякаго нескромнаго слова, сказаннаго въ его присутствіи: говорилъ не много, но всегда основательно и пріятно; не старался блистать ни умомъ ни знаніями, и слушалъ каждаго—по крайней мѣрѣ съ терпѣніемъ“. Характеристика заканчивается словами, имѣющими значеніе упрека большому свѣту: „Чувствуютъ ли въ свѣтѣ цѣну такихъ людей? Рѣдко. Тамъ сусальное золото предпочитается иногда истинному; скромность, подруга достоинствъ, остается въ тѣни своей, а дерзость заслуживаетъ вѣнокъ и рукоплесканіе.“ Упрекъ этотъ находится въ тѣсной связи съ дальнѣйшимъ разсказомъ, и именно со слѣдующими фактами.

Глаза Юліи остановились на Арисѣ; „вѣсы склонились на его сторону, и сердце съ разумомъ на сей разъ согласились... Арисъ любилъ Юлію... Юлія отличала Ариса отъ другихъ иска-телей... Онъ готовъ былъ броситься на колѣни и сказать Юліи: «будь моя навѣки!...» чего Юлія ожидала, чего она хотѣла, и, конечно, не для того, чтобы отвѣчать: «нѣтъ!» какъ вдругъ на горизонтѣ большого свѣта явился новый феноменъ“ — молодой князь Н, знатный, богатый, прекрасный собою, но вмѣстѣ съ тѣмъ любитель картежной игры, англійскихъ лошадей, чувственныхъ удовольствій—и вообще не склонный къ семейной жизни. Этотъ князь, на котораго обратили вниманіе всѣ красавицы, и который на этихъ красавицъ, въ свою очередь, не обратилъ никакого вни-нія,—этотъ князь влюбляется въ Юлію. Его красота, его свѣтская развязность, торжество побѣды надъ нимъ—кружатъ голову Юліи, и она тоже влюбляется въ князя. Арисъ удаляется — „не нужно сказывать, съ какимъ чувствомъ“. Между тѣмъ князь оказался „сусальнымъ золотомъ“. Юліи „казалось чудно, что онъ, говоря безпрестанно о сердцѣ, никогда не упоминалъ о рукѣ... Наконецъ она дала ему почувствовать свое удивленіе: нѣжный князь оскор-бился. «Юлія сомнѣвается въ силѣ прелестей своихъ!» сказалъ онъ съ жаромъ: «Юлія хочетъ промѣнять огненного Амура на холодного Геминей!... О Юлія! любовь не терпитъ принужденія; одно слово — и все блаженство исчезнетъ!...» Юлія поблѣднѣла. Князь увидѣлъ, что его философія ей не нравится; надобно было перемѣнить языкъ, чтобы успокоить красавицу. «По крайней мѣрѣ, сказалъ онъ, продлимъ, сколько можно, время любви нашей...»“. Юлія однако требовала вѣрнаго слова—и князь далъ его. Ставъ женихомъ, князь хотѣлъ держать себя свободно, но „лишился всей надежды быть счастливо-дерзкимъ безъ имени супруга“ — и Юлія скоро получила отъ жениха письмо, въ которомъ между прочимъ говорилось: „Вы не хотѣли любить по-моему, любить только для удовольствія любви—любить, пока любишь: итакъ — простите! Называйте меня вѣроломнымъ, если угодно; но давно говорятъ на свѣтѣ, что клятва любовниковъ пишется на песокѣ, и что самый легкій вѣтерокъ завѣваетъ ее... Меня уже нѣтъ въ Москвѣ. Простите! Князь Н“. Юлія негодовала. „Недѣли черезъ двѣ послѣ сей исторіи пріѣхалъ къ ней Арисъ... и пріѣхалъ не для того, чтобы мстить огорченной красавицѣ“. И красавица оцѣ-нила его великодушіе. „Арисова нѣжность, кротость, сердечныя достоинства, которыхъ въ свѣтскомъ шумѣ не могла она такъ сильно и живо чувствовать, тронули ея душу въ искреннихъ раз-

говорахъ тихаго кабинета. «Для чего,» — сказала Юлія сквозь слезы, — «для чего другіе мужчины не подобны вамъ! Тогда нѣжнѣйшая склонность нашего сердца не была бы для насъ источникомъ тоски и горести»... Арисъ воспользовался сею минутою — и Юлія не могла отказаться отъ руки его, съ тѣмъ условіемъ, чтобы оставить навсегда *коварный свѣтъ*, какъ она говорила... «Презримъ суетность его — онъ мнѣ несносенъ — и удалимся въ деревню!».

На этотъ разъ „истинное“ золото восторжествовало надъ „сусальнымъ“ — и Карамзинъ переходитъ къ описанію счастливой жизни молодыхъ супруговъ въ деревнѣ. Это описаніе интересно, какъ изображеніе Карамзинскаго идеала супружескаго счастья вмѣстѣ съ указаніемъ условій, при которыхъ это счастье чувствуется сильнѣе. „Добродѣтельный супругъ восхищался прелестною супругою всякій часъ, всякую минуту. Юлія была чувствительна къ его нѣжности — и сердца ихъ сливались въ тихихъ восторгахъ. Казалось, что сама природа брала участіе въ ихъ радостяхъ: она цвѣла тогда во всемъ пространствѣ садовъ своихъ. Вездѣ благоухали ясины и ландыши; вездѣ пѣли соловьи и малиновки; вездѣ курился ѳиміамъ любви, и все питало удовольствіями любовь нашихъ супруговъ. «Боже мой! (говорила Юлія) какъ могутъ люди жить въ городѣ! какъ могутъ они выѣзжать изъ деревни! Тамъ шумъ и безпокойство; здѣсь чистое, невинное удовольствіе. Тамъ вѣчное принужденіе; здѣсь покой и свобода. Ахъ, другъ мой!... (съ умильнымъ взоромъ брала она Арисову руку, и прижимала ее къ своей груди)... ахъ, другъ мой! *только въ одной сельской тишинѣ, въ однихъ объятіяхъ натуры, чувствительная душа можетъ наслаждаться всюю полною любовью и нѣжностью!*“ — Что въ этомъ описаніи всякій узнаетъ автора письма о семейной жизни англичанъ и еще болѣе автора повѣсти: „Евгеній и Юлія“, — нечего и говорить: поспѣшимъ къ тому, что было съ героиней дальше.

Привыкшая къ удовольствіямъ большого свѣта, къ шумной и разсѣянной жизни, Юлія не могла долго наслаждаться тишиной деревни — и начала скучать. Арисъ пробовалъ читать ей изъ Новой Элоизы о блаженствѣ взаимной любви, но и это не подѣйствовало. Арисъ уступилъ — и молодые супруги переѣхали въ городъ. Юлія снова явилась въ свѣтъ, зажила открытымъ домомъ, „и по крайней мѣрѣ четыре раза въ недѣлю ужинало у нея 30 или 40 человекъ. Арисъ молчалъ; дѣлалъ все, что ей угодно было“. Скоро между гостями Юліи появился и князь N. Онъ возобно-

вилъ свое ухаживанье за Юліей—и прежнее чувство къ нему въ ней вспыхнуло снова. „Въ одинъ день, передъ вечеромъ, Арисъ прѣхалъ домой, и спѣшилъ въ любимую свою аллею; входитъ—и видитъ князя N, сидящаго на дерновой канаве подлѣ Юліи, которая, опустивъ голову на плечо къ нему, смотрѣла въ землю... Онъ цѣловалъ ея руку и говорилъ: «Ты меня любишь, и я долженъ умереть въ твоихъ объятіяхъ! Юлія! тебѣ ли имѣть предразсужденія? Слѣдуй влеченію своего сердца; слѣдуй...» Но Юлія слышала шорохъ, взглянула—и затрепетала... Пусть всякій вообразитъ себя на мѣстѣ бѣднаго Ариса!...“

Арисъ, предоставивъ Юліи свободу и право располагать его имѣніемъ, отправился странствовать по чужимъ землямъ. Юлія же еще въ ту минуту, когда увидѣла Ариса въ аллеѣ, поняла свое легкомысліе, съ презрѣніемъ оттолкнула князя, поклялась сама себѣ, что отнынѣ дерзкій порокъ не осмѣлится взглянуть ей прямо въ глаза, оставила свѣтъ и переселилась въ деревню „съ сердцемъ, любящимъ добродѣтель“.—„Надобно“, — говоритъ авторъ, — „отдать справедливость вамъ, любезныя женщины: когда вы на что-нибудь рѣшитесь не въ минуту легкомыслія, не словомъ, но душою и съ глубокимъ чувствомъ истины, — твердость ваша бываетъ тогда удивительна—и славнѣйшіе герои постоянства, которыхъ до небесъ возноситъ исторія, должны раздѣлить съ вами лавры свои. Юлія—которая на тоненькій волосокъ была отъ того, чтобы сдѣлаться новою Аспазіею, новою Лансою — Юлія сдѣлалась вдругъ ангеломъ непорочности. Всѣ суетныя желанія замерли въ ея сердцѣ“. Въ деревнѣ родился у нея сынъ—Эрастъ. Повѣсть указываетъ, что Карамзинъ раздѣлялъ основные взгляды Руссо на воспитаніе. Превративъ Юлію въ добродѣтельную женщину, авторъ заставляетъ ее сдѣлаться идеальной матерью; а для того, чтобы сдѣлаться таковою, онъ считалъ между прочимъ, необходимымъ (хотя и не всегда, какъ мы видѣли ¹⁸⁷)—и знакомство съ „Эмилемъ“ Руссо. Вотъ почему, когда Юлія еще до рожденія ребенка „захотѣла приготовить себя къ священному званію матери“,—то „Эмилъ—книга единственная въ своемъ родѣ—не выходила изъ рукъ ея“. Затѣмъ Караминъ указываетъ и самую систему воспитанія, которой держалась Юлія. „Огнемъ любви согрѣвала она юную душу его (Эраста); наблюдала ея начальныя дѣйствія, отъ первой слезы до первой его усмѣшки, и вливала въ него нѣжными взорами собственную свою чувствительность. Нужно ли сказывать, что она сама была кормилицею своего сына?... Прежде она не выходила почти изъ ко-

мнаты своей... Теперь Юлія спѣшитъ показывать маленькаго любимца своего всей натурѣ. Ей кажется, что солнце свѣтитъ на него свѣтлѣе; что каждое дерево наклоняется обнять его, что ручеекъ ласкаетъ его своимъ журчаніемъ; что птички и бабочки для его забавы порхаютъ и рѣзвятся“. И маленькій Эрастъ „расцвѣталъ, какъ розанъ“, становился нѣженъ и чувствителенъ.

Арисъ, узнавъ отъ вѣрнаго друга объ образѣ жизни Юліи и увѣрившись въ ея добродѣтели, „летѣлъ къ обожаемой супругѣ, сказать ей: «Я не переставалъ обожать тебя!»“ Повѣсть заканчивается рѣчью Ариса, за которой слѣдуетъ еще нѣсколько строкъ. Какъ строки эти, такъ и рѣчь Ариса заключаютъ въ себѣ возрѣнія самого Карамзина—и потому мы приводимъ здѣсь этотъ конецъ повѣсти.

„Нѣжность Арисова такъ далеко простирается, что онъ не позволяетъ Юліи описывать черными красками прежняго ея вѣтренаго характера. «Ты рождена быть добродѣтельною», говоритъ Арисъ: «нескромное желаніе нравиться, плодъ безразсуднаго воспитанія и худыхъ примѣровъ, произвело минутныя твои заблужденія. Тебѣ надлежало только одинъ разъ почувствовать цѣну истинной любви, цѣну добродѣтели, чтобы исправиться и возненавидѣть порокъ. Ты удивляешься, другъ мой, для чего я молчалъ и не хотѣлъ говорить тебѣ о слѣдствіяхъ вѣтрености твоей: я былъ увѣренъ, что укоризны могутъ скорѣе ожесточить сердце, нежели тронуть его чувствительность. Нѣжное терпѣніе со стороны мужа есть въ такомъ случаѣ самое дѣйствительнѣйшее средство. Выговоры, упреки заставили бы тебя думать, что я ревнивъ; ты почла бы себя оскорбленною — и сердца наши могли бы навсегда удалиться другъ отъ друга. Слѣдствіе доказало справедливость моей системы. Разлука казалась мнѣ послѣднимъ способомъ, который должно было употреблять для твоего исправленія. Я оставилъ тебя на судъ собственнаго твоего сердца—признаюсь, не хладнокровно, не безъ мучительной горести—но лучъ надежды питалъ и не обманывалъ меня! ты моя, совершенно и навѣки!»“.

„Иногда Юлія вооружается противъ женщинъ: Арисъ ихъ защитникъ. «Повѣрь мнѣ, другъ мой (говоритъ онъ), повѣрь, что порочныя женщины бываютъ отъ порочныхъ мужчинъ; первыя для того дурны, что послѣдніе не стоятъ лучшихъ»“.

„Арисъ и Юлія могутъ не соглашаться въ разныхъ мнѣніяхъ; но въ томъ они согласны, что удовольствіе счастливыхъ супруговъ и родителей есть первое изъ всѣхъ земныхъ удовольствій“.

Отражая такъ обильно воззрѣнія автора, повѣсть: „Юлія“ тоже можетъ быть названа „зеркаломъ души“ Карамзина, — и въ этомъ смыслѣ она представляетъ собою произведеніе, весьма цѣнное для историка. Повѣсть эта, въ своемъ цѣломъ, есть подробное развитіе тѣхъ мыслей, которыя Карамзинъ высказалъ еще въ письмѣ о семейной жизни англичанъ. Въ ней тѣ же мысли, но въ болѣе широкой рамкѣ: въ ней авторъ не только указываетъ свое отрицательное отношеніе къ такъ называемому большому свѣту, но и набрасываетъ, какъ бы для оправданія своего отношенія къ нему, нѣсколько отрицательныхъ типовъ, взятыхъ изъ этого свѣта; въ ней онъ не только высказываетъ свой взглядъ на условія семейнаго счастья и указываетъ на семейную жизнь, какъ на источникъ первыхъ изъ всѣхъ земныхъ удовольствій, — но и изображаетъ въ лицѣ Аріса свой идеалъ человѣка вообще и мужа въ частности, а въ лицѣ преображенной Юліи выводитъ идеалъ жены и матери; наконецъ въ этой повѣсти Карамзинъ не только говоритъ объ обязанности родителей воспитывать дѣтей, но и даетъ ясно понять, что лучшею системою воспитанія онъ считаетъ систему Руссо. Сильно напоминаетъ эта повѣсть и ученическое еще произведеніе Карамзина — „Евгенія и Юлію“, съ попыткою автора изобразить идеальную чету и съ его идиллическими мечтами ¹⁸⁸).

По мнѣнію Погодина, повѣсть: „Юлія“ рассказана „живо, пріятно, увлекательно“. Конечно, она могла нравиться современникамъ и своимъ содержаніемъ и своимъ изложеніемъ; но все же она гораздо болѣе *придумана*, чѣмъ „Бѣдная Лиза“, и если эта послѣдняя только нѣсколько напоминаетъ Ричардсонову „Клариссу“, то „Юлія“ уже въ значительной степени напоминаетъ его „Грандисона“. Подобно тому, какъ Грандисонъ является придуманнымъ идеаломъ добродѣтели, какъ полная противоположность развратному Ловеласу: такъ Арісъ является такимъ же идеаломъ въ противоположность развратному князю. Идеализированъ, конечно, и образъ преображенной Юліи.

Въ частности можно отмѣтить еще двѣ черты разсмотрѣнной повѣсти. Одна изъ нихъ—это прежняя еще манера давать героямъ имена, соотвѣтствующія ихъ характеру. Такъ фамиліи: Легкоумъ, Храбронъ, Пустословъ даны героямъ на томъ же основаніи, на какомъ давались фамиліи: Ворчалкина, Ханжахина (у импер. Екатерины II), Правдинъ, Стародумъ (у Фонвизина), Пріять, Вѣтромахъ (у Княжнина) и т. п. Другая черта — внесеніе мѣстами шутливаго тона въ духъ французскихъ писателей XVIII вѣка.

Таково, наприкладъ, слѣдующее мѣсто: „Между тѣмъ носился по городу слухъ,... что Амуровы стрѣлы не берутъ его (князя) сердце;... что бѣдный Венеринъ сынъ, желая ранить его, опустошить колчанъ свой—и все понапрасну... Надобно за него вступить, надобно помочь ему, надобно отмстить, и—чего бы то ни стоило—тронуть, побѣдить, плѣнить новаго Алкида; всѣ — и мастера золотыхъ дѣлъ въ нашей столицѣ занялись одною работою: кованіемъ цѣпей, по заказу красавицъ. Страшись, вѣтреныи князь!“ Впрочемъ подобный шуточный тонъ есть и въ „Натальѣ, боярской дочери“ ¹⁹⁰).

Главное значеніе разсмотрѣнныхъ повѣстей Карамзина для современнаго ему общества.

Это значеніе повѣстей Карамзина укажемъ словами одной юбилейной статьи, написанной по поводу празднованія столѣтней годовщины его рожденія ¹⁹⁰). „Струя человѣческаго чувства, простаго и трогательнаго, введенная Карамзинымъ, теплыя слова о сердцѣ, его волненіяхъ и страданіяхъ, внутренній пылъ страсти—всѣ эти новые элементы, незнакомые обществу изъ прежней, холодной и напыщенной литературы до Карамзина, были съ его стороны большою заслугою передъ нимъ. Повѣсти Карамзина научили это общество чувствовать и любить русскую словесность. Имя Карамзина облетѣло всюду по Россіи, куда только доходили синенькія книжки его журнала“. Отзывъ этотъ данъ о повѣстяхъ, помѣщенныхъ въ „Московскомъ журналѣ“; но его можно отнести и къ другимъ, такъ какъ характеръ ихъ въ этомъ отношеніи болѣе или менѣе одинъ и тотъ же.

IX. Произведенія, отразившія двѣ пережитыя Карамзинымъ драмы.

Разсматриваемыя въ этой главѣ произведенія имѣютъ главнымъ образомъ біографическій интересъ: они раскрываютъ намъ картину тѣхъ душевныхъ волненій, которыя переживалъ въ извѣстную эпоху Карамзинъ, какъ энтузіастъ просвѣщенія и нравственнаго человѣческаго достоинства. Вотъ исторія этихъ волненій.

Весна 1792 г. застала западную Европу среди военныхъ дѣйствій, вызванныхъ французской революціей. Мы уже знаемъ, какъ смотрѣлъ Карамзинъ на войну; но на этотъ разъ онъ отнесся къ ней съ особенной грустью, которую и выразилъ въ стихотвореніи: „Весеннее чувство“ (1792). Любимымъ пріемомъ его было

сопоставлять нравственный міръ съ міромъ физическимъ; мы видѣли этотъ пріемъ и въ письмѣ о парижской нищѣй (с. ¹⁴⁵) и въ повѣсти: „Островъ Борнгольмъ“. Онъ прибѣгъ къ нему и въ названномъ стихотвореніи:

Пришла весна—цвѣтеть земля;
 Древа шумятъ въ вѣнцахъ зеленыхъ,
 Лучами солнца позлащенныхъ;
 Красуются луга, поля;
 Стада вокругъ холмовъ играютъ;
 На вѣтвяхъ птички воспѣваютъ
 Пріятность теплыхъ, ясныхъ дней,
 Блаженство участи своей!

И левъ, среди песковъ сыпучихъ,
 Любовь и нѣжность ощутилъ;
 И хищный тигръ въ лѣсахъ дремучихъ
 Союзъ съ природой заключилъ.
 Любовь! вездѣ твоя держава;
 Вездѣ твоя сіяетъ слава;
 Земля есть твой огромный храмъ.
 Тебѣ курится еиміамъ
 Цвѣтовъ, и древъ, и травъ душистыхъ,
 На сушѣ, на водахъ сребристыхъ,—
 Во всѣхъ подсолнечныхъ странахъ,
 Во всѣхъ чувствительныхъ сердцахъ!

Но кто дерзаетъ міръ священный,
 Міръ кроткій, міръ блаженный,
 Своею злобой нарушать?..
 Безсмертный человѣкъ!.. созданный —
 Собой натуру украшать!..
 Любимецъ Божества избранный!
 Вѣнецъ творенія и цвѣтъ!
 Когда природа оживаетъ,
 Любовь сердца звѣрей питаетъ, —
 Онъ кровь себѣ подобныхъ льетъ;
 Безумства мракомъ ослѣпленный
 И адской желчью упоенный,
 Терзаетъ братій и друзей,
 Ко счастью вмѣстѣ съ нимъ рожденныхъ,
 Душою, чувствомъ одаренныхъ,
 Отца единого дѣтей!

Конечно, къ войнѣ 1792 г. можно было бы отнестись и иначе: можно было бы имѣть въ виду чисто политическое ея значеніе, и стать, смотря по тому, куда влекло сочувствіе, либо на сторону французовъ, либо на сторону ихъ противниковъ. Но Карамзинъ какъ бы совершенно устраняетъ политическій смыслъ событія и смотритъ на него исключительно съ нравственной точки зрѣнія.

Ему въ данномъ случаѣ нѣтъ дѣла до того, кто правъ, кто виноватъ: онъ видитъ лишь людей, проливающихъ кровь другъ друга, и груститъ объ этомъ. Положимъ, что такой взглядъ на историческое событіе одностороненъ; но развѣ онъ не имѣетъ себѣ основанія въ человѣческомъ сердцѣ, и развѣ грусть Карамзина не есть то же самое, что и раздающійся въ наше время крикъ: „Die Waffen nieder!“¹⁹¹⁾ Какъ бы ни были важны политическія цѣли, достигаемыя пролитіемъ крови, и какъ бы ни было это пролитіе необходимо по ходу событій, — нравственное чувство человека все-таки не можетъ относиться къ нему хладнокровно — и поэтому въ разсмотрѣнномъ стихотвореніи Карамзина, не смотря на его сентиментальный и оптимистическій характеръ, можно видѣть не одно лишь „рѣшеніе политическаго вопроса чувствительностью“,¹⁹²⁾ но и нѣчто большее: въ немъ можно видѣть протестъ сердца человѣческаго противъ пролитія крови, хотя бы оно и оправдывалось разными другими соображеніями.

Подобную же чисто нравственную точку зрѣнія на историческія и политическія событія видимъ и въ другихъ слѣдовавшихъ за этимъ стихотвореніемъ произведеніяхъ, хотя въ то же время нельзя не сказать, что выраженные въ нихъ волненія автора ужъ слишкомъ велики, и воображеніе его ужъ слишкомъ напугано.

21-го января 1793 г. Людовикъ XVI взошелъ на эшафотъ—и начались „ужасныя происшествія Европы“. Для того, чтобы представить себѣ, какимъ угнетающимъ образомъ подѣйствовали на Карамзина эти „происшествія“, надо обратиться къ письму Мелодора къ Филалету, написанному въ 1794 г. Въ немъ отъ лица Мелодора Карамзинъ съ большою полнотою высказываетъ свое душевное состояніе—и вотъ какая картина представляется читателю:

„Тысячи мыслей волнуются въ душѣ моей. Я хотѣлъ бы ...открыть тебѣ грудь мою, чтобъ ты собственными глазами могъ читать въ ней сокровенную исторію друга твоего, и видѣть — прости мнѣ смѣлое выраженіе—видѣть *развалины надеждъ и замысловъ*, надъ которыми въ тихіе часы ночи сѣтуетъ нынѣ духъ мой, подобно страннику, вздыхающему на развалинахъ Іліона... Помнишь, другъ мой, какъ мы нѣкогда разсуждали о нравственномъ мірѣ, ловили въ исторіи всѣ благородныя черты души человѣческой, питали въ груди своей эфирное пламя любви, котораго вліяніе возносило насъ къ небесамъ, и, проливая сладкія слезы,

восклищали: *человѣкъ великъ духомъ своимъ. Божество обитаетъ въ его ссрдцѣ!* Помнишь, какъ мы, сличая разные времена, древнія съ новыми, искали и находили доказательство любезной намъ мысли, что *родъ человѣческій возвышается, и хотя медленно, хотя неровными шагами, но всегда приближается къ духовному совершенству.* Ахъ! съ какою нѣжностію обнимали мы въ душѣ своей всѣхъ земнородныхъ, какъ милыхъ дѣтей небеснаго Отца! — Радость сіяла на лицахъ нашихъ... Природа казалась намъ обширнымъ садомъ, въ которомъ *зрѣетъ божественность человѣчества*".

„Кто болѣе нашего славилъ преимущества осьмоганадесяти вѣка: свѣтъ философіи, смягченіе нравовъ, тонкость разума и чувства, размноженіе жизненныхъ удовольствій, всемѣстное распространеніе духа общественности, тѣснѣйшую и дружелюбнѣйшую связь народовъ, кротость правленій и пр. и пр.? — Хотя и являлись нѣкоторыя черныя облака на горизонтѣ человѣчества; но свѣтлый лучъ надежды златилъ уже края оныхъ предъ нашимъ взоромъ — надежды: «все исчезнетъ, и царство общей мудрости настанетъ, рано или поздно настанетъ — и блаженъ тотъ изъ смертныхъ, кто въ краткое время жизни своей успѣлъ разсвѣять хотя одно мрачное заблужденіе ума человѣческаго, успѣлъ хотя однимъ шагомъ приблизить людей къ источнику всѣхъ истинъ, успѣлъ хотя единое плодоносное зерно добродѣтели вложить рукою любви въ сердце чувствительныхъ, и такимъ образомъ ускорилъ ходъ всемірнаго совершенія!»“

„Конецъ нашего вѣка почитали мы концомъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества, и думали, что въ немъ послѣдуетъ важное, общее соединеніе теоріи съ практикою, умозрѣнія съ дѣятельностію; что люди, увѣрясь нравственнымъ образомъ въ изящности законовъ чистаго разума, начнутъ исполнять ихъ во всей точности, и подъ сѣнію мира, въ кровѣ тишины и спокойствія, насладятся истинными благами жизни.“

„О Филалетъ! гдѣ теперь сія утѣшительная система?... Она разрушилась въ своемъ основаніи!“

„Осьмойнадесять вѣкъ кончается: что же видишь ты на сценѣ міра?—Осьмойнадесять вѣкъ кончается, и несчастный филантропъ мѣряетъ двумя шагами могилу свою, чтобы лечь въ ней съ обманутымъ, растерзаннымъ сердцемъ своимъ и закрыть глаза навѣки!“

„Кто могъ думать, ожидать, предчувствовать!... Мы надѣялись скоро видѣть человѣчество на горней ступени величія, въ вѣнцѣ славы, въ лучезарномъ сіяніи, подобно ангелу Божію, когда онъ,

по священнымъ сказаніямъ, является очамъ добрыхъ—съ небесною улыбкою, съ мирнымъ благовѣстіемъ! — Но вмѣсто сего восхитительнаго явленія видимъ... фурій съ грозными пламенниками!“

„Гдѣ люди, которыхъ мы любили? Гдѣ плодъ наукъ и мудрости? Гдѣ возвышеніе кроткихъ, нравственныхъ существъ, сотворенныхъ для счастья?—Вѣкъ просвѣщенія! Я не узнаю тебя—въ крови и пламени не узнаю тебя; среди убійствъ и разрушенія не узнаю тебя!... Свирѣпая война опустошаетъ Европу, столицу искусствъ и наукъ, хранилище всѣхъ драгоценностей ума человѣческаго... И не только милліоны погибаютъ; не только города и села исчезаютъ въ пламени; не только благословенныя, цвѣтушія страны... въ горестныя пустыни превращаются—сего не довольно: я вижу еще другое, ужаснѣйшее зло для бѣднаго человѣчества. Мизософы торжествуютъ. «Вотъ плоды вашего просвѣщенія!» говорятъ они: «вотъ плоды вашихъ наукъ, вашей мудрости! Гдѣ воспыалъ огонь раздора, мятежа и злобы? Гдѣ первая кровь обагрила землю? и за что?... И откуда взялись сіи пагубныя идеи?... Да погибнетъ же ваша философія!...» И бѣдный, лишенный отечества, и бѣдный, лишенный крова, и бѣдный, лишенный отца, или сына, или друга, повторяетъ: *да погибнетъ!* И доброе сердце, раздираемое зрѣлищемъ лютыхъ бѣдствій, въ горести своей повторяетъ: *да погибнетъ!* — А сіи восклицанія могутъ составить наконецъ *общее мнѣніе*: вообрази же слѣдствія!“

„Кровопролитіе не можетъ быть вѣчно: я увѣренъ. Рука, сѣкущая мечомъ, утомится; сѣра и селитра истощатся въ нѣдрахъ земли, и громы умолкнутъ; тишина рано или поздно настанетъ — но какова будетъ тишина сія? Если мертвая, холодная, мрачная?“

„Такъ, другъ мой, паденіе наукъ кажется мнѣ не только возможнымъ, но и вѣроятнымъ; не только вѣроятнымъ, но даже неминуемымъ, даже близкимъ. Когда же падутъ онѣ... когда ихъ великолѣпное зданіе разрушится, благодѣтельные лампы угаснутъ—что будетъ? Я ужасаюсь, и чувствую трепетъ въ сердцѣ!—Положимъ, что нѣкоторыя искры и спасутся подъ пепломъ; положимъ, что нѣкоторые люди и найдутъ ихъ, и освѣтятъ ими тихія, уединенныя свои хижины: но что же будетъ съ міромъ, съ *цѣлымъ* человѣческимъ родомъ?“...

„Сверхъ того, внимательный наблюдатель видитъ теперь повсюду отверстыя гробы для *нѣжной нравственности*. Сердца ожесточаются ужасными происшествіями и, привыкая къ феноме-

намъ злодѣяній, теряютъ чувствительность. Я закрываю лицо свое!“ *).

Ко всему этому у Карамзина присоединяется еще слѣдующая мысль: при взглядѣ на исторію народовъ, ему теперь начинаетъ казаться, что умственная и нравственная жизнь человѣчества движется не по линіи, восходящей все выше и выше и ведущей людей къ постепенному совершенствованію, а движется она волнообразно: человѣчество то подымается на извѣстную высоту, то снова упадаетъ до прежней глубины, представляя такимъ образомъ подобіе Сизифова камня. Были славныя времена древняго Египта, Греціи, Рима. „Что жъ послѣдовало за сею блестящею эпохою человѣчества? — Варварство многихъ вѣковъ, варварство ума и нравовъ“.

*) Чувствительность дѣйствительно терялась. Вотъ что мы читаемъ у историка Іегера о нравственномъ вліяніи революціи на французовъ: „Въ теченіе своей трехлѣтней дѣятельности, собраніе (конвентъ) залило кровью всю Францію... Насчитываютъ 15.414 декретовъ, выпущенныхъ собраніемъ; въ числѣ ихъ были несомнѣнно прекрасныя, создавшіе прочное основаніе для будущаго, но въ общемъ они оказали неизгладимое вліяніе на характеръ народа, замѣтное еще теперь, спустя сто лѣтъ. По сознанію свѣдущихъ французовъ, изучавшихъ это время по достовѣрнымъ источникамъ, все, чѣмъ они прежде отличались, исчезло: нравы огрубѣли, браки стали одною формальностью, заключались часто на одну недѣлю... Жажда наживы не насытилась, а возбудилась въ толпѣ, овладѣвшей имѣніями эмигрантовъ, духовенства, казенныхъ, подозрительныхъ и трусливыхъ. Народъ дошелъ до невѣроятнаго и поражающаго неряшества въ одеждѣ, отвратительной грязи въ домахъ. Историки говорятъ, что реакція была слабая: только парижская молодежь требовала возстановленія своихъ правъ и присущихъ ей безумствъ, вмѣсто спартанскаго санкюлотизма... Постѣ ужасныхъ впечатлѣній термидора, страстью тѣхъ дней сдѣлались танцы. Зимой 1796 г. въ Парижѣ было 644 публичныхъ бала всякаго рода... Кладбище С.-Сюльписъ, дворъ кармелитскаго монастыря, гдѣ, говорятъ, видны были слѣды крови 2 сентября 1793 г., обращены были въ танцевальныя залы: такими страшными воспоминаніями шутило легкомысліе! Были *bals de victime, coiffure à la victime, salut de l'échafaud*. Танцующій приглашалъ свою даму наклоненіемъ головы, изображая падающую съ гильотины голову. Возвращаясь съ бала въ 2 часа ночи, эта веселящаяся молодежь встрѣчала голодную и дрожащую отъ холода толпу, осаждавшую пекарни. Случаи голодной смерти составляли ужасную противоположность съ чисто болѣзненной веселостью. За заставами — безпрестанные грабежи; ни одна почтовая карета не могла проѣхать безъ вооруженной охраны. Замѣчательно много было сумасшедшихъ, что вовсе не удивительно; но когда имѣешь письменные источники подъ рукою и представишь себѣ эти страшные три года въ Парижѣ, Ліонѣ, Нантѣ, то рѣшительно не понимаешь, какъ люди могутъ все это вынести, и что они могутъ натворить!“ („Новѣйшая исторія“, IV, 106).

Что же далѣе?—„Медленно рѣдѣла, медленно прояснялась сія густая тьма. Наконецъ солнце наукъ возсіяло, и философія изумила насъ быстрыми своими успѣхами. Добрые, легковѣрные человѣколюбцы заключали отъ успѣховъ къ успѣхамъ; исчисляли, измѣряли путь ума; напрягали взоръ свой—видѣли близкую цѣль совершенства, и въ радостномъ упоеніи восклицали: *берегъ!*... Но вдругъ небо дымится, и судьба человѣчества скрывается въ грозныхъ туманахъ!—О потомство! какая участь ожидаетъ тебя?“

Эта мысль о Сизифовой работѣ человѣчества была роковой каплей, упавшей въ наполненную горечью чашу: отчаяніе и мучительная тоска овладѣли душой Карамзина-Мелодора—и онъ изливаетъ свои чувства въ слѣдующихъ словахъ:

„Печальныя сомнѣнія волнуютъ мою душу, и шумный городъ, въ которомъ живу, кажется мнѣ пустынею. Вижу людей; но взоръ мой не находитъ сердца въ ихъ взорахъ. Слышу разсужденія, и опускаю глаза въ землю.—Говорю, но вѣтеръ разноситъ слова мои... мертвое эхо повторяетъ ихъ!“

„Иногда несносная грусть тѣснитъ мое сердце; иногда упадаю на колѣни, и простираю руки свои—къ Невидимому... Нѣтъ отвѣта!—Голова моя клонится къ сердцу“.

„Самая природа не веселитъ меня. Она лишилась вѣнца своего въ глазахъ моихъ, съ того времени, какъ не могу уже въ ея объятіяхъ мечтать о близкомъ счастіи людей; съ того времени, какъ удалилась отъ меня радостная мысль о ихъ совершенствѣ, о царствѣ истины и добродѣтели; съ того времени, какъ я не знаю, что мнѣ думать о феноменахъ нравственнаго міра, чего ожидать и надѣяться!“

„Вѣчное движеніе въ одномъ кругу; вѣчное повтореніе, вѣчная смѣна дня съ ночью и ночи со днемъ; вѣчное смѣшеніе истинъ съ заблужденіями, и добродѣтелей съ пороками; капля радостныхъ и море горестныхъ слезъ... мой другъ! начто жить мнѣ, тебѣ и всѣмъ? Начто жили предки наши? Начто будетъ жить потомство?“

„Суди о хаосѣ души моеѣ, который представляетъ мнѣ все твореніе въ безпорядкѣ! Смотрю на восходящее солнце—и спрашиваю: почто восходишь? Стою подъ сѣнію шумящаго дуба—и спрашиваю: почто шумишь?—Теперь все существуетъ для меня безъ цѣли“...

„Дружба, священная, любезная дружба! въ твои объятія изливаетъ сердце мое—сердце, жестоко уязвленное—горестныя свои чувства. Оживи его благотворнымъ своимъ бальзамомъ;

улади нѣжнымъ состраданіемъ!—Филалетъ! ты вмѣстѣ со мною веселился нѣкогда жизнію, природою, человѣчествомъ: теперь скорби со мною, или утѣшь меня! Духъ мой унылъ, слабъ и печаленъ; но я достоинъ еще дружбы твоей, ибо я—люблю добродѣтель!—Вотъ черта, по которой ты всегда узнаешь Мелодора: узнаешь и въ бурю и въ грозу; и на краю могилы!”

Письмо Мелодора къ Филалету раскрываетъ намъ душевное состояніе величайшаго идеалиста, страстно преданнаго умственнымъ и нравственнымъ интересамъ, внѣ которыхъ онъ не видитъ никакого смысла жизни,—и вдругъ очутившагося надъ „развалинами“ своихъ надеждъ и замысловъ. Тысячи мыслей волнуютъ его душу и поражаютъ горькія, безотрадныя чувства. Само собою разумѣется, что появленіе письма Мелодора лишь въ 1794 г. отнюдь не можетъ служить основаніемъ для предположенія, что выраженные въ немъ чувства не переживались Карамзинымъ раньше: напротивъ, есть полное основаніе относить ихъ главнымъ образомъ къ 1793 г., а годъ 1794-ый считать временемъ, въ которое Карамзинъ уже въ значительной мѣрѣ успокоился. Къ такому выводу приводятъ сочиненія самого же Карамзина—и именно слѣдующія: „Посланіе къ Дмитріеву“ (1793), разсужденіе подъ заглавіемъ: „Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи“ (1793), статья: „Аѳинская жизнь“ (1793) и письмо Филалета къ Мелодору (1794). Наконецъ, обращаемъ вниманіе и на письмо Карамзина къ Дмитріеву отъ 17 августа 1793 г. изъ села Знаменскаго (въ Орловскомъ намѣстничествѣ), гдѣ онъ проводилъ тогда лѣто. Въ письмѣ этомъ видимъ настроеніе, однородное съ настроеніемъ въ письмѣ къ Мелодору, но болѣе успокоенное, по крайней мѣрѣ не столь отчаянное.

„Я живу, любезный другъ“,—пишетъ Карамзинъ, — „въ деревнѣ съ людьми милыми, съ книгами и съ природою; но часто бываю очень, очень безпокоенъ въ моемъ сердцѣ. Повѣришь ли, что ужасныя происшествія Европы волнуютъ всю душу мою? Бѣгу въ густую мрачность лѣсовъ, но мысль о разрушаемыхъ городахъ и гибели людей вездѣ тѣснитъ мое сердце. Назови меня Донъ-Кишотомъ, но сей славный рыцарь не могъ любить Дульцинею свою такъ страстно, какъ я люблю человѣчество“.

Если все то, что пережито Карамзинымъ отъ момента полученія имъ извѣстія о казни Людовика до дня написанія письма Филалета, мы назовемъ драмой съ благополучной развязкой,—то на письмо Мелодора мы должны будемъ смотрѣть, какъ на выраженіе момента наибольшаго страданія: на письмо Филалета—

какъ на благополучную развязку, а на остальные вышеназванные произведенія—какъ на тотъ путь, по которому Карамзинъ шель къ развязкѣ.

Начнемъ съ „Посланія къ Дмитріеву“: въ немъ отра- зился моментъ, по характеру настроенія, близкій къ душевному состоянію Мелодора. Въ этомъ „Посланіи“, изъ котораго мы уже приводили нѣсколько строкъ (с. 70), Карамзинъ, отвѣчая на стихи друга, жаловавшагося въ нихъ на скоротечность счастливой молодости, говоритъ:

И я, о другъ мой, наслаждался
Своею красною весной,
И я мечтами обольщался,
Любилъ съ горячностью людей,
Какъ нѣжныхъ братій и друзей;
Желалъ добра имъ всей душою; ?
Готовъ былъ кровію моею
Пожертвовать для счастья ихъ,
И въ самыхъ горестяхъ своихъ
Надеждой сладкой веселился
Не бесполезно жить для нихъ.
Мой духъ сей мыслию гордился!
Источникъ радостей и благъ
Открыть въ чувствительныхъ душахъ,
Плѣнить ихъ истиной святою,
Ея нетлѣнной красотою,
Орудіемъ небеснымъ быть,
И въ памяти потомства жить—
Казалось мнѣ всего славнѣе,
Всего прекраснѣе, милѣе!
Я жребій свой благословлялъ,
Любуясь прелестью награды—
И тихій свѣтъ моей лампы
Съ звѣздою утра угасалъ...

Вотъ слова Карамзина о той роли учителя, которую онъ взялъ на себя по возвращеніи изъ-за границы. Въ соотвѣтствіи съ этими словами, въ письмѣ Мелодора, кромѣ уже приведен- ныхъ строкъ, въ которыхъ говорится о высокой долѣ того, кто споспѣшествуетъ духовному совершенствованію людей (с. 190), находится еще слѣдующее мѣсто: „Ахъ, мой другъ! для добрыхъ сердецъ нѣтъ счастья, когда они не могутъ дѣлить его съ дру- гими. Истинный мудрецъ благословляетъ мудрость свою для того, что можетъ сообщать оную ближнимъ; иначе—смѣю сказать—бу- детъ она бременемъ для его человѣколюбивой души“.

Далѣе въ „Посланіи“ слѣдуетъ выраженіе разочарованія:

Но время, опыты разрушаютъ
Воздушный замокъ юныхъ лѣтъ;
Красы волшебства исчезаютъ...
Теперь иной я вижу свѣтъ,—
И вижу ясно, что съ Платономъ
Республикѣ намъ не учредить,—
Съ Питтакомъ, Фалесомъ, Зенономъ
Сердце жестокихъ не смягчить.
Ахъ! зло подъ солнцемъ безконечно,
И люди будутъ—люди вѣчно.
Когда несчастныхъ Данандъ
Сосудъ наполнится водою,
Тогда, чудесною судьбою,
Нашъ шаръ приметъ лучшій видъ:
Сатурнъ на землю возвратится,
И тигра съ агнцемъ примирить;
Богатый съ бѣднымъ подружится,
И слабый сильнаго простить.
Дотолъ истина опасна,
Однимъ скучна, другимъ ужасна;
Никто не хочетъ ей внимать—
И часто ядъ тому есть плата,
Кто гласомъ мудраго Сократа
Дерзаетъ буйству угрожать.
Гордецъ не любитъ наставленья,
Глупецъ не терпитъ просвѣщенья—
И такъ лампаду угасимъ,
Желая доброй ночи имъ.

Итакъ, подъ вліяніемъ разочарованія, авторъ стихотворенія приходитъ къ рѣшенію „лампаду угасить“—и приглашаетъ своего друга начать такой образъ жизни:

Но что же намъ, о другъ любезный!
Осталось дѣлать въ жизни сей,
Когда не можемъ быть полезны,
Не можемъ премѣнить людей?
Оплакать бѣдныхъ смертныхъ долю,
И мрачный свѣтъ предать на волю
Судьбы и рока; пусть они,
Симъ міромъ правя искони,
И впредь творятъ, что имъ угодно!
А мы, любя дышать свободно,
Себѣ построимъ тихій кровъ
За мрачной сѣнію лѣсовъ,
Куда бы злые и невѣжды
Вовѣкъ дороги не нашли,
И гдѣ бъ, безъ страха и надежды,
Мы въ мирѣ жить съ собой могли,

Гнущаться издали порокомъ,
 И яснымъ, терпѣливымъ окомъ
 Взирать на тучи, вихрь суетъ,
 Отъ грома, бури укрываясь,
 И въ чистомъ сердцѣ наслаждаясь
 Мерцаніемъ вечернихъ лѣтъ,
 Остаткомъ теплыхъ дней осеннихъ...
 Любовь и дружба—вотъ чѣмъ можно
 Себя подъ солнцемъ утѣшать!
 Искать блаженства намъ не должно,
 Но должно—менѣе страдать...
 Пусть громы небо потрясають,
 { Злодѣи слабыхъ угнетаютъ,
 Безумцы хвалятъ разумъ свой!
 Мой другъ! не мы тому виной.
 Мы слабыхъ здѣсь не угнетали,
 И всѣмъ ума, добра желали:
 У насъ не черныя сердца!
 Итакъ безъ трепета и страха
 Намъ можно ожидать конца
 И лечь во гробъ, жилище праха.
 Завѣса вѣчности страшна
 Убійцамъ, кровью обограннымъ,
 Слезами бѣдныхъ орошеннымъ.
 Въ комъ духъ и совѣсть безъ пятна,
 Тотъ съ тихимъ чувствіемъ встрѣчаетъ
 Златую Фебову стрѣлу,
 И ангелъ мира освѣщаетъ
 Предъ нимъ густую смерти мглу.
 Тамъ, тамъ—за синимъ океаномъ,
 Вдали, въ мерцаніи багряномъ,
 Онъ зреть... но мы еще не зримъ.

Причина разочарованія представляется довольно сложной: въ стихотвореніи говорится и о міровомъ злѣ вообще, и о злѣ, царящемъ въ людяхъ, и наконецъ въ частности о какихъ-то гордецахъ, глупцахъ и невѣждахъ. Однако чѣмъ бы ни было вызвано разочарованіе Карамзина, во всякомъ случаѣ уныніе, какъ проявленіе слабости, не привлекаетъ къ себѣ симпатіи, хотя бы оно и объяснялось высокой впечатлительностью человѣка,—и потому критикъ ничего нельзя возразить, когда она упрекаетъ автора „Посланія къ Дмитріеву“ въ проявленномъ имъ упадкѣ духа; но когда она считаетъ Карамзина проповѣдникомъ, призывающимъ общество лишь къ замкнутой въ домашнемъ кругу жизни и выставляющимъ такую жизнь, какъ идеаль,—намъ кажется, что она сама увлекается. Послѣдняя часть разсмотрѣннаго

стихотворенія, начиная со строки: „Но что же намъ, о другъ любезный!“ вызвала у одного критика такое разсужденіе:

„Идеаль семейнаго счастья, гармоническаго слиянія двухъ «любящихъ душъ», конечно, имѣетъ свою цѣну, если онъ не идетъ въ разрѣзъ съ понятіемъ объ общественной солидарности, о взаимности интересовъ, связующихъ въ одно цѣлое разнообразныя человѣческія ассоціаціи; въ такомъ видѣ идеаль этотъ существуетъ у всѣхъ образованныхъ націй и воспѣвается поэтами, у которыхъ преданность общему благу не враждуетъ съ ихъ личными привязанностями. Семья,—кружокъ близкихъ и единомыслящихъ людей,—является тогда какъ бы азилемъ, въ которомъ вырабатываются новыя силы, выходяція потомъ на общественную арену. Но другое дѣло, когда семья является замѣною общества, когда она, подобно трясинѣ, засасываетъ въ себя цѣлаго человѣка, убиваетъ въ немъ всякую энергію, суживаетъ кругозоръ его понятій, дѣлаетъ мелкимъ и трусливымъ эгоистомъ, готовымъ отдать все, поступиться самыми заветными стремленіями за чечевичную похлебку у домашняго очага. Проповѣдывать такой идеаль, и притомъ въ обществѣ молодомъ, разрозненномъ и не усвоившемъ себѣ даже первыхъ понятій о соціальной связи, значило—не двигать его впередъ, а оставлять, по малой мѣрѣ, на одной и той же точкѣ развитія“. ¹⁹⁸).

Все это, можетъ быть, было бы и справедливо, если бы Карамзинъ былъ авторомъ только произведеній, подобныхъ „Посланию къ Дмитріеву“. Но мы знаемъ, что ни его поэтическое тяготѣніе къ лону природы, ни его любовь къ мирной семейной жизни не мѣшали ему жить и волноваться и многими другими интересами. Положимъ, онъ говорилъ, что человѣкъ рожденъ къ „дружбѣ“; но тутъ же прибавлялъ, что человѣкъ рожденъ и къ „общезитію“. Говоря: „любовь и дружба—вотъ чѣмъ можно себя подъ солнцемъ утѣшать“, онъ говорилъ также и о высокой долѣ того, кто споспѣшествуетъ духовному совершенствованію людей. Противопоставляя тихую семейную жизнь жизни великосвѣтской, онъ однако хвалилъ иѣмцевъ за то, что они завели у себя ученые клубы и въ нихъ не только судятъ о новой книгѣ, но и толкуютъ о политикѣ. Онъ уважалъ науку между прочимъ за то, что она сближаетъ людей сѣвера и юга, и цѣнилъ всемірную торговлю англичанъ, какъ средство переносить изъ одной страны въ другую полезныя изобрѣтенія ума человѣческаго и новыя идеи. Наконецъ въ число различныхъ признаковъ просвѣщенія англичанъ онъ включилъ и то, что они „знаютъ наизусть свои истинныя

выгоды“, следовательно хвалят ихъ практичность въ общественной жизни, равно какъ хвалятъ „благодѣтельную мудрость ихъ правленія“ за то, что *salus publica* (общественное благо) „есть подлинно девизъ его“. Принимая во вниманіе все это, нельзя не признать, что взглядъ на Карамзина, какъ на проповѣдника замкнутой семейной жизни, отчужденной отъ всякихъ общественныхъ и политическихъ интересовъ, взглядъ, основанный на тѣхъ произведеніяхъ, въ которыхъ отразилось его временное настроеніе, есть взглядъ крайне односторонній.

Теперь продолжимъ начатое разсмотрѣніе относящихся къ этой главѣ произведеній Карамзина.

Разсужденіе: „Нѣ что о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи“ отличается уже инымъ характеромъ. Въ „Посланіи“ Карамзинъ приходитъ къ рѣшенію „лампаду угасить“, предоставить все на волю рока — и уйти „за мрачную сѣнь лѣсовъ“, оставивъ себѣ единственнымъ утѣшеніемъ любовь и дружбу и сознаніе, что у него „не черное сердце“. Но мысль о торжествѣ мизософовъ не только парализуетъ желаніе сложить оружіе, но и возбуждаетъ сильную энергію, заставляетъ вступить въ борьбу. Въ названномъ разсужденіи и отразился этотъ моментъ поднятія духа.

Разсужденіе это начинается такимъ вступленіемъ:

„Быль человѣкъ—и человѣкъ великій, незабвенный въ лѣтописяхъ философіи, въ исторіи людей — быль человѣкъ, который со всѣмъ блескомъ краснорѣчія доказывалъ, что просвѣщеніе для насъ вредно, и что науки несовмѣстны съ добродѣтелію! — Я чту великія твои дарованія, краснорѣчивый Руссо! Уважаю истины, открытыя тобою современникамъ и потомству — истины, отнынѣ не загладимыя на доскахъ нашего познанія—люблю тебя за твое доброе сердце, за любовь твою къ человѣчеству; но признаю мечты твои мечтами, парадоксы парадоксами“.

„Вообще разсужденіе его о наукахъ есть, такъ сказать, логическій хаосъ, въ которомъ виденъ только обманчивый порядокъ или призракъ порядка; въ которомъ сіяетъ только *ложное* солнце... Оно есть собраніе противорѣчій и софизмовъ, предложенныхъ — въ чемъ надобно отдать справедливость автору—съ немалымъ искусством“.

„Но Жанъ-Жака нѣтъ уже на свѣтѣ: начто беспокоить прахъ его? — Творца нѣтъ на свѣтѣ, но твореніе существуетъ: невѣжды читаютъ его — самые тѣ, которые ничего болѣе не читаютъ — и подъ эгидою славнаго женеваго гражданина злосло-

вать просвѣщеніе. Если бы небесный Юпитеръ отдалъ имъ на время громъ свой, то великолѣпное зданіе наукъ въ одну минуту превратилось бы въ пепелъ“.

„Я осмѣливаюсь предложить нѣкоторыя примѣчанія, нѣкоторыя мысли свои о семъ важномъ предметѣ“...

Мы уже знаемъ, что Карамзинъ еще въ „Письмахъ русскаго путешественника“ возражалъ мизософамъ ¹⁰⁴); но тогда онъ возражалъ лишь слегка и мимоходомъ, не считая нужнымъ прибѣгать къ серьезному разоблаченію ложности ихъ взгляда. Теперь же, опасаясь, что мнѣніе ихъ можетъ восторжествовать, онъ приступаетъ къ обстоятельному разсмотрѣнію трактата Руссо—и вотъ каковъ послѣдовательный ходъ его мыслей.

Приступая къ разбору трактата, Карамзинъ прежде всего указываетъ, что Руссо, говоря о наукахъ и искусствахъ, не опредѣлилъ, что такое науки и искусства, и прибавляетъ, что „если бы онъ опредѣлилъ ихъ справедливо, то всѣ главныя идеи трактата его поднялись бы на воздухъ и разсѣялись въ дымѣ, какъ пустые фантомы и чада химеры“...

Что же такое науки?—„Не смотря на разные классы наукъ, не смотря на разныя имена ихъ, онѣ суть не что иное, какъ *познаніе природы и человека, или система свѣдѣній и умствованій, относящихся къ симъ двумъ предметамъ*“. — „Отчего произошли онѣ? — Отъ любопытства, которое есть одно изъ сильнѣйшихъ побужденій души человѣческой: любопытства, соединеннаго съ разумомъ... Не сама ли природа вложила въ насъ сію живую склонность къ знаніямъ? Не она ли приводитъ ее въ движеніе своими великолѣпными чудесами, столь изобильно вокругъ насъ разсѣянными? Не она ли призываетъ насъ къ наукамъ? Можетъ ли человѣкъ быть безчувственъ тогда, когда громы природы гремятъ надъ его головою; когда страшные огни ея пылаютъ на горизонтѣ и разсѣкаютъ небо; когда моря ея шумятъ и режутъ въ необозримыхъ своихъ равнинахъ; когда она цвѣтетъ предъ нимъ въ зеленой одеждѣ своей, или сіяетъ въ златѣ блестящихъ плодовъ, или, какъ будто бы утружденная великолѣпіемъ своихъ феноменовъ, облекается въ черную ризу осени, и погружается въ зимній сонъ подъ бѣлымъ кровомъ снѣговъ своихъ?“ Обращаясь въ самую первобытную пору человѣка, мы уже видимъ, что „онъ не только о физическихъ потребностяхъ думаетъ“, но „имѣетъ душу, которая требуетъ себѣ нетѣлесной пищи. Сей дикій... собираетъ безчисленныя идеи или чувственные понятія, которыя суть не что иное, какъ непосредственное отраженіе предметовъ,

и которыя носятся сначала въ душѣ его безъ всякаго порядка; но скоро пробуждается въ ней та удивительная сила или способность, которую называемъ мы *разумомъ*, и которая ждала только чувственныхъ впечатлѣній, чтобы начать свои дѣйствія. Подобно лучезарному солнцу освѣщаетъ она хаосъ идей, раздѣляетъ и совокупляетъ ихъ, находитъ между ними различія и сходства, отношенія, частное и общее, и производитъ идеи особливаго рода, идеи отвлеченныя, которыя составляютъ *знаніе*, составляютъ уже *науку*... Такимъ образомъ можно сказать, что науки были прежде университетовъ, академій, профессоровъ, магистровъ, бакалавровъ. Гдѣ натура, гдѣ человѣкъ, тамъ учительница, тамъ ученикъ—тамъ наука. Хотя первыя понятія дикихъ людей были весьма недостаточны, но они служили основаніемъ тѣхъ великолѣпныхъ знаній, которыми украшается вѣкъ нашъ; они были первымъ шагомъ къ великимъ открытіямъ Невтоновъ и Лейбницевъ... Въ сихъ первыхъ движеніяхъ души видитъ философъ опредѣленіе человѣка: видитъ, что мы сотворены для *знаній*, для *науки*“.

„Что суть искусства?—*Подражаніе натурѣ*. Густыя, сросшіяся вѣтви были образцомъ первой хижины и основаніемъ архитектуры; вѣтеръ, вѣявшій въ отверстіе соломенной трости или на струны лука, и поющія птички научили насъ музыкѣ, тѣнь предметовъ—рисованію и живописи. Горлица, сѣтующая на вѣтви объ умершемъ дружкѣ своемъ, была наставницею перваго элегическаго поэта... *)

„Но что-жъ заставило насъ подражать натурѣ, т.-е. что произвело искусства? *Природное* человѣку стремленіе къ улучшенію бытія своего, къ умноженію жизненныхъ пріятностей. Отъ перваго шалаша до Луврской колоннады, отъ первыхъ звуковъ простой свирѣли до симфоній Гайдена, отъ перваго начертанія деревъ до картинъ Рафаэлевыхъ, отъ первой пѣсни дикаго до поэмы Клопштоковой — человѣкъ слѣдовалъ сему стремленію. Онъ хочетъ жить *покойно*: рождаются такъ называемыя *полезныя искусства*; возносятся зданія, которыя защищаютъ его отъ свирѣпости стихій. Онъ хочетъ жить *пріятно*: являются такъ называемыя *изящныя искусства*, которыя усыпаютъ цвѣтами жизненный путь его“.

„Итакъ искусства и науки *необходимы*: ибо онѣ суть плодъ

*) Я думаю, что первое поэтическое твореніе было не что иное, какъ изліяніе томно-горестнаго сердца, т.-е. что первая поэзія была элегическая...

(Примѣч. Карамз.).

природныхъ склонностей и дарованій человѣка и соединены съ существомъ его, подобно какъ дѣйствія соединяются съ причиною, т.-е. союзомъ неразрывнымъ. Успѣхи ихъ показываютъ, что духовная натура наша въ теченіе временъ, подобно какъ золото въ горнилѣ, очищается и достигаетъ большаго совершенства, показываютъ великое наше преимущество предъ всѣми иными животными, которыя отъ начала міра живутъ въ одномъ кругѣ чувствъ и мыслей, между тѣмъ какъ люди безпрестанно его распространяютъ, обогащаютъ, обновляютъ“.

Далѣе слѣдуетъ такое заключеніе: „ежели искусства и науки въ самомъ дѣлѣ зло, то они *необходимо* зло,—зло, истекающее изъ самаго естества нашего; зло, для котораго природа сотворила насъ. Но сія мысль не возмущаетъ ли сердца? Согласна ли она съ благостію природы, съ благостію Творца нашего? Могъ ли Всевышній произвести человѣка съ любопытною и разумною душою, когда плоды сего любопытства и сего разума должны были быть пагубны для его спокойствія и добродѣтели? Руссо! Я не вѣрю твоей системѣ“.

Выведя необходимость наукъ и искусствъ изъ самой природы человѣка, Карамзинъ останавливается затѣмъ на слѣдующихъ приводимыхъ противъ наукъ возраженіяхъ: 1) науки портятъ нравы: нашъ просвѣщенный вѣкъ (XVIII-ый) служитъ тому доказательствомъ; 2) спартанцы не знали ни наукъ ни искусствъ—и были добродѣтельнѣе прочихъ грековъ, и были непобѣдимы. Когда невѣжество царствовало въ Римѣ, тогда римляне повѣлывали міромъ; но Римъ просвѣтился—и сѣверные варвары наложили на него цѣпи рабства; 3) въ наукахъ много заблужденій; 4) науки и искусства вредны и потому, что мы тратимъ на нихъ драгоцѣнное время; 5) люди, занимающіеся науками, нерѣдко имѣютъ порочные нравы.—Сущность отвѣтовъ Карамзина на каждое изъ этихъ возраженій состоитъ въ слѣдующемъ: 1) Нравы въ вѣка, предшествовавшіе XVIII-ому, не были лучше, и то обстоятельство, что „порокъ старается нынѣ скрывать себя подъ личиною добродѣтели“ (въ чемъ Руссо упрекаетъ свой вѣкъ), происходитъ отъ того, что „въ нынѣшнія времена гнушаются имъ болѣе, нежели прежде“. „Мысль, что во времена невѣжества не могло быть столько обмановъ, какъ нынѣ, для того, что люди не знали никакихъ тонкихъ хитростей, есть совершенно ложная“. 2) Спартанцы не были добродѣтельнѣе прочихъ грековъ. „Тамъ, гдѣ въ забаву убивали бѣдныхъ невольниковъ, какъ дикихъ звѣрей; гдѣ тирански умерщвляли слабыхъ младенцевъ, для того,

что республика не могла надѣяться на силу рукъ ихъ,—тамъ, слѣдуя общему человѣческому понятію, нельзя искать нравственнаго совершенства“. Просвѣщенные же Аѳины сіяютъ въ исторіи человѣчества — и вѣчно сіять будутъ. „Что принадлежитъ до Рима, то науки не могли быть причиною его паденія, когда Сципіоны посвящали имъ всѣ свободные часы свои—и были Сципіонами: когда Катонъ, умирая вмѣстѣ съ республикою, въ послѣднюю ночь жизни своей читалъ Платона; когда Цицеронъ, ученѣйшій римлянинъ своего времени, презиралъ опасность и гремѣлъ противъ Катилины. Сіи герои были питомцы наукъ — и притомъ герои“. Римъ погубила роскошь, пришедшая изъ Азіи. 3) „Заблужденія въ наукахъ суть, такъ сказать, чуждые наросты. и рано или поздно исчезнуть... Изъ темной сѣни невѣжества должно идти къ свѣтозарной истинѣ сумрачнымъ путемъ сомнѣнія, чаянія и заблужденія; но мы придемъ къ прелестной богинѣ, придемъ, не смотря на всѣ препоны, и въ ея эфирныхъ объятіяхъ вкусимъ небесное блаженство“. 4) Уничтоживъ всѣ науки и всѣ искусства, какъ же будемъ употреблять время, остающееся свободнымъ отъ занятій, нужныхъ для нашего существованія, каковы, напримѣръ, земледѣліе, скотоводство?—Руссо велитъ учиться быть нѣжнымъ сыномъ, супругомъ, отцомъ, полезнымъ гражданиномъ, человѣкомъ. Но вѣдь всему этому учить мораль: а мораль—наука, и притомъ—альфа и омега всѣхъ наукъ и всѣхъ искусствъ. 5) Порочные нравы происходятъ не отъ наукъ, а совсѣмъ отъ другихъ причинъ, напр. „отъ худого воспитанія, сего главнаго источника нравственныхъ золъ, и отъ худыхъ навыковъ, глубоко вкоренившихся въ сердце“.

Вслѣдъ за этимъ Карамзинъ горячими словами указываетъ великое значеніе наукъ и искусствъ. „Любезныя музы врачуютъ всегда душевныя болѣзни. Хотя и бываютъ такіе злые недуги, которыхъ не могутъ онѣ излѣчить *совершенно*; но во всякомъ случаѣ дѣйствія ихъ благотворны—и человѣкъ, который, не взирая на нѣжный союзъ съ ними, все еще предается порокамъ, во мракѣ невѣжества сдѣлался бы, можетъ быть, страшнымъ чудовищемъ, извергомъ творенія“.

„Искусства и науки, показывая намъ красоты величественной природы, возвышаютъ душу; дѣлаютъ ее чувствительнѣе и нѣжнѣе, обогащаютъ сердце наслажденіями, и возбуждаютъ въ немъ любовь къ порядку, любовь къ гармоніи, къ добру, слѣдственно ненависть къ безпорядку, разногласію и порокамъ, которые разстраиваютъ прекрасную связь общежитія. Кто чрезъ міріады

блестящихъ сферъ, кружащихся въ голубомъ небесномъ пространствѣ, умѣетъ возноситься духомъ своимъ къ престолу невидимаго Божества; кто внимаетъ гласу Его и въ громахъ и въ зефирахъ, въ шумѣ морей и—собственномъ сердцѣ своемъ; кто въ атомѣ видитъ міръ и въ мірѣ атомъ безпредѣльнаго творенія; кто въ каждомъ цвѣточкѣ, въ каждомъ движеніи и дѣйствіи природы чувствуетъ дыханіе вышней Благодати, и въ алыхъ небесныхъ молніяхъ лобызаетъ край Саваоовой ризы: тотъ не можетъ быть злодѣемъ. На мраморныхъ скрижаляхъ исторіи, между именами изверговъ, покажутъ ли намъ имя Бакона, Декарта, Галлера, Томсона, Геснера?.. Наблюдатель человѣчества! будь вторымъ Говардомъ, и посѣти мрачныя обиталища, гдѣ ожесточенные преступники ждутъ себѣ праведнаго наказанія—сѣ несчастные, долженствующіе кровію своею примириться съ раздраженными законами; спроси—если не онѣмѣютъ уста твои въ семъ жилищѣ страха и ужаса—спроси, кто они, и ты узнаешь, что просвѣщеніе не было никогда ихъ долею, и что благодѣтельные лучи наукъ никогда не озаряли хладныхъ и жестокихъ сердецъ ихъ. Ахъ! тогда повѣришь, что ночь и тьма есть жилище Грей, Горгонъ и Гарпій; что все изящное, все доброе любитъ свѣтъ и солнце“.

Въ концѣ разсужденія авторъ обращается къ правителямъ съ такимъ воззваніемъ:

„Такъ! просвѣщеніе есть палладіумъ благонравія — и когда вы, вы, которымъ вышняя Власть поручила судьбу человѣковъ, желаете распространить на землѣ область добродѣтели, то любите науки, и не думайте, чтобы онѣ могли быть вредны; чтобы какое-нибудь состояніе въ гражданскомъ обществѣ должно было пресмыкаться въ грубомъ невѣжествѣ — нѣтъ! сіе златое солнце сіяетъ для всѣхъ на голубомъ сводѣ, и все живущее согрѣвается его лучами; сей текущій кристалль утоляетъ жажду и властелина и невольника; сей столѣтній дубъ обширною своею тѣнію прохлаждаетъ и пастуха и героя. Всѣ люди имѣютъ душу, имѣютъ сердце: слѣдственно всѣ могутъ наслаждаться плодами искусства и науки—и кто наслаждается ими, тотъ дѣлается лучшимъ человѣкомъ и спокойнѣйшимъ гражданиномъ — спокойнѣйшимъ, говорю: ибо, находя вездѣ и во всемъ тысячу удовольствій и пріятностей, не имѣетъ онъ причины роптать на судьбу и жаловаться на свою участь... Законодатель и другъ человѣчества! ты хочешь общаго блага: да будетъ же первымъ закономъ твоимъ—просвѣщеніе!.. Когда свѣтъ ученія, свѣтъ истины озаритъ всю землю и проникнетъ въ самыя темнѣйшія пещеры невѣжества:

тогда, можетъ быть, исчезнуть всѣ нравственныя Гарпіи, доселѣ осквернявшія человѣчество,—исчезнутъ, подобно какъ привидѣнія ночи на разсвѣтѣ дня исчезаютъ; тогда, можетъ быть, настанетъ золотой вѣкъ постова, вѣкъ благонравія — и тамъ, гдѣ возвышаются теперь кровавые эшафоты, тамъ сядетъ добродѣтель на свѣтломъ тронѣ“.

Этимъ концомъ своей статьи Карамзинъ, конечно, хотѣлъ напомнить о „Наказѣ“, въ которомъ императрица Екатерина, слѣдуя Монтескье и Беккарин, высказывала подобный же взглядъ на просвѣщеніе.

Сравненіе разсмотрѣннаго разсужденія съ „Посланиемъ къ Дмитріеву“ показываетъ, что отношеніе автора къ духовному прогрессу человѣчества въ обоихъ этихъ сочиненіяхъ не одинаково: въ „Посланіи“,—подъ вліяніемъ того обстоятельства, что центромъ мыслимаго въ немъ круга были „ужасныя происшествія Европы“,—все міросозерцаніе Карамзина приняло характеръ разочарованія, и явилась утрата вѣры въ постоянное совершенствованіе человѣка; въ разсужденіи же, гдѣ мысль автора занята явленіями свѣтлыми — науками и искусствами, самый предметъ уже вызывалъ въ авторѣ воспоминанія о свѣтлыхъ сторонахъ человѣчества и снова вселялъ въ него вѣру въ способность человѣка идти все впередъ по пути просвѣщенія, снова воскрешалъ въ немъ чаяніе будущаго золотого вѣка.

Замѣтимъ кстати, что въ разсужденіи: „Нѣчто о наукахъ...“ мы находимъ не только проницательное, но и рѣшительно критическое отношеніе автора къ первобытнымъ пастухамъ. Возражая на положеніе Руссо, что науки портятъ нравы, Карамзинъ между прочимъ приводитъ и слѣдующій аргументъ: „Намъ будутъ говорить о Сатурновомъ вѣкѣ, счастливой Аркадіи... Правда, сія вѣчно-цвѣтущая страна, подъ благимъ, свѣтлымъ небомъ, населенная простыми, добродушными пастухами, которые любятъ другъ друга, какъ нѣжные братья, не знаютъ ни зависти ни злобы, живутъ въ благословенномъ согласіи, повинуются однимъ движеніямъ своего сердца, и блаженствуютъ въ объятіяхъ любви и дружбы, есть нѣчто восхитительное для воображенія чувствительныхъ людей; но—будемъ искренни, и признаемся, что сія счастливая страна есть не что иное, какъ *пріятный сонъ, восхитительная мечта этого самаго воображенія*. По крайней мѣрѣ никто еще не доказалъ намъ *исторически*, чтобы она когда-нибудь существовала. Аркадія Греціи не есть та прекрасная Аркадія, которою древніе и новыя поэты прельщаютъ наше сердце и

душу. Самыя отдаленнѣйшія времена, освѣщаемыя факеломъ исторіи — времена, въ которыя искусства и науки были еще, такъ сказать, въ безсловесномъ младенчествѣ — не представляютъ ли намъ пороковъ и злодѣяній?

Между тѣмъ кровавыя происшествія продолжались, Гамбургскія газеты приносили о нихъ извѣстія — и душой Карамзина опять овладѣвали грустные чувства. Но эти чувства уже значительно отличались отъ чувствъ Мелодора: они возбуждались ужъ не мыслью о Сизифовой работѣ человечества, такъ какъ въра въ постоянный прогрессъ его была уже восстановлена, а возбуждались они лишь мыслью о временныхъ заблужденіяхъ людей — и главнымъ образомъ о заблужденіяхъ современниковъ. Такое ограниченіе возбуждающаго скорбь объекта представляетъ собою опять новый моментъ переживаемой драмы — моментъ, отразившійся въ статьѣ: „Аѳинская жизнь“.

Что же говоритъ намъ эта статья? — Она доказываетъ, что Карамзинъ хотя и успокоился относительно духовнаго прогресса человечества, но все же тяжело переживалъ современные событія, и, желая хоть на время прогнать отъ себя мысли о нихъ, онъ, по любимому обыкновенію своему, искалъ отдыха у богини Фантазій. Подъ ея покровительствомъ онъ „обращаетъ нѣжный взоръ на прошедшее“, и останавливается на древнихъ аѳинянахъ. Въ то время, какъ „просвѣщенные современники“ Карамзина ищутъ счастья путемъ борьбы и чинятъ „ужасныя безумства“, аѳинскіе греки, какъ представляетъ себѣ Карамзинъ, давно ужъ нашли его и пользовались имъ. Жизнь ихъ, по представленію автора статьи, была полна наслажденія, и они умѣли его искать и находить „вездѣ и во всемъ“. И Карамзинъ, противопоставляя аѳинянъ своимъ современникамъ, съ отраднымъ чувствомъ погружается въ созерцаніе дѣйствительно во многихъ отношеніяхъ прекрасной древне-аѳинской жизни...

„Греки, греки! кто васъ не любитъ? — (такъ начинается статья) — кто съ холоднымъ сердцемъ можетъ вообразить себѣ прекрасную картину древнихъ Аѳинъ? Кто не скажетъ иногда со вздохомъ: «для чего я не современникъ Платоновъ?» „Нашъ вѣкъ имѣетъ свои преимущества — знаю — и великія преимущества. Однакожъ... Сказать ли вамъ, государи мои, что мнѣ кажется? Мы *ученье* грековъ, а греки были — *умнѣе* насъ, такъ какъ дѣти, бѣгающіе по весеннему лугу за пестрою бабочкою, умнѣе взрос-

лыхъ людей, плывущихъ въ Америку или Индію за принятыми кореньями“.

„Тамъ, въ отечествѣ Сократовъ, болѣе, нежели гдѣ-нибудь, болѣе, нежели когда-нибудь, занимались люди важнымъ искусствомъ счастья. Наслажденіе было цѣлю ихъ философіи, экономіи, народныхъ собраній, празднествъ, зрѣлищъ, трудовъ и работъ. Вездѣ и во всемъ искали они наслажденія, искали съ жаромъ страсти, съ живѣйшимъ чувствомъ потребности, какъ любовники ищеть свою любовницу—и жизнь ихъ была, такъ сказать, самою цвѣтущею поэзіею. Смѣйтесь, друзья мои! но я отдалъ бы съ радостію свой любимый темный фракъ за какой-нибудь греческій хитонъ — и въ минуты пріятныхъ мыслей отдаю его — завертываюсь въ пурпуровую мантию (разумѣется, въ воображеніи) — покрываю голову большою распущенною шляпою, и выступаю въ Альцибіадовскихъ башмакахъ, ровнымъ шагомъ, съ философскою важностію—на древнюю аѳинскую площадь“.

Затѣмъ слѣдуетъ рядъ картинъ, изображающихъ то, чѣмъ красна была жизнь древнихъ аѳинянъ.

„Тутъ (на площади) многочисленный народъ волнуется; тутъ знакомые и незнакомые составляютъ одно шумное семейство, привѣтствуютъ и забавляютъ другъ друга, рассказываютъ новыя происшествія свѣта. Греціи, своего отечества, домашніе анекдоты трогательные и веселые, — шутятъ другъ надъ другомъ съ тою пріятною и нѣжною остротою, которая отъ Аѳинъ получила свое названіе, смѣшила людей безъ обиды и оскорбленія. Тутъ риторы и стихотворцы читаютъ наизусть свои произведенія, и собираютъ достойныя похвалы: ибо всякій гражданинъ есть знающій критикъ, умный судья всего умнаго; тутъ живописецъ показываетъ свою картину, ваятель статую; слушаетъ мнѣніе зрителей, и поправляетъ ея недостатки. Тутъ философы и софисты спорятъ объ отвлеченныхъ истинахъ, о самыхъ важнѣйшихъ предметахъ метафизики и морали, и народъ одобряетъ плесками того, кто побѣждаетъ своихъ противниковъ силою краснорѣчія и доказательствъ“.

Далѣе авторъ выходитъ за городъ, на обширныя равнины и тучныя поля, гдѣ зрѣлые колосья, какъ золотое море, волнуются отъ вѣтра. Вездѣ приносятся благодарныя жертвы богинѣ Церерѣ, поются радостныя пѣсни. Возвратившись въ городъ, онъ входитъ въ храмъ музъ, окруженный густыми, крытыми аллеями, и слушаетъ бесѣду мудраго Платона съ друзьями и учениками своими, слушаетъ, какъ этотъ „чувствительный философъ... съ блестящимъ и разительнымъ краснорѣчіемъ описываетъ всю жизнь

Сократа, жизнь, единой *добродѣтели* и *мудрости* посвященную, описываетъ чистоту и стройность его души, гармонію всѣхъ ея склонностей; великія идеи его о Божествѣ и натурѣ, пламенную любовь къ ближнимъ; ревность къ истребленію всѣхъ предразсудковъ, унижающихъ достоинство человѣка; усердіе къ распространенію всѣхъ благихъ истинъ, имѣющихъ вліяніе на судьбу земнородныхъ; всегдашнюю дѣятельность, постоянство, неутомимость; любезную скромность, которая обнаруживалась во всѣхъ его дѣлахъ, во всѣхъ бесѣдахъ и умствованіяхъ; его страсть ко всему изящному, которое почиталъ онъ зеркаломъ внутренней доброты; его нѣжность къ друзьямъ, ученикамъ и ко всѣмъ искреннимъ любителямъ мудрости“.

Но, конечно, и аѳиняне — люди: и имъ были свойственны заблужденія. И Каразинъ, чтобы указать, до какой степени могутъ доходить человѣческія заблужденія, заставляетъ Платона упомянуть о насильственной смерти Сократа и воскликнуть: „О человѣчество! Я оплакиваю твое ослѣпленіе! О человѣчество! Я стенаю о твоихъ заблужденіяхъ! Ослѣпленіе не можетъ быть вѣчно; заблужденія исчезаютъ отъ свѣта истины—но ахъ! благодѣтели твои лежатъ уже во прахѣ, умерщвленные, растерзанные, бездушные! Ты проливаешь слезы... Слезы не оживятъ ихъ—и муза исторіи изобразитъ на мраморѣ вѣчный стыдъ твой!“

Изъ храма музъ авторъ отправляется въ театръ, гдѣ представляютъ Софоклова Эдипа, и изъ театра попадаетъ на пиръ: юный Гиппій угощаетъ друзей своихъ. Описавъ подробно пиръ, авторъ такъ заканчиваетъ свою статью:

„Легкое облако задумчивости осѣнило пирующихъ. Чаши, розами оплетенныя, стояли передъ нами неподвижно. Молчаніе царствовало. Наконецъ кроткій Филоксесъ прервалъ оное: «Что есть жизнь наша?» сказалъ юноша съ тихимъ вздохомъ: *«мечтани»,* какъ говоритъ Пиндаръ; темное, печальное сновидѣніе, которое, исчезая въ пространствахъ ничтожества, оставляетъ горестную слезу въ окѣ спящаго».—«Нѣтъ, будемъ чувствительны, но будемъ и благодарны!» отвѣчаетъ ему мудрый Аристъ: «жизнь есть благой даръ боговъ, милостивыхъ и любезныхъ. Горестъ соединена съ нею, но горестъ имѣетъ свою отраду. Сія отрада, кроткій свѣтъ души, бываетъ мила сердцу. Не всегда лучезарный Фебъ сіяетъ на небѣ; но и тихая ночная лампада имѣетъ красоту свою. Горестъ соединена съ жизнію, но самая горестъ приготовляетъ сердце наше къ нѣжному чувству удовольствій. Печалень видъ природы, когда гремятъ громы, и шумный дождь ліется

изъ облаковъ рѣками; но подъ кровомъ сей глубокой тьмы оживляются въ земныхъ нѣдрахъ сѣмена плодотворныя. Мракъ исчезнетъ: фіалка и лилія расцвѣтутъ на зеленыхъ лугахъ благословенной Аттики... Часто лучъ веселія меркнетъ въ душѣ смертнаго; страшная ночь осыплетъ ее; слабый унываетъ; сердце его тоскуетъ... Утѣшься, страдалецъ! Обрати взоръ свой на восточное небо: тамъ бѣлѣется уже юный день, тамъ скоро новый лучъ возсіяетъ, и утренній пѣвецъ воспаритъ къ небесамъ надъ тобою!—Друзья! будемъ чувствительны, но будемъ и благодарны! Всемогушіе боги вліяли много радостей въ чашу жизни нашей. Кто безъ душевнаго веселія можетъ взирать на сапфиръ неба, гдѣ пылаетъ великолѣпное солнце, гдѣ сверкаютъ милліоны звѣздъ блестящихъ, гдѣ ясная луна смиренно красуется въ тихомъ своемъ теченіи? Кто безъ сладкаго чувства можетъ вступить въ святилище пальмовой рощи, чтобы, подъ шумящими листьями укрываясь отъ зноя, на мягкой муравѣ ожидать къ себѣ любезнаго Агатона или прелестной Лидіи, и бесѣдовать съ ними о милыхъ сокровенностяхъ сердца или предаваться восторгамъ нѣжной страсти? Когда же на размаринной вѣтви, въ минуты вечернія, поетъ соловей; когда невидимыя нимфы по лугамъ гуляютъ, и нѣжными руками своими обновляютъ на нихъ красоты цвѣтовъ и травокъ, поблекшихъ отъ дневного жара; когда въ сладостномъ вѣяніи зефира вся природа объявляетъ намъ, кажется, любовь свою и призываетъ къ сердечному наслажденію — ахъ! можетъ ли человекъ жаловаться на участь свою?»“...

„Друзья сограждане! мы весело провели сей вечеръ: мы были счастливы. Да будетъ таковъ вечеръ жизни нашей — и съ тихою улыбкою подадимъ руку Манну сыну, провождающему смертныхъ въ свѣтлыя поля Елисейскія“.

„Электрическій огонь любви разливается въ сердцахъ нашихъ. Мы всѣ клянемся жить и умереть друзьями боговъ и людей““...

„О друзья! все проходитъ, все исчезаетъ! Гдѣ Аѳины? Гдѣ жилище Гиппиево? Гдѣ храмъ наслажденія? Гдѣ моя греческая мантия? — Мечта! мечта! Я сижу одинъ въ сельскомъ кабинетѣ своемъ, въ худомъ шлафроктѣ, и не вижу передъ собою ничего, кромѣ догорающей свѣчки, измараннаго листа бумаги и Гамбургскихъ газетъ, которыя завтра поутру (а не прежде: ибо я хочу спать нынѣшнюю ночь покойнымъ сномъ) извѣстятъ меня объ ужасномъ безумствѣ нашихъ просвѣщенныхъ современниковъ“.

Итакъ на какихъ же представленіяхъ о жизни древнихъ

аеніяиъ отдыхала душа Карамзина?—Конечно, на представленіяхъ объ ихъ пріятнымъ образомъ устроенной общественной жизни и на представленіи о существованіи у нихъ возможности пріятнымъ же образомъ удовлетворять своимъ умственнымъ, нравственнымъ и эстетическимъ потребностямъ.

Такъ облегчалъ Карамзинъ свою грусть дарами богини Фантазіи—и мы не можемъ не замѣтить, что въ этомъ отношеніи у него было нѣчто общее со Стерномъ. Въ „Чувствительномъ путешествіи“ послѣдняго есть между прочимъ такія строки: „О сладкая подвижность человѣческаго духа! ты сразу можешь подчиниться иллюзіямъ, которыя обманываютъ скучныя минуты ожиданія и горя. Давно, давно бы уже вы исчислили дни мои, если бы большую часть ихъ я не проводилъ на этой очаровательной почвѣ. Когда дорога становится черезчуръ тяжела для моихъ ногъ или слишкомъ крута для моихъ силъ, то я сворачиваю на какую-нибудь гладкую, бархатистую тропинку, которую мечта усыпала пучками розъ всяческихъ утѣхъ, и, сдѣлавъ по ней нѣсколько туровъ, я возвращаюсь укрѣпленнымъ и освѣженнымъ“¹⁹⁵). Подобное же освѣжающее вліяніе имѣла богиня Фантазіи и на Карамзина. Положимъ, что уже самый фактъ обращенія къ этой богинѣ указываетъ на сравнительно успокоенное состояніе духа: оно указываетъ на присутствіе у Карамзина уже того „нѣжнѣйшаго перелива отъ скорби и тоски къ утѣхамъ наслажденія“, когда отчаяніе ужъ прошло; но во всякомъ случаѣ „нѣсколько туровъ по тропинкѣ, которую мечта усыпала пучками розъ“, сильно облегчали ему возвратъ къ жизнерадостному настроенію. И дѣйствительно, статья: „Аѳинская жизнь“ убѣждаетъ, что въ сердцѣ автора ея была не одна грусть: въ немъ нашлось нѣкоторое мѣсто и противоположному чувству. „Всемогущіе боги вліяли много радостей въ чашу жизни нашей“, говоритъ авторъ устами „мудраго“ Ариста—и перечисляетъ эти радости. вмѣстѣ съ тѣмъ и скорбь о заблужденіяхъ человѣческихъ значительно умѣряется мыслью, что заблужденіе также имѣетъ конецъ свой, мракъ смѣняется свѣтомъ.

Прошло еще немного времени — и Карамзинъ окончательно разобрался въ своемъ душевномъ хаосѣ, успокоился еще болѣе, привелъ свои прежнія мрачныя мысли въ соотношеніе съ новыми, свѣтлыми — и тогда именно пожелалъ выразить и тѣ и другія. Такимъ образомъ появилось письмо Мелодора къ Филалету и отвѣтъ на него — письмо Филалета къ Мелодору.

Но прежде чѣмъ перейти къ послѣднему, замѣтимъ еще,

что въ статьѣ: „Лондонская жизнь“ обращаетъ на себя вниманіе отношеніе ея автора къ Сократу, какъ къ идеалу нравственно-усовершенствованнаго человѣка—идеалу, черты котораго Карамзинъ нѣсколько позднѣе пытался изобразить въ повѣсти: „Юлія“—въ лицѣ Ариса.

Письмо Филалета къ Мелодору мы назвали развязкой прожитой Карамзинымъ драмы—и къ этой развязкѣ теперь обратимся.

„Подобно тебѣ (говоритъ Филалетъ, отвѣчая на письмо Мелодора) смотрю я внимательнымъ окомъ на явленія въ мірѣ; вздыхаю, подобно тебѣ, о бѣдствіяхъ человѣчества, и признаюсь искренно, что грозныя бури нашихъ временъ могутъ поколебать систему всякаго добродушнаго философа. Но неужели, другъ мой, не найдемъ мы никакого успокоенія въ глубинѣ сердецъ нашихъ? Ужели въ отчаяніи горести будемъ проклинать міръ, природу и человѣчество? Ужели откажемся навѣки отъ своего разума, и погрузимся во тьму унынія и душевнаго бездѣйствія?—Нѣтъ, нѣтъ! сии мысли ужасны. Сердце мое отвергаетъ ихъ“...

„Такъ, Мелодоръ! я хочу спастись отъ кораблекрушенія съ моимъ добрымъ мнѣніемъ о Провидѣніи и человѣчествѣ, мнѣніемъ, которое составляетъ драгоцѣнность души моей. Пусть міръ разрушится на своемъ основаніи: я съ улыбкою паду подъ смертоносными громами, и улыбка моя, среди всеобщихъ ужасовъ, скажетъ Небу: *Ты благо и премудро; благо творснѣе руки Твоѣ; благо сердце человѣческое, изящнѣйшее произведеніе любви Божественной!*

„Уничтожъся навѣки мысленная и чувствительная сила моя, прежде нежели повѣрю, что сей міръ есть пещера разбойниковъ и злодѣевъ, добродѣтель—чуждое растеніе на земномъ шарѣ, просвѣщеніе—острый книжаль въ рукахъ убійцы! Нѣтъ, мой другъ! пусть докажутъ мнѣ напередъ, что Богъ не существуетъ; что Провидѣніе есть одно слово безъ значенія; что мы дѣти случая, слѣпленіе атомовъ, и болѣе ничего! Но гдѣ же тотъ безумный извергъ, который захотѣлъ бы увѣрить меня въ сихъ страшныхъ нелѣпостяхъ? Я взгляну на сапфирное небо, взгляну на цвѣтущую землю, положу руку на сердце, и скажу атеисту: ты безумецъ!“

„Неужели, видя Бога въ естественномъ мірѣ... будемъ мы отрицать Его содѣйствіе въ одномъ нравственномъ мірѣ, который по существу своему долженъ быть... ближе перваго къ

сердцу великаго Божества? Соглашаюсь, что порядок нравственный не столь ясенъ для насъ, какъ порядокъ физическій; но сіе затрудненіе не происходитъ ли отъ слабости нашего разума? Можетъ быть, единственно оттого мы и не постигаемъ нравственной гармоніи, что она есть высочайшая, совершеннѣйшая. Дай несвѣдущему творенію Локковы: что онъ скажетъ объ нихъ? Дай ему сказку Кребилъионову: онъ восхитится ею... Можетъ быть, то, что кажется смертному великимъ неустройствомъ, есть чудесное согласіе для ангеловъ; можетъ быть, то, что кажется намъ разрушеніемъ, есть для ихъ небесныхъ очей новое, совершеннѣйшее бытіе. Сіи мысли ведутъ меня ко святилищу Божественной премудрости, густымъ мракомъ окруженному; духъ мой, брешною плотію одѣянный, не можетъ проникнуть въ оное; упадаю во прахъ своего ничтожества, и въ младенческомъ сердцѣ обожаю Всетворящаго... Мелодоръ! для чего къ Провидѣнію не имѣть намъ той довѣренности, которую два человѣка могутъ имѣть одинъ къ другому? Богъ вложилъ чувство въ наше сердце; Богъ вселилъ въ мою и въ твою душу ненависть ко злѣ, любовь къ добродѣтели: сей Богъ, конечно, обратитъ все къ цѣли *общаго блага*".

Такимъ образомъ успокоеніе найдено на религіозно-оптимистической почвѣ. На этой почвѣ Карамзинъ-Филалетъ продолжаетъ и дальнѣйшее свое разсужденіе:

„Сія драгоцѣнная вѣра можетъ чудеснымъ образомъ успокоить доброе сердце, возмущенное страшными феноменами на театрѣ міра... Иногда, признаюсь тебѣ, я самъ бываю слабъ и печаленъ; отвращаюсь отъ свѣта, отъ людей...; душа моя стремится во мракъ какихъ-нибудь неизвѣстныхъ лѣсовъ, во мракъ самага ничтожества; но я стараюсь уменьшать число такихъ минутъ въ жизни моей, оживляя въ душѣ мысль о Всетворящемъ Божествѣ... Думаю, взираю на сводъ лазоревый; возношусь духомъ выше, выше—и взоръ мой проясняется; отираю слезы—и мирюсь съ судьбою, мирюсь съ человѣческимъ родомъ. Иду въ тихій кабинетъ свой, читаю добрыхъ философовъ, утѣшителей; размышляю—и сравниваю жестокія потрясенія въ нравственномъ мірѣ съ лиссабонскимъ или мессинскимъ землетрясеніемъ, которое свирѣпствовало, разрушало и наконецъ утихло... Будемъ, мой другъ, будемъ и нынѣ утѣшаться мыслию, что жребій рода человѣческаго не есть вѣчное заблужденіе, и что люди когда-нибудь перестанутъ мучить самихъ себя и другъ друга. Сѣмя добра есть въ человѣческомъ сердцѣ, и не исчезнетъ во вѣки; рука Провидѣнія хранитъ его отъ хлада и бурь. Теперь сви-

рѣшствуютъ аквилоны; но рано или поздно настанетъ благодѣтельная весна, и сѣмя распустится отъ животворнаго дыханія зефировъ. Вѣрю, и всегда вѣрить буду, что добродѣтель свойственна человѣку, и что онъ сотворенъ для добродѣтели. Кто не плѣняется описаніемъ златого вѣка, вѣка невинности? Кто не проливаетъ слезъ умиленія, внимая повѣствованію о дѣлахъ великодушія и геройства? Кто не любитъ воображать себя добрымъ, благодѣтельнымъ существомъ? Мой другъ! я былъ среди такъ называемыхъ просвѣщенныхъ народовъ, былъ среди народовъ дикихъ, и видѣлъ, что вездѣ, во всѣхъ странахъ человѣкъ дѣлаетъ зло съ пасмурнымъ лицомъ, а добро съ пріятною улыбкою!.. Сія черта нравственности любезна философу.—Соглашаюсь съ тобою, что мы нѣкогда излишне величали осьмойнадесятъ вѣкъ, и слишкомъ много ожидали отъ него. Пронсшествія доказали, какимъ ужаснымъ заблужденіемъ подверженъ еще разумъ нашихъ современниковъ! Но я надѣюсь, что впереди ожидаютъ насъ лучшія времена; что природа человѣческая болѣе усовершенствуется—напримѣръ, въ девятнадцатомъ вѣкѣ—нравственность болѣе исправится—разумъ, оставивъ всѣ химерическія предпріятія, обратится на устроеніе мирнаго блага жизни, и *зло настоящее послужитъ къ добру будущему*“.

Далѣе Филалетъ возражаетъ Мелодору на его мысли о торжествѣ мизософовъ, о вѣчномъ возвышеніи и паденіи разума человѣческаго и на его заявленіе о томъ, что природа уже не веселитъ его. Сущность этихъ возраженій слѣдующая.

Мизософы „никогда торжествовать не будутъ... Я имѣю довѣренность къ мудрости властителей — и спокоенъ; имѣю довѣренность ко благодѣтели Всевышняго — и спокоенъ: Нѣтъ! свѣтильникъ наукъ не угаснетъ на земномъ шарѣ... Всемогуцій не лишитъ насъ сего драгоцѣннаго утѣшенія добрыхъ, чувствительныхъ, печальныхъ“.

Мысль о вѣчномъ возвышеніи и паденіи разума человѣческаго—воздушный замокъ. „Исторія застала людей во младенчествѣ, въ начальной простотѣ, которая несовмѣстна съ великими успѣхами наукъ. Даже въ Египтѣ видимъ мы только первыя дѣйствія ума, первыя магазины знаній, въ которыхъ истины были перемѣшаны съ безчисленными заблужденіями. Самые греки — я люблю ихъ, мой другъ,—но они были не что иное, какъ милыя дѣти... Читай вмѣстѣ Платона и Боннета, Аристотеля и Локка—я не говорю о Кантѣ—и потомъ скажи, что была греческая философія въ сравненіи съ нашею. Для чего и теперь не думать

намъ, что вѣки служатъ разуму лѣствицею, по которой возвышается онъ къ своему совершенству, иногда быстро, иногда медленно... Нѣтъ, нѣтъ! Сизифъ съ камнемъ не можетъ быть образомъ человѣчества, которое безпрестанно идетъ своимъ путемъ и безпрестанно измѣняется. Прохладимъ, успокоимъ наше воображеніе—и мы не найдемъ въ исторіи никакихъ повтореній. Всякій вѣкъ имѣетъ свой особый нравственный характеръ“. За этимъ слѣдуетъ самое важное: установленіе точки зрѣнія на нравственный міръ. „Мой другъ! мы должны смотрѣть на міръ, какъ на великое позорище, гдѣ добро со зломъ, гдѣ истина съ заблужденіемъ ведетъ кровавую брань. Терпѣніе и надежда! Все несправедное, все ложное гибнетъ, рано или поздно гибнетъ; одна истина не страшится времени; одна истина пребываетъ вѣки“. Другими словами—Карамзинъ снова приходитъ къ прежней вѣрѣ своей въ будущій золотой вѣкъ человѣчества, къ прежней увѣренности, что оно все болѣе и болѣе совершенствуется, хотя совершенствованіе дается ему путемъ упорной нравственной борьбы.

На заявленіе Мелодора, что природа уже не веселитъ его, Филалетъ отвѣчаетъ: „Пока чувствительное сердце бьется въ груди твоей. люби природу, утѣшайся ею, ищи радости въ ея объятіяхъ! Люди, по несчастному заблужденію, могутъ быть злы: природа никогда!“

Письмо заканчивается слѣдующими словами: „Мелодоръ! намъ не вѣкъ жить въ семъ мірѣ. Ударитъ часъ—и все перемѣнится! Съ сею любовію къ добродѣтели, которая была, есть и будетъ вѣчнымъ характеромъ души твоей, падемъ въ могилу и закроемся тихою землею!.. “

Тамъ, тамъ, за синимъ океаномъ,
Вдали, въ мерцаніи багрянѣмъ,

тамъ вѣнецъ безсмертія и радости ожидаетъ земныхъ тружениковъ!»

Переписка Мелодора и Филалета, „Посланіе къ Дмитріеву“ и статьи: „Нѣчто о наукахъ...“ и „Аѳинская жизнь“ имѣютъ глубокий интересъ 1) какъ характеристика ихъ автора — человѣка, до того проникнутаго любовью къ просвѣщенію, что даже одна мысль о возможности нанесенія ущерба этому дорогому для него предмету заставляла его страдать; 2) какъ психологическій этюдъ, какъ картина внутренней драмы съ изображеніемъ страданія и—стремленія избавиться отъ страданія и привести себя къ благополучной развязкѣ.

Послѣ тѣхъ свѣтлыхъ мыслей и чувствъ, которыя высказаны въ статьяхъ: „Нѣчто о наукахъ...“, „Аѳинская жизнь“ и въ письмѣ Фиалета; послѣ того, какъ вѣра Карамзина въ постоянное совершенствованіе человѣчества возстановилась; наконецъ послѣ того, какъ онъ заявилъ устами Ариста, что „боги вліяли много радостей въ чашу жизни нашей“,—послѣ всего этого естественно было бы ожидать, что успокоенный писатель нашъ снова заговоритъ о страстномъ своемъ желаніи

Источникъ радостей и благъ
Открыть въ чувствительныхъ душахъ,
Плѣнить ихъ истиной святою,
Ея неплѣнной красотой,
Орудіемъ небеснымъ быть,
И въ памяти потомства жить.

Тѣмъ болѣе можно было бы этого ожидать, что въ письмѣ Мелодора уже говорилось о блаженной долѣ того, кто ускоряетъ ходъ всемірнаго совершенія, и высказывалось, что истинный мудрецъ считаетъ свою мудрость лишь бременемъ, если не можетъ сообщать ее ближнимъ. Однако на дѣлѣ было иначе — и Карамзинъ, какъ показываетъ „Посланіе къ Александру Алексѣевичу Плещееву“ ¹⁹⁶) (1794), ограничился желаніями, болѣе скромными. Правда, „Посланіе“ это совсѣмъ иного характера, нежели „Посланіе къ Дмитріеву“: авторъ его уже не мечтаетъ уйти въ сумрачную сѣнь лѣсовъ, а напротивъ—говоритъ о необходимости примириться съ жизнью; но тѣмъ не менѣе настроеніе его нельзя назвать жизнерадостнымъ, поднятымъ: онъ лишь спокоенъ; но это спокойствіе не счастливаго, а лишь примирившагося человѣка; не энергичнаго борца, а сдавшагося на капитуляцію воина. Вотъ что говоритъ Карамзинъ въ „Посланіи къ Плещееву“:

Престанемъ льстить себя мечтою,
Искать блаженства подъ луною!
Скорѣе, другъ мой, ты найдешь
Чудесный философскій камень,
Чѣмъ вѣкъ безъ горя проживешь.
Япетовъ сынъ эеprный пламень
Похитилъ для людей съ небесъ,
Но счастья съ нимъ онъ не принесъ;
Оно въ удѣлъ намъ не досталось,
И тамъ, съ Юпитеромъ, осталось.
Вздыхай, тужи; но пользы нѣтъ!
Судьбы рекли: „да будетъ свѣтъ
Жилищемъ призраковъ, суетъ,

Немногихъ благъ и многихъ бѣдъ!..“

Что жъ дѣлать намъ? Ужель сокрыться
Въ пустыню Муромскихъ лѣсовъ,
Въ какой-нибудь безвѣстный кровъ,
И съ міромъ навсегда проститься,
Когда, къ несчастью, міръ таковъ?...

Каковъ ни есть подлунный свѣтъ;
Хотя блаженства въ ономъ нѣтъ;
Хотя въ немъ горестъ обитаетъ:
Но мы для свѣта рождены,
Душой, умомъ одарены,
И должны въ немъ, мой другъ, остаться.
Чѣмъ можно, будемъ наслаждаться,
Какъ можно менѣе тужить,
Какъ можно лучше, тише жить,
Безъ всякихъ суетныхъ желаній,
Пустыхъ, блестящихъ ожиданій;
Но что пріятное найдемъ,
То съ радостью себѣ возьмемъ...
Добра *не много* на землѣ,
Но есть оно—и тѣмъ милѣе
Ему быть должно для сердець.

Далѣе Карамзинъ рисуетъ скромный идеалъ возможнаго счастья—и именно вотъ въ какихъ чертахъ:

Кто малымъ можетъ быть доволенъ,
Не скованъ въ чувствахъ, духомъ воленъ,
Не есть чиновъ, богатства льстецъ,
Душою такъ же прямъ, какъ станомъ,
Не ищетъ благъ за океаномъ
И съ моря кораблей не ждетъ,
Шумящихъ вѣтровъ не робѣетъ,
Подъ солнцемъ домикъ свой имѣетъ,
Въ сей день для дня сего живетъ
И мысли въ даль не простираетъ;
Кто смотритъ прямо всѣмъ въ глаза;
Кому несчастнаго слеза
Отравы въ пищу не вливаетъ;
Кому работа не трудна,
Прогулка въ полѣ не скучна,
И отдыхъ въ знойный часъ любезенъ;
Кто ближнимъ иногда полезенъ
Рукой своей или умомъ;
Кто можетъ быть пріятнымъ другомъ,
Любимымъ, счастливымъ супругомъ
И добрымъ милыхъ чадъ отцомъ;
Кто музъ отъ скуки призываетъ
И нѣжныхъ грацій, спутницъ ихъ;
Стихами, прозой забавляетъ

Себя, домашнихъ и чужихъ;
Отъ сердца чистаго смѣется
(Смѣяться, право, не грѣшно
Надъ тѣмъ, что кажется смѣшно!):
Тотъ въ мирѣ съ міромъ уживется,
И дней своихъ не прекратитъ
Желѣзомъ острымъ или ядомъ;
Тому сей міръ не будетъ адомъ;
Тотъ путь свой розой оцвѣтитъ
Среди колючихъ жизни терній,
Отраду въ горестяхъ найдетъ.
Съ улыбкой встрѣтитъ часъ вечерній,
И въ полночь тихимъ сномъ заснетъ.

Это отразившееся въ „Посланіи къ Плещееву“ пониженное настроеніе духа стало у Карамзина господствующимъ на долгое время: до восшествія на престолъ императора Александра. Иногда, конечно, оно подымалось, но зато нерѣдко и опускалось еще ниже. Если его нельзя прослѣдить изъ года въ годъ по сочиненіямъ Карамзина, то по крайней мѣрѣ можно это сдѣлать по его письмамъ къ Дмитріеву—и мы соберемъ важнѣйшее.

„Рѣдко, рѣдко пишу тебѣ; но если бы ты зналъ, въ какомъ я нынѣ расположеніи, то, конечно, бы не сталъ винить меня“ (6 сент. 1794).—„Завтра я скачу изъ Москвы въ деревню къ Настасьѣ Ивановнѣ (Плещеевой), которая очень, очень больна и не встаетъ съ постели, что, *вмѣстѣ съ другими обстоятельствами*, раздражаетъ мое сердце“ (1795) ¹⁹⁷).—„Теперь живу безъ плана и лѣнюсь думать о томъ, что ожидаетъ меня впереди“ (2 сент. 1795).—„Малодушіе и слабость... дѣлаютъ меня иногда излишне чувствительнымъ къ житейскимъ непріятностямъ, отвращаютъ отъ всякаго дѣла и мѣшаютъ даже собраться съ мыслями, нужными для того, чтобы написать пять или шесть строкъ къ любезному человеку“ (18 февр. 1796).—„Больше и больше теряю охоту жить въ свѣтѣ и ходить подъ черными облаками, которыхъ тѣнь помрачаетъ въ глазахъ моихъ всѣ цвѣты жизни“ (4 іюня 1796).—„Жизнь кажется мнѣ скучною, безплодною равниною; тамъ, впереди, что-то возвышается... надгробный камень — и вотъ эпитафія:

Богъ далъ мнѣ свѣтъ ума: я истины искалъ,
И видѣлъ ложь вездѣ — свѣтильникъ погашаю.
Богъ далъ мнѣ сердце: я страдалъ —
И Богу сердце возвращаю.

(11 марта 1797 года).

„Восторги рѣдки и дороги; довольно, чтобы не очень беспокоиться“ (18 янв. 1798).—Къ этому собранію отрывковъ надо до-

бавить еще тѣ два (одинъ изъ писемъ 1798, а другой изъ п. 1799 г.), которые уже приведены у насъ въ VI-ой главѣ, и въ которыхъ рѣчь идетъ о чашѣ, наполненной сладкимъ и горькимъ, и объ ожидаемомъ лѣкарѣ (с. 76).

Чѣмъ же объяснить такое пониженіе состоянія духа Карамзина послѣ того, какъ оно, судя по письму Филалета, было уже значительно поднято?—Карамзинъ самъ даетъ объясненіе въ письмѣ къ Дмитріеву отъ 18 янв. 1798 г. „Философія“—говоритъ онъ— „можетъ утѣшать насъ по временамъ; но жизнь течетъ вопреки всѣмъ прекраснымъ теоріямъ мудрости“. И въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ старался утѣшить себя Карамзинъ съ того времени, какъ онъ очутился надъ развалинами своихъ надеждъ и замысловъ? Не теоретическими ли разсужденіями? Такія утѣшенія онъ самъ, наконецъ, призналъ не имѣющими большой силы, если дѣйствительная жизнь течетъ вопреки утѣшительнымъ теоріямъ. Объ утѣшеніяхъ же дарами богини Фантазій, конечно, нечего и говорить: они еще эфемернѣе. А между тѣмъ жизнь дѣйствительно текла вопреки теоріямъ Карамзина—и небо рѣдко бывало „сапфирнымъ“: ему приходилось большею частію „ходить подъ черными облаками“. Облаками этими, кромѣ продолжавшихся въ Европѣ войнъ, были разныя другія обстоятельства (напр. болѣзни и денежное разстройство въ семьѣ Плещеевыхъ, отраженіе на Карамзинѣ немилости правительства къ Новикову, при чемъ дѣло дошло даже до того, что „князь Прозоровскій (1794) предписывалъ отложить изъ конфискованныхъ изданій въ разрядъ «вредныхъ книгъ» переводъ Карамзина трагедіи Шекспира «Юлія Цезаря»“¹⁹⁸); по самымъ главнымъ изъ нихъ былъ вообще реакціонный духъ послѣднихъ годовъ царствованія императрицы Екатерины и наступившій затѣмъ рѣжимъ въ правленіе императора Павла. Письмо Филалета не успѣло положить конецъ одной драмѣ, какъ въ душѣ Карамзина завязалась другая, разрѣшившаяся лишь съ восшествіемъ на престолъ Александра. Съ конца 1794 г. Карамзинъ обнаруживаетъ значительное воздержаніе въ литературныхъ занятіяхъ и даже пускается въ свѣтскую жизнь. „Я веду теперь самую разсѣянную жизнь, имѣю множество новыхъ знакомыхъ, et je ne suis presque jamais à moi... Иногда забываюсь; иногда лучъ удовольствія блеститъ въ моемъ сердцѣ; иногда же тоскую“, пишетъ онъ къ Дмитріеву 8 ноября 1794 г. „Если бы экономическія обстоятельства не заставляли меня имѣть дѣло съ типографіею (пишетъ онъ къ нему же 27 іюля 1798 г.), то я, положивъ руку на алтарь музъ и заплакавъ горько, поклялся бы не служить

имъ болѣе ни сочиненіями ни переводами. Странное дѣло! У насъ есть академія, университетъ, а литература подъ лавкою!" II въ то же время Карамзинъ томился своею бездѣятельностью, своею насильственною свѣтскою жизнью. Въ этомъ же письмѣ читаемъ: „Нѣтъ человѣка, которому бы такъ называемый свѣтъ былъ скучнѣе, нежели мнѣ“. Но цензура, какъ черный медвѣдь, стоитъ на дорогѣ; къ самымъ бездѣлцамъ придираются... Досадно, когда въ безгрѣшномъ находятъ грѣшное“ (п. къ Дм. 18 авг. 1798). Цензура при императорѣ Павлѣ дѣйствительно была крайне строга: такъ, напримѣръ, она не дозволила Карамзину помѣстить въ „Пантеонѣ иностранной словесности“ русскій перевод Демосееновыхъ рѣчей ¹⁹⁹); когда онъ предпринялъ отдѣльное изданіе „Писемъ р. путешественника“, она задержала двѣ послѣднія ихъ части, такъ что онѣ появились лишь въ 1801 г. уже при новомъ императорѣ.

Такова была дѣйствительность, сокрушавшая утѣшительныя теоріи Карамзина и не дававшая духу его воспрянуть.

Однако о безсиліи теоретическихъ утѣшеній Карамзинъ заявилъ лишь въ 1798 г.; до тѣхъ же поръ онъ все еще прибѣгалъ къ нимъ, что доказывается его стихотвореніемъ: „Къ самому себѣ“ (1795) и „Разговоромъ о счастіи“ (1797).

Для насъ безразличенъ ближайшій поводъ, по которому написано упомянутое стихотвореніе, такъ какъ намъ важно лишь отмѣтить желаніе Карамзина ободрить себя путемъ разсужденія. Вотъ что читаемъ въ этомъ стихотвореніи:

Прости, надежда!.. и навѣкъ!..
 Исчезло все, что сердцу льстило,
 Душѣ моей казалось мило;
 Исчезло! — Слабый человѣкъ!
 Что хочешь дѣлать? обливаться
 Рѣкою горькихъ тщетныхъ слезъ?
 Стенать во прахѣ и терзаться?..
 Что пользы? Рока и Небесъ
 Не тронешь ты своей тоскою,
 И будешь жалою лишь себѣ!
 Нѣтъ, лучше докажи судьбѣ,
 Что можешь быть великъ душою,
 Спокоенъ вопреки всему.
 Чего робѣть? Ты самъ съ собою!
 Прибѣгни къ сердцу своему:
 Оно — твой другъ, твоя отрада,
 За всѣ несчастія награда.
 Еще ты въ мірѣ не одинъ! —
 Еще ты міра гражданинъ!..
 Смотри, какъ солнце надъ тобою

Сіяетъ славой, красотою;
 Какъ ясенъ, чистъ небесный сводъ;
 Какъ мирно, тихо все въ природѣ!
 Зефиръ струитъ зеркало водъ,
 И птички въ радостной свободѣ
 Поютъ: „будь весель, улыбнись!“
 Поютъ тебѣ согласнымъ хоромъ.
 А ты стоишь съ унылымъ взоромъ,
 Съ душою мрачной?.. Ободришь,
 И вспомни, что бывалъ ты прежде,
 Какъ мудрымъ въ чувствахъ подражалъ,
 Сократа сердцемъ обожалъ,
 Съ Катонѣмъ смерть любилъ, въ надеждѣ
 Носить безсмертія вѣнецъ.
 Житейскихъ радостей конецъ
 Да будетъ для тебя началомъ
 Геройской твердости въ душѣ!
 Язвимый лютыхъ бѣдствіи жаломъ,
 Забвенный въ темномъ шалашѣ
 Всѣмъ свѣтомъ, ложными друзьями,
 Умѣй спокойными очами
 На міръ обманчивый взирать,
 Несчастье съ счастьемъ презирать!

Письма Карамзина къ Дмитріеву убѣдительнымъ образомъ доказываютъ, что вся эта стоическая философія разбивалась при встрѣчѣ съ дѣйствительною жизнью и уступала мѣсто живому чувству мягкой и впечатлительной души—и Карамзинъ, вмѣсто того, чтобы „несчастье съ счастьемъ презирать“, приступаетъ къ обстоятельному разсмотрѣнію вопроса о счастьѣ. Но прежде чѣмъ взглянуть, какъ разрѣшенъ Карамзинымъ этотъ вопросъ, замѣтимъ мимоходомъ, что имъ не забывалась и богиня Фантазія. Въ стихотвореніи: „Къ бѣдному поэту“ (1796) находимъ такіа обращенія къ нему строки:

Мой другъ! Существенность бѣдна:
 Играй въ душѣ своей мечтами,
 Иначе будетъ жизнь скучна.
 Не Крезъ съ мѣшками, сундуками
 Здѣсь можетъ веселѣе жить,
 Но тотъ, кто въ бѣдности умѣетъ
 Себя богатствомъ веселить;
 Кто даръ воображать имѣетъ
 Въ карманѣ тысячу рублей,
 Копейки въ домѣ не имѣя.

Теперь обратимся къ „Разговору о счастьи“²⁰⁰). Разговоръ этотъ ведется между тѣми же двумя друзьями: Мелодоромъ, представителемъ пессимизма, утверждающимъ, что счастья нѣтъ на

землѣ, и Филалетомъ, говорящимъ отъ лица автора и доказывающимъ, что счастье существуетъ. Мысли Филалета прекрасно резюмированы Галаховымъ въ слѣдующихъ словахъ: ²⁰¹).

„У Мелодора темный взглядъ на природу и жизнь человѣческую: онъ видитъ въ мірѣ хаосъ заблужденій, обмановъ и безчисленныхъ золъ всякаго рода. Доброму сердцу невозможны спокойныя наслажденія, когда вокругъ него свирѣпствуютъ развращенныя страсти, порокъ, злоба. Въ уныніи, почти въ отчаяніи спрашиваетъ онъ своего друга: есть ли счастье въ мірѣ? можетъ ли человѣкъ найти его?—Нѣтъ и есть, не можетъ и можетъ,—отвѣчаетъ ему Филалетъ,—смотря по тому, какое значеніе придаемъ мы слову *счастье*. Если мы подъ счастьемъ разумѣемъ такое состояніе души, въ которомъ бы она могла безпрестанно наслаждаться живыми удовольствіями, потерявъ всѣ чувства недостатка, сливаясь, такъ сказать, со внѣшними предметами, какъ тоны сливаются между собою въ гармоническомъ строѣ, и находя въ одномъ наслажденіи чувство бытія своего,—то оно невозможно по образованію души нашей. Человѣку не дано совершеннаго блаженства. Но если счастье состоитъ въ томъ, чтобы находить въ жизни многія истинныя пріятности, не скучать ею, не роптать на судьбу, быть довольнымъ,—то оно возможно и дано человѣку“.

„Чѣмъ же пріобрѣтается это самодовольство, безъ котораго человѣкъ не можетъ быть счастливъ? Повиновеніемъ сердцу и разсудку. Сердце велитъ искать удовольствій, а разсудокъ—однихъ невинныхъ удовольствій, *согласныхъ съ законами природы*. Природа—благодѣтельная мать всего живущаго: она дала намъ чувства для того, чтобы улаживать ихъ; дала намъ разсудокъ для того, чтобы выбирать лучшія наслажденія; дала страсти для того, что онѣ нужны, необходимы для дѣятельности въ физическомъ и нравственномъ мірѣ. Страсти въ своихъ границахъ благодѣтельны, внѣ границъ пагубны; границы долженъ назначать разсудокъ. Здѣсь Филалетъ является панегиристомъ страстей—любви, корыстолюбія, честолюбія. Онъ различаетъ правильное ихъ дѣйствіе отъ пагубныхъ заблужденій. Любовь доставляетъ намъ счастье при осторожности и благоразуміи, и несчастье безъ этихъ двухъ качествъ. Разсудокъ велитъ умѣрять ее, когда она мучитъ сердце. Непостоянство, измѣна бываютъ только въ слабыхъ или мнимыхъ привязанностяхъ; истинная привязанность постоянна. Кто изъ непостоянства или измѣны приходитъ въ отчаяніе, тотъ обнаруживаетъ не любовь, а гордость. Корыстолюбіе хорошо въ своемъ источникѣ, естественно и согласно съ умомъ, когда ограничи-

вается приготовленіемъ нужнаго, приготовленіемъ хорошими средствами, для собственной пользы. Это—мудрое предвидѣніе муравьевъ, готовящихъ запасъ на зимнее время; но оно же становится преступнымъ, заставляя человека присвоивать чужое, мучить себя и ближнихъ для умноженія сокровищъ. Наконецъ честолюбіе есть самая благородная, нравственная страсть, собственно человеку данная и неизвѣстная другимъ животнымъ по грубому образованію ихъ души. Геростраты, Александры, Аттилы служатъ только примѣромъ развращеннаго честолюбія; но честолюбіе истинное, природное, есть желаніе нравиться подобнымъ себѣ нравственнымъ существамъ, заслужить ихъ доброе мнѣніе, почтеніе, любовь. Эта страсть болѣе всего привязываетъ насъ къ общежитію; она источникъ многихъ добрыхъ дѣлъ, и натура, вселивъ ее въ наше сердце, утверждаетъ связи гражданской жизни, возвышаетъ человѣчество, заставляетъ насъ быть благодарными, такъ какъ нѣтъ иного надежнѣйшаго средства заслужить добрую славу“.

„Но если страсти, благодарныя при своемъ естественномъ теченіи, такъ пагубны въ заблужденіяхъ, то для чего природа предоставила намъ возможность заблуждаться, возмущать самый чистый источникъ, преобразовать добро въ зло? — Для того, что человекъ не машина: ему дана свобода—право выбора и рѣшенія. Кто слѣдуетъ мудрымъ законамъ природы, тотъ благодаритъ ее за эту свободу. Она употребила, съ своей стороны, всѣ средства удержать наши страсти въ естественномъ, или, что одно и то же, въ благомъ ихъ теченіи, соединивъ съ истиннымъ путемъ живое удовольствіе, а съ заблужденіемъ — горе и страданіе. Не она виновата, если мы несчастны, и врожденные склонности—источникъ вѣрныхъ благъ — превращаемъ въ источникъ злѣ, вопреки ея доброму намѣренію. Человекъ долженъ быть творцомъ своего благополучія, приводя страсти въ счастливое равновѣсіе и образуя вкусъ для истинныхъ наслажденій, т.-е. пріобрѣтая навыкъ соглашать чувства съ разсудкомъ“.

„Доказавъ, что счастіе существуетъ, Филалетъ рѣшаетъ потомъ вопросъ: кто можетъ имъ пользоваться? Всѣ безъ исключенія—таково рѣшеніе вопроса. Истинныя удовольствія равняютъ людей. Естественное, другими словами, разумное благополучіе должно быть общимъ добромъ человѣчества, не собственностью нѣкоторыхъ избранныхъ людей: иначе мы имѣли бы право обвинять Небо въ пристрастіи. Оно соединяетъ всѣхъ людей, даетъ царю и земледѣльцу чувствовать, что они братья, дѣти одного

Отца, рожденные съ одинакими сердцами, съ одинакими способностями для наслажденія. Это равенство счастья состоитъ не въ равной суммѣ благъ, данной каждому человѣку, а въ равенствѣ чувства, которымъ наслаждается каждый данною ему долею блага. Оно не количественное, а качественное; не отношеніемъ къ другимъ долямъ оно измѣряется: его мѣра въ личномъ ощущеніи, во внутреннемъ довольствѣ каждаго отдѣльнаго смертнаго. Истинный философъ, или истинно-благоразумный человѣкъ, смотритъ на міръ съ того мѣста, на которое онъ поставленъ судьбою: ищетъ удовольствій на своемъ горизонтѣ вокругъ себя; пользуется тѣмъ, что у него подъ рукою; знаетъ, что всякое состояніе въ гражданскомъ обществѣ имѣетъ свои пріятности и непріятности, и для того покойно остается въ своемъ, не завидуя никому“.

„Существенныхъ бѣдствій очень немного. Главнѣйшія изъ нихъ: тѣлесное страданіе и потеря физической вольности. Трезвость и умѣренность предохраняютъ насъ отъ болѣзней, а нравственная жизнь—отъ темницы. Если же, не смотря ни на что, постигнутъ насъ и немощи и неволя, намъ остается надежда. При томъ же въ самомъ несчастіи можно находить услажденіе: силою воли превозмогать болѣзнь, ясностью сердца, спокойствіемъ совѣсти озарять темницу. Какія же еще несчастія? Бѣдность? Но у человѣка есть руки и охота къ труду. Сверхъ того, потеря вещественнаго имущества научаетъ насъ наслаждаться имуществомъ невещественнымъ, богатствомъ душевныхъ и тѣлесныхъ силъ. Горестъ то же для души, что болѣзнь для тѣла: часто она необходима. Да и нѣтъ возможности длиться ей постоянно: природа излѣчиваетъ ее“.

„Что жъ касается злоупотребленія, которому подвергается все естественное или благое, развращенныхъ страстей и пороковъ, то они нисколько не опровергаютъ основныхъ понятій о счастьи. Конечно, люди дѣлаютъ много зла, но злодѣевъ мало. Предложите человѣку быть счастливымъ и добрымъ или быть счастливымъ и злымъ: онъ изберетъ первое. *Добро само по себѣ любезно всѣмъ сердцамъ*; стремленіе къ нему врождено. Мы дѣлаемъ зло только ошибкою, надѣясь найти въ немъ то, что съ нимъ несовмѣстно; слѣдственно дурной человѣкъ есть несчастный, наказываемый судьбою и сердцемъ своимъ. Совершенный злодѣй или человѣкъ, который любитъ зло для того, что оно зло, и ненавидитъ добро для того, что оно добро, есть пѣщическая выдумка, по крайней мѣрѣ—чудовище вѣгъ природы, существо, неизъяснимое по естественнымъ законамъ“.

„Какое же заключеніе «Разговора о счастіи»?—Моя *система*, говоритъ Филалетъ (т.-е. Карамзинъ), выражается въ короткихъ словахъ: «Возможное земное счастіе состоитъ въ дѣйствіи врожденныхъ склонностей, покорныхъ разсудку, въ хорошемъ употребленіи физическихъ и душевныхъ силъ. *Быть счастливымъ есть быть вѣрнымъ исполнителемъ естественныхъ мудрыхъ законовъ*; а такъ какъ эти законы основаны на общемъ добрѣ и противны злу, то *быть счастливымъ есть быть добрымъ*»“.

„Такимъ образомъ содержаніе «Разговора о счастіи» сводится къ слѣдующимъ, тѣсно связаннымъ между собою существеннымъ положеніямъ:

Въ мірѣ все благо, все устроено къ наилучшему концу; природа есть благодѣтельная мать всѣхъ твореній.

Счастіе состоитъ въ устройствѣ жизни по естественному теченію нашихъ наклонностей, въ согласіи чувствъ съ разсудкомъ, который долженъ понимать законы природы и опредѣлять, что имъ противорѣчитъ или не противорѣчитъ.

Такъ какъ все естественное есть вмѣстѣ и благое; такъ какъ законы природы основаны на общемъ благѣ,—то счастіе состоитъ въ добродѣтели: быть счастливымъ есть быть добрымъ.

Такъ какъ каждый человѣкъ можетъ слѣдовать благимъ законамъ природы, то каждый можетъ быть счастливъ, т.-е. добрѣ.

Добродѣтель присуща человѣческой природѣ: любовь къ ней есть чувство врожденное, слѣдовательно общее для всѣхъ.

Страсти не только не мѣшаютъ счастью, но даже могутъ способствовать ему; онѣ необходимы для дѣйствія въ физическомъ и нравственномъ мірѣ; онѣ даръ природы и подлежатъ ея законамъ: надобно только, чтобъ онѣ управлялись разсудкомъ, который не дозволитъ имъ выйти изъ естественныхъ (благихъ) предѣловъ.

Совершенное счастіе невозможно по самому образованію души нашей; другими словами: зло существуетъ въ мірѣ, какъ слѣдствіе человѣческой свободы, какъ необходимое свидѣтельство несовершенства человѣческой природы“.

Не трудно видѣть, что всѣ существенныя положенія „Разговора о счастіи“ заимствованы Карамзинымъ у оптимистовъ и высказывались имъ въ различныхъ сочиненіяхъ и до и послѣ 1797 года. Такъ напр. мысль о томъ, что природа—благодѣтельная мать всѣхъ тварей, встрѣчается и въ „Письмахъ русскаго путешественника“ и въ статьѣ: „Невинность“; мысль о вредѣ уклоненія отъ путей природы высказывается Карамзинымъ во многихъ

мѣстахъ и между прочимъ въ слѣдующемъ примѣчаніи къ статьѣ: „Нѣчто о наукахъ...“: „Гдѣ мы удаляемся отъ мудраго плана натуры, отъ ея цѣли, обыкновенно чувствуемъ въ душѣ своей нѣкоторую тоску, неудовольствіе, непріятность. Сіе противное чувство говоритъ намъ: ты оставилъ путь, предписанный тебѣ натурою: обратись на него! Кто не повинуется сему голосу, тотъ вѣчно будетъ несчастливъ.—Напротивъ того, всегда, когда дѣйствуемъ сообразно съ нашимъ опредѣленіемъ, или съ волею великаго Творца, чувствуемъ нѣкоторое тихое удовольствіе, радость. Сіе чувство говоритъ намъ: ты идешь путемъ, предписаннымъ тебѣ натурою: не совращайся съ онаго!“ Замѣтки о страстяхъ также встрѣчаются у Карамзина очень часто. „Страсти, страсти!“ — говоритъ онъ въ повѣсти: «Рыцарь нашего времени»: — „какъ вы ни жестоки, какъ ни пагубны для нашего спокойствія, но безъ васъ нѣтъ въ свѣтѣ ничего прелестнаго; безъ васъ жизнь наша есть прѣсная вода, а человѣкъ—кукла; безъ васъ нѣтъ ни трогательной исторіи ни занимательнаго романа“. Та же мысль высказана и въ одномъ стихотвореніи²⁰²), въ стихѣ:

Безъ страсти жизнь—не жизнь, а скука.

Но для того, чтобы страсти не были „пагубны для нашего спокойствія“, онѣ, какъ указывали оптимисты, должны подчиняться разуму. И эта мысль выражена у Карамзина въ „Протѣѣ“, въ слѣдующихъ стихахъ:

Разнообразное движеніе страстей,
Подобныхъ бурному волненію морей,
Но дѣйствіемъ ума премудро соглашенныхъ
И къ благу общества закономъ обращенныхъ.

Въ стихотвореніи: „Опытная Соломонова мудрость“ (1796) есть и варіантъ этой мысли:

Привычка, склонности и страсти
У мудрыхъ должны быть во власти:
Не мудрымъ цѣни ихъ носить.
Намъ все *употреблять* для счастья возможно:
Во зло употреблять не должно ничего.

Такимъ образомъ разсмотрѣнный „Разговоръ“ представляетъ собою систематизацію и развитіе оптимистическихъ мыслей, относящихся къ вопросу о счастьи. Мысли эти заимствованы у оптимистовъ вообще, но главнымъ образомъ у Попа, изъ его „Опыта о человѣкѣ“. Мысль же, что существенныхъ бѣдствій немного,

ясно высказана въ „Теодицеѣ“ Лейбница. Этотъ философъ стремился убѣдить, что какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ мѣрѣ сумма зла гораздо меньше суммы блага²⁰³).

Итакъ вопросъ о счастіи теоретически былъ разрѣшенъ. Но письма Карамзина къ Дмитріеву за 1798 и 1799 г. указываютъ, какъ мы уже знаемъ, что теоретическое рѣшеніе вопроса не имѣло большого значенія, и философія Карамзина служила ему лишь временнымъ утѣшеніемъ. Болѣе прочное утѣшеніе принесла не теорія, а самая жизнь вмѣстѣ съ перемѣною прежнихъ обстоятельствъ на новыя, начало которымъ положило 12 марта 1801 года.

Если Карамзина можно укорять за то уныніе, которое обнаружено имъ въ „Посланіи къ Дмитріеву“, и за то желаніе сокрыться „за мрачную сѣнь лѣсовъ“, которое тамъ выражено,—то позднѣйшее состояніе его духа находитъ себѣ оправданіе въ современныхъ обстоятельствахъ, заставлявшихъ запуганную цензурою литературу „лежать подъ лавкой“, а самихъ музъ закутываться „чернымъ крепомъ“²⁰⁴).

Х. Стихотворенія.

Въ Александровскую эпоху Карамзинъ сравнительно мало занимался сочиненіемъ стиховъ, и значительно большая часть его стихотвореній написана въ промежутокъ времени отъ возвращенія изъ-за границы до восшествія на престолъ императора Александра. Со многими изъ нихъ мы уже встрѣчались. Теперь остается—полученное представленіе о музѣ Карамзина пополнить разсмотрѣніемъ еще нѣкоторыхъ другихъ относящихся къ до-Александровской эпохѣ его стихотворныхъ произведеній и общей характеристикой ихъ.

Большинство стихотвореній Карамзина принадлежитъ къ разряду лирическихъ. Изъ этого рода намъ болѣе или менѣе уже извѣстны слѣдующія: „Меланхолія“, „Протей, или несогласіа стихотворца“, „На разлуку съ Петровымъ“, ода: „Къ Милости“, „Весеннее чувство“, „Посланіе къ Дмитріеву“, „Посланіе къ А. А. Плещееву“, „Къ самому себѣ“ и „Къ бѣдному поэту“. Прибавимъ къ этому еще одно стихотворное разсужденіе, въ которомъ авторъ подробно высказалъ свой взглядъ на поэзію.

Еще въ 1787 г. Карамзинъ сказалъ:

Поэзія святая!..
Благословляю я рожденіе твое! ²⁰⁵

Въ 1795 г., въ объемистомъ стихотвореніи: „Дарованія“ (50 строфъ, въ 10 строкъ каждая), онъ указалъ, почему именно онъ благословляетъ рожденіе этого искусства. Желаніе заняться такимъ подробнымъ разъясненіемъ объясняется тѣми же мыслями и чувствами, которыя заставили Карамзина написать разсужденіе: „Нѣчто о наукахъ...“, съ которымъ стихотвореніе: „Дарованія“, будучи такимъ же горячимъ возраженіемъ мизософамъ, имѣетъ много общаго.

Назвавъ мизософовъ „врагами парнасскихъ вдохновеній, ума и всѣхъ его твореній“, авторъ начинаетъ свой трактатъ изображеніемъ непривлекательной картины первобытной жизни, когда люди жили среди густыхъ лѣсовъ—или убѣгая другъ отъ друга, или другъ друга поражая за часть изсохшаго плода, и когда все рѣшалось лишь одной грубой силой, когда даже самая любовь была лишь „звѣрствомъ“, такъ какъ „едва желанья исчезаютъ,—предметъ объятій позабытъ“.

Таковъ былъ родъ людей *несчастный...*

Но явилась поэзія, „явился Фебъ прекрасный“—и

Насталъ другой для смертныхъ вѣкъ;
Искусства въ мірѣ возсіяли:
Родился снова человѣкъ!

Обновленній поэзіей, человѣкъ повелъ жизнь совершенно иную: люди стали въ инныя отношенія и къ природѣ и другъ къ другу:

Разсудокъ, чувствомъ пробужденный,
Открылъ порядокъ неизмѣнный
Во всѣхъ подлунныхъ существахъ;
Во всѣхъ явленіяхъ чудесныхъ,
Въ бездушныхъ тваряхъ и словесныхъ,
Въ различныхъ года временахъ;
Въ ничтожномъ червякѣ, въ былинкѣ
Печать премудрости узрѣлъ;
Въ атомахъ мертвыхъ и въ песчинкѣ
Слѣды величія нашелъ.

Чѣмъ глубже око проникало,
Тѣмъ болѣе сердце обрѣтало
Пріятныхъ чувствъ въ себѣ самомъ:
Любовь *душевная*, живая,
Любовь чистѣйшая, святая
Мгновенно воспылала въ немъ:
Надежда, нѣжный страхъ родились,
И взоръ сказалъ: *твоя навѣкъ!* *)

*) Надежда и нѣжный страхъ суть дѣйствія благородной душевной

Сердца и руки соединились —
Вкусилъ блаженство человѣкъ.
Отцы и дѣти обнялись *);
Рѣкою слезы излилися
О жалкихъ, бѣдныхъ сиротахъ,
И слезы бѣдныхъ осушились;
Святыя жертвы воскурились
Благотворенію въ душахъ —
И ты, о дружба, даръ небесный!
Предстала съ кротостью своей;
Твой милый гласъ и взоръ прелестный
Утѣшилъ лучшихъ изъ людей!

✓ Смягчающее и благотворное вліяніе поэзіи вызвало возник-
новеніе и самой гражданственности:

Въ лѣсахъ явились вертограды;
При звукѣ лиръ воздвиглись грады,
И мудрость изрекла законъ:
„Жить вмѣстѣ, вмѣстѣ наслаждаться,
Любить добро и зломъ гнушаться“.
Возсѣла *опытность* на тронъ
Творить счастливыми народы,
Быть другомъ-геніемъ земли;
И люди часть златой свободы
Порядку въ жертву принесли **).

Итакъ поэзія есть сила, творящая человѣка человѣкомъ.
Это положеніе не находится у Карамзина въ противорѣчій съ
тѣмъ, что высказывалось имъ въ другихъ сочиненіяхъ о значеніи
просвѣщенія, ибо значеніе его этимъ положеніемъ не умаляется:
Слова:

Разсудокъ, чувствомъ пробужденный,
Открылъ порядокъ неизмѣнный...

указываютъ, что заслуга поэзіи, по мнѣнію автора, между про-
чимъ въ томъ и состоитъ, что она пробудила разсудочную дѣя-
тельность человѣка и привела его къ знанію.

Указавъ силу поэзіи, авторъ переходитъ къ носителямъ въ
себѣ этой силы — поэтамъ, оцѣниваетъ ихъ вліяніе и подтверж-
даетъ свои мысли примѣрами изъ исторіи.

любви, неизвѣстной дикимъ. *Языкъ взоровъ* есть также слѣдствіе утонченной
нравственности. (Примѣч. Карамз.).

*) Происхожденіе нравственной любви родителей къ дѣтямъ и дѣтей
къ родителямъ, жалости, благотворенія, благодарности, дружбы. (Примѣч.
Карамз.).

**) Начало общежитія, законовъ, царской власти. (Примѣч. Карамз.).

Итакъ хвала любимцамъ Феба!
Хвала милѣйшимъ чадамъ Неба!
Они—творенія вѣнецъ;
Они міръ темный просвѣтили,
И въ садъ пустыню обратили;
Они питаютъ огонь сердецъ,
Какъ жрицы древне-чтимой Весты
Питали въ храмахъ огонь святой;
Покровы красоты отверсты
Для нашихъ взоровъ ихъ рукой.

Они безъ власти, безъ короны
Даютъ умомъ своимъ законы;
Ихъ кисть, рѣзецъ, струна и гласъ
Играютъ нѣжными душами,
Улыбкой, вздохами, сердцами,
И *чувство возвышаютъ въ насъ*;
Любовь къ изящному вливая,
Изящность сообщаютъ намъ;
Добро искусствомъ украшая,
Велятъ его любить сердцамъ.

Такъ Фидій Кодра воскрешаетъ,
И въ юномъ воинѣ пылаетъ
Огонь великихъ, славныхъ дѣлъ:
Желанье подражать герою.
Такъ кистью нѣжною, живою
Сбираетъ прелести Апеллъ
И пишетъ образъ Никофоры
Въ примѣръ невинности святой,
Чтобъ юныхъ дѣвъ сердца и взоры
Нашли въ немъ милый образъ свой.

Такъ голосъ, арфа /Тимотеевъ
Смягчаетъ варваровъ, злодѣевъ,
И чувство въ хладный камень льетъ...

Далѣе авторъ обращается къ поэзіи и приходитъ къ такому выводу:

Но кто, поэзія святая,
Благого Неба дщерь благая,
Твою чудесность воспоетъ?
Ты всѣ искусства замѣняешь;
Ты всѣхъ искусствъ глава, вѣнецъ;
Въ себѣ всѣ прелести вмѣщаешь —
Ты — *богъ чувствительныхъ сердецъ*.

Предметъ поэзіи—природа и человѣкъ, или, какъ выразился Карамзинъ:

Натуры каждое явленье
И сердца каждое движенье.

Послѣднее важнѣе: сказавъ объ удовольствіи читать поэтическія описанія картинъ природы, онъ продолжаетъ:

Картина нравственнаго свѣта
Еще важнѣе для поэта;
Богатство тонкихъ чувствъ, идей
Онъ въ ней искусно разсыпаетъ;
Сердца для глазъ изображаетъ
Живою кистію своею:
Приливъ, отливъ желаній страстныхъ,
Ихъ тѣни, пользу, сладкій ядъ;
Рай свѣтлый, небо душъ прекрасныхъ,
Порока вредъ и злобы адъ.

Затѣмъ, указавъ, какъ могутъ дѣйствовать на челоуѣка изображенныя въ поэзіи любовь и дружба, добродѣтель и злодѣйство, — авторъ говоритъ о завидной долѣ поэтовъ „жить въ вѣкахъ позднѣйшихъ и быть любовью душъ нѣжигѣйшихъ“. Слѣдующіе же далѣе стихи заключаютъ въ себѣ отраженіе того благоговѣнія къ поэтамъ, съ которымъ относился къ нимъ самъ Карамзинъ:

Вы, вы краса, корона свѣта;
Вы солнце въ мірѣ, не планета,
Въ которой чуждый лучъ блеситъ.
Невѣжда золотымъ чертогомъ
Своей души не озлатитъ;
А васъ и въ шалашѣ убогомъ
Лучами слава озаритъ.
Потомство скажетъ: „Здѣсь на лирѣ,
На сладкой арфѣ, въ сладкомъ мірѣ
Игралъ любезнѣйшій поэтъ;
Въ сей хижинѣ, для насъ священной,
Велъ жизнь любимецъ музъ почтенный;
Здѣсь онъ собою красилъ свѣтъ;
Здѣсь будемъ утромъ наслаждаться,
Здѣсь будемъ солнце провожать,
Читать поэта, восхищаться,
И даръ его благословлять“.

Итакъ, по словамъ Карамзина, самое важное дѣло поэзіи — изображать нравственный міръ челоуѣка и въ особенности жизнь сердца. Цѣль такой задачи — *возвышать чувство* читателя. Отсюда и является названіе поэзіи *богомъ чувствительныхъ сердецъ*.

Ставя задачею поэзіи изображеніе нравственнаго міра, Карамзинъ въ стихотвореніи: „Протей“ указываетъ, что содержаніе поэзіи по необходимости должно быть такъ же богато, какъ богатъ нравственный міръ, и такъ же разнообразно, какъ разно-

образно отношеніе человѣческаго сердца и къ различнымъ предметамъ и къ предметамъ однимъ и тѣмъ же, но въ разные моменты ихъ созерцанія. Отсюда является и другое названіе поэзи:

Поэзія — цвѣтникъ чувствительныхъ сердець.

Между стихотвореніями Карамзина есть и нѣсколько эпическихкихъ. Изъ нихъ обращаетъ на себя вниманіе одна любопытная новинка своего времени. Имя Жуковского еще не было извѣстно, когда въ Московскомъ журналѣ появилась баллада Карамзина: „Графъ Гвариносъ. Древняя гишпанская историческая пѣсня“. Стихотвореніе это написано еще въ 1789 г., но публика ознакомилась съ нимъ только въ 1792-мъ. Содержаніе баллады относится ко временамъ владычества мавровъ, и она, подобно многимъ балладамъ Жуковского, заключаетъ въ себѣ черты рыцарства и романтизма. Приводимъ цѣликомъ эту прабабушку средневѣковыхъ балладъ на русскомъ языкѣ.

Худо, худо, ахъ, французы!
Въ Ронцевалѣ было вамъ!
Карлъ Великій тамъ лишился
Лучшихъ рыцарей своихъ.

И Гвариносъ былъ пойманъ
Многимъ множествомъ враговъ;
Адмирала вдругъ плѣнили
Семь арабскихъ королей.

Семь разъ жеребей бросаютъ
О Гвариносъ цари;
Семь разъ сряду достается
Марлотесу онъ на часть.

Марлотесу онъ дороже
Всей Аравіи большой.

„Ты послушай, что я молвлю,
О Гвариносъ!“ онъ сказалъ:

„Ради Аллы, храбрый воинъ,
Нашу вѣру приими!
Все возьми, чего захочешь,
Что приглянется тебѣ.

„Дочерей моихъ обѣихъ
Я Гвариносу отдамъ;
На любой изъ нихъ женися,
А другую такъ возьми,

„Чтобъ Гвариносу служила,
Мыла, пила на него.
Всю Аравію приданымъ
Я за дочерью отдамъ“.

Тутъ Гвариносъ слово молвилъ;
Марлотесу онъ сказалъ:

„Сохрани Господь небесный
И Марія, Мать Его,

„Чтобъ Гвариносъ, христіанинъ,
Магомету послужилъ!
Ахъ! во Франціи невѣста
Дорогая ждетъ меня!“

Марлотесъ, пришедши въ ярость,
Грознымъ голосомъ сказалъ:
„Въ мигъ Гвариноса окуйте,
Нечестиваго раба;

„И въ темницу преисподню
Засадите вы его...
Пусть гниетъ тамъ понемногу
И умретъ, какъ бѣдный червь!“

„Цѣптяжки, въ семьсотъ фунтовъ,
Возложите на него,
Отъ плеча до самой шпоры.
Страшенъ въ гнѣвъ Марлотесъ!

„А когда настанетъ праздникъ,
Пасха, святки, Духовъ день,
Въ кровь его тогда сѣките
Предъ глазами всѣхъ людей.“

Дни проходятъ, дни приходятъ—
И насталь Ивановъ день;
Христіане и арабы
Вмѣстѣ празднуютъ его.

Христіане сыплють галгантъ *);
Мирты мечеть всякій мавръ **).
Въ почестъ празднику заводитъ
Разны игры Марлотесь.

Онъ высоко цѣль поставилъ,
Чтобъ попасть въ нее копьемъ.
Всѣ свои бросають копыя,
Всѣ арабы мѣтятъ въ цѣль.

Ахъ, напрасно! нѣтъ удачи!
Цѣль для слабыхъ высока.
Марлотесь велѣлъ во гнѣвѣ
Черезъ герольда объявить:

„Дѣтямъ груди не сосати,
А большимъ ни пить ни ѣсть,
Если цѣли сей на землю
Кто изъ мавровъ не сшибетъ!“

И Гвариносъ шумъ услышалъ
Въ той темницѣ, гдѣ сидѣлъ.
„Мать святая, чиста Дѣва!
Что за день такой пришелъ?“

„Не король ли нынѣ вздумалъ
Выдать замужъ дочь свою?
Не меня ли съчъ жестоко
Часъ презлой теперь насталъ?“

Стражъ темничный то подслушалъ.
„О Гвариносъ! свадьбы нѣтъ!
Нынѣ съчъ тебя не будутъ;
Трубный звукъ не то гласить...

„Нынѣ праздникъ Іоанновъ;
Всѣ арабы въ торжествѣ.
Всѣмъ арабамъ на забаву
Марлотесь поставилъ цѣль.

„Всѣ арабы копыя мечутъ,
Но не могутъ въ цѣль попастьъ;
Почему король во гнѣвѣ
Черезъ герольда объявить:

„Пить и ѣсть никто не можетъ,
Буде цѣли не сшибутъ.“
Тутъ Гвариносъ встрепенулся;
Слово молвилъ онъ сіе:

„Дайте мнѣ коня и сбрую,
Съ коей Карлу я служилъ;
Дайте мнѣ копые булатно,
Коемъ я враговъ разилъ.

„Цѣль тотчасъ сшибу на землю,
Сколь она ни высока.

Если жъ я сказалъ неправду,
Жизнь моя у васъ въ рукахъ.“

„Какъ!“ на то тюремщикъ молвилъ.
„Ты семь лѣтъ въ тюрьмѣ сидѣлъ,
Гдѣ другіе больше года
Не могли никакъ прожить;

„И еще ты думать можешь,
Что сшибешь на землю цѣль? —
Я пойду сказать инфанту,
Что теперь ты говорилъ.“

Скоро, скоро поспѣшаетъ
Стражъ темничный къ королю;
Приближается къ инфанту,
И приноситъ вѣсть ему:

„Знай, Гвариносъ, христіанинъ,
Что въ тюрьмѣ семь лѣтъ сидитъ,
Хочетъ цѣль сшибить на землю,
Если дать ему коня.“

Марлотесь, сіе услышавъ,
За Гвариносомъ послалъ;
Царь не думалъ, чтобъ Гвариносъ
Могъ еще конемъ владѣть

Онъ велѣлъ принести всю сбрую
И коня его сыскать.
Сбруя ржавчиной покрыта,
Конь возилъ семь лѣтъ песокъ.

„Ну, ступай“ сказалъ съ насмѣшкой
Марлотесь, арабскій царь:
„Покажи намъ, храбрый воинъ,
Какъ сильна рука твоя!“

Такъ, какъ буря разъяренна,
Къ цѣли мчится сей герой;
Мечеть онъ копые булатно —
На землѣ вдругъ цѣль лежитъ.

Всѣ арабы взволновались,
Мечутъ копыя всѣ въ него;
Но Гвариносъ, воинъ смѣлый,
Храбро ихъ мечомъ сѣчетъ.

Солнца свѣтъ почти затмился
Отъ великаго числа
Тѣхъ, которые стремились
На Гвариноса всѣ вдругъ.

Но Гвариносъ ихъ разсѣялъ,
И до Франціи достигъ,
Гдѣ всѣ рыцари и дамы
Съ честью приняли его.

*) Индѣйское растеніе. (Примѣч. Карамз.).

**) Въ день Св. Іоанна гишпанцы усыпали улицы галгантомъ и мир-
тами. (Примѣч. Карамз.).

Другая баллада Карамзина—„Ранса“ (1791)—содержаніемъ своимъ нѣсколько напоминаетъ „Бѣдную Лизу“: въ ней также изображена гибель „низвергшейся въ море“ героини вслѣдствіе измѣны обманувшаго ее Кронида.

Видя на многихъ картинахъ и эстампахъ изображеніе сцены прощанія Гектора съ Андромахой, Карамзинъ перевелъ въ 1795 г. соотвѣтствующее мѣсто изъ Иліады, по всей вѣроятности—съ французскаго перевода, и сохранилъ французскую замѣну гекзаметра шестистопнымъ ямбомъ. Вотъ образчикъ этого перевода, прекраснаго по языку, но далекаго отъ греческаго подлинника.

Сказавъ сіе, герой младенца хочетъ взять,
Чтобъ съ нѣжной ласкою прелестнаго обнять;
Но грозный шлемъ его младенца устрашаетъ:
Онъ плачетъ и глаза рукою закрываетъ. —
Съ улыбкой Гекторъ зреть на сына своего,
И черный, грозный шлемъ снимаетъ для него;
Беретъ любезнаго, цѣлуетъ съ восхищеньемъ
И, вверхъ его поднявъ, вѣщаетъ съ умиленьемъ:
„Премудрый царь боговъ, всесильный богъ Зевесъ!
И вы, бессмертные властители небесъ!
Храните дни его! Подъ вашею защитой
Да будетъ онъ герой, въ потомствѣ знаменитый;
Да будетъ Гекторомъ счастливѣйшихъ временъ...
Украшень славою и храбрыми почтенъ,
Ужасенъ для враговъ, непобѣдимый воинъ!
Да скажутъ всѣ объ немъ: „сей сынъ отца достоинъ,
Бессмертенъ по дѣламъ и подвигамъ своимъ!...
И сердце матери да радуется имъ!“ —

Нельзя умолчать и о недоконченной богатырской сказкѣ—„Илья Муромецъ“ (1794). Правда, Илья у Карамзина, надѣленный чувствительностью и нѣжнымъ сердцемъ *), не соотвѣтствуетъ Ильѣ народнаго эпоса, — но упомянутая сказка все же замѣчательна, какъ стремленіе ея автора въ область народной поэзіи, о чемъ и свидѣтельствуешь начало этой сказки:

Не хочу съ поэтомъ Греціи
звучнымъ гласомъ Калліопинымъ
пѣть вражды Агамемноновой
съ храбрымъ правнукомъ Юпитера;
или, слѣдуя Виргилію,
пѣть отъ Трои разоренныя

съ хитрымъ сыномъ Афродитинымъ
къ значнымъ берегамъ Италіи.
Не желаю въ мнѳологіи
черпать дивныхъ, странныхъ вымысловъ.
Мы не греки и не римляне;

*) Витязь Геснера не чигываль,
но, имѣя сердце нѣжное,
любовался красою дня;

приносилъ Царю небесному.

тихимъ шагомъ ѣхалъ по лугу,
и въ душѣ своей чувствительной
жертву утреннюю, чистую

мы не вѣримъ ихъ преданіямъ;
мы не вѣримъ, чтобы богъ Сатурнъ
ногъ побезнаго родителя
превратить въ урода жалкаго;
чтобы Леды были — курицы,
и несли весною яйца;
чтобы Поллуксы съ Еленами

родились отъ бѣлыхъ лебедей.
Намъ другія сказки надобны;
мы другія сказки слышали
отъ своихъ покойныхъ мамушекъ.
Я намѣренъ слогомъ древности
разсказать теперь одну изъ нихъ.

Но разсказалъ Карамзинъ только о томъ, какъ Илья Муромецъ наѣхалъ на ставку съ золотой маковкой, на свѣтло-голубой шатеръ, въ которомъ спала красавица, и сонъ ея

былъ очарованіемъ
злого, хитраго волшебника,
Черномора ненавистника.

Долго любитъ Илья красотою незнакомки, и наконецъ пробуждаетъ ее прикосновеніемъ своего перстня, подарка волшебницы Велеславы. Пробудившись, красавица наряжается витяземъ и садится съ Ильей

на травѣ благоухающей,
подъ сѣнистыми кусточками.

Далѣе слѣдуетъ заявленіе автора: „продолженіе впредь“.

Хотя слогъ этой сказки можно назвать „древнимъ“ лишь съ очень большими ограниченіями, такъ какъ въ немъ есть многое, что не имѣетъ ничего общаго съ языкомъ нашей народной поэзіи, какъ напр. въ слѣдующемъ мѣстѣ:

Для чего природа дивная
не дала мнѣ дара чуднаго
нѣжной кистию прельщать глаза
и писать живыми красками
съ Тиціаномъ и Корреджіемъ?
Ахъ! тогда бы я представилъ вамъ,

что увидѣлъ витязь Муромецъ
въ ставкѣ съ золотою маковкой.
Вы бы вмѣстѣ съ нимъ увидѣли
безпримѣрную красавицу,
всѣхъ любезностей собраніе,
рѣдкихъ милыхъ женскихъ преле-
стей, —

тѣмъ не менѣе есть многое и такое, что дѣйствительно напоминаетъ складъ нашихъ народныхъ поэтическихъ произведеній, начиная съ самаго размѣра стиха и кончая такими выраженіями, какъ „солнце красное“, „копье булатное“, „взоръ свѣтлѣе ясна мѣсяца“, „не можно въ сказкѣ выразить, не можно написать перомъ“ и др.

Это произведеніе Карамзина очень нравилось современникамъ. Погодинъ говоритъ: „Карамзинъ выдалъ богатырскую сказку, разсказанную языкомъ, въ высшей степени изящнымъ, благозвучнымъ; это — пити, панизанныя жемчугомъ. Размѣръ ея,

если не новый, то необыкновенный, очаровалъ читающую публику... Илья Муромецъ имѣлъ большой успѣхъ, и молодые люди читали его вскорѣ повсюду наизусть“ ²⁰⁶).

Общая характеристика поэзіи Карамзина дана Гротомъ ²⁰⁷), вмѣстѣ съ указаніемъ причины любви его къ стихотворству. „Естественно“,—говоритъ Гротъ,—„что въ молодости все вниманіе его было устремлено на такъ называемую изящную литературу: по своей впечатлительной природѣ, по всѣмъ своимъ стремленіямъ и вкусамъ, наконецъ, по связи съ Дмитріевымъ, онъ не могъ не пристраститься къ стихотворству. Нельзя сказать, чтобы у него не было поэтическаго таланта, но ему недоставало воображенія и вымысла. Стихотворенія Карамзина представляютъ намъ въ особенности историческій и біографическій интересъ; замѣчательно, что всякій разъ, когда онъ выражаетъ любимыя мысли свои, стихи его принимаютъ отпечатокъ одушевленія. Онъ самъ, въ позднѣйшую эпоху, сказалъ однажды:

Мнѣ сердце было Аполлономъ ²⁰⁸),

и этими словами можно охарактеризовать всю его поэзію, согрѣтую чувствомъ, но лишенную блеска и силы фантазіи“.

Слова: „согрѣтую чувствомъ“ въ особенности могутъ быть отнесены къ нѣкоторымъ стихотвореніямъ, напр. къ такимъ, какъ „Къ соловью“ (1793), или какъ „Приношеніе граціямъ“ (1793). О послѣднемъ будемъ говорить при разсмотрѣніи первой книжки Аглаи, а романсъ: „Къ соловью“ приведемъ теперь же. Онъ въ свое время распѣвался многими.

Пой во мракъ тихой рощи,
Нѣжный, кроткій соловей!
Пой при свѣтѣ лунной нощи!
Гласъ твой миль душѣ моей.
Но почто жъ рѣкой катятся
Слезы изъ очей моихъ,
Чувства ноютъ и томятся
Отъ гармоніи твоей?
Ахъ! я вспомнилъ незабвенныхъ,
Въ нѣдрахъ хладныхъ земли
Хищной смертію заключенныхъ;
Ихъ могилы заросли
Всѣ высокою травою.
Я остался сиротою...

Я остался въ горѣ жить,
Тосковать и слезы лить!...
Съ кѣмъ теперь мнѣ наслаждаться
Нѣжной пѣснію твоей?
Съ кѣмъ природой утѣшаться?
Все печально безъ друзей!
Съ ними духъ нашъ умираетъ.
Радость жизни отлетаетъ;
Сердцу скучно одному —
Свѣтъ — пустыня, мракъ ему.
Скоро ль пѣснію своею,
О любезный соловей!
Надъ могилою моею
Будешь ты плѣнять людей?

Приведенная характеристика Грота однако не полна: она касается лишь внутренней стороны поэзіи Карамзина и ничего

не говорить о вѣшней. На эту послѣднюю обратилъ вниманіе Погодинъ и указалъ на новостъ вводимыхъ Карамзинымъ дактилохорейческихъ размѣровъ, заимствованныхъ у греческихъ поэтовъ, размѣровъ, которые, по вполнѣ вѣроятному предположенію Погодина, послужили „въ нѣкоторомъ отношеніи *примѣромъ* для Жуковскаго“ ²⁰⁹). Вотъ образчики:

1) Въ стихотвореніи: „Многіе барды“ (1788), — въ томъ самомъ стихотвореніи, которое было послано Дмитріеву при упомянутомъ уже нами письмѣ (с. 53):

· — — · — — · — — · —
· — — — — ·

Многіе барды, лиру настроя,

Страшныя битвы поютъ;

Смѣло играютъ, поютъ;

Въ звукахъ ихъ нѣсней слышны

Звуки ихъ лиры, гласы ихъ пѣсней

удары,

Мчатся по рощамъ, шумятъ.

Стоитъ пораженныхъ и смерть и пр.

Многіе барды, тоны возвыся,

2) Въ стих. „Къ прекрасной“ (1791):

· — — · — — · — — · —
· — — — — · — —
· — — · — — · — — · —
· — — · — — · — — · —

Гдѣ ты, прекрасная, гдѣ обитаешь?

Тамъ ли, гдѣ пѣсни поетъ Филомела,

Кроткая ночи пѣвица,

Сидя на миртовой вѣткѣ и пр.

3) Въ стих. „Кладбище“ (1793):

· — — · — — · — — · —
· — — · — — · — — · —
· — — · — — · — — · —

Страшно въ могилѣ хладной и темной:

Вѣтры тамъ воютъ, гробы трясутся,

Бѣлыя кости стучать и пр.

4) Въ стих. „Осень“ (1789):

· — — · — — · — —
· — — — —

Воютъ осенніе вѣтры

Въ мрачной дубравѣ;

Съ шумомъ на землю валятся

Желтые листья и пр.

Тутъ кстати сказать, что хотя Карамзинъ, переводя отрывокъ изъ Іліады, и удержалъ александрійскій стихъ французскихъ

переводчиковъ, — тѣмъ не менѣе онъ хорошо понималъ достоинство гекзаметра, что ясно видно изъ его шутиваго письма къ Дмитріеву отъ 2 іюля 1788 г. Шутя съ своимъ другомъ по поводу его намѣренія принять участіе въ шведской войнѣ, Карамзинъ писалъ: „Можетъ быть, потомки наши будутъ читать поэму, подъ заглавіемъ: „Шведская война“... Если же ты и самъ вздумаешь воспѣть великіе подвиги свои и всего воинства нашего, то пожалуй поѣй дактилями и хорейми, греческими гекзаметрами, а не ямбическими шестистопными стихами, которые для героическихъ поэмъ неудобны и весьма утомительны. Будь нашимъ Гомеромъ, а не Вольтеромъ. Два дактиля и хорей, два дактиля и хорей. Напримѣръ:

Трубы въ походѣ гремѣли, крики по воздуху мчались“.

Указывая на этотъ стихъ, Погодинъ восклицаетъ: „Вотъ оно, вотъ начало русскихъ гекзаметровъ за двадцать лѣтъ до разсужденія Гнѣдича, Уварова, Капниста, за десять лѣтъ до опытовъ Мерзлякова—въ шуткѣ Карамзина, въ письмѣ къ другу, позабытой, безъ сомнѣнія, ими обоими, оставшейся для всѣхъ неизвѣстною! Такъ чувствуетъ гений“ ²¹⁰).

Въ заключеніе прибавимъ, что нѣкоторыя стихотворенія Карамзина, особенно нравившіяся современникамъ, были переложены на ноты, повсюду распѣвались и вошли въ пѣсенники. Къ такимъ принадлежатъ: „Законы осуждаютъ предметъ моей любви“ (изъ пов. „Остр. Борг.“), баллада: „Раиса“ (Во тѣмъ ночной ярилась буря; сверкалъ на небѣ грозный лучъ). „Веселый часъ“ (Братья, рюмки наливайте! лейся черезъ край вино! 1791), „Прости“, (Кто могъ любить такъ страстно, какъ я любилъ тебя) и др. — Нѣкоторые отдѣльные стихи Карамзина стали ходячими выраженіями, употребляясь, какъ пословицы. Выраженія: „Ничто не ново подлунною“ (изъ стих. „Опытная Соломонова мудрость“) и „Смѣяться, право, не грѣшно надъ тѣмъ, что кажется смѣшно“ (изъ „Посланія къ Плещееву“) живы въ обществѣ и до сихъ поръ. А на какомъ изъ нашихъ городскихъ кладбищъ не встрѣтимъ сочиненной Карамзинымъ эпитафіи: „Покойся, милый прахъ, до радостнаго утра!“ (1792)? Петровъ въ своемъ письмѣ къ автору этой эпитафіи написалъ по поводу ея слѣдующее: „Надпись мнѣ нравится... Я поцѣловалъ бы за нее сочинителя, хотя не весьма охотникъ цѣловаться. Она проста, нѣжна, кротка и учтива къ прохожему, потому что не допускаетъ его до труда—думать, что бы сказать, узнавши, кто погребенъ подъ монументомъ“.

XI. „Московский журналъ“ и несрочные литературные сборники.

Разсмотрѣвъ большую часть сочиненій Карамзина, взглянемъ на его „Московский журналъ“ и несрочные литературные сборники.

Московский журналъ (1791—1792).

О внѣшности этого ежемѣсячнаго изданія и о томъ, съ какою заботливостью относился къ нему Карамзинъ и какъ понималъ серьезность своей задачи — мы уже говорили (с. 72 и 73), и потому обратимся теперь прямо къ его содержанию.

Объявляя 6-го ноября 1790 г. ²¹¹⁾ о своемъ намѣреніи издавать „Московский журналъ“, Карамзинъ говоритъ:

„Содержаніе этого журнала будутъ составлять:

1) Русскія сочиненія въ стихахъ и прозѣ, такія, которыя, по моему увѣренію, могутъ доставить удовольствіе читателямъ. Первый нашъ поэтъ—нужно ли именовать его?—обѣщаль украшать листы мои плодами вдохновенной своей музы. Кто не узнаетъ пѣвца мудрой Фелицы? Я получилъ отъ него нѣкоторыя новыя пѣсни. И другіе поэты, извѣстные почтенной публикѣ, сообщили и будутъ сообщать мнѣ свои сочиненія. Одинъ пріятель мой, который изъ любопытства путешествовалъ по разнымъ землямъ Европы—который вниманіе свое посвящалъ натурѣ и человѣку преимущественно предъ всѣмъ прочимъ, и записывалъ то, что видѣлъ, слышалъ, чувствовалъ, думалъ и мечталъ—намѣренъ записки свои предложить почтенной публикѣ въ моемъ журналѣ, надѣясь, что въ нихъ найдется что-нибудь занимательное для читателей.

2) Разныя небольшія иностранныя сочиненія, въ чистыхъ переводахъ, по большей части изъ нѣмецкихъ, англійскихъ и французскихъ журналовъ, съ извѣстіями о новыхъ важныхъ книгахъ, выходящихъ на сихъ языкахъ. Сіи извѣстія могутъ быть пріятны для тѣхъ, которые упражняются въ чтеніи иностранныхъ книгъ и въ переводахъ.

3) Критическія разсматриванія русскихъ книгъ, вышедшихъ, и тѣхъ, которыя впредѣ выйдутъ, а особливо оригинальныхъ; переводы, недостойные вниманія публики, изъ сего исключаются. Хорошее и худое замѣчаемо будетъ безпристрастно. Кто не признается, что до сего времени не многія книги были у насъ надлежащимъ образомъ критикованы?

4) Извѣстія о театральныхъ пьесахъ, представляемыхъ на здѣшнемъ театрѣ, съ замѣчаніями на игру актеровъ.

5) Описаніе разныхъ происшествій, по чему нибудь достойныхъ примѣчанія, и разные анекдоты, а особливо изъ жизни славныхъ новыхъ писателей.

Вотъ мой планъ. Почтенной публикѣ остается его одобрить или не одобрить; мнѣ же въ первомъ случаѣ — исполнить, а во второмъ молчать“.

Планъ былъ исполненъ добросовѣстнѣйшимъ образомъ:

1) Въ отдѣлѣ русскихъ сочиненій помѣщалось дѣйствительно то, что „могло доставить удовольствіе читателямъ“. Главное мѣсто въ этомъ отдѣлѣ занялъ самъ Карамзинъ: тутъ были помѣщены его „Письма русскаго путешественника“ (до письма изъ Парижа отъ 27 марта 1790 г. включительно), „Бѣдная Лиза“, „Наталья, боярская дочь“ и нѣкоторыя мелкія произведенія, а также нѣсколько стихотвореній—и между ними ода: „Къ Милости“ и баллада: „Графъ Гваринось“; наконецъ тутъ же была помѣщена и драматическая пьеска его: „Софія“ (1791). На этой послѣдней нѣсколько остановимся. Трагедія: „Софія“ есть подражаніе драмѣ Коцебу: „Ненависть къ людямъ и раскаяніе“, которою былъ такъ растроганъ Карамзинъ въ Берлинѣ и, описывая свои впечатлѣнія отъ нея въ письмѣ отъ 2 іюля, восклицалъ: „Сколько бываетъ въ свѣтѣ подобныхъ исторій!“²¹²). Сюжетъ этой трагедіи Карамзина слѣдующій: молодой французъ Ле-Тьенъ увлекаетъ Софію, жену почтеннаго человѣка—Доброва; она бросаетъ мужа, уѣзжаетъ съ французомъ въ свою глухую деревню, но, скоро убѣдившись, что Ле-Тьенъ ее не любитъ и даже предпочитаетъ ей ея горничную (Парашу), сходитъ съ ума, закалываетъ Ле-Тьена, а сама бросается въ рѣку. — Приводимъ три послѣднія сцены этой пьесы.

Сцена IX. (Ночь. Комната освѣщена слабо. Софія поспѣшно входитъ; волосы ея распущены, платье въ безпорядкѣ, лицо блѣдно; дикая свирѣпость видна въ ея взорахъ).

Ты меня оставишь хочешь? Хочешь меня оставить, и смѣешься надо мною?—Смѣйся!—Скоро самъ ты будешь посмѣяніемъ ада!—Злодѣй! ты почувствуешь силу руки моей! Затрепещетъ внутренность твоя, затрепещетъ, и звѣрское сердце твое распадется отъ удара моего! —Гдѣ ты, орудіе моего мщенія, гдѣ? *(вынимаетъ изъ кармана большой ножъ)*. Я умѣю владѣть тобою.—*(Бьютъ часы)*. Это часъ его смерти! *(Уходитъ)*.

Сцена X. (Ясная осенняя ночь. Садъ).

Ле-Тьень (слуга). Подъѣзжайте съ коляскою къ заднимъ дверямъ сада; я тотчасъ выйду.

Слуга. Слышу, сударь.

Ле-Тьень. Ну, поди! (слуга хочетъ идти). — Постой. Что это? Слышишь ли?

Слуга (испугавшись). Нѣтъ, нѣтъ, сударь; я ничего не слышу.

Ле-Тьень. Мнѣ слышалось, что кто-то стонетъ.

Слуга. Я ничего не слыхалъ. (Слуга уходитъ).

Ле-Тьень. Я наконецъ боюсь, что бы и мнѣ съ ума не сойти. Двѣ ночи сряду видѣлъ я страшные сны, а теперь мнѣ уже наяву чудится. Сумасшествіе заразительно; каждый дикій взоръ ея возбуждаетъ въ душѣ моеѣ какой-нибудь ужасный образъ. Мнѣ бѣ давно надобно было уѣхать отсюда.—Поѣдемъ, поѣдемъ! Вѣтреная Параша разсѣетъ дорогою мрачныя мысли мои, которыя противъ воли приходятъ мнѣ въ голову.—Странны и непонятны дѣйствія души нашей! Пріѣхавъ въ Москву, стану читать философовъ, чтобы лучше узнать самого себя.—(Щупаетъ въ карманъ). Тутъ ли деньги? Въ этомъ пакетѣ было у нея, кажется, десять тысячъ; иной взять бы и брилліанты, но я не дотронулся до нихъ: довольно честности! — (Садится на лавку и задумывается.—Прибѣгаетъ Параша, осматривается и бросается къ нему на шею). А! наконецъ явилась.

Параша. Я насилу могла разстаться съ матушкою. Мнѣ стало такъ грустно, такъ грустно!

Ле-Тьень. Полно, дурочка! не говори мнѣ о грусти. (Обнимаетъ ее. Софія показывается изъ аллеи, бросается на Ле-Тьена, и ранитъ его ножомъ въ шею).

Софія. Злодѣй!

Параша. Ай! ай! (Убѣгаетъ).

Ле-Тьень. Чудовище! (Хочетъ схватить ее за руки, но она успѣваетъ еще ранить его въ грудь).

Софія. Умри! умри! (Бросаетъ ножъ и уходитъ).

Ле-Тьень. Убійца! — Люди! — люди! — Никто не слышитъ. (Хватается за дерево). Слабѣю—кровь льется. (Хочетъ идти, но въ двухъ шагахъ отъ дерева падаетъ). Нѣтъ силъ! — Я зарѣзанъ! — Неужели пришелъ конецъ мой? — Это кровь — я весь въ крови. (Силится встать, но не можетъ, и опять падаетъ на землю). Нѣтъ! — Итакъ надобно умереть! — и такъ внезапно! такъ скоро! (Зажимаетъ рукою рану въ груди). Уймись, уймись, горячая кровь! — Она льется изъ сердца. — Я дрожу — въ глазахъ тем-

нѣтъ—не вижу ни неба ни звѣздъ.—Всему ли конецъ? — Умри же! (*Валяется по песку — смертныя конвульсии — занавѣсь опускается*).

Сцена XI. (Бурная осенняя ночь. Лѣсъ по берегу рѣки. Софія бродитъ въ сумасшествіи по лѣсу).

Бурные вѣтры! разорвите черныя облака неба, чтобы моря пролилися на землю и смыли съ меня огненную кровь! — Все во мнѣ перегорѣло! — Въ жилахъ моихъ течетъ пламя! — Моря, пролейте! — Кто, кто свиститъ мнѣ въ уши? Черная, большая тѣнь. Какъ страшно! — Кто клянетъ меня? — Это голосъ моего супруга. Обманщикъ! ты увѣрялъ, что онъ простилъ меня! — Моря, пролейте! Кровь палитъ меня. — Громы! заглушите свистъ черной тѣни и проклятіе моего супруга! — Гдѣ я? — Въ аду? — И умереть нельзя? Страшно! страшно! — (*Подходитъ къ рѣкѣ*). — Вода! вода! (*Бросается въ рѣку и утопаетъ*).

Подражая Коцебу въ самомъ содержаніи своей трагедіи, Карамзинъ въ отдѣльныхъ частностяхъ подражалъ и Шекспиру: нѣкоторыя фразы Софіи въ послѣдней сценѣ напоминаютъ подобныя же фразы частию Лира, частию леди Макбетъ. Вліяніе Шекспира выразилось также и въ безпрестанной перемѣнѣ мѣста дѣйствія.

Между помѣщенными въ „Московскомъ журналѣ“ сочиненіями другихъ русскихъ авторовъ ²¹³⁾ были и такія, какъ „Видѣніе мурзы“ — Державина, „Истуканъ дружбы“, „Модная жена“, „Отставной вахмистръ“ — Дмитріева и его же разнесшаяся вскорѣ по всей Россіи пѣсня: „Стонетъ сизый голубочекъ“.

2) Въ отдѣлѣ иностранныхъ сочиненій помѣщены были переводы Мармонтеля, Стерна, изъ Флоріановыхъ „Nouvelles nouvelles“ ²¹⁴⁾, изъ журнала: „Психологическій магазинъ“ берлинскаго профессора Морица, изъ журнала Виланда и наконецъ изъ пріобрѣтеннаго въ Лейпцигѣ нѣмецкаго перевода Оссіановыхъ пѣсенъ. Кромѣ того, Карамзинъ ознакомилъ русскую публику съ индѣйской драмой: „Саконталой“ и прибавилъ къ переводу слѣдующій свой отзывъ о ней: „Творческій духъ обитаетъ не въ одной Европѣ; онъ есть гражданинъ вселенной. Человѣкъ — вездѣ человекъ; вездѣ имѣетъ онъ чувствительное сердце, а въ зеркалѣ воображенія своего вмѣщаетъ небеса и землю. Вездѣ натура есть его наставница и главный источникъ удовольствій. Такъ я думалъ, читая Саконталу, драму, сочиненную на индѣйскомъ языкѣ за 1900 лѣтъ передъ симъ, азійтскимъ поэтомъ Калидасомъ, и недавно переведенную на англійскій Вилліамомъ Джонсомъ, а на

нѣмецкій профессоромъ Георгомъ Форстеромъ. Почти на каждой страницѣ сей драмы находилъ я высочайшія красоты поэзіи, кроткую, откровенную, неизъяснимую нѣжность, подобную тихому майскому вечеру — чистѣйшую, неподражаемую натуру и самое искусство. Сверхъ того, ее можно назвать прекрасною картиною древней Індіи, такъ какъ Гомеровы поэмы суть картины древней Греціи,—картины, въ которыхъ можно видѣть характеры, обычаи и нравы ея жителей. Калидасъ для меня столь же великъ, какъ и Гомеръ. Оба они получили кисть свою изъ рукъ природы, и оба изображали натуру. Для собственнаго своего удовольствія перевелъ я нѣкоторыя сцены изъ Саконталы и рѣшился напечатать ихъ въ М. Ж., надѣясь, что сіи благовонные цвѣты азійской литературы будутъ пріятны для многихъ читателей, имѣющихъ тонкій вкусъ и любящихъ истинно поэзію“.

Было исполнено и обѣщаніе давать извѣстія о важныхъ новостяхъ иностранной литературы. Такъ напр. въ 1791 г. Карамзинъ помѣстилъ большую рецензію на сочиненіе аббата Бартеми: „Voyage de jeune Anacharsis en Grèce“, переведя ее, съ нѣкоторыми перемѣнами, изъ „Енскихъ Ученыхъ Вѣдомостей“, и свою оригинальную—рецензію на „Voyage de Mr. le Vaillant dans intérieur de l'Afrique...“; въ 1792 г. рецензировалъ „Драматическія начертанія древней сѣверной мифологіи“ англичанина F. Sayers и „Der Traum des Mursa“ Коцебу. Этотъ переводъ Державинской оды названъ въ рецензіи близкимъ къ подлиннику, гладкимъ и пріятнымъ.

3) Гротъ справедливо замѣчаетъ ²¹⁶⁾, что приписываемая Карамзину уклончивость въ критикѣ относится къ позднѣйшему періоду его журнальной дѣятельности, но не можетъ быть отнесена ко времени изданія „Московского журнала“. И дѣйствительно въ этомъ журналѣ не мало критическихъ статей его издателя. Въ немъ разобраны между прочимъ: „Кадмъ и Гармонія“ Хераскова, „Виргиліева Энеида, вывороченная на изнанку“ (Осиповымъ), и переводы: „Естественной исторіи“ Бюффона, „Театра чрезвычайныхъ происшествій истекающаго вѣка“, Вольтеровой „Генріады“, „Неистоваго Роланда“ Аріоста и Ричардсоновой „Клариссы“.

Критика Карамзина мягка, но серьезна, безпристрастна и—что весьма важно—не односторонняя, такъ какъ она, въ противоположность прежней нашей критикѣ, принимаетъ во вниманіе не только одну внѣшнюю сторону произведенія, но и внутреннюю; не только одни недостатки, но и достоинства; не только одніи частности, но и цѣлое. Такъ, разбирая „Кадма и Гармонію“, Карам-

зинъ прежде всего обращаетъ вниманіе на главную цѣль автора и указываетъ ее такими словами: „Сочинитель Кадма хотѣлъ въ привлекательной мнѳологической одеждѣ сообщить *свои* нравоученія, политическія наставленія и понятія о вещахъ важныхъ для человѣчества; учить насъ, такъ сказать, непримѣтно, питая наше любопытство пріятнымъ повѣствованіемъ вещей чудесныхъ—однимъ словомъ, онъ хотѣлъ написать намъ второго „Телемака“. Затѣмъ, изложивъ вкратцѣ содержаніе разбираемаго сочиненія, критикъ указываетъ его достоинства, какъ внутреннія, такъ и внѣшнія. „Въ семъ сочиненіи“—говоритъ онъ—„найдетъ читатель, кромѣ разсужденій, прекрасныя пѣстическія описанія, любопытныя завязки, интересныя положенія, чувства возвышенныя и трогательныя; слогъ же всегда пріятенъ и высокопаренъ безъ надутости“. II уже послѣ этого онъ переходитъ къ указанію недостатковъ—и опять-таки какъ внѣшнихъ, такъ и внутреннихъ. Онъ говоритъ, что, читая Кодма, при многихъ мѣстахъ думать: это слишкомъ отзывается новизною; это противно духу тѣхъ временъ, изъ которыхъ взята басня“. Такимъ образомъ Карамзинъ ясно видѣлъ недостатки этого ложноклассическаго произведенія, эти чисто внутренніе недостатки, заключающіеся въ несоблюденіи исторической правды, недостатки, болѣе или менѣе общіе многимъ ложноклассическимъ произведеніямъ, но онъ нашелъ нужныхъ считаться съ цѣлью автора, другими словами — онъ нашелъ нужнымъ разсматривать ложноклассическое произведеніе, какъ таковое, а потому и сказалъ въ своемъ разборѣ, что „рецензентъ согласился самъ съ собою не почитать сихъ *знаковъ новизны* за несовершенство сочиненія, имѣющаго цѣль моральную“. Такой уступки и должно было ожидать отъ Карамзина, который въ своихъ вскорѣ послѣ этого появившихся повѣстяхъ, имѣвшихъ цѣлью изображеніе жизни сердца, и самъ, какъ мы уже знаемъ, умышленно или неумышленно отступалъ отъ исторической правды.

Далѣе, отъ недостатковъ внутреннихъ, критикъ переходитъ къ внѣшнимъ—къ недостаткамъ слога. „Попадаются въ Кадмѣ выраженія, которыя кажутся не совсѣмъ справедливыми... Выраженіе *почерпывать источникъ* останавливаетъ читателя... Найдешь еще нѣсколько словъ, къ которымъ наше ухо не привыкло, напр. *умоключенія* вмѣсто мыслей и разсужденій, *понуристость* вмѣсто ската, или свѣса, и нѣкоторыя слова во множественномъ, которыя мы обыкновенно употребляемъ только въ единственномъ, какъ-то: *поведенія, роскоши* и проч.“. Рецензія заканчивается сжатою оцѣнкой цѣлаго: „Но не будемъ искать бездѣльных оши-

бокъ въ такомъ сочиненіи, которое исполнено красотами разнаго рода... Кадмъ будетъ жить съ Россіядою и Владиміромъ“. Вотъ какъ высоко цѣнился Херасковъ у современниковъ.

Само собою разумѣется, что въ томъ случаѣ, когда разсматриваемое сочиненіе отличалось ужъ слишкомъ бьющими въ глаза отрицательными сторонами, Карамзинъ примѣнялъ иной пріемъ: отзывъ давался краткій и нерѣдко — съ проіей. Такъ, рецензируя „Театръ чрезвычайныхъ происшествій истекающаго вѣка“, онъ, приведя нѣсколько выдержекъ, говоритъ: „Рецензентъ не прочелъ и пяти страницъ сей книги, которая—не смотря на множество карикатурныхъ книгъ, выходящихъ на языкъ нашемъ — есть рѣдкое явленіе. Она должна быть вмѣстѣ и сочиненіе и переводъ... Сей *Осаиръ* напечатанъ на бѣлой бумагѣ, четкими литерами, и присланные въ Москву экземпляры почти всѣ въ одинъ день были проданы. Вѣроятно, что всякій хотѣлъ имѣть его, какъ рѣдкость истекающаго вѣка, и—не ошибся. Что касается до типографической исправности, то о ней можно судить по словамъ: *лаберинфъ, попѣраніе, подлѣнно*. Учись теперь уму и орфографіи изъ печатныхъ книгъ!—За симъ вздохнемъ и положимъ перо“.

Критическія статьи Карамзина интересны не только, какъ данные имъ образцы критики, но и какъ выраженіе нѣкоторыхъ его взглядовъ. Такъ напр. уже въ первомъ номерѣ „Моск. журнала“, разбирая „Кадма и Гармонію“, издатель далъ понять читателямъ, какихъ политическихъ взглядовъ онъ придерживается. У Хераскова между прочимъ Кадмъ обращается къ ессалійскому народу съ рѣчью о лучшемъ образѣ правленія, равно осуждая и аристократію и демократію. Онъ говоритъ: „Вы предприимлете составить единый ликъ царя изъ разныхъ членовъ вашего общества; уничтожая царя — царскую силу и мощь изъ разныхъ частицъ слѣпить покусаетесь: трудное и едва ли возможное предпріятіе. Сліяніе разныхъ веществъ въ единую груду рѣдко твердымъ и прочнымъ тѣломъ бываетъ... Вы многихъ мучителей, а не едиnodушныхъ отцовъ и защитниковъ народныхъ устройте... Ежели немногое число избранныхъ вельможей вашихъ, о ессалійцы, отечеству вредно, то какимъ злосчастіемъ угрожается ваше царство, всѣмъ народомъ управляемое!.. Кто ваше благоденствіе устраивать будетъ? Вы сами! Какому суду поработитесь чаете? Собственному своему! Кто вами будетъ начальствовать и кто начальникамъ вашимъ покоряться? Вы сами начальниками и повинующимися быть должныствуете. Станный образъ правительства! Но я изъясню мои мысли простыми ради васъ

изреченіями. Вообразите, ежели бы земля наша, отвергнувъ солнечное сіяніе, сама себя освѣщать восхотѣла: въ какой бы мракъ она погрузилась? Если бы члены наши, отрекшись отъ назначеннаго природою имъ долга, всѣ купно господствовать восхотѣли: долго ли бы тѣло наше въ цѣлости пребыть могло? Скоро бы оно разрушилось, а съ нимъ и члены его купно бы погибли. Каждое царство есть цѣлое тѣло, главу для управленія и прочіе члены для служенія имѣть долженствующее... Сія-то глава есть царь, самодержавствующій подданными. О ессалійцы! почто не избираете царя самодержавнаго?"

По поводу этой рѣчи Карамзинъ замѣчаетъ: „Кто не почувствуетъ убѣдительности сихъ разсужденій?“—и такимъ образомъ еще до появленія въ печати его писемъ изъ Парижа указываетъ на свои симпатіи къ самодержавію.

Изъ литературныхъ сужденій Карамзина приведемъ взглядъ его на переводъ такихъ произведеній, какъ „Генріада“, и его мнѣніе о Ричарсоновой „Клариссѣ“. „Генріада есть одна изъ тѣхъ поэмъ, которыхъ главное достоинство состоитъ не въ великихъ новыхъ мысляхъ, не въ живыхъ, съ самой натурѣ взятыхъ образахъ,—но въ красотѣ стиховъ. Тѣмъ труднѣе переводить ее. Здѣсь надобно не только выразить мысли поэтовъ, но и выразить ихъ съ такою же точностію и пріятностію, какъ въ подлинникѣ; иначе поэма потеряетъ почти всю свою цѣну“. О „Клариссѣ“ рецензентъ русскаго ея перевода говоритъ слѣдующее: „Написать *интересный романъ въ восемь томовъ*, не прибѣгая ни къ чудесамъ, которыми эпическіе поэты стараются возбуждать любопытство въ читателяхъ, ни къ сладострастнымъ картинамъ, которыми многіе изъ новѣйшихъ романистовъ прельщаютъ наше воображеніе, и не описывая ничего, кромѣ самыхъ обыкновенныхъ сценъ жизни, — для сего потребно, конечно, отмынное искусство въ описаніи подробностей и характеровъ. Самое то, что иному можетъ показаться излишнею пространностію въ семъ романѣ, вмѣщаетъ въ себѣ мастерскія черты, для знатока драгоценныя и служащія къ совершенству цѣлаго“. Ричарсонъ, названъ въ рецензіи „искуснымъ живописцемъ моральной природы человѣка“, а Кларисса и Ловеласъ — характерами, которые „будутъ удивленіемъ всѣхъ читателей и всѣхъ временъ“.

Но и мягкая критика Карамзина не спасала его отъ столкновеній, такъ какъ на критику тогда смотрѣли иначе, чѣмъ смотрятъ на нее въ наше время. Для уясненія вопроса, приведемъ одно любопытное мѣсто изъ книги Пятковского: „Изъ исторіи на-

шего литературнаго и общественнаго развитія ²¹⁶)“—мѣсто, какъ-разъ относящееся ко времени изданія „Моск. журнала“.

„Самое существованіе такого отдѣла (т.е. критики) — говорить Пятковскій—было до нѣкоторой степени контрабандою, ибо, по взгляду того времени, критическія статьи *«по правиламъ чести (!) должны быть сообщаемы писателямъ прежде изданія въ свѣтъ ихъ сочиненій, а не тогда уже, когда правительство терпитъ ихъ печатаніе»* (см. проектъ Богдановича о «заведеніи общества россійскихъ писателей»). Занимательное столкновеніе произошло по поводу разбора книги О. Туманскаго: «Палефатовы сказанія». Этотъ Туманскій, самъ писатель и журналистъ (въ 1792 г. онъ издавалъ «Россійскій магазинъ», а прежде того «Зеркало свѣта» и «Лѣкарство отъ скуки и заботъ»), перевелъ Палефатовы ²¹⁷) коментаріи къ мѣстамъ классической древности и присовокупилъ къ нимъ свои собственныя примѣчанія въ такомъ родѣ: «волокига Юпитеръ, онъ же и божокъ, прошелъ сквозь потолокъ золотымъ дождемъ — ай деньги! не божеской ли вы крови?» и т. п. Безтолковыя прибавки, тяжелый слогъ, испещренный славянскими словами, были ему указаны рецензентомъ, скрывшимся подъ буквами В. П. (кажется, Подшиваловъ ²¹⁸). Туманскій обидѣлся этой рецензіей и въ своей антикритикѣ говоритъ: «Судей есть два рода: отъ властей опредѣляемые или избираемые (авторъ былъ избранъ депутатомъ отъ петербургскаго дворянства при составленіи родословной книги). Не принадлежащіе къ симъ двумъ суть самозванцы. Не судите, да не судимы будете. Въ разсужденіи выдаваемыхъ сочиненій и переводовъ, въ разныхъ государствахъ нѣкоторыя ученые общества согласились объявлять публикѣ свои мнѣнія. Собраніе ученыхъ, конечно, здравѣе судить можетъ, нежели одинъ человекъ, обуреваемый страстію гордости, самомнѣнія, зависти и пр. Но и самыя сии общества весьма часто ошибаются въ ихъ сужденіяхъ, какъ то опытъ разныхъ вѣковъ доказалъ. Частныхъ людей сужденія, въ газетахъ, журналахъ и проч. сообщаемыя, *никогда отъ людей умныхъ уважаемы не были*; извѣстно, что они *за подарки истощиваютъ хвалы*, по пристрастію, самолюбію, личной ссорѣ или зависти выискиваютъ всѣ способы унижить труды чуждые... Умные, не для самолюбія, но для пользы наукъ трудящіеся (люди) чтутъ сотрудниковъ товарищами и стараются ихъ погрѣшности исправлять или *сообщеніемъ своихъ примѣчаній въ письмахъ, или въ сочиненіяхъ печатныхъ, о которыхъ они увѣрены, что будутъ въ рукахъ того, чьего они желаютъ исправленія, или съ*

къмъ въ недоумѣніяхъ объясниться хотятъ, и все сіе дѣлаютъ съ наблюденіемъ учтивости». Съ мнѣніемъ Туманскаго,—которое сильно напоминаетъ мнѣніе Ломоносова «о должности журналистовъ»,—Карамзинъ, конечно, не согласился и въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ къ этой антикритикѣ ²¹⁹⁾ доказываетъ, что не всѣ же рецензенты „за подарки истощеваютъ хвалы; что Лессингъ и Мендельсонъ, безспорно замѣчательные люди, честно судили о книгахъ; что критика много содѣйствовала развитію нѣмецкой литературы; что, наконецъ, никакой неучтивости нѣтъ въ рецензій Московскаго журнала. Но всѣ эти доводы врядъ ли убѣдили раздраженнаго переводчика, осуждавшаго съ такимъ апломбомъ самую возможность литературной критики“.

И не убѣдили: 28 янв. 1793 г. Карамзинъ писалъ Дмитріеву: „Я видѣлъ, какъ бѣдный Туманскій хотѣлъ зацѣпить меня въ своемъ журналѣ“ ²²⁰⁾.

4) Въ отдѣлѣ извѣстій о театральныхъ пьесахъ, дававшихся на московскомъ театрѣ, Карамзинъ помѣстилъ уже упомянутый нами (с. 61) разборъ свой Лессинговой „Эмили Галотти“. Статья эта замѣчательна, какъ первый у насъ образецъ художественнаго разбора драматическаго произведенія. Она помѣщена въ январ. книжкѣ Моск. журнала за 1791 г. ²²¹⁾. Къ ней авторъ присоединилъ и свои замѣтки объ исполненіи пьесы на сценѣ. Затѣмъ театральныя рецензій появлялись почти въ каждой книжкѣ журнала и притомъ „съ замѣчаніями на игру актеровъ“. Изъ этихъ рецензій обращаетъ на себя вниманіе та, въ которой Карамзинъ разбираетъ Корнелева „Сидъ“ (іюль 1791 г.); она можетъ служить пространнѣмъ дополненіемъ къ извѣстному письму русскаго путешественника о французской трагедіи.

„Сидъ долгое время былъ любимѣйшею піесою парижской публики, и самые новѣйшіе писатели почитаютъ его если не лучшею, то по крайней мѣрѣ трогательнѣйшею изъ всѣхъ Корнелевыхъ трагедій. Впрочемъ, по признанію Французской Академіи, Сидъ имѣетъ пороки, и великіе пороки. Вѣроятно ли, на примѣръ, то, чтобы добродѣтельная дѣвица, какою авторъ хотѣлъ представить Химену, могла *рѣшиться* быть супругою убійцы отца своего *въ самый тотъ день*, въ который убійство совершилось?.. Къ тому же есть такія приключенія, которыя хороши только для историка, а не для драматическаго поэта. Историкъ долженъ описывать все, какъ было, не думая о впечатлѣніи, которое сдѣлаетъ въ читателѣ описываемое имъ приключеніе, но драматическій поэтъ долженъ имѣть у себя въ предметѣ извѣстное дѣй-

ствіе, т.-е. онъ долженъ производить въ зрителѣ или радость, или горестъ. Иногда, въ теченіе драмы, можетъ онъ манить его радостными видами, для того, чтобы, наконецъ, заставить его тѣмъ сильнѣе чувствовать горестъ. Такъ, напримѣръ, въ „Эмилии Голотти“ Одоардо говоритъ о томъ счастьи, которымъ дочь его въ объятіяхъ любви будетъ наслаждаться, а послѣ пронзаетъ ее кинжаломъ. Иногда поэтъ представляетъ героевъ своихъ на краю гибели—т.-е. производить въ насъ печальныя чувства—для того, чтобы послѣ спасти ихъ и заставить насъ тѣмъ больше радоваться. Такъ, напримѣръ, въ Расиновой Ифигеніи до послѣдней сцены все печально; но, наконецъ, Ифигенія спасена, и зритель вдругъ развеселяется въ душѣ своей. Коротко сказать, развязка драмы непременно должна быть или печальна, или радостна для зрителя и оставлять въ немъ чистыя, несмѣшанныя чувства. Теперь я спрашиваю, какого рода есть развязка Корнелева Сиды?“

„Ее нельзя назвать печальною, для того что зритель видитъ соединеніе любовниковъ, или увѣренъ въ томъ, что оно безпрепятственно послѣдуетъ. Но ее нельзя назвать и радостною, для того что онъ не можетъ одобрить сего соединенія и не можетъ почитать его счастливымъ... Но почему же Сидъ могъ такъ нравиться французской публикѣ?—Потому что въ немъ есть хорошія сцены и трогательныя чувства; потому что въ немъ много прекрасныхъ стиховъ ²²²).—Послушаемъ, что вообще о французскихъ трагедіяхъ, и особливо Корнелевыхъ, говоритъ одинъ изъ остроумнѣйшихъ французовъ—д'Аламбертъ, въ письмѣ къ другу своему—Вольтеру, который прислалъ къ нему свои примѣчанія на Корнелева «Цинну». «Хотите ли, чтобы я, какъ мизантропъ, прямо сказалъ вамъ свое мнѣніе о піесѣ и вашихъ примѣчаніяхъ? Мнѣ кажется, что піеса отъ начала до конца холодна и не интересна; что она есть не что иное, какъ разговоръ въ 5 актахъ, писанный то высокимъ, то низкимъ, то стариннымъ слогомъ; что сія холодность есть великій недостатокъ почти всѣхъ нашихъ театральныхъ піесъ, и что, кромѣ нѣкоторыхъ сценъ въ „Сидѣ“, 5-го дѣйствія въ „Родогюнѣ“ и 4-го въ „Иракліи“, нигдѣ нѣтъ (а особливо въ Корнелѣ) сего ужаса, сей жалости, которые составляютъ душу трагедіи. Итакъ, по моему мнѣнію, всѣ сіи піесы лучше для чтенія, нежели для представленія...» Сей *ужасъ*, сію *жалость*, которые д'Аламбертъ весьма справедливо называетъ душою трагедіи, найдемъ мы въ Шекспирѣ и въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ драматическихъ сочинителяхъ. Французскія трагедіи можно уподобить хорошему регулярному саду, гдѣ много пре-

красныхъ аллей, прекрасной зелени, прекрасныхъ цвѣтниковъ, прекрасныхъ бесѣдокъ; съ пріятностію ходимъ мы по сему саду и хвалимъ его; только все чего-то ищемъ и не находимъ, и душа наша холодною остается; выходимъ, и все забываемъ. Напротивъ того, Шекспировы произведенія уподоблю я произведеніямъ природы, которыя прельщаютъ насъ въ самой своей нерегулярности; которыя съ неописанною силою дѣйствуютъ на душу, и оставляютъ въ ней неизгладимое впечатлѣніе“.

Кромѣ извѣстій о пьесахъ московскаго театра, Карамзинъ помѣщалъ въ своемъ журналѣ извѣстія о парижскихъ спектакляхъ. Между прочимъ интересно одно его замѣчаніе въ статьѣ объ оперѣ: „Людовикъ IX“²²³). „Театръ“—говоритъ Карамзинъ— „долженъ быть также справедливъ, какъ исторія, осуждая тирановъ и великихъ злодѣевъ, и хваля добрыхъ государей, славныхъ и добродѣтельныхъ мужей“. Означенную оперу онъ хвалитъ, потому что она „имѣетъ и то и другое достоинство“.

5) Выполнено было обѣщаніе и относительно пятаго отдѣла журнала: въ немъ находимъ біографическія извѣстія о Клопштокѣ, Геснерѣ, Виландѣ; есть и анекдоты, заимствованные изъ иностранныхъ журналовъ, напримѣръ: „Одинъ скупой англичанинъ, надъ которымъ шутили нѣкоторые насмѣшники, наконецъ очень разсердился, и желалъ быть членомъ парламента только для того, чтобы положить пошлину на остроуміе. «Это желаніе очень естественно»,—отвѣчали ему:—«всѣ другія пошлины и до васъ касаются, а отъ этой вы будете уволены»“²²⁴).

Характеризуя „Московскій журналъ“, Погодинъ говоритъ: „нельзя не удивляться искусству молодого издателя, его вкусу, умѣнью пользоваться иностранными источниками, знанію потребностей общества. Онъ понялъ вѣрно, на какой степени образованія оно находится, что можетъ быть для него пріятно и вмѣстѣ полезно, чѣмъ можно на него подѣйствовать, и возбудить его любопытство, и доставилъ ему въ „Московскомъ журналѣ“ такое занимательное чтеніе, которое, вполнѣ его удовлетворяя, вмѣстѣ трогало, шевелило, открывало видъ въ прекрасную, дотолѣ неизвѣстную область“²²⁵). Къ этому добавимъ еще слѣдующія слова Галахова: „Будучи сборникомъ произведеній русской и иностранной словесности, Московскій журналъ не имѣлъ особаго направленія, которымъ опредѣляется характеръ и цвѣтъ періодической прессы. Этимъ онъ отличался отъ сатирическихъ журналовъ Екатериніна времени. Къ «Ежемѣсячнымъ сочиненіямъ» Миллера онъ относится, какъ собственно-литературный сборникъ

къ сборнику учено-литературному. Программа его тѣснѣе. Но въ предѣлахъ чисто-литературнаго пространства содержаніе журнала было и разнообразно и занимательно. Ни одно изъ періодическихъ изданій, одновременно выходившихъ съ Московскимъ журналомъ, ни въ какомъ отношеніи не выдерживало съ нимъ сравненія“ ²²⁶).

Какъ принять былъ „Московскій журналъ“ публикою—объ этомъ можно судить ужъ по тому, что помѣщенные въ немъ сочиненія самого Карамзина въ послѣдствіи были, какъ мы знаемъ ²²⁷), повторены изданіемъ.

Характерны весьма эпиграфы, которые Карамзинъ избиралъ для своего журнала. Такъ для книжекъ 1791 г. избралъ онъ стихъ Попа:

Pleasures are ever in iour hands or eyes *).

Въ книжкахъ 1792 г. встрѣчаемъ слѣдующіе эпиграфы:

Изъ Руссо: J'ai toujours senti que l'état d'auteur n'était, ne pouvait être illustre et respectable, qu'autant qu'il n'était pas un métier“ **).

Изъ Шефтсбѣри: „Poets, in early days were look'd upon as authentick Sages, for dictating rules of life, and teaching manners and good sense: how they may have lost their presension. I cant' say“ ***).

Изъ Пфеффеля:

Die Freundschaft schätzt ihr Unterpfand
Nicht wie der Geiz das Erz:
Drum, Freund, nimm dies von meiner Hand,
Und denk', es sey—mein Herz. ****).

Несрочные литературные сборники.

Чисто-литературнымъ характеромъ отличались и дальнѣйшіе сборники Карамзина, изъ которыхъ первымъ по времени былъ сборникъ „Аглая“, въ двухъ книжкахъ (1793—1794). Онъ со-

*) Наслажденіе всегда въ вашихъ рукахъ и передъ глазами вашими.

**) Я всегда чувствовалъ, что дѣло автора было и могло быть почетнымъ и славнымъ лишь постольку, поскольку оно не было ремесломъ.

***) На поэтовъ въ былое время смотрѣли, какъ на истинныхъ мудрецовъ, предписывающихъ правила жизни и руководящихъ обычаями и здравымъ смысломъ: какъ могли они потерять это значеніе—сказать не умѣю.

****) Дружба цѣнитъ свой залогъ не такъ, какъ скупость оцѣниваетъ металлы: прими же, другъ мой, этотъ даръ и предположи, что онъ — мое сердце.

стоять изъ сочиненій только оригинальныхъ и почти исключительно самого издателя²²⁸).

Въ первой книжкѣ „Аглаи“ помѣщены уже извѣстныя намъ сочиненія Карамзина: „Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона“, „Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи“, „Островъ Борнгольмъ“, стихотворенія: „Весеннее чувство“, „Къ соловью“ и еще два произведенія, оставшіяся нами пока еще не разсмотрѣнными. Это—небольшая статья: „Что нужно автору?“ (1793) и стихотвореніе: „Приношеніе граціямъ“.

„Письма русскаго путешественника“ привели насъ къ выводу, что Карамзинъ въ области литературы, искусства и философіи отдавалъ предпочтеніе тому, что болѣе или менѣе сильно вліяло на сердце читателя, трогало его душу. Въ статьѣ: „Что нужно автору?“ онъ проводитъ мысль, что важнѣйшимъ условіемъ возможности трогать душу читателя является доброе, нѣжное сердце автора.

„Говорятъ“, — пишетъ Карамзинъ, — „что автору нужны таланты и знанія: острый, проницательный разумъ, живое воображеніе и проч. Справедливо, но сего не довольно. Ему надобно имѣть и доброе, нѣжное сердце, если онъ хочетъ быть другомъ и любимцемъ души нашей; если хочетъ, чтобы дарованія его сіяли свѣтомъ немерцающимъ; если хочетъ писать для вѣчности и собирать благословенія народовъ. Творецъ всегда изображается въ твореніи, и часто противъ воли своей. Тщетно думаетъ лицемеръ обмануть читателей и подъ златою одеждою пышныхъ словъ сокрыть желѣзное сердце, тщетно говоритъ намъ о милосердіи, состраданіи, добродѣтели! Всѣ восклицанія его холодны, безъ души, безъ жизни; и никогда питательное, эфирное пламя не польется изъ его твореній въ нѣжную душу читателя“. Далѣе Карамзинъ даетъ совѣтъ автору „призывать богинь парнаасскихъ“ только въ томъ случаѣ, если „всему горестному, всему угнетенному, всему слезящему открыть путь въ чувствительную грудь его; если душа его можетъ возвыситься до страсти къ добру, можетъ питать въ себѣ святое, никакими сферами неограниченное желаніе всеобщаго блага“. Что же касается слога, фигуръ, метафоръ, образовъ, выраженій, — то все это трогаетъ и плѣняетъ лишь тогда, когда одушевляется чувствомъ. Затѣмъ слѣдуютъ примѣры. „Отчего Ж. Ж. Руссо нравится намъ со всѣми своими слабостями и заблужденіями? Отчего любимъ читать его и тогда, когда онъ мечтаетъ или запутывается въ противорѣчіяхъ? Оттого, что въ самыхъ его заблужденіяхъ сверкаютъ искры страстнаго человеко-

любія; оттого, что самая слабости его показывают нѣкоторое милое добродушіе. Напротивъ того, многіе другіе авторы, не смотря на свою ученость и знанія, возмущаютъ духъ мой и тогда, когда говорятъ истину: ибо сія истина мертва въ устахъ ихъ; ибо сія истина изливается не изъ добродѣтельнаго сердца; ибо дыханіе любви не согрѣваетъ ее“. Заключение такое: „Однимъ словомъ, я увѣренъ, что дурной человѣкъ не можетъ быть хорошимъ авторомъ“.

Разсужденіе это, конечно, находится въ логической связи и со стихотвореніемъ: „Дарованія“, въ которомъ Карамзинъ изображаетъ качества своего идеальнаго поэта, т.-е. поэта, имѣющаго доброе и нѣжное сердце, вслѣдствіе чего онъ и можетъ „питать огонь сердецъ“ и „возвышать чувство“.

Стихотвореніе: „Приношеніе граціямъ“, помѣщенное въ самомъ началѣ первой книжки Аглаи, служитъ какъ бы вступительнымъ аккордомъ къ тѣмъ грустнымъ мотивамъ, которые звучатъ въ элегической статьѣ: „Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона“ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разсужденія: „Нѣчто о наукахъ...“ Въ концѣ послѣдняго есть между прочимъ такое обращеніе къ граціямъ: „вы составляете мое утѣшеніе, вы, нѣжныя чада ума, чувства и воображенія! Съ вами я богатъ безъ богатства, съ вами я не одинъ въ уединеніи, съ вами я не знаю ни скуки ни тяжелой праздности“, и далѣе Карамзинъ называетъ ихъ своимъ счастіемъ, своей отрадой въ горестяхъ. Подобное же обращеніе находимъ и въ „Приношеніи“:

Любезныя душѣ чувствительной и нѣжной,
Богини дружества *), утѣхи безмятежной!
Вы, кои въ томну грудь —подъ мракомъ черныхъ тучъ
Ужасныя грозы, носящейся надъ нами
Въ юдоли жизни сей—ліете свѣтлый лучъ
Отъ взора своего, и бѣлыми руками,
Съ улыбкой на устахъ, сушите рѣки слезъ,
Текущія изъ глазъ печалью отягченныхъ!

.....
О вы, которыхъ вся земля боготворитъ,
И счастливый мудрецъ и дикій свято чтитъ;
Которымъ вмѣсто жертвъ и вмѣсто енисіама
Приносятся сердца; которымъ вмѣсто храма
Пространный служитъ міръ; безъ коихъ красота
Не можетъ насъ плѣнять, и самая природа

*) Древніе при алтарѣ грацій заключали союзы дружества. (Примѣч. Карамз.).

Была бы безъ души, печальна и пуста;
Безъ конхъ жизнь мертва, не сладостна свобода,—

.
Богини милыя! благословите сей
Свободный плодъ моихъ часовъ уединенныхъ,
Природѣ, тишинѣ и музамъ посвященныхъ!
Вручаю вамъ его, сей даръ души моей ²²⁹).
Съ улыбкою любви, небесныя, примите,
Что вамъ дарить любовь; улыбкой освятите
Сплетенный мой вѣнокъ изъ бѣлыхъ туберозъ,
Изъ свѣжихъ ландышей, изъ юныхъ алыхъ розъ—
Для васъ однихъ сплетенъ онъ чистою рукою.
Но ахъ! на немъ слеза... Простите мнѣ ее:
Я друга потерялъ!.. Предъ вами ль грусть сокрою,
Прискорбiе души, унынiе мое?
Ахъ, нѣтъ! отъ васъ я жду, любезныхъ, утѣшенья,
Луча во мрачности и въ горѣ улажденья!..
Примите малый даръ—клянуся васъ любить,
Богини милыя, доколѣ буду жить!

Эпиграфъ для первой книги Аглан быть выбранъ изъ Боннета: *Les esprits bien fait qui ne peuvent lire mon coeur, liront au moins mon livre.*

Въ составъ второй кн. Аглан вошли слѣдующія произведенія Карамзина: „Аѳинская жизнь“, письмо Мелодора и отвѣтъ на него Филалета, окончанiе „Писемъ русскаго путешественника“, „Илья Муромецъ“, „Посланiе къ Дмитріеву“ и др. Въ началѣ этой книжки помѣщено посвященiе, обращенное къ Н. П. Плещеевой. Оно носитъ явные слѣды грустнаго настроенiя Карамзина: въ немъ есть напр. такія строки: „Мы живемъ въ печальномъ мірѣ, гдѣ часто страдаетъ невинность, гдѣ часто гибнетъ добродѣтель... Исчезли призраки моей юности; угасли пламенные желанiя въ моемъ сердцѣ... Ничто не прельщаетъ въ свѣтѣ. Чего искать? къ чему стремиться?... къ новымъ горестямъ? Онѣ сами найдутъ меня—и я безъ ропота буду лить новыя слезы“.

Но, поддаваясь грусти и разочарованiю, Карамзинъ и оживлялся. Въ одну изъ такихъ минутъ пришла ему мысль издать стихотворный альманахъ. Октября 17-го 1795 г. онъ писалъ къ Дмитріеву: „Живой живое и думаетъ, говоритъ пословица. Дней пять занимаюсь я новымъ планомъ: выдать къ новому году русскій „*Almanach des Muses*“, въ маленькій форматъ, на голландской бумагѣ. Надѣюсь на твою музу... Начнемъ—а другіе со временемъ возьмутъ на себя продолженіе. Откроемъ сцену для рус-

скихъ стихотворцевъ“. Намѣреніе осуществилось — и желаемый альманахъ появился подъ именемъ; „Аониды“ (1796—кн. I, 1797—кн. II, 1799—кн. III), представляя собою сборникъ разныхъ стихотвореній современныхъ русскихъ поэтовъ: Хераскова, Державина, Дмитріева, Капниста, Нелединскаго-Мелецкаго, В. Пушкина, Измайлова, Кострова и др. Изъ стихотвореній самого Карамзина тутъ были: „Посланіе къ Плещееву“, „Гекторъ и Андромаха“, „Посланіе къ женщинамъ“ (въ I кн.), „Къ бѣдному поэту“, „Опытная Соломонова мудрость“ (во II кн.) и др.

Ко второй кн. Аонидъ Карамзинъ прибавилъ предисловіе, въ которомъ сперва объяснилъ, почему между многими „хорошими стихами“ помѣщаются тамъ и „очень не совершенные“ стихи начинающихъ поэтовъ, а затѣмъ добродушно прочелъ урокъ этимъ послѣднимъ. Слабые стихи помѣщались въ Аонидахъ, по объясненію ихъ издателя, „отчасти для ободренія незрѣлыхъ талантовъ, которые могутъ созрѣть и произвести со временемъ нѣчто совершенное; отчасти для того, чтобы справедливая критика публики заставила насъ писать съ большимъ стараніемъ; чтобы читатели имѣли удовольствіе видѣть, какъ молодые стихотворцы годъ отъ году очищаютъ свой вкусъ и слогъ; наконецъ для того, чтобы не очень хорошее тѣмъ болѣе возвышало цѣну хорошаго. Однимъ словомъ, Аониды должны показать состояніе нашей поэзіи, красоты и недостатки ея“. Далѣе слѣдуетъ урокъ. „Не употребляя во зло правъ издателя“,—говоритъ Карамзинъ:— „я осмѣлюсь только замѣтить два главные порока нашихъ юныхъ музъ: излишнюю высокопарность, громъ словъ не у мѣста, и часто притворную слезливость. Поэзія состоитъ не въ надутомъ описаніи ужасныхъ сценъ натуры, но въ живости мыслей и чувствъ. Если стихотворецъ пишетъ не о томъ, что подлинно занимаетъ его душу; если онъ не рабъ, а тиранъ своего воображенія, заставляя его гоняться за чуждыми, отдаленными, несвойственными ему идеями; если онъ описываетъ не тѣ предметы, которые къ нему близки, и собственною силою влекутъ къ себѣ его воображеніе, если онъ принуждаетъ себя или только подражаетъ другому (что все одно),—то въ произведеніяхъ его не будетъ никогда живости, истины, или той сообразности въ частяхъ, которая составляетъ цѣлое, и безъ которой всякое стихотвореніе (не смотря даже на многія счастливыя фразы), похоже на странное существо, описанное Горациемъ въ началѣ эпистолы къ Пизонамъ. Молодому штопцу музъ лучше изображать въ стихахъ первыя впечатлѣнія любви, дружбы, нѣжныхъ красотъ при-

роды, нежели разрушеніе міра, всеобщій пожаръ натуры и прочее въ семь родѣ ²³⁰). Ненадобно также безпрестанно говорить о слезахъ, прибирая къ нимъ разные эпитеты, называя ихъ блестящими и брилліантовыми: сей способъ трогать очень ненадеженъ; надобно описать разительно причину ихъ, означить горестъ не только общими чертами, которыя, будучи слишкомъ обыкновенны, не могутъ производить сильнаго дѣйствія въ сердца читателя—но особенными, имѣющими отношеніе къ характеру и обстоятельствамъ поэта. Сіи-то черты, сіи подробности, и сія, такъ сказать, личность увѣряють насъ въ истинѣ описаній и часто обманываютъ; но такой обманъ есть торжество искусства".—Такъ поучалъ Карамзинъ незрѣлые таланты и внушалъ имъ мысль, что „трудно, трудно быть совершенно хорошимъ писателемъ и въ стихахъ и въ прозѣ“, но „зато много и чести побѣдителя трудностей; зато націи гордятся своими авторами; зато о превосходствѣ націи судятъ по успѣхамъ авторовъ ея“. Въмѣстѣ съ этимъ онъ тутъ повторилъ и основную мысль своего разсужденія: „Что нужно автору?“, сказавши: „искусство писать есть, конечно, первое и славнѣйшее, *требуя рѣдкаго совершенства въ душевныхъ способностяхъ*".

Въ промежутокъ времени между выходомъ 2-й и 3-й кн. Аонидъ изданъ былъ „Пантеонъ иностранной словесности“ (1798). По плану издателя ²³¹), сборникъ этотъ долженъ былъ знакомить читателей съ произведеніями (конечно—въ переводѣ) древнихъ греческихъ и римскихъ писателей и съ сочиненіями французовъ, нѣмцевъ, англичанъ и итальянцевъ; входила въ планъ даже литература восточная. Выбирать хотѣлъ издатель „иное для *идей*, иное для *слога*". Но вышелъ „Пантеонъ“ далеко не такимъ, какъ предполагалось, и причина этому объяснена въ письмѣ къ Дмитріеву отъ 27 іюля 1798 г. „Цензоры говорятъ“,—писалъ Карамзинъ:—„что Демосѳенъ былъ республиканецъ, и что такихъ авторовъ переводить не должно—и Цицерона также—и Саллюстія также... Планъ издателя разрушился“.

Въ 1801 г. вышелъ послѣдній несрочный сборникъ Карамзина: „Пантеонъ россійскихъ авторовъ“, составленный еще въ царствованіе императора Павла и заключавшій въ себѣ 20 краткихъ характеристикъ нашихъ писателей, отъ нѣвца Баяна

до Ломоносова включительно. Онѣ были приложены, какъ текстъ, къ предпринятому Бекетовымъ ²³²⁾ изданію портретовъ русскихъ авторовъ. Впослѣдствіи Карамзинъ прибавилъ еще характеристики: Сумарокова, О. Эмина, В. Майкова, Поповскаго и Попова. Между этими 25 характеристиками нѣкоторыя, соединяя сжатость съ полнотою, могутъ быть названы мастерскими. Такова, напри- мѣръ, слѣдующая характеристика Ломоносова:

„Рожденный подъ хладнымъ небомъ сѣверной Россіи, съ пламеннымъ воображеніемъ, сынъ бѣднаго рыбака, сдѣлался от- цомъ россійскаго краснорѣчія и вдохновеннаго стихотворства.

Ломоносовъ былъ первымъ образователемъ нашего языка; первый открылъ въ немъ изящность, силу и гармонію. Геній его совѣтовался только самъ съ собою, угадывалъ, иногда ошибался, но во всѣхъ своихъ твореніяхъ оставилъ неизгладимую печать великихъ дарованій.

Онъ вписалъ имя свое въ книгу безсмертія, тамъ гдѣ сіяютъ имена Пиндаровъ, Гораціевъ, Руссо.

Современники могли только удивляться ему; мы судимъ, раз- личаемъ, и тѣмъ живѣе чувствуемъ его достоинство.

Лирическое стихотворство было собственнымъ дарованіемъ Ломоносова. Для эпической поэзіи нашего вѣка не имѣлъ онъ, кажется, достаточной силы воображенія, того богатства идей, того всеобъемлющаго взора, искусства и вкуса, которые нужны для представленія картины нравственнаго міра и возвышенныхъ, ирой- скихъ страстей. Трагедіи писаны имъ единственно по волѣ мо- нархини; но оды его будутъ всегда драгоцѣнностію россійской музыки. Въ нихъ есть, конечно, слабыя мѣста, излишности, паденія; но всѣ недостатки замѣняются разнообразными красотами и піи- тическимъ совершенствомъ многихъ строфъ. Никто изъ послѣ- дователей Ломоносова въ семъ родѣ стихотворства не могъ пре- взойти его, ниже сравняться съ нимъ.

Проза Ломоносова вообще не можетъ служить для насъ образцомъ; длинные періоды его утомительны, расположеніе словъ не всегда сообразно съ теченіемъ мыслей, не всегда пріятно для слуха; но талантъ великаго оратора блистаетъ въ двухъ похваль- ныхъ рѣчахъ его, которыя и теперь должно назвать однимъ изъ лучшихъ произведеній россійскаго собственно такъ называемаго краснорѣчія.

Если геній и дарованія ума имѣютъ право на благодарность народовъ, то Россія должна Ломоносову монументомъ“.

погрузились въ нее: читали, читали, перечитывали, и наконецъ почти вытвердили наизусть! Отъ насъ пошла книга по всему околотку, и возвратилась къ намъ уже въ лепесткахъ. Такъ стало, думаю, и вездѣ съ первыми опытами Карамзина" ²⁴³).

Говоря о содержаніи чувствительности Карамзина, мы указали лишь тѣ объекты ея, которые главнѣйшимъ образомъ характеризуютъ его, какъ писателя до-Александровской эпохи. Но, имѣя въ виду, что намъ придется имѣть дѣло съ Карамзинымъ и какъ съ писателемъ эпохи Александровской, мы должны вспомнить и о тѣхъ предметахъ, на которыхъ вниманіе его хотя и останавливалось, какъ мы сказали, мимоходомъ, но которые тѣмъ не менѣе въ послѣдствіи получили для него важное значеніе и заинтересовали его. Такими предметами были древняя Русь и народность, къ которымъ онъ пока относился то отрицательно, то положительно; монархическій образъ правленія, которому онъ скоро отдалъ предпочтеніе передъ увлекавшей его нѣкоторое время „любезной вольностью“; патріотическое чувство, заставившее его въ послѣдствіи остановить почти все свое вниманіе на Россіи, и наконецъ идея развитія жизни гражданскаго общества путемъ мирнымъ, съ осторожнымъ, даже до крайности, отношеніемъ къ переменамъ въ правленіи.

Что же касается до такихъ временныхъ, мимолетныхъ объектовъ, чувствительности Карамзина, какъ жизнь швейцарскихъ пастуховъ, золотой вѣкъ первобытнаго человѣчества, или счастливая Аркадія, то здѣсь мы объ нихъ не упоминаемъ, именно потому, что увлеченія ими были мимолетны и не имѣли существеннаго значенія ни въ первый періодъ его литературной дѣятельности ни въ позднѣйшій.

До сихъ поръ мы говорили о томъ значеніи Карамзина, какое онъ имѣлъ для современнаго ему общества. Теперь скажемъ нѣсколько словъ и о значеніи трудовъ его для нашей литературы.

Самымъ важнымъ дѣломъ Карамзина было произведенное имъ преобразованіе въ области нашего литературнаго языка, о чемъ мы подробно будемъ говорить въ послѣдствіи. Далѣе: имя Карамзина, какъ дѣятеля до-Александровской эпохи, не можетъ быть

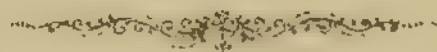
пройдено молчаніємъ ни въ исторію нашої журналістики, ни въ исторію нашої беллетристики, критики и художественнаго развитія стиха, такъ какъ Карамзинъ, какъ издатель „Московского журнала“, сдѣлалъ крупный шагъ впередъ, давъ образецъ содержательнаго и со вкусомъ составленнаго изданія, способствовавшаго къ распространенію въ тогдѣшнемъ обществѣ охоты къ чтенію, а какъ писатель—далъ оригинальные образцы новаго рода повѣсти, установилъ новыя пріемы критики и ввелъ новыя размѣры стиха. Наконецъ, еще въ до-Александровскую эпоху далъ образцы разсужденій и изложеній въ живой разговорной формѣ. Вступая въ новую эпоху, Карамзинъ уже считался у современниковъ самымъ крупнымъ представителемъ русской словесности.

Крупной заслугой Карамзина было и то, что онъ возвысилъ у насъ званіе писателя. „Пребываніе за границей показало ему, какое видное мѣсто занимаетъ въ тамошнемъ обществѣ литераторъ, какъ вліятельна его дѣятельность, не уступающая другимъ родамъ службы на пользу родной страны. Своимъ примѣромъ онъ задумалъ отмѣнить у насъ тотъ исконный обычай, по которому дворянинъ былъ обязанъ непременно занимать какую-нибудь ступень въ административной іерархіи. Онъ хотѣлъ быть единственно, исключительно литераторомъ“ ²⁴⁾. II Карамзинъ былъ „исключительно литераторомъ“, пріобрѣлъ своей дѣятельностью уваженіе общества, и съ его времени имя писателя становится у насъ все болѣе и болѣе почетнымъ.

Въ Карамзинѣ, какъ писателѣ, можно находить слабыя стороны—и критика ихъ находитъ. Но едва ли можно идти такъ далеко, чтобы считать его лишь вреднымъ. А между тѣмъ, одинъ изъ новѣйшихъ критиковъ ²⁵⁾, крайне односторонне взглянувъ на чувствительность Карамзина, и не видя въ ней ничего свѣтлаго, признаетъ за этимъ писателемъ только тлетворное вліяніе на русское общество. Впрочемъ о серьезности этого критика можно судить уже по самому тону его отзыва о Карамзинѣ, нѣсколько фельетонному. Вотъ образецъ: „Онъ (Карамзинъ) умилется предъ «счастливыми нивейярами», погружается въ сладкую меланхолію у памятника Руссо, и убѣжденъ въ очень красивой и трогательной истинѣ: «Цвѣты граціи украшаютъ всякое состояніе». Это очевидно изъ блаженнѣйшаго состоянія «просвѣщеннаго земледѣльца», когда онъ сидитъ «на мягкой зелени съ

нѣжной своей подругою» и не хочетъ завидовать счастью «роскошнѣйшаго сатрапа». Сцена дѣйствительно очень поэтическая, тѣмъ болѣе, что просвѣщенный поселянинъ предполагается отдыхающимъ послѣ «трудовъ и работы», слѣдовательно—настоящій образованный крестьянинъ, чуть ли не за сохой читающій «Письма русскаго путешественника»“ 240).

Не такимъ тономъ и не такимъ подборомъ фактовъ отличается серьезная критика Пынина, тоже строго, но отнюдь не односторонне судящая разсматриваемаго нами писателя.



ПРИМѢЧАНІЯ.

1) „Начало девятнадцатаго вѣка“ (Вѣстникъ Европы 1895 г., августъ, стр. 763—764).

2) Изслѣдованіемъ вопросовъ о мѣстѣ и годѣ рожденія Карамзина занимался академикъ П. Пекарскій. Двѣ его статьи по этимъ вопросамъ помѣщены въ приложеніяхъ къ академич. изданію „Писемъ Карамзина къ Дмитріеву“. Село Михайловка называлось также и Пресображенскимъ и Карамзихой. Отецъ Карамзина былъ женатъ два раза: отъ первой жены, Екатерины Петровны Пазухиной, онъ имѣлъ трехъ сыновей: Василія, Николая, Оедора и дочь Екатерину. По смерти первой жены, вступилъ во второй бракъ съ Дмитріевой, отъ которой были дѣти: сынъ Александръ и дочь Марѳа.

3) Записки Ив. Ив. Дмитріева, извѣстныя подъ именемъ: „Взглядъ на мою жизнь“. (Москва, 1866). См. стр. 38.

4) Свѣдѣнія о книгахъ желтаго шкапа заимствуемъ изъ статьи Галахова: „Карамзинъ. Матеріалы для опредѣленія его литературной дѣятельности“. („Современникъ“ 1853 г., № 1).

5) Система натуры—сочиненіе философа-матеріалиста барона Гольбаха (1770).

6) Въ „Письмахъ р. путешественника“, въ письмѣ, описывающемъ Парижскую королевскую библіотеку. (Сочин. Карамзина, изд. Смирдина, Спб. 1848 г., т. II, 549).

7) Свидѣтельство относительно французскаго языка есть въ повѣсти: „Рыцарь нашего времени“, а относительно нѣмецкаго—въ запискахъ Дмитріева, стр. 38.

8) Свѣдѣнія о Шаденѣ есть въ „Словарѣ профессоровъ Московскаго университета“ и въ „Исторіи Московскаго университета“ Шевырева. Есть они и въ упомянутой въ 4-мъ примѣчаніи статьѣ Галахова, гдѣ много говорится и о Геллертѣ.

9) Эти положенія передаемъ словами Галахова. („Современникъ“ 1853, № 1).

10) Т.-е. побѣда надъ самимъ собою.

11) „Письма русск. путешеств.“, Лейпцигъ, іюля 15, 1789 г.

12) Шаденъ произносилъ свои рѣчи на латинскомъ языкѣ

13) Эти мысли передаемъ словами Галахова. („Современникъ“ 1853, № 1)

14) „Очеркъ дѣятельности и личности Карамзина“, стр. 19. Эта статья академика Грота помѣщена въ книгѣ „Торжественное собраніе Императорской Академіи Наукъ 1-го декабря 1866 года“.

15) Стр. 39.

16) Г. Геттнеръ. „Исторія всеобщей литературы XVIII вѣка“, т. III, 305. Переводъ А. Пыпина. (Спб. 1863—1866, а т. III-й—Москва 1872. Теперь есть уже и 2-е изд.).

- 17) Такъ названо оно у Морица Каррьера: „Искусство въ связи съ общимъ развитіемъ культуры и идеалы человечества“, т. V, 39. (Москва, 1875).
- 18) „Ист. русск. словесности“ А. И. Пезеленова, ч. I, 220. (Спб. 1893).
- 19) Нижеприведенныя выписки изъ этихъ журналовъ взяты изъ указной въ 4-мъ примѣч. статьи Галахова. („Современникъ“ 1853, № 11).
- 20) См. „Истор. новой философій“ Фалькенберга, стр. 223—228. Переводъ студентовъ Спб. универ. подъ редакціей проф. А. И. Введенскаго (Спб. 1894). Это—лучшее сочин. по новой философій.
- 21) Указаніе Дмитріева („Взглядъ на мою жизнь“, 41), будто Карамзинъ *слушалъ* самого Шварца, ошибочно. Эту же ошибку повторилъ и Шевыревъ („Лекціи о русск. литературѣ, читанныя въ Парижѣ въ 1862 году“, 264; академич. изд. Спб. 1884). Ошибка Дмитріева указана М. И. Лонгиновымъ въ 78 и 85 примѣч. къ сочиненію: „Взглядъ на мою жизнь“. Такъ какъ Шварцъ умеръ въ 1784 г., то Карамзинъ могъ лишь читать его лекціи, но не могъ слушать самого лектора.
- 22) „Взглядъ на мою жизнь“, 43.
- 23) „Истор. русск. словесности“, ч. II, отд. 2, стр. 271 (Казань, 1888). Въ этой книгѣ помѣщенъ довольно полный очеркъ масонства.
- 24) Лучшее сочин. о Новиковѣ Пезеленова: „Новиковъ, какъ издатель журналовъ 1769—1785 г.“. (Спб. 1875).
- 25) Стр. 155 (Спб. 1884).
- 26) Переписка Карамзина съ Лафатеромъ помѣщена въ „Запискахъ“ Акад. Наукъ, т. LXXIII (1893 г.).
- 27) Пособія: „Истор. всеобщ. литературы XVIII вѣка“ Геттнера, т. I; „Искусство въ связи съ общ. развитіемъ культуры...“ Мор. Каррьера, т. V; статья Галахова: „Карамзинъ, какъ оптимистъ“ („Отечеств. Записки“ 1858, № 1). Авторъ этой статьи пользовался между прочимъ и Геттнеромъ.
- 28) Какъ видѣсь, такъ и ниже, помѣщенное въ кавычкахъ принадлежитъ переводу Карамзина.
- 29) Въ письмѣ о франц. революціи (сочин. Карамзина, II, 462).
- 30) „Взглядъ на мою жизнь“, 42.
- 31) Тамъ же. Домъ этотъ принадлежалъ Шварцу и по смерти его перешелъ къ Друж. обществу.
- 32) Собственно не Оссіанъ, а поддѣлка подъ него шотландскаго поэта Макферсона.
- 33) Въ письмѣ отъ 1 августа 1787 г. Письма Петрова къ Карамзину напечатаны въ „Русск. Архивѣ“ 1863 и 1866 г.
- 34) Морицъ Каррьеръ, т. V, статья о Лессингѣ.
- 35) Подробности о Ленцѣ есть у Галахова („Современникъ“ 1853, № 11).
- 36) См. драматическую пьесу Карамзина: „Софія“. (Соч. III).
- 37) Геттнеръ: „Истор. всеобщ. литер. XVIII в.“, т. I, 445.
- 38) „Зима“, лучшая часть поэмы, написана Томсономъ раньше другихъ ея частей: она появилась еще въ 1726 г.
- 39) Геттнеръ, т. I, 387.
- 40) Тамъ же, 390.
- 41) Морицъ Каррьеръ, т. V, 59.
- 42) „Сентиментальное путешествіе по Франціи и Италіи“. Переводъ съ англ. Д. В. Аверкіева, изд. Суворина, стр. 164.

- 43) Въ повѣсти: „Рядарь нашего времени“ (см. выше, стр. 9).
- 44) „Московский журналъ“ 1791 г., 2-я ч., 51.
- 45) „Истор. всеобщ. литерат. XVIII в.“, т. II, 366.
- 46) Выписано изъ Геттнера, т. II, 366—367.
- 47) „Письма русск. путешеств.“ Орменонвиля. (Соч. К. II, 632).
- 48) Такъ Карамзинъ называетъ ее въ своей повѣсти: „Юлия“. (Соч. К. III, 63).
- 49) Въ статьѣ: „Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи“
- 50) Мифологич. т.-е. ненавистникомъ наукъ, просвѣщенія, Карамзинъ называетъ Руссо въ своемъ письмѣ о парижскихъ академіяхъ. (Соч. К. II, 525).
- 51) „Истор. всеобщ. литер. XVIII в.“, II, 340.
- 52) О правахъ общественной вольности Карамзинъ говорить не только въ письмѣ изъ Швейцаріи и въ повѣсти „Марья Посадница“, но и въ „Исторіи“, въ отдѣлѣ подъ рубрикой: „Обозрѣніе исторіи Новгорода“, т. VI.
- 53) Въ статьѣ: „Пріятныя виды, надежды и желанія нынѣшняго времени“
- 54) М. Погодинъ: „Николай Михайловичъ Карамзинъ, по его сочиненіямъ, письмамъ и отзывамъ современниковъ“, т. I, 37. (Москва, 1866).—Исавыревъ: „Лекціи, читанн. въ Парижѣ“, 263.
- 55) Изъ Парижа, мая... 1790 г. (Соч. К. II, 511).
- 56) Письмо изъ Маріенбурга. (Соч. К. II, 40).
- 57) Письмо изъ Данцига. (Соч. К. II, 44).
- 58) Отъ 17 ноября 1788 г. „Письма Карамзина къ Дмитріеву“, академич. изд. Спб. 1866 г.
- 59) „Взглядъ на мою жизнь“, 43.
- 60) „Современникъ“ 1853 г., № 11.
- 61) Письмо изъ Лейпцига отъ 17 іюля. (Соч. К. II, 130)
- 62) Скарронъ—французскій писатель XVII в., авторъ сатирическихъ произведеній, описывающихъ жизнь провинціальныхъ странствующихъ актеровъ.
- 63) Карамзинъ говоритъ тутъ о слѣдующемъ переводѣ: „Shakespeare, traduit de l'Anglais, dédié au Roi, Paris 1776“. Слѣдовательно переводъ этотъ сдѣланъ уже послѣ критики Лессинга.
- 64) „Взглядъ на мою жизнь“, 43.
- 65) „Современникъ“ 1853 г., № 11.
- 66) Тутъ переданы мысли Бошпета (см. его „Совершенство природы“, главу „Множество міровъ“). Мысль о томъ, что жители другихъ міровъ дивнымъ образомъ одарены разумными силами“, совпадаетъ съ предположеніемъ Галлея, что наша планета есть „менѣе излучная точка міра“ и проч. (см. выше, стр. 35)
- 67) См. „Дѣтскіе годы Багрова-внука“.
- 68) „Лекціи о русской литературѣ“, 266.
- 69) Статя, упомянутая въ 1-мъ примѣч. Стр. 763.
- 70) „Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона“.
- 71) „Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи“. (Сочин. Карамзина III, 399).
- 72) „Филалетъ къ Мелодору“. (Сочин. Карамз. III, 453 - 454).
- 73) „Мелодоръ къ Филалету“. (Сочин. Карамз. III, 438).
- 74) „Н. М. Карамзинъ...“, I, 168.

75) Въ писемѣ 1791 г. (число не обозначено: въ академич. изданіи „Писемъ Н. М. Карамзина къ Нв. Нв. Дмитріеву“ оно помѣщено подъ № 19.

76) Тамъ же.

77) Въ п. отъ 18 ноября 1791 г.

78) Въ п. отъ 2 декабря 1791 г.

79) Въ п. отъ 23 апрѣля 1791 г.

80) Въ п. отъ 1 іюня 1791 г.

81) Аониды—другое имя музъ.

82) Изданы были отдѣльно: „Бѣдная Лиза“ (1796), „Письма русск. путеш.“ (1797—1801); повѣсти и мелкія сочиненія въ стихахъ и прозѣ, помѣщенные въ Московскомъ журналѣ, изданы были отдѣльно подъ названіемъ: „Мои бездѣлки“, въ 2 частяхъ (въ 1794 г. изд. 1-е, а въ 1797 г. изд. 2-е). Отдѣльно же изданы были и помѣщавшіяся въ Московскомъ журналѣ Мармонтелевы повѣсти. Первая часть отдѣльнаго ихъ изданія вышла въ 1794, а вторая въ 1798 г.

83) Такъ напр. „Письма русск. путеш.“ были переведены на нѣмецкій яз., а повѣсть: „Юлія“ на французскій. „Письма русск. путеш.“ были переведены пріятелемъ Карамзина Рихтеромъ, подъ заглавіемъ: „Briefe eines reisenden Russen“ и изд. въ Лейпцигѣ въ 1799—1802 г.

84) Подобныя переименованія были тогда въ употребленіи; такъ напр. Петрова Карамзинъ называлъ *Антонюмъ*, самого Карамзина въ Друж. обществѣ называли *Рамзеемъ*.

85) „Н. М. Карамзинъ...“, I, 251.

86) Въ п. отъ 10 августа 1797 г.

87) Въ п. отъ 3 іюня 1798 г.

88) Въ п. отъ 10 марта 1799 г.

89) „Н. М. Карамзинъ...“ М. Погодина, I, 306 и далѣе.

90) „Къ литературной исторіи Писемъ русск. путешественника“. (Извѣстія Имп. Акад. Наукъ, 1897, т. II, кн. 3-я).

91) Сочин. Карамзина II, 690 и д.

92) „Tableau de Paris“ Мерсье было издано въ 1782 г. въ Амстердамѣ.

93) Сочин. Карамзина II, 458 и д.

94) Морицъ Каррьеръ, т. V, 47.

95) Въ статьѣ „Письма русскаго путешественника“, написанной по поводу столѣтняго юбилея Карамзина.

96) Въ статьѣ: „Столѣтіе Писемъ русскаго путешественника“. („Русская Мысль“ 1891 г. № 7).

97) „Н. М. Карамзинъ...“, I, 75.

98) Поппъ въ „Опытѣ о человѣкѣ“ говоритъ, что счастье опредѣляется согласіемъ нашимъ съ устройствомъ міра.

99) Такъ какъ Боннетъ имѣлъ вліяніе на Карамзина и очень ему нравился, то этотъ отзывъ о немъ Виланда весьма интересенъ для насъ.

100) Онъ же и авторъ „Чувствительнаго путешествія“.

101) Намѣреніе Карамзина перевести сочин. Боннета цѣлкомъ осталось однако неосуществленнымъ.

102) Письмо изъ Лондона о литературѣ.

103) Письмо изъ Парижа о театрахъ.

104) Подробнымъ дополненіемъ къ этому письму можетъ служить

статья Карамзина о Корнелии „Спдѣ“ (см. ниже, въ главѣ о Московскомъ журналѣ).

105) Намекъ на Руссо и его послѣдователей, увлекшихся разсужденіемъ „Discours sur les sciences et les arts“.

106) Письмо изъ Лейпцига, іюля 16.

107) Письмо изъ Лозанны (Соч. К. II, 300).

108) Въ романѣ: „Тристрамъ Шэнди“.

109) Письмо изъ Женевы (Соч. К. II, 361).

110) Письмо изъ Лозанны (Соч. К. II, 298).

111) Письмо изъ Лозанны (Соч. К. II, 295).

112) Письмо изъ Цюриха (Соч. К. II, 241).

113) Письмо изъ Лейпцига (Соч. К. II, 124).

114) Письмо изъ Брука (Соч. К. II, 210).

115) Письмо изъ Цюриха (Соч. К. II, 240).

116) Письмо изъ Базеля (Соч. К. II, 200) и изъ Лозанны (295).

117) Письмо изъ Парижа, апрѣля... 1790 (Соч. К. II, 449—451).

118) Майское письмо изъ Парижа (Соч. К. II, 504).

119) Майское письмо изъ Парижа (Соч. К. II, 494).

120) Тамъ же, 495.

121) Письмо изъ Парижа, іюня ... 1790 (Соч. К. II, 646).

122) Первое письмо изъ Лондона (Соч. К. II, 664).

123) Второе письмо изъ Лондона (Соч. К. II, 668).

124) Четвертое письмо изъ Лондона (Соч. К. II, 680).

125) Пятое письмо изъ Лондона (Соч. К. II, 686).

126) Одиннадцатое письмо изъ Лондона (Соч. К. II, 723).

127) У Сиповскаго приведено соответствующее мѣсто изъ Архиповца (стр. 711).

128) Письмо изъ Лондона, сентября ... 1790. (Соч. К. II, 774).

129) Тамъ же, 779.

130) Тамъ же, 780.

131) Последнее апрѣльское письмо изъ Парижа (Соч. К. II, 493).

132) Письмо изъ Ліона отъ 9 марта (Соч. К. II, 409).

133) Письмо съ долины Гасли (Соч. К. II, 279).

134) Майское письмо изъ Парижа (Соч. К. II, 514).

135) См. выше, с. 24.

136) „Неизданныя сочиненія и переписка Н. М. Карамзина“, часть первая. Спб. 1862.

137) „Ист. русск. словесности“ И. Порфирьева, ч. II. Новый періодъ. Отдѣлъ 3, стр. 9—10.

138) Письмо объ англійской литературѣ (Соч. К. II, 751).

139) Въ юбилейной статьѣ: „Письма русс. путешественника“.

140) Десять пѣсней Мессіады переведены были Кутузовымъ, также однимъ изъ сотрудниковъ Друж. общества.

141) Письмо изъ курляндской корчмы отъ 1 іюня 1789 года (Соч. К. II, 15).

142) Письмо изъ Цюриха (Соч. К. II, 216).

143) Последнее апрѣльское письмо изъ Парижа (Соч. К. II, 493).

144) См. въ повѣсти: „Бѣдная Лиза“ и въ статьѣ: „Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи“.

140) Въ статьѣ: „Такъ что же ядовъ дѣлать?“ Сочин. Л. Толстого, XII 54 Москва, 1891.

141) Соч. Карамз. II, 460 и д.

142) А. И. Пятковскій въ своемъ сочиненіи: „Исторія нашего литературнаго и общественнаго развитія“, ч. I, 143 (Спб. 1883, изд. 2-е).

143) Сентябрьское письмо изъ Лондона (Соч. К. II, 779).

144) См. упомянутую выше (примѣч. 90-е) статью В. В. Синовскаго.

145) Письмо изъ Бадена (Соч. К. II, 254).

146) Письмо изъ Цюриха (Соч. К. II, 241).

147) Письмо, означенное: „Въ каретѣ дороговъ“ (Соч. К. II, 204).

148) Соч. Карамз. II, 293.

149) Письмо изъ Женевы отъ 23 января (Соч. К. II, 342).

150) Соч. Карамз. I, 543. Пис. „Вѣстникъ Европы“, октябрь 1802 г.

151) Объясненіе къ тому мѣсту см. въ женевскомъ письмѣ отъ 2 октября (Соч. К. II, 315).

152) См. примѣч. 52-е.

153) Сентябрьское письмо изъ Лондона (Соч. К. II, 778).

154) См. упомянутую въ 1-мъ примѣчаніи статью Пынина стр. 753.

155) Сочин. Карамз. II, 460.

156) „Новѣйшая исторія“, т. IV, 18 (Спб. 1894. Переводъ подъ редакціей П. И. Полевого).

157) Тамъ же, стр. 27.

158) „Русская Мысль“ 1891 г. № 8.

159) Письмо съ горы Юры отъ 8 ноября 1789.

160) Письмо изъ Франкфурта (на Майнѣ) отъ 30 іюля.

161) Соч. Карамз. II, 489—490.

162) Тамъ же, 559—562.

163) Последнее письмо (изъ Кроунштадта).

164) См. выше (на стр. 86) слова Анучина.

165) Письмо изъ Эрфурта отъ 22 іюля.

166) Первое письмо изъ Франкфурта на Майнѣ.

167) См. примѣч. 83-е.

168) Въ письмѣ изъ Лейпцига—о Вейсѣ.

169) Подъ небеснымъ сапогъ Карамзинъ разуметь сапогъ человека. См. письмо Мелодора къ Филалету.

170) Ив. Ивановъ, помѣстившій въ журналѣ: „Миръ Божій“ за 1897 годъ статью свою: „Исторія русской критики“. Авторъ ея крайній антикарамзинистъ. Приводимый нами отзывъ его о „Фролѣ Силнѣ“ находится въ февральской книжкѣ упомянутаго журнала, на стр. 139.

171) „Ист. русск. словесности“, II, 31, изд. 1880 г.

172) „Пріятные виды, надежды и желанія пятидесяти лѣтъ“.

173) „Ист. русск. словесности“ Галахова, II, 28—29.

174) „Очеркъ дѣятельности и личности Карамзина“, стр. 17.

175) Сочин. Бѣлинскаго, т. VIII, 136 (изд. 1881 г.) и т. III, 281 (изд. 1871 г.).

176) См. выше стр. 141.

177) „Ист. рус. слов.“, ч. II, отдѣлъ 3-й, стр. 50.

178) См. въ сочин. Погодина: „П. М. Карамзинъ...“ I, 243.

179) Эти строки изъ Стерна приводимъ въ переводѣ В. В. Синовскаго

(Извѣстія Акад. Наукъ, 1897, т. II, кн. 3-я. У Аверкиева онъ переведены менѣе удачно.

185) Повѣсть предназначалась для третьей части „Атлан“, но сборникъ этотъ не вышелъ, и „Юлія“ была издана отдѣльно.

186) Знаменитый парижскій танцовщикъ, о которомъ упоминаетъ Карамзинъ въ письмѣ изъ Парижа отъ 29 апрѣля 1790 г.

187) См. повѣсть: „Наталья, боярская дочь“.

188) „Н. М. Карамзинъ...“ I, 248.

189) См. конецъ вступленія къ этой повѣсти.

190) Статья Н. Г. Булacha: „Біографическій очеркъ Н. М. Карамзина и развитіе его литературной дѣятельности“.

191) Сочиненіе Бергга Сутнеръ.

192) Карамзина винить въ склонности решать общественные и политическіе вопросы чувствительностью. См. напр. статью Пынина въ „Вѣстн. Европы“, 1895, августъ.

193) „Изъ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развитія“ Пятковского, I, 142—143.

194) См. выше, стр. 114.

195) „Сентиментальное путешествіе“ Л. Стерна. Переводъ Аверкиева стр. 124.

196) Сыну Алексѣя Александровича.

197) Число не обозначено; въ академич. изданіи писемъ Карамзина къ Дмитріеву приведенныя строки находятся въ письмѣ № 17.

198) Академич. изд. писемъ Карамзина къ Дмитріеву, призываніе къ письму № 52, стр. 036.

199) См. письмо Карамз. къ Дмитріеву отъ 27 іюля 1798 г.

200) „Разговоръ о счастьи“, какъ и повѣсть: „Юлія“, не вошелъ ни въ одинъ изъ сборниковъ Карамзина, а издавъ быть отдѣльно.

201) „Отечественныя Записки“ 1858 г. № 1, статья: „Карамзинъ, какъ оптимистъ“, стр. 110—113.

202) Въ четверостишіи: „Страсти и безстрастіе“ (1795 г.).

203) См. „Исторію новой философіи“ Фалькенберга, стр. 257—258.

204) См. оду на восшествіе императора Александра I (Сочин. Карамз. I, 203).

205) Въ стихотвореніи: „Поэзія“, почему-то не помѣщенномъ въ собраніи сочин. Карамзина, изд. Смирдинымъ. Огрывки есть у Погодина („Н. М. Карамзинъ...“, I, 46 и 61).

206) „Н. М. Карамзинъ...“, I, 242.

207) „Очеркъ дѣят. и личн. Карамзина“, 16—17..

208) Въ одѣ на коронованіе императора Александра I.

209) „Н. М. Карамзинъ...“, I, 184.

210) Тамъ же, I, 43.

211) Въ № 89 „Московскихъ Вѣдомостей“.

212) Сочин. Карамз. II, 72.

213) Имена ихъ упомянуты выше, на стр. 71.

214) Т.-е. „Новыя новеллы“. Изъ нихъ переведена: „Валерія. Итальянская повѣсть“ (1792).

215) „Очеркъ дѣят. и личн. Карамзина“, 15.

216) Часть II, 81—82.

- 217) Палефатъ — древне-греческій писатель.
- 218) Это и былъ Подшиваловъ, рецензія котораго была напечатана въ яиварьской кн. „Моск. журн.“ за 1792 г.
- 219) Она была прислана Карамзину.
- 220) Въ „Россійскомъ магазинѣ“.
- 221) Эта статья Карамзина приведена у Погодина („Н. М. Карамзинъ...“, I, 175—183).
- 222) Ср. эту мысль, равно какъ и многія другія, съ мыслями письма о французской трагедіи.
- 223) Февральская книжка 1791 г.
- 224) Тамъ же.
- 225) „Н. М. Карамзинъ...“, I, 172.
- 226) „Ист. русск. словесности“, т. II, стр. 24, изд. 1880 г.
- 227) См. выше, стр. 73.
- 228) Лишь въ первой книгѣ „Аглая“ помѣщены два чужихъ произведенія: басня: „Чижъ“ (Дмитріева) и стихотвореніе: „Разлука“.
- 229) Т.-е. „Аглаю“.
- 230) Въ послѣднихъ словахъ заключается намекъ на пристанное къ изданію стихотвореніе: „Конѣцъ міровъ“ (вѣроятно—Магницкаго). Карамзинъ не напечаталъ сего.
- 231) Планъ этотъ изложенъ въ письмѣ къ Дмитріеву отъ 1 го марта 1798 г.
- 232) Бекетовъ—товарищъ Карамзина по пансіону Шадена.
- 233) Въ разсужденіи: „О любви къ отечеству и народной гордости“.
- 234) Эта мысль высказана и въ извѣстномъ намъ письмѣ къ Дрездену (с. 114) и въ стих. „Весеннее чувство“ (с. 188), и въ нѣкот. др. соч. Карамз.
- 235) См. письмо Филалета.
- 236) См. „Разговоръ о счастіи“.
- 237) „Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи“.
- 238) Письмо Филалета.
- 239) „Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи“.
- 240) См. выше, с. 156—157).
- 241) „Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи“.
- 242) См. въ сочин. Погодина: „Н. М. Карамзинъ...“, I, 243.
- 243) Тамъ же, I, 216.
- 244) „Ист. рус. словесности“ Галахова, II, 7—8.
- 245) Пв. Ивановъ, авторъ уже упомянутой въ 175 примѣч. статьи.
- 246) „Міръ Божій“ 1897, февраль, стр. 137—138.

7. 2

талъ въ 450 тысячъ р.), библіотекой и нѣсколькими кабинетами, и предназначенное для Московскаго университета и для будущихъ университетовъ, объ открытіи которыхъ шла тогда рѣчь, и для основанія высшаго учебнаго заведенія въ Ярославлѣ (Демидовскій лицей). Въ письмѣ къ гр. Завадовскому ²⁵⁾ (въ мартѣ 1803), гдѣ онъ дѣлаетъ первое предложеніе объ этомъ пожертвованіи, онъ именно заявляетъ, что живое стремленіе быть полезнымъ для отечественнаго просвѣщенія явилось у него отъ глубокаго удовольствія, съ какимъ онъ читалъ только что вышедшій планъ общаго образованія въ Россіи“ ²⁶⁾. Такими же чувствами вызваны были крупныя пожертвованія въ пользу университетовъ и другихъ учебныхъ заведеній—Галицына, Дашковой и Безбородко. Последний далъ деньги и землю для Нѣжинскаго лицея. Румянцевъ пожертвовалъ „на благое просвѣщеніе“ свой драгоцѣнный музей, впоследствии перенесенный въ Москву. Дворянство Харьковской губерніи сдѣлало пожертвованіе въ 400 тысячъ р. на заведеніе Харьковскаго университета. Были и другія болѣе или менѣе крупныя пожертвованія, служившія выраженіемъ сочувствія заботамъ императора о просвѣщеніи.

Сочувственно встрѣченъ былъ и цензурный уставъ 1804 года. Профессоръ Каченовскій, приведя въ статьѣ своей о книжной цензурѣ въ Россіи 21-й и 22-й параграфы устава, „утверждалъ, что никогда не были приняты лучшія и надежнѣйшія мѣры для успѣховъ народнаго просвѣщенія, и пророчилъ русской словесности скорое обогащеніе памятниками изящнаго вкуса и учености“ ²⁷⁾.

Пророчество Каченовскаго, какъ показали факты, не было ошибочнымъ, равно какъ не были напрасны и заботы общества объ университетахъ. Эти учрежденія, какъ сейчасъ увидимъ, принесли не малую долю пользы нашему просвѣщенію.

Въ тогдашнихъ университетахъ преподавались науки нравственныя и политическія, физическія и математическія, медицинскія и словесныя. Преподавалась между прочимъ и философія—и притомъ въ полномъ объемѣ: читали логику, метафизику, нравственную философію, психологію, исторію философіи. „Въ преподаваніи многихъ наукъ“—пишетъ академикъ Сухомлиновъ—„господствовало философское направленіе. Оно принесено было въ наши аудиторіи изъ университетовъ протестантской Германіи, въ которыхъ выработалось самою жизнью, историческимъ разви-

тіемъ наукъ и духовными особенностями націи. Занесенная въ чужой міръ, говорившая чужимъ языкомъ, философія скоро обжи-
лась въ своемъ новомъ пріютѣ; ее полюбило русское молодое
поколѣніе: ея таинственный языкъ нашелъ сочувственный отзывъ
въ воспріимчивыхъ умахъ, въ которыхъ первыя университетскія
лекціи успѣли заронить искру знанія и любви къ наукъ. По
самой сущности своей, философія владѣла привлекательной силой:
затрогивая общіе и важные вопросы, къ которымъ нельзя
остаться равнодушнымъ при первой работѣ мышленія, философія
вводила въ новую и высшую сферу, чуждую пошлостей и пре-
разсудковъ, располагала къ умственному труду и пріучала цѣнить
и уважать его. Для того, чтобы отдаться вполне умственной
работѣ, чтобы посвятить себя, въ обществѣ полуобразованномъ,
ученому труду и изслѣдованіямъ, надо было дѣлать усилія, выдер-
жать борьбу, и на эту трудную, но славную борьбу вызывала
философія своимъ ученіемъ о противорѣчій идеала и дѣйстви-
тельности, о достоинствѣ и правахъ человѣческаго духа. Духъ
составляетъ истинное величіе и отдѣльнаго лица и цѣлаго народа:
духъ есть лучшее благо народа и создаетъ его народность; онъ
„долженъ оживотворить собою и русскій народъ, имѣющій неоспо-
римыя права на умственную самостоятельность и цивилизацію—
утверждалъ одинъ изъ почитателей философіи (въ Харьковскомъ
университетѣ въ 1812 г.), показывая различіе между восточною
и западною образованностію. Духовныя особенности русскаго
народа,—говорилось съ университетскихъ кафедръ,—должны выра-
батываться подъ вліяніемъ началъ, которыми неизбежно прони-
кается цивилизація новыхъ народовъ. Древній міръ съ его
классическою литературою долженъ служить существенною
основою; исключительное господство французской литературы
подавляетъ абсолютизмомъ ея условныхъ правилъ и мертвящимъ
владычествомъ авторитетовъ; противодѣйствіе ей надо искать въ
нѣмецкой литературѣ, которой отличительныя черты—естествен-
ность и всѣми признанная многосторонность. Зараждающаяся
русская словесность должна претворить германскія и романскія
начала въ гармоническое, самостоятельное цѣлое“.

„Проникнутыя философскимъ ученіемъ Германіи, востор-
женныя рѣчи профессоровъ о свободной волѣ, о правахъ разума,
о духѣ и силахъ природы—не всѣми и не вполне были усвоены
и надлежащимъ образомъ оцѣнены. Дѣйствіе университетскихъ
лекцій на нѣкоторыхъ изъ неприготовленныхъ слушателей можно
сравнить съ тѣмъ впечатлѣніемъ, которое выносили наши туристы

изъ Геттингена, пантеона нѣмецкой учености, и которое выражено Пушкинымъ въ слѣдующихъ словахъ въ *Евгеніи Онегинѣ*:

Съ душою прямо геттингенской,
Поклонникъ Канта и поэтъ,
Онъ изъ Германіи туманной
Привезъ учености плоды:
Вольнолюбивыя мечты,
Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженную рѣчь...

Но у многихъ изъ слушателей философское ученіе профессоровъ укладывалось въ опредѣленные формы, повело къ основательному изученію избраннаго предмета и значительно подняло уровень умственного и нравственного развитія. Отъ философіи вообще переходили къ изученію правъ, а въ послѣдствіи отъ теоретическаго изученія переходили къ практической дѣятельности на служебномъ поприщѣ, внося долю свѣта въ тогдашнюю администрацію" ²⁸⁾.

Но философское направленіе было не единственнымъ. Оно господствовало на факультетахъ философскомъ и юридическомъ—и главнымъ свѣтиломъ, предъ которымъ тамъ преклонялись, былъ Кантъ съ его критикой чистаго разума. На факультетѣ же математическомъ господствовало реальное направленіе, представителемъ котораго былъ профессоръ математики въ Харьковскомъ ун. Осиповскій, не терпѣвшій никакихъ теорій а ргіоі и опровергавшій Канта и его ученіе о пространствѣ и времени.

Но какъ бы ни были противоположны эти два направленія, во всякомъ случаѣ университеты того времени, благотворно вліяли на своихъ питомцевъ. „Воспоминанія лицъ, прославившихъ себя въ послѣдствіи честнымъ служеніемъ обществу и литературными заслугами, вводятъ насъ во внутреннюю жизнь первыхъ нашихъ студентовъ, раскрываютъ ихъ душу, озаряемую новымъ для нея свѣтомъ науки. По свидѣтельству одного изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ писателей, бывшаго студентомъ въ началѣ XIX-го вѣка, въ студентскомъ кругу того времени «царствовало полное презрѣніе ко всему низкому и подлому, и глубокое уваженіе ко всему чистому и высокому, хотя бы и безразсудному»"—говоритъ Сухомлиновъ, приводя слова изъ „Семейной хроники“ С. Т. Аксакова ²⁹⁾.

Вліяніе университетовъ не ограничивалось ихъ стѣнами: оно распространялось и на общество. Въ этомъ отношеніи прежде всего слѣдуетъ указать на тѣ рѣчи профессоровъ, которыя произносились ими на университетскихъ актахъ. Эти рѣчи показы-

вають характеръ просвѣтительной дѣятельности тогдашнихъ университетовъ и ихъ чуткость къ потребностямъ времени. „Для рѣчей выбирались предметы, признаваемые полезными или въ общеобразовательномъ смыслѣ, или по отношенію къ Россіи, къ познанію ея исторической судьбы и естественныхъ богатствъ, или же по пригодности въ житейскомъ быту. На университетскихъ актахъ читались подобнаго рода разсужденія: О верховной цѣли человѣка. О преимуществѣ и силѣ истиннаго просвѣщенія. О вліяніи университетовъ на образованіе и благосостояніе народовъ. О возрожденіи наукъ и о перевѣсѣ, который онѣ дали Европѣ передъ прочими частями свѣта. О состояніи военныхъ силъ въ Россіи до Петра Великаго. Объ успѣхахъ, которые русскіе натуралисты сдѣлали въ изслѣдованіи естественныхъ произведеній Россіи. О физическомъ воспитаніи дѣтей и вліяніи его на умственное и нравственное состояніе ихъ. О причинахъ, дѣлающихъ воздухъ неспособнымъ для дыханія, и о средствахъ предохранить его отъ порчи, и т. д.“⁸⁰).

Профессора университетовъ принимали живое участіе и въ періодической литературѣ. Такъ напр. они принимали участіе въ изданіи „Казанскихъ извѣстій“, „Казанскаго вѣстника“, „Украинскаго журнала“ и др.

Для усиленія и распространенія учено-литературной дѣятельности, при университетахъ учреждались ученые общества. Такъ при Московскомъ ун. были открыты „Общество исторіи и древностей російскихъ“, „Общество испытателей природы“, „Общество соревнованія медицинскихъ и физическихъ наукъ“ и „Общество любителей російской словесности“, издавшее 27 частей своихъ „Трудовъ“ (1812—1828), въ которыхъ принимали участіе извѣстнѣйшіе тогда литераторы и ученые. При Харьковскомъ ун. учреждено было общество наукъ съ двумя отдѣленіями: словеснымъ и естественныхъ наукъ. Основывались общества и помимо университетовъ, напр. въ Петербургѣ еще въ 1801 г. основалось „Общество любителей російской словесности, наукъ и художествъ“, задавшееся цѣлью содѣйствовать желающимъ совершенствоваться въ этихъ предметахъ; въ 1815 г. возникло литературное общество „Арзамасъ“, имѣвшее въ виду противодѣйствовать другому литературному обществу—„Бесѣды любителей русскаго слова“, гдѣ главными руководителями были Державинъ и Шишковъ, не хотѣвшіе признать заслугъ Карамзина въ области нашего литературнаго языка. Стремленіе къ образованію литературныхъ обществъ и къ изданію въ свѣтъ сочиненій и не-

реводовъ было и въ молодомъ поколѣніи университетскихъ слушателей. Такъ, въ Казани студенты перваго выпуска составили литературное общество, въ послѣдствіи получившее официальное существованіе подъ названіемъ „Общества любителей русской словесности при Казанскомъ университетѣ“; общество студентовъ-любителей отечественной словесности было и при Харьковскомъ ун. Подобное же общество (содружество) составили и воспитанники Ришельевского лицея въ Одессѣ.

Кромѣ обществъ болѣе или менѣе официальныхъ, въ Александровскую эпоху были частные кружки, группировавшіеся около той или другой образованной личности, кружки, преслѣдовавшіе просвѣтительныя цѣли. Одинъ изъ такихъ кружковъ группировался около *Алексѣя Николаевича Оленина*, директора Публичной библіотеки, человека весьма образованнаго, археолога и любителя художествъ. Его домъ былъ центромъ, куда собирались люди, господствующими интересами которыхъ были наука, искусство и литература; здѣсь читали свои произведенія Озеровъ, Гнѣдичъ и Крыловъ; здѣсь можно было услышать всѣ новости, касавшіяся театра, книгъ, картинъ; здѣсь можно было послушать бесѣды Муравьева-Апостола, Уварова, Востокова—словомъ, домъ Оленина тоже представлялъ собою „общество“ людей, движимыхъ любовью къ просвѣщенію, хотя и смотрѣвшихъ на него не одинаково. Подобнымъ же центромъ былъ и домъ *Михаила Никитича Муравьева*, товарища министра народнаго просвѣщенія. Домъ его былъ открытъ для всѣхъ ученыхъ и образованныхъ людей, которымъ онъ оказывалъ всякую помощь. Въ Москвѣ славился домъ *Ивана Петровича Тургенева*, того самаго, который увезъ Карамзина изъ Симбирска и познакомилъ его съ Новиковымъ. Много онъ воспиталъ полезныхъ дѣятелей, которые всю жизнь почитали его, какъ родного отца. Изъ четырехъ сыновей его особенно замѣчательнъ Александръ Ивановичъ, страстный любитель наукъ и искусствъ.

Вопросы общественные, политическіе и политико-экономическіе также занимали не одно только правительство, но и общество. Сочиненія по этимъ вопросамъ переводились не только по иниціативѣ императора, но и частныхъ лицъ. Такъ, были переведены у насъ сочиненія: юриста Беккариа—„О преступленіяхъ и наказаніяхъ“; Монтескье—„О существѣ законовъ“ (*L'esprit des*

lois); англійскаго политико-экономиста Адама Смита—„Исслѣдованіе свойствъ и причинъ богатства народовъ“; геттингенскаго профессора Серторіуса—„Основанія народнаго богатства“ и др. Вышеуказаннаго рода вопросами занимались и многія изъ тогдашнихъ періодическихъ изданій. Особенно интересовали общество вопросы политико-экономическіе. Харьковскій ун. даже предложилъ въ 1811 г. публикѣ задачу на соисканіе преміи. Она состояла въ слѣдующемъ: „Защищаемая Адамомъ Смитомъ неограниченная свобода въ производствѣ ремеслъ дѣйствительно ли есть единственное средство, которымъ можетъ обезпечиться продолжительное и возрастающее благосостояніе народа? Если же свобода производствъ ремеслъ должна быть ограничена, то объяснить: на какомъ основаніи и въ какомъ объемѣ можетъ быть допущено это ограниченіе?“ За удовлетворительный отвѣтъ назначено вознагражденіе въ сто р. серебромъ ³¹⁾.

Однако вышеуказанное сочувственное отношеніе къ просвѣщенію было лишь у нѣкоторой только части русскаго общества Александровской эпохи; большинство же относилось иначе: среди этой части общества встрѣчалось не только полное равнодушіе къ просвѣщенію, но часто даже и прямо враждебное къ нему отношеніе. Вотъ факты ³²⁾.—Посылаемые на ревизію университетскіе профессора выслушивали откровенное признаніе мѣстныхъ жителей въ томъ, что они учатъ дѣтей своихъ изъ подражанія другимъ, а сами не видятъ отъ наукъ никакой существенной пользы. Учебныя заведенія далеко не были переполнены, и малое число учениковъ директоры объясняли тѣмъ, что „невѣжественные родители, отдавъ дѣтей своихъ въ училище, желаютъ, чтобы ихъ научили только читать и писать по-русски, послѣ чего оставляютъ ихъ при себѣ для пособія въ производимой промышленности“, а „дворяне стараются имѣть у себя домашнихъ учителей, не отдавая своихъ дѣтей въ училище, въ которомъ они имѣли бы товарищей изъ купческаго, мѣщанскаго и крестьянскаго званія, и могли бы усвоить себѣ ихъ обращеніе и навыки“. Учителя Тамбовскаго народнаго училища доносили, что „каждый ремесленникъ, купецъ и чиновникъ ожидаютъ только того, чтобы сынъ его научился чтенію и письму и поставляютъ высшую степень образованности въ знаніи первыхъ правилъ ариѳметики“. „Столь ограниченные виды родителей въ познаніяхъ дѣтей своихъ имѣли слѣдствіемъ то,—говорили эти учителя,—что дѣти, едва начавши курсъ ученія, выбывали изъ училища, не окончивши даже и предметовъ перваго

и второго класса". Попечитель Харьковскаго округа гр. Северинъ Потоцкій жаловался министру, что мѣстные жители наукъ „недолюбливають“, и старался ослабить эту нелюбовь путемъ разъясненія имъ важности и значенія образованія. Правительство съ своей стороны тоже принимало мѣры, побуждавшія учиться: въ 1809 г. былъ изданъ еще въ 1803 г. обѣщанный указъ, по которому никто не могъ быть произведенъ въ чинъ коллежскаго асессора и статскаго совѣтника, не представивъ свидѣтельства о томъ, что онъ обучался въ университетѣ наукамъ, свойственнымъ гражданской службѣ, или не выдержалъ университетскій экзаменъ. Появленіе этого указа станетъ еще болѣе понятнымъ, если съ нимъ сопоставить современныя ему жалобы училищнаго начальства, доносившаго, что „чиновники, болѣе достаточные, спѣшатъ поскорѣе пристроить дѣтей своихъ къ должности, не ожидая окончанія ихъ ученія, и не столько для полученія жалованья, сколько для ранней заслуги чиновъ“.

Говоря о враждебномъ отношеніи къ просвѣщенію, надо упомянуть и о той партіи, которая, будучи напугана событіями французской революціи и послѣдовавшимъ за нею броженіемъ умовъ, была недовольна разрѣшеніемъ свободы печати и свободы преподаванія въ университетахъ, и смотрѣла на эти послѣдніе, какъ на гнѣздилища опасныхъ ученій. Такое возрѣніе было не только у насъ, но и въ западной Европѣ. У насъ, пока императоръ Александръ горячо проявлялъ свои либеральныя стремленія, люди этой партіи не чувствовали въ себѣ силы; но послѣ заключенія священнаго союза, они, воспользовавшись его актомъ, стали энергично дѣйствовать въ желаемомъ ими направленіи. Дѣйствія этой партіи облегчались тѣмъ обстоятельствомъ, что и самъ императоръ Александръ, заключивши союзъ съ такими державами (съ Австріей и Пруссіей), въ которыхъ, благодаря дипломату Меттерниху, началась сильная реакція всему либеральному, поддавался вліянію этого реакціоннаго движенія, и, подобно тому, какъ прежде онъ выбиралъ министровъ народнаго просвѣщенія, сочувствовавшихъ его просвѣтительнымъ мѣропріятіямъ—Завадовскаго и Разумовскаго: такъ тепѣрь выбралъ онъ на этотъ постъ князя Александра Николаевича Голицына, человека, оказавшагося способнымъ поддерживать реакцію. Голицынъ окружилъ себя людьми, которые начали перестраивать общественное воспитаніе. Между этими людьми особенно выдавались попечитель Казанскаго учебнаго округа Магницкій и Петербургскаго—Руничъ.

Какъ смотрѣла реакціонная партія на тогдашніе университеты и на свободу печати—видно изъ слѣдующихъ строкъ, помѣщенныхъ въ книгѣ Сухомлинова ³³).

„Въ Ученомъ комитетѣ обсуживался составленный Магницкимъ проектъ о новомъ учрежденіи цензуры, въ которомъ идетъ рѣчь и объ университетахъ въ связи со всѣми ужасами революціи. «Тотъ самый духъ»,—говоритъ Магницкій,—«который у Іосифа II подъ личиною филантропін; у Фридерика, Вольтера, Руссо и энциклопедистовъ подъ скромнымъ плащомъ философізма; въ царствованіе Робеспьера подъ красною шапкою свободы; у Бонапарте подъ трехцвѣтнымъ перомъ консула и, наконецъ, въ коронѣ императорской,—искалъ овладѣть вселенною, низвергнуть алтари Господни и престолы законныхъ государей, спустить съ цѣпи всѣ страсти падшаго человѣка и преобразить землю во адъ,—тотъ самый духъ нынѣ, съ трактатами философін и съ хартіями конституцій въ рукѣ, поставилъ престолъ свой на Западѣ, и хочетъ быть равенъ Богу... Прочь алтари, прочь государи; смерть и адъ надобны!—вопіють уже во многихъ странахъ Европы. Какъ не узнать, чей это голосъ? Самъ князь тьмы видимо подступилъ къ намъ; рѣдѣетъ завѣса, его закрывавшая, и, вѣроятно, скоро уже расторгнется. Последнее сіе, можетъ быть, его нападеніе на насъ есть ужаснѣйшее, ибо оно духовное. Отъ одного конца міра до другого сообщается оно невидимо и быстро, какъ ударъ электрическій, и неожиданно все приводитъ въ потрясеніе. Слово человеческое есть проводникъ сей адской силы, книгопечатаніе—орудіе его; профессоры безбожныхъ университетовъ передаютъ тонкій ядъ невѣрія и ненависти къ законнымъ властямъ несчастному юношеству, а тисненіе разливаютъ его по всей Европѣ»... На это мѣсто одинъ изъ членовъ, Фусъ, сдѣлалъ такое примѣчаніе: «Здѣсь говорится о безбожныхъ университетахъ; но такъ какъ таковыхъ нигдѣ нѣтъ, хотя между профессорами того или другого университета могутъ быть вольнодумцы,—то мѣсто это надлежитъ перемѣнить, ибо простая справедливость и любовь христіанская запрещаетъ—безъ убѣдительныхъ причинъ и ясныхъ доказательствъ называть безбожными цѣлыя сословія и осуждать невинныхъ съ виновными». — «Итакъ» — продолжаетъ Магницкій—«безъ преувеличенія и положительно заключить можно, что вся Европа въ величайшей опасности отъ развращеннаго образа мыслей; что, оглянувшись за два года назадъ и судя по быстрому ходу гибельныхъ происшествій, страшно подумать, что будетъ черезъ два года впередъ. Счастлива была бы Россія,

ежели бы можно было такъ оградить ее отъ Европы, чтобъ и слухъ происходящихъ тамъ неистовствъ не достигалъ до нея. Настоящую войну духа злобы не могутъ остановить арміи, ибо противъ духовныхъ нападеній нужна и оборона духовная. Благоразумная цензура, соединенная съ утвержденіемъ народнаго воспитанія на вѣрѣ, есть единый оплотъ безднѣ, затопляющей Европу невѣріемъ и развратомъ»⁴.

Преобразованію въ новомъ духѣ больше всего подвергся Казанскій университетъ, гдѣ попечителемъ былъ самъ Магницкій. О характерѣ этихъ преобразованій можно судить уже по слѣдующимъ фактамъ. Геологія изъ Казанскаго университета была изгнана; изгнаніе мотивировано тѣмъ, что наука эта, въ нынѣшнихъ ея системахъ вулканистовъ и нептунистовъ, противна св. Писанію. Философія, основаніемъ для которой, по требованію Магницкаго, должны служить посланія апостола Павла къ колоссянамъ и къ Тимоѳею, какъ предметъ преподаванія, дѣлилась на два отдѣла: положительную и отрицательную; долгъ первой—научить мудрствовать небесная; долгъ второй—*опутить* мудрствовать земная. Историческій очеркъ философскихъ системъ долженъ былъ имѣть предметомъ своимъ—ихъ *обличеніе*. Въ курсѣ древнихъ языковъ слѣдовало читать со студентами преимущественно христіанскихъ писателей: св. Василія, Аѳанасія, Іоанна Златоуста. На лекціяхъ словесности первое мѣсто должна была занимать Библія, какъ величайшій образецъ литературнаго совершенства. Начала политическихъ наукъ профессора должны были извлекать изъ Моисея, Давида, Соломона, отчасти изъ Платона и Аристотеля. Вообще Магницкій и другіе преобразователи настаивали на необходимости соединять „вѣдѣніе съ вѣрою“; но дѣлали они свое дѣло неумѣлыми руками. Такъ напр. „профессору анатоміи предписано было находить въ строеніи человѣческаго тѣла премудрость Творца, создавшаго человѣка по образу и подобию своему, т.-е. другими словами—признавать, подобно раскольникамъ, въ тѣлѣ человѣческомъ образъ и подобіе Божіе, противъ чего вооружались многіе духовные писатели отъ Аѳанасія Александрійскаго до св. Димитрія Ростовскаго, сочиненія которыхъ предлагаемы были Ученымъ комитетомъ въ руководство по разнымъ предметамъ“³⁴).

Неумѣлыя руки сказались и въ дѣлѣ нравственнаго воспитанія: требовали религіозности, благочестія, смиренія—и за кажущуюся наличность этихъ качествъ награждали, тогда какъ одно только подозрѣніе въ ихъ отсутствіи навлекало преслѣдованія.

Слѣдствіемъ такого порядка, который тогда коснулся болѣе или менѣе всѣхъ учебныхъ заведеній, были: „упадокъ религіознаго чувства и нравственности, застой въ области умственной и научной, лицемеріе и раболѣпство. По словамъ министра Шинкова (смѣнившаго собою Галицына въ 1824 г.), «нравственный развратъ росъ и усиливался; ослѣпление, подъ самыми священнѣйшими именами благочестія и человеколюбія, умѣло вползати въ сердца и заражать ихъ ядомъ; подъ видомъ распространенія христіанства стремились поколебать православную вѣру». Императоръ Александръ вполне согласился съ Шинковымъ. Истинные ревнители православія и русской народности возмущены были обращеніемъ русскихъ юношей въ питомцевъ іезуитскихъ школъ и развитіемъ ханжества... Увлекаясь піэтизмомъ, фанатики придумывали программы и методы, лишаящія науки ихъ существеннаго содержанія; запрещали преподаваніе предметовъ, которые высшею духовною властію признаны необходимыми не только для академій, но и для среднихъ учебныхъ заведеній духовнаго вѣдомства. Вопреки идеѣ, завѣщанной Ломоносовымъ—о родствѣ религіи и науки, ихъ ставили во враждебное отношеніе, и, отвергая то, что составляетъ жизнь и душу науки, вредили этимъ и религіознымъ убѣжденіямъ юношей, видѣвшихъ, что ради религіи, ложно понимаемой, имъ излагаются предметы не въ своемъ настоящемъ видѣ, а въ произвольной передѣлкѣ и искаженіи. Поголовное удаленіе преподавателей, въ которыхъ такъ нуждались наши учебныя заведенія, и назначеніе на кафедры людей малосвѣдущихъ, но прикинувшихся благонамѣренными, понизило уровень научнаго образованія. Раболѣпство и лицемеріе, противъ котораго ратовали первые просвѣтители русскаго народа, проникли и въ ученое сословіе. Разсуждая о способѣ заниматься науками, ораторъ восклицаетъ: «да будетъ началомъ моего слова Всеблагій Богъ; да будетъ началомъ моего слова могущественный Александръ, исполненный толикими доблестями, сколько оныхъ цѣлая вселенная вмѣщать въ себѣ когда-либо можетъ; да приметъ начало слово мое отъ сонзволенія знаменитѣйшаго нашего попечителя, который съ чрезвычайнымъ нѣжкимъ тщаніемъ трудится для возвышенія наукъ и, соображая всѣ свои дѣянія съ божественными заповѣдями, подаетъ намъ примѣры, достойнѣйшіе подражанія» и т. д. Такое сопоставленіе Божества съ Магницкимъ наглядно говоритъ о неискренности религіознаго воодушевленія... Умственный застой и нравственное паденіе въ высшихъ училищахъ, призванныхъ служить разсадни-

ками образованности, замѣчено людьми, посланными правительствомъ для узнанія истины, для всесторонняго изслѣдованія дѣла, возбудившаго сильное сомнѣніе. Сомнѣніе кончилось полнымъ разочарованіемъ: стало ясно, что вмѣсто религіозности дѣйствовали фанатизмъ, вмѣсто христіанства — іезуитскій духъ и вражда къ просвѣщенію. Все зло состояло въ томъ, что чистую и святую идею религіи употребляли во зло... Въ этомъ заключается разгадка непрочности и несостоятельности системы, основанной на религіи только повидимому, а не въ дѣйствительности. Въ паденіи этой системы люди, въ душѣ которыхъ не умеръ Богъ—по выраженію поэта, видѣли не гибель, а торжество религіознаго начала, не терпящаго лжи и притворства“ ³⁵).

Во времена Магницкаго и Рунича и цензура особенно бдительно слѣдила за „нравственностью“. Такъ напр. она года два не позволяла напечатать балладу Жуковскаго: „Замокъ Смальгольмъ“, находя это произведеніе вреднымъ для чистоты нравовъ ³⁶).

б) Черты, касающіяся вопроса о народномъ самосознаніи.

Изложивъ черты жизни русскаго общества въ Александровскую эпоху, насколько онѣ касаются вопроса о просвѣщеніи, перейдемъ теперь къ чертамъ, касающимся вопроса о *народномъ самосознаніи*.

Если вести рѣчь о положеніи русской народной массы, то можно сказать словами профессора Надлера, что оно „напоминало во многихъ отношеніяхъ положеніе массы испанской. Народъ русскій былъ такъ же необразованъ и грубъ, какъ народъ испанскій; онъ страдалъ также подъ ярмомъ учреждений, отжившихъ свой вѣкъ въ другихъ странахъ: но онъ сохранилъ всецѣло свою народную самобытность“ ³⁷). Не таково было положеніе высшихъ, такъ называемыхъ образованныхъ классовъ общества. Эти классы, напротивъ, стремились приблизить себя къ западно-европейскимъ народамъ, стремились какъ можно скорѣе и какъ можно полнѣе взять у опередившаго насъ въ цивилизаціи Запада все, что имъ казалось лучшимъ. И заимствование это, какъ замѣчаетъ нашъ историкъ Соловьевъ, „дѣлалось очень легко, безо всякой внутренней, нравственной тяжести, безо всякаго нравственнаго приниженія. Напротивъ того, русскій человѣкъ высоко поднималъ голову, чувствуя свою силу, свое превосходство. Передъ нимъ возвышался небывалый образъ историческаго дѣятеля—образъ

Петра Великаго; народная гордость питалась значеніемъ европейской дѣятельности дочери Петра, удачею и блескомъ плановъ Екатерины II" ³⁸).

Сближеніе съ Западомъ имѣло два послѣдствія: съ одной стороны оно сильно способствовало развитію образованности, а съ другой—оно отдаляло образованные классы отъ русской жизни и порождало галломанію, англomanію, космополитизмъ. Эти явленія особенно усилились въ Александровскую эпоху. Самъ императоръ Александръ, будучи поклонникомъ Запада, очень долгое время не зналъ Россіи. „Внушая ему любовь къ человѣчеству, ставя ему такія высокія задачи, какъ освобожденіе, просвѣщеніе народа русскаго, его воспитатели“,—говоритъ Надлеръ,—„не въ состояніи были дать ему самыхъ элементарныхъ понятій объ этомъ народѣ, объ его бытѣ, характерѣ, о его нравственномъ и религіозномъ міровоззрѣніи. Столь же мало познакомили они Александра и съ исторіею русскаго народа, съ особенностями русскаго государственнаго и общественнаго строя; но зато они познакомили его, до послѣднихъ тонкостей, съ республиканскими учрежденіями Швейцаріи и съ парламентарнымъ устройствомъ Англіи“ ³⁹). Многие близкіе къ Александру люди, стоявшіе во главѣ государственнаго управленія, получили аристократическое воспитаніе того времени, законченное путешествіемъ и жизнью за границей, и были извѣстны своей либо англomanіей, либо галломаніей. Такъ, Новосильцевъ прожилъ четыре года въ Англіи и увлекался англійской жизнью и учрежденіями. Кочубей воспитывался въ Женевѣ и Лондонѣ, гдѣ изучалъ политическія науки—и былъ великимъ англomanомъ. Такимъ же былъ и адмиралъ Чичаговъ, тотъ самый, котораго, подъ видомъ шуки, осмѣялъ Крыловъ въ своей баснѣ. Графъ Павелъ Строгановъ получилъ воспитаніе у француза Ромма, въ послѣдствіи извѣстнаго монтаньяра временъ конвента ⁴⁰). Но не одинъ Строгановъ: у воспитателей французовъ получили свое образованіе множество тогдашнихъ русскихъ людей—и люди эти не только говорили, писали, но и думали по-французски. Но и этого мало: нѣкоторые русскія женщины, вовсе не будучи католичками, молились Богу на французскомъ языкѣ. Такъ дѣлала, какъ извѣстно, мать нашего знаменитаго романиста—И. С. Тургенева. Галломанія высшаго класса скоро перешла къ зажиточнымъ дворянамъ, а наконецъ и къ помѣщикамъ мелкимъ.

У многихъ, даже образованнѣйшихъ, людей того времени уваженіе къ европейскому просвѣщенію соединялось съ презри-

тельнымъ отношеніемъ ко всему русскому. Такъ, напримѣръ, поэтъ Батюшковъ въ 1809 г. писалъ Гнѣдичу: „Отъ одного слова *русскіе*, не кстати употребленнаго, у меня сердце не на мѣстѣ... Глинка называетъ „Вѣстникъ“ свой *русскимъ*, какъ будто пишетъ въ Китаѣ для миссіонеровъ или пекинскаго архимандрита. Другіе, а ихъ тысячи, жужжатъ, нашенщываютъ: *русское, русское, русское*... а я потерялъ вовсе терпѣніе!“ Въ 1811 г. онъ тому же Гнѣдичу жаловался на русскій языкъ говоря, что онъ „плоховать, грубенекъ, пахнетъ татарщиной“. „Что за *ы*, что за *и*? что за *и*, *иій*, *иій*, *при*, *тры*? О варвары!“ восклицалъ нашъ поэтъ. Понятно, что послѣ такого отзыва о русскомъ языкѣ надо было ожидать еще горшаго о славянскомъ. И дѣйствительно, въ 1816 г. Батюшковъ, по поводу разсужденія Каченовскаго о церковномъ языкѣ, заявилъ—все тому же Гнѣдичу—о своихъ симпатіяхъ къ этому языку: „Нѣтъ“,—писалъ онъ: „никогда я не имѣлъ такой ненависти къ этому мандаринному, рабскому, татарско-словенскому языку, какъ теперь!... Когда переведутъ св. Писаніе на языкъ человѣческій?“ Свое недовольство русскимъ языкомъ Батюшковъ въ томъ же письмѣ, гдѣ онъ жалуется на наши *иій* и *иій*, оправдываетъ вотъ чѣмъ: „Извини“,—говоритъ онъ,—„что я сержусь на русскій народъ и его нарѣчіе. Я сію минуту читалъ Аріоста, дышалъ чистымъ воздухомъ Флоренціи, наслаждался музыкальными звуками авзонійскаго языка и говорилъ съ тѣнями Данта, Тасса и сладостнаго Петрарка, изъ устъ котораго — что слово, то блаженство“ ⁴¹⁾. Русскую исторію Батюшковъ считалъ интересною только со временъ Петра Великаго ⁴²⁾. Такого же взгляда былъ и графъ Завадовскій, писавшій въ 1800 г. къ Воронцову: „исторія наша всегда будетъ для читателя скучна, если черпать оную хотимъ глубже, а не отъ временъ Петра В. Для просвѣщающагося вѣка пріятнѣе повѣсть отъ начала просвѣщенія и отъ имени виновника онаго. Когда ты занимаешься Плутархомъ, то сравни умъ и силу его изображеній противъ святыхъ и мірскихъ нашихъ писателей, и увидишь всю жалкую бѣдность сихъ послѣднихъ. По моему мнѣнію, только та исторія и пріятна и полезна, которую или философы или политики писали. Но еще наши науки и нашъ языкъ еще не достигнули до того, то и *лучше пользоваться чужимъ хлѣбомъ, чѣмъ грызть свои сухари со ржавчиною*“ ⁴³⁾. Если въ этихъ словахъ Завадовскаго и есть доля правды, то во всякомъ случаѣ онъ обнаруживаетъ полное непониманіе значенія до-Петровской Руси, когда говоритъ, что „писателю просвѣщенному довольно было бы одной *страницы*, чтобы наши всѣ *матеріалы на времена до Петра I вмѣстить въ оную*“.

Не рѣдко бывали случаи, что люди Александровской эпохи чуждались не только отечественнаго языка, исторіи, но чуждались и православной вѣры. Россія при Александрѣ была, по выраженію Надлера, обѣтованною страной іезуитовъ. „Самъ государь“—говоритъ этотъ историкъ—„усматривалъ въ іезуитскомъ ордени прекрасное и годное орудіе для просвѣщенія и цивилизованія Россіи... Богатство, сила и вліяніе іезуитскаго ордена въ Россіи возрастали быстро и непрерывно во всю первую половину царствованія императора Александра. Сѣть іезуитской пропаганды раскинута была по всѣмъ областямъ имперіи; центромъ ея служилъ не далекій и бѣдный Полоцкъ, а сама столица государства—Петербургъ. Тутъ основанъ былъ іезуитскій институтъ для воспитанія знатнаго русскаго юношества; тутъ получали свое образованіе дѣти нашихъ аристократовъ—сыновья князей Юсуповыхъ, Голицыныхъ, графовъ Орловыхъ; тутъ учились молодые Нарышкины, Гагарины, Меншиковы, Плещеевы, Бенкендорфы, Волконскіе, Полтарацкіе, Дмитріевы и др. Всѣ эти юноши, предназначенные впослѣдствіи къ занятію высшихъ государственныхъ должностей, проникались здѣсь принципами и духомъ іезуитскаго ордена, воспитывали въ себѣ чувство пренебреженія и равнодушія, если не вражды, къ своей родной національности и къ вѣрѣ своихъ предковъ, своего народа. На глазахъ высшаго правительства іезуиты сумѣли превратить въ своемъ институтѣ преподаваніе Закона Божія православнымъ дѣтямъ въ орудіе искаженія православія и насмѣшки надъ нимъ“—насмѣшки надъ той силой,—добавимъ отъ себя,—изъ которой русская народная масса черпала всю свою духовную и нравственную жизнь. „Работая такимъ успѣшнымъ образомъ въ Петербургѣ“,—говоритъ Надлеръ далѣе, — „іезуиты учредили въ то же время миссіи повсюду, гдѣ представлялась къ этому хотя какая-нибудь возможность“ ⁴¹⁾. Не удивительно послѣ этого, что въ образованномъ обществѣ замѣтна была религіозная расшатанность, которой немало помогали и переселявшіеся къ намъ послѣ революціи французскіе эмигранты и эмигрантки, нерѣдко совращавшіе, особенно женщинъ, въ католичество.

Помимо влеченія русскихъ людей къ западной цивилизаціи; помимо ихъ галломаніи, англomanіи и даже италіанomanіи, въ умахъ той эпохи носилась идея космополитизма. Идея эта распространялась какъ современной философіей, такъ и все еще продолжавшимъ существовать масонствомъ. Самъ императоръ

Александръ нерѣдко думалъ не столько о Россіи, сколько о человечествѣ вообще, и думалъ о немъ не только въ первые годы своего царствованія, но и во время заключенія священнаго союза и послѣ него. Космополитическими идеями руководились даже основанныя для распространенія въ народѣ св. Писанія и грамотности „библейскія общества“. Эти общества большею частью „оставались въ сферѣ идеальной, жили космополитическими идеями и стремленіемъ къ благу человечества вообще. Въ распространеніи книгъ св. Писанія видѣли дѣйствительнѣйшее средство къ тому, чтобы привести всѣ народы къ братскому единству, образовать изъ нихъ единую семью небеснаго Отца. Увлекаясь заманчивою надеждою положить конецъ враждѣ и распрямъ и видѣть водвореніе царства всеобъемлющей любви и мира, пытались устранить всѣ преграды къ достиженію желанной цѣли, разрушить всѣ пренія, созданныя историческою судьбою народовъ и ихъ физическими и духовными особенностями. Мечтали даже о введеніи всеобщаго языка, какъ общечеловѣческаго орудія для выраженія духа, сливающего всѣ народы въ единую семью человечества“ ⁴⁵). Конечно, идея о братствѣ всего человечества есть высокая идея, выработанная просвѣщеніемъ; но космополитизмъ, не примиренный съ національностью, можетъ осуждаться съ патріотической и государственной точки зрѣнія.

Событія отечественной войны измѣнили на время картину жизни той части русскаго общества, которая представляла собою галломановъ, англomanовъ, космополитовъ. Когда въ 1812 г. патріотическое чувство охватило всѣ слои общества и всю народную массу,—ему поддались и высшіе классы. Они, какъ говоритъ Надлеръ, „внезапно переродились; изъ французовъ и космополитовъ они вдругъ превратились въ русскихъ. Дамы и свѣтскіе кавалеры вдругъ отказались отъ французскаго языка. Они начали говорить по-русски и съ удивленіемъ замѣчали, что говорить на родномъ языкѣ для нихъ легче, и что русскій языкъ совершенно удобенъ для употребленія въ гостинныхъ. Французская мода также подверглась всеобщему гоненію. Многія дамы поспѣшили нарядиться въ сарафаны, кокошники и повязки; мужчины начали носить сѣрые ополченскіе кафтаны. Въ Петербургѣ никто не хотѣлъ болѣе слышать французскихъ актеровъ“ ⁴⁶). Впрочемъ не всѣ „переродились“: есть свидѣтельства, что многіе москвичи, даже пострадавшіе отъ Наполеонова нашествія, не могли отдѣлаться отъ усвоеннаго ими съ дѣтства французскаго воспитанія:

они проклинали французовъ, но проклинали ихъ все-таки на французскомъ языкѣ ⁴⁷⁾.

Но проклятія были непродолжительны: когда окончилась отечественная война, въ особенности, когда наши войска вернулись изъ заграничнаго похода, галломанія явилась снова—и даже еще въ большихъ размѣрахъ. Кажется, справедливо замѣчаетъ Надлеръ, что русскій человекъ въ важную и рѣшительную минуту сбрасываетъ съ себя все чуждое и напускное и проявляетъ горячую любовь къ родинѣ; въ обычное же, будничное время онъ „способенъ поразить любого наблюдателя своимъ безпримѣрнымъ добродушіемъ, своею терпимостью, даже своимъ пристрастіемъ ко всему чужому, иноземному, своимъ, если хотите, легкомысленнымъ космополитизмомъ“ ⁴⁸⁾.

Конечно, не все образованное русское общество Александровской эпохи цѣликомъ было заражено галломаніей: были люди и проникнутые глубокимъ чувствомъ народности, были горячіе патріоты. Недаромъ же сердился Батюшковъ, что ему „жужжать, нашептываютъ: *русское, русское, русское*“. Многие изъ этихъ людей работали на литературномъ поприщѣ—и намъ придется впоследствии говорить о нихъ, а пока ограничимся лишь слѣдующимъ замѣчаніемъ. О многихъ изъ этихъ дѣятелей нерѣдко отзываются, какъ о людяхъ съ ограниченнымъ кругозоромъ, какъ объ узкихъ патріотахъ. Правда, они не носили въ себѣ высокихъ космополитическихъ идей о единствѣ и братствѣ всего человечества, не увлекались вопросомъ о его счастьи и свободѣ; но зато они были представителями чисто-русской мысли и выразителями чувствъ большинства русскаго народа. Если *народное* имѣетъ такое же право на уваженіе, какъ и *общечеловѣческое*, и если народы въ своемъ постепенномъ развитіи должны придти наконецъ къ однимъ и тѣмъ же общечеловѣческимъ идеаламъ и въ то же время не утратить своей индивидуальности,—то, воздавая должное тѣмъ силамъ, которыя движутъ данный народъ по пути прогресса, мы не имѣемъ основанія умалять значеніе и тѣхъ силъ, которыя стремятся удержать его въ предѣлахъ народности.

Александровская эпоха была временемъ усиленнаго стремленія примѣнить къ русской жизни европейскія идеи; она же была и временемъ усиленнаго охраненія русской народности. Крайности и увлеченія, конечно, могли быть и на той и на другой сторонѣ; но и та и другая была одинаково важна.

П. Смирновскій.

ИСТОРИЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЕВЯТНАДЦАТАГО ВѢКА.

Выпускъ II.

Карамзинъ въ Александровскую эпоху.

Цена 1 р. 25 к.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Складъ изданія въ „Петербургскомъ Учебномъ Магази́нѣ“: Петербургская Сторона, Большо́й пр. д. 1.
1899.

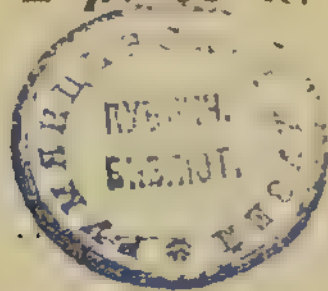
4
323
П. Смирновскій.

ИСТОРИЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЕВЯТНАДЦАТАГО ВѢКА.

Выпускъ II.

Карамзинъ въ Александровскую эпоху.

Цена 1 р. 25 к.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Складъ продажъ въ Петербургскомъ Учебномъ Магази́нѣ. Петербургъ, въ Голубиной стр. д. 1.

1899.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Жизнь и литературная дѣятельность Карамзина въ Александровскую эпоху.

I. Черты Александровской эпохи.

	стр.
1. Магарицъ, какъ воспитатель императора Александра	1
2. Факты, свидѣтельствующе о либеральныхъ стремленіяхъ импера- тора Александра	3
3. Другая сторона личности императора Александра	14
4. Черты жизни русскаго общества въ Александровскую эпоху:	
а) Черты, касающіяся вопроса о просвѣщеніи	16
б) Черты, касающіяся вопроса о народномъ самоознаніи.	27
в) Черты, касающіяся вопроса о томъ, какъ отнеслось русское общество къ политическимъ планамъ императора Александра	33

II. Какъ встрѣтилъ Карамзинъ новую эпоху.

1. Взглядъ Карамзина на правленіе Павла и двѣ его оды Александру.	37
2. Историческое похвальное слово императрицѣ Екатерины II	42

III. Продолженіе біографическихъ свѣдѣній о Карамзинѣ.

1. Московскій періодъ его жизни (1801—1815)	52
2. Петербургскій періодъ (1816—1826)	67

IV. „Вѣстникъ Европы“

1. Статьи политическія	93
2. Статьи публицистическія	96
3. Статьи историческія	126
4. Статьи литературныя	130
5. Дополнительный очеркъ „Вѣстника Европы“	151
6. Заключение	153

V. „Исторія государства Россійскаго“.

1. Первоначальныя предположенія автора „Исторіи“ и его работа надъ нею. — Взгляды прежней критики и новѣйшей. — Выводъ. — Предисло- віе къ „Исторіи“	154
2. „Исторія государства Россійскаго“, какъ литературное произведеніе	172
3. „Исторія государства Россійскаго“, какъ научное сочиненіе	192
4. Значеніе „Исторіи государства Россійскаго“ и отношеніе къ ней со- временниковъ.	196

VI. Записка о древней и новой Россіи.

1. Записка, какъ дополненіе къ „Исторіи государства Россійскаго . . . 200
2. Записка, какъ критика того, что совершалось въ правленіе импера-
тора Александра I 209

VII. Характеръ и значеніе Карамзина, какъ литературнаго дѣя- теля въ Александровскую эпоху 222

VIII. Преобразование Карамзинымъ нашего литературнаго языка 232

О ПЕЧАТКѢ.

Напечатано:			Читай:
Стр.	17 строка	12 св. Галицына	Голицына
"	26	" 5 св. Галицына	Голицына
"	34	" 9 св. Меттерниха	Меттерниха
"	64	" 2 св. II дѣйствительно Карамзинъ, чѣмъ большо	II дѣйствительно, чѣмъ больше Ка- рамзинъ
"	81	" 9 св. Галицынымъ	Голицынымъ
"	96	" 24 св. настроеніе	настроеніе,
"	103	" 8 св. Страсть	„Страсть
"	108	" 6 св. жизни	жизни“.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЕВЯТНАДЦАТАГО ВѢКА.

Жизнь и литературная дѣятельность Карамзина въ Александровскую эпоху.

I. Черты Александровской эпохи.

1. Лагарпъ, какъ воспитатель императора Александра.

Въ то время, когда императрицѣ Екатеринѣ пришлось начать заботы о воспитаніи своего внука, она была горячей поклонницей либеральныхъ западно-европейскихъ идей, и желала воспитать будущаго императора именно въ духѣ этихъ идей. Потому-то она и выбрала въ воспитатели ему швейцарскаго гражданина Фридриха-Цезаря Лагарпа, человѣка неподкупной честности и независимаго характера, а по убѣжденіямъ — республиканца „преисполненнаго гуманными идеями XVIII-го вѣка“. Лагарпъ, несомнѣнно, имѣлъ благотворное вліяніе на своего питомца: онъ внушалъ ему высокія понятія о добродѣтеляхъ человѣка и гражданина, но вмѣстѣ съ тѣмъ критика указываетъ и на недостатки его воспитательной системы, заключавшіеся въ ея отвлеченности. Такъ напр. историкъ Надлеръ, упрекая систему Лагарпа въ отсутствіи въ ней религіознаго и народнаго элемента, замѣчаетъ слѣдующее: „Современная просвѣтительная литература казалась Лагарпу послѣднимъ и высочайшимъ откровеніемъ человѣческаго разума. Гуманныя, но притомъ чисто отвлеченныя понятія добродѣтели, свободы, равенства, братства — идеи, поясняемыя и подтверждаемыя примѣрами изъ подслащеннаго Плутарха, должны были повліять, по его мнѣнію, исключительно на развитіе ума и характера будущаго самодержца. Лагарпъ придавалъ также боль-

шое значеніе тѣмъ отвлеченнымъ теоріямъ общественнаго развитія, которыя онъ вычиталъ у Гиббона, Сидни, Мабли и Руссо. Какъ истый теоретикъ-французъ XVIII вѣка, онъ приписывалъ этимъ теоріямъ абсолютное значеніе, почиталъ ихъ безусловно примѣнимыми ко всякой жизни и обществу“ ¹⁾. И дѣйствительно, гуманная и космополитическая философія Лагарпа имѣла отвлеченный характеръ — и потому, облагораживая сердце воспитанника, сильно развивала въ немъ и мечтательность. Съ этимъ соглашаются и другіе критики воспитательной системы Лагарпа. Даже Пыпинъ, имѣющій въ виду обратить вниманіе своего читателя главнымъ образомъ на свѣтлыя стороны Лагарпа, какъ педагога, тѣмъ не менѣе замѣчаетъ: „Нѣтъ сомнѣнія, что его (Лагарпа) независимый характеръ, строгая выдержанность понятій, нравственное достоинство оказывали на Александра самое благотворное дѣйствіе; Лагарпъ былъ человѣкъ, способный стать нравственнымъ авторитетомъ; но едва ли сомнительно также, что его философское воспитаніе содѣйствовало развитію мечтательности“ ²⁾.

Эта мечтательность усиливалась еще тѣмъ, что „Лагарпъ и другой воспитатель Александра—Михаилъ Никитичъ Муравьевъ—старались привить своему питомцу и ту сентиментальную чувствительность, то умиленіе красотаи природы, то восхищеніе идеалами человѣчества, ту афектацію, которыя были въ ихъ глазахъ обязательною принадлежностью каждаго философски образованнаго человѣка. Сама Екатерина поощряла это направленіе. Еще въ дѣтскіе годы Александръ долженъ былъ упиваться чтеніемъ трогательныхъ исторій о добродѣтельныхъ царевичахъ, присутствовать при домашнихъ представленіяхъ сентиментальныхъ драмъ и оперетокъ. Идилліи Геснера сдѣлались въ послѣдствіи его любимымъ чтеніемъ. Какъ благоговѣлъ онъ даже въ позднѣйшіе годы своей жизни передъ памятью скромнаго, забытаго уже почти всѣмъ міромъ поэта! Среди неслыханнаго блеска своихъ побѣдъ, на высотѣ своей славы, онъ мечталъ о тихой, безмятежной жизни поселенина, о его идиллическомъ счастіи. Возвращаясь въ 1815 г. изъ Парижа черезъ Швейцарію, онъ отправился на поклоненіе къ могилѣ любимаго пѣвца. Въ Богеміи, въ годовщину Лейпцигскаго боя, онъ собственноручно пахалъ поле, и вызвалъ тѣмъ взрывъ умиленія и восторга у присутствовавшихъ лицъ. Красивый деревенскій видъ, простая обстановка крестьянскаго жилища приводили его всегда въ умиленіе“ ³⁾.

Императоръ Александръ былъ идеалистомъ, какъ и воспитатель его Лагарпъ. Послѣдній впрочемъ и самъ сознавалъ свой

идеализмъ, и называлъ себя „теоретикомъ, знакомымъ больше съ книгами, нежели съ людьми“. „Только впоследствии“,—говоритъ Шильдеръ,—„по окончаніи воспитанія Александра, когда Лагарпъ, по возвращеніи въ отечество, столкнувшись на политическомъ поприщѣ съ жизнью и съ страстями человѣческими, пріобрѣлъ недостававшую ему жизненную, практическую опытность, онъ отказался отъ многихъ своихъ прежнихъ теоретическихъ умозаключеній. Поэтому, будучи въ 1801 г. вторично призванъ въ Россію тогда уже своимъ вѣщеноснымъ воспитанникомъ, онъ началъ даже усматривать величайшее благо въ разумномъ самодержавіи, и въ этомъ новомъ духѣ преподавалъ Александру наставленія, предостерегая его при каждомъ удобномъ случаѣ отъ увлеченія и слишкомъ поспѣшныхъ мѣропріятій“ ⁴⁾.

Если трудно опредѣлить, въ какой именно мѣрѣ вліялъ Лагарпъ на императора въ этомъ новомъ своемъ консервативномъ направленіи,—то зато можно указать многое, въ чемъ съ 1801 г. стали обнаруживаться результаты того либеральнаго духа, который Лагарпъ прививалъ своему питомцу еще до восшествія его на престолъ.

2. Факты, свидѣтельствующіе о либеральныхъ стремленіяхъ императора Александра.

Еще въ юности, охваченный идеями Лагарпа, Александръ восторженно бесѣдовалъ въ царскосельскихъ садахъ съ своимъ другомъ Адамомъ Чарторижскимъ о свободѣ, о счастіи и добродѣтели, посвящалъ въ свои смѣлые планы свою юную супругу и говорилъ имъ о своемъ твердомъ намѣреніи облагодѣтельствовать Россію. День 12-го марта 1801 г. былъ днемъ, съ котораго Александръ могъ начать приводить свои планы въ исполненіе.

Заявивъ въ своемъ манифестѣ при восшествіи на престолъ, что онъ намѣренъ править Россіей „по законамъ и по сердцу императрицы Екатерины“, и желая этимъ заявленіемъ указать на свое несочувствіе политикѣ Павла, юный императоръ тотчасъ же приступилъ къ цѣлому ряду мѣръ и преобразованій, бывшихъ слѣдствіемъ его либеральныхъ стремленій.

Снявъ опалу съ огромнаго числа лицъ, подвергшихся гнѣву покойнаго государя, Александръ уничтожилъ пытку и Тайную экспедицію. По поводу уничтоженія послѣдней Шильдеръ говоритъ: ⁵⁾ „Духъ и направленіе воцарившагося императора въ особенности ярко выступаютъ въ манифестѣ объ уничтоженіи

Тайной экспедиціи, въ которомъ государь говоритъ, что въ благоустроенномъ государствѣ *«всѣ преступленія должны быть объ- емлемы, судимы и наказуемы общею силою закона»*, и потому признаетъ за благо не только названіе, но и самое дѣйствіе Тайной экспедиціи навсегда упразднить и уничтожить, повелѣвая всѣ дѣла, въ оной бывшія, отдать въ государственный архивъ къ вѣчному забвенію“.

31-го марта 1801 г. государь отмѣнилъ распоряженіе императора Павла, запрещающее ввозить къ намъ изъ-за границы не только какія-либо книги, но даже и музыкальныя ноты; повелѣлъ распечатать частныя типографіи, закрытыя указомъ 5-го іюня 1800 года, и дозволилъ имъ печатать книги и журналы. Вмѣстѣ съ этимъ государь позаботился и объ ослабленіи тѣхъ цензурныхъ строгостей, которыя такъ чувствовались въ предшествовавшее царствованіе, и еще въ 1803 г. поручилъ свѣдущимъ людямъ выработать новый цензурный уставъ. Проектъ цензурныхъ постановленій составленъ былъ академиками Озерецковскимъ и Фусомъ и послужилъ главнымъ основаніемъ для новаго цензурнаго устава, утвержденнаго 9-го іюля 1804 г. Уставъ отличался „духомъ терпимости и любви къ просвѣщенію“. Въ немъ предоставлена была свобода изслѣдованіямъ въ области наукъ, обнимающихъ какъ природу, такъ и человѣка, и принимались мѣры къ огражденію писателя отъ придирокъ цензора, обязаннаго становиться въ сомнительныхъ случаяхъ не врагомъ, а защитникомъ автора.

У академика Сухомлинова, занимавшагося изслѣдованіемъ вопроса о цензурѣ въ царствованіе императора Александра, читаемъ объ этомъ новомъ цензурномъ уставѣ между прочимъ слѣдующее: ⁶⁾ „на цензуру смотрѣли, какъ на печальную необходимость, стараясь избѣгать требованій, стѣснительныхъ для развитія наукъ и литературы... Главная цѣль разсматриванія—доставить обществу книги и сочиненія, способствующія истинному просвѣщенію и образованію нравовъ, и удалить книги и сочиненія, противныя сему намѣренію (§ 2). Цензоры не должны были задерживать рукописей, присылаемыхъ на разсмотрѣніе, особливо же журналовъ и другихъ періодическихъ изданій, которыя должны выходить въ срочное время, и теряютъ цѣну новости, если издаются позже (§ 23). Цензурному комитету и каждому цензору въ отдѣльности вмѣнено было въ обязанность наблюдать, чтобы въ произведеніяхъ печати не было ничего противнаго закону Божію, правительству, правственности и личной чести гражда-

пина (§ 15). Если же встрѣчались въ рукописи подобныя мѣста, то цензоръ долженъ былъ возвращать ее издателю для исправленія, не дозволяя себѣ никакихъ въ ней поправокъ (§ 16). Если въ цензуру поступала рукопись, наполненная мыслями и выраженіями, оскорбляющими личную честь гражданина, благопристойность и нравственность,—то цензурный комитетъ, отказавъ въ печатаніи такого сочиненія, объявлялъ причины запрещенія владѣльцу рукописи, а самое сочиненіе удерживалъ у себя (§ 18). Цензурный комитетъ предавалъ автора въ руки правосудія только въ такомъ случаѣ, когда въ своемъ сочиненіи авторъ явно отвергалъ бытіе Божіе, вооружался противъ вѣры и законовъ отечества, оскорблялъ верховную власть и высказывалъ мысли, совершенно противныя духу общественнаго порядка и спокойствія (§ 19). Но, преслѣдуя злоупотребленіе, уставъ не преграждалъ пути для успѣшнаго развитія наукъ и добросовѣстной оцѣнки государственныхъ и общественныхъ вопросовъ. «Скромное и благоразумное изслѣдованіе всякой истины,—сказано въ уставѣ,—относящейся до вѣры, человѣчества, гражданскаго состоянія, законодательства, государственнаго управленія или какой бы то ни было отрасли правительства, не только не подлежитъ и самой умѣренной строгости цензуры, но пользуется *совершенною свободою печати, возвышающею успѣхи просвѣщенія*». (§ 22). Основнымъ началомъ, которымъ цензоръ долженъ руководствоваться при запрещеніи печатанія или пропуска книгъ и сочиненій, уставъ полагалъ благоразумное снисхожденіе, чуждое пристрастнаго объясненія мѣстъ, кажущихся опасными: «Когда мѣсто, подверженное сомнѣнію, имѣетъ двоякій смыслъ, въ такомъ случаѣ лучше истолковать оное выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели его преслѣдовать» (§ 21)".

Уставъ 1804 года высоко оцѣнивается критикою, тѣмъ болѣе, что онъ „явился въ такую пору, когда во многихъ странахъ Европы литература поставлена была въ самыя неблагопріятныя условія. Французскіе писатели бросились изъ одной крайности въ другую: выхваляли блаженное состояніе невѣжества и быстрыми шагами отступали къ четырнадцатому вѣку; южная Германія и всѣ итальянскія государства, по долгу зависимости отъ Франціи и соображаясь съ модою лицемерной набожности, господствовавшей при дворѣ Наполеономъ, шли по слѣдамъ своей путеводительницы; въ Испаніи инквизиція истребляла творенія великихъ писателей, а въ Австріи запрещенъ ввозъ *всѣхъ иностранныхъ сочиненій*“ 7)

Удаленный изъ Россіи въ царствованіе императора Павла и въ 1801 г. снова призванный своимъ воспитанникомъ, Лагарпъ твердилъ ему: „Первая потребность вашего народа—миръ, вторая—*просвѣщеніе*, третья—судопроизводство, которое доставило бы жителямъ имперіи существенныя блага гражданской свободы“.

Цензурный уставъ 1804 г. былъ уже важною мѣрою къ развитію просвѣщенія. Но еще важнѣе было утвержденіе 24 января 1803 г. „Новаго плана народнаго просвѣщенія въ Россіи“, въ которомъ возвѣщалось, что для нравственнаго образованія гражданъ, соотвѣтственно обязанностямъ и пользамъ каждаго состоянія, опредѣляется четыре рода училищъ, а именно: 1) училища приходскія, 2) уѣздныя, 3) губернскія, или гимназін, и 4) университеты. Приходское училище должно быть при каждомъ приходѣ, уѣздное—въ каждомъ уѣздномъ городѣ, гимназін—въ каждомъ губернскомъ городѣ. Въ округахъ же учреждаются университеты для преподаванія наукъ въ высшей степени. Кромѣ существовавшихъ уже трехъ университетовъ—въ Москвѣ, Вильнѣ и Дерптѣ (нынѣ Юрьевѣ), постановлено было открыть еще три: въ Петербургѣ, Казани и Харьковѣ, а впослѣдствіи и въ Кіевѣ, Tobольскѣ, Устюгѣ-Великомъ и въ другихъ городахъ, по мѣрѣ способовъ, какіе найдены будутъ къ тому удобнымъ. Но изъ проектируемыхъ въ то время университетовъ были учреждены только въ Казани и Харьковѣ (1804 г.); Петербургскій же университетъ открылся лишь въ 1819 г., а пока основанъ былъ вмѣсто него Педагогическій институтъ, предназначенный для подготовленія юношества къ учительской должности. Университеты Московскій, Виленскій и Дерптскій были преобразованы (въ томъ же 1804 г.).

Университетамъ даны были права высшей учебной инстанціи: университетъ вѣдалъ дѣла всѣхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній своего округа, принадлежавшихъ къ министерству народнаго просвѣщенія. Онъ надзиралъ за ученіемъ и воспитаніемъ въ нихъ, долженъ былъ освѣдомляться о самомъ образѣ ученія, о качествахъ учителей и даже о зданіи училища и его матеріальныхъ средствахъ; онъ долженъ былъ внимательно всматриваться въ мѣстный образъ жизни и родъ промышленности, „чтобы къ ихъ усовершенствованію можно было наклонять и приноравливать самое ученіе въ тамошнихъ школахъ“; долженъ былъ „вникать въ способы, какъ скорѣе и удобнѣе завести сельскія школы, по крайней мѣрѣ по нѣскольку въ уѣздѣ, которыя служили бы примѣромъ и поощреніемъ къ заведенію другихъ“⁸⁾.

Вмѣстѣ съ тѣмъ университетамъ были предоставлены и судъ надъ подчиненными ему лицами и мѣстами, и апелляція на приговоръ университетскаго совѣта могла идти только въ Сенатъ.

„Свобода преподаванія признана живительнымъ началомъ ученой дѣятельности университета. Въ «Планѣ» говорится, что профессора «не подвергаются принужденію ни въ разсужденіи правилъ науки ни въ разсужденіи книгъ учебныхъ: *свобода мыслей способствуетъ вообще знаніямъ*, но при такой наукѣ, въ коей ежедневно являются новыя разрѣшенія и новыя открытія, нужна она особливо». Университеты имѣли собственную цензуру, а профессора могли пользоваться всѣми рукописями и печатными книгами, не стѣсняясь цензурными запрещеніями“.

„Доступъ въ университетъ открытъ былъ для знательныхъ посѣтителей, для студентовъ и постороннихъ, безъ различія вѣтъ и сословія. Свобода по университету тѣмъ замѣчательнѣе, что застарѣлыя докт., державшіяся нѣсколько вѣковъ въ университетахъ различныхъ странъ Европы, полагали рѣзкое различіе между сословіями. Во всѣхъ нѣмецкихъ университетахъ студенты изъ высшаго дворянства пользовались преимуществами не только между своими товарищами, но и передъ наставниками. Молодые князья, графы и бароны избираемы были въ ректоры...; студенты знатнаго происхожденія вписывались въ особую книгу съ изображеніемъ ихъ герба, въ судѣ имѣли право сидѣть между тѣмъ какъ товарищи ихъ стояли, и т. п.“.

Съ цѣлію способствовать развитію учено-литературности, университетамъ даровано было права на званія общества и вызывать на ученые труды и дачи премій за лучшія сочиненія.

Предоставивъ профессорамъ полную свободу преподаванія, правительство вмѣстѣ съ тѣмъ вмѣняло имъ въ обязанность поставить его въ уровень съ современнымъ состояніемъ и потому всякое вмѣшательство въ ихъ преподаваніе некомпетентныхъ было устранено.

Прибавимъ, что, кромѣ университетовъ, въ императора Александра I основаны были и другія высшія заведенія—лицей: въ Ярославлѣ (1805), Нѣж (1806) и Царскомъ селѣ (1811).

насъ будетъ еще рѣчь впереди), писалъ между прочимъ слѣ-
 ющее: „Мы“ (т.-е. цесаревичъ, Новосильцевъ, графъ Строга-
 въ и князь Адамъ Чарторижскій) „намѣреваемся въ теченіе
 стоящаго царствованія поручить перевести на русскій языкъ
 злько полезныхъ книгъ, какъ это только окажется возможнымъ;
 выходить въ печати будутъ только тѣ изъ нихъ, печатаніе
 торыхъ окажется возможнымъ, а остальные мы прибережемъ
 я будущаго; такимъ образомъ, по мѣрѣ возможности, положимъ
 чало распространенію знанія и просвѣщенію умовъ“. II ука-
 нное намѣреніе цесаревича приводилось въ исполненіе: по по-
 ченію вышеназванныхъ лицъ переведены были книги: „Recher-
 es sur l'économie politique“ Стюарта, „Bibliothèque de l'homme
 blique“ par Condorcet и „Economie politique“ par Verri. Впо-
 ѣдствіи по высочайшему повелѣнію изданъ былъ переводъ со-
 аеній: юриста Бентама—„Разсужденіе о гражданскомъ и уго-
 вномъ законоположеніи“ (1805) и Делольма—„Конституція Анг-
 і, или состояніе англійскаго правленія, сравнительно съ рес-
 бликанскою формою и съ другими европейскими монархіями“
 306). „Выборъ книгъ“,—какъ замѣчаетъ Пышинъ⁹⁾,—„показы-
 етъ, что хотѣли внушить интересъ именно къ общественнымъ,
 ономическимъ и политическимъ вопросамъ, и дать по этимъ
 предметамъ серьезное чтеніе“.

Покровительствуя этой спеціальной отрасли знаній, государь
 кровительствовалъ и литературѣ вообще. Академикъ Шторхъ
 временникъ описываемыхъ событій, въ своемъ изданіи: „Russland
 ter Alexander dem Ersten“, говоритъ: „Рѣдко какой-нибудь пра-
 тель оказывалъ такое поощреніе литературѣ, какъ императоръ
 лександръ. Замѣчательныя литературныя заслуги лицъ, находя-
 ихся на службѣ, вознаграждаются чинами, орденами, пенсіями;
 сатели, не состоящіе на государственной службѣ, за литера-
 рные свои труды, доходящіе до свѣдѣнія императора, не рѣдко
 лучаютъ подарки значительной цѣнности. При настоящемъ
 ложеніи книжной торговли, русскіе писатели не всегда могутъ
 зсчитывать на приличный гонорарій за большія серьезные сочи-
 нія... Въ такихъ случаяхъ императоръ, смотря по обстоятель-
 замъ, жалуетъ писателямъ иногда крупныя суммы на напечатаніе
 ь трудовъ. Многіе писатели посылаютъ свои рукописи импе-
 ратору, и если только онѣ имѣютъ какую-нибудь полезную тен-
 нцію, онѣ велитъ печатать ихъ на счетъ кабинета, и затѣмъ
 ритъ обыкновенно все изданіе авторамъ... Почти всѣ извѣстные
 находящіеся на службѣ, пог... св. Анны 2-й

степени... и въ рескриптахъ, съ которыми присылались орденскіе знаки, императоръ почти въ каждомъ случаѣ именно объявляетъ что онъ жалуетъ эти отличія полезнымъ литературнымъ заслугамъ". Шторхъ указываетъ и цифры денежныхъ пособій, которѣ государь давалъ авторамъ на изданіе ихъ трудовъ, если признавалъ ихъ полезными. Такъ нѣкому Лебедеву онъ далъ 10.000 на изданіе его путевыхъ замѣтокъ по Европѣ и Азіи; московскому профессору Страхову на изданіе перевода „Путешествія молодого Анахарсиса“ Бартеlemi — 6.000 р.; Политковскому на изданіе Адама Смита—5.000 р. и др. „Множество русскихъ писателей представлявшихъ императору свои сочиненія, награждаемы были перстнями, табакерками и другими цѣнными подарками“ ¹⁰⁾.

Къ заботамъ государя о просвѣщеніи надо отнести и имѣ въ Петербургѣ Императорской публичной открытой въ 1812 году.

Лежалъ на сердцѣ молодого государя и къ вопросу. Хотя онъ и не разрѣшилъ его и не уничтожилъ къ полному праву, тѣмъ не менѣе, благодаря заботамъ Александра объ улучшеніи положенія крестьянъ, мысль объ уничтоженіи рабства все-таки до извѣстной степени проникла въ общество хотя съ другой стороны она въ томъ же обществѣ встрѣтила и сильное противодѣйствіе. Этимъ противодѣйствіемъ объясняется въ значительной степени, почему императоръ Александръ даже въ первое время своего царствованія эпоху самаго пламеннаго стремленія къ либеральнымъ воззрѣніямъ, принималъ къ улучшенію положенія крестьянъ очень немногія мѣры, да и то съ большою осторожностью изъ такихъ мѣръ было запрещеніе (1801) продавать крестьянъ безъ земли. Затѣмъ (1803) послѣдовалъ указъ о свободныхъ земледѣльцахъ. Этимъ указомъ разрѣшалось всѣмъ помѣщикамъ кто пожелаетъ, увольнять своихъ крестьянъ, цѣликомъ или отдѣльно, съ землею, по заключеніи условій, обоюдномъ согласіи. Кроме того, императоръ Александръ раздачу крѣпостныхъ въ награду за заслуги дѣлавшую до огромныхъ размѣровъ при Екатеринѣ и Павлѣ

По словамъ Чарторижскаго, Александръ, еще будучи великимъ княземъ, заявлялъ ему въ искренней бесѣдѣ, что онъ „ненавидитъ“ крѣпостныхъ всюду, во всѣхъ его пѣ

что онъ любить свободу, на которую имѣютъ одинаковое право всѣ люди; что онъ съ живымъ участіемъ слѣдитъ за французскою революціею; что, осуждая ея ужасныя крайности, онъ желаетъ республикѣ успѣховъ и радуется имъ“. ¹¹⁾ По отзыву Чарторижскаго, мнѣнія Александра соотвѣтствовали взглядамъ воспитанника 89-го года, который желать бы всюду видѣть республику. Чарторижскій оспаривалъ своего собесѣдника, указывая на Польшу, какъ на доказательство того, что республика сама по себѣ еще не есть гарантія блага, и говорилъ о томъ, какъ мало Россія способна и подготовлена къ желаемому великимъ княземъ порядку. Александръ не сдавался—и продолжалъ обдумывать планъ будущаго. Въ знаменитомъ письмѣ къ Лагарпу, отъ 27 сентября 1797 г., цесаревичъ писалъ своему бывшему наставнику, что онъ передумалъ о многомъ и подѣлился своими мыслями „съ людьми просвѣщенными“, т.-е. съ Новосильцевымъ, Строгановымъ и Чарторижскимъ, и что главное желаніе его—постараться, когда придетъ его чередъ царствовать, образовать народное представительство, которое, должнымъ образомъ руководимое, составило бы свободную конституцію, послѣ чего его власть совершенно прекратилась бы, и онъ удалился бы въ какой-нибудь уголокъ и жилъ бы тамъ, счастливый и довольный, видя процвѣтаніе своего отечества и наслаждаясь имъ ¹²⁾.—Тутъ, вмѣстѣ съ идеалистическими стремленіями Александра, видна и его мечтательность, его идилличность.

Съ восшествіемъ на престолъ молодой императоръ и началъ свои заботы о „процвѣтаніи отечества“. Какъ бы слѣдуя совѣту Лагарпа, указывавшаго на необходимость для Россіи *мира, просвѣщенія и судопроизводства*, государь поспѣшилъ установить мирныя отношенія съ европейскими державами, началъ заботиться, какъ уже знаемъ, о просвѣщеніи, и вмѣстѣ съ тѣмъ сталъ стремиться водворить повсюду законъ и справедливость. Въ виду этой послѣдней цѣли императоръ 5-го іюня 1801 г. далъ указъ объ устройствѣ комиссіи составленія законовъ, которая поручена была гр. Завадовскому. Въ особомъ рескриптѣ на имя этого сановника слѣдующимъ образомъ опредѣлены основныя начала, которыми руководствовался государь, поручая ему управленіе комиссіею: „Поставляя въ *единомъ законѣ* начало и источникъ народнаго блаженства и бывъ удостовѣренъ въ той истинѣ, что всѣ другія мѣры могутъ сдѣлать въ государствѣ счастливыя вре-

государственнаго управленія призналъ я необходимымъ удосто-
вѣриться въ настоящемъ части сей положеніи. Я всегда зналъ,
что съ самаго изданія Уложенія до дней нашихъ, т.-е. въ теченіе
почти одного вѣка съ половиною, законы, истекая отъ законо-
дательной власти различными и часто противоположными путями,
и бывъ издаваемы болѣе по случаямъ, нежели по общимъ госу-
дарственнымъ соображеніямъ, не могли имѣть ни связи между
собою, ни единства въ ихъ намѣреніяхъ, ни постоянности въ
ихъ дѣйствіи. Отсюда всеобщее смѣшеніе правъ и обязанно-
стей каждаго, мракъ, облажающій равно судью и подсудимаго,
бессиліе законовъ въ ихъ исполненіи и удобность перемѣнить ихъ
по первому движенію прихоти или самовластія“. По поводу этого
рескрипта Шильдеръ замѣчаетъ: ¹³⁾ „желаніе государя выдвинуть
на первый планъ законъ, проявляется съ такою ясностью, что не
можетъ быть подвергнуто никакому сомнѣнію или превратному
толкованію. Эта мысль господствовала тогда въ умѣ Александра,
не будучи еще ограничена соображеніями противоположнаго свой-
ства. «Какъ скоро я себѣ дозволю нарушить законы, кто тогда
почтетъ за обязанность наблюдать ихъ?» писалъ въ то время го-
сударь ¹⁴⁾. «Быть выше ихъ, если бы я могъ, но конечно бы не
захотѣлъ, ибо я не признаю на землѣ справедливой власти, кото-
рая бы не отъ закона истекала; напротивъ, я чувствую себя обя-
заннымъ первѣе всѣхъ наблюдать за исполненіемъ его, и даже
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ другіе могутъ быть снисходительны, а я
могу быть только правосуднымъ». Нельзя не признать, что такіа
мысли не были до тѣхъ поръ высказаны ни однимъ русскимъ са-
модержцемъ. Онѣ всецѣло принадлежатъ Александру Первому“.

Тѣмъ же желаніемъ водворить повсюду порядокъ и закон-
ность и вмѣстѣ съ тѣмъ подчинить закону и самого себя, вызваны
и два указа его отъ 8 сентября 1802 года: указъ о расширеніи
правъ Сената и указъ объ учрежденіи министерствъ. Цѣль учреж-
денія послѣднихъ состояла въ томъ, чтобы, какъ говорилось въ
манифестѣ, „раздѣлить государственныя дѣла на разныя части,
сообразно естественной ихъ связи между собою“, и придать те-
ченію дѣлъ болѣшую благоуспѣшность. За законностью же веде-
нія дѣлъ въ министерствахъ поручалось смотрѣть Сенату, куда
министры должны были представлять свои отчеты. Въ указѣ о
расширеніи правъ Сената это учрежденіе названо „хранителемъ
законовъ“; ему вмѣнялось въ обязанность заботиться „о повсе-
мѣстномъ наблюденіи правосудія“ и вмѣстѣ съ тѣмъ давалось
право представлять государю о тѣхъ указахъ, которые въ испол-

неніи сопряжены съ великими неудобствами, или несогласны съ прочими узаконеніями, или же неясны.

Наконецъ „въ іюнѣ 1804 г.“—разсказываетъ Шильдеръ—¹⁵⁾ „министръ юстиціи, князь Лопухинъ, на котораго возложено было также съ 21 октября 1803 г. управление Комиссіею составленія законовъ, призвавъ къ себѣ секретаря и перваго референдарія этой Комиссіи—барона Розенкампа, объявилъ, что ему поручается, по высочайшей волѣ, написать проектъ конституціи. Напрасно Розенкампъ, едва вѣря слышанному, возражалъ, что не сдѣлано еще никакихъ подготовительныхъ работъ; что въ такомъ дѣлѣ невозможно руководствоваться одною теоріею, не изучивъ прежде въ точности прошедшаго и исторической связи племенъ, составляющихъ Россію; что для прочной конституціи мало однихъ поверхностныхъ очерковъ или набора громкихъ, не исчерпывающихъ предмета словъ, а нужны глубокія изысканія, основательное изученіе частей. Но всѣ эти возраженія были оставлены безъ вниманія, и данное повелѣніе было вновь подтверждено. Тогда Розенкампъ нашелся вынужденнымъ представить *кадръ конституціи*, со многими однако пробѣлами, въ особенности для низшаго класса народа, относительно котораго дѣлалась лишь ссылка, на имѣющія впредь послѣдовать положенія. Кадръ Розенкампа былъ переданъ Новосильцеву и Чарторижскому; они выработали полный проектъ, который не получилъ дальнѣйшаго движенія вслѣдствіе внѣшнихъ усложненій, сопровождавшихся двумя кровопролитными войнами (1805, 1806, 1807 годовъ), и распаденія бывшаго тріумвирата...¹⁶⁾ На сцену явился Сперанскій“.

Ему-то въ 1808 г. и поручилъ императоръ выработать „планъ государственнаго преобразованія“. Сперанскій работалъ быстро и неутомимо: въ октябрѣ 1809 г. весь планъ уже лежалъ на столѣ государя. По словамъ автора, планъ этотъ былъ не чѣмъ инымъ какъ приведеніемъ въ систему тѣхъ идей, которыя занимали Александра съ 1801 г. Въ основу его были, какъ очевидно, положены начала, руководившія французскими событіями 1789 г., т.-е. тѣ начала, которыя высказалъ Руссо въ своемъ „*Contrat social*“¹⁷⁾. Развивая эти начала, Сперанскій говоритъ о необходимости составленія *основныхъ законовъ*, т.-е. такихъ, которые ограничиваютъ правящую власть, и заявляетъ, что составить эти законы должна сама нація. Далѣе у Сперанскаго читаемъ:

„Такъ какъ весь народъ въ цѣлости не можетъ блюсти за тѣмъ, чтобы правительство оставалось въ предѣлахъ, предписанныхъ закономъ, то совершенно необходимо, чтобы было сословіе,

которое, становясь между имъ и правительствомъ, было достаточно просвѣщено, чтобы понимать, какіе должны быть истинные предѣлы власти; достаточно независимо, чтобы не бояться ея, и достаточно связано интересами съ народомъ, чтобы никогда не имѣть искушенія измѣнить ему. Отсюда слѣдуетъ, что въ ограниченной монархіи нужно установить два большіе отдѣла: высшій классъ, обязанный блюсти за исполненіемъ законовъ, и низшій классъ, отдѣленный отъ перваго по имени и по наружности, но тождественный съ нимъ по своимъ интересамъ“.

Въ устройствѣ высшаго класса Сперанскій взялъ образцомъ англійскую аристократію съ ея майоратомъ.

Затѣмъ у Сперанскаго слѣдуетъ самое построеніе государственнаго зданія на новыхъ началахъ. Во главѣ всѣхъ учрежденій онъ ставитъ Государственный совѣтъ; за нимъ идутъ: Государственная дума, Сенатъ, министерства. Государственная дума занимается законодательствомъ, Сенатъ—судебной частью, министерства—администраціей. Дѣйствія этихъ трехъ учрежденій соединяются въ Государственномъ совѣтѣ и чрезъ него восходятъ къ престолу, такъ какъ Государственный совѣтъ долженъ былъ разсматривать всѣ законы, уставы и учрежденія „въ первообразныхъ ихъ начертаніяхъ“ и представлять на утвержденіе государя, а также и разсматривать отчеты министровъ. Сверхъ того, каждое изъ этихъ трехъ учрежденій имѣетъ соотвѣтствующія низшія, а именно: 1) думы: волостныя, уѣздныя, губернскія; 2) суды: волостные, уѣздные, губернскіе; 3) управленія: волостныя, уѣздныя, губернскія. Дума волостная посылаетъ своихъ депутатовъ въ уѣздную, уѣздная—въ губернскую, губернская—въ государственную. Такимъ образомъ устраивается народное представительство.

Но и планъ Сперанскаго осуществленъ не былъ: измѣненія по его идеѣ коснулись лишь Государственнаго совѣта (1810) и министерствъ. Въ послѣднихъ было сдѣлано новое распредѣленіе подвѣдомственныхъ имъ дѣлъ (1810).

Это порученіе Розенкампу и Сперанскому писать проекты конституцій, равно какъ и всѣ вышеуказанныя мѣропріятія императора Александра ясно обнаруживаютъ въ немъ личность, отличающуюся либеральными и гуманными стремленіями, при чемъ эти стремленія носили нерѣдко до того идеалистическій характеръ, что даже получили у новѣйшаго его біографа названіе государственной романтики, политической идилличности, въ противоположность государственному эгоизму императрицы Екатерины —

эгоизму, который, по указанію того же біографа, такъ высоко цѣнилъ Бисмаркъ, названный у Шильдера „неподражаемымъ политическимъ учителемъ новѣйшаго времени“¹⁸⁾. Къ фактамъ государственной романтики Шильдеръ относитъ колебаніе Александра, согласиться или нѣтъ на добровольное предложеніе Грузіи присоединиться къ Россіи, такъ какъ онъ, императоръ, почитаетъ *несправедливымъ присвоеніе чужой земли*; неоднократно его мысли возстановить Польшу — и притомъ не только въ предѣлахъ 1772 года, но такъ, чтобы границами ея были Двина, Березина и Днѣпръ; отторженіе Выборгской губерніи и присоединеніе ея къ Финляндіи, между тѣмъ какъ она уже сто лѣтъ принадлежала имперіи; наконецъ заботы Александра о благѣ Европы, о благѣ всего человечества, его стремленіе спасти народы отъ варварства и тираніи Наполеона.

Но либеральныя стремленія составляли только одну сторону личности императора Александра: въ немъ была и другая.

3. Другая сторона личности императора Александра.

Еще въ 1790 г. императрица Екатерина, сообщая Гримму свои наблюденія надъ Александромъ, писала ему между прочимъ, что „мальчикъ этотъ соединяетъ въ себѣ множество противоположностей“¹⁹⁾. Эта замѣчательная черта личности Александра не исчезла и впослѣдствіи, и объясняется она, конечно, противоположностью самыхъ тѣхъ элементовъ, которые вліяли на его впечатлительную натуру. Прежде всего слѣдуетъ имѣть въ виду, что Лагарпъ былъ не единственнымъ воспитателемъ Александра: были при немъ и другіе, старавшіеся парализовать вліяніе наставника-республиканца. Съ другой стороны, и самъ Лагарпъ, какъ уже знаемъ, со времени второго своего пріѣзда въ Петербургъ былъ уже не тѣмъ, чѣмъ онъ былъ прежде. Кромѣ этого, нельзя забывать и вліянія Гатчинскаго двора, гдѣ ко всему тому, что дѣлалось при дворѣ императрицы Екатерины, вовсе не относились сочувственно. Само собою разумѣется, что такія противоположныя вліянія должны были поражать во впечатлительной душѣ и противоположные порывы. Правда, Александръ до конца дней своихъ не переставалъ проявлять въ себѣ воспитанника свободолюбиваго Лагарпа; но зато и въ молодые еще годы онъ иногда какъ бы забывалъ свой либерализмъ, а впослѣдствіи возвращался къ нему все рѣже и рѣже.

Вотъ факты, свидѣтельствующіе о порывахъ, противополож-

ныхъ порывамъ либеральнымъ. Давъ въ 1802 г. Сенату право представлять государю объ указахъ, несогласныхъ съ прочими узаконеніями, Александръ былъ очень недоволенъ, когда въ 1803 г. Сенатъ, по иниціативѣ графа Северина Потоцкаго, этимъ правомъ воспользовался ²⁰⁾. Уничтоживъ въ 1801 г. Тайную экспедицію и рѣзко осудивъ въ своемъ манифестѣ установившійся по этой части прежній порядокъ,—въ 1805 г. Александръ издалъ повелѣніе о возобновленіи ея. Окруживъ себя такими свободомыслящими людьми, какъ Новосильцевъ, Строгановъ и Чарторижскій, государь еще въ 1803 г. приблизилъ къ себѣ Аракчеева. Поручая Розенкампу и Сперанскому писать проекты конституцій, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ цѣнилъ и самодержавіе, а въ 1812 г. высказалъ мысль, что онъ не считаетъ себя въ правѣ самовольно измѣнять образъ правленія ²¹⁾, хотя въ бытность свою въ Лондонѣ въ 1814 г. восхищался, что тамъ есть оппозиція, и сказалъ, что озабочится вызвать въ Россіи къ жизни „un foyer d'opposition“ ²²⁾.

Наконецъ явились обстоятельства, въ силу которыхъ императоръ Александръ сталъ все рѣже и рѣже возвращаться къ прежнимъ своимъ либеральнымъ идеямъ. Роковыя событія 1812-го года повліяли на Александра и пробудили въ немъ религіозное чувство. Выступивъ на религіозную почву, онъ,—какъ говоритъ Шильдеръ,—„по свойству своего характера, и здѣсь руководствовался идеальными стремленіями“ ²³⁾, которыя выразились въ его идеѣ „священнаго союза“. Государи, его заключившіе, должны были управлять своими народами и войсками въ духѣ братства, какъ отцы семействами, а народамъ совѣтовалось ежедневно упражняться и укрѣпляться въ обязанностяхъ христіанина. Впрочемъ чувства, приведшія къ священному союзу, жили не въ одной только душѣ императора Александра: они охватывали тогда цѣлыя общества, какъ у насъ, такъ и въ западной Европѣ. „Роковыя событія, совершавшіяся въ Россіи и въ западной Европѣ въ началѣ XIX-го вѣка, 1812-й годъ, трагическая судьба Наполеона, ожиданіе новыхъ бѣдъ и общее потрясеніе Европы сильно подѣйствовали на умы, подорвали вѣру въ прочность земного величія и обратили мысли къ религіи. Такое настроеніе первоначально было довольно неопредѣленно, но ему отдавались со всѣмъ жаромъ и увлеченіемъ прозелитовъ... Въ разныхъ кругахъ общества заговорили о всеобщемъ братствѣ, о союзѣ народовъ, о царствѣ истины и любви“ ²⁴⁾. Актъ священнаго союза и былъ историческимъ памятникомъ этого настроенія. Но съ нимъ связана значительная перемѣна въ отношеніи императора Александра къ либераль-

нымъ идеямъ, переменна, имѣвшая значеніе реакціи тому, что дѣлалось имъ же самимъ въ первые годы его царствованія, хотя реакція эта и не была рѣшительной—и государь отъ времени до времени возвращался къ своему прежнему либерализму, что доказываетъ, напримѣръ, его рѣчь, произнесенная имъ въ 1818 г. при открытіи варшавскаго сейма.

4. Черты жизни русскаго общества въ Александровскую эпоху.

а) Черты, касающіяся вопроса о просвѣщеніи.

Переживъ режимъ правленія Павла, русское общество съ восторгомъ встрѣтило восшествіе Александра, и восторгъ этотъ отразился въ литературѣ: юнаго императора привѣтствовали дружнымъ хоромъ торжественныхъ одъ. Даже Державинъ, вовсе не бывшій сторонникомъ либерализма, и тотъ, высказавъ въ своей одѣ на восшествіе нѣсколько намековъ на предыдущее царствованіе въ такихъ стихахъ, какъ напр. слѣдующіе:

- 1) Умолкъ ревъ Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взглядъ;
- 2) О власти сильныя, и вы!
Внемлите—и тѣснить блюдитесь
Вамъ данный управлять народъ,—

указалъ на Александра, какъ на свѣтлую личность:

Нѣтъ, ангелъ кротости и мира,
Любимый сынъ благихъ Небесъ!
Ты не таковъ: твоя порфира,
Отъ благодарныхъ нашихъ слезъ,
Какъ роза, кропясь росой,
Прекраснѣйшій раскинетъ цвѣтъ и пр.

Въ извѣстной части общества этотъ восторгъ не былъ вызванъ только чувствомъ того облегченія, которое испытывали всѣ, кому приходилось подчиняться такимъ мелочнымъ требованіямъ Павла, какъ напр. приказаніе носить косички и букли, запрещеніе круглыхъ шляпъ и сапогъ съ отворотами и т. п.: нѣтъ, онъ былъ вызванъ сочувствіемъ къ просвѣтительнымъ стремленіямъ новаго императора, что и не замедлило тотчасъ же сказаться. Едва обнародованъ былъ „Новый планъ народнаго просвѣщенія“, какъ начались пожертвованія на образовательныя нужды, и очень даже щедрія. „Особенное впечатлѣніе произвело тогда одно пожертвованіе Демидова, простиравшееся цѣною до милліона рублей—деньгами, имѣніемъ (представлявшимъ капи-

в) Черты, касающіяся вопроса о томъ, какъ отнеслось русское общество къ политическимъ планамъ императора Александра.

Подъ этими планами мы разумѣемъ мечты императора Александра о перемѣнѣ правленія, о возстановленіи Польши въ ея древнихъ предѣлахъ и объ освобожденіи крестьянъ. Сперва коснемся отношенія общества къ мечтамъ Александра о перемѣнѣ правленія.

Конечно, были люди, которые не только къ этимъ мечтамъ императора Александра, но и вообще ко всѣмъ либеральнымъ его стремленіямъ отнеслись крайне враждебно. Они, словно сочувствуя суровому режиму Павла, называли всѣ мѣропріятія новаго императора „коверканьемъ“ начинаній его предшественника.⁴⁹⁾ а гуманность Александра отождествляли съ распущенностью. Таковою казалась эта гуманность уже извѣстному намъ обскуранту Рушчу, который въ своихъ запискахъ высказывалъ, на примѣръ, такіа странныя сужденія: „При вступленіи на престолъ Александръ объявилъ о своемъ намѣреніи царствовать по примѣру своей бабки Екатерины II. Только и было разговоровъ, что о манифестѣ, содержащемъ *эту пошлую и смѣшную фразу*... Запрещеніе носить круглыя шляпы и панталоны возбудило ненависть къ Павлу... Разрѣшеніе наряжаться шутами, обмѣнъ рукопожатій, болтовня безъ удержа заставили полюбить Александра“⁵⁰⁾. Но такихъ крайнихъ обскурантовъ сравнительно было немного. Полную противоположность имъ представляла та часть общества, которая восторженно отнеслась къ рѣчамъ Александра о свободѣ. Это были люди, воспитанные въ тѣхъ же идеяхъ, которыя Лагарпъ преподавалъ Александру. Они жаждали свободы, ждали конституціоннаго порядка—и когда обманулись въ своихъ надеждахъ, прибѣгли къ составленію тайныхъ обществъ, изъ которыхъ впоследствии вышли декабристы. Но возбужденіе тогдашнихъ умовъ вызывалось не только вліяніемъ одной философіи: оно въ значительной мѣрѣ поддерживалось самимъ императоромъ, который съ одной стороны увлекалъ умы своими либеральными рѣчами, а съ другой—раздражалъ ихъ, не приводя въ исполненіе того, на что онъ самъ же подавалъ надежду. Для разъясненія приводимъ слѣдующее мѣсто изъ книги Пынина⁵¹⁾: „Одинъ свидѣтель и участникъ тѣхъ событій, припоминая обстоятельства „побудившія къ возмечтанію о реформахъ въ Россіи“, указываетъ, какое сильное впечатлѣніе производили тогда дѣйствія самого императора Александра... „Слѣдуетъ упомянуть о надеждѣ на дарованіе политическихъ правъ, возбужденной либеральною поли-

тикой императора Александра Павловича, неоднократно имъ заявленной. О ней свидѣтельствуесть воззваніе его къ германскимъ народамъ въ 1813 году; затѣмъ въ 1814 году, при первомъ его свиданіи съ Людовикомъ XVIII и Рамбулье, всѣмъ стало извѣстно высказанное имъ убѣжденіе о необходимости, при вступленіи короля на престолъ, учредить во Франціи представительное правительство. Въ слѣдующемъ году, на Вѣнскомъ конгрессѣ, онъ, отстаивая либеральныя учрежденія, оспаривалъ ретроградную политику Миттерниха и Талейрана и, вопреки ихъ мнѣнію, даровалъ Польшѣ конституціонное правленіе. Наконецъ, при открытіи варшавскаго сейма, произнесъ рѣчь, возбуждившую неописанный восторгъ во всей молодежи» ⁵²). Правда, и въ эти первые годы послѣ Вѣнскаго конгресса не всѣ дѣйствія русскаго правительства могли питать подобныя ожиданія; его настроеніе было слишкомъ нерѣшительное и колеблющееся, но либеральныя заявленія однако не прекращались и дѣйствовали на умы, безъ того возбужденные“.

Но и либеральная партія далеко не составляла большинства тогдашняго общества. Большинство стояло за самодержавіе: оно отнюдь не понимало самодержавія въ смыслъ восточнаго деспотизма, но и не желало видѣть верховную власть ограниченною конституціонными учрежденіями. Какъ на выразителя такого взгляда, можно указать на князя Безбородко, записка котораго еще въ 1799 г. была въ рукахъ Александра. Записка начиналась словами: „*Россія должна быть государствомъ самодержавнымъ*. Малѣйшее ослабленіе самодержавія повлекло бы за собою отторженіе многихъ провинцій, ослабленіе государства и безчисленныя народныя бѣдствія. Но государь самодержавный, если онъ одаренъ качествами, сана его достойными, чувствовать долженъ, что власть дана ему безпредѣльная не для того, чтобы управлять дѣлами по прихотямъ, но чтобъ держать въ почтеніи и исполненіи законы предковъ своихъ и самимъ имъ установленные; словомъ, изрекши законъ свой, онъ, такъ сказать, самъ первый его чтитъ и ему повинуются, дабы другіе и помыслить не смѣли, что они того уклониться или избѣжать могутъ“. Графъ Строгановъ, одинъ изъ членовъ „тріумвирата“, находилъ, что записка кн. Безбородко „*est un chef d'oeuvre et est le canevas de tout ce qu'il y aurait à faire*“ ⁵³). Но съ особенной подробностью были раскритикованы стремленія либеральной партіи въ письмѣ, написанномъ къ-то въ 1824 г. Имя автора осталось не извѣстнымъ, но самое письмо напечатано въ воспоминаніяхъ Сушкова („Вѣстн.

Евр.“ 1867 г., июнь, 193—200). Основная мысль автора письма та, что для Россіи не конституція нужна, а просвѣщеніе.

„Дайте“—говоритъ авторъ—„эскимосамъ или киргизамъ какія хотите формы гражданскаго общества, возьмите грифель у Мудрости и имъ начертите для нихъ Уложеніе. Что жъ, думаете ли, что совершили великое дѣло политики и законодательства? Нѣтъ! гражданское общество должно состоять изъ гражданъ; законы должны имѣть исполнителей; а ни тѣми ни другими не могутъ быть ни дикія ни полудикія дѣти природы. И вотъ почему въ Россіи не зачѣмъ еще думать о раздѣленіи власти, о системѣ правленія въ формѣ вѣка и духѣ народовъ просвѣщенныхъ. Не говорите мнѣ о побѣдахъ, о военной славѣ! И монголы и турки побѣждали. Но военные успѣхи не имѣютъ, къ несчастію, ничего общаго съ успѣхами разума... Какая, напримѣръ, мнѣ выгода въ судѣ присяжныхъ, когда они будутъ судить меня безсовѣстиѣе неприсяжныхъ, не понимая святости клятвъ и продавая свою присягу моему обвинителю?... Кто будутъ у насъ представители, кто избираемые и избиратели? Гдѣ среднее состояніе? Екатерина дала намъ право избирать своихъ судей и полицейскихъ агентовъ: какъ пользуемся мы симъ правомъ чрезъ пятьдесятъ лѣтъ? Кого выбираемъ?—Гдѣ же возьмемъ депутатовъ въ палату? гдѣ наслѣдственные дарованія будущихъ перовъ? Къ чему готовятся и какъ воспитываются дѣти нашихъ бояръ и богатыхъ дворянъ?“

Указавъ далѣе на то, что привилегированный классъ общества зараженъ пороками; что въ немъ „стремленіе къ роскоши, праздность и предразсудки замѣняютъ гражданскія добродѣтели“; что въ немъ „даже умы, сіяющіе блесками превосходства надъ другими, не болѣе суть, какъ *полу-умы* по недостатку здравыхъ политическихъ истинъ, методы въ изученіи ихъ и опытности въ соображеніи“,—авторъ письма говоритъ: „Воспитаніе—вотъ все, что имъ нужно и полезно; и слѣдственно необходима не власть ограниченная, а власть дѣятельнаго учителя, который съ отеческою заботливостію и съ принужденіемъ, когда нужно, обратитъ бы ихъ на путь, съ котораго они совращаться могутъ. Однимъ словомъ, намъ потребенъ *другой Петръ I*, со всѣмъ его самодержавіемъ, а не Вильгельмъ III, не Людовикъ XVIII съ ихъ конституціями; даже не Франклинъ и не Вашингтонъ съ ихъ добродѣтелями“.

Далѣе авторъ замѣчаетъ, что раньше, чѣмъ говорить о конституціи, надо позаботиться объ ограниченіи правъ помѣщиковъ надъ дѣйствительными рабами—надъ крѣпостными. Намъ,—гово-

рить онъ,—надо желать не *основныхъ законовъ*. въ смыслѣ конституціи, а „болѣе любви къ просвѣщенію и справедливости, болѣе нравственныхъ успѣховъ, болѣе чистоты въ исполненіи законовъ“... „Время есть лучшій лѣкаръ болѣзней... Россія, юная, сильная, богатая, полная жизни, далека отъ паденія: младенческій возрастъ ея пройдетъ, силы и разумъ окрѣпнутъ... тогда сами цари даруютъ ей основные законы“ ⁵⁴).

Въ конечной цѣли своихъ желаній обѣ партіи — какъ либеральная, такъ и та, которая стояла за самодержавіе,—сходились: обѣ онѣ желали порядка, законности, справедливости. Но одна изъ нихъ полагала, что для достиженія желаемыхъ цѣлей нужно измѣненіе правленія, а другая утверждала, что цѣли эти могутъ быть достигнуты въ Россіи только при существованіи въ ней самодержавной власти, и при этомъ указывала на отрицательныя послѣдствія примѣненія къ Россіи европейскихъ политическихъ теорій. Нельзя также не обратить вниманія и на то, что самодержавіе отстаивала не незначительная часть русскаго общества, а громадное большинство его. „Датскій посланникъ въ Петербургъ—Бломе, сообщая своему двору извѣстіе о ссылкѣ Сперанскаго, пишетъ: „Произошло явленіе необычайное: общество противится усиліямъ государя, желающаго лишить себя значительной доли своей власти, тогда какъ вездѣ въ другихъ странахъ это стремленіе къ преобразованіямъ обнаруживается въ совершенно противоположномъ духѣ“ ⁵⁵).

Если отношеніе къ нѣкоторымъ вопросамъ раздѣляло русское общество Александровской эпохи на партіи, то зато отношеніе къ польскому вопросу соединяло его въ единомысленный народъ. Слухъ о намѣреніи государя присоединить къ Польшѣ нѣсколько русскихъ губерній одинаково сильно взволновалъ какъ консерваторовъ, такъ и либераловъ—и полнымъ и смѣлымъ выразителемъ этого взволнованнаго чувства былъ, какъ постѣ увидимъ, Карамзинъ. Впрочемъ, одновременно съ Карамзинымъ и подобно ему, выразителемъ охватившаго тогда русское общество чувства былъ и директоръ Царскосельскаго лицея Энгельгардтъ ⁵⁶). Источникомъ этого общественнаго волненія было *ревнивое чувство цѣлости Россіи*.

Но въ крестьянскомъ вопросѣ общество опять расходилось. Самъ императоръ былъ на сторонѣ освобожденія и надѣялся совершить его: будучи въ Парижѣ въ 1814 г. онъ говорилъ: „съ Божьею помощію, крѣпостное право будетъ уничтожено еще въ

мое царствованіе“⁵⁷⁾. Желаніе государя раздѣлялось многими. Однимъ изъ самыхъ горячихъ сторонниковъ освобожденія былъ Н. И. Тургеневъ. За освобожденіе раздавались и голоса въ періодической печати, напримѣръ, въ „Сынъ отечества“. Но зато огромное большинство общества относилось къ крестьянскому вопросу отрицательно. Большая часть членовъ этого большинства руководилась, конечно, эгоистическими соображеніями; но были и такія лица, которыя идеалистически смотрѣли на крѣпостное право. Такъ смотрѣлъ на него, напримѣръ, Шишковъ, полагавшій, что право это основано на обоюдной пользѣ крестьянъ и помѣщиковъ, и что отношенія между тѣми и другими уподобляются отношеніямъ семейнымъ.

Таковы важнѣйшія черты Александровской эпохи. Теперь перейдемъ къ вопросу о томъ, какъ встрѣтилъ ее Карамзинъ.

II. Какъ встрѣтилъ Карамзинъ новую эпоху.

1. Взглядъ Карамзина на правленіе Павла и двѣ его оды Александру.

Прежде чѣмъ говорить о томъ, какъ встрѣтилъ Карамзинъ новую эпоху, укажемъ взглядъ его на правленіе Павла, высказанный имъ въ „Запискѣ о древней и новой Россіи“.

„По жалкому заблужденію ума“ — пишетъ Карамзинъ — „и вслѣдствіе многихъ личныхъ претерѣнныхъ имъ неудовольствій, онъ (Павелъ) хотѣлъ быть Іоанномъ IV, но Россіяне имѣли уже Екатерину II, знали, что государь не менѣе подданныхъ долженъ выполнять свои святыя обязанности, коихъ нарушеніе уничтожаетъ древній завѣтъ власти съ повиновеніемъ и низвергаетъ народъ съ степени гражданственности въ хаосъ частнаго естественнаго права. Сынъ Екатерины могъ быть строгимъ и заслужить благодарность отечества; къ неизъяснимому изумленію Россіянъ, онъ началъ господствовать всеобщимъ ужасомъ, не слѣдуя никакимъ уставамъ, кромѣ своей прихоти; считалъ насъ не подданными, а рабами... Замѣтимъ черту, любопытную для наблюдателя: въ сіе царствованіе ужаса, по мнѣнію иностранцевъ, Россіяне боялись даже и мыслить... Какой-то духъ искренняго братства господствовалъ въ столицахъ; общее бѣдствіе сближало сердца“.

Изъ этого отрывка мы видимъ, во-первыхъ, что Карамзинъ отнюдь не принадлежалъ къ тѣмъ людямъ, которые, называя мѣ-

ропріятія Александра „коверканьемъ“ начинаній Павла, выражали этимъ какъ бы свое сочувствіе предшествовавшему четырехлѣтнему правленію, а во-вторыхъ, что Карамзинъ, подобно множеству своихъ современниковъ, долженъ былъ встрѣтить новое царствованіе съ искреннимъ восторгомъ. Восторгъ этотъ онъ выразилъ въ двухъ своихъ одахъ: одна—на восшествіе на престолъ, другая—на коронованіе юнаго императора. Вотъ мысли и чувства автора, выраженные въ этихъ одахъ.

Въ одѣ на восшествіе, высказавъ свой восторгъ по поводу даннаго въ манифестѣ обѣщанія возвратить Россіи золотой вѣкъ Екатерины, авторъ, какъ бы предугадывая характеръ Александровской эпохи, восклицаетъ:

Воспитанникъ Екатерины!
Тебя Господь Россіи далъ.
Ты урну нашея судьбины
Для дѣлъ великихъ воспріалъ;
Еще ихъ много въ ней хранится.
И духъ мой сладко веселится,
Предвидя ихъ блестящій рядъ!

Далѣе авторъ занятъ раскрытіемъ того, что онъ разумѣетъ подъ выраженіемъ: „блестящій рядъ великихъ дѣлъ“. Оказывается, что Карамзинъ указываетъ молодому императору на тѣ же потребности времени, на которыя указывалъ ему и Лагарпъ: на необходимость *мира, просвѣщенія и законовъ* ⁵⁸),—и выражаетъ надежду на удовлетвореніе этимъ потребностямъ.

Уже военной нашей славы
Исполненъ весь обширный свѣтъ;
Предъ нами падали державы;
Екатерининыхъ побѣдъ
Вѣнки и лавры не увянутъ...
Монархъ! довольно лавровъ, славы,
Довольно ужасовъ войны!
Бразды Россійскія державы
Тебѣ для счастья вручены.
Ты будешь геніемъ покоя;
Въ Тебѣ увидимъ мы героя
Дѣлъ мирныхъ, правоты святой.
Возьми — не мечъ — вѣсы Ѡемиды —
И бѣдный, не страшась обиды,
Найдетъ безъ злата вѣкъ златой.
Когда не всѣ законы ясны,
Ты намъ ихъ разумъ изъяснишь;
Когда же въ смыслъ не согласны,
Ты ихъ премудро согласишь.

Законъ быть долженъ, какъ зеркало,
Гдѣ бѣ солнце истины сіяло
Безъ всякихъ мрачныхъ облаковъ.
Великъ, какъ Богъ, законодатель;
Онъ мирныхъ обществъ основатель
И благодѣтель всѣхъ вѣковъ.

Монархъ! еще другія славы
Достоинъ Твой пресвѣтлый тронъ:
Да царствуютъ благіе нравы!..

Ты будешь солнцемъ просвѣщенья—
Наукой счастливъ человѣкъ —
И блескомъ Твоего правленья
Осыпанъ будетъ новый вѣкъ.
Се музы, къ трону приступая
И черный креплъ съ себя снимая,
Твоей улыбки милой ждуть!
Онѣ сердца людей смягчаютъ,
Онѣ жизнь нашу услаждаютъ,
И добраго царя поютъ!

Въ этомъ же стихотвореніи Карамзинъ предостерегаетъ юнаго государя отъ рода людей, которымъ имя — хитрые льстецы. Они

Снаружи ангеламъ подобны,
Но въ сердцѣ ядовиты, злобны
И въ козняхъ адскихъ—мудрецы.
Они отечества не знаютъ;
Они не любятъ и царей,
Но быть любимцами желаютъ;
Корысть—ихъ богъ: лишь служатъ ей.

Авторъ однако предполагаетъ, что царь льстецовъ къ себѣ и не допуститъ: онъ будетъ окруженъ „друзьями, Россіи лучшими сынами“. А такіе найдутся:

Довольно патріотовъ вѣрныхъ,
Готовыхъ жизнь ему (отечеству) отдать,
Друзей добра величественныхъ,
Могущихъ истину сказать!
У насъ *Пожарскіе* сіяли,
И *Долгорукіе* дерзали
Петру отъ сердца говорить;
Великій соглашался съ ними —
И звалъ ихъ братьями своими.
Монархъ! ты будешь насъ любить!

Новый государь уже въ первые 6 мѣсяцевъ своего царствованія успѣлъ издать много такихъ указовъ, которые свидѣтельствовали о его гуманности и о его заботахъ о просвѣщеніи и

водвореніи справедливости ⁵⁹). Такимъ образомъ ко дню коронаціи (т.-е. къ 12 сент. 1801 г.) характеръ новаго царствованія уже успѣлъ обнаружиться, и Карамзинъ еще 20 августа писалъ къ брату своему Василю: „Государь *расположенъ ко всякому добру*, и мы при немъ *отдохнули*. Главное то, что можемъ жить *спокойно*“ ⁶⁰). Объ этой возможности „жить спокойно“ Карамзинъ говоритъ и въ своей одѣ на коронованіе:

Покой — стихія челоѣка:
И Ты успѣлъ намъ дать его!
Ахъ! многіе цари, полѣвка
Владѣвъ, не сдѣлали того.

Этому покою Карамзинъ противопоставляетъ тѣ безпокойныя чувства, съ которыми переживалось предшествовавшее правленіе, когда, по извѣстнымъ уже намъ словамъ того же Карамзина, царь видѣлъ въ своемъ народѣ не подданныхъ, а рабовъ, и правилъ ими, не слѣдуя никакимъ уставамъ, кромѣ своей прихоти. Сопоставленіе обонхъ царствованій изложено въ одѣ слѣдующими стихами:

Короны блескомъ ослѣпленный,
Другой въ подвластныхъ зреть—рабовъ;
Но Ты, душою просвѣщенный,
Не терпишь стука ихъ оковъ;
Тебѣ одна любовь прелестна:
Но можно ли рабу любить?
Ему ли благодарнымъ быть?
Любовь со страхомъ несовмѣстна;
Душа свободная одна
Для чувствъ ея сотворена.

Свободу однако Карамзинъ понимаетъ не въ республиканскомъ и не въ конституціонномъ смыслѣ, а лишь въ смыслѣ всеобщаго подчиненія законамъ и отсутствія деспотизма со стороны правящей власти.

Сколь необузданность ужасна,
Столь ты, свобода, намъ мила,
И съ пользою царей согласна;
Ты вѣчно славой ихъ была.
Свобода тамъ, гдѣ есть уставы,
Гдѣ добрый не боясь живетъ;
Тамъ рабство, гдѣ законовъ нѣтъ,
Гдѣ гибнетъ правый и неправый!

На пониманіе свободы въ указанномъ смыслѣ намекаютъ и два послѣдніе стиха этого куплета:

Свобода мудрая' свята,
Но равенство—одна мечта.

Послѣднія слова клали рѣзкую грань между Карамзинымъ и послѣдователями „Contrat social“.

Но для наличности этой „мудрой свободы“ Карамзинъ, подобно кн. Безбородко, требуетъ, чтобы цари сами повиновались законамъ, требуетъ, чтобы они исполняли, какъ онъ выразился въ Запискѣ, „завѣтъ власти съ повиновеніемъ“.

Сколь трудно править самовластно,
И небу лишь отчетъ давать!
Но сколь велико и прекрасно
Дѣлами Богу подражать!
Его велѣньямъ нѣтъ препоны:
Но Онъ, творя, благотворитъ;
Онъ можетъ все, но свято чтитъ
Его жъ премудрости законы—
И Фебъ въ сіяніи своемъ
Течетъ всегда однимъ путемъ.

Затѣмъ авторъ оды, основываясь на добрыхъ начинаніяхъ новаго царя, пророчитъ Россіи блестящее будущее и, обращаясь къ Александру, говоритъ:

Трудись!... давай уставы намъ—
И будешь *первый* по дѣламъ.

На основаніи этихъ двухъ одъ мы видимъ, что Карамзинъ, отнюдь не будучи обскурантомъ, не принадлежалъ также и къ той либеральной партіи, которая, вмѣстѣ съ самимъ императоромъ, задавалась вопросомъ объ ограниченіи верховной власти не только добровольнымъ ея повиновеніемъ законамъ, но и измѣненіемъ самой формы правленія. Мысли автора оды на коронованіе болѣе всего сходились съ указанными уже нами мыслями кн. Безбородко ⁶¹⁾.

Сравнивая мысли и чувства, высказанныя въ двухъ разсмотрѣнныхъ одахъ, съ тѣми, которыя высказывались Карамзинымъ въ до-Александровскую эпоху, мы узнаемъ въ немъ того же энтузіаста просвѣщенія, смотрящаго на него, какъ на источникъ счастья; того же проповѣдника преусиѣванія *мирнаго*; того же защитника свободы, которую онъ понимаетъ въ томъ же смыслѣ, какъ понималъ ее и авторъ стихотворенія: „Къ Милости“; видимъ у него то же требованіе, чтобы правленіе было основано на справедливости, какъ того требовалъ и авторъ извѣстнаго письма изъ Лондона ⁶²⁾, и наконецъ видимъ то же недовѣрчивое

отношеніе къ республикѣ. Но вмѣстѣ со всѣмъ этимъ, что не представляетъ еще Карамзина въ новомъ свѣтѣ, мы находимъ въ одѣ на коронованіе уже высокій взглядъ на Россію, какъ на обширное и могучее государство. Россію Карамзинъ называетъ тутъ „вѣнцомъ земныхъ царствъ, почтеннымъ и величавымъ колоссомъ“. На это могущество Россіи онъ впослѣдствіи будетъ ссылаться, какъ на одно изъ доказательствъ необходимости для нея самодержавія.

2. Историческое похвальное слово императрицѣ Екатеринѣ II.

На разсмотрѣнныя двѣ оды Карамзина надо смотрѣть не только, какъ на выраженіе его восторга, но и какъ на голосъ публициста, принадлежавшаго къ одной изъ существовавшихъ у насъ тогда партій. Но рамки такой литературной формы, какъ ода, не позволяли Карамзину выразить свои мысли подробно—и онъ задумалъ для этой цѣли „Историческое похвальное слово императрицѣ Екатеринѣ II“. Такимъ образомъ „Слово“ это было обращеніемъ автора къ молодому государю съ цѣлію яснѣе выразить свои мысли о желаемомъ имъ правленіи. Авторъ умышленно останавливается на *святыхъ* лишь сторонахъ царствованія императрицы Екатерины, съ тѣмъ, чтобы, какъ сказалъ Погодинъ ⁶³⁾, *ея преемникъ выразумѣлъ основательно ея достоинства, и вѣнчилъ себя въ обязанность идти по слѣдамъ ея*. Смѣлость этого обращенія основывалась, конечно, на духѣ перваго манифеста новаго государя, гласившаго, что онъ будетъ править по законамъ и по сердцу своей августѣйшей бабки. „Слово“ написано было въ 1801 г. и представлено императору министромъ удѣловъ Д. П. Трощинскимъ.

Почему Карамзинъ, желая преподать совѣтъ молодому монарху, остановился на правленіи императрицы Екатерины—это понятно. Онъ, сочувствуя гуманнымъ идеямъ XVIII вѣка, не сходился съ представителями этихъ идей во взглядѣ на форму правленія. Императрица Екатерина удовлетворяла его именно тѣмъ, что представлялась ему монархиней, тоже „расположенной ко всякому добру“ и вмѣстѣ съ тѣмъ высоко державшей знамя самодержавной власти. Къ тому же Карамзинъ усматривалъ въ этой государынѣ великую правительственную мудрость, заключавшуюся въ умѣнны все дѣлать въ пору и въ мѣру.

Но правъ ли былъ Карамзинъ, избирая своимъ идеаломъ правленіе этой императрицы?—Отвѣтъ на этотъ вопросъ могутъ

дать лишь наши компетентные историки. Академикъ Бестужевъ-Рюминъ, касаясь въ одной изъ своихъ статей занимающаго теперь насъ „Похвальнаго слова“, говорить: „Идеальное представленіе образа Екатерины въ этомъ сочиненіи уже свидѣтельствуешь о высокомъ историческомъ талантѣ Карамзина, и хотя позднѣе, въ „Запискѣ о древней и новой Россіи“, онъ прибавилъ нѣсколько темныхъ штриховъ къ облитой яркимъ свѣтомъ картинѣ ея царствованія, но въ цѣломъ онъ остался вѣренъ этому пониманію—и былъ правъ“ ⁶⁴). А Кояловичъ („Исторія русскаго самосознанія“, 163) въ данномъ случаѣ и вовсе не считаетъ важнымъ вопросъ о томъ, вѣрно или невѣрно изобразилъ Карамзинъ въ своемъ „Словѣ“ царствованіе Екатерины: онъ считаетъ важнымъ то, что авторъ „Слова“ указалъ „на общечеловѣческія права русскаго человѣка“ и стоялъ за просвѣщеніе.

Перейдемъ теперь къ самому „Слову“. Указавъ во вступленіи, что „Екатерина безсмертна своими побѣдами, мудрыми законами и благотѣльными учрежденіями“, авторъ, соотвѣтственно этимъ тремъ видамъ „дѣлъ“ Екатерины, раздѣляетъ и „Слово“ свое на три части.

1) Первая часть въ картинномъ изложеніи изображаетъ военную славу Екатерины—побѣды Румянцева, Орлова, Потемкина, Суворова—и заканчивается такимъ замѣчаніемъ: „Не только благо нашего отечества, но и благо цѣлаго міра утверждено побѣдами Екатерины. Давно ли еще знамя лжепророка грозило стѣнамъ вѣнскимъ? Новый Магометъ II могъ бытъ новымъ истребителемъ государствъ европейскіхъ: сколь же бѣдственны успѣхи оттоманскаго оружія для человѣчества и просвѣщенія? Теперь варвары уже не опасны для Европы... И сія безопасность есть дѣло Великой Екатерины, которая потрясла и отчасти разрушила сей колоссъ ужасный“.

Въ виду того, что мы въ свое время обратили вниманіе читателя на взглядъ на войну автора „Писемъ р. путешественника“ ⁶⁵), замѣтимъ теперь взглядъ на нее автора „Слова“. Приступая къ изображенію военной славы Екатерины, онъ говорить: „Сколь часто поэзія, краснорѣчіе и мнимая философія гремятъ противъ славолубія завоевателей! сколь часто укоряють ихъ безчисленными жертвами сей грозной страсти! Но истинный философъ различаетъ, судить—и не всегда осуждаетъ. Прелестная мечта всемірнаго согласія и братства, столь милая душамъ нѣжнымъ! для чего ты была всегда мечтою? Правило народовъ и го-

сударей не есть правило частныхъ людей; благо сихъ послѣднихъ требуетъ, чтобы первые болѣе всего думали о виѣшней безопасности: а безопасность есть—могущество! Слабый народъ трепещетъ; сильный, подъ эгидою величія, свободно наслаждается политическимъ бытіемъ. Сія истина рождаетъ правила для монарховъ. Исчезни память кровожадныхъ Аттиль, которые хотѣли побѣждать единственно для славы побѣдъ! но цвѣти имя героевъ, которые разили враговъ отечества, и побѣдами запечатлѣли его благоденствіе!“

2) Вторая часть „Слова“ посвящена обзорѣ законодательной дѣятельности Екатерины. Еще во вступленіи Карамзинъ изобразилъ императрицу „облокотившеюся священной рукою на безсмертныя страницы «Духа законовъ» и раскрывающею въ умѣ своемъ идеи о народномъ счастіи“, и такимъ образомъ указалъ на источникъ ея гуманныхъ взглядовъ. Теперь вторую часть своего „Слова“ онъ начинаетъ общей характеристикой этихъ взглядовъ и изъ нихъ выводитъ основной духъ законовъ Екатерины. Онъ говоритъ: „Означимъ главное и столь новое для Россіи благодѣяніе Екатерины, которое изъясняетъ всѣ другія и всѣмъ другимъ изъясняется; означимъ, такъ сказать, *священный корень* нашего блаженства во дни ея—сію печать, сей духъ всѣхъ ея законовъ. Она уважила въ подданномъ санъ человека, нравственнаго существа, созданнаго для счастья въ гражданской жизни. Петръ Великій хотѣлъ возвысить насъ на степень просвѣщенныхъ людей; Екатерина хотѣла обходиться съ нами, какъ съ людьми просвѣщенными. Исторія представляетъ намъ самовластныхъ владыкъ въ видѣ грознаго божества, которое требуетъ единого слѣплаго повиновенія, не даетъ отчета въ путяхъ своихъ—гремятъ, и смертные упадаютъ во прахъ ничтожества, не дерзая возрѣть на всемогущество. Екатерина преломила обвитый молніями жезлъ страха, взяла масличную вѣтвь любви, и не только объявила торжественно, что владыки земные должны властвовать для блага народнаго, но всѣмъ своимъ долголѣтнимъ царствованіемъ утвердила сію вѣчную истину, которая отнынѣ будетъ правиломъ Россійскаго трона: ибо Екатерина научила насъ разсуждать и любить въ порфирѣ добродѣтель. Счастливые россияне нашего вѣка! вы уже не помните строгихъ, опасныхъ временъ, когда страшно было наименовать вѣщеносца; но имя Екатерины, съ самаго ея вступленія на престолъ, подобно имени благодѣтельнаго существа, изъ устъ въ уста съ любовію и радостію прелетало. Съ нею воцарились миръ въ семействахъ и веселіе въ обществахъ;

всѣ души успокоились, всѣ лица оживились, и добрые подданные сказали: «Монархиня! читай въ сердцахъ нашихъ; мы не боимся, ибо мы любимъ тебя»!... Въ царствованіе Екатерины одни преступники или явные враги ея, слѣдственно враги общаго благоденствія, страшились пустынь сибирскихъ; для однихъ изверговъ отверзался сей хладный гробъ живыхъ. Монархиня презирала и самыя дерзкія сужденія, когда оныя происходили единственно отъ легкомыслія, и не могли имѣть вредныхъ слѣдствій для государства: ибо она знала, что личная безопасность есть первое для чело-вѣка благо, и что безъ нея жизнь наша, среди всѣхъ иныхъ способовъ счастья и наслажденія, есть вѣчное мучительное безпокойство. Сей кроткій духъ правленія, доказательство ея любви и самаго почтенія къ челоувѣчеству, долженствовалъ быть и главнымъ характеромъ уставовъ ея“.

Затѣмъ авторъ „Слова“ исчисляетъ и оцѣниваетъ различныя законодательныя мѣры императрицы и особенно подробно останавливается на ея „Наказѣ“. Прежде всего онъ указываетъ взглядъ „Наказа“ на форму правленія. „Монархиня опредѣляетъ образъ правленія въ Россіи—самодержавный; не довольствуется единымъ всемогущимъ изреченіемъ, но доказываетъ необходимость сего правленія для неизмѣримой имперіи. Только единая, нераздѣльная, державная воля можетъ блюсти порядокъ и согласіе между частями столь многосложными и различными, подобно Творческой Волѣ, управляющей вселенной; только она можетъ имѣть сіе быстрое, свободное исполненіе, необходимое для пресѣченія всѣхъ возможныхъ безпорядковъ; всякая медленность произвела бы несчастныя слѣдствія (9, 10, 11 *). Здѣсь примѣры служатъ убѣдительнѣйшимъ доказательствомъ“, говоритъ Карамзинъ ужъ отъ себя. „Сограждане! Римъ, котораго именемъ цѣлый міръ назывался, въ единомъ самодержавіи Августа нашелъ успокоеніе послѣ всѣхъ ужасныхъ мятежей и бѣдствій своихъ. Что видѣли мы въ наше время? Народъ многочисленный на развалинахъ трона хотѣлъ повелѣвать самъ собою: прекрасное зданіе общественнаго благоустройства разрушилось; неописанныя несчастія были жребіемъ Франціи, и сей гордый народъ, осыпавъ пепломъ главу свою, проклиная десятилѣтнее заблужденіе, для спасенія политическаго бытія своего вручаетъ самовластіе счастливому корсиканскому воину. Не затѣмъ оставилъ челоувѣкъ дикіе лѣса и пустыни; не затѣмъ построилъ великолѣпныя грады и

*) Сін числа означаютъ отдѣленія „Наказа“. (Примѣч. Карамз.).

цвѣтушія села, чтобы жить въ нихъ опять, какъ въ дикихъ лѣсахъ, не зная покоя и вѣчно ратоборствовать не только со внѣшними непріятелями, но и съ согражданами: что же другое представляетъ намъ исторія республикъ? Видимъ ли на семъ бурномъ морѣ хотя единый мирный и счастливый островъ? Мое сердце не менѣе другихъ воспламеняется добродѣтелию великихъ республиканцевъ,—но сколь кратковременны блестящія эпохи ея! Сколь часто именемъ свободы пользовалось тиранство, и великодушныхъ друзей ея заключало въ узы!.. Или людямъ надлежитъ быть ангелами, или всякое многосложное правленіе, основанное на дѣйствіи различныхъ волей, будетъ вѣчнымъ раздоромъ, а народъ несчастнымъ орудіемъ нѣкоторыхъ властолюбцевъ, жертвующихъ отечествомъ личной пользѣ своей... Сограждане! признаемъ во глубинѣ сердецъ благодѣтельность монархическаго правленія, и скажемъ съ Екатериною: «Лучше повиноваться законамъ подъ единымъ властелиномъ, нежели угождать многимъ» (12). «Предметъ самодержавія», вѣщаетъ она, «есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы дѣйствія ихъ направить къ величайшему благу» (13)“.

Еще прежде чѣмъ приступить къ разсмотрѣнію „Наказа“. Карамзинъ указать на заботы императрицы о правдѣ въ судахъ и о защитѣ собственности; теперь онъ, слѣдуя порядку изложенія въ самомъ „Наказѣ“, говоритъ о гуманномъ взглядѣ Екатерины на наказанія и о допущеніи ею значительной свободы печати, и такъ передаетъ 484 параграфъ „Наказа“: „излишняя строгость (цензуры) будетъ угнетеніемъ разума, производитъ невѣжество, отнимаетъ охоту писать и гаситъ дарованія ума“. Далѣе авторъ „Слова“ поддерживаетъ мысль „Наказа“ о необходимости простой и ясной редакціи законовъ, и затѣмъ останавливается на требованіи его предупреждать преступленія. „Екатерина не довольствуется тѣмъ, чтобы всѣ возможные преступленія въ обществѣ были судимы и наказываемы по ихъ истинной важности: она желаетъ отвратить зло. Солоны и Ликурги временъ грядущихъ! внимайте словамъ ея: «Хотите ли предупредить злодѣянія? сдѣлайте, чтобы законы благодѣтели равно всѣмъ гражданамъ; чтобы люди страшились только законовъ и ничего болѣе не страшились; чтобы законы уничтожали только бѣдственную свободу вредить ближнему; награждайте добродѣтель, просвѣщайте людей, усовершенствуйте воспитаніе!» (243—249)“. II Карамзинъ переходитъ къ изложенію взгляда Екатерины на воспитаніе. „Просвѣщеніе требуетъ хорошаго воспитанія (348). Оно должно быть дво-

якое: нравственное воспитаніе человѣка, общее во всѣхъ странахъ, и политическое воспитаніе гражданина, различное по образу правленій. Религія, любовь къ добродѣтели, къ трудамъ, къ порядку, чувствительность къ несчастію ближнихъ, разсудительность или повиновеніе сердца уму—принадлежитъ къ первому; любовь къ отечеству, къ его учрежденіямъ и всѣ свойства, нужныя для ихъ цѣлости, входятъ во второе (351—352). Каждое особенное семейство должно быть управляемо примѣромъ большого семейства (349), которое есть государство. «Хотя въ пространной имперіи общественное или народное воспитаніе невозможно, однакожъ законодатель долженъ предписать нѣкоторыя правила, которыя могли бы служить по крайней мѣрѣ совѣтомъ для родителей» (350)“.

Авторъ „Слова“ обращаетъ вниманіе и на статью „Наказа“ о налогахъ. „Монархиня желаетъ облегчить сію необходимость для народа и предписываетъ законодателю искать новыхъ, удобнѣйшихъ способовъ для раздѣленія налоговъ, сравнивая ихъ съ легкими парусами, долженствующими ускорять плаваніе корабля, а не бременить его (601). Самое же вѣрнѣйшее средство умножить государственное богатство есть умножить народъ и привести въ цвѣтущее состояніе земледѣліе, ремесла, торговлю, художества, науки (603—618)“.

Далѣе Карамзинъ обращаетъ особенное вниманіе читателя его „Слова“ на слѣдующія мысли „Наказа“, называя ихъ „гласомъ судьбы, открывающей намъ причину государственныхъ бѣдствій“.

«Имперія близка къ своему паденію, какъ скоро повреждаются ея начальныя основанія; какъ скоро измѣняется духъ правленія, и вмѣсто равенства законовъ, которые составляютъ душу его, люди захотятъ личнаго равенства, несогласнаго съ духомъ законнаго повиновенія; какъ скоро перестанутъ чтить государя, начальниковъ, старцевъ, родителей. Тогда государственныя правила называются *жестокостію*, уставы—*принужденіемъ*, уваженіе—*страхомъ*... (502—566)... Самодержавство разрушается, когда государи думаютъ, что имъ надобно изъяслять власть свою не слѣдованіемъ порядку вещей, а премъною онаго, и когда они собственныя мечты уважаютъ болѣе законовъ (510—511). Самое вышнее искусство монарха состоитъ въ томъ, чтобы знать, въ какихъ случаяхъ должно ему употребить власть свою: ибо благополучіе самодержавія есть отчасти кроткое и снисходительное правленіе. Надобно, чтобы государь только ободрялъ, и чтобы одни законы угрожали (513—515). Несчастливо то государство,

въ которомъ никто не дерзаетъ представить своего опасенія въ разсужденіи будущаго, не дерзаетъ *свободно объявить своего мнѣнія* (517). Все сіе не можетъ понравиться ласкателямъ, которые безпрестанно твердятъ земнымъ владыкамъ, что народы для нихъ существуютъ. Но *Мы думаемъ и за славу себѣ вмѣняемъ сказать, что Мы живемъ для нашего народа*. Сохрани Боже, чтобы по совершеніи сего законодательства, какой-нибудь народъ на землѣ былъ счастливѣе Россійскаго! Тогда не исполнилось бы намѣреніе нашихъ законовъ—несчастіе, до котораго Я дожить не желаю» (520) “.

Приведя эти слова императрицы, авторъ „Слова“ говоритъ: „Я лобызаю державную руку, которая, подѣ божественнымъ вдохновеніемъ души, начертала сіи священные строки! Какой монархъ на тронѣ дерзнулъ—такъ, *дерзнулъ* объявить своему народу, что слава и власть вѣщеносца должны быть подчинены благу народному; что не подданные существуютъ для монарховъ, но монархи для подданныхъ?“ Затѣмъ Карамзинъ напоминаетъ, что „Наказъ“ долженъ былъ служить Аріадниною нитью для депутатовъ, но „Великая не нашла, можетъ быть, въ умахъ той зрѣлости, тѣхъ различныхъ свѣдѣній, которыя нужны для законодательства“ и „рѣшилась сама быть законодательницею Россіи“. Далѣе слѣдуетъ перечисленіе и оцѣнка различныхъ мѣръ императрицы: Учрежденія для губерній, установленія судебнаго производства, Дворянской опеки, Сиротскаго суда, Устава благочинія, Городового положенія и др.

3) Третья часть „Слова“ исчисляетъ и оцѣниваетъ различные „благодѣтельные учрежденія“. Екатерины: воспитательные и сиротскіе дома, институтъ при Воскресенскомъ монастырѣ, Академію художествъ, Медицинскую коллегію, оспопрививаніе, городскія училища и др. Авторъ „Слова“ не забылъ, конечно, указать и отношеніе императрицы къ словесности и писателямъ. „Словесность“—говоритъ онъ—„была предметомъ особеннаго благоволенія и покровительства Екатерины, ибо она знала ея сильное вліяніе на образованіе народа и счастье жизни“. Екатерина, по выраженію Карамзина, была музою для русскихъ писателей ея времени, вдохновляла ихъ и указывала имъ новые предметы, вредные пороки общества, которые должны осмѣивать Таліи.—Тутъ нельзя не привести слѣдующей замѣтки Погодина, относящейся болѣе всего къ только что разсмотрѣнному мѣсту „Слова“: „Къ чести Карамзина надо припомнить, что онъ здѣсь (въ „Словѣ“) совершенно забылъ несправедливость покойной госу-

дарыни въ отношеніи къ нему самому, или объяснилъ ее безпристрастно естественностію ея подозрѣній, тѣмъ тревожными обстоятельствами и опасеніями, среди которыхъ она провела послѣдніе годы своей жизни. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ умѣлъ возвыситься надъ личностями, частностями и мелочами“ ⁶⁶).

Исчисливъ „благодѣтельные учрежденія“ императрицы, авторъ останавливается на чертахъ ея характера—и вотъ что онъ хвалитъ въ ней: „Геройская ревность къ добру соединялась въ Екатеринѣ съ рѣдкимъ проицаніемъ, которое представляло ей всякое дѣло, всякое начинаніе въ самыхъ дальнѣйшихъ слѣдствіяхъ... Она знала Россію, какъ только одни чрезвычайныя умы могутъ знать государство и народъ; знала даже мѣру своимъ благодѣяніямъ: ибо самое добро въ философическомъ смыслѣ можетъ быть вредно въ политикѣ, какъ скоро оно не соразмѣрно съ гражданскимъ состояніемъ народа. Истина печальная, но опытомъ доказанная! Такъ, самое пламенное желаніе осчастливить народъ можетъ родить бѣдствія, если оно не слѣдуетъ правиламъ осторожнаго благоразумія... Душа Екатерины была тверда, мужественна, истинно геройская. Небо, какъ бы единственно для славы ея, нѣсколько разъ помрачало тучами горизонтъ Россіи въ царствованіе великой монархини, чтобы она, презирая бури и громы, могла указать народамъ крѣпость души своей“. Тутъ авторъ напоминаетъ о томъ времени, когда Россія „сражаясь съ сильнымъ внѣшнимъ непріятелемъ, видѣла язву, смерть, волненіе въ стѣнахъ московскихъ, и скоро послѣ—безумный, яростный бунтъ“, и говоритъ, что все-таки рѣшительная твердость Екатерины „принудила всѣ кабинеты въ нѣкоторомъ смыслѣ зависѣть отъ нашей монархини“.—„Но великая въ герояхъ“—говоритъ онъ затѣмъ—„сохранила на тронѣ нѣжную чувствительность своего пола, которая вступалась за несчастныхъ, за самыхъ виновныхъ; искала всегда возможности простить, миловать; смягчала всѣ приговоры суда, и служила совершеннѣйшимъ образцомъ той высокой добродѣтели, которую могутъ имѣть одни Небеса и государи: милосердія!... Но Екатерина чувствительная вѣдала ту черту, которая отдѣляетъ небесную добродѣтель отъ слабости: не преступала ея, и царскимъ долгомъ побѣждала нѣжность своего сердца“.

Заканчивается „Слово“ такимъ обращеніемъ—сперва къ монархамъ, а затѣмъ къ согражданамъ: „О монархи міра! Екатерина и жизнию и смертію своею служила вамъ примѣромъ: такъ царствуйте, чтобы смертные обожали васъ! и, видя, съ какимъ умиленіемъ, съ какою трогательною любовію донынѣ говорятъ

россіяне о Великой, будьте увѣрены, что народы чувствительны и благодарны противъ царей добродѣтельныхъ, и что память ваша, если вы заслужили любовь подданныхъ, пребудетъ вѣкъ священной. И самаго недостойнаго государя хвалятъ, когда онъ держитъ въ рукѣ скипетръ: ибо его боятся, или гнусные льстецы хотятъ награды; но когда сей скипетръ изъ руки выпадетъ, когда монархъ платитъ дань общему року смертныхъ: тогда внимайте гласу истины, которая, повелѣвая умолкнуть страстямъ, надеждѣ и страху, опершись рукою на гробъ царя, произноситъ свое рѣшеніе: и вѣки повторяютъ его! Не въ чертогахъ царскихъ обнаруживается чувство народное: о всякомъ монархѣ кто-нибудь изъ царедворцевъ искренно проливаетъ слезы; нѣтъ, оно явно только на стогнахъ града, въ тихомъ жилищѣ семействъ, отъ двора удаленныхъ, и въ хижинѣ мирнаго трудолюбія: если въ нихъ сердечная признательность не оплакиваетъ смерти государя, то онъ не царствовалъ для народнаго счастья! „Сограждане! Какимъ торжествомъ для добродѣтелей монархини и для вашей святой благодарности были первыя слова юнаго самодержца, который, восходя на престолъ Россіи, и желая объявить волю свою царствовать мудро и добродѣтельно, сказалъ только: *Я буду царствовать по сердцу и законамъ Екатерины Великой!*... Великой! повторила вся Россія.—Симъ обѣтомъ онъ почтилъ и память ея, и вашу признательную къ ней любовь: вы разумѣли его—и утѣшились! Но благодѣленія новыя не охлаждаютъ въ сердцѣ нашемъ признательности къ дѣламъ Екатерины; мы воспоминаемъ ихъ съ любовію, читаемъ мудрые законы ея съ удивленіемъ, и въ восторгѣ чувствительности взираемъ на небо, гдѣ око смертнаго ищетъ всегда безсмертныхъ... Намъ кажется, что священный духъ монархини, въ образѣ генія хранителя Россіи, и тамъ не престаетъ заниматься нашимъ отечествомъ; намъ кажется, что мы внимаемъ небесному гласу Екатерины: «О россіяне! вы, которые были столь любезны моему сердцу; которыхъ счастье было моимъ счастьемъ; на которыхъ взирала Я съ радостію матери, видящей благоденствіе дѣтей своихъ! если Я обогатила Россію новыми предѣлами и народами, украсила чело ваше пальмою побѣды; гремѣла въ трехъ частяхъ міра и славилась вами: то слава моя была мнѣ залогомъ вашей силы и безопасности; желая, чтобы міръ васъ страшился, я хотѣла единственно того, чтобы вы могли никого не страшиться. Если мои законы ограничиваютъ природную вольность человека, то будьте увѣрены, что я пожертвовала частию свободы только единой цѣлости гражданского

порядка, и предпочла независимости вашей одно ваше благополучіе: не даровала вамъ тѣхъ однихъ правъ, которыя могли быть для васъ вредными. Я просвѣщала васъ, россияне! слѣдственно не хотѣла угнетать челоѣчества. И если мое царствованіе не воз вело еще Россіи на высочайшую степень народнаго блаженства: то помните, что власть государя не есть всемогущество небесное, котораго воля есть уже совершеніе; помните, что имперіи цвѣтутъ вѣками, и что Провидѣніе требуетъ отъ царей только возможнаго блага. Но я указала вамъ великую цѣль: теките къ ней, осѣненные моими лаврами, путеводимые моими законами! И когда всѣ народы земли будутъ завидовать вашей долѣ; когда имя россиянина будетъ именемъ счастливѣйшаго гражданина въ мірѣ: тогда исполнятся тайныя обѣты моего сердца: тогда вы узнаете, что я хотѣла, но чего не могла сдѣлать; и признательность ваша почтитъ равно и дѣла мои и мою волю: единая награда, къ которой добрые монархи могутъ быть чувствительны и по смерти своей!»

Не трудно замѣтить, что „Слово“ Карамзина имѣло прямою цѣлью—съ одной стороны—поддержку въ императорѣ Александрѣ его гуманныя и либеральныя стремленія, насколько они не касались вопроса о формѣ правленія, а съ другой—удержать его отъ желанія измѣнить завѣтъ Екатерины относительно самодержавія.

Мы уже говорили, что русское общество Александровской эпохи раздѣлялъ на партіи (хотя и далеко не равныя по величинѣ) между прочимъ именно вопросъ о формѣ правленія. Карамзинъ, какъ авторъ „Похвальнаго слова императрицѣ Екатерины“, расходился съ тогдашними либералами какъ-разъ въ этомъ вопросѣ. Въ остальномъ онъ желалъ того же, чего и они желали. Последнее признается и тѣми его критиками, которые вообще не относятся къ нему дружелюбно. Такъ напр. Пышинъ, имѣя въ виду то обстоятельство, что Карамзинъ стоялъ за просвѣщеніе, за правленіе, основанное на законахъ, за свободу слова и печати,—говоритъ: „по тѣмъ общественно-политическимъ мнѣніямъ, которыя онъ хотѣлъ тутъ (въ „Словѣ“) высказать, мы находимъ у него тотъ же общій тонъ, какимъ говорили наиболѣе либеральные люди того времени, и какимъ говорили совѣтники Александра.“⁶⁷)—Что же касается до формы правленія, то Карамзинъ въ своемъ „Словѣ“ уже прямо и ясно высказывается за самодержавіе, но, подобно кн. Безбородко, понимаетъ его отнюдь не въ смыслѣ восточнаго деспотизма. Кояловичъ по этому поводу замѣчаетъ („Ист. рус. самосозн.“, 179): „Карамзинъ понимаетъ

самодержавіе не въ смыслѣ азіатскаго или папскаго абсолютизма, а въ той своеобразной формѣ, въ какой оно развивалось и развивается только въ Россіи. Онъ признавалъ его совмѣстимымъ и съ строгою законностію и съ широкою гражданскою свободою, и въ особенности съ свободою мнѣнія, слова". Карамзинъ, очевидно, и написалъ свое „Слово“ для того, чтобы указать на возможность такой совмѣстимости.

Литературная сторона „Слова“ оцѣнена Погодинымъ такъ: „Лира настроена была Карамзинымъ на высокій ладъ, и языкъ его въ этомъ сочиненіи возвышается вмѣстѣ съ предметомъ. Это уже не языкъ „Писемъ р. путешественника“ и прочихъ произведеній его молодости: языкъ Похвального слова, вмѣстѣ съ Марѳою Посадницею, составляетъ переходъ къ Исторіи, возбуждаетъ новыя надежды на развитіе автора и служитъ доказательствомъ его разнообразныхъ способностей. Вы слышите истиннаго оратора, который переходитъ отъ силы въ силу, и начинаетъ говорить со властію.—Екатерина безсмертна своими побѣдами, мудрыми законами и благотѣтельными учрежденіями. По этому простому и ясному чертежу Карамзинъ на нѣсколькихъ страницахъ представляетъ полное обозрѣніе ея царствованія въ картинѣ истинно великолѣпной. Надо удивляться его умѣнию выбирать главные, существенныя черты изъ множества подробностей, его искусству представлять ихъ въ образахъ привлекательныхъ, соблюдать соразмѣрность въ частяхъ; первое отдѣленіе — о войнахъ — не представляло особыхъ трудностей для таланта, давая краски, такъ сказать, готовые; но второе и третье, по сухости предмета, по множеству составныхъ частей, ихъ относительной неизвѣстности, требовали усилій необыкновенныхъ: поддержать занимательность, упростить, сдѣлать доступнымъ для всѣхъ содержаніе — и авторъ вышелъ изъ своего труднаго положенія со славою“ ⁶⁸).

III. Продолженіе біографическихъ свѣдѣній о Карамзинѣ.

1. Московскій періодъ его жизни (1801-1815).

Карамзинъ продолжалъ жить въ Москвѣ. Мы уже знаемъ, каково было его настроеніе въ царствованіе Павла ⁶⁹). Съ восшествіемъ на престолъ императора Александра оно измѣнилось. Всѣ ожили — ожили и Карамзинъ. Оживленію его не мало способствовала явившаяся возможность свободно дѣйствовать на

литературномъ поприщѣ. Онъ еще до этого момента, какъ тоже знаемъ, обращалъ вниманіе на Россію и интересовался ею. Теперь пробужденіе ея къ новой жизни заставило его еще больше заинтересоваться вопросами, касающимися Россіи—и вотъ онъ выражаетъ свои мысли и чувства сперва въ двухъ своихъ уже извѣстныхъ намъ одахъ, затѣмъ въ „Похвальномъ словѣ императрицѣ Екатерины“, и вмѣстѣ съ этимъ задумываетъ приняться за изданіе журнала, но уже не исключительно литературнаго, а—литературно-политическаго, съ отдѣломъ и для публицистики. Журналъ этотъ—„Вѣстникъ Европы“. Цѣль и желанія издателя выражены имъ въ первой книгѣ журнала: „Сколь благородно, сколь утѣшительно помогать нравственному образованію такого великаго и сильнаго народа, какъ російскій, развивать идеи, указывать новыя красоты въ жизни, питать душу моральными удовольствіями и сливать ее въ сладкихъ чувствахъ со благомъ другихъ людей!“—„Вѣстникъ Европы“ издавался Карамзинымъ два года (1802—1803) и выпускался отдѣльными номерами, по два номера въ мѣсяць. Въ этомъ журналѣ издатель затрогивалъ много различныхъ современныхъ вопросовъ, какъ изъ области внутренней жизни Россіи, такъ и изъ области внѣшнихъ политическихъ событій. По общему почти отзыву критики, „Вѣстникъ Европы“ Карамзина вполне соответствовалъ той важной цѣли, съ какой было предпринято его изданіе. Важнѣйшими статьями { были статьи самого издателя, много и неутомимо трудившагося для своего журнала.

Вмѣстѣ съ переменной настроенія произошла переменна и въ семейной жизни Карамзина: въ томъ же 1801 г. онъ женился на Елизаветѣ Ивановнѣ Протасовой, родной сестрѣ Н. П. Плещеевой, дѣвушкѣ, которую зналъ и любилъ нѣсколько лѣтъ—и теперь чувствовать себя довольнымъ и счастливымъ, о чемъ можно заключать по слѣдующимъ строкамъ стихотворенія: „Къ Омиліи“ (1802), въ которомъ онъ обращается къ своей женѣ:

... душа моя полна
Любовію святой, блаженствомъ и тобою...
... сильнѣйшія слова
Не могутъ выразить сердечныхъ наслажденій,
Которыя во всемъ съ тобою нахожу.
Блаженство предо мной: я на тебя гляжу!
Считаю радости свои числомъ мгновеній...

Но счастье было непродолжительно.—Мы останавливаемся на этой семейной сторонѣ жизни Карамзина потому, что она

имѣла нѣкоторую долю вліянія на него, какъ писателя. Въ чемъ дѣло—сейчасъ увидимъ.

Въ 1802 г. (въ мартѣ) у Карамзина родилась дочь—Софья. Эта радость была вмѣстѣ съ тѣмъ и началомъ грядущаго горя: Елизавета Ивановна, слабая здоровьемъ и прежде, не могла поправиться—и въ апрѣлѣ скончалась. По письмамъ Карамзина къ брату ⁷⁰⁾ мы можемъ судить о степени его страданій во время болѣзни жены и о тоскѣ его послѣ ея смерти. Эти душевныя страданія произвели окончательный переворотъ въ философскихъ воззрѣніяхъ Карамзина: послѣдователь оптимизма становится его противникомъ. Подробное объясненіе происшедшаго переворота даетъ Галаховъ ⁷¹⁾; но, принимая его объясненіе въ цѣломъ, мы не можемъ согласиться съ нимъ въ одной частности. Безспорно, что Карамзинъ былъ послѣдователемъ оптимизма потому, что эта гипотеза была въ его время распространена въ европейской литературѣ; безспорно, что онъ былъ послѣдователемъ оптимизма еще болѣе потому, что гипотеза эта, разрѣшая философскіе вопросы, увлекала его своею стройностью: она вѣдь объясняла всѣ явленія не только въ сферѣ жизни отдѣльной личности, но и въ сферѣ жизни всего міра физическаго и всего міра нравственнаго. Безспорно, конечно, и то, что оптимистическая гипотеза можетъ удовлетворять человѣка лишь въ томъ случаѣ, если его собственная, личная жизнь течетъ при благопріятныхъ, счастливыхъ условіяхъ: она можетъ плѣнять лишь счастливица, и слишкомъ сурова она для человѣка, переживающаго свои бѣды и горести. „Оптимизмъ“—говоритъ Галаховъ—„предполагаетъ всеобщую красоту и всеобщее благо при многочисленныхъ несовершенствахъ отдѣльныхъ явленій: онъ выступаетъ не только, какъ противорѣчіе личной жизни, но и какъ насмѣшка надъ ея страданіями въ минуты живѣйшей ея боли. Онъ одѣваетъ міръ въ праздничное платье, сшитое изъ траурныхъ одеждъ людей, живущихъ въ этомъ мірѣ. Онъ, подобно поэту, приглашаетъ равнодушную природу сіять вѣчною красотою предъ лицомъ могилъ; но человѣку живому нѣтъ возможности ни быть самому равнодушнымъ ни утѣшаться равнодушіемъ другихъ“. Вѣрнѣе, разумѣется, и сдѣланный Галаховымъ выводъ относительно Карамзина: гипотеза, какъ основное убѣжденіе, обнимающее собою всѣ явленія физическаго и нравственнаго міра, могла сохранять для него свою достовѣрность лишь до тѣхъ поръ, пока жизнь не потекла вопреки ей. Но едва ли можно согласиться съ авторомъ цитируемой статьи, когда онъ происшедшій въ Карамзинѣ переворотъ признастъ

неожиданнымъ. Еще въ „Посланиі къ Дмитріеву“ Карамзинъ говорилъ, что „зло подъ солнцемъ безконечно“, и свѣтъ называлъ „мрачнымъ“. а въ „Посланиі къ Плещееву“ называлъ его „жизнцемъ немногихъ благъ и многихъ бѣдъ“. Устами Мелодора онъ сказалъ, что въ здѣшнемъ мірѣ—„канля радостныхъ и море горестныхъ слезъ“. Правда, что это все-таки не мѣшало ему опять и опять обращаться за утѣшеніемъ къ оптимизму, какъ къ теоріи, которая была имъ усвоена при счастливыхъ обстоятельствахъ его юности, и которая съ перваго же раза такъ увлекла его, очаровала; но все же переживаемыя ощущенія личныхъ горестей должны были оставлять въ душѣ свой слѣдъ и постепенно готовить возможность разрушенія излюбленной гипотезы. Въ 1798 г. Карамзинъ, какъ мы видѣли, уже прямо жалуется на то, что „жизнь течетъ вопреки всѣмъ прекраснымъ теоріямъ мудрости“ ⁷²⁾. Нуженъ былъ еще одинъ сильный ударъ, чтобы въра въ принятую гипотезу разрушилась—и вотъ ударомъ этимъ явилась смерть любимой супруги. Карамзинъ отвернулся отъ оптимизма, и замѣнилъ его новымъ взглядомъ на жизнь. Этотъ новый взглядъ изложенъ имъ въ разсужденіи: „О счастливѣйшемъ времени жизни“ (1803).

Разсужденіе начинается рядомъ возраженій противъ оптимизма, возраженій, основанныхъ на тѣхъ данныхъ, которыя составляетъ человѣку собственное его чувство, опытъ его личной жизни. На основаніи этихъ данныхъ Карамзинъ прежнее воззрѣніе, что люди сотворены ко счастію, что въ мірѣ все благо, замѣняетъ новымъ: вездѣ и во всѣмъ окружающъ насъ недостатки, и здѣшній міръ есть училище терпѣнія. Вотъ какъ говоритъ объ этомъ самъ Карамзинъ:

„Человѣколюбіе, безъ сомнѣнія, заставило Цицерона хвалить старость ⁷³⁾; однакожъ не думаю, чтобы трактатъ его въ самомъ дѣлѣ утѣшилъ старцевъ: остроумію легко илѣнить разумъ, но трудно побѣдить въ душѣ естественное чувство“.

„Можно ли хвалить болѣзнь? а старость сестра ея. Перестанемъ обманывать себя и другихъ; перестанемъ доказывать, что всѣ дѣйствія природы и всѣ феномены ея для насъ благотворны. Въ общемъ планѣ—можетъ быть; но какъ онъ извѣстенъ одному Богу, то человѣку и нельзя разсуждать о вещахъ въ семъ отношеніи. Оптимизмъ есть не философія, а игра ума; философія занимается только ясными истинами, хотя и печальными; отвергаетъ ложь, хотя и пріятную. Творецъ не хотѣлъ для человѣка снять завѣсы съ дѣлъ своихъ, и догадки наши никогда не

будутъ имѣть силы удостовѣренія.—Вопреки Жанъ-Жаку Руссо, младенчество, сіе всегданнее бореиіе слабой жизни съ алчною смертію, должно казаться намъ жалкимъ; вопреки Цицерону, старость печальна; вопреки Лейбницу и Попу, *зѣйшній міръ остається училищемъ терпѣнія*. Не даромъ всѣ народы имѣли древнее преданіе, что земное состояніе человѣка есть его паденіе или наказаніе: *сіе преданіе основано на чувствѣ сердца*. Болѣзнь ожидаетъ насъ здѣсь при входѣ и выходѣ; а въ срединѣ, подъ розами здоровья, кроется змѣя сердечныхъ горестей. Живѣйшее чувство удовольствія имѣетъ въ себѣ какой-то недостатокъ; возможное на землѣ счастье, столь рѣдкое, омрачается мыслию, что или мы оставимъ его, или оно оставитъ насъ. Однимъ словомъ, вездѣ и во всемъ окружаютъ насъ недостатки“.

Но выводъ, къ которому Карамзинъ пришелъ на основаніи жизненнаго опыта, не привелъ его ни къ отчаянію ни къ унынію, такъ какъ выводъ этотъ не довелъ его до отрицанія возможности для человѣка хорошо себя чувствовать и „въ училищѣ терпѣнія“. Въ этомъ училищѣ не все одного и того же качества: есть сравнительно и худшее и лучшее. Большая или меньшая доля лучшаго, удѣляемая человѣку его судьбою, или обстоятельствами, опредѣляетъ его сравнительное же счастье. Эту мысль Карамзинъ выражаетъ слѣдующимъ сжатымъ образомъ:

„Однакожъ слова: *благо и счастье* справедливо занимаютъ мѣсто свое въ лексиконѣ зѣйшняго свѣта. Сравненіе опредѣляетъ цѣну всего: одно лучше другого—вотъ благо! одному лучше, нежели другому—вотъ счастье!“

Если счастье въ зѣйшемъ мірѣ лишь сравнительное, то самъ собою возникаетъ вопросъ: при какихъ же условіяхъ человѣкъ наиболѣе счастливъ? А такъ какъ счастье, по новому взгляду Карамзина, опредѣляется большею или меньшею долею лучшаго, то вѣдь его можно опредѣлять и обратно: большею или меньшею долею худшаго. Слѣдовательно вопросъ о томъ, при какихъ обстоятельствахъ человѣкъ бываетъ наиболѣе счастливъ, равносильнъ вопросу: при какихъ обстоятельствахъ онъ бываетъ наименѣе несчастливъ?

Огвѣчая на этотъ вопросъ, Карамзинъ говоритъ, что человѣкъ бываетъ наиболѣе счастливъ (или иначе: наименѣе несчастливъ) въ тѣ годы, когда тѣлесныя силы его еще не начали замѣтно слабѣть, а душевныя находятся въ періодѣ полной зрѣлости, вслѣдствіе чего жизнь его пріобрѣтаетъ „общій характеръ благоразумія“. Эту мысль Карамзинъ развиваетъ такъ:

„Какую же эпоху жизни можно назвать *счастливейшею по сравненію*?— Не ту, въ которую мы достигаемъ до физическаго совершенства въ бытіи (ибо человекъ не есть *только* животное), но—*последнюю степень физической зрѣлости*— время, когда всѣ душевныя способности дѣйствуютъ въ полномѣ своей, а тѣлесныя силы еще не слабѣютъ примѣтно; когда мы уже знаемъ свѣтъ и людей, ихъ отношенія къ намъ, игру страстей, цѣну удовольствій и законъ природы, для нихъ установленный; когда разумъ нашъ, богатый идеями, сравненіями, опытами, находитъ истинную мѣру вещей, соглашаетъ съ нею желанія сердца и даетъ жизни общій *характеръ благоразумія*. Какъ плодъ дерева, такъ и жизнь бываетъ всего сладостнѣе передъ началомъ увяданія“.

„Сія истина доказываетъ мнѣ благородство человека. Если бы умная нравственность была случайною принадлежностію существа нашего (какъ нѣкоторые утверждали) и только слѣдствіемъ общественныхъ связей, въ которыя мы зашли, уклонясь отъ путей натуры,—то она не могла бы своими удовольствіями замѣнять для насъ живости и пылкости цвѣтущихъ дней молодости; не только замѣнять ихъ, но и несравненно возвышать цѣну жизни: ибо человекъ за тридцать пять лѣтъ, безъ сомнѣнія, не пылаетъ уже такъ страстями, какъ юноша, а въ самомъ дѣлѣ можетъ быть гораздо его счастливѣе“.

„Въ сіе время люди по большей части бываютъ уже супругами, отцами, и наслаждаются въ жизни самыми вѣрнѣйшими радостями: семейственными. Мы ограничиваемъ сферу бытія своего, чтобы не бѣгать вдаль за удовольствіями; перестаемъ странствовать по туманнымъ областямъ мечтанія: *живемъ дома*, живемъ болѣе въ самихъ себѣ, требуемъ менѣе отъ людей и свѣта; менѣе огорчаемся неудачами, ибо менѣе ожидаемъ благопріятныхъ случайностей. Жребій брошенъ: состояніе избрано, утверждено; стараемся возвеличить его достоинство пользою для общества; хотимъ оставить въ мірѣ благотѣльные слѣды бытія своего; воспитаніе дѣтей, хозяйство, государственныя должности — обращаются для насъ въ душевное удовольствіе, а дружба и пріязнь въ сладкое отдохновеніе... Поля, нашими трудами обогащенные, садикъ, нами обработанный, земледѣльцы, насъ благодарящіе, лица домашнихъ спокойныя, сердца ихъ къ намъ привязанныя — радуютъ мирную душу опытнаго человека болѣе, нежели сіи шумныя забавы, сіи призраки воображенія и страстей, которые обольщаютъ молодость. Здоровье, столь мало уважаемое въ юныхъ

лѣтахъ, дѣлается въ лѣтахъ зрѣлости истиннымъ благомъ; самое *чувство жизни* бываетъ гораздо милѣе тогда, когда уже пролетѣла ея быстрая половина... Такъ остатки ясныхъ осеннихъ дней располагають насъ живѣе чувствовать прелесть натуры; думая, что скоро все увянетъ, боимся пропустить минуту безъ наслажденія!... Юноша неблагодаренъ: волнуемый темными желаніями, безпокойный отъ самаго избытка силъ своихъ, съ небреженіемъ ступаетъ онъ на цвѣты, которыми природа и судьба украшаютъ стезю его въ міръ: человѣкъ, искушенный опытами, въ самыхъ горестяхъ любитъ благодарить Небо со слезами за малѣйшую отраду“.

„Въ сіе же время дѣйствуетъ и торжествуетъ геній... Ясный взоръ на міръ открываетъ истину, воображеніе сильное представляетъ ея черты живо и разительно, вкусъ зрѣлый украшаетъ ее простотою, и творенія ума человѣческаго являются въ совершенствѣ, и творецъ дерзаетъ наконецъ простирать руку къ потомству, быть современникомъ вѣковъ и гражданиномъ вселенной. Молодость любитъ въ славѣ только шумъ, а душа зрѣлая справедливое, основательное признаніе ея полезной для свѣта дѣятельности. Истинное славолубіе не волнуетъ, не терзаетъ, но сладостно поконитъ душу, среди монументовъ тлѣнія и смерти открывая ей путь безсмертія талантовъ и разума: мысль утѣшительная для существа, которое столько любитъ жить и дѣйствовать, но столь не долговѣчно своимъ бытіемъ физическимъ!“

Разсужденіе заканчивается заключеніемъ, исполненнымъ искреннимъ элегическимъ чувствомъ, вполне соответствующимъ основной мысли и указывающимъ на то горестное событіе въ жизни автора, которое вызвало окончательный переворотъ въ его философскихъ воззрѣніяхъ.

„Дни цвѣтущей юности и пылкихъ желаній! не могу жалѣть о васъ. Помню восторги, но помню и тоску свою; помню восторги, но не помню счастья: его не было въ сей бурной стремительности чувствъ къ безпрестаннымъ наслажденіямъ, которая бываетъ мукою; его нѣтъ и теперь для меня въ свѣтѣ—но не въ лѣтахъ кипѣнія страстей, а въ полномъ дѣйствіи ума, въ мирныхъ трудахъ его, въ тихихъ удовольствіяхъ жизни единообразной, успокоенной, хотѣлъ бы я сказать солнцу: *остановись!* если бы въ то же время могъ сказать и мертвымъ: *возстаньте изъ гроба!*“

Но мы должны замѣтить, что утрата вѣры въ оптимистическую гипотезу, произведя переворотъ въ философскихъ воззрѣніяхъ Карамзина, нисколько не отозвалась ни на нравствен-

ныхъ ни на политическихъ его взглядахъ: разрушилась самая система оптимизма, но тотъ духъ, въ которомъ послѣдователи этого ученія воспитывали Карамзина совмѣстно съ Шаденомъ и Новиковскимъ кружкомъ, остался: Карамзинъ попрежнему говорилъ о добродѣтели, о просвѣщеніи, объ усовершенствованіи въ чело-вѣкѣ „человѣка“; попрежнему стоялъ за монархію и попрежнему не любилъ крутыхъ переворотовъ въ государственной жизни, предпочитая имъ мирный путь просвѣщенія. Съ политическими его взглядами намъ еще придется встрѣчаться; для характеристики же нравственныхъ его воззрѣній и его душевнаго настроенія приведемъ нѣсколько фактовъ теперь же.

Въ томъ же 1803 г. Карамзинъ написалъ стихотвореніе, въ которомъ, олицетворяя добродѣтель въ живомъ образѣ, онъ высказываетъ свое отношеніе къ ней и выражаетъ пожеланіе, чтобы дочь его была воплощеніемъ добродѣтели—добродѣтели, которая и *безъ счастія* (понимаемаго уже въ смыслѣ, разъясненномъ въ разсужденіи: „О счастливѣйшемъ времени жизни“) можетъ быть для чело-вѣка *вѣрнымъ наслажденіемъ*. Стихотвореніе это такъ и названо: „Къ Добродѣтели“.

О Ты, которая была
Въ глазахъ моихъ всегда прелестна,
Душѣ моей всегда мила
И сердцу съ юности извѣстна!
Вхожу въ святилище Твое;
Объемлю, чувствомъ вдохновенный,
Твой жертвенникъ уединенный!
Одно усердіе мое
Даетъ мнѣ право не чуждаться
Твоихъ священныхъ алтарей,
И въ пламенной душѣ моей
Твоимъ блаженствомъ наслаждаться!
Нѣтъ дѣлъ моихъ передъ Тобой!
Не сыпалъ злата я на бѣдныхъ:
Мнѣ злата не дано судьбой;
Но глазъ заплаканныхъ, лицъ блѣдныхъ
Не могъ безъ грусти замѣчать;
Дружился въ сердцѣ съ угнетеннымъ,
И жалобамъ его священнымъ
Любилъ съ прискорбіемъ внимать;
Любилъ суды правдивы Рока,
Невинныхъ, добрыхъ торжество.
„Есть гробъ, безсмертье, Божество!“
Я мыслилъ, видя тронъ порока...
Я былъ игралищемъ страстей,
Родясь съ чувствительной душою:

Ихъ огонь пылалъ въ груди моей;
 Но сердце съ милою мечтою
 Всегда сливало образъ Твой:
 Прости!... Ахъ! дѣта заблужденій
 Текутъ стезею огорченій:
 Намъ страшенъ въ младости покой,
 И терніемъ любезны розы!...
 Я жертвой, не тираномъ былъ,
 И въ нѣжныхъ горестяхъ любилъ
 Свои, а не чужія слезы!

Не совѣстью, одной тоской
 Я въ жизни болѣе терзался;
 Виновный только предъ собой,
 Сквозь слезы часто улыбался!
 Когда же, сердцемъ увлеченъ,
 Не помнилъ я, въ восторгахъ страсти,
 Твоей, о Добродѣтель, власти.
 И, блескомъ счастья ослѣпленъ,
 Спѣшилъ за нимъ на путь неправый:
 Я былъ загадкой для себя:
 Какъ можно столь любить Тебя—
 И нарушать Твои уставы!

Преплывъ обширный океанъ,
 Чрезъ многія пучины, мели;
 Собравъ богатства дальнихъ странъ,
 Пловецъ стремится къ вѣрной цѣли,
 Къ своимъ отеческимъ берегамъ,
 И взоръ его нетерпѣливый
 Уже открытъ сей край счастливый;
 Онъ мыслить радостно: „я тамъ!...“
 Вдругъ буря въ ужасъ все приводитъ —
 Корабль скрывается въ волнахъ!
 Пловецъ не гибнетъ—но въ слезахъ
 Онъ нищимъ на берегъ выходитъ!

Вотъ жребій мой!... Ахъ! я мечталъ
 О тихой пристани, покоѣ;
 Но буря и свирѣпый валъ
 Сокрыли счастье златое!
 Пристанища въ семъ мірѣ нѣтъ,
 И насъ съ послѣднею волною,
 Въ землѣ подъ гробовой доскою,
 Къ себѣ червь кровоглавый ждетъ!...
 Блаженъ, кто не былъ здѣсь свидѣтель
 Погибели своихъ друзей,
 Или въ несчастьяхъ жизни сей
 Тобой утѣшенъ, Добродѣтель!...

Остатокъ радостей земныхъ,
 Дочь милую, кропя слезами,
 Въ восторгѣ нѣжныхъ чувствъ моихъ

Къ Тебѣ дрожащими руками
 Подъемлю, и молю: будь ей
 И горемъ здѣсь и утѣшенъемъ,
 Безъ счастья вѣрнымъ наслажденьемъ!
 Въ послѣдній часъ судьбы моей
 Ее ко груди прижимая,
 Да обниму я въ ней Тебя,
 Да гасну, васъ равно любя,
 И милой милую вручая!

Въ письмахъ своихъ къ А. И. Тургеневу Карамзинъ высказывалъ такія мысли: ⁷⁴⁾

„Жить — есть не писать исторію, не писать трагедію или комедію, а какъ можно лучше мыслить, чувствовать и дѣйствовать, любить добро, возвышаться душою къ его источнику; все другое есть шелуха, не исключая и моихъ томовъ“.

„Чѣмъ болѣе живемъ, тѣмъ болѣе объясняется для насъ цѣль жизни и совершенство ея“.

„Сухой, холодный, но умный Юмъ, въ минуту невольнаго живого чувства, написалъ: *douce paix de l'ame resignée aux ordres de la Providence!* — Даже Спиноза говоритъ о необходимости любви къ Вышнему для нашего благоденствія“.

„Мало разницы между мелочными и такъ называемыми важными занятіями; одно внутреннее побужденіе и чувство важно. Дѣлайте, что и какъ можете, только любите добро, спрашивайте у совѣсти“.

„Хочу быть самымъ простымъ человѣкомъ, хочу любить, какъ можно болѣе; не мечтаю даже о возрожденіи нравственномъ: будемъ въ среду немного лучше того, какъ мы были во вторникъ — и довольно для насъ дѣшвыхъ“.

„Не тутъ, такъ въ другомъ мѣстѣ найдется дѣятельность полезная. Чѣмъ менѣе другіе требуютъ ее отъ насъ, тѣмъ болѣе мы должны требовать ее отъ себя, какъ существа нравственныя“.

Въ этихъ же письмахъ къ Тургеневу встрѣчаются и такія мысли, которыя прямо противоположны прежнимъ философскимъ воззрѣніямъ Карамзина, и которыя замѣнили собою идеи разрушившагося оптимизма. Такъ напр. вмѣсто прежняго взгляда на страсти, какъ на источникъ счастья (см. „Разговоръ о счастьи“), Карамзинъ говоритъ теперь:

„Страсти должны не счастливить, а разрабатывать душу“.

Намъ уже извѣстно, что Карамзинъ еще въ дѣтствѣ заинтересовался исторіей: воображеніе его занимали тогда не одни

Селимы и Мирамонды, но и Сципионы и Ганнибалы. Позднѣе—въ авторѣ „Писемъ р. путешественника“ мы уже видимъ человѣка, въ значительной степени начитаннаго какъ во всеобщей, такъ и въ русской исторіи. Съ послѣдней онъ началъ знакомиться еще въ Дружескомъ обществѣ. Его первыя повѣсти—„Бѣдная Лиза“ и въ особенности „Наталья, боярская дочь“—свидѣтельствуютъ, что Карамзинъ, хотя бы и временно, но все же могъ даже увлекаться древнею Русью, идеализировать ее ⁷⁵⁾. Скоро у него явилась и мысль приняться за изложеніе русской исторіи. Такъ, прощаясь съ публикой, какъ издатель „Московского журнала“, онъ между прочимъ сказалъ: „буду учиться—буду пользоваться сокровищами древности, чтобы послѣ приняться за такой трудъ, который могъ бы остаться памятникомъ души и сердца моего, если не для потомства (о чемъ и думать не смѣю), то по крайней мѣрѣ для малочисленныхъ друзей моихъ и пріятелей“. ⁷⁶⁾ Въ записной книжкѣ Карамзина за 1797 годъ мы находимъ отмѣтку, уже указывающую не только на желаніе серьезно изучить предметъ, но и на обдуманнѣйшій планъ занятій. „Если“—сказано въ этой книжкѣ—„Провидѣніе пощадитъ меня,... займусь исторіею. Начну съ Джиллиса; послѣ буду читать Фергусона, Гиббона, Робертсона—читать со вниманіемъ и дѣлать выписки, а тамъ примусь за древнихъ авторовъ, особливо за Плутарха“. А въ маѣ 1800 г. онъ могъ уже сказать въ письмѣ къ Дмитріеву: „Я по уши влѣзъ въ русскую исторію: сплю и вижу Никона съ Несторомъ“. Этимъ знакомствомъ съ источниками русской исторіи и ея изслѣдователями и объясняется цѣлый рядъ историческихъ статей Карамзина въ „Вѣстникѣ Европы“, напр. такихъ, какъ „Историческія воспоминанія и замѣчанія на пути къ Троицѣ“, „О случаяхъ и характерахъ въ російской исторіи, которые могутъ быть предметомъ художествъ“ и др.

Такимъ образомъ появленіе Карамзина въ качествѣ историка не было неожиданностью: исторія привлекала его къ себѣ съ самаго дѣтства—и наконецъ влеченіе къ ней взяло въ немъ перевѣсъ надъ другими интересами, и къ 1803 г. желаніе приняться за осуществленіе своей давнишней мысли почувствовалось живѣе, Карамзинъ сталъ чаще говорить о немъ—и однажды разговаривая съ Дмитріевымъ. „Такъ приступай къ дѣлу, медлить нечего“, сказалъ Дмитріевъ.—„Я человѣкъ частный“, отвѣчалъ Карамзинъ:—„безъ содѣйствія правительства не достигну желаемой цѣли; притомъ лишусь главныхъ доходовъ моихъ: шести тысячъ рублей, которые приносятъ мнѣ „Вѣстникъ Европы“.—„Ты ничего

не потеряешь, трудясь для славы отечества“. отвѣчалъ Дмитріевъ:— „пиши только въ С.-Петербургъ: я увѣренъ въ успѣхѣхъ“ —⁷⁷⁾. Уступивъ убѣжденіямъ друга, Карамзинъ написалъ письмо къ товарищу министра народнаго просвѣщенія М. Н. Муравьеву— и черезъ мѣсяцъ (31 окт.) состоялся высочайшій указъ, которымъ повелѣвалось производить Карамзину, въ качествѣ *исторіографа* по 2000 р. ежегодной пенсіи. При посредствѣ того же Муравьева данъ былъ и другой указъ: исторіографу открывался свободный доступъ во всѣ архивы и библіотеки. Въ декабрѣ Карамзинъ простился со своими читателями, сдать продолженіе журнала другому лицу (Панкратію Сумарокову)—и, по выраженію кн. Вяземскаго „постригся въ историки“.

Отлагая до времени вопросъ о томъ, что имѣлъ въ виду Карамзинъ, какъ авторъ „Исторіи государства Россійскаго“, и какую именно долю труда пришлось ему положить на ея созданіе.—скажемъ пока только, что даже и статья Миллюкова ⁷⁸⁾ нисколько не мѣшаетъ утверждать, что исторіографу далеко не все было дано въ руки его предшественниками, и что трудъ его во всякомъ случаѣ былъ не маловажный и не легкій.

Работалъ Карамзинъ — зимою въ Москвѣ, а въ остальное время года въ селѣ Остафьевѣ (около Подольска), имѣніи князя Андрея Ивановича Вяземскаго, на дочери котораго, Катеринѣ Андреевнѣ, женился Карамзинъ 8 янв. 1804 г. Погодинъ съ благоговѣйнымъ чувствомъ воспоминаетъ, какъ онъ однажды посѣтилъ Остафьево. „Огромный барскіи домъ въ нѣсколько этажей возвышается на пригоркѣ; внизу, за луговиною, блещетъ обширный проточный прудъ; въ сторонѣ отъ него сельская церковь, освѣщенная густыми липами. По другую сторону дома обширный тѣнистый садъ. Кабинетъ Карамзина помѣщался въ верхнемъ этажѣ, въ углу, съ окнами, обращенными къ саду; ходъ былъ къ нему по особенной лѣстницѣ. —Я былъ тамъ, въ этомъ святилищѣ русской исторіи, въ этомъ славномъ затворѣ, гдѣ 12 лѣтъ съ утра до вечера сидѣлъ одинъ однихонекъ знаменитый нашъ труженикъ, надъ египетскою работою, углубленный въ мысли о великомъ своемъ предпріятіи, съ твердымъ намѣреніемъ совершить его вочто бы ни стало; гдѣ онъ, въ тишинѣ уединенія, читалъ, писалъ, тосковалъ, радовался, утѣшался своими открытіями; куда приносились къ нему любезныя тѣни Несторовъ, Сергіевъ, Сильвестровъ, Аврааміевъ; гдѣ онъ бесѣдовалъ съ ними, спрашивалъ о судьбахъ отечества, слышалъ внутреннимъ ухомъ вѣшій ихъ голосъ.— и передавалъ откровенія

златыми устами своимъ“—⁷⁹⁾). Подобное же почтительное отноше-
 ніе къ Карамзину находимъ и у многихъ другихъ нашихъ
 ученыхъ; но зато въ новѣйшее время раздаются и голоса враж-
 дебные, ⁸⁰⁾ и если въ восторженныхъ отзывахъ о Карамзинѣ
 слышатся иногда сентиментальныя нотки, то съ другой стороны
 въ противоположныхъ отзывахъ подчасъ непріятно поражаетъ
 недостойная ученаго фельетонная игривость пера. Непріятно
 встрѣчать въ серьезной статьѣ такой, напримѣръ, тонъ прои-
 зирующаго фельетониста: „Итакъ, не историческое изученіе, не
 разработка сырого матеріала, а художественный пересказъ данныхъ,
 уже извѣстныхъ,—вотъ та заманчивая задача, которая рисуется
 въ воображеніи будущаго историка. Изъ наличнаго историческаго
 матеріала—иное сократить, иное раскрасить; выкинуть небла-
 годарную путаницу событій и остановиться на благодарныхъ эпи-
 зодахъ и характерахъ, все это одушевить чувствомъ; исторія
 русская можетъ быть незанимательной, но это художественное
 произведеніе на мотивы русской исторіи, *составленное по этому
 рецепту*, непременно будетъ занимательно—за это ручаются умъ,
 вкусъ и талантъ художника. «Нѣтъ предмета столь бѣднаго,
 чтобы искусство уже не могло въ немъ ознаменовать себя, прі-
 ятнымъ для ума образомъ», повторяетъ Карамзинъ ту же мысль
 въ своемъ предисловіи. Подъ «бѣднымъ предметомъ» надо разумѣть
 здѣсь русскую исторію, *а пріятно ознаменуетъ себя въ этомъ
 предметѣ—Исторія государства Россійскаго*“ ⁸¹⁾).

У современниковъ своихъ Карамзинъ пользовался большимъ
 уваженіемъ, а для молодыхъ людей личность его бывала иногда
 даже обаятельна. Изслѣдователь русской исторіи К. О. Калайдо-
 вичъ познакомился съ Карамзинымъ, будучи еще очень молодымъ
 человѣкомъ, былъ имъ обласканъ, ободренъ къ трудамъ—и вотъ
 какими словами вспоминаетъ онъ объ этомъ знакомствѣ въ
 письмѣ къ С. Н. Глинкѣ: „Много, много я обязанъ тогдашнему
 «Обществу исторіи и древностей россійскихъ» и достопочтенному
 нашему предсѣдателю Платону Петровичу Бекетову; несравненно
 болѣе—исторіографу Карамзину. Онъ тогда жилъ въ Москвѣ
 и писалъ исторію отечества. Я часто ходилъ къ нему: онъ меня
 любилъ, всегда укрѣплялъ на томъ пути, на который я не могъ
 еще стать прочною ногою. Полный любовью къ славѣ Россіи,
 вопрошатель и судія давно почившихъ, *окрылялъ онъ мою душу
 святымъ восторгомъ и къ пылу юности приливалъ огня божес-
 твеннаго*“. И дѣйствительно Карамзинъ, чѣмъ больше углуб-
 лялся въ отечественную исторію, тѣмъ болѣе и болѣе росла его

любовь къ Россіи, тѣмъ дороже становились ему ея интересы, и онъ въ самомъ дѣлѣ могъ „окрылять восторгомъ“ юныя души. Вотъ другое о томъ свидѣтельство—Жуковского. Въ своемъ „Отрывкѣ изъ письма къ И. И. Дмитріеву“ ⁸²⁾ (1813), поэтъ, вспоминая о домѣ Дмитріева (у Харитонія въ Огородникахъ), сгорѣвшемъ во время нашествія французовъ, и объ обществѣ, собиравшемся въ его саду, воспоминаетъ и объ одной достопримѣчательной липѣ въ этомъ саду и, обращаясь къ ней, говоритъ:

О дерево друзей!
Сколь часто темнымъ кровомъ
Развѣсистыхъ вѣтвей
Ты добрыхъ осѣняло;
Сколь часто ты внимало
Веселымъ мудрецамъ,
Кудрявыхъ одъ разборамъ,
Шутливымъ, важнымъ спорамъ,
И Пушкина ⁸³⁾ стихамъ!...
Сколь часто прохлажденный
Сей тѣнью Карамзинъ,
Нашъ Ливій-славянинъ,

Какъ будто вдохновенный,
Предъ нами разрывалъ
Завѣсу лѣтъ минувшихъ,
И смертнымъ сномъ заснувшихъ
Героевъ вызывалъ
Изъ гроба передъ нами!
Съ подъятыми перстами,
Со пламенемъ въ очахъ,
Подъ сѣрымъ юберрокомъ
И въ пыльных сапогахъ,
Казался онъ пророкомъ,
Открывшимъ въ небесахъ

Всѣ тайны ихъ священны!

Въ февралѣ 1812 г. Карамзинъ писалъ къ Тургеневу: „Готовлюсь перейти къ XVI вѣку“. Слѣдовательно событія двѣнадцатаго года застали Карамзина за работою надъ седьмымъ томомъ его „Исторіи“. Война началась, и онъ еще въ іюлѣ перебрался изъ деревни въ городъ, жену съ дѣтьми отправилъ въ Ярославль, сдавъ ей на храненіе написанную часть своего труда, а самъ, не желая служить примѣромъ робости, остался въ Москвѣ и поселился у московскаго градоначальника графа Ростопчина, который предложилъ ему жить въ его домѣ въ Сокольникахъ. Непріятель приближался, Москва пустѣла съ каждымъ днемъ болѣе—и наконецъ грянулъ Бородинскій бой. Карамзинъ все не уѣзжалъ изъ города, и 27 августа писалъ брату: „Душѣ моей противна мысль быть бѣглецомъ: для того не выѣду изъ Москвы, пока все не рѣшится. Вчера началось кровопролитнѣйшее сраженіе, и нынѣ возобновилось... Черезъ нѣсколько часовъ окажется, что Россія спасена, или она пала“. Онъ оставилъ Москву только въ тотъ моментъ, когда участь ея была ужъ рѣшена. Тогда (1 сентября) Карамзинъ отправился въ Ярославль, и оттуда съ семействомъ переѣхалъ въ Нижній. Изъ письма его къ Дмитріеву отъ 11 октября узнаемъ, что въ Нижнемъ у него явилось намѣреніе принять участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ непрі-

ителя. „Думаю опять странствовать, но только безъ жены и дѣтей, и не въ видѣ бѣглеца, но съ надеждою увидѣть пепелище любезной Москвы. Графъ П. А. Толстой предлагаетъ мнѣ идти съ нимъ и съ здѣшнимъ ополченіемъ *противъ французовъ*. Обстоятельства таковы, что всякій можетъ быть полезенъ, или имѣть эту надежду. Обожаю подругу, люблю дѣтей, но мнѣ *больно смотрѣть издали* на происшествія, *рѣшительныя* для нашего отечества; осудишь ли меня? По тому же побужденію я и въ Москвѣ оставался. Вѣрю Провидѣнію. Не буду говорить много, хотя и съ другомъ“. Но исполненіе этого намѣренія оказалось уже не нужнымъ: обстоятельства измѣнились, и французы должны были Москву оставить. Наполеонъ, по выраженію Карамзина, „бѣжалъ зайцемъ, пришедши тигромъ“ ⁸⁴). Однакожъ нашъ исторіографъ все-таки пострадалъ: во-первыхъ, онъ испыталъ безденежье, такъ какъ, по труднымъ тогдашнимъ обстоятельствамъ, помѣстье его жены (въ Арзамасскомъ уѣздѣ) перестало давать доходъ, а во-вторыхъ—во время московскаго пожара сгорѣла его библіотека, и сохранилось лишь то, что было въ Остафьевѣ. Грустны и трогательны его письма изъ Нижняго: „Я теперь“, говоритъ онъ, „какъ растеніе, вырванное изъ корня: лишенъ способо^{въ} заниматься“ ⁸⁵)... „Не могу тронуться съ мѣста: не имѣю денегъ... Между тѣмъ *боюсь загрубѣть умомъ* и лишиться способности къ сочиненію. Невольная праздность изнуряетъ мою душу. Такъ угодно Богу. Авось весною найду способъ воскреснуть для моего исторіографскаго дѣла и выѣхать отсюда. Здѣсь худо для насъ, книжныхъ людей: здѣсь и Степенная книга мнѣ въ диковинку“ ⁸⁶)... „Грущу по своей библіотекѣ, которую собираетъ четверть вѣка“ ⁸⁷).

Наступившій 1813 годъ принесъ успокоеніе: дѣла стали улаживаться, да и къ минувшимъ событіямъ Карамзинъ могъ уже отнестись объективнѣе, взвѣсить ихъ. Въ письмѣ къ Дмитріеву отъ 30 апрѣля онъ писалъ: „Не смотря на свою тоску, я съ умиленіемъ смотрю на подвиги Россіи. Мы наказаны, но спасены со славою. Отечество наше, потрясенное бурей, укрѣпится, можетъ быть, въ корнѣ своемъ на новое тысячелѣтіе“. Въ іюнѣ онъ оставилъ наконецъ Нижній и возвратился съ семействомъ черезъ Москву въ Остафьево, гдѣ ревностно принялся за продолженіе своей „Исторіи“: въ 1814 г. былъ готовъ уже седьмой томъ, а въ 1815—осьмой. Къ этому же періоду времени относится и последнее стихотвореніе Карамзина: событія 1814 г. вызвали въ

немъ потребность высказаться—и онъ написалъ оду: „Освобожденіе Европы и слава Александра I“, посвященную московскимъ жителямъ.

Восемь томовъ „Исторіи“ были готовы, и Карамзинъ рѣшилъ выпустить ихъ въ свѣтъ. 19 января 1816 г. онъ писалъ къ брату: „Имѣю намѣреніе ѣхать въ Петербургъ, чтобы представить государю восемь томовъ моей Исторіи... Уже не время откладывать печатаніе: старѣюсь и слабѣю“. Окончивъ всѣ приготовления, онъ написалъ предисловіе и посвяtitельное письмо—и собрался въ дорогу.

2. Петербургскій періодъ (1816—1826).

Приступая къ описанію петербургской жизни Карамзина, столь замѣчательной по его отношеніямъ къ императору Александру, мы должны нѣсколько возвратиться назадъ и изложить исторію начала этихъ отношеній. Но прежде всего приведемъ превосходную характеристику ихъ, данную княземъ П. А. Вяземскимъ ⁸⁸).

„Сношенія Карамзина съ императоромъ Александромъ“, говоритъ кн. Вяземскій, „принадлежатъ русской исторіи. Они придаютъ свѣтлую и отрадную страницу, которую будущій повѣствователь блестящаго и славнаго царствованія Александра долженъ непременно внести въ свою живую лѣтопись. Едва ли гдѣ въ исторіи литературы найдется что-нибудь подобное. Нерѣдко видали, что вѣнценосцы оказывали писателямъ не только покровительство, но и личную благосклонность. Видали и писателей не только вѣрноподданно-преданныхъ, но и пламенно ревнующихъ о славѣ монарха своего. Но здѣсь отношенія имѣютъ совершенно особые и исключительно имъ присвоенные оттѣнки. Въ нихъ есть что-то умирительное, чистое, теплое и возвышенное. Посреди житейскихъ суетностей, часто мелкихъ по достоинству, но сильныхъ по волненію своему,—отъ картины, которую имѣемъ подъ глазами, вѣетъ на насъ яснымъ благораствореніемъ какого-то золотого, доисторическаго вѣка“.

„Кромѣ Его (т.-е. императора Александра) любезнаго обхожденія со мною, пишетъ Карамзинъ. Онъ имѣетъ въ себѣ что-то особенно привлекательное: вижу въ Немъ болѣе человека, нежели Царя, а какъ вспомню, что это Царь, то нахожу Его еще любезнѣе“.

„Можно угадать, что и Александръ полюбилъ въ Карамзинѣ человека, и полюбилъ его тѣмъ сильнѣе, что признавалъ въ немъ и великаго писателя, что видѣлъ въ немъ одно изъ свѣт-

лыхъ достояній своего царствованія. Безошибочно можно сказать, что изъ современниковъ, изъ числа приближенныхъ къ государю,—никто не любилъ Александра такъ иѣжно, такъ искренно, такъ безкорыстно, какъ любилъ его Карамзинъ. Никто, вѣроятно, лучше его не понималъ, не оцѣнилъ прекрасныя свойства и качества его. Никто не зналъ его такъ близко, глубоко и вѣрно“...

„Царь и исторіографъ были по многимъ важнымъ вопросамъ въ явномъ противорѣчіи. Тѣмъ лучше. Сіи двѣ личности именно этимъ разногласіемъ вѣрнѣе и возвышеннѣе себя обозначаютъ. Не мудрено государю любить подданнаго и собесѣдника, который во всемъ съ нимъ соглашается... Легко и подданному безусловно усвоивать себѣ воззрѣнія, мысли и мнѣнія, облеченныя высочайшею властью. Но здѣсь явленіе совершенно другое. По новизнѣ своей имѣетъ оно полное право возбуждать и привлекать къ себѣ общее любопытство и вниманіе. Вслѣдствіе этихъ противорѣчій и умственныхъ сшибокъ, Александръ и Карамзинъ, если позволено будетъ замѣтить, иногда сердились другъ на друга... Царь холоднымъ обращеніемъ выказывалъ спорнику, что онъ нисколько не убѣдилъ его, а только слегка раздражилъ. Тотъ про себя, или изрѣдка въ скромныхъ и сердечныхъ изліяніяхъ невольно и скорбно проговаривался. Онъ также оставался недоволенъ. Скажу опять: тѣмъ лучше! Эти размолвки, эти набѣгавшія тучки были не грозны и скоротечны. Благодушіе того и другого вскорѣ очищало небосклонъ, на минуту потемнѣвшій. Со стороны Карамзина, при мягкосердіи его, этотъ поворотъ къ ясной погодѣ дѣлался самъ собою. Въ самомъ пылу состязанія любящая душа его всегда сберегала слово и чувство на миръ. Въ Александрѣ это была великодушная побѣда надъ собою“...

„Въ отношеніяхъ Карамзина къ императору нельзя не замѣтить еще одного знаменательнаго обстоятельства. Удостоенный ласкою, особеннымъ благоволеніемъ, можно сказать — дружбою его, онъ не былъ никогда предметомъ, такъ сказать, вещественныхъ его благодѣяній. Онъ могъ до конца питать къ нему самобытную, безкорыстную любовь. Онъ дорожилъ сею нравственною независимостью“.

Послѣ этой характеристики, обратимся къ фактамъ, на основаніи которыхъ она и составлена.

Съ самаго же восшествія на престолъ императора Александра Карамзинъ почувалъ въ немъ человека, „расположеннаго ко всякому добру“, и, какъ уже знаемъ, привѣтствовалъ его стихами, въ которыхъ выражалъ и свои чувства и свои надежды. Импера-

торъ отвѣтилъ на оду присылкой автору брилліантоваго перстня. Тѣмъ же отвѣтилъ онъ и на вторую оду Карамзина, а за „Похвальное слово Екатеринѣ“ прислалъ ему осыпанную брилліантами табакерку. Мы уже знаемъ со словъ Шторха ⁸⁹⁾, что подобные подарки Александра литераторамъ были вовсе не рѣдкостью, а потому и въ данномъ случаѣ они не представляли собою еще ничего исключительнаго. Ими пока и ограничились сношенія государя съ Карамзинымъ, и только много лѣтъ спустя, въ концѣ 1809 года, произошла личная встрѣча съ нимъ Александра. Это было на балѣ въ Москвѣ, куда императоръ пріѣзжалъ на нѣкоторое время вмѣстѣ съ великой княгиней Екатериной Павловной. Государь привѣтливо разговаривалъ съ исторіографомъ, а великая княгиня осыпала его ласками и пригласила его къ себѣ въ Тверь, куда онъ и поѣхалъ, пробылъ тамъ шесть дней и читалъ по вечерамъ свою „Исторію“ хозяйкѣ и ея брату—Константину Павловичу. Вскорѣ послѣ этого исторіографъ получилъ присланную ему при орденѣ св. Владимира 3-й ст. грамоту, въ которой говорилось: „Отличныя познанія и усердіе ваше къ распространенію россійскихъ изящныхъ письменъ и словесности, наипаче же труды, употребляемые вами въ изысканіяхъ и составленіи отечественной нашей исторіи, обращаютъ на васъ особенное Наше вниманіе“...

Поѣздки Карамзина въ Тверь повторялись. Въ одну изъ нихъ—въ декабрѣ 1810 г.—разговоръ коснулся состоянія Россіи и новыхъ правительственныхъ преобразованій. Карамзинъ откровенно высказалъ свое мнѣніе—и оказалось, что Сперанскому онъ не сочувствовалъ. Великая княгиня просила Карамзина изложить свои мысли на бумагѣ и желала ознакомить съ ними государя. Карамзинъ, конечно, и самъ этого желалъ, принялся за работу—и такимъ образомъ появилась знаменитая его „Записка о древней и новой Россіи“. Записка эта содержала въ себѣ критику того, что совершалось тогда во внутреннемъ управленіи и во внѣшней политикѣ, и заключительныя ея слова: „Любя отечество, любя монарха, я говорилъ искренно. Возвращаясь къ безмолвію вѣрноподданнаго, молю Всевышняго, да блюдетъ царя и царство Россійское“—показываютъ, что она предназначалась для государя. Эпиграфомъ же къ ней было избрано изреченіе изъ псалма: „Нѣсть лести въ языкѣ моемъ“.

„Записка“ была отвезена въ Тверь, гдѣ нѣсколько дней продолжалось ея чтеніе, прерываемое множествомъ вопросовъ. По окончаніи чтенія великая княгиня взяла ее къ себѣ.—Въ мартѣ 1811 г. императоръ посѣтилъ въ Твери свою любимую сестру и

пробылъ тамъ отъ 15 до 19 числа. Къ этому времени былъ приглашенъ великою княгинею и Карамзинъ со своею „Исторіею“, которую предполагалось читать государю. Чтеніе дѣйствительно состоялось. „Читалъ Ему свою Исторію долѣе двухъ часовъ, послѣ чего говорилъ съ Нимъ не мало—и о чемъ же? О самодержавіи!“ писалъ Карамзинъ къ Дмитріеву 20 марта. „Я не имѣлъ счастья быть согласенъ съ нѣкоторыми Его мыслями, но искренно удивлялся Его разуму и скромному краснорѣчію. Сердце мое всегда влеклось къ Нему, ибо угадывало и чувствовало доброту сего рѣдкаго монарха: теперь люблю, уважаю Его по внутреннему удостовѣренію въ красотѣ Его души“. Наканунѣ отъѣзда государя великая княгиня передала ему „Записку“; государь прочелъ—и рѣзкая критика не поправилась ему. Онъ разстался съ Карамзинымъ холодно. Но, какъ говорить кн. Вяземскій, эта набѣжавшая тучка была скоротечна. Каковы бы ни были убѣжденія автора „Записки“, во всякомъ случаѣ они были высказаны искренно и смѣло. Погодинъ справедливо замѣчаетъ: „Карамзинъ былъ тогда еще только литераторомъ, не представлялъ еще своей Исторіи, не находился еще на верху всероссійской славы, не пріобрѣлъ европейской извѣстности, имѣлъ необходимую нужду въ добромъ мнѣніи и благоволеніи государя, даже для изданія своего труда. Это были критическія минуты въ его жизни—и онъ не убоился сказать прямо все, что чувствовалъ. Этого мало: онъ выступилъ, такъ сказать, грудью впередъ по собственному желанію, ибо *если бъ онъ не хотѣлъ говорить*, то могъ бы легко уклониться отъ предложенія великой княгини“ ⁹⁰). И государь вскорѣ оцѣнилъ искренность и смѣлость человѣка, не имѣющаго лести въ языкѣ своемъ, что можно видѣть уже изъ слѣдующаго его намѣренія: когда перейденъ былъ Нѣманъ, и императоръ собрался ѣхать въ Вильну, онъ хотѣлъ было назначить Карамзина государственнымъ секретаремъ, и только по особымъ обстоятельствамъ должность эта была предоставлена Шишкову: онъ, по выраженію Надлера, „русскій съ ногъ до головы“, болѣе Карамзина былъ пригоденъ для составленія тѣхъ манифестовъ, въ которыхъ государю приходилось говорить съ народомъ ⁹¹).

Внимательное отношеніе двора къ Карамзину выразилось и въ слѣдующемъ фактѣ: императрица Марія Θεодоровна черезъ Дмитріева, бывшаго тогда министромъ юстиціи, предлагала пострадавшему послѣ двѣнадцатаго года исторіографу помѣщеніе въ Павловскѣ и въ Петербургѣ. Карамзинъ благодарилъ, но остался въ Москвѣ. Императрица ему отвѣчала (15 авг. 1813 г.):

„Я имѣла удовольствіе получить письмо ваше, и признаю себя обязанною Иваномъ Ивановичемъ Дмитріевымъ за поданный отъ него случай вступить въ сношеніе съ однимъ изъ отличнѣйшихъ нашихъ писателей. давно мнѣ извѣстнымъ не только по изящному въ семъ званіи дарованію, но и по другимъ уваженіямъ достойнымъ качествамъ. Я всегда желала—и теперь искренно радуюсь надеждѣ лично съ вами познакомиться, и я подтверждаю симъ данное вамъ увѣреніе, что, на все время пребыванія моего въ Павловскѣ, комнаты здѣсь въ замкѣ Бипсѣ для пріема вашего готовы и, состоя въ вашемъ распоряженіи, ожидаютъ только пріѣзда своего знаменитаго жильца“⁹²⁾... Однако выѣхать изъ Москвы Карамзину пришлось, какъ уже сказано выше, только лишь въ концѣ января 1816 года.

2-го февраля Карамзинъ вмѣстѣ съ кн. П. А. Вяземскимъ прибылъ въ Петербургъ и черезъ нѣсколько дней пріютился въ домѣ жены покойнаго М. Н. Муравьева⁹³⁾. Главною цѣлью поѣздки было представить государю свою „Исторію“ и рѣшить дальнѣйшую судьбу ея. Получая за свой трудъ ежегодную пенсію изъ Кабинета Его Величества, Карамзинъ, естественно, считалъ себя обязаннымъ представить государю результаты своего труда и вмѣстѣ съ тѣмъ считалъ себя въ правѣ надѣяться, что „Исторія“ его будетъ напечатана не на частныя деньги. Въ одномъ изъ писемъ своихъ къ женѣ изъ Петербурга⁹⁴⁾ онъ ясно высказываетъ свой взглядъ на это дѣло. „Одинъ вельможа“—пишетъ онъ ей въ февралѣ—„вымолвить моему пріятелю такое слово: Карамзинъ хочетъ, чтобы казна дала деньги на печатаніе его Исторіи; но сумма велика, и, вѣроятно, что, по новымъ правиламъ экономіи, ему откажутъ... Въ такомъ случаѣ я съ удовольствіемъ предложилъ бы ему 50 тысячъ рублей для сего дѣла.—Я радъ, что у насъ есть такіе бояре; но скорѣе брошу свою Исторію въ огонь, нежели возьму 50 т. отъ партикулярнаго человѣка. Хочу единственно должнаго и справедливаго, а не милостей и подарковъ“.—Карамзинъ и пріѣхалъ затѣмъ, чтобы исполнить то, что онъ вмѣнялъ себѣ въ обязанность, и чтобы получить то, что онъ считалъ должнымъ и справедливымъ. И то и другое зависѣло отъ государя. Но представиться ему Карамзину удалось лишь 15 марта. Томительны были для него эти сорокъ дней неизвѣстности. Не смотря на теплыя и сердечныя ласки царскаго семейства, съ членами котораго онъ въ эти дни часто видѣлся,—душа его была непокойна въ высшей степени.—1-го

марта онъ писалъ женѣ: „Мы говорили съ великой княгиней минутъ 20. Она сказала: l'Empereur parle de vous et voudra peut-être entendre encore quelques chapitres de votre Histoire. Я отвѣчалъ: Je n'ai à présent qu'une seule grâce à demander à Sa Majesté: c'est la permission de retourner à Moscou; je ne veux plus rien... Однимъ словомъ, мы разстались пристойнымъ образомъ: я сказалъ ей все, что сказалъ бы самому государю“.

Отчего же Карамзину пришлось такъ долго дожидаться свиданія съ государемъ? — Не дадутъ ли отвѣта на этотъ вопросъ слѣдующія письма Карамзина къ женѣ?

„Выслушай происшествіе“, писалъ онъ къ ней 10 марта. — „Фактотумъ графа Аракчеева... передалъ мнѣ черезъ Вельяшева, что графъ желаетъ видѣться со мною и говорить: «Карамзинъ, видно, не хочетъ моего знакомства: онъ пріѣхалъ сюда — и не забросилъ даже ко мнѣ карточки!» — Вотъ, какъ судятъ люди: скромность считаютъ за грубость! Фактотумъ (по крайней мѣрѣ такъ здѣсь думаютъ) прислалъ ко мнѣ карточку и велѣлъ меня звать къ себѣ въ воскресенье на вечеръ для свиданія съ графомъ. Вообрази мое положеніе! не хочу никого оскорблять; но могу ли дать себѣ видъ пролаза? Я также отослалъ къ нему свою карточку, отвѣтствуя Вельяшеву, что мнѣ неловко ѣхать къ такому человеку, который у меня самъ не былъ. Между тѣмъ... я отвезъ карточку къ графу. Что будетъ далѣе — не знаю. Помогни намъ Богъ выпутаться... съ невинностію и честію, которыми я обязанъ моему сердцу, милой женѣ, дѣтямъ, Россіи и человечеству!“ — На третій день послѣ отвоза карточки, Аракчеевъ прислалъ Карамзину приглашеніе. „Я“, пишетъ Карамзинъ 13 марта, „пріѣхалъ въ 7 часовъ вечера и пробылъ съ нимъ болѣе часу. Онъ нѣсколько разъ меня удерживалъ. Говорили съ нѣкоторою искренностію. Я рассказалъ ему мои обстоятельства, и на вызовъ его замолвить за меня слово государю, отвѣчалъ: «Не прошу ваше сіятельство; но если вамъ угодно, и если будетъ кстати»... Онъ сказалъ: «Государь, безъ сомнѣнія, расположенъ принять васъ, и не на двѣ минуты, какъ нѣкоторыхъ, но для бесѣды пріятнѣйшей, если не ошибаюсь»... Графъ... даже *увѣрилъ* меня, что это откладываніе не продолжится“... И дѣйствительно оно не продолжилось: 16 марта Карамзинъ, полный восторга, писалъ женѣ: „Милая! Вчера въ 5 часовъ вечера пришелъ я къ государю. Онъ не заставилъ меня ждать ни минуты; встрѣтилъ ласково, обнялъ и провелъ со мною часъ, сорокъ минутъ въ разговорѣ искреннемъ, милостивомъ, прекрасномъ. Воображай, что хочешь — не вообра-

зишь всей его любезности... Я предложилъ наконецъ свои *требованія*: все принято, дано, какъ нельзя лучше: на печатаніе 60 тысячъ, и чинъ, мнѣ принадлежащій по закону. Печатать здѣсь, въ Петербургѣ, весну и лѣто жить, если хочу, въ Царскомъ селѣ; право быть искреннимъ и проч.“.

Такимъ образомъ такъ долго ожидаемое Карамзинымъ рѣшеніе судьбы его „Исторіи“ наконецъ состоялось, и если, на основаніи приведенныхъ его писемъ, сдѣлать предположеніе, что исполненіе желанія государя принять исторіографа, не забросившаго еще своей карточки Аракчееву, могло этимъ послѣднимъ все откладываться и откладываться подъ какимъ-либо предлогомъ,—то такое предположеніе не представится невѣроятнымъ.

Пробывъ въ столицѣ 50 дней — время, которое Карамзинъ называлъ своей „петербургской пятидесятицей“ ⁹⁵⁾,—онъ въ концѣ марта уѣхалъ въ Москву, какъ говоритъ Дмитріевъ, „въ новомъ чинѣ статскаго совѣтника и кавалеромъ ордена св. Анны перваго класса“ ⁹⁶⁾, занялся приготовленіемъ къ своему переселенію, и 25 мая прибылъ съ семействомъ прямо въ Царское село, гдѣ, по приказанію государя, ему былъ приготовленъ отдѣльный домикъ, по отзыву самого Карамзина, пріятный и уютный, ставшій съ этихъ поръ его постояннымъ лѣтнимъ жилищемъ, а зимнее — въ Петербургѣ—онъ нанималъ себѣ самъ. Съ первыхъ же дней своего пребыванія въ Царскомъ селѣ онъ встрѣтилъ необыкновенную къ себѣ ласку всего царскаго семейства, и съ этого же времени началось сближеніе государя съ исторіографомъ. Въ августѣ (12 числа) онъ писалъ къ Дмитріеву, тогда уже жившему въ Москвѣ: „Не можемъ нахвалиться любезною привѣтливостію милостиваго императора и всей царской фамиліи. Въ Павловскѣ ⁹⁷⁾ бываемъ и въ воскресенье и въ простые дни, раза два въ недѣлю, т.-е. обѣдаемъ. Ласкаютъ равно и меня и жену. Однимъ словомъ, здѣсь не знаю ничего милѣе царскосельскихъ и павловскихъ хозяевъ. Признательность моя обыкновенно состоитъ въ любви. Ласка двора къ намъ необыкновенная. Мое положеніе могло бы восхитить молодого человѣка, а я уже старъ... цвѣты мало веселятъ меня. Люблю добраго царя всею душою, желая, чтобы всѣ такъ любили его... Если милость его къ намъ продолжится, то мы не употребимъ ее во зло, но постараемся быть *совѣршенно безкорыстными*“.—Письмо это, несомнѣнно, дѣлаетъ честь Карамзину: ему пріятна ласка царя и его семьи не потому, что она исходитъ отъ людей, высоко стоящихъ, и слѣдовательно можетъ его самого поднимать въ глазахъ другихъ, но потому, что она

есть отвѣтъ на его собственныя чувства, осквернить которыя какими бы то ни было корыстными расчетами онъ считалъ и грѣхомъ и униженіемъ. Вотъ почему онъ и говоритъ за себя и за семью свою: „постараемся быть совершенно безкорыстными“. И это, какъ увидимъ далѣе, не были одни только слова.

Какъ же чувствовалъ себя Карамзинъ въ своей новой обстановкѣ?—Согрѣтый любовью царской семьи, онъ все-таки грустилъ—грустилъ по Москвѣ, съ которой его связывала долготѣнная привычка. Особенно сильна была его грусть въ первое время его петербургской жизни. „Мнѣ иногда бываетъ очень грустно, что я не въ Москвѣ: это не слово, а чувство“, писалъ онъ въ іюлѣ къ своему другу изъ Царскаго села. „Мѣсто прелестное; только мнѣ кажется, что я не въ Россіи, когда слышу вокругъ себя языкъ чухонскій“. И все тянуло его въ Москву, которая, какъ онъ самъ сказалъ въ письмѣ къ Малиновскому ⁹⁸), была у него въ сердцѣ. Но судьба не судила ему стать снова московскимъ жителемъ: послѣдніе 10 лѣтъ своей жизни онъ провѣлъ то въ Царскомъ селѣ, то въ столицѣ—и этотъ періодъ времени можно назвать петербургскимъ.

Петербургскій періодъ жизни Карамзина представляетъ собою явленіе весьма сложное, и потому мы рассмотримъ по возможности отдѣльно тѣ важнѣйшія части, изъ которыхъ это явленіе сложилось. Прежде всего укажемъ занятія Карамзина, какъ исторіографа.

Получивъ согласіе государя на изданіе „Исторіи“ на казенный счетъ, Карамзинъ приступилъ къ печатанію ея—сперва въ одной только типографіи—военной, избранной самимъ государемъ; но дѣло шло медленно, и потому впослѣдствіи привлечены были къ работѣ еще двѣ типографіи: медицинская и сенатская—и все-таки печатаніе не шло такъ скоро да и такъ хорошо, какъ хотѣлось бы автору. Началось чтеніе корректуръ, не имѣющее въ себѣ, какъ извѣстно, ничего привлекательнаго. По поводу этой работы, которую Карамзинъ желалъ выполнить со всею добросовѣстностью, онъ не разъ жаловался въ письмахъ къ Дмитріеву: „Безпрестанное чтеніе корректуръ тупитъ мое зрѣніе“.— „Съ утра до вечера занимаюсь корректурами—и время проходитъ“.— „Корректурная дѣятельность моя доводитъ меня иногда до обморока“. И въ самомъ дѣлѣ все время Карамзина уходило на эту дѣятельность, необходимую, но непронизводительную, и „Исторія“ его дальше 8-го тома не двигалась. Наконецъ 28 января 1818 г. во-

семь томовъ „Исторіи“ были поднесены авторомъ государю, а 26 февраля Карамзинъ уже писалъ Малиновскому: „Сбылъ съ рукъ послѣдніе экземпляры моей Исторіи, и дня черезъ два буду свободенъ отъ книжныхъ хлопотъ. Это у насъ дѣло безпримѣрное: въ 25 дней продано 3 тысячи экз.“—Такое отношеніе публики къ труду исторіографа доставило ему большое удовольствіе и притомъ не только потому, что оно льстило его авторскому самолюбію, но и потому, что оно указывало на подъемъ въ обществѣ интереса къ Россіи, къ родной старинѣ, интереса, для пробужденія котораго немало поработалъ и самъ Карамзинъ въ качествѣ издателя своего „Вѣстника Европы“. Это чувство удовольствія онъ выразилъ въ письмѣ къ Дмитріеву (отъ 11 марта): „Моя Исторія въ 25 дней скончалась: не осталось у меня ни одного экземпляра; сверхъ трехъ тысячъ проданныхъ, требовали у меня еще шестьсотъ. *Не равняемся съ Англією, однакожь это замѣчательно*“...

Карамзинъ мечталъ было по окончаніи изданія возвратиться въ Москву, но мечта эта осуществиться не могла: пришлось приступить къ печатанію новаго изданія, на которое вызвалъ Карамзина петербургскій книгопродавецъ Слѣнинъ. Опять пошли корректуры, но вмѣстѣ съ тѣмъ начала подвигаться и „Исторія“, началась переписка съ московскими друзьями—Малиновскимъ и Калайдовичемъ, къ которымъ безпрестанно посылалась то просьба прислать либо книгу, либо какое-нибудь сообщеніе, то благодарность за присланное. Съ Калайдовичемъ впрочемъ переписка велась относительно первыхъ томовъ „Исторіи“, въ которыхъ Карамзинъ охотно готовъ былъ сдѣлать разнаго рода поправки на основаніи изслѣдованій Калайдовича. Такъ напр. 11 іюня 1818 г. онъ писалъ ему: „Усердно благодарю васъ, милостивый государь мой Константинъ Оедоровичъ, за извѣстіе о Изокахъ, и ожидаю, по вашему обѣщанію, что вы благосклонно мнѣ сообщите полную выписку изъ Шестоднева, также и ваши замѣчанія на 1-й томъ моей Исторіи... Мнѣ пріятно будетъ отдать вамъ полную справедливость во второмъ изданіи Росс. Исторіи, которое уже начинаютъ печатать. Я не присвою себѣ вашихъ открытій, и скажу публикѣ, чѣмъ вамъ обязана Исторія“.

Кромѣ корректуръ и поправокъ уже написаннаго, Карамзина отвлекалъ отъ продолженія его труда еще и затѣянный двумя французами переводъ „Исторіи государства Россійскаго“ на французскій языкъ. Карамзинъ съ величайшимъ терпѣніемъ читалъ его и выправлялъ невѣрности, поручая считываніе стар-

шей дочери своей—Софья Николаевна. Переводъ всѣхъ восьми томовъ вышелъ въ Парижѣ въ 1819 г. подъ заглавіемъ: *Histoire de l'Empire de Russie, par M. Karamsin, traduite par M. M. St. Thomas et Jauffret.*

Тѣмъ не менѣе въ январѣ 1821 г. 9-й томъ поступилъ въ типографію, а въ 1824 г. были готовы 10-й и 11-й. Въ іюль того же года писался уже 12-й. Въ 1818 г. Россійская Академія почтила Карамзина избраніемъ его въ свои члены, а за 10-й и 11-й томы ему былъ пожалованъ чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника.

Теперь перейдемъ къ жизни Карамзина въ Царскомъ селѣ и продолжимъ прерванное указаніе его отношеній ко двору.

„Помню“, говоритъ кн. Вяземскій ⁹⁹⁾, „тѣсный кабинетъ его въ царскосельскомъ домикѣ. Входя въ него, трудно было понять, какъ могла умѣститься въ немъ Исторія государства Россійскаго. Тутъ, казалось, только и мѣста, что для историка какой-нибудь республики Санъ-Марино. И что за поэтический или историческій беспорядокъ въ этомъ ограниченномъ пространствѣ!.. Маленькій письменный столикъ, обложенный, загроможденный книгами и рукописями: едва ли оставался уголокъ для листа бумаги, на которой онъ писалъ. На полу кругомъ также разбросаны фоліанты. Двери кабинета, недоступнаго для постороннихъ, всегда были настежь растворены для семейства, для жены и дѣтей. Одному улыбнется онъ, другому скажетъ ласковое слово, не выпуская изъ рукъ пера, мысли изъ головы, и продолжая писать въ невозмущаемомъ спокойствіи и будто въ тишинѣ совершеннаго уединенія“. Здѣсь работалъ Карамзинъ, и покидалъ свой домикъ только для прогулокъ да для посѣщенія дворца. „Выѣзды мои здѣсь ограничиваются почти однимъ дворцомъ“, писалъ онъ Дмитріеву. „Самые пріятнѣйшіе для меня выѣзды — къ двумъ императрицамъ, любимымъ мною душевно: нельзя обходиться милостию и простѣе, какъ онѣ обходятся“. Слѣдовательно въ присутствіи ихъ, какъ замѣчаетъ кн. Вяземскій, Карамзинъ еще свободнѣе, нежели при императорѣ, могъ быть самимъ собою. „Передъ нимъ были двѣ женщины высокихъ нравственныхъ качествъ, умственной образованности и очаровательнаго обращенія. Хотя нѣкоторыми свойствами и возрастомъ отличались онѣ между собою, но отъ той и другой благоухало на него всѣмъ, чѣмъ только можетъ прельститься и насытиться умъ, озариться и согрѣться душа“ ¹⁰⁰⁾. Впрочемъ самой лучшей характеристикой

взаимныхъ отношеній между Карамзинымъ и обѣими императрицами служатъ все-таки ихъ письма. Эти письма говорятъ намъ не только о сердечности упомянутыхъ отношеній, но и о высокомъ уваженіи обѣихъ императрицъ къ Карамзину, какъ писателю и человѣку. Писателя и человѣка цѣнилъ въ немъ и императоръ: онъ однажды даже разграничилъ то и другое. Когда Карамзинъ поднесъ государю 10-й и 11-й томы своей „Исторіи“ при письмѣ, начинавшемся словами: „Пріимите милостиво въ печати, что Вы, любезнѣйшій Государь нашъ, такъ милостиво приняли въ рукописи“,—императоръ отвѣчалъ ему: „Благодарю искренно васъ за присылку. Я съ нетерпѣніемъ ожидалъ видѣть въ печати то, что съ столь большимъ удовольствіемъ читалъ въ рукописи. Екатеринѣ Андреевнѣ и всему семейству вашему мой дружелюбный поклонъ. А васъ прошу быть увѣреннымъ въ искренней моей къ вамъ пріязни“—и затѣмъ прибавилъ: *Чинъ*—въ знакъ моей признательности *исторіографу*. А *Николаю Михайловичу*—*извѣщеніе*, что въ Царскомъ селѣ сухо и чисто въ саду, а въ Китайскомъ его жильѣ ¹⁰¹⁾ тепло и приборно“. Въ отвѣтъ на эту прибавку Карамзинъ написалъ слѣдующее: „Въ *лицъ исторіографа* приношу Вашему Императорскому Величеству всеподданнѣйшую благодарность за чинъ, которымъ Вы хотѣли изъяснить для *публики* вниманіе къ трудамъ, небезполезнымъ, можетъ быть, и въ государственномъ смыслѣ. Теперь же въ *лицъ Карамзина* повторю то, что всего болѣе люблю говорить Вамъ: мужъ, жена, дѣти—все мы привязаны къ Вамъ *безкорыстно*“. Приведенная незначительная часть переписки Карамзина съ императоромъ уже заключаетъ въ себѣ почти полную характеристику ихъ взаимныхъ отношеній. Читатель видитъ на первомъ планѣ государя и писателя: государь выражаетъ свою признательность писателю официальной наградой, желая показать тѣмъ, что онъ дѣятельности его придаетъ важное значеніе,—и писатель, понимая смыслъ этой награды, принимаетъ ее съ благодарностью. Но далѣе читатель видитъ уже не государя и писателя, и прямо выступаютъ передъ нимъ два человѣка, соединенные взаимною любовью и уваженіемъ. Тутъ уже нѣтъ мѣста ничему показному, ничему официальному: тутъ все сердечно, искренно и просто.

Вотъ общій фонъ; подробности же этихъ отношеній раскрываются въ остальной части переписки. Изъ нея мы узнаемъ, что государь чрезвычайно интересовался трудомъ исторіографа и прочитывалъ его еще въ рукописныхъ тетрадахъ, не только дома, но и въ дорогѣ, и не только прочитывалъ, но и дѣлалъ свои за-

мѣчанія. Такъ напр. въ 1822 г. государь пишетъ Карамзину изъ Новаго Свержня отъ 10 августа: „Въ первые три дни моего путешествія имѣлъ я довольно время, чтобы со вниманіемъ прочесть тетради, вами мнѣ доставленныя. Чтеніе сіе заняло меня весьма пріятно и произвело во мнѣ увѣреніе, что новый томъ Россійской Исторіи будетъ достойнымъ продолженіемъ напечатанныхъ. Если послѣ сего чтенія встрѣтилъ бы я васъ на прогулкѣ нашей ежедневной въ Царскомъ селѣ, то, можетъ быть, дозволилъ бы я себѣ взойти съ вами въ разсужденіе о трехъ или четырехъ выраженіяхъ, возбудившихъ нѣкое сомнѣніе во мнѣ о ихъ правильности. Но на письмѣ сіе неудобно, и для того отлагаю до моего возвращенія, прося васъ не останавливать нимало вашихъ пріуготовленій къ тисненію“...

На замѣчанія государя Карамзинъ отвѣчалъ иногда уступкой, а иногда и возраженіемъ; доказательствомъ тому—два письма его: одно къ Дмитріеву (отъ 21 февр. 1823), другое къ государю (отъ 10 марта 1824).

Къ Дмитріеву. „Въ послѣднее воскресенье я пилъ чай у нашего милаго императора, и пробылъ у него болѣе трехъ часовъ. Онъ сообщилъ мнѣ свои примѣчанія на 10-й томъ. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ (между нами): у меня сказано, что слабый Феодоръ долженъ былъ зависѣть отъ вельможъ или отъ монаховъ. «Послѣднее не оскорбитъ ли нашего чернаго духовенства?» Въ другомъ мѣстѣ: Феатръ спасенія, Іерусалимъ. «Хорошо ли употребить слово феатръ въ отношеніи къ спасенію!» и проч. Но все милостиво и деликатно. Въ двухъ мѣстахъ я взялся поправить“.

Къ государю (въ отвѣтъ на его замѣчаніе, не слѣдуетъ ли въ 11-омъ т. смягчить отзывы о полякахъ). „...Слѣдуя Вашему замѣчанію, я съ особеннымъ вниманіемъ просмотрѣлъ тѣ мѣста, гдѣ говорится о полякахъ, союзникахъ Лжедмитрія: нѣтъ, кажется, ни слова, обиднаго для народа; описываются только худыя дѣла лицъ, и такъ, какъ сами польскіе историки описывали ихъ и судили: ссылаюсь на 522 примѣчаніе XI тома. Я не щадилъ и русскихъ, когда они злодѣйствовали или срамлились. Употребляю предпочтительно имя *ляховъ* для того, что оно короче, пріятнѣе для слуха, и въ сіе время (т.-е. въ XVI и въ XVII вѣкѣ) обыкновенно употреблялось въ Россіи“.

Тутъ чувство справедливости не позволило историку уступить деликатности добродушнаго государя.

Но не объ одной „Исторіи“ бесѣдовалъ съ Карамзинымъ императоръ: большая аллея царскосельскаго сада, которую госу-

дарь называлъ своимъ *зеленымъ кабинетомъ*, была молчаливой свидѣтельницею многихъ иныхъ бесѣдъ, иногда жаркихъ, но всегда искреннихъ и откровенныхъ. Въ послѣдніе годы царствованія Александра во главѣ различныхъ отраслей управленія стояли люди иного характера, чѣмъ прежде—и управленіе ихъ подавало поводъ Карамзину подымать въ своихъ бесѣдахъ съ государемъ разные государственные вопросы и высказывать свое мнѣніе. „Я“, говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ ¹⁰²⁾, „не безмолвствовалъ о налогахъ въ мирное время, о нелѣпой Гурьевской ¹⁰³⁾ системѣ финансовъ, о грозныхъ военныхъ поселеніяхъ, о странномъ выборѣ нѣкоторыхъ важнѣйшихъ сановниковъ, о министерствѣ просвѣщенія или затменія ¹⁰⁴⁾, о необходимости уменьшить войско.... о мнѣніи исправленіи дорогъ, столь тягостномъ для народа, наконецъ о необходимости имѣть твердые законы, гражданскіе и государственные“. Карамзинъ чистосердечно высказывалъ свои взгляды, несогласные съ мнѣніемъ государя, и, не смотря на то, что ему больно было, по выраженію кн. Вяземскаго ¹⁰⁵⁾, „навести и малѣйшее неспріятное впечатлѣніе на царя и человѣка, нѣжко имъ любимаго“,—онъ все-таки не могъ говорить: „да“, когда собственное его убѣжденіе заставляло его говорить: „нѣтъ“. II государь, также обыкновенно упорно стоявшій на своемъ, хотя иногда чувствовалъ то неудовольствіе, которое ощущается, когда мы въ любимомъ человѣкѣ встрѣчаемъ несочувствіе тому, что считаемъ уже нами обдуманномъ и рѣшеннымъ,—тѣмъ не менѣе цѣнилъ искренность своего собесѣдника, выслушивалъ его,—конечно, тоже не безъ возраженій,—и понималъ, что „спорникъ“ его руководился единственно любовью къ нему и къ Россіи. Интересы Россіи однако Карамзинъ ставилъ выше своихъ личныхъ отношеній къ государю, и готовъ былъ ради нихъ даже пожертвовать его расположеніемъ. Такъ, когда 17 октября 1819 г. царственный собесѣдникъ Карамзина сообщилъ ему о своемъ намѣреніи возстановить Польшу въ ея древнихъ предѣлахъ,—онъ не только съ жаромъ возражалъ государю, но, не довольствуясь словеснымъ протестомъ, въ тотъ же день написалъ записку, названную имъ: „Мнѣніемъ русскаго гражданина“, и вечеромъ прочелъ ее императору. Въ запискѣ говорилось:

„Государь! въ волненіи души моей, любящей отечество и Васъ, спѣшу, послѣ нашего разговора, излить на бумагу нѣкоторыя мысли, не думая ни о краснорѣчьи ни о строгомъ логическомъ порядкѣ. Какъ мы говоримъ съ Богомъ и совѣстію, хочу говорить съ Вами“.

„Вы думаете возстановить Польшу *въ ея цѣлости*, дѣйствуя, какъ христіанинъ, благотворя врагамъ. Государь! Вѣра христіанская есть тайный союзъ человѣческаго сердца съ Богомъ, есть внутреннее, неизглаголанное, небесное чувство; она выше земли и міра: выше всѣхъ законовъ—физическихъ, гражданскихъ, государственныхъ—но ихъ *не отминыяетъ*. Солнце течетъ и нынѣ по тѣмъ же законамъ, по которымъ текло до явленія Христа-Спасителя: такъ и гражданскія общества не переѣнили своихъ коренныхъ уставовъ; все осталось, какъ было на землѣ, и какъ иначе быть не можетъ: только возвысилась душа въ ея сокровенностяхъ, утвердилась въ невидимыхъ связяхъ съ Божествомъ, съ своимъ вѣчнымъ, истиннымъ отечествомъ, которое внѣ матеріи, внѣ пространства и времени. Мы сблизились съ Небомъ въ *чувствахъ*, но *дѣйствуемъ* на землѣ, какъ и прежде дѣйствовали. *Нѣсмь отъ міра сего*, сказалъ Христосъ, а граждане и государства въ семъ мірѣ. Христосъ велитъ любить враговъ: любовь есть *чувство*; но Онъ не запретилъ судьямъ осуждать злодѣевъ, не запретилъ воинамъ оборонять государства. Вы христіанинъ, но Вы истребили полки Наполеоновы въ Россіи, какъ греки-язычники истребляли персовъ на поляхъ Эллады; Вы исполняли законъ государственный, который не принадлежитъ къ религіи, но также данъ Богомъ: законъ естественной обороны, необходимый для существованія всѣхъ земныхъ тварей и гражданскихъ обществъ. Какъ христіанинъ, любите своихъ враговъ; но Богъ далъ Вамъ царство и вмѣстѣ съ нимъ обязанность исключительно заниматься благомъ онаго. *Какъ человекъ по чувствамъ* души, озаренной свѣтомъ христіанства, Вы можете быть выше Марка Аврелія; но, *какъ царь*, Вы то же, что онъ. Евангеліе молчитъ о политикѣ; не даетъ по-вой: или мы, захотѣвъ быть христіанами-политиками, впадемъ въ противорѣчія и несообразности. Меня ударятъ въ ланиту: я, какъ христіанинъ, долженъ подставить другую. Непріятель сожжетъ нашъ городъ: впустимъ ли его мирно въ другой, чтобы онъ также обратилъ его въ пепелъ? Какъ могъ язычникъ Маркъ Аврелій, такъ можетъ и христіанинъ Александръ благотворить врагамъ государственнымъ, уже *побѣжденнымъ*, слѣдуя закону чело-вѣколюбія, извѣстнаго и добродѣтельнымъ язычникамъ, но единственно въ такомъ случаѣ, когда сіе благоутвореніе не вредно для отечества. Любите людей, но еще болѣе любите россіянъ, ибо они и люди и Ваши подданные, дѣти Вашего сердца“...

Далѣе Карамзинъ съ почвы религіозно-философской переходитъ на почву историческую и политическую.

„Вы думаете возстановить *древнее* королевство Польское; но сіе возстановленіе согласно ли съ закономъ государственнаго блага Россіи? согласно ли съ Вашими священными обязанностями, съ Вашею любовію къ Россіи и къ самой справедливости? Во-первыхъ (не говори о Пруссіи), спрашиваю: Австрія отдастъ ли добровольно Галицію? Можете ли Вы, творецъ *Священнаго союза*, объявить ей войну, противную не только христіанству, но и государственной справедливости? ибо Вы сами признали Галицію законнымъ владѣніемъ австрійскимъ. Во-вторыхъ, можете ли съ мирною совѣстію отнять у насъ Бѣлоруссію, Литву, Волинію, Подолію, утвержденную собственностью Россіи еще до Вашего царствованія? Не клянутся ли государи блюсти цѣлость своихъ державъ? Сіи земли уже были *Россією*, когда митрополитъ Платонъ вручалъ Вамъ вѣнецъ Мономаха, Петра и Екатерины, которую Вы сами называли *Великою*. Скажутъ ли, что она незаконно раздѣлила Польшу? Но Вы поступили бы еще незаконнѣе, если бы вздумали загладить ея несправедливость раздѣломъ самой Россіи. Мы взяли Польшу мечомъ: вотъ наше право, ко-
ему всѣ государства обязаны бытіемъ своимъ, ибо всѣ составлены изъ завоеваній. Екатерина отвѣтствуетъ Богу, отвѣтствуетъ исторіи за свое дѣло: но оно сдѣлано—и для Васъ уже свято: для Васъ Польша есть законное россійское владѣніе. *Старыхъ крѣпостей* нѣтъ въ политикѣ: иначе мы долженствовали бы возстановить и Казанское, Астраханское царство, Новгородскую республику, великое княжество Рязанское, и такъ далѣе. Къ тому же и *по старымъ крѣпостямъ* Бѣлоруссія, Волинія, Подолія, вмѣстѣ съ Галиціею, были нѣкогда кореннымъ достояніемъ Россіи. Если Вы отдадите ихъ, то у Васъ потребуютъ и Кіева, и Чернигова, и Смоленска: ибо они также долго принадлежали враждебной Литвѣ. Или все, или ничего. Доселѣ нашимъ государственнымъ правиломъ было: *ни пяди ни врагу ни другу!*“

Послѣ этихъ словъ слѣдуетъ откровенное и смѣлое обращеніе автора къ своему слушателю. „Наполеонъ могъ завоевать Россію; но Вы, хотя и самодержецъ, не могли договоромъ уступить ему ни одной хитины русской. Таковъ нашъ характеръ и духъ государственный. Вы, любя свободу гражданскую, уподобите ли Россію бездушной, безсловесной собственности? Будете ли самовольно раздроблять ее на части и дарить ими кого заблагоразсудите? Россія, Государь, безмолвна передъ Вами; но если бы возстановилась древняя Польша (чего Боже сохрани!) и произвела нѣкогда историка достойнаго, искренняго, безпристраст-

наго, то онъ, Государь, осудить бы Ваше великодушіе, какъ вредное для Вашего истиннаго отечества, доброй, сильной Россіи. Сей историкъ сказалъ бы совсѣмъ не то, что могутъ теперь говорить Вамъ поляки; извиняемъ ихъ, но Васъ бы мы, русскіе, не извинили, если бы Вы для ихъ рукоплесканія ввергнули насъ въ отчаяніе. Государь, нынѣ славный, великій, любезный! отвѣтствую Вамъ головою за сіе неминуемое дѣйствіе цѣлаго возстановленія Польши. Я слышу русскихъ, и знаю ихъ: мы лишились бы не только прекрасныхъ областей, но и любви къ царю; остыли бы душою и къ отечеству, видя оное игралищемъ самовластнаго произвола; ослабѣли бы не только уменьшеніемъ государства, но и духомъ; унизились бы предъ другими и предъ собою. Не опустѣлъ бы, конечно, дворецъ; Вы и тогда имѣли бы министровъ, генераловъ: но они служили бы не отечеству, а единственно своимъ личнымъ выгодамъ, какъ наемники, какъ истинные рабы... А Вы, Государь, гнушаетесь рабствомъ, и хотите дать намъ свободу!"

„Однимъ словомъ... и Господь сердецѣдецъ да замкнетъ смертію уста мои въ сію минуту, если говорю Вамъ не истину... однимъ словомъ, возстановленіе Польши будетъ паденіемъ Россіи, или сыновья наши обагрятъ своею кровію землю Польскую и снова возьмутъ штурмомъ Прагу!"

„Нѣтъ, Государь, никогда поляки не будутъ намъ ни искренними братьями ни вѣрными союзниками. Теперь они слабы и ничтожны: слабые не любятъ сильныхъ, а сильные презираютъ слабыхъ; когда же усилятъ ихъ, то они захотятъ независимости, и первымъ опытомъ ея будетъ отступленіе отъ Россіи,—конечно, не въ Ваше царствованіе, но Вы, Государь, смотрите далѣе своего вѣка, и если не безсмертны тѣломъ, то безсмертны славою! Въ дѣлахъ государственныхъ чувство и благодарность безмолвны; а независимость есть главный законъ гражданскихъ обществъ. Литва, Волынія желаютъ королевства Польскаго, но мы желаемъ единой имперіи Россійской. Чей голосъ долженъ быть слышимѣе для Вашего сердца? Онъ, въ случаѣ войны, впрочемъ ни мало не вѣроятной (ибо кому теперь возстать на Россію?), могутъ измѣнить намъ: тогда накажемъ измѣнну силою и правомъ: право всегда имѣетъ особенную силу, а бунтъ, какъ беззаконіе, отнимаетъ ее. Поляки, закономъ утвержденные въ достоинствѣ особеннаго, державнаго народа, для насъ опаснѣе поляковъ-россійнъ".

„Государь! Богъ далъ Вамъ такую славу и такую державу, что Вамъ безъ неблагодарности, безъ грѣха христіанскаго и безъ тщеславія, осуждаемаго самою человѣческою политикою, нельзя

хотѣть ничего болѣе, кромѣ того, чтобы утвердить миръ въ Европѣ и благоустройство въ Россіи: первый—безкорыстнымъ, великодушнымъ посредничествомъ, второе—хорошими законами и еще лучшею управою. Вы уже приобрѣли имя *Великаго*: приобретите имя *Отца* нашего! Пусть существуетъ и даже благоденствуетъ королевство Польское, *какъ оно есть* нынѣ; но да существуетъ, да благоденствуетъ и Россія, *какъ она есть* и какъ оставлена Вамъ Екатериною!...“ ¹⁰⁶).

То обстоятельство, что подобная же записка, какъ теперь извѣстно, составлена была и Энгельгардтомъ и тоже подана государю (однако позже „*Мнѣнія* р. гражданина“), нисколько не умаляетъ гражданскаго подвига Карамзина, и хотя Пыпинъ,—вообще старающійся сгустить темныя краски на изображеніи этого писателя,—и замѣчаетъ, что *извѣстная* смѣлость выраженія (замѣтите: не просто *смѣлость*, а *извѣстная смѣлость*) для него (для Карамзина) была довольно безопасна“ ¹⁰⁷), тѣмъ не менѣе изъ позднѣйшей приписки къ „*Мнѣнію* р. гражданина“ видно, что авторъ ея имѣлъ поводъ предполагать, что бесѣда его съ государемъ въ вечеръ 17-го октября 1819 года могла быть послѣдней его съ нимъ бесѣдой—и все-таки продолжалъ говорить съ нимъ смѣло и рѣшительно ¹⁰⁸).

Но Карамзинъ ошибся: государь не убѣдился доводами исторіографа ¹⁰⁹), но и не разлюбилъ его: набѣжавшая тучка пронеслась и на этотъ разъ,—и Александръ попрежнему бесѣдовалъ съ нимъ въ своемъ *зеленомъ кабинетѣ*, попрежнему навѣщалъ его въ Китайскомъ домикѣ и попрежнему ласково разговаривалъ съ хозяйномъ и хозяйкою. Удосужится бывало царю часъ-другой вечеромъ—онъ и шлетъ записку въ Китайскій домикъ, въ родѣ слѣдующей: „Сегодня ввечеру имѣю я свободный часъ, и если вамъ досужно, то я пріѣду къ вамъ въ 9-мъ часу. До свиданія“ ¹¹⁰). И не разъ Карамзину приходилось вносить въ письма къ друзьямъ своимъ строки, подобныя вотъ этимъ: „Въ прошедшее воскресенье отъ 9-го до 12-го часа вечера былъ у насъ августѣйшій гость, бесѣдовалъ любезно и пилъ чай съ хозяйкою и хозяйномъ“ ¹¹¹).

1-ое сентября 1825 г. положило конецъ этимъ свиданіямъ: государь уѣхалъ въ Таганрогъ, гдѣ и умеръ 19 ноября. Свои чувства по поводу этой внезапной кончины Карамзинъ высказалъ въ той же припискѣ къ „*Мнѣнію* русскаго гражданина“ ¹¹²): „Мнѣ хочется болѣе плакать, нежели писать о немъ. Я любилъ его искренно и нѣжно, иногда негодовалъ, досадовалъ на монарха, и

все любить человека, красу человечества своимъ великодушіемъ, милосердіемъ, незлобіемъ рѣдкимъ. Не боюсь встрѣтиться съ нимъ на томъ свѣтѣ, о которомъ мы такъ часто говорили, оба не ужасаясь смерти, оба вѣря Богу и добродѣтели“.

Что бы ни говорила о Карамзинѣ отрицательная критика (въ особенности въ лицѣ Пятковского и Иванова),—нравственно-чистыя отношенія его къ императору Александру не могутъ не вызывать уваженія къ его личности. Карамзинъ пользовался не только любовью государя, но и безграничнымъ его довѣріемъ, и при всемъ томъ такимъ исключительнымъ положеніемъ онъ ни разу не воспользовался для своихъ личныхъ выгодъ: онъ принималъ только то, что считалъ или справедливымъ воздаяніемъ за свои труды, или выраженіемъ оцѣнки своей дѣятельности, какъ писателя, оцѣнки, нужной, по его мнѣнію, *для публики* ¹¹³⁾, или же то, что отклонить онъ считалъ неумѣстнымъ и неделикатнымъ. Все же, что было сверхъ того, не только никогда не было предметомъ его исканій, но и прямо отвергалось имъ, какъ нѣчто такое, что предъ судомъ его собственной совѣсти могло омрачить его чистыя и безкорыстныя отношенія къ государю. Такъ напр. ему нѣсколько разъ было предлагаемо мѣсто министра народнаго просвѣщенія—и онъ всякій разъ отказывался отъ него, довольствуясь званіемъ исторіографа. Но, не ища ничего для себя, Карамзинъ перѣдко ходатайствовалъ предъ государемъ за другихъ и испрашивалъ имъ либо какую-нибудь милость, либо смягченіе участи. Въ послѣднемъ отношеніи, какъ извѣстно, обязанъ ему и Пушкинъ.

Описавъ царскосельскую жизнь Карамзина, перейдемъ къ его жизни въ Петербургѣ, многія подробности которой, равно какъ и черты личности самого писателя переданы намъ знавшими и издавшими его въ эту пору современниками. Ихъ свидѣтельства тщательно собраны Погодинымъ ¹¹⁴⁾ и заключаютъ въ себѣ не рѣдко двойной интересъ: съ одной стороны они—характеристика Карамзина, а съ другой—они характеризуютъ отношеніе къ нему современнаго общества. Приведемъ изъ нихъ наиболѣе интересное. Прежде всего приведемъ описаніе дня Карамзина, сдѣланное К. С. Сербиновичемъ, ревностнымъ исполнителемъ ученыхъ его порученій ¹¹⁵⁾.

„Карамзинъ вставалъ въ 9-мъ часу утра, и всякій день въ 10-мъ часу дѣлалъ прогулку, довольно большую... ¹¹⁶⁾. Нѣкоторые изъ знакомыхъ мѣбъ, искренніе почитатели его высокаго таланта.

грустили, что не имѣли случая видѣть его, и очень рады были, когда, по описанію моему, могли встрѣтить его въ этотъ часъ по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ онъ гулялъ“.

„Возвратясь домой, Н. М. садился за работу свою—и занимался ею безъ отдыха до самаго обѣда, т.-е. до 5-ти часовъ... Миѣ очень рѣдко случалось видѣть его за работою, но тѣмъ болѣе дорожилъ я этими минутами, желая запечатлѣть ихъ въ своей памяти. Сидя за какимъ-нибудь его порученіемъ у другого столника, возлѣ окна, я изрѣдка взглядывалъ на его спокойный видъ, съ выраженіемъ глубокаго вниманія, и взоромъ, оживленнымъ мыслию, его занимавшею“...

„Послѣ обѣда Н. М. обыкновенно отдыхалъ съ полчаса или съ четверть часа на диванѣ въ полулежащемъ положеніи... Послѣ короткаго сна, слѣдующее время до 9-ти часовъ у него назначено было для чтенія полученныхъ въ тотъ день русскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ газетъ и журналовъ, а также и новыхъ книгъ. Затѣмъ онъ приходилъ въ гостиную, гдѣ семейство и добрые знакомые ожидали его.—Тутъ прѣзжали друзья, ученые, литераторы и люди государственные, или тѣ молодые таланты, которымъ было суждено впоследствии занять важнѣйшія государственныя мѣста. Разговоръ шелъ обо всѣхъ предметахъ, которые могли интересовать русскаго гражданина и образованнаго человека. Новости литературныя и политическія, отечественныя и иностранныя, вопросы по разнымъ отраслямъ государственнаго управленія, извѣстія объ отсутствующихъ родныхъ и друзьяхъ, рассказы о временахъ прошедшихъ царствованій, о тогдашнемъ состояніи Россіи, о замѣчательныхъ людяхъ того времени, особенно о тѣхъ, которыхъ бесѣдующіе застали еще въ живыхъ—все эти предметы смѣнялись одинъ другимъ. Разговоръ всегда шелъ оживленный. Н. М. особенно одушевлялся, когда дѣло шло о Россіи и объ ея пользахъ. Онъ умѣлъ особеннымъ образомъ поддерживать бесѣду, давая каждому свободу высказываться, и рѣзкія сужденія нѣкоторыхъ смягчая легкими замѣчаніями. Онъ цѣнилъ это пріятное для общенія искусство и въ другихъ людяхъ. Н. М. умѣлъ, сверхъ того, въ присутствіи многихъ знатныхъ давать возможность и неизвѣстному, скромному посетителю не оставаться въ совершенной тѣни“.

„Ложился спать обыкновенно въ 12-мъ часу; но пріятная бесѣда съ друзьями длилась иногда и за полночь“.

Эти свѣдѣнія дополняются еще двумя свидѣтельствами: Бул-

гарина и Бор. Мих. Оедорова, автора многихъ дѣтскихъ и по-
здравительныхъ стихотвореній.

„Сей великій писатель“, говоритъ Булгаринъ въ своихъ вос-
поминаніяхъ, „былъ любезнѣйшимъ человекомъ въ обществѣ.
Онъ зналъ въ совершенствѣ искусство бесѣдовать, которое во-
все различно съ искусствомъ разсказывать. Хорошій разсказчикъ
нравится намъ иногда, когда мы расположены слушать; но чело-
вѣкъ, умѣющій поддерживать разговоръ и сообщать ему занима-
тельность, нравится всегда, ибо онъ умѣетъ быть и слушателемъ
и разсказчикомъ“.

„Карамзинъ говорилъ прекрасно... Въ его рѣчахъ не было
изысканныхъ выраженій и ссылокъ на авторовъ, столь утомитель-
ныхъ въ разговорахъ, но реченія его сами по себѣ имѣли пол-
ноту и круглость; онъ никогда не изъяснялся отрывисто. Соблю-
дая вообще хладнокровіе въ разговорахъ, онъ воспламенялся
только, когда рѣчь заходила о Россіи, объ исторіи и объ его ста-
рыхъ друзьяхъ. Тогда физіономія его одушевлялась особенною
выразительностію, и взоры искрѣли. Онъ никогда изъ вѣжливости
не соглашался съ чужимъ мнѣніемъ вопреки собственнаго убѣж-
денія“.

„Нѣсколько дней спустя послѣ перваго моего посѣщенія, я
встрѣтилъ Карамзина въ одной изъ отдаленныхъ улицъ, пѣшкомъ.
поутру... Погода была несносная... Я изъявилъ ему мое удивле-
ніе, что встрѣчаю его въ такое время.—«Я имѣю обыкновеніе»,
сказалъ Карамзинъ, «прогуливаться пѣшкомъ поутру до десяти
часовъ»... Но должно признаться, возразилъ я, что вы выбираете
не лучшія улицы въ городѣ для своей прогулки.—«Не обыкновен-
ный случай завелъ меня сюда», отвѣчалъ Карамзинъ: «чтобы не
показаться вамъ слишкомъ скрытнымъ, я долженъ вамъ сказать,
что я отыскиваю одного бѣднаго человека, который часто оста-
навливаетъ меня на улицѣ, называетъ себя чиновникомъ, и про-
ситъ подавнія именемъ голодныхъ дѣтей. Я взялъ его адресъ, и
хочу посмотрѣть, что могу для него сдѣлать»“.

„Обыкновенными посѣтителеми Карамзина“, сообщаетъ Б.
М. Оедоровъ, „были графъ Румянцевъ, сынъ фельдмаршала, пом-
нившій до самыхъ мелочныхъ подробностей весь дворъ Екате-
рины Великой; Дм. Никол. Блудовъ, живая энциклопедія всевоз-
можныхъ свѣдѣній и современныхъ извѣстій; князь П. А. Вязем-
скій, остроумный поэтъ, родственникъ и другъ Карамзина; В. А.
Жуковскій и А. С. Пушкинъ, уже любимые Россіи поэты, взрос-
шіе предъ глазами Карамзина; Д. В. Дашковъ, нынѣшній привер-

женецъ Карамзина, владѣвшій перомъ человека государственнаго; А. И. Тургеневъ, который успѣвалъ быть вездѣ, любознательный и разсѣянный, истинный русскій Говардъ по сердцу, искавшему случая облегчить судьбу несчастныхъ, принять участіе въ каждомъ добромъ дѣлѣ“.

За исключеніемъ Румянцева, всѣ упомянутыя тутъ лица принадлежали къ обществу „Арзамасъ“ и слыли подъ именемъ арзамасцевъ. Это былъ кружокъ молодежи, среди которой Карамзинъ чувствовалъ себя особенно хорошо. Еще въ 1816 г., въ одинъ изъ дней своей „петербургской пятидесятницы“, онъ писалъ женѣ: „Сказать правду, здѣсь не знаю ничего умнѣе арзамасцевъ: съ ними бы жить и умереть“. Въ другомъ мѣстѣ онъ выразился такъ: „Здѣсь изъ мужчинъ всѣхъ любезнѣе для меня арзамасцы: вотъ истинная Русская академія, составленная изъ молодыхъ людей, умныхъ и съ талантомъ“. И арзамасцы, въ свою очередь, также были горячо привержены къ Карамзину. Одинъ изъ нихъ, а именно—Жуковскій, въ письмѣ къ Дмитріеву (отъ 18 февр. 1816), высказалъ свои чувства къ Карамзину такимъ образомъ: „У насъ здѣсь (въ Петербургѣ) праздникъ за праздникомъ. Для меня же лучшій изъ праздниковъ—присутствіе здѣсь нашего почтеннаго Николая Михайловича. Здѣсь всѣ жаждутъ его узнать, и видѣть его въ этомъ кругу такъ же пріятно, какъ и быть съ нимъ въ его семьѣ: онъ обращаетъ въ чистое наслажденіе сердца то, что для большей части есть только безпокойное удовольствіе самолюбія. Что же касается до меня, то мнѣ весело необыкновенно объ немъ говорить и думать. Я благодаренъ ему за счастье знать и (что еще болѣе) чувствовать настоящую ему цѣну. Это,—болѣе, нежели что-нибудь,—дружить меня съ самимъ собою. И можно сказать, что у меня въ душѣ есть особенное хорошее свойство, которое называется *Карамзинымъ*: тутъ соединено все, что есть во мнѣ добраго и лучшаго“.—Объ отношеніяхъ къ Карамзину Пушкина можно судить уже по слѣдующимъ словамъ его въ письмѣ къ Н. И. Гнѣдичу изъ Кишинева отъ 24 марта 1821 г.: „Кланяюсь всѣмъ знакомымъ, которые еще меня не забыли—обнимаю друзей. Съ нетерпѣніемъ ожидаю 9-го тома Русской Исторіи.—Что дѣлаетъ Карамзинъ? здоровъ ли—онъ, жена и дѣти? *Это почтенное семейство ужасно недостаетъ моему сердцу*“.—Къ числу глубокихъ почитателей Карамзина принадлежалъ и Батюшковъ—также арзамасецъ.

Итакъ, Карамзинъ былъ центромъ, около котораго группировались лучшія молодые силы того времени. Это были его лите-

ратурные сторонники и послѣдователи, между которыми были и люди, не сходящіеся съ Карамзинымъ во многихъ мнѣніяхъ—и все-таки относившіеся къ нему съ уваженіемъ. „Различіе во мнѣніяхъ никогда не могло ослабить уваженія къ нему въ человѣкѣ благомыслящемъ“, замѣчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Булгаринъ.

Кромѣ людей близкихъ, Карамзина посѣщали многія лица такъ называемаго высшаго общества и приглашали къ себѣ, прося его прочесть что-нибудь изъ своей „Исторіи“. У Стурдзы (русскаго дипломата, родомъ изъ Молдавіи) есть свидѣтельство объ этихъ чтеніяхъ. „Я встрѣтилъ“, говоритъ онъ, „въ первый разъ Карамзина въ гостиной Софьи Петровны Свѣчиной; онъ читалъ намъ вслухъ блистательный отрывокъ изъ своей Исторіи, а именно: сказаніе о Дмитріи Донскомъ... Эти домашнія чтенія повторялись во многихъ почетныхъ домахъ; вездѣ сыпались на автора похвалы, которыя онъ принималъ безъ услады и восторга, просто, съ неподражаемымъ добродушіемъ“¹¹⁷⁾.

Была и партія, враждебная Карамзину—и о ней мы будемъ говорить въ свое время, а пока скажемъ лишь, что Карамзинъ и за свои отношенія къ литературнымъ противникамъ своимъ вызываетъ у большинства его критиковъ самые почтительные о себѣ отзывы. Такъ напр. Гротъ говоритъ: „Всего возвышеннѣе является Карамзинъ въ отношеніяхъ къ своимъ литературнымъ врагамъ“¹¹⁸⁾. И дѣйствительно, не смотря на то, что Карамзинъ очень холодно относился къ Крылову; Шишкова, какъ видно изъ одного письма исторіографа къ женѣ (отъ 14 февр. 1816), считалъ „тупымъ“,—не смотря на подобные факты, Гротъ, опираясь на цѣлый рядъ иного рода фактовъ, имѣлъ основаніе вывести свое вышеприведенное заключеніе. Вотъ на чемъ онъ основывался. Къ тому же Шишкову, самому главному своему литературному противнику, Карамзинъ не только не питалъ никакой непріязни, но и называлъ его честнымъ, добрымъ, учтивымъ и признавалъ, что онъ извлекъ нѣкоторую пользу изъ его критики. Язвительныя нападки на Карамзина профессора Московскаго университета Каченовскаго довели Дмитріева до негодованія, и онъ возбуждалъ своего друга къ полемикѣ. Карамзинъ отвѣчалъ ему (21 ноября 1819): „А ты, любезнѣйшій, все еще думаешь, что мнѣ надобно отвѣчать на критики. Нѣтъ, я лѣнивъ. Хочу доживать вѣкъ въ мирѣ. Умѣю быть благодарнымъ, умѣю не сердиться и за брань. Не мое дѣло доказывать, что я, какъ папа, безгрѣшенъ. Все это дрянь и пустота“.—Вотъ другое письмо его (къ тому же Дмитрі-

еву отъ 21 апр. 1819), изъ котораго видно, чѣмъ отплатилъ онъ своему противнику: „Вѣдаешь ли, что *ты* избралъ Каченовскаго въ члены Рос. Академіи? Я положилъ бѣлый шаръ и за себя, и за тебя, и за Жуковскаго, и за Оленина. Это совсѣмъ не великодушіе. Критика *его* весьма поучительна и добросовѣстна“.—Извѣстный изслѣдователь русскихъ древностей Ходаковскій разбиралъ „Исторію“ Карамзина съ грубыми насмѣшками, а потомъ къ нему же обратился за помощью—и Карамзинъ не только ходатайствовалъ за него передъ кн. Галицынымъ, но и оказалъ ему денежную поддержку изъ собственныхъ средствъ, и писалъ къ Дмитріеву (29 дек. 1819): „Бѣдный мой критикъ не имѣетъ ни гроша“.

Въ отношеніяхъ Карамзина къ людямъ, державшимся совершенно различныхъ съ нимъ политическихъ взглядовъ, также нельзя указать ничего такого, что выставило бы его въ темномъ свѣтѣ. Правда, онъ не любитъ „либералистовъ“, не могъ, конечно, тепло относиться и къ Сперанскому; но и въ томъ пока еще ни единаго доказательства, на основаніи котораго мы могли бы приписать ему какой-либо зложелательный поступокъ, какъ относительно либераловъ вообще, такъ и въ частности относительно Сперанскаго. Въ томъ же, что записка Карамзина о древней и новой Россіи была* вызвана не какими-нибудь личными мотивами, не можетъ быть и сомнѣнія.—Но въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло шло о вещахъ, по его мнѣнію, не соответствовавшихъ пользамъ Россіи, онъ былъ способенъ сильно горячиться. Разговаривая съ государемъ послѣ того, какъ онъ прочелъ ему „Miréme р. гражданина“, онъ сказалъ своему собесѣднику: „Sire, Vous avez beaucoup d'amour-propre... Je ne crains rien. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Ce que je vous dis, je l'aurais dit à Votre Père... Sire, je méprise les libéralistes du jour: je n'aime que la liberté qu'aucun tyran ne peut m'ôter... Je ne Vous demande plus Votre bienveillance; je Vous parle, peut-être, pour la dernière fois“ ¹¹⁹).

Есть наконецъ рассказы, описывающіе Карамзина, какъ отца и мужа среди его семейства. Рассказы эти принадлежатъ Сербиновичу и бывшему учителемъ въ домѣ Карамзина—Телешову. Оба они изображаютъ его ищущимъ и заботливымъ семейникомъ ¹²⁰).

Но не все свѣтло было и въ Карамзинѣ: его отношенія къ своимъ крѣпостнымъ крестьянамъ если въ общемъ, сравнительно съ отношеніями множества другихъ помѣщиковъ, и нельзя еще назвать дурными, такъ какъ онъ заботился и о ихъ матеріаль-

номъ и о ихъ нравственномъ благосостояніи и подчасъ обращался къ нимъ даже съ ласковымъ словомъ,—то во всякомъ случаѣ нѣкоторыя частности этихъ отношеній поражаютъ своею непріятной дисгармоніей съ тою гуманностью, о которой и самъ онъ такъ много говорилъ. и которая такъ единогласно утверждается за нимъ знавшими его современниками.—Вотъ, напримѣръ, что пишетъ онъ своему бурмистру (28 ноября 1820). „Пишешь ты ко мнѣ, бурмистръ, что хотя я и приказалъ женить крестьянскаго сына Романа Осипова на дочери бывшаго повѣреннаго Архипа Игнатьева, но міромъ крестьяне того не приказали: кто же изъ васъ смѣетъ противиться господскимъ приказаніямъ? и какъ ты, бурмистръ, можешь такъ писать ко мнѣ? Думаю, что это по глупости вашей, и для того вамъ на сей разъ спускаю: но снова приказываю вамъ непремѣнно женить упомянутаго Романа на дочери Архиповой, и не отдавать его въ рекруты. А если впередъ осмѣлятся мѣръ не исполнить въ точности моихъ предписаній, то я не оставлю сего безъ наказанія. Всякія господскія повелѣнія должны быть святы для васъ. Я вашъ отецъ и судья. Мое дѣло знать, что справедливо и для васъ полезно“.

Помѣщикъ имѣлъ, конечно, право требовать отъ крестьянъ своихъ повиновенія, но былъ обязанъ, какъ самъ же Карамзинъ признаетъ, быть ихъ отцомъ и быть справедливымъ. Но справедливость ли бракъ по приказанію? Далѣе: „Пишешь еще, что у васъ въ селѣ есть кликуши... кликушамъ объявить моимъ господскимъ именемъ, чтобы онѣ унялись и перестали кликать; если же не уймутся, то приказываю тебѣ выстѣчь ихъ розгами: ибо это обманъ и притворство“.—Искоренять обманъ, притворство былъ долгъ идеальнаго помѣщика; но идеальна ли та мѣра, которую употреблялъ Карамзинъ для данной цѣли? ¹²¹⁾.

Такъ перѣдко и лучшие люди отдають дань темнымъ сторонамъ своего вѣка.

Отношеніе Карамзина къ своимъ крѣпостнымъ и вообще къ крестьянскому вопросу сильно раздражаетъ его новѣйшихъ критиковъ. Такое раздраженіе, при нашихъ взглядахъ, весьма понятно; но нѣкоторыя темныя стороны Карамзина еще далеко не дѣлають его дурнымъ человекомъ во всѣхъ отношеніяхъ. А между тѣмъ новѣйшіе критики (главнымъ образомъ—Ивановъ) распространяють свое отрицательное чувство на весь нравственный обликъ этого писателя, изображаютъ его только, какъ черстваго, безсердечнаго эгоиста—и потому являються критиками односторонними.

По кончинѣ императора Александра, императрица Марія Осодоровна желала какъ можно чаще видѣть Карамзина, чтобы, какъ она сама выразилась въ одномъ изъ своихъ писемъ къ нему, бесѣдовать съ нимъ о *незабвенномъ* и обо всемъ, что драгоцѣнно сердцу. Онъ ежедневно бывалъ во дворцѣ, гдѣ бесѣдовать и съ находившимся большею частію при матери великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ, и такъ же искренно и откровенно, какъ бывало и съ покойнымъ государемъ. Во дворцѣ онъ находился и 14-го декабря. Новый императоръ былъ на конѣ, среди войска, на Исакиевской площади. Желая собственными глазами удостовѣриться, гдѣ государь, чтобы потомъ успокоить императрицу Марію, Карамзинъ вышелъ на площадь легко одѣтымъ—и простудился. Здоровье его ужъ давно было надломлено петербургскимъ климатомъ, а весною 1823 г. онъ едва перенесъ нервную горячку. Тогда было нѣсколько дней, крайне опасныхъ въ жизни Карамзина, но чрезвычайно свѣтлыхъ въ исторіи Александра: государь ежедневно, во время своей утренней прогулки, подходилъ къ Китайскому домику и, боясь беспокоить больного, останавливался у задняго крыльца, спрашивалъ прислугу о здоровьи исторіографа и дождался, пока кто-либо изъ семейства выйдетъ къ нему и расскажетъ, какъ больной провелъ ночь. На лицѣ государя выражалось безпокойство и самая нѣжная заботливость. Но заботливо отнесся къ заболѣвшему и новый императоръ. Болѣзнь Карамзина ¹²²⁾ то ослабѣвала, то усиливалась—и такъ тянулась до весны, когда врачи рѣшили наконецъ отправить его въ Италію. Не имѣя средствъ на проѣздъ и на житье съ семьей за границей, онъ просилъ государя назначить его на имѣвшееся тогда въ виду вакантное мѣсто резидента во Флоренціи. Государь отвѣчалъ (6 апрѣля 1826 г.): „...Вамъ надо ѣхать въ Италію—вотъ, что хотятъ медики; надо ихъ послушать и избрать лучшей способъ, т.-е. покойнѣйшій, какъ туда доѣхать... Пребываніе въ Италіи не должно васъ тревожить, ибо хотя мѣсто во Флоренціи еще не вакантно, но русскому исторіографу не нужно подобнаго предлога, дабы имѣть способъ тамъ жить свободно и заниматься своимъ дѣломъ, которое, безъ лести, кажется, стоитъ дипломатической корреспонденціи, особенно флорентійской. Словомъ, я прошу васъ, не безпокойтесь объ этомъ и, хотя мнѣ въ угожденіе, дайте мнѣ озаботиться способомъ устроить вашу поѣздку“. И государь все устроилъ: по его приказанію были уже готовы фрегаты, чтобы доставить исторіографа въ Италію: но болѣзнь приняла такой ходъ, что въ началѣ мая его едва могли перевезти

во дворецъ Таврическаго сада. Государь, желая успокоить его передъ смертью относительно будущности его семьи, прислать ему (13 мая) рескриптъ и при немъ—указъ на имя министра финансовъ. Въ рескриптъ отдавалась дань литературнымъ заслугамъ Карамзина, а въ указъ говорилось: „Исторіографу Россійской имперіи д. с. с. Карамзину, отъѣзжающему для излѣченія своего за границу, повелѣваемъ производить отнынѣ по пятидесяти тысячъ рублей въ годъ, съ тѣмъ, чтобы сумма сія, обращаемая ему въ пенсію, была постъ него производима сполна же нѣ его, а по смерти ея также сполна ихъ дѣтямъ: сыновьямъ до вступленія всѣхъ ихъ въ службу, а дочерямъ до замужества послѣдней изъ нихъ“.

Карамзинъ прочелъ рескриптъ и указъ—и, какъ рассказываетъ Сербиновичъ, сталъ сильно волноваться по поводу количества назначенной пенсіи. „Это слишкомъ много!“ повторялъ онъ безпрестанно. Окружающіе старались его успокоить, и наконецъ отошли отъ постели больного „въ слезахъ и въ неизъчислимомъ чувствѣ умиленія къ человеку, который не отъ міра сего“.

22-го мая въ часъ пополудни Карамзинъ умеръ. „Исторія“ его оборвалась на 1611 годѣ, на словахъ: „Орѣшекъ не сдавался“.

Похороны Карамзинъ на Александро-Невскомъ кладбищѣ.

Теперь обратимся къ разсмотрѣнію дальнѣйшей литературной дѣятельности Карамзина, слѣдовавшей за его „Похвальнымъ словомъ императрицы Екатерины“, т.-е. къ разсмотрѣнію его „Вѣстника Европы“.

IV. «Вѣстникъ Европы» (1802—1803).

Двѣ вышеразсмотрѣнныя оды Карамзина и его „Похвальное слово“ были предназначены для императора Александра. Въ „Вѣстникѣ Европы“ издатель обращается къ обществу. Въ журналѣ этомъ помѣщались и переводныя статьи, но главное мѣсто занимаютъ въ немъ, какъ и въ „Московскомъ журналѣ“, произведенія самого Карамзина—и на нихъ-то мы прежде всего и остановимся.

Произведенія эти были характера политическаго, публицистическаго, историческаго и чисто-литературнаго. „Вѣстникъ Европы“ очень полно обрисовываетъ политическіе и общественные взгляды Карамзина, и хотя нѣкоторые изъ этихъ взглядовъ вы

зываютъ несочувствіе повѣйшей критики, тѣмъ не менѣе за „Вѣстникомъ“ остается неотъемлемая заслуга, какъ за такимъ журналомъ, который стремился обратить вниманіе русскихъ на Россію, стремился поднять въ обществѣ чувство національнаго самоуваженія и заинтересовать его родною стариною. Изъ вышеизложенной главы о чертахъ современнаго Карамзину русскаго общества, касающихся вопроса о народномъ самосознаніи, читатель видитъ, что указанныя стремленія „Вѣстника Европы“ были вполне уместны. Эти стремленія составляютъ бесспорную заслугу издателя. Вместе съ тѣмъ къ свѣтлой сторонѣ журнала принадлежитъ и то, что издатель его настаивалъ на необходимости просвѣщенія, на необходимости образованія и воспитанія юношества—и притомъ въ національномъ духѣ, и всѣмъ—и царю и подданнымъ—вмѣнялъ въ обязанность исполнять свой долгъ передъ Россіей.

Самыми важными статьями „Вѣстника“ слѣдуетъ считать статьи публицистическія и историческія. Но въ виду того, что Карамзинъ-публицистъ будетъ понятнѣе намъ, если мы сперва ознакомимся съ его политическими статьями, мы и начнемъ обзоръ „Вѣстника Европы“ съ этихъ послѣднихъ.

..

1. Статьи политическія.

Политическій отдѣлъ „Вѣстника Европы“ заключалъ въ себѣ не только одни извѣстія о событіяхъ въ политическомъ мірѣ, но и сужденія о нихъ, и былъ тогда новостью въ нашей журналистикѣ. Его велъ самъ Карамзинъ, слѣдя за современной политикой по иностраннымъ источникамъ. Само собою разумѣется, что на событія онъ смотрѣлъ подъ свойственнымъ ему угломъ зрѣнія, т.-е. руководясь дорогими для него умственными и нравственными интересами и своими политическими теоріями. Такъ, обозрѣвая въ январьской кн. 1802 г. состояніе европейскихъ державъ послѣ Амьенскаго конгресса, онъ выражаетъ свою радость, что наконецъ въ Европѣ миръ, и „исчезли ужасы десятилѣтней войны, которая будетъ славна въ лѣтописяхъ подъ страшнымъ именемъ войны революціонной“. Такъ какъ союзы державъ „составляютъ то равновѣсіе, которое нужно для политическаго благосостоянія Европы“, то—говоритъ Карамзинъ—„удалимъ теперь отъ мыслей своихъ все печальное. Небо прояснилось надъ нами: нѣкоторые остатки тучъ видны еще на горизонтѣ, но мы съ сердечнымъ удовольствіемъ смотримъ на свѣтлыя мѣста его... Россія видитъ на тронѣ своемъ любезнаго сердцу монарха, который

сего ревностию желаетъ ей счастья, взявъ себѣ за правило, что добродѣтель и просвѣщеніе должны быть основаніемъ государственнаго благоденствія. Всѣ изданные имъ законы сообразны съ духомъ времени и служатъ залогомъ его человѣколюбивыхъ намѣреній“. Обзоръніе заканчивается выраженіемъ слѣдующихъ пожеланій и надеждъ: „Желаемъ, чтобы Амьенскій конгрессъ былъ въ исторіи славнѣе всѣхъ Утрехтскихъ и Ахенскихъ конгрессовъ; чтобы съ него началась новая эпоха не только для политики, но и для самаго человѣчества. По крайней мѣрѣ истинная философія ожидаетъ хотя сего единственнаго счастливаго дѣйствія ужасной революціи, которая останется пятномъ осьмого-надесяти вѣка, слишкомъ рано названнаго *философскимъ*. Но девятый-надесяти вѣкъ долженъ быть счастливѣе, увѣривъ народы въ необходимости законнаго повиновенія, а государей—въ необходимости благодѣтельнаго, твердаго, но отеческаго правленія. Сія мысль утѣшительна для сердца, которое въ самыхъ бѣдствіяхъ человѣческаго рода находитъ такимъ образомъ залогъ добра для будущихъ временъ.—Мы желаемъ увѣдомлять нашихъ читателей о мирномъ благоденствіи державъ, о полезныхъ учрежденіяхъ во всѣхъ земляхъ, о новыхъ мудрыхъ законахъ, болѣе и болѣе утверждающихъ сердечную связь подданныхъ съ монархами. Военные громы возбуждаютъ нетерпѣливое любопытство: успѣхи мира пріятны сердцу“.

Нѣтъ сомнѣнія, что нашъ политикъ идеалистически посмотрѣлъ на Амьенскій миръ, который, по выраженію историка, закрылъ храмъ Януса на цѣлый годъ, но въ сущности былъ утѣшительнымъ для весьма немногихъ ¹²³); нѣтъ сомнѣнія, что Карамзинъ все еще односторонне смотрѣлъ на французскую революцію,—тѣмъ не менѣе кое въ чемъ былъ онъ и правъ: его страстное желаніе мира совпадало съ желаніемъ народныхъ массъ, въ особенности въ той же странѣ, гдѣ вспыхнула революція. „Во Франціи“—говоритъ Іегеръ—„Бонапартъ шелъ твердо къ своей монархической цѣли... Онъ находилъ себѣ главную опору въ тѣхъ, которые образуютъ всегда и вездѣ многочисленную партію, именно—въ массѣ требовавшихъ спокойствія и установленія власти, послѣ безсмысленнаго нагроможденія выборовъ, при которыхъ и избираемые и избиратели несли въ якобинскомъ государствѣ родъ новой барщины, вселявшей въ нихъ отвращеніе ко всякой политической жизни. Эта часть населенія, въ сущности лучшая и грудолюбивѣйшая, при ея желаніи имѣть надъ собою твердую власть, не могла не видѣть, что она состоитъ особымъ предме-

томъ заботливости для Бонапарта... Масса населенія, требующая отъ своихъ правителей прежде всего покоя и порядка, не была встревожена возрастающимъ монархическимъ направленіемъ" ¹²¹).

Вотъ еще два интересныхъ мѣста въ политическихъ статьяхъ „Вѣстника Европы“, интересныхъ потому, что въ нихъ собрано такъ много мыслей, входящихъ въ составъ политической теоріи Карамзина и вообще его политическаго кругозора.

Говоря (въ окт. 1802) о междоусобіяхъ въ Швейцаріи ¹²⁵), Карамзинъ высказываетъ слѣдующее. „Сія несчастная земля представляетъ теперь всѣ ужасы междоусобной войны, которая есть дѣйствіе личныхъ страстей, злобнаго и безумнаго эгоизма. Такъ исчезаютъ народныя добродѣтели! Онѣ, подобно людямъ, отжидаютъ свой вѣкъ въ государствахъ, а безъ высокой народной добродѣтели республика стоять не можетъ. Вотъ почему монархическое правленіе гораздо счастливѣе и надежнѣе: оно не требуетъ отъ гражданъ чрезвычайностей, и можетъ возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падаютъ. Развратъ швейцарскихъ нравовъ начался съ того времени, какъ Гельветы потомки вздумали за деньги служить другимъ державамъ; возвращаясь въ отечество съ новыми привычками и съ чуждыми пороками, они заражали ими своихъ согражданъ... Духъ торговый, въ теченіе времени овладѣвъ швейцарцами, наполнилъ сундуки ихъ золотомъ, но истощилъ въ сердцахъ гордую, исключительную любовь къ независимости. Богатство сдѣлало гражданъ эгоистами, и было второю причиною нравственнаго паденія Гельвеціи. Но древнія гражданскія и политическія связи Швейцаріи могли бы еще долго не разрушиться (ибо древность имѣетъ удивительную силу), если бы злой духъ французской революціи не сорвалъ сей некогда счастливой республики съ ея основанія. Для новыхъ политическихъ зданій нужно отмытое величіе духа одного или многихъ людей: Гельвеція не имѣетъ сихъ геніевъ, и пять новыхъ конституцій ея, мелькнувъ, исчезли, какъ тѣни“.

Въ сужденіи о Наполеонѣ, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, встрѣчаемъ нравственную подкладку. Къ Наполеону наши политики относились двойко: онъ сочувствовалъ ему, какъ правителю, положившему конецъ французской революціи, но не сочувствовалъ, какъ узурпатору, захватившему власть въ свои руки изъ видовъ честолюбія. Въ статьѣ: „Взоръ на прошедшій годъ“ (январь 1803) Карамзинъ говоритъ: „Если мы должны объявить собственное мнѣніе о консулѣ, то скажемъ, что онъ, умертвивъ чудовище революціи, заслужилъ вѣчную благодарность Франціи и

даже Европы. Въ семъ отношеніи будемъ всегда съ удовольствіемъ хвалить его, какъ великаго медика, излѣчившаго головы отъ опаснаго круженія. Пожалѣемъ, если онъ не имѣетъ законодательной мудрости Солона и чистой добродѣтели Ликурга, который, образовавъ Спарту, самъ себя навѣки изгналъ изъ отечества!... Вотъ дѣло героическое, передъ которымъ всѣ Лоды и Маренго исчезаютъ! Черезъ 2700 лѣтъ оно еще воспаляетъ умъ, и добрый юноша, читая Ликургову жизнь, плачетъ отъ восторга... Видно, что быть искуснымъ генераломъ и хитрымъ политикомъ гораздо легче, нежели великимъ, т.-е. героически-добродѣтельнымъ человекомъ".—По поводу этого мѣста Галаховъ замѣчаетъ, что Карамзинъ чуждъ въ Наполеонѣ „темную силу земного могущества" ¹²⁶).

Въ общемъ—въ политическихъ воззрѣніяхъ Карамзина, сравнительно съ тѣмъ, что высказывалось имъ въ до-Александровскую эпоху, не произошло никакихъ перемѣнъ: но въ частности мы замѣчаемъ, что политикъ „Вѣстника Европы" не остается, какъ прежде, въ сферѣ болѣе или менѣе общей, а началъ уже обращать свое вниманіе на Россію. Что же касается до его настроенія, то оно до извѣстной степени можетъ быть названо радужнымъ, такъ какъ ему кажется, что событія въ Европѣ приняли такое направленіе, которое соотвѣтствуетъ его политическому идеалу. Эти двѣ послѣднія черты, т.-е. его обращеніе къ Россіи и его радужное настроеніе особенно ярко сказались въ той изъ публицистическихъ статей „Вѣстника", которую мы ниже называемъ центральной.

2. Статьи публицистическія.

Статьи этого рода имѣли своимъ предметомъ не внѣшнюю политику, а внутреннее состояніе Россіи. Центральною между ними слѣдуетъ признать статью: „Пріятыя виды, надежды и желанія нынѣшняго времени" (1802, № 12), въ которой авторъ сперва бросаетъ взглядъ на состояніе Европы послѣ революціи, а затѣмъ переходитъ къ Россіи. Въ январѣ онъ порадовался, что „наконецъ въ Европѣ миръ"; теперь онъ радуется, что миръ этотъ не тотъ „мертвый, хладный, мрачный", котораго такъ боялся Мелодоръ ¹²⁷): напротивъ, революція, какъ теперь усмотрѣлъ Карамзинъ, имѣла полезныя слѣдствія—и упомянутая статья начинается именно указаніемъ этихъ слѣдствій. Первымъ полезнымъ слѣдствіемъ, по мнѣнію Карамзина, было то, что „революція объяснила идеи": люди увидѣли, „что гражданскій поря-

докъ священъ даже въ самыхъ мѣстныхъ или случайныхъ недостаткахъ своихъ; что власть есть для народовъ не тиранство, а защита отъ тиранства; что разбивая сію благодѣтельную эгиду, народъ дѣлается жертвою ужасныхъ бѣдствій, которыя несравненно злѣе всѣхъ обыкновенныхъ злоупотребленій власти; что самое турецкое правленіе лучше анархіи; что всѣ смѣлыя теоріи ума, который изъ кабинета хочетъ предписывать новые законы правственному и политическому міру, должны остаться въ книгахъ, вмѣстѣ съ другими болѣе или менѣе любопытными произведеніями остроумія; что учрежденія древности имѣютъ магическую силу, которая не можетъ быть замѣнена никакою силою ума, что одно время и благая воля законныхъ правительствъ должны исправить несовершенства гражданскихъ обществъ, и что съ сею довѣренностью къ дѣйствию времени и къ мудрости властей должны мы, частные люди, жить спокойно, повиноваться охотно и дѣлать все возможное добро вокругъ себя".—Такъ говорилъ Карамзинъ, опять высказывая свои любимыя политическія идеи и радуясь, что люди увѣрились въ нихъ, какъ то ему казалось на основаніи того обстоятельства, что Франція твердо шла за Наполеономъ къ монархіи. Отсюда его выводъ, что „французская революція, грозившая испровергнуть всѣ правительства, утвердила ихъ“, и теперь они „крѣпки не только воинскою силою, но и *внутреннимъ убѣжденіемъ разума*".

Это говорилъ Карамзинъ объ обществѣ, о гражданахъ; далѣе онъ ведетъ рѣчь о правительствѣ.—Если общество сознало необходимость стоять подъ знаменами властителей, то и „правительства чувствуютъ важность сего союза и общаго мнѣнія, нужду въ любви народной, необходимость истреблять злоупотребленія“, заявляетъ авторъ разсматриваемой статьи—и указываетъ на государей современной ему Европы. „Почти на всѣхъ тронахъ Европы видимъ юныхъ государей, дѣятельныхъ и ревностныхъ къ общему благу. Революція была злословіемъ свободы: правительства, не хвалясь именемъ, дозволяютъ гражданамъ пользоваться всѣми ея выгодами, согласными съ основаніемъ и порядкомъ общества. Революція обѣщала равенство состояній: государи, вмѣсто сей химеры, стараются, чтобы гражданинъ во всякомъ состояніи могъ быть доволенъ; чтобы некоторое не было презрительнымъ или угнетеннымъ. Будемъ справедливы: гдѣ теперь добрый чело-
вѣкъ не можетъ наслаждаться безопасностію? Свирѣпствуетъ ли гдѣ-нибудь тиранство въ Европѣ, если исключимъ Турцію? Не вездѣ ли обѣщаютъ наукамъ покровительство? Не вездѣ ли на-

чальства желаютъ способствовать успѣхамъ воспитанія и просвѣщенія, которое есть не только источникъ многихъ удовольствій въ жизни, но и самой благородной нравственности; которое образуетъ мудрыхъ министровъ, достойныхъ орудій правосудія, сыновъ отечества въ семействахъ, рождая чувство патриотизма, чести, народной гордости, и безъ котораго люди служатъ только одному идолу подлой корысти. Государи, вмѣсто того, чтобы осуждать разсудокъ на безмолвіе, склоняютъ его на свою сторону“. Затѣмъ слѣдуетъ указаніе положенія правителей и ихъ обязанности: „Будучи, такъ сказать, виѣ обыкновенной гражданской сферы, вознесенные выше всѣхъ низкихъ побужденій эгоизма, которыя дѣлаютъ людей несправедливыми и даже злыми; наконецъ, имѣя все, они должны и могутъ чувствовать только одну потребность: *благоустроить*, и, смотря на всякаго гражданина, думать: «я заслужилъ любовь его!»“

Второе полезное слѣдствіе революціи Карамзинъ усмотрѣлъ въ области литературы. „Въ самой литературѣ“,—говоритъ онъ:— „которая столь сильно дѣйствуетъ на умы, видимъ мы полезное слѣдствіе революціи. Прежде сей эпохи всякая дерзкая книга была модною: нынѣ, напротивъ того, писатели боятся оскорбить нравственность, ибо передъ всякимъ жива картина бѣдствій, произведенныхъ во Франціи развратомъ; даже въ самыхъ дурныхъ романахъ соблюдается какая-то благопристойность и уваженіе къ святынямъ нравовъ... Вольтеръ не могъ бы нынѣ прославиться нѣкоторыми насмѣшками... Литература, болѣе нежели когда-нибудь способствуя истинному просвѣщенію, обратилась нынѣ къ утвержденію всѣхъ общественныхъ связей“.

Третьимъ полезнымъ слѣдствіемъ явился „дружественный союзъ народовъ“, подающій надежду, что науки не только не падутъ, какъ думалось прежде Мелодору, а будутъ развиваться. Въ особенности авторъ ожидаетъ большихъ успѣховъ въ наукахъ физическихъ и моральныхъ, въ которыхъ остается еще много пробѣловъ.

Высказавъ свой радужный взглядъ на состояніе Европы, основанный на подмѣченныхъ имъ явленіяхъ въ ея политическомъ и нравственномъ мірѣ (подмѣченныхъ впрочемъ довольно односторонне, въ чемъ можно убѣдиться, сопоставивъ съ отзывами автора статьи хотя бы приведенныя нами въ своемъ мѣстѣ ¹²⁸) слова Сухомлинова о томъ неблагопріятномъ положеніи, въ какомъ находилась тогда литература во многихъ странахъ на Западѣ).—Карамзинъ переходитъ къ Россіи и прежде всего указываетъ

положеніе ея относительно другихъ европейскихъ державъ. Онъ говоритъ: „Взоръ русскаго патріота, собравъ пріятныя черты въ нынѣшнемъ состояніи Европы, съ удовольствіемъ обращается на любезное отечество. Какой надежды не можемъ раздѣлять съ другими европейскими народами, мы, осыпанные блескомъ славы и благотвореніями человеколюбиваго монарха? Никогда Россія столько не уважалась въ политикѣ, никогда ея величіе не было такъ живо чувствуемо во всѣхъ земляхъ, какъ нынѣ. Итальянская война доказала міру, что колоссъ Россіи ужасенъ не только для сосѣдовъ, но что рука его и вдали можетъ достать и сокрушить непріятеля. Когда другія державы трепетали на своемъ основаніи, Россія возвышалась спокойно и величественно. Довольная своимъ пространствомъ, естественными сокровищами и милліонами жителей; не имѣя ни въ чемъ совмѣстниковъ, не желая ничьей гибели, не боясь никакой державы, не боясь даже и союзовъ противъ себя (ибо они не согласны съ особенными выгодами государствъ въ отношеніи къ ней),—она можетъ презирать обыкновенныя хитрости дипломатики, и судьбою избрана, кажется, быть истинною посредницею народовъ“. Этотъ взглядъ Карамзина на тогдашнее положеніе Россіи относительно Европы вполне совпадалъ со взглядомъ самого императора Александра. Еще въ 1801 г. государь, бесѣдуя съ посломъ Наполеона—Дюрокомъ, сказалъ ему: „Мнѣ лично ничего не нужно; я желаю только содѣйствовать спокойствію Европы“; а въ негласномъ комитетѣ, разсуждая о томъ, какова должна быть политика Россіи относительно европейскихъ державъ, пришли къ окончательному заключенію: быть искренними въ иностранной политикѣ и не связывать себя никакими договорами въ отношеніи кого бы то ни было. Государь при этомъ замѣтилъ: „мы не имѣемъ надобности въ союзахъ съ иностранными государствами“¹²⁹).

Дальнѣйшая часть статьи.—самая главная,—посвящена обзорѣнію внутренней жизни Россіи. Въ этой жизни авторъ усматриваетъ и свѣтлыя стороны и недостатки. Въ числѣ первыхъ онъ важнѣйшею считаетъ наступившее „общее спокойствіе сердецъ“—и это заставляеть насъ вспомнить уже извѣстное намъ выраженіе его въ письмѣ къ брату отъ 20 авг. 1801 г.: „Государь расположенъ ко всякому добру, и мы при немъ отдохнули“. Вторая свѣтлая сторона состоитъ въ томъ, что „свѣтъ ума болѣе и болѣе стѣсняетъ темную область невѣжества въ Россіи“ и „благородныя, истинно человѣческія идеи болѣе и болѣе дѣйствуютъ въ умахъ“. — „Но“. — продолжаетъ Карамзинъ, — „патріотизмъ не

долженъ ослѣплять насъ; любовь къ отечеству есть дѣйствіе яснаго разсудка, а не слѣпая страсть, и, жалѣя о тѣхъ людяхъ, которые смотрятъ на вещи только съ дурной стороны, не видятъ никогда хорошаго, и вѣчно жалуются,—мы не хотимъ впасть и въ другую крайность, не хотимъ увѣрять себя, что Россія находится уже на высочайшей степени блага и совершенства. Нѣтъ, мудрое правленіе наше тѣмъ счастливѣе, что оно можетъ сдѣлать еще много добра отечеству“.

Это добро должно состоять въ исправленіи недостатковъ, и Карамзинъ указываетъ на одинъ изъ нихъ—въ мягкой формѣ пожеланія. Вотъ какъ выражается онъ: „Напримѣръ (не говоря о другомъ): какимъ великимъ дѣломъ украсится еще вѣкъ Александровъ, когда исполнится монаршая воля его—когда будемъ имѣть полное, методическое собраніе гражданскихъ законовъ, ясно и мудро написанныхъ!...¹³⁰⁾ Великая Екатерина даровала намъ систему политическихъ уставовъ, опредѣляющихъ права и отношенія состояній къ государству. Александръ даруетъ намъ систему гражданскихъ законовъ, опредѣляющихъ взаимныя отношенія гражданъ между собою“. И этими словами онъ вмѣстѣ указываетъ и на ощущавшійся недостатокъ и на свое желаніе, чтобы порученное гр. Завадовскому исправленіе этого недостатка не замедлило осуществиться.—Карамзинъ придавалъ большое значеніе именно *методическому* собранію законовъ. „Метода и порядокъ“—говоритъ онъ—„заключаютъ въ себѣ какую-то особенную силу для разума, и судья, обнимая однимъ взоромъ систему законовъ, удобнѣе впечатлѣваетъ ихъ въ душу свою“. Наконецъ „тогда законовѣдѣніе будетъ наукою и войдетъ въ систему общаго воспитанія“.

Отъ дѣятельности въ сферѣ правительства Карамзинъ переходитъ къ жизни общества и, касаясь вопроса о воспитаніи и семейной жизни, опять въ той же мягкой формѣ выражаетъ и свои упреки въ недостаткахъ и свои желанія лучшаго. Онъ говоритъ: „Какимъ общимъ нравственнымъ правиламъ слѣдуютъ родители въ образованіи дѣтей своихъ? Много ли у насъ характеровъ? И молодой человѣкъ съ *рѣшительнымъ образомъ мыслей* не есть ли рѣдкое явленіе?—Давно называютъ свѣтъ бурнымъ океаномъ: по счастливѣ, кто плыветъ съ компасомъ! а это—дѣло воспитанія. Родители, оставляя въ наслѣдство дѣтямъ имѣніе, должны присоединять къ нему и наслѣдство своихъ опытовъ, лучшихъ идей и правилъ для счастья“. Счастье же, какъ объясняетъ авторъ, зависитъ не только отъ судьбы, но и отъ *ума и характера*.—Вопросъ

о томъ, кому воспитывать дѣтей, Карамзинъ рѣшаетъ такъ: „Хорошо, если отецъ можетъ поручить сына мудрому наставнику; еще лучше, когда онъ самъ бываетъ его наставникомъ: ибо натура даетъ отцу такія права на юное сердце, какихъ никто другой не имѣетъ“. Но авторъ сѣтуетъ, что свѣтская разсѣянность, дѣйствіе полу-просвѣщенія въ людяхъ и государствахъ, мѣшаетъ родителямъ заниматься дѣтьми, и, какъ и въ „Письмахъ р. путешественника“, указываетъ на семейную жизнь англичанъ, какъ на образцовую, и опять выражаетъ надежду, что настанетъ время, когда и у насъ семейная жизнь измѣнится къ лучшему; когда и у насъ любовь и благодарность дѣтей за данное имъ хорошее воспитаніе будетъ составлять счастье родителей, и при этомъ напоминаетъ, что воспитывать дѣтей есть не только счастье, но и „долгъ гражданина, обязаннаго въ семействѣ своемъ образовывать достойныхъ сыновъ отечества“.

Заговоривъ о свѣтской разсѣянности, Карамзинъ далѣе связываетъ съ ней еще и другія вредныя стороны: она ведетъ къ карточной игрѣ и безразсудной, разорительной роскоши, вредной для государства и нравовъ. „Человѣкъ, разоряясь, прибѣгаетъ ко всѣмъ средствамъ, чтобы спастись отъ бѣдности, и къ самымъ незаконнымъ; онъ скорѣе другого можетъ притѣснить своихъ крестьянъ... Вечеру великолѣпное освѣщеніе, огромная музыка, живописныя Терпсихорины группы ¹³¹⁾, и на столѣ произведенія всѣхъ частей міра; а на другой день низкіе поклоны занмодавцамъ!... Я послалъ бы всѣхъ роскошныхъ людей на нѣсколько времени въ деревню быть свидѣтелями трудныхъ сельскихъ работъ и видѣть, чего стоитъ каждый рубль крестьянину: это могло бы излѣчить нѣкоторыхъ отъ суетной расточительности, платящей сто рублей за ананасъ для десерта“. Въ случаѣ же дѣйствительнаго избытка денегъ, авторъ рекомендуетъ такое употребленіе ихъ: „Во-первыхъ, заплатите долги свои; во-вторыхъ, приведите крестьянъ вашихъ, если можно, въ лучшее состояніе, а потомъ оставьте отечеству памятники вашей жизни. Сдѣлайте что-нибудь долговременное и полезное; учредите школу, госпиталь; будьте отцами бѣдныхъ и превратите въ нихъ чувство зависти въ чувство любви и благодарности; ободряйте земледѣліе, торговлю, промышленность; способствуйте удобному сообщенію людей въ государствѣ: пусть этотъ новый каналъ, соединяющій двѣ рѣки, и сей каменный мостъ, благодѣяніе для проѣзжихъ, называются вашимъ именемъ. Тогда иностранецъ, видя столь мудрое употребленіе богатства, скажетъ: „Россіяне умѣютъ пользоваться жизнію и наслаждаться богатствомъ!“

Карамзинъ, какъ видимъ, желалъ, чтобы то, чѣмъ онъ восхищался нѣкогда за границей, какъ плодами европейскаго просвѣщенія, явилось и на русской почвѣ. Но прежде всего онъ отъ каждаго требовалъ полезной дѣятельности и проводилъ мысль, что служить отечеству не значитъ непременно быть воиномъ или чиновникомъ. „Не всѣ могутъ быть воинами и судьями, но всѣ могутъ служить отечеству“, говоритъ онъ. „Геройъ разитъ непріятелей или хранитъ порядокъ внутренній, судья спасаетъ невинность, отецъ образуетъ дѣтей, ученый распространяетъ кругъ свѣдѣній, богатый сооружаетъ монументы благотворенія, господинъ печется о своихъ подданныхъ, владѣлецъ способствуетъ успѣхамъ земледѣлія: всѣ равно полезны государству“.—„Я люблю воображать себѣ Россійскихъ дворянъ не только съ мечомъ въ рукѣ, не только съ вѣсами Фемиды, но и съ лаврами Аполлона, съ жезломъ бога искусствъ, съ символами богини земледѣлія“. Заканчивается статья такими словами, выражающими вѣру въ силы и будущіе успѣхи русскаго народа: „Россіяне одарены отъ природы всѣмъ, что возводитъ народы на высочайшую степень гражданскаго величія: умомъ и твердымъ мужествомъ. Мы спѣшимъ къ цѣли—и, обращая взоръ на то мѣсто, гдѣ нашелъ Россіянъ Петръ, гдѣ нашла ихъ Екатерина, смѣло надѣемся, что между сею блестящею цѣлію и нами скоро не будетъ уже ни одного европейскаго народа“.

Слѣдя за Карамзинымъ съ самаго начала его литературной дѣятельности, мы вездѣ видѣли его страстную преданность умственнымъ и нравственнымъ интересамъ. Но до изданія „Вѣстника Европы“ онъ говорилъ объ этихъ интересахъ, имѣя въ виду людей вообще, „человѣчество“, какъ онъ выражался, и только изрѣдка упоминалъ о Россіи: теперь онъ заговорилъ главнымъ образомъ объ умственныхъ и нравственныхъ интересахъ своего отечества. Успокоенный относительно положенія дѣлъ въ Европѣ, положенія, какъ онъ видѣлъ, отнюдь не грозящаго наукамъ и просвѣщенію вообще, а наоборотъ—оживляющаго его надежды на дальнѣйшій духовный прогрессъ въ тѣхъ странахъ, куда нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ ѣздилъ съ цѣлію усовершенствовать въ себѣ человѣка, — Карамзинъ переноситъ свой взоръ на Россію, видитъ на тронѣ ея государя, „расположеннаго ко всякому добру“, и, вѣря въ силы русскаго народа, начинаетъ и съ своей стороны, „помогать нравственному образованію этого народа, развивать идеи, указывать новыя красоты въ жизни“. Разсмотрѣнную статью мы и назвали центральной въ томъ

смыслъ, что сю, во-первыхъ, опредѣляется направленіе новаго журнала Карамзина, а во-вторыхъ, указываются и тѣ основанія, на которыя издатель опирался, придавая своему журналу извѣстное направленіе. Наконецъ ее можно назвать центральной еще и потому, что къ ней, какъ къ центру, примыкаютъ и многія другія публицистическія статьи издателя. Ихъ мы теперь и рассмотримъ.

Въ статѣ: „Пріятные виды“... между прочимъ сказано, что гражданинъ обязанъ въ семействѣ своемъ образовать достойныхъ сыновъ отечества. Подъ таковыми сынами Карамзинъ разумѣлъ людей, не только честно исполняющихъ свое служебное дѣло, но и проникнутыхъ чувствомъ народнаго самоуваженія — чувствомъ, которое, какъ мы видѣли ¹³²⁾, нерѣдко парализовалось разнаго рода галломанскими, англomanскими и вообще космополитическими влеченіями.

Желая повліять на поднятіе въ обществѣ разумаго, сознательнаго патріотизма и чувства народнаго самоуваженія и вмѣстѣ съ тѣмъ показать неосновательность тѣхъ, которые ужъ слишкомъ „смирены въ мысляхъ о своемъ народномъ достоинствѣ“, Карамзинъ помѣстилъ въ „Вѣстникъ Европы“ (1802, № 4) свою всѣмъ извѣстную статью: „О любви къ отечеству и народной гордости“. Начинается эта статья теоретическимъ разъясненіемъ понятія о любви къ отечеству, которая, какъ говоритъ авторъ, можетъ быть трехъ видовъ: физическая, нравственная и политическая. Первая, заключающаяся въ естественной привязанности человѣка къ мѣсту своего рожденія, и вторая — въ привычкѣ къ тѣмъ людямъ, съ которыми онъ росъ и воспитывался, суть „дѣйствіе природы и свойствъ человѣка“, и потому „не составляютъ еще той великой добродѣтели, которою славилась греки и римляне“. Добродѣтель эта — патріотизмъ, или политическая любовь къ отечеству. „Патріотизмъ есть любовь ко благу и славѣ отечества и желаніе способствовать имъ во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ требуетъ разсужденія — и потому не всѣ люди имѣютъ его“. Затѣмъ авторъ указываетъ, какого именно разсужденія требуетъ патріотизмъ.

„Самая лучшая философія“ — говоритъ онъ — „есть та, которая основываетъ обязанности человѣка на его счастіи. Она скажетъ намъ, что мы должны любить пользу отечества, ибо съ нею неразрывна наша собственная; что его просвѣщеніе окружаетъ насъ самихъ многими удовольствіями въ жизни; что его тишина

и добродѣтели служатъ щитомъ семейственныхъ наслажденій; что слава его есть наша слава; и если оскорбительно человѣку называться сыномъ презрѣннаго отца, то не менѣе оскорбительно и гражданину называться сыномъ презрѣннаго отечества“. Отсюда выводъ: „Такимъ образомъ любовь къ собственному благу производитъ въ насъ любовь къ отечеству, а личное самолюбіе—гордость народную, которая служитъ опорою патріотизма“. Выводъ относительно народной гордости подтверждается примѣрами: „Такъ греки и римляне считали себя первыми народами, а всѣхъ другихъ варварами; такъ англичане, которые въ новѣйшія времена болѣе другихъ славятся патріотизмомъ, болѣе другихъ о себѣ мечтаютъ“.

Покончивъ съ теоретическою частью своей статьи, Карамзинъ обращается къ современному ему русскому обществу и говоритъ: „Я не смѣю думать, чтобы у насъ въ Россіи было не много патріотовъ; но мнѣ кажется, что мы излишне смиренны въ мысляхъ о народномъ своемъ достоинствѣ—а смиреніе въ политикѣ вредно. Кто самого себя не уважаетъ, того, безъ сомнѣнія, и другіе уважать не будутъ. Не говорю, чтобы любовь къ отечеству долженствовала ослѣплять насъ и увѣрять, что мы всѣхъ и во всемъ лучше; но русскій долженъ по крайней мѣрѣ знать цѣну свою. Согласимся, что нѣкоторые народы вообще насъ просвѣщеннѣе: ибо обстоятельства были для нихъ счастливѣе; но почувствуемъ же и всѣ благодѣянія судьбы въ разсужденіи народа російскаго; *станемъ смѣло на ряду съ другими, скажемъ ясно имя свое, и повторимъ его съ благородною гордостію*“.

Приглашеніе стать смѣло на ряду съ другими Карамзинъ основываетъ на высокихъ свойствахъ характера русскаго народа и на его духовныхъ способностяхъ—и чтобы раскрыть эти свойства и эти способности, онъ обращается сперва къ его прошлому—къ исторіи, а затѣмъ и къ текущему настоящему.

Обращаясь къ исторіи, Карамзинъ останавливается на тѣхъ моментахъ и фактахъ, которые наиболѣе характеризуютъ духовный складъ русскаго народа, и напоминаетъ читателю о слѣдующемъ.

Уже первыя страницы нашей исторіи говорятъ, что „слава была колыбелью русскаго народа, а побѣда—вѣстницею бытія его“; что славяне разбивали римскіе легіоны и брали дань съ царей греческихъ; что предки наши „отличались отъ другихъ сѣверныхъ народовъ не только своею храбростію, но и какимъ-то рыцарскимъ добродушіемъ“. Въ одиннадцатомъ вѣкѣ русскіе „не уступали

другимъ европейскимъ народамъ и въ просвѣщеніи, имѣя по религіи тѣсную связь съ Царемъ-градомъ, который дѣлился съ нами плодами учености, и во время Ярослава были переведены на славянскій языкъ многія греческія книги. Къ чести твердаго русскаго характера служить то, что Константинополь никогда не могъ присвоить себѣ политическаго вліянія на отечество наше. Князья любили разумъ а знаніе грековъ, но всегда готовы были оружіемъ наказывать ихъ за малѣйшіе знаки дерзости. Благодаря удѣльной системѣ, Россія пережила татарское иго, но и въ самомъ несчастіи явила свое величіе. Она, „терзаемая лютымъ врагомъ, гибла со славою: цѣлые города предпочитали вѣрное истребленіе стыду рабства. Жители Владимира, Чернигова, Кіева принесли себя въ жертву народной гордости, и тѣмъ спасли имя русскихъ отъ поношенія“. Самое то обстоятельство, что Россія подпала подъ татарское иго, не можетъ позорить ее въ глазахъ Европы, потому что который же изъ ея народовъ не былъ въ узахъ нѣсколько разъ? „По крайней мѣрѣ завоеватели наши устрашали Востокъ и Западъ. Тамерланъ, сидя на тронѣ Самаркандскомъ, воображалъ себя царемъ міра. И какой народъ такъ славно разорвалъ свои цѣпи? такъ славно отмстилъ врагамъ свирѣпымъ? Надлежало только быть на престолѣ рѣшительному, смѣлому государю: народная сила и храбрость, послѣ нѣкотораго усыпленія, громомъ и молніею возвѣстили свое пробужденіе. Время самозванцевъ представляетъ опять горестную картину мятежа; но скоро любовь къ отечеству воспламеняетъ сердца—граждане, земледѣльцы требуютъ военачальника, и Пожарскій, ознаменованный славными ранами, встаетъ съ одра болѣзни. Добродѣтельный Мишинъ служить примѣромъ; и кто не можетъ отдать жизни отечеству, отдаетъ ему все, что имѣетъ... Древняя и новая исторія народовъ не представляетъ намъ ничего трогательнѣе сего общаго геройскаго патріотизма“. Перейдя къ преобразованной Петромъ Россіи, Карамзинъ отмѣчаетъ успѣхи ея въ военномъ искусствѣ. „Мы взглянули, такъ сказать, на Европу, и однимъ взоромъ присвоили себѣ плоды долговременныхъ трудовъ ея. Едва великій государь сказалъ нашимъ воинамъ, какъ надобно владѣть новымъ оружіемъ, они, взявъ его, лѣтъли сражаться съ первою европейскою арміею. Явились генералы, нынѣ ученики, а завтра—примѣры для учителей. Скоро другіе могли и должны были перенимать у насъ; мы показали, какъ бьютъ шведовъ, турокъ—и наконецъ французовъ. Сіи славные республиканцы, которые еще лучше говорятъ, нежели сражаются, и такъ часто твердятъ о своихъ ужасныхъ штыкахъ.

бѣжали въ Италіи отъ перваго взмаха штыковъ русскихъ. Зная, что мы храбрѣе многихъ, не знаемъ еще, кто насъ храбрѣе. Мужество есть великое свойство души; народъ, имъ отличенный, долженъ гордиться собою“.

Обращаясь къ текущему настоящему, авторъ статьи указываетъ, что русскіе, сравнившись съ европейцами въ военномъ искусствѣ, сравнились съ ними и во многихъ другихъ отношеніяхъ. „Наша людскость“,—говоритъ Карамзинъ,—„тонъ общества, вкусъ въ жизни—удивляютъ иностранцевъ, пріѣзжающихъ въ Россію съ ложнымъ понятіемъ о народѣ, который въ началѣ осьмого-надесяти вѣка считался варварскимъ“. Правда, все это было перенято отъ Европы, и „завистники русскихъ говорятъ, что мы имѣемъ только въ высшей степени *персимчивость*; по развѣ она не есть знакъ превосходнаго образованія души? Сказываютъ, что учителя Лейбница находили въ немъ также одну *персимчивость*“.

Дойдя такимъ образомъ до современныхъ ему дней, Карамзинъ въ дальнѣйшей части своего разсужденія продолжаетъ говорить о достоинствахъ русскаго человѣка, но въ то же время и укоряетъ образованное общество въ его недостаткахъ, въ особенности въ тѣхъ, которые были слѣдствіемъ его галломаніи.

Сравнивая наши успѣхи въ военномъ искусствѣ съ успѣхами въ наукахъ, Карамзинъ находитъ послѣдніе недостаточными, но объясняетъ эту малоуспѣшность отнюдь не недостаткомъ дарованій, а единственно лишь малою долею обращеннаго на науки вниманія. „Если бы наши молодые дворяне *учась могли доучиваться* и посвящать себя наукамъ, то,—говоритъ онъ, подобно Ломоносову исполненный вѣры въ способности русскаго человѣка,—мы имѣли бы уже своихъ Линнеевъ, Галлеровъ, Боннетовъ. Успѣхи литературы нашей (которая требуетъ менѣе учелости, но, смѣю сказать, еще болѣе разума, нежели собственно такъ называемыя науки) доказываютъ великую способность русскихъ. Давно ли знаемъ, что такое слогъ въ стихахъ и прозѣ,—и можемъ въ нѣкоторыхъ частяхъ уже равняться съ иностранцами. У французовъ еще въ шестомъ-надесяти вѣкѣ философствовали и писали Монтань: чудно ли, что они вообще пишутъ лучше насъ? Не чудно ли, напротивъ того, что нѣкоторыя наши произведенія могутъ стоять на ряду съ ихъ лучшими, какъ въ живописи мыслей, такъ и въ отѣнкахъ слога?“ Излишнее поклоненіе иностранному, доведшее многихъ до пренебрежительнаго отношенія къ отечественной словесности, вызываетъ слѣ-

дующія слова Карамзина: „Мы никогда не будемъ умны чужимъ умомъ и славны чужою славою: французскіе, англійскіе авторы могутъ обойтись безъ нашей похвалы; но русскимъ нужно по крайней мѣрѣ вниманіе русскихъ. Расположеніе души моей, слава Богу, совсѣмъ противно сатирическому и бранному духу; но я осмѣлюсь попенять многимъ изъ нашихъ любителей чтенія, которые, зная лучше парижскихъ жителей всѣ произведенія французской литературы, не хотятъ и взглянуть на русскую книгу. Того ли они желаютъ, чтобы иностранцы увѣдомляли ихъ о русскихъ талантахъ? Пусть же читаютъ французскіе и нѣмецкіе критическіе журналы, которые отдають справедливость нашимъ дарованіямъ, судя по нѣкоторымъ переводамъ *)... Нѣкоторые извиняются худымъ знаніемъ русскаго языка: это извиненіе хуже самой вины“. Последнія слова автора статьи показываютъ, до какихъ предѣловъ доходило иногда слѣдствіе французскаго воспитанія. При этомъ худое знаніе отечественнаго языка у галломановъ соединялось со взглядомъ на него, какъ на языкъ грубый и непріятный. Карамзинъ, какъ мы видѣли, еще въ „Письмахъ“ своихъ указывалъ достоинства русскаго языка; теперь онъ еще разъ беретъ на себя его защиту и говоритъ: „Языкъ нашъ выразителенъ не только для высокаго краснорѣчія, для громкой живописной поэзіи, но и для нѣжной простоты, для звуковъ сердца и чувствительности. Онъ богатѣе гармоніею, нежели французскій; способнѣе для изліянія души въ тонахъ; представляетъ болѣе *аналогическихъ* словъ, т.-е. сообразныхъ съ выражаемымъ дѣйствіемъ: выгода, которую имѣютъ одни коренные языки! Бѣда наша, что мы все хотимъ говорить по-французски, и не думаемъ трудиться надъ обработываніемъ собственнаго языка: мудрено ли, что не умѣемъ изъяснить имъ нѣкоторыхъ тонкостей въ разговорѣ? Одинъ иностранный министръ сказать примѣ, что «языкъ нашъ долженъ быть весьма теменъ, ибо русскіе, говоря имъ, — по его замѣчанію, — не разумѣютъ другъ друга, и тотчасъ должны прибѣгать къ французскому». Не мы ли сами подаемъ поводъ къ такимъ нелѣпымъ заключеніямъ?—Языкъ важенъ для патріота, и я люблю англичанъ за то, что они лучше хотятъ *свистать и шипѣть* по-англійски, ... нежели говорить чужимъ языкомъ, извѣстнымъ почти всякому изъ нихъ“.

Въ заключеніи Карамзинъ даетъ совѣтъ русскому обществу

*) Такимъ образомъ самый худой французскій переводъ Ломоносова одъ и разныхъ мѣстъ изъ Сумарокова заслужилъ вниманіе и похвалу иностранныхъ журналистовъ. (Примѣч. Карамз.).

быть разумнымъ въ подражаніи и заимствованіи и позаботиться о самобытности. „Есть всему предѣлъ и мѣра: какъ человѣкъ, такъ и народъ начинаетъ всегда подражаніемъ; но долженъ со временемъ быть *самъ собою*, чтобы сказать: я *существую нравственно!*.. Хорошо и должно учиться; но горе и человѣку и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ!“

Въ разсмотрѣнной статьѣ Карамзинъ является публицистомъ не только высоко оцѣнивающимъ значеніе народности, но и поборникомъ народной самобытности: сказавши когда-то, что „путь просвѣщенія *одинъ* для народовъ“, что „всѣ они идутъ имъ вслѣдъ другъ за другомъ“, — онъ теперь различаетъ въ исторіи каждаго народа два періода: подражательный и самобытный, и говоритъ, что первый для Россіи уже окончился, и наступило время второго. Девизъ нашъ въ этомъ второмъ періодѣ — *труды и надежды*. „Побѣды очистили намъ путь ко благоденствію; слава есть право на счастье“.

Въ тѣсной связи съ разсужденіемъ: „О любви къ отечеству...“ находится статья: „Странность“ (1802, № 2), написанная по поводу появившейся въ московскихъ газетахъ публикати, въ которой долго жившій въ Россіи французъ и возвратившійся въ свое отечество приглашалъ русскихъ дворянъ отправлять дѣтей въ открытый имъ близъ Парижа пансіонъ, обѣщая учить ихъ всему нужному, въ особенности же русскому языку. Статья эта интересна не только какъ голосъ патріота, но и какъ изложеніе взглядовъ ея автора на воспитаніе.

„Живучи въ уединеніи“, — пишетъ Карамзинъ, — „я не знаю, что другіе подумали о такомъ объявленіи. Мнѣ кажется оно болѣе смѣшнымъ, нежели досаднымъ: ибо я увѣренъ, что наши дворяне не захотятъ воспользоваться благосклоннымъ предложеніемъ господина Н. Н. Французы вѣтрены — были и будутъ! Снисходительный человѣкъ во многомъ извиняетъ ихъ *легкомысліе*. Иначе какъ вздумать, чтобы родители въ отечествѣ нашемъ не имѣли способовъ воспитывать дѣтей, и могли безразсудно удалить ихъ отъ себя, забыть священный долгъ свой и ввѣрить судьбу юныхъ сердецъ чужому, неизвѣстному человѣку?.. У насъ есть разсудокъ. Мы знаемъ первый и святѣйшій законъ природы, что мать и отецъ должны образовать нравственность дѣтей своихъ, которая есть главная часть воспитанія; мы знаемъ, что всякій долженъ расти въ своемъ отечествѣ и заранѣе привыкать къ ея климату, обычаямъ, характеру жителей, образу жизни и правленія; мы знаемъ, что въ одной Россіи можно сдѣлаться хорошимъ рус-

скимъ—а намъ, для государственнаго счастія, не надобно ни французовъ ни англичанъ!“ Далѣе авторъ говоритъ, что поѣздку за границу онъ считаетъ для молодого человѣка очень полезной, но лишь въ то время, когда онъ подготовленъ къ ней „основательнымъ разсужденіемъ“; но ни въ какомъ случаѣ не допускаетъ, чтобы дѣти съ юныхъ лѣтъ воспитывались внѣ своего отечества. ибо человѣкъ *„всегда, всегда любитъ ту землю, въ которой воспитывался: истина, важная для отцовъ семейства и понятная для всякаго разума!... Если отецъ пошлетъ десятилѣтняго сына своего на пять или на шесть лѣтъ въ чужую землю, то чужая земля будетъ для сына отечествомъ: она дастъ ему первыя нравственныя, сильныя чувства, и сама натура привяжетъ его къ ней милыми, неразрывными узами. Возрастъ отрока есть развитіе нравственности и души; отъ 10 до 15 лѣтъ рѣшится судьба нашей жизни и чувствительности... А сынъ мой, которому опредѣлено жить и умереть въ Россіи, поѣдетъ образовать душу свою во Францію? Ему надобно знать русскихъ, съ которыми у него одно гражданское и нравственное счастіе: а я пошлю его къ французамъ! Положимъ, что всѣ европейскіе народы съ нѣкотораго времени сближаются между собою характеромъ; но различіе все еще велико, и навсегда останется въ свойствахъ, обычаяхъ и нравахъ, происходящихъ отъ климата, образа правленія, *судьбы нашихъ предковъ* и другихъ причинъ, еще неизъясненныхъ философами. Господинъ Н. Н., учредитель парижскаго пансіона, скажетъ намъ: „Вы должны согласиться, что человѣкъ еще важнѣе гражданина: а человѣкъ можетъ лучше образоваться во Франціи, нежели въ Россіи“. Первое справедливо; на второе не согласимся. Мы уже, слава Богу, не варвары; у насъ есть всѣ способы просвѣщенія, какіе только могутъ найтись во Франціи; и тамъ и здѣсь учатъ одному, по однимъ авторамъ и книгамъ. Самый французскій языкъ можно въ Петербургѣ или въ Москвѣ узнать такъ же хорошо, какъ въ Парижѣ“. Къ этому Карамзинъ прибавляетъ замѣтку и о русскомъ языкѣ. Если даже допустить, говоритъ онъ, что французскій языкъ нельзя изучить въ Россіи такъ же хорошо, какъ въ Парижѣ, то все-таки „нѣкоторые совершеннѣйшіе его отгѣнки награждаютъ ли за нравственный и политическій вредъ чужестраннаго воспитанія? Природный языкъ для насъ важнѣе французскаго; а господинъ Н. Н., не смотря на свое милостивое обѣщаніе, не выучитъ дѣтей нашихъ въ Парижѣ говорить такъ хорошо по-русски, какъ они здѣсь выучатся. Питомцы его, черезъ 6 или 7 лѣтъ возвратясь въ Россію, стали бы терзать слухъ*

нашъ варварскими своими фразами; они сказали бы намъ: „мы *говоримъ языкъ* свой; мы знаемъ *математики*; мы *представляемъ* наши почтенія согражданамъ“ *)—а сограждане называли бы ихъ глупцами, невѣждами, дурно-воспитанными людьми: ибо кто не знаетъ своего природнаго языка, тотъ, конечно, дурно воспитанъ, хотя бы зналъ наизусть и всѣ книги браминъ; они сказали бы симъ полу-галламъ: „Зачѣмъ вы къ намъ прѣѣхали? зачѣмъ не остались во Франціи? Мы не признаемъ васъ земляками своими; вы недостойны называться русскими, которые гордятся языкомъ Святослава, Владимира, Пожарскаго, Петра Великаго. Вы не имѣете отечества: ибо и самые французы, не смотря на то, что вы прекрасно даете чувствовать нѣкое, не признаютъ васъ французами!“ Заканчивается статья сильнымъ выраженіемъ патріотическаго чувства, соединеннаго съ негодованіемъ противъ явленій галломаніи. Въ итогахъ господина Н. Н., говоритъ авторъ, „добродушные родители, лишивъ себя неизъяснимаго удовольствія видѣть въ лицѣ и въ душѣ милыхъ дѣтей расцвѣтаніе красоты физической и нравственной, вмѣсто благовоспитанныхъ людей увидѣли бы французскихъ обезьянъ или попугаевъ, которые наименовали бы имъ всѣхъ парижскихъ актеровъ, а не умѣли бы съ чувствомъ произнести священнаго имени Россіи, отца, матери и согражданъ!“

Издатель „Вѣстника Европы“, какъ видимъ, стоялъ за національное воспитаніе. Но возставать противъ воспитателей-иностранцевъ заставляло его не одно патріотическое чувство: воспитатели эти, не будучи въ состояніи образовать хорошаго русскаго гражданина, нерѣдко не могли воспитать и хорошаго человѣка. До какой степени могло иногда простираться ихъ растлѣвающее вліяніе—Карамзинъ указываетъ въ статьѣ: „Моя исповѣдь“ (1802, № 6), написанной въ видѣ письма къ издателю отъ лица графа Н. Н., который и является героемъ разсказа. Вотъ въ какихъ чертахъ изображенъ герой. Сынъ богатаго знатнаго господина, выросшій шалуномъ, выучился по-французски и не зналъ народнаго языка своего; игралъ десяти лѣтъ на театрѣ, и въ пятнадцать не имѣлъ идеи о должностяхъ человѣка и гражданина. На шестнадцатомъ году его отправили за границу подъ надзоромъ женева Менделя. „Любезный графъ!“ сказалъ ему Мендель: „природа и судьба уговорились сдѣлать тебя образцомъ

*) „Такія фразы слышали мы отъ русскихъ французовъ“. (Примѣчаніе Карамзина).

любезности; ты прекрасенъ, уменъ, богатъ и знатенъ: довольно для блестящей роли въ свѣтѣ! все прочее не стоитъ труда. Мы ѣдемъ въ Лейпцигскій университетъ; родители твои, слѣдую обыкновенію, желаютъ, чтобы ты украсилъ разумъ свой знаніями, и поручили тебя моему смотрѣнію: будь спокоенъ! я родился въ республикѣ—и ненавижу тиранство! Надѣюсь только, что моя снисходительность заслужитъ со временемъ твою признательность“. И вотъ юноша по утрамъ дремлетъ на лекціяхъ, а по вечерамъ ведетъ разгульную жизнь, затѣмъ продолжаетъ вести ее въ Парижѣ, гдѣ удивляетъ вѣтрениковъ „какъ смѣлою своею философіею, такъ и всѣми тонкостями *языка повѣсь*, всѣми его техническими выраженіями“, заимствованными отъ Менделя. Пополнивъ потомъ курсъ своего образованія въ Англіи тѣмъ, что научился „усердно“ пить, онъ возвращается въ отечество безъ всякой ясной идеи въ головѣ, безъ всякаго чувства въ сердцѣ, кромѣ скуки; начинаетъ вести такую распутную жизнь, что превосходитъ всѣхъ романтическихъ Ловеласовъ; проматываетъ все свое состояніе, теряетъ и послѣдніе остатки нравственного чувства—и въ концѣ своей исповѣди говоритъ: „Правда, что нѣкоторые люди смотрятъ на меня съ презрѣніемъ и говорятъ, что знатная фамилія есть обязанность быть полезнымъ человѣкомъ въ государствѣ и добродѣтельнымъ гражданиномъ въ отечествѣ. Но повѣрю ли имъ, видя съ другой стороны, какъ многіе изъ нашихъ любезныхъ соотечественниковъ стараются подражать мнѣ, живутъ безъ цѣли, женятся безъ любви, разводятся для забавы и разоряются для ужиновъ!“

Положимъ, что Карамзинъ изображаетъ тутъ типъ сатирическій и сгущаетъ краски; но во всякомъ случаѣ въ жизни русскаго общества того времени много было явленій, подававшихъ поводъ къ подобной сатирѣ. И чего нельзя ожидать отъ тѣхъ воспитателей, на которыхъ сами же французы смотрѣли, какъ на заразную язву. Мессельеръ, чиновникъ французскаго посольства при дворѣ императрицы Елисаветы, въ своемъ „*Voyage à Pétersbourg, ou nouveaux mémoires sur la Russie*“ между прочимъ пишетъ: „Мы обступлены были тучею всякаго рода французовъ, изъ коихъ главная часть, поссорясь съ парижскою полиціею, пришли *заражать* сѣверныя страны. Мы поражены были удивленіемъ и сожалѣніемъ, нашедъ у многихъ знатныхъ господъ бѣглецовъ, промотавшихся, распутныхъ людей, которымъ поручено было воспитаніе дѣтей самыхъ знатнѣйшихъ“¹³³). Подобные воспитатели встрѣчались очень часто и въ Екатерининскую и въ Алексан-

дровскую эпоху. Вотъ почему Карамзинъ былъ недоволенъ тѣмъ, что большая часть наставниковъ въ то время у насъ были иностранцы, и онъ не разъ обращалъ на это вниманіе правительства. Такъ въ статьѣ: „О новыхъ благородныхъ училищахъ, заводимыхъ въ Россіи“ (1802, № 8), написанной главнымъ образомъ съ цѣлю высказать одобреніе по поводу начавшагося учрежденія въ городахъ такъ называемыхъ „благородныхъ пансіоновъ“, онъ, указывая, что уже императрица Екатерина думала о замѣнѣ иностранныхъ наставниковъ природными русскими и хотѣла, чтобы въ кадетскомъ корпусѣ нарочно для этой цѣли воспитывались дѣти мѣщанъ,—говоритъ: „нельзя ли возобновить мысль ея, нельзя ли сравнять выгоды учительскаго званія съ выгодами чиновъ? или нельзя ли завести особенной педагогической школы, для которой россійское дворянство въ нынѣшніи счастливыя времена не пожалѣло бы денегъ?... У насъ не будетъ совершенно моральнаго воспитанія, пока не будетъ хорошихъ русскихъ учителей... Никогда иностранецъ не пойметъ нашего народнаго характера, и слѣдственно не можетъ сообразоваться съ нимъ въ воспитаніи. Иностранцы весьма рѣдко отдаютъ намъ справедливость: мы ихъ ласкаемъ, награждаемъ, а они, выѣхавъ за курляндскій шлагбаумъ, смѣются надъ нами или бранятъ насъ... и печатаютъ нелѣпости о русскихъ“.

Вопросу объ учителяхъ посвящена Карамзинымъ даже цѣлая статья, но мы должны сперва коснуться предшествовавшей ей статьи, написанной по поводу объявленія „Новаго плана народнаго просвѣщенія“ и озаглавленной такъ: „О новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи“ (1803, № 5). Статья эта, начинающаяся словами: „24 января державная рука Александра подписала безсмертный указъ о заведеніи новыхъ училищъ и распространеніи наукъ въ Россіи“, есть выраженіе восторга автора при мысли, что вслѣдствіе этого указа въ нашемъ отечествѣ „городскія школы, гимназіи, университеты, умноженные числомъ, оживленные лучшимъ внутреннимъ образованіемъ, будутъ сильнѣе прежняго дѣйствовать на воспитаніе умовъ“. Но болѣе всего онъ радуется тому, что отнынѣ, по волѣ императора Александра, просвѣщеніемъ въ Россіи будутъ пользоваться не одни высшія сословія, но и простые земледѣльцы. „Петръ Великій“—воскликаетъ Карамзинъ—„учредилъ первую академію въ нашемъ отечествѣ, Елисавета—первый университетъ, Великая Екатерина—городскія школы; но Александръ, размножая университеты и гимназіи, говоритъ еще: *да будетъ свѣтъ и въ хижинахъ!*

Новая, великая эпоха начинается отнынѣ въ исторіи нравственнаго образованія Россіи, которое есть корень государственнаго величія, и безъ котораго самыя блестящія царствованія бывають только личною славою монарха, не отечества, не народа. Россія, сильная и счастливая во многихъ отношеніяхъ, унижалась еще справедливою завистію, видя торжество просвѣщенія въ другихъ земляхъ и слабый, невѣрный блескъ его въ обширныхъ странахъ ея“. Часто указывая въ своихъ сочиненіяхъ на важное значеніе просвѣщенія для человѣчества вообще, Карамзинъ останавливается въ этой статьѣ на значеніи его для государства. „Не одно народное славолубіе терпитъ отъ недостатка въ просвѣщеніи: иѣтъ, онъ мѣшаетъ всякому дѣйствію благотворныхъ намѣреній правителя, на всякомъ шагу останавливаетъ его, отнимаетъ силу у великихъ, мудрыхъ законовъ, рождаетъ злоупотребленія, несправедливости и—однимъ словомъ—не позволяетъ государству наслаждаться внутреннимъ общимъ благоденствіемъ, которое одно достойно быть цѣлію истинно великаго, т.-е. добродѣтельнаго монарха“.—Однако, воздавая хвалу Александру, авторъ статьи не хочетъ, чтобы похвала его была истолкована въ смыслѣ упрека предшественникамъ этого государя, и потому замѣчаетъ: „Ревностная признательность наша къ дѣламъ сего монарха не должна казаться неблагодарностію въ разсужденіи его славныхъ и великихъ предшественниковъ. Имя Петра и Екатерины будетъ вѣчно сіять въ заглавіи исторіи ума и просвѣщенія въ Россіи; но чего они не могли сдѣлать, то сдѣлалъ Александръ, который имѣетъ счастье царствовать послѣ нихъ и въ девятомъ-надесять вѣкѣ“. Далѣе авторъ обращается къ русскому дворянству и вызываетъ его прійти на помощь правительству въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ просвѣщеніе народа. „Теперь“—говоритъ онъ—„дворянство російское имѣетъ случай доказать свое усердіе къ отечеству; доказать, что мы достойны такого монарха и нашихъ предковъ, и что польза общая намъ всего любезнѣе. Заведеніе и надежный успѣхъ сельскихъ училищъ зависятъ отчасти отъ патріотической ревности дворянъ: они, безъ сомнѣнія, изъявляютъ ее всѣми возможными способами, и посредственность будетъ спорить съ избыткомъ въ знакахъ великодушной щедрости. Самая вѣрнѣйшая опора политическихъ и государственныхъ правъ есть государственная добродѣтель... Нынѣ, благодаря Провидѣнію, времена спокойны, и мы не въ печальной, но въ радостной одеждѣ можемъ служить отечеству...; можемъ и должны исполнить надежду монарха...; можемъ стараніями, пріятными для благород-

ной души, и частию доходовъ своихъ способствовать славнѣйшему дѣлу въ свѣтѣ: просвѣщенію народа и благу потомства..." И затѣмъ Карамзинъ указываетъ на важность заведенія сельскихъ школъ: „Учрежденіе сельскихъ школъ несравненно полезнѣе всѣхъ лицеевъ, будучи истиннымъ *народнымъ* учрежденіемъ, истиннымъ основаніемъ государственнаго просвѣщенія. Предметъ ихъ ученія есть важнѣйшій въ глазахъ философа. Между людьми, которые умѣютъ только читать и писать, и совершенно безграмотными гораздо болѣе разстоянія, нежели между неучеными и первыми метафизиками въ свѣтѣ“.

Эту же мысль о важности распространенія просвѣщенія въ народѣ Карамзинъ высказывалъ и въ своемъ „Похвальномъ словѣ“. „Народныя школы“, говорилъ онъ тамъ, „могутъ и должны быть полезнѣе всѣхъ академій въ мірѣ, дѣйствуя на первые элементы народа; и смиренный учитель, который дѣтямъ бѣдности и трудолюбія изъясняетъ буквы, ариѳметическія числа и рассказываетъ въ простыхъ словахъ любопытные случаи исторіи, или, развертывая нравственный катихизисъ, доказываетъ, сколь нужно и выгодно человѣку быть добрымъ, въ глазахъ философа почтенъ не менѣе метафизика,... натуралиста, фізіолога, астронома, занимающихъ своею наукою только нѣкоторую часть людей“.

Порадовался Карамзинъ и тѣмъ двумъ статьямъ „Новаго плана“, изъ которыхъ одна предоставляла университетамъ право самимъ выбирать профессоровъ, а другая побуждала къ изученію законовѣдѣнія всѣхъ молодыхъ людей, желавшихъ вступить въ гражданскую службу. Первая возвышала ученое сословіе и ставила ученыхъ въ зависимость только отъ ученыхъ же, а вторая гарантировала правосудіе отъ ошибокъ невѣжества.

Теперь обратимся къ оставшейся еще неразсмотрѣнною статьѣ объ учителяхъ. Она помѣщена въ 8-мъ № „Вѣстника Европы“ за тотъ же 1803 г., подъ заглавіемъ: „О вѣрномъ способѣ имѣть въ Россіи довольно учителей“, и первыя же строки ея показываютъ, что она тоже находится въ связи съ обнародованіемъ „Новаго плана“.

Указавъ, что у насъ, какъ и вездѣ, есть два рода людей: одни вѣрятъ въ легкій успѣхъ добраго намѣренія, а другіе встрѣчаютъ его припѣвомъ лѣниваго ума: „какъ ни мудри, а все будетъ по старому“—Карамзинъ говоритъ: „Такимъ образомъ и сей новый уставъ просвѣщенія, которымъ утѣшаются добрые патріоты, можетъ иному флегматическому скептику представить великія трудности въ своемъ исполненіи. Напримѣръ, онъ скажетъ: „Гдѣ

Россія будетъ находить столько учителей, сколько ихъ нужно для уѣздныхъ и губернскихъ школъ по новому образованію? кѣмъ наполнятся педагогическіе институты? можно ли надѣяться на достаточное число охотниковъ?“—„Отвѣчаемъ ему“. — Отвѣтъ Карамзина заключался въ слѣдующемъ предложеніи: „если въ Москвѣ и въ каждомъ учебномъ округѣ Россіи будетъ отъ 300 до 500 воспитанниковъ на казенномъ или общественномъ содержаніи, то черезъ 10 или 15 лѣтъ университетскимъ правленіемъ останется только выбирать достойнѣйшихъ изъ нихъ для званія учителей. Патріотическая ревность нашего дворянства и купечества можетъ въ семъ случаѣ обнаружиться съ блескомъ и существенною пользою, чтобы не отяготить казны издержками... Пусть богатый человѣкъ достойно славится тѣмъ, что его благотворительность воспитываетъ 10 или 20 молодыхъ людей при университетѣ: другой не менѣе его можетъ радоваться мыслию, что, удѣляя нѣчто отъ плодовъ своего трудолюбія, дастъ хотя *одному* сыну бѣднаго мѣщанина средство учиться и быть полезнымъ гражданиномъ“.

Мы только что приводили взглядъ Карамзина на народнаго учителя, высказанный имъ въ его „Похвальномъ словѣ“. Въ разсматриваемой статьѣ онъ тоже старается поднять это званіе въ глазахъ общества—и пишетъ: „Народный учитель есть, конечно, какъ говорится, не великій господинъ; но малочиновость бываетъ оскорбительна для самолюбія только въ гражданской дѣятельности и въ частныхъ сношеніяхъ съ людьми. Учитель по должности своей удаленъ отъ свѣтскаго вихря: онъ есть глава въ кругу своемъ, не имѣетъ нужды въ другихъ, а другіе имѣютъ въ немъ нужду (отцы и родственники учениковъ), и можетъ скорѣе возгордиться, нежели унизиться въ своихъ чувствахъ. Сіе знаменіе такъ справедливо, что во многихъ европейскихъ земляхъ *гордость школьнаго мастера* вошла въ пословицу“.

Еще въ первой книжкѣ „Вѣстника Европы“ Карамзинъ сказалъ, что ему утѣшительно помогать нравственному образованію русскаго народа и развивать идеи. Въ статьѣ: „О вѣрномъ способѣ имѣть въ Россіи довольно учителей“ онъ какъ бы заявляетъ, что не ошибся въ своей сладкой надеждѣ на такое утѣшеніе. Онъ говоритъ: „Нынѣшнее счастливое состояніе Россіи, мудрый духъ правленія, спокойствіе сердець, веселыя лица, чувствительность русскихъ къ добру—вселяютъ въ насъ охоту разсуждать о дѣлахъ общей пользы“. И дѣйствительно издатель „Вѣстника

Европы“ охотно разсуждалъ о дѣлахъ общественныхъ и государственныхъ, слѣдилъ за тѣми и другими, высказывалъ свой взглядъ, подавалъ совѣты. Такъ, когда при Московскомъ университетѣ открылись публичныя лекціи съ цѣлю, „чтобы самымъ тѣмъ людямъ, которые не думаютъ и не могутъ исключительно посвятить себя ученому состоянію, сообщать свѣдѣнія и понятія о наукахъ *любопытнѣйшихъ*“,—Карамзинъ въ статьѣ: „О публичномъ преподаваніи наукъ въ Московскомъ университетѣ“ (1803) радостно привѣтствовалъ такое начинаніе. Онъ одобрительно отнесся къ программѣ лекцій, и мы не можемъ не привести того мѣста его отзыва, которымъ характеризуется взглядъ его на значеніе естествовѣдѣнія въ образовательномъ курсѣ. При Московскомъ университетѣ читались публичныя лекціи исторіи народовъ и исторіи естественной. Карамзинъ говоритъ: „знаніе той и другой необходимо для человѣка и гражданина, если онъ желаетъ называться просвѣщеннымъ“.—Читалось также и систематическое обозрѣніе торговли. По поводу этого рода лекцій авторъ статьи замѣчаетъ: „Торговля, будучи связію народовъ, мѣною ихъ промышленности, доставленіемъ многихъ пріятностей жизни и способомъ какъ частнаго, такъ и государственнаго обогащенія, сдѣлалась нынѣ важною наукою для людей, которые посвящаютъ себя ея великимъ предпріятіямъ, и весьма любопытною для того, кто хочетъ имѣть ясныя идеи о политическомъ состояніи нынѣшнихъ государствъ. Не только купцу или человѣку, обязанному по своей гражданской должности знать основаніе, свойство и ходъ торговли, но и всякому другому пріятно имѣть свѣдѣніе о разныхъ видахъ коммерціи, о государственныхъ выгодахъ, отъ нея происходящихъ, о государственныхъ правилахъ, которымъ въ разсужденіи торговли слѣдуютъ благо-разумные министры, — о банкахъ, обращеніи денегъ, курсѣ и проч.“.

Лекціи имѣли успѣхъ, и Карамзинъ нѣкогда описывавшій тѣсноту и вниманіе слушателей въ аудиторіи Платнера, не мало, конечно, радовался, видя въ залѣ Московскаго университета „знатныхъ дамъ, благородныхъ молодыхъ людей, духовныхъ, купцовъ, студентовъ Законоспасской академіи и людей всякаго званія, которые въ глубокой тишинѣ и со вниманіемъ устремляютъ глаза на профессорскую кафедру“. Онъ надѣялся, что „сн публичныя лекціи должны со временемъ имѣть еще болѣе успѣха, т.-е. образовать еще большее число *любителей учености*“, и, имѣя въ виду нерѣдкіе случаи отпращиванія еще незрѣлыхъ юно-

шей въ заграничные университеты, сдѣлалъ такую замѣтку: „Послѣ всего, что великодушный Александръ сдѣлалъ и дѣлаетъ для ускоренія наукъ въ Россіи, мы не исполнимъ долга патріотовъ и даже поступимъ неблагоразумно, если будемъ еще отправлять молодыхъ людей въ чужія земли учиться тому, что преподается въ нашихъ университетахъ. Московскій отличается уже въ разныхъ частяхъ достойными учеными мужами: скоро новые профессора, вызванные изъ Германіи и въ цѣлой Европѣ извѣстные своими талантами, умножатъ число ихъ, и *первый* университетъ русскій, подѣ руководствомъ своего дѣятельнаго и ревностнаго къ успѣху наукъ попечителя, Михаила Никитича Муравьева, возвысится еще на степень славнѣйшую въ ученomъ свѣтѣ“.

По случаю манифеста объ образованіи министерствъ (на мѣсто Петровскихъ коллегій) и указа „о правахъ и должностяхъ Сената“, Карамзинъ указалъ ¹³⁴⁾ слѣдующую программу дѣятельности министровъ: „способствовать утвержденію мудрой политической системы въ Европѣ, торжеству святого правосудія внутри имперіи, благоустройству во всѣхъ частяхъ ея, мирнымъ искусствамъ гражданственности и народному просвѣщенію, котораго одно имя столь любезно душѣ благородной, и безъ котораго нѣтъ *ни славы, ни величія, ни морали* въ государствахъ“—и тутъ же прибавилъ: „Уже прошло то время въ Россіи, когда одна милость государева, одна мирная совѣсть могли быть наградою добродѣтельнаго министра въ теченіе его жизни: умы созрѣли въ счастливый вѣкъ Екатерины II, и россияне чувствуютъ достоинство знаменитыхъ патріотовъ, цѣну ихъ усердія къ отечеству и монарху, цѣну чистой добродѣтели; теперь *лестно и славно заслужить*, вмѣстѣ съ милостію государя, и *любовь просвѣщенныхъ россиянъ*“. Это было сказано по адресу министровъ; по адресу же сенаторовъ предназначались слѣдующія слова: „Сей указъ напоминаетъ намъ славное начало Сената, когда первый императоръ Россіи, побѣдивъ Швецію и приготовляясь къ новой, не менѣе опасной войнѣ, основалъ его, какъ спасительный колоссъ власти въ столицѣ государства, и съ торжественными обрядами самъ повелѣ сенаторовъ къ алтарю Всевышняго клясться предъ лицомъ Россіи, что они будутъ вѣрными государю и государству, правдѣ и совѣсти «до послѣдняго издыханія силы, памятуя будущій престолъ и на немъ сидящаго въ день страшнаго испытанія»: —клятва великая и святая, которою сенаторъ навсегда обрекается быть живымъ органомъ государственной добродѣтели и дѣлается въ глазахъ каждаго россиянина истинно-знаменитымъ сыномъ оте-

чества, ибо великія обязанности дѣлають человѣка знаменитымъ, предполагая въ немъ особенную силу или добродѣтель для ихъ выполненія“.

Въ статьѣ: „О россійскомъ посольствѣ въ Японію (1803), написанной по поводу снаряженія экспедиціи въ эту страну, Карамзинъ указалъ обществу на важное значеніе этого предпріятія и въ научномъ, и въ торговомъ, и въ политическомъ отношеніи, и тутъ же выступилъ противникомъ тѣхъ, по его выраженію, *очень скромныхъ* русскихъ, которые полагали, что Россія, не имѣя незамерзающихъ гаваней, не должна думать „о знаменитости въ мореплаваніи“. „Петръ Великій не такъ думалъ“, говоритъ нашъ новый Теофанъ Прокоповичъ. „Мудрено ли? Онъ былъ русскій въ душѣ и патріотъ; а сіи господа или англomаны, или галломаны, и желаютъ называться космополитами. Только мы, обыкновенные люди, не можемъ съ ними парить выше *низкаго* патріотизма; мы стоимъ на землѣ—и на землѣ Русской; смотримъ на свѣтъ не въ очки систематиковъ, а своими природными глазами; думаемъ, что въ нынѣшнемъ состояніи вещей государство не можетъ достигнуть до совершеннаго величія безъ флотовъ и знаменитыхъ успѣховъ мореплаванія“. И далѣе слѣдуютъ доказательства, почему Россія должна заботиться о развитіи своего флота, а также и „смѣлаго духа предпримчивости“. Японская экспедиція являлась въ глазахъ автора залогомъ будущихъ успѣховъ въ томъ и другомъ.

Новѣйшая критика ставитъ въ упрекъ издателю „Вѣстника Европы“ между прочимъ то, что онъ, рассматривая событія изъ внутренней жизни Россіи, „выдвигалъ наиболѣе утѣшительныя изъ нихъ и стушевывалъ или совсѣмъ опускалъ тѣ, которыя могли бы дать менѣе розовыя понятія о дѣйствительности“. Ему ставятъ на видъ такія, напримѣръ, его отзывы: „наша людкость, тонъ общества, вкусъ въ жизни удивляютъ иностранцевъ“; „свѣтъ ума болѣе и болѣе стѣсняетъ темную область невѣжества въ Россіи; благородныя, истинно человѣческія идеи болѣе и болѣе дѣйствуютъ въ умахъ“; „наше среднее состояніе успѣваетъ не только въ искусствѣ торговли, но многіе изъ купцовъ спорятъ съ дворянами и въ самыхъ общественныхъ свѣдѣніяхъ“ и т. п. ¹³⁵⁾ Но вѣдь надо имѣть въ виду, что издатель „Вѣстника“ хотѣлъ дѣйствовать на общество прежде всего ободряющимъ образомъ, хотѣлъ поднять въ немъ чувство народнои гордости. Отсюда естественно, что онъ долженъ былъ искать въ этомъ обществѣ и собирать именно то, что было въ немъ свѣтлаго, и

что могло его поднять въ его же собственныхъ глазахъ. При томъ же Карамзинъ, указывая на „утѣшительныя“ явленія, не былъ совершенно неправъ: какъ ни много было еще отрицательныхъ сторонъ въ русской жизни, все же Россія, хотя и медленно, шла впередъ. Ко всякому движенію можно относиться двояко: можно быть недовольнымъ тѣмъ, что въ немъ нѣтъ желаемой быстроты, но и можно радоваться и тѣмъ успѣхамъ, которые совершаются и при движеніи наличной скорости. Въ расчетъ Карамзина входило послѣднее, но не исключительно: онъ, какъ мы видѣли, указывать и на темныя стороны русской жизни, то прямо осуждая ихъ, то намекая на нихъ выраженіемъ своихъ пожеланій, какъ напр. это сдѣлано имъ относительно комиссіи составленія законовъ и въ предлагаемой имъ программѣ дѣятельности министровъ.

Впрочемъ и самъ критикъ, дѣлающій Карамзину вышеуказанные упреки, все-таки признаетъ за „Вѣстникомъ Европы“ важную роль въ исторіи русской журналистики. „Объ этой роли“ — говоритъ онъ — „нельзя судить съ точки зрѣнія настоящаго:... многое, что теперь кажется отсталостью, полвѣка тому назадъ было значительнымъ прогрессомъ. До Карамзина у насъ, вмѣсто настоящей журналистики, въ принятомъ смыслѣ этого слова, были официальные изданія, академическіе сборники, имѣвшіе характеръ скорѣе учебниковъ, чѣмъ общественныхъ органовъ... Карамзинъ же былъ первымъ журналистомъ, подводившимъ какъ русскія, такъ и иностранныя событія подъ мѣрило одного общаго воззрѣнія, первымъ частнымъ человекомъ, который пріобрѣлъ этимъ путемъ извѣстное вліяніе на публику, безъ официальной поддержки и какого бы то ни было казеннаго штемпеля. Собираясь писать русскую исторію, Карамзинъ съ твердостью указывать на свои журнальныя заслуги тогдашнему товарищу министра народного просвѣщенія, и изъ цифры его годового дохода (6 тысячъ р.) видно, что публика оказывала ему не только нравственную, но и матеріальную поддержку — вопросъ, тоже немаловажный въ исторіи развитія журналистики“ *). Затѣмъ, сказавъ, что взгляды Карамзина подходили къ умственному уровню публики, что піэтизмъ его былъ искренній, критикъ продолжаетъ: „Можно прямо сказать, что въ журналахъ Карамзина тогдашніе образованные люди находили не только тѣ факты, которые ихъ интересовали, но и

*) Въ первый годъ „Московского журнала“ у него было только 300 подписчиковъ, и врядъ ли даже онъ приносилъ барышъ издателю. У „Вѣстника Европы“ подписчиковъ было уже гораздо больше. (Примѣч. Пятковского).

тѣ воззрѣнія, которыя были имъ всего больше по вкусу. Все это излагалось притомъ легкимъ, простымъ языкомъ, понятнымъ для каждаго безъ особенныхъ усилій. Эта доступность воззрѣній Карамзина, эта золотая умѣренность, при всѣхъ своихъ теоретическихъ недостаткахъ, способствовала тому, что всѣ читатели невольно мирились на его журналѣ, и ни одного изъ нихъ не отталкивалъ онъ отъ себя суровымъ словомъ или крайнимъ, строго выработаннымъ міросозерцаніемъ. «Какъ скоро между авторомъ и читателемъ—справедливо говорится въ статьѣ о книжной торговлѣ—великое разстояніе, то первый не можетъ сильно дѣйствовать на послѣдняго». Между Карамзинымъ и его читателями не было такой разъединяющей пропасти, а потому его изданія пошли хорошо и повлекли за собою цѣлую плеяду журналовъ съ различными направленіями и оттѣнками. Мысли Карамзина, добавимъ это, не были крайнія и рѣзкія, но ихъ далеко нельзя было назвать въ ту пору ретроградными: по своей эластичности они не становились еще въ разрѣзъ съ умственнымъ движеніемъ эпохи, даже, наоборотъ, способствовали этому движенію, поддерживая любовь къ наукѣ и уваженіе къ человѣческой личности¹³⁶)».

Конечно, перечислить заслуги Карамзина, какъ публициста, можно было бы и полнѣе: можно было бы указать на его стремленіе обратить вниманіе русскихъ на Россію, на ея исторію, на свой языкъ, на свою литературу — и вообще шире указать безспорно положительныя стороны „Вѣстника Европы“—стороны, о которыхъ мы уже говорили выше ¹³⁷); но мы привели этотъ критическій отзывъ о журналѣ Карамзина не съ тѣмъ, чтобы воспользоваться имъ, какъ полной характеристикой, а лишь съ цѣлю отмѣтить, что и между антикарамзинистами есть критики, не отрицающіе важнаго общественнаго значенія публицистическихъ статей разсматриваемаго журнала.

Мы извлекли важнѣйшее изъ публицистическихъ статей „Вѣстника Европы“; остается еще освѣтить взглядъ Карамзина въ ту пору на одинъ изъ серьезнѣйшихъ вопросовъ его времени — на вопросъ объ освобожденіи крестьянъ. Вопросъ этотъ, поднятый еще въ началѣ царствованія императрицы Екатерины II, затрогивался, какъ мы видѣли, и при Александрѣ I; но Карамзинъ не сталъ на сторону освобожденія. Нѣтъ сомнѣнія, что съ современной намъ точки зрѣнія защита крѣпостничества не можетъ быть симпатичной — и отсюда такое негодованіе противъ Карамзина его новѣйшихъ критиковъ. Но какъ ни благородно это негодованіе,

мы предпочитаемъ спокойное отношеніе къ дѣлу — и прежде всего укажемъ тѣ основанія, на которыхъ Карамзинъ позволялъ себѣ высказываться противъ освобожденія, затѣмъ приведемъ тѣ рѣчи его, изъ которыхъ мы извлекли эти основанія, и потомъ уже перейдемъ къ критикѣ.

Высказанный въ „Вѣстникѣ“ взглядъ Карамзина на крестьянскій вопросъ очень напоминаетъ его взглядъ на формы правленія государствомъ, а именно — его сравнительный взглядъ на республику и самодержавную монархію. И дѣйствительно, подобно тому, какъ Карамзинъ не былъ безусловнымъ врагомъ республики, но считалъ ее небезопасной для блага гражданъ лишь подъ условіемъ высокаго развитія въ нихъ добродѣтели, а слѣдовательно, по его воззрѣнію, и просвѣщенія: такъ не является онъ безусловнымъ врагомъ и освобожденія крестьянъ: онъ допускаетъ его, но лишь подъ условіемъ соединенія свободы съ просвѣщеніемъ. Далѣе: подобно тому, какъ, по его завѣренію, гласныя о мятежахъ и безпорядкахъ лѣтописи республикъ привели его къ убѣжденію въ превосходствѣ монархіи¹³⁸): такъ личный опытъ, познакомившій его съ вреднымъ вліяніемъ на крестьянъ „храмовъ русскаго неопрытнаго Бахуса“ и заставившій его видѣть умственную и нравственную неподготовленность ихъ къ свободѣ, приводитъ его къ убѣжденію въ опасности несвоевременной еще реформы. Но параллель этимъ еще не кончается: не затронута еще нравственная сторона вопроса и остается мѣсто удивленію, какимъ образомъ Карамзинъ, заявлявшій, что онъ любитъ человѣчество болѣе страстно, чѣмъ Донъ-Кихоть любитъ свою Дульцинею¹³⁹), могъ значительную часть его подчинять произволу помѣщика. Удивленіе это устраняется, если параллель будетъ продолжена. Подобно тому, какъ, по воззрѣнію Карамзина, душой правленія государствомъ должна быть справедливость, а монархъ — благотворителемъ своего народа: такъ та же справедливость должна быть душой отношенія къ крестьянамъ ихъ помѣщика, обязаннаго быть ихъ отцомъ, руководителемъ и благотворителемъ. Этимъ Карамзинъ и умиротворяетъ свое нравственное чувство, свою совѣсть.

Вотъ выводъ, вытекающій изъ помѣщенной въ 17-мъ № „Вѣстника Европы“ за 1803 г. статьи Карамзина: „Письмо сельскаго жителя¹⁴⁰)“, изъ которой существенное мы и выпишемъ.

„Сдѣлавшись рано господиномъ изряднаго имѣнія, и будучи, смѣю сказать, налитанъ духомъ филантропическихъ авторовъ, т.-е.

ненавистію ко злоупотребленіямъ власти, я желалъ быть заочно благодѣтелемъ поселянъ моихъ: отдалъ имъ всю землю, до-вольствовался самымъ умѣреннымъ оброкомъ, не хотѣлъ имѣть въ деревнѣ ни управителя ни приказчика, которые не рѣдко бывають хуже самыхъ худыхъ господъ, и съ удовольствіемъ искренняго челоуѣколюбія написалъ къ крестьянамъ: «Добрые земледѣльцы! сами изберите себѣ начальника для порядка, живите мирно, будьте трудолюбивы и считайте меня своимъ вѣрнымъ заступникомъ во всякомъ притесненіи». Возвращаясь наконецъ къ пенатамъ родины, чтобы умереть тамъ, гдѣ началъ жить, я сердечно утѣшался пріятною мыслию, что найду деревню свою въ цвѣтущемъ состояніи; какъ поэтъ, воображалъ богатыя нивы, пажити, полныя житницы, избытокъ, благоденствіе, и сочинялъ уже въ головѣ своей письмо къ какому-нибудь русскому журналисту о счастливыхъ плодахъ свободы, данной мною крестьянамъ... Пріѣзжаю и нахожу бѣдность, поля весьма худо обработанныя, житницы пустыя, хижины гніющія!... Съ горестнымъ удивленіемъ призываю къ себѣ стариковъ, которыхъ имена были мнѣ еще съ ребячества памятны,—разспрашиваю ихъ, и наконецъ узнаю истину! Покойный отецъ мой, живучи самъ въ деревнѣ, смотрѣлъ не только за своими, но и за крестьянскими полями: хотѣлъ, чтобы и тѣ и другія были хорошо обработаны —и въ нашей деревнѣ хлѣбъ родился лучше, нежели во многихъ другихъ; господинъ богатѣлъ, и земледѣльцы не бѣднѣли. Воля, мною имъ данная, обратилась для нихъ въ величайшее зло: то-есть въ волю лѣниться и предаваться гнусному пороку пьянства, дошедшему съ нѣкотораго времени до ужасной крайности какъ въ нашей, такъ и въ другихъ губерніяхъ... Землю мою отдавали они въ наймы и брали 5 рублей за десятину, которая можетъ принести отъ 30 до 40 —но съ трудомъ, а имъ не хотѣлось и для своей выгоды работать. Я возобновилъ господскую пашню, сдѣлался самымъ усерднымъ экономомъ, началъ входить во всѣ подробности, надѣлалъ бѣдныхъ всѣмъ нужнымъ для хозяйства, объявилъ войну лѣнливому, но войну не кровопролитную; вмѣстѣ съ ними, на поляхъ, встрѣчалъ и провожалъ солнце; хотѣлъ, чтобы они и для себя такъ же старательно трудились, во-время пахали и сѣяли; требовалъ отъ нихъ строгаго отчета и въ нерабочихъ дняхъ; перестроилъ всю деревню самымъ удобнѣйшимъ образомъ; ввелъ по возможности опрятность, чистоту въ избахъ, не столько пріятную для глазъ, сколько пужную для сохраненія жизни и здоровья... Всего же болѣе похваюсь тѣмъ, что крестьяне благодарятъ меня за ны-

нѣшнюю свою трезвость и работливость, видя счастливые плоды ихъ: изъ бѣдныхъ они сдѣлались зажиточными; имѣютъ хлѣбъ, лошадей, скотоводство и надежду быть со временемъ сельскими богачами. Одинъ опытъ могъ увѣрить ихъ въ счастіи трудолюбія. Принудьте злого дѣлать добро: отвѣчаю, что онъ скоро полюбитъ его. Заставьте лѣниваго работать: онъ скоро удивится своей прежней ненависти къ трудамъ. Сократъ называлъ добродѣтель *знаніемъ*: всякій порокъ можно назвать *невѣжествомъ* — ибо онъ есть слѣпота ума; ибо въ немъ гораздо болѣе страданія, нежели пріятности. Иностранные путешественники, видя въ Россіи безпечную лѣность крестьянина, обыкновенно приписываютъ ее такъ называемому рабству. «Какъ ему охотно трудиться (говорятъ сін господа), когда помѣщикъ можетъ всегда отнять у него имущество?» Но смѣю увѣрить ихъ, что такая философія никогда не входила въ голову нашимъ земледѣльцамъ: они лѣнны отъ природы, отъ навыка, отъ незнанія выгодъ трудолюбія. Какой господинъ въ самомъ дѣлѣ отнимаетъ у крестьянъ хлѣбъ, лошадей и другую собственность? и развѣ нѣтъ между ими богатыхъ и промышленныхъ? Достойно замѣчанія, что нерадивые всегда приписываютъ избытокъ работающихъ не трудамъ ихъ, а счастію! Иностранные глубокомысленные политики, говоря о Россіи, знаютъ все, кромѣ Россіи. Я рассуждалъ такъ же въ городскомъ кабинетѣ своемъ; но въ деревнѣ перемѣнилъ мысли. У насъ много вольныхъ крестьянъ: но лучше ли господскихъ они обрабатываютъ землю? по большей части напротивъ. Съ нѣкотораго времени хлѣбопашество во всѣхъ губерніяхъ приходитъ въ лучшее состояніе: отъ чего же? отъ старанія помѣщиковъ: плоды ихъ экономіи, ихъ смотрѣнія надѣляютъ изобиліемъ рынки столицъ. Если бы они, принявъ совѣтъ иностранныхъ филантроповъ, всѣ сдѣлали то же, что я прежде дѣлалъ: наложили на крестьянъ оброкъ, отдали имъ всю землю, и сами навсегда уѣхали въ городъ, то я увѣренъ, что на другой годъ пришло бы гораздо менѣе хлѣбныхъ барокъ какъ въ Москву, такъ и въ Петербургъ. Не знаю, что вышло бы черезъ пятьдесятъ или сто лѣтъ: время, конечно, имѣетъ благотворныя дѣйствія; но первые годы, безъ сомнѣнія, поколебали бы систему мудрыхъ англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ головъ. Она хороша, если бы мы, принявъ ее, могли заснуть съ Эпименидомъ по крайней мѣрѣ на цѣлый вѣкъ... Время подвигаетъ впередъ разумъ народовъ, но тихо и медленно: *бѣда законодателямъ облетать его!* Мудрый идетъ шагъ за шагомъ и смотритъ вокругъ себя. Богъ видитъ, люблю ли

я человѣчество и народъ русскіи; имѣю ли предразсудки, обожаю ли гнусный идолъ корысти — но для истиннаго благополучія земледѣльцевъ нашихъ желаю единственно того, чтобы они имѣли добрыхъ господъ и средство просвѣщенія, *которое одно, одно сдѣлаетъ все хорошее возможнымъ*. Къ счастью, мы живемъ въ такое время, когда мудрое отеческое правительство угадываетъ всѣ истинныя потребности государственнаго и народнаго блага: съ какою радостію читалъ я указъ о заведеніи школъ деревенскихъ! Вотъ исполнскій шагъ къ вѣрнѣйшему благоденствію поселянъ! Они русскіе: слѣдовательно имѣютъ много природнаго ума; но умъ безъ знанія — сидень“.

Далѣе Карамзинъ, говоря по адресу помѣщиковъ, совѣтуетъ имъ завести школы, гдѣ бы учили не одной грамотѣ, но и „правиламъ сельской морали“; говоритъ о важномъ значеніи священника, развивающаго въ своей паствѣ истинно-религіозное чувство и помогающаго помѣщику въ воспитаніи его крестьянъ, а самому помѣщику вмѣняетъ въ обязанность служить имъ примѣромъ и „считать ихъ людьми и братьями по человѣчеству и христіанству“. Заканчивается „Письмо сельскаго жителя“ сладостнымъ увѣреніемъ его въ томъ, что онъ живетъ съ истинною пользою для пятисотъ человѣкъ, ввѣренныхъ ему судьбою. „Прискорбно жить съ людьми, которые не хотятъ любить насъ: всего же не-споспѣе жить въ свѣтѣ безполезно. Главное право русскаго дворянина — быть помѣщикомъ *); главная должность его — быть *добрымъ* помѣщикомъ. Кто исполняетъ ее, тотъ служитъ отечеству, какъ вѣрный сынъ, тотъ служитъ монарху, какъ вѣрный подданный: ибо Александръ желаетъ счастья земледѣльцевъ“.

Въ „Письмѣ сельскаго жителя“ двѣ стороны: съ одной оно есть гуманное слово въ пользу крестьянъ-рабовъ, съ другой оно есть слово, враждебное освобожденію.

Такъ какъ въ Александровскую эпоху *только шла рѣчь* объ освобожденіи, а на самомъ дѣлѣ крѣпостное право *существовало*, то гуманное требованіе Карамзина, чтобы помѣщики заботились о крестьянахъ и были ихъ добрыми воспитателями, могло быть очень умѣстнымъ, а слова его, что помѣщикъ долженъ считать своихъ крѣпостныхъ *людьми и братьями по человѣчеству и христіанству*, были не только назидательными для многихъ, но могли считаться даже либеральными для своего вре-

*) Объ этомъ выраженіи см. примѣчаніе 140-е.

мени. Съ этой стороны „Письмо сельскаго жителя“ могло имѣть воспитательное значеніе. Но то же „Письмо“, рассматриваемое, какъ протестъ противъ освобожденія, могло вызывать — и вызывало — возраженія, какъ въ нравственномъ, такъ и въ экономическомъ отношеніи. Въ первомъ отношеніи Карамзину можно было ужъ то поставить на видъ, что его справедливый и добрый помѣщикъ, воспитатель своихъ крестьянъ, былъ все-таки идеаломъ, а на самомъ дѣлѣ нерѣдко и справедливейшіе изъ „господъ“ не только распоряжались по собственнымъ соображеніямъ брачными союзами между крѣпостными и ихъ семейной жизнью, но и продавали ихъ поодиночкѣ, разлучая дѣтей съ родителями, сестеръ съ братьями. На нравственный и вмѣстѣ съ нимъ на экономическій вредъ отъ крѣпостного права указывалъ еще гр. Сегюръ, французскій посолъ при дворѣ императрицы Екатерины II. Затѣмъ за освобожденіе высказывались и мотивировали свое желаніе многіе русскіе люди, а въ особенности Н. И. Тургеневъ, который, по замѣчанію Пыпина, сдѣлалъ крестьянскій вопросъ и вопросомъ народности, когда въ своемъ сочиненіи: „La Russie et les Russes“ сказалъ: „... какъ тяжело поражаетъ насъ участь, которую вѣка дали русскому народу. У другихъ народовъ рабство было слѣдствіемъ завоеванія; когда варвары сдѣлали наше ствѣе на Европу, они воспользовались правомъ сильнаго, и побѣжденныхъ сдѣлали рабами. Въ Россіи татары покорили нашихъ свободныхъ предковъ; русскій народъ, благодаря продолжительнымъ усиліямъ, успѣлъ, наконецъ, свергнуть это унижительное иго: послѣ освобожденія, какъ и до покоренія, рабство оставалось ему неизвѣстно. II только въ ту эпоху, когда начало развиваться могущество Россіи, нѣкоторые изъ ея государей, повинувшись роковому заблужденію, положили основаніе, на которомъ впоследствии должно было утвердиться крѣпостное право. Что же оказалось тогда? Татары, которыхъ мы въ свою очередь побѣдили, остались лично свободны; многіе изъ нихъ вскорѣ сдѣлались дворянами, между тѣмъ какъ наибольшая часть побѣдителей, т.-е. настоящаго русскаго народа, стали крѣпостными. Потомъ множество иноземцевъ, пришедшихъ изъ Европы и Азіи, явилось въ рядахъ дворянства, захватило титулы и почести, а дѣти Россіи продолжаютъ влачить свои цѣпи“ ¹⁴¹⁾.

Но съ другой стороны мы должны замѣтить, что, не смотря на вліяніе философскихъ идей XVIII-го вѣка, даже между свободомыслящими людьми тѣхъ временъ были такіе, которые боязливо относились къ освобожденію „непросвѣщенныхъ“ крестьянъ. Къ

такимъ принадлежалъ и самъ Руссо. Въ своихъ „*Considérations sur le gouvernement de Pologne*“ (1772) онъ говорилъ: „Освобожденіе крестьянъ есть дѣло прекрасное и великое, но вмѣстѣ смѣлое и опасное. Надобно приступать къ нему не кое-какъ, а съ предосторожностями, между которыми главнѣйшая заключается въ томъ, чтобы людей, назначенныхъ къ освобожденію, сдѣлать достойными свободы и способными ею пользоваться. Позаботьтесь прежде всего объ этомъ; не освобождайте ихъ тѣла, прежде нежели освободите ихъ душу; безъ этого предварительнаго акта вана операція будетъ имѣть дурной исходъ“. II Руссо предлагалъ освобождать крестьянъ лишь постепенно, выбирая тѣхъ изъ нихъ, которые „отличались поведеніемъ, добрыми нравами, приличнымъ образованіемъ, попеченіемъ о своихъ семействахъ, тщательнымъ выполненіемъ всѣхъ обязанностей ихъ званія“. „II даръ свободы“ — говорилъ онъ — „долженъ быть имъ вручаемъ торжественно, съ такою обстановкою, отъ которой церемонія дѣлалась бы величественною, трогательною и памятною“ ¹⁴²).

Въ Александровскую эпоху—Лагарпъ тоже совѣтовалъ быть осторожнымъ въ крестьянскомъ вопросѣ; Чарторижскій же говорилъ, что право помѣщиковъ на крестьянъ *столь ужасно*, что не должно ничего опасаться при его нарушеніи. Строгановъ и Кочубей стояли за рѣшительный шагъ, за рѣшеніе вопроса однимъ разомъ; Новосильцевъ и Мордвиновъ — за медленное и постепенное улучшеніе положенія крестьянъ.

Такъ разнообразны были взгляды на крестьянскій вопросъ. Среди нихъ взглядъ Карамзина былъ, конечно, самымъ консервативнымъ. Но справедливость требуетъ отмѣтить, что если авторъ „Письма сельскаго жителя“ приносилъ вредъ обществу своимъ напоминаніемъ ему о томъ, что главное право русскаго дворянина — быть помѣщикомъ, такъ какъ этимъ онъ парализовалъ вліяніе проникавшей въ общество идеи освобожденія, — то съ другой стороны требованіе, чтобы русскій дворянинъ не забывалъ и своей главной обязанности — быть помѣщикомъ *добрымъ*, тоже могло имѣть значеніе въ томъ обществѣ, которое, не смотря на бродившую въ умахъ идею освобожденія, на самомъ дѣлѣ все-таки продолжало состоять изъ рабовладѣльцевъ.

3. Статьи историческія.

Важнымъ отдѣломъ „Вѣстника Европы“ были и историческія статьи Карамзина: „Историческія воспоминанія и замѣчанія на пути къ Троицѣ“, „О случаяхъ и характерахъ въ россійской

исторіи, которые могутъ быть предметомъ художествъ“, „Путешествіе вокругъ Москвы“, „О московскомъ мятежѣ въ царствованіе Алексѣя Михайловича“, „Русская старина“ и др. Статьи эти, слѣдствіе историческихъ занятій ихъ автора, написанныя перомъ искуснымъ и сильнымъ, пробуждали въ обществѣ интересъ къ родной исторіи и старинѣ и уже этимъ самымъ должны были вліять на подъемъ духа народности. Мѣстами въ нихъ встрѣчаются слѣды усиленнаго желанія Карамзина обратить вниманіе соотечественниковъ на свое прошлое. Такъ напр. статья: „Русская старина“ онъ предпослалъ такую замѣтку: „Сообщаю анекдоты и разныя извѣстія о старой Москвѣ и Россіи, выбранныя мною изъ чужестранныхъ авторовъ, которые во время царей жили въ нашей столицѣ, и которыя не во всѣхъ библіотекахъ находятся. Думаю, что эта статья для многихъ читателей будетъ занимательна. *Къ несчастію, мы такъ худо знаемъ русскую старину, любезную для сердца патріотовъ*“. Первую изъ вышеназванныхъ статей онъ начинаетъ указаніемъ на то, что даже иностранцы интересуются нашей стариною: „Троицкій монастырь святъ не только для сердецъ набожныхъ, но и для ревностныхъ любителей отечественной славы; не только россияне, но и самые просвѣщенные иностранцы, знающіе нашу исторію, любопытствуютъ видѣть мѣста великихъ происшествій“. Погодинъ называетъ эту статью одной изъ самыхъ счастливыхъ статей Карамзина и говоритъ, что она „оживила дорогу, всѣмъ извѣстную, и возбудила участіе къ разнымъ историческимъ вопросамъ“¹⁴³). Описывая дорогу отъ Москвы до Троицы, авторъ останавливается на всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, съ которыми связаны разныя историческія воспоминанія, и, дойдя до Троицкой лавры, сообщаетъ о ней много любопытныхъ подробностей и указываетъ заслуги этой обители передъ Россіей. Изъ историческихъ лицъ авторъ особенно долго останавливается на Годуновѣ на его характерѣ, правленіи, судьбѣ и наконецъ на его могилѣ. „Всякій, кто знаетъ исторію отечества“,— говоритъ Карамзинъ,— „кто умѣетъ цѣнить характеры и дѣла, — будучи въ лаврѣ, устремить на нее глаза, скажетъ: «вотъ чѣмъ должно кончиться земное властолюбіе!» и примолвитъ: «Богъ судитъ тайныя злодѣянія; а мы должны хвалить царей за все, что они сдѣлали для славы и блага отечества»“.

Статья: „О случаяхъ и характерахъ въ російской исторіи, которые могутъ быть предметомъ художествъ“ написана въ формѣ письма къ господину NN, по поводу появленія въ Академіи Ху-

дожествъ трехъ картинъ съ историческими сюжетами (Взятіе Казани, Избраніе Михаила Ѳеодоровича и Полтавское сраженіе). Вотъ начало этой статьи, замѣчательной по патріотическимъ чувствамъ и желаніямъ автора.

„Мысль задавать художникамъ предметы изъ отечественной исторіи достойна вашего патріотизма — и есть лучшій способъ оживить для насъ ея великіе характеры и случаи, особливо пока мы еще не имѣемъ *краснорѣчивыхъ историковъ*, которые могли бы поднять изъ гроба знаменитыхъ предковъ нашихъ и явить тѣни ихъ въ лучезарномъ вѣницѣ славы. Таланту русскому всего ближе и любезнѣе прославлять русское, въ то счастливое время, когда монархъ и самое Провидѣніе зовутъ насъ къ истинному народному величію. *Должно приучать Россіянъ къ уваженію собственнаго*; должно показать, что оно можетъ быть предметомъ вдохновеній артиста и сильныхъ дѣйствій искусства на сердце. Не только историкъ и поэтъ, но и живописецъ и ваятель бываютъ *органами патріотизма*. Если историческій характеръ изображенъ разительнѣе на полотнѣ или мраморѣ, то онъ дѣлается для насъ и въ самыхъ лѣтописяхъ занимательнѣе: мы любопытствуемъ узнать источникъ, изъ котораго художникъ взялъ свою идею, и съ большимъ вниманіемъ входимъ въ описаніе дѣлъ человека, помня, какое живое впечатлѣніе произведетъ на насъ его образъ. Я не вѣрю той любви къ отечеству, которая презираетъ его лѣтописи, или не занимается ими: *надобно знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, должно имѣть свѣдѣнія о прошедшемъ*“.

Указавъ затѣмъ на выдающіяся событія и лица нашей исторіи, которыя онъ желалъ бы видѣть изображенными на картинѣ (каковы напр. призваніе варяжскихъ князей, Олегъ, побѣдитель грековъ, Ольга — въ различные важные моменты ея жизни, Святославъ, св. Владимиръ, Ярославъ, Мономахъ и др.), — Карамзинъ продолжаетъ:

„Мы приблизились въ историческихъ воспоминаніяхъ своихъ къ бѣдственнымъ временамъ Россіи, и если живописецъ положитъ кисть, то ваятель возьметъ рѣзецъ свой, чтобы сохранить память русскаго геройства въ несчастіяхъ, которыя болѣе всего открываютъ силу въ характерѣ людей и народовъ. Тѣни предковъ нашихъ, хотѣвшихъ лучше погибнуть, нежели принять цѣпи отъ монгольскихъ варваровъ, ожидаютъ монументовъ нашей благодарности на мѣстѣ, обогренномъ ихъ кровію. Можетъ ли искусство и мраморъ найти для себя лучшее употребленіе? Пусть въ

разныхъ мѣстахъ Россіи свидѣлствуютъ они о величій древнихъ сыновъ ея! Не въ однѣхъ столицахъ заключенъ патріотизмъ: не одніѣ столицы должны быть сферою благословенныхъ дѣйствій художества. Во всѣхъ обширныхъ странахъ руссійскихъ надобно питать любовь къ отечеству и *чувство народное*. Пусть въ залахъ Петербургской Академіи Художествъ видимъ свою исторію въ картинахъ; но въ Владимирѣ и въ Кіевѣ хочу видѣть памятники геройской жертвы, которою ихъ жители прославили себя въ XIII вѣкѣ. Въ Нижнемъ Новгородѣ глаза мои ищутъ статую Минина, который, положивъ одну руку на сердце, указываетъ другою на Московскую дорогу. Мысль, что въ русскомъ, отдаленномъ отъ столицы городѣ, дѣти гражданъ будутъ собираться вокругъ монумента славы, читать надписи и говорить о дѣлахъ предковъ, радуется мое сердце. Мнѣ кажется, что я вижу, какъ народная гордость и славолюбіе возрастаютъ въ Россіи съ новыми поколѣніями!.. А тѣ холодные люди, которые не вѣрятъ сильному вліянію изящнаго на образованіе душъ, и смѣются (какъ они говорятъ) надъ романическимъ патріотизмомъ, достойны ли отвѣта? Не отъ нихъ отечество ожидаетъ великаго и славнаго: не они рождены сдѣлать намъ имя русское еще любезнѣе и дороже“.

Заключивается статья словами: „Повторимъ истину несомнительную: въ девятомъ-надесять вѣкѣ тотъ народъ можетъ быть *великимъ и почтеннымъ*, который благородными искусствами, литературою и науками способствуетъ усиленіямъ человечества въ его славномъ теченіи къ цѣли нравственнаго и душевнаго совершенства!“

Карамзинъ, какъ видимъ, и историческимъ статьямъ своимъ придавалъ публицистическій характеръ, имѣя въ виду ту же цѣль, какую имѣлъ онъ, напримѣръ, и въ статьѣ: „О любви къ отечеству и народной гордости“.

Въ историческихъ статьяхъ Карамзинъ нерѣдко высказывать и свои политическіе взгляды. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна статья: „О московскомъ мятежѣ въ царствованіе Алексѣя Михайловича“. Авторъ ея совершенно ясно понимаетъ причину народнаго волненія, вполне видѣть чиновничій гнетъ и злоупотребленія—и все-таки осудилъ мятежъ, какъ незаконное самоуправство. Статья эта можетъ служить подтвержденіемъ уже высказанной нами въ своемъ мѣстѣ ¹⁴⁴⁾ мысли, что Карамзинъ осуждалъ революцію не въ зависимости отъ того, понимаетъ ли онъ, или не понимаетъ ея значеніе, а потому, что онъ не могъ не

осуждать ее въ силу своихъ воззрѣній вообще. Это замѣчаніе наше, конечно, не клонится къ тому, чтобы уничтожить утвержденіе того факта, что историкъ нашъ понимаетъ революцію односторонне— и мы хотѣли только, воспользовавшись упомянутой сейчасъ исторической статьей, еще разъ сказать читателю, что если бы Карамзинъ и понимаетъ революцію во всей широтѣ, то все-таки не отнесся бы къ ней сочувственно.

4. Статьи литературныя.

Между литературными статьями Карамзина, помѣщенными въ „Вѣстникъ Европы“, самое видное мѣсто принадлежитъ его полунсторической повѣсти: „Марѳа Посадница, или покореніе Новгорода“ (1803). Повѣсть эта есть выраженіе чувствъ и мыслей автора, возбужденныхъ въ немъ размышленіемъ надъ судьбою Новгорода и надъ историческимъ ходомъ развитія русскаго государства. Государственные соображенія ставили Карамзина на сторону Іоанна III; сердцемъ же онъ сочувствовалъ новгородцамъ. Это двойное отношеніе къ важному историческому событію сразу же указано самимъ авторомъ повѣсти въ предпосланномъ ей небольшомъ предисловіи. „Мудрый Іоаннъ“ говоритъ Карамзинъ—„долженъ былъ для славы и силы отечества присоединить область Новгородскую къ своей державѣ: хвала ему! Однакожь сопротивленіе новгородцевъ не есть бунтъ какихъ-нибудь якобинцевъ; они сражались за древніе свои уставы и права, данныя имъ отчасти самими великими князьями, напримѣръ, Ярославомъ, утвердителемъ ихъ вольности. Они поступили только безразсудно: имъ должно было предвидѣть, что сопротивленіе обратится въ гибель Новгороду, и благоразуміе требовало отъ нихъ добровольной жертвы“.

Повѣсть и была задумана, съ тѣмъ, чтобы высказать это двойное отношеніе къ событію—и для этой цѣли были употреблены слѣдующій пріемъ: авторъ умышленно влагаетъ въ уста двухъ дѣйствующихъ лицъ царскаго воеводы князя Холмскаго и Марѳы Посадницы—длинныя рѣчи, изъ которыхъ въ одной собираетъ все то, что онъ могъ сказать въ защиту Іоанна и слѣдовательно противъ Новгорода, а въ другой указываетъ все то, что говорило его сердцу за новгородцевъ. Обѣ эти рѣчи представляютъ собою самую важную часть повѣсти. Холмскій говоритъ съ жаромъ; но еще болѣе горяча и сильна рѣчь Марѳы, изъ чего мы извѣдемъ право заключать, что въ ту пору, когда писа-

лась повесть, участь Новгорода и представление объ особенностях его жизни вызывали въ Карамзинѣ сильное сочувствіе. Сочувствіе это, впрочемъ, видно не только изъ одной рѣчи Борецкой, но и вообще изъ проникнуть весь разсказъ о паденіи Новгорода.

Содержаніе повѣсти, раздѣленной на три главы, которыя названы „книгами“, слѣдующее.

„Раздался звукъ вѣчевого колокола—и вздрогнули сердца въ Новѣгородѣ“ (такъ начинается первая книга). Народъ спѣшитъ къ общему мѣсту. Скоро на немъ появляется посолъ Іоанновъ — князь Холмскій, и въ обращенной къ народу рѣчи объявляетъ требованія своего государя. Въ этой рѣчи собраны различные доводы, на основаніи которыхъ, съ одной стороны, оправдывается желаніе московскаго князя подчинить себѣ Новгородъ, а съ другой—осуждается какъ сопротивленіе новгородцевъ этому желанію, такъ и вообще ихъ отношеніе къ князьямъ и остальнымъ руссіицамъ. Рѣчь начинается разъясненіемъ значенія самодержавной власти вообще и для Новгорода въ частности. „Граждане новгородскіе!“ — говоритъ Холмскій... „Народы дикіе любятъ независимость, народы мудрые любятъ порядокъ; а нѣтъ порядка безъ власти самодержавной. Ваши предки хотѣли править сами собою—и были жертвою лютыхъ сосѣдовъ или еще лютѣйшихъ внутреннихъ междоусобій... Граждане новгородскіе! въ стѣнахъ вашихъ родилось, утвердилось, прославилось самодержавіе земли Русской. Здѣсь великодушный Рюрикъ творилъ судъ и правду; на семь мѣстѣ древніе новгородцы лобызали ноги своего отца и князя, который примирилъ внутренніе раздоры, успокоилъ и возвелъ городъ ихъ. На семь мѣстѣ они проклинали гибельную вольность и благословляли спасительную власть единого. Прежде ужасные только для самихъ себя и несчастные въ глазахъ сосѣдовъ, новгородцы подъ державною рукою варяжскаго героя сдѣлались ужасомъ и завистію другихъ народовъ... Граждане новгородскіе! не только воинскою славою обязаны вы государямъ русскимъ: если глаза мои, обращаясь на всѣ концы вашего града, видятъ повсюду золотые кресты великолѣпныхъ храмовъ святой вѣры; если шумъ Волхова напоминаетъ вамъ тотъ великій день, въ который знаки подолсуженія погибли съ шумомъ въ быстрыхъ волнахъ его, — то вспомните, что Владимиръ соорудилъ здѣсь первый храмъ истинному Богу; Владимиръ низвергъ Перуна въ пучину Волхова!... Если жизнь и собственность священны въ Новѣгородѣ, то скажите, чья рука оградила ихъ безопасно?.. Здѣсь (указывая на домъ Ярослава) здѣсь жилъ мудрый законо-

датель, благотворитель вашихъ предковъ, князь великодушный, другъ ихъ, котораго называли они вторымъ Рюрикомъ!“...—Указавъ такимъ образомъ, что сдѣлала для новгородцевъ княжеская власть, Холмскій переходитъ къ укоризнамъ. „Потомство неблагодарное! внимаи справедливымъ укоризнамъ! Новогородцы, бывъ всегда старшими сынами Россіи, вдругъ отдѣлились отъ братіи своихъ; бывъ вѣрными подданными князей, нынѣ смѣются надъ ихъ властію... и въ какія времена? О стыдъ имени русскаго! Родство и дружба познаются въ опасностяхъ: любовь къ отечеству также... Богъ въ неисповѣдимомъ совѣтѣ Своемъ положилъ наказать землю Русскую. Явились варвары безчисленные... Храбрые славяне... сражаются и гибнутъ; земля Русская обогрязается кровію русскихъ; города и села пылаютъ; гремятъ цѣпи на дѣвахъ и старцахъ... Что жъ дѣлаютъ новгородцы? сѣбѣ ли на помощь къ братьямъ своимъ?... Нѣтъ! пользуясь своимъ удаленіемъ отъ мѣстъ кровопролитія, пользуясь общимъ бѣдствіемъ князей, отнимаютъ у нихъ власть законную, держатъ ихъ въ стѣнахъ своихъ, какъ въ темницѣ, изгоняютъ, призываютъ другихъ и снова изгоняютъ. Государи новгородскіе, потомки Рюрика и Ярослава, должны были слушаться посадниковъ и трепетать вѣчевого колокола, какъ трубы Суда Страшнаго! Наконецъ никто уже не хотѣлъ быть княземъ вашимъ, рабомъ мятежнаго вѣча. Наконецъ русскіе и новгородцы не узнаютъ другъ друга!“ Такую перемѣну Холмскій объясняетъ тѣмъ, что новгородцами овладѣло корыстолюбіе. „Русскіе гибнутъ (говоритъ онъ), новгородцы богатѣютъ. Въ Москву, въ Кіевъ, въ Владимиръ привозятъ трупы христіанскихъ витязей: въ Новгородъ привозятъ товары чужеземные... Русскіе считаютъ язвы свои: новгородцы считаютъ золотыя монеты. Русскіе въ узахъ: новгородцы славятъ вольность свою!“—Велѣдъ за этимъ Холмскій оцѣниваетъ эту вольность!... „Вольность!... но вы также рабствуете. Народъ! я говорю съ тобою. Бояре честолюбивые, уничтоживъ власть государей, сами овладѣли ею. Вы повинуетесь—ибо народъ всегда повиноваться долженъ, но только не священной крови Рюрика, а купцамъ богатымъ. О стыдъ! потомки славянъ цѣнятъ златомъ права властителей! Роды княжескіе, издревле именитые, возвысились дѣлами храбрости и славы: ваши посадники, тысячскіе, люди житые—обязаны своимъ достоинствомъ благопріятному вѣтру и хитростямъ корыстолюбія. Привыкшіе къ выгодамъ торговли, торгуютъ и благомъ народа; кто имъ обѣщаетъ злато, тому они власть обѣщаютъ. Такъ, извѣстны князю московскому ихъ дружественныя, тайныя связи

съ Литвою и Казимиромъ. Скоро, скоро вы соберетесь на звукъ вѣчевого колокола, и надменный полякъ скажетъ вамъ на лобномъ мѣстѣ: вы рабы мои!... Но Богъ и Великій Іоаннъ еще о васъ некутся".—Далѣе Холмскій указываетъ заслуги Іоанна Русскому государству и убѣждаетъ новгородцевъ покориться ему. „Новгородцы! земля Русская воскресаетъ. Іоаннъ возбудилъ отъ сна древнее мужество славянъ, ободрилъ унылое воинство, и берега Камы были свидѣтелями побѣдъ нашихъ. Дуга мира и завѣта возсіяла надъ могилами князей Георгія, Андрея, Михаила. Небо примирилось съ нами, и мечи татарскіе иступились. Настало время мести, время славы и торжества христіанскаго. Еще ударъ послѣдній не совершился; но Іоаннъ, избранный Богомъ, не опуститъ державной руки своей, доколѣ не сокрушитъ враговъ и не смѣшаетъ ихъ прахъ съ землею перстію. Димитрій, поразивъ Мамаю, не освободилъ Россіи: Іоаннъ все предвидитъ; и, зная, что раздѣленіе государства было виною бѣдствій его, онъ уже соединилъ всѣ княжества подъ своею державою, и признавъ владѣлиномъ земли Русской. Дѣти отечества, послѣ горестной долговременной разлуки, объемлются съ веселіемъ предъ очами государя и мудраго отца ихъ. Но радость его не будетъ совершенна, доколѣ Новгородъ, древній Великій Новгородъ, не возвратится подъ сѣнь отечества. Вы оскорбляли его предковъ: онъ все забываетъ, если ему покоритесь. Іоаннъ, достойный владѣть міромъ, желаетъ только быть государемъ новгородскимъ!... Вспомните, когда онъ былъ мирнымъ гостемъ посреди васъ; вспомните, какъ вы удивлялись его величію, когда онъ, окруженный своими вельможами, шелъ по стогнамъ Новаграда въ домъ Ярославовъ; вспомните, съ какимъ благоволеніемъ, съ какою мудростію онъ бесѣдовалъ съ вашими боярами...; вспомните, какъ вы единодушно восклицали: «Да здравствуетъ князь московскій, великій и мудрый!» Такому ли государю не славно повиноваться и для того единственно, чтобы вмѣстѣ съ нимъ совершенно освободить Россію отъ ига варваровъ? Тогда Новгородъ еще болѣе украсится и возвеличится въ мірѣ. Вы будете *первыми* сынами Россіи: здѣсь Іоаннъ поставитъ тронъ свой и воскреситъ счастливыя времена, когда не шумное вѣче, но Рюрикъ и Ярославъ судили васъ, какъ отцы дѣтей, ходили по стогнамъ и вопрошали бѣдныхъ, не угнетаютъ ли ихъ богатые. Тогда бѣдные и богатые равно будутъ счастливы, ибо всѣ подданные равны предъ лицомъ владыки самодержавнаго. Народъ и граждане! да властвуетъ Іоаннъ въ Новгородѣ, какъ онъ въ Москвѣ властвуетъ! или—внимайте его

послѣднему слову или храброе воинство, готовое сокрушить татаръ, въ грозномъ ополченіи явится прежде глазамъ вашимъ, да усмирить мятежниковъ!... Миръ или война? отвѣтствуйте!"

Молчаніе было отвѣтомъ на краснорѣчивое воззваніе Ходмскаго. Вдругъ толпа заколебалась: Марфа Борецкая, бывшая посадница, „всходитъ на желѣзныя ступени, тихо и величаво; взираетъ на безчисленное собраніе гражданъ, и безмолвствуетъ... Важность и скорбь видны на блѣдномъ лицѣ ея... Но скоро освѣщенный горестію взоръ блеснулъ огнемъ вдохновенія, блѣдное лицо покрылось румянцемъ" — и она произноситъ горячую рѣчь, имѣющую цѣлю, съ одной стороны, защитить новгородцевъ отъ брошенныхъ имъ упрековъ, а съ другой — обвинить въ свою очередь тѣхъ, за кого стоялъ Ходмскій, и въ концѣ концовъ возбудить энергичный отпоръ требованіямъ Іоанна.

Прежде всего она останавливается на упрекахъ новгородцамъ въ ихъ мятежномъ духѣ и неблагодарности. „Потомки славянъ великодушныхъ! (говоритъ Марфа) васъ называютъ мятежными!.. За то ли, что вы подыали изъ гроба славу ихъ? Они были свободны, когда текли съ востока на западъ избрать себѣ жилище во вселенной, свободны подобно орламъ, царившимъ надъ ихъ главою въ обширныхъ пустыняхъ древняго міра... Они утвердились на красныхъ берегахъ Ильменя, и все еще служили одному Богу ¹⁴⁾... Когда Баятъ, князь аварскій, страшный для императоровъ Греціи, потребовалъ, чтобы славяне ему поддались, они гордо и спокойно отвѣтствовали: „Никто во вселенной не можетъ поработить насъ, доколѣ не выдутъ изъ употребленія мечи и стрѣлы!"... О великія воспоминанія древности! въ ли должны склонять насъ къ рабству и къ узамъ? Правда, съ теченіемъ времени родились въ душахъ новыя страсти, и неопытная юность презирала мудрые совѣты старцевъ: тогда славяне призывали къ себѣ знаменитыхъ храбростію князей варяжскихъ, да повелѣваютъ юнымъ, мятежнымъ воинствомъ. Но когда Рюрикъ захотѣлъ самовольно владствовать, гордость славянская ужаснулась своей неосторожности, и Вадимъ *храбрый* звалъ его предъ судъ народа... Кончина Рюрика — да отдадимъ справедливость сему знаменитому витязю! — мудраго и смѣлаго Рюрика, воскресила свободу новгородскую. Народъ, изумленный его величіемъ, невольно и смиренно повиновался; но скоро, не видя уже героя, пробудился отъ глубокаго сна, и Олегъ, испытавъ многократно его упорную непреклонность, удалился отъ Новгорода... искать побѣды, данишковъ и рабовъ между другими скифскими, менѣе отважными и гордыми племенами. Съ того вре-

мени Новгородъ признавалъ въ князьяхъ своихъ единственно полководцевъ и военачальниковъ: народъ избралъ власти гражданскія и, повинувъсь имъ, повиновался уставу воли своей. Въ кievскихъ и другихъ россiянахъ отцы наши любили кровь славянскую, служили имъ, какъ друзьямъ и братьямъ, разили ихъ непріятелей и вмѣстѣ съ ними славились побѣдами. Здѣсь провелъ юность свою Владимиръ; здѣсь, среди примѣровъ народа великодушнаго, образовался великій духъ его; здѣсь мудрая бесѣда старцевъ нашихъ возбудила въ немъ желаніе спросить всѣ народы земные о таинствахъ вѣры ихъ, да откроется истина ко благу людей, и когда, убѣжденный въ святости христіанства, онъ принялъ его отъ грековъ, новгородцы, разумѣе другихъ племенъ славянскихъ, изъявили и болѣе ревности къ новой истинной вѣрѣ. Имя Владимира священо въ Новгородѣ; священна и любезна память Ярослава: ибо онъ первый изъ князей русскихъ утвердилъ законы и вольность великаго града. Пусть дерзость называетъ отцовъ нашихъ неблагодарными, за то что они отражали властолюбивыя предпріятія его потомковъ! Духъ Ярослава оскорбился бы въ небесныхъ селеніяхъ, если бы мы не умѣли сохранить древнихъ правъ, освященныхъ его именемъ. Онъ любилъ новгородцевъ, ибо они были свободны: ихъ признательность радовала его сердце, ибо только души свободныя могутъ быть признательными: рабы повинуются и ненавидятъ!“ — Затѣмъ Борецкая переходитъ къ упреку въ богатствѣ. „Князь московскій“ — говоритъ она — „укоряетъ тебя, Новгородъ, самымъ твоимъ благоденствіемъ — и въ сеѣ винѣ не можемъ оправдаться! Такъ конечно: цвѣтутъ области новгородскія, поля златятся класами, житницы полны, богатства льются къ намъ рѣкою; Великая Ганза гордится нашимъ союзомъ; чужеземные гости ищутъ дружбы нашей, удивляются славѣ великаго града, красотѣ его зданій. общему избытку гражданъ, и, возвратясь въ страну свою, говорятъ: «Мы видѣли Новгородъ, и ничего подобнаго ему не видали!» Такъ конечно: Россія бѣдствуетъ — ея земля обгагрется кровію, веси и грады опустѣли; люди, какъ звѣри, въ дѣсахъ укрываются; отецъ ищетъ дѣтей и не находитъ; вдовы и сироты просятъ милостыни на распутияхъ. Такъ, мы счастливы — и виновны, ибо дерзнули повиноваться законамъ своего блага, дерзнули не участвовать въ междоусобіяхъ князей, дерзнули спасти имя русское отъ стыда и поношенія, не принять оковъ татарскихъ и сохранить драгоцѣнное достоинство народное! Не мы, о россiяне несчастные, но всегда любезные намъ братья! не мы,

но вы насъ оставили, когда пали на колѣни передъ гордымъ ханомъ и требовали цѣпей для спасенія поносноѣ жизни“. — Тутъ Марѳа, оставаясь защитницею новгородцевъ, становится въ то же время обвинительницею другихъ россій и говоритъ, что когда свирѣпый Батый, видя свободнымъ одинъ только Новгородъ, устремился растерзать его смѣлыхъ гражданъ, и когда эти граждане готовились къ битвѣ,—„напрасно съ высокихъ башенъ взоръ ихъ искалъ вдали дружественныхъ легионовъ русскихъ... Одинъ робкій толпы бѣглецовъ являлись на путяхъ Новаграда; не стукъ оружія, а вопль малодушнаго отчаянія быть вѣстникомъ ихъ приближенія; онъ требовали не стрѣлъ и мечей, а хлѣба и крова!“ — Потомъ она продолжаетъ: „Но Батый, видя отважность свободныхъ людей,... спѣшитъ удалиться. Напрасно граждане новгородскіе молили князей воспользоваться такимъ примѣромъ, и общими силами... ударить на враговъ: князья платили дань и ходили въ станъ татарскій обвинять другъ друга въ замыслахъ противъ Батыя; великодушіе сдѣлалось предметомъ доносовъ, къ несчастію, ложныхъ!“ — Отплативъ такимъ образомъ упрекомъ за упрекъ, Борецкая, помня указаніе Холецкаго на то, что русскіе князья возвеличили Новгородъ, указываетъ въ свою очередь, что и Новгородъ не мало поддерживалъ славу Россіи. „Если имя побѣды“—говоритъ она—„въ теченіе двухъ столѣтій сохранилось еще въ языкѣ славянскомъ, то не громъ ли новгородскаго оружія напоминалъ въ землѣ Русской? не отцы ли наши разили еще враговъ на берегахъ Невы? Воспоминаніе горестное! Сей витязь добродѣтельный, драгоцѣнный остатокъ древняго геройства князей варяжскихъ, заслуживъ имя безсмертное съ вѣрною новгородскою дружиною, храбрый и счастливый между нами, оставить здѣсь и славу и счастье, когда предпочелъ имя великаго князя Россіи имени новгородскаго полководца: не величіе, но униженіе и горесть ожидали Александра во Владимирѣ -- и тотъ, кто на берегахъ Невы давалъ законы храбрымъ ливонскимъ рыцарямъ, долженъ былъ упасть къ ногамъ Сартака“. — Только что проведенная параллель между двумя различными положеніями Александра даетъ Марѳѣ поводъ сопоставить другъ съ другомъ свободный Новгородъ и униженную остальную Россію—и она произноситъ слѣдующія слова, которыя должны были сильно подѣйствовать на слушателей: „Іоаннъ желаетъ повелѣвать великимъ градомъ: не удивительно! онъ собственными глазами видѣлъ славу и богатство его. Но всѣ народы земные и будущія столѣтія не перестали бы дивиться, если бы мы захотѣли повиноваться. Ка-

кими надеждами онъ можетъ обольстить насъ? Одни несчастные легковѣрны; одни несчастные желаютъ переменъ — но мы благоденствуемъ и свободны! благоденствуемъ оттого, что свободны! Да молитъ Іоаннъ Небо, чтобы Оно во гнѣвъ Своемъ ослѣпило насъ: тогда Новгородъ можетъ возненавидѣть счастье и пожелать гибели; но доколѣ видимъ славу свою и бѣдствія княжествъ русскихъ, доколѣ гордимся ею и жалѣемъ объ нихъ, доколѣ права новгородскія всего святѣе намъ по Богѣ“. — Въ рѣчи Холмскаго былъ еще одинъ упрекъ: упрекъ новгородскимъ правителямъ въ корыстолюбіи. Возражая на него, Марѳа говоритъ: „Я не дерзну оправдывать васъ, мужи, избранные общаею довѣренностію для правленія! Клевета въ устахъ властолюбія и зависти недостойна опроверженія. Гдѣ страна цвѣтетъ, и народъ ликуетъ, тамъ правители мудры и добродѣтельны. Какъ! вы торгуете благомъ народнымъ? но могутъ ли всѣ сокровища міра замѣнить вамъ любовь согражданъ вольныхъ? Кто узналъ ея сладость, тому чего желать въ мірѣ? развѣ послѣдняго счастья — умереть за отечество!“ — Затѣмъ слѣдуетъ такой конецъ рѣчи: „Несправедливость и властолюбіе Іоанна не затмеваютъ въ глазахъ нашихъ его похвальныхъ свойствъ и добродѣтелей. Давно уже молва народная извѣстила насъ о его величій, и люди вольные желали имѣть гостемъ самовластителя; искреннія сердца ихъ свободно изливались въ радостныхъ восклицаніяхъ при его торжественномъ вѣздѣ. Но знаки усердія нашего, конечно, обманули князя московскаго; мы хотѣли изъяснить ему пріятную надежду, что рука его свергнетъ съ Россіи иго татарское: онъ вздумалъ, что мы требуемъ отъ него уничтоженія нашей собственной вольности! Нѣтъ, нѣтъ! да будетъ великъ Іоаннъ, но да будетъ великъ и Новгородъ! Да славится князь московскій истребленіемъ враговъ христіанства, а не друзей и братій земли Русской, которыми она еще славится въ мірѣ! да прерветъ оковы ся, не возлагая ихъ на добрыхъ и свободныхъ новгородцевъ! Еще Ахматъ дерзаетъ называть его своимъ данникомъ: да идетъ Іоаннъ противъ монгольскихъ варваровъ, и вѣрная дружина наша откроетъ ему путь къ стану Ахматову! Когда же сокрушитъ врага, тогда мы скажемъ ему: «Іоаннъ, ты возвратишь землѣ Русской честь и свободу, которыхъ мы никогда не теряли. Владѣй сокровищами, найденными тобою въ станѣ татарскомъ: они были собраны съ земли твоей; на нихъ нѣтъ клейма новгородскаго: мы не платили дани ни Батю, ни потомкамъ его! Царствуй съ мудростію и славою; затѣмъ глубокіе язвы

Россіи; сдѣлай подданныхъ своихъ и нашихъ братіи счастливыми и если когда-нибудь соединенныя твои княжества превзойдутъ славою Новгородъ; если мы позавидуемъ благоденствію твоего народа; если Всевышній накажетъ насъ раздорами, бѣдствіемъ, униженіемъ: тогда клянемся именемъ отечества и свободы! тогда прійдемъ не въ столицу польскую, но въ царственный градъ Москву, какъ некогда древніе новгородцы пришли къ храбруму Рюрику, и скажемъ не Казимиру, но тебѣ: *влады наш!* мы уже не умѣемъ править собою!» Ты содрогаешься, о народъ великодушный!... Да идетъ мимо насъ сей печальный жребій! Будь всегда достоинъ свободы—и будешь всегда свободнымъ! Щебеса правосудны, и ввергаютъ въ рабство одни порочные народы. Не страшись угрозъ Іоанновыхъ, когда сердце твое пылаетъ любовію къ отечеству и святымъ уставамъ его; когда можешь умереть за честь предковъ своихъ и за благо потомства! Но если Іоаннъ говоритъ истину; если въ самомъ дѣлѣ гнусное корыстолюбіе овладѣло душами новгородцевъ; если мы любимъ сокровища и нѣгу болѣе добродѣтели и славы: то скоро ударитъ послѣдній часъ нашей вольности, и вѣчевой колоколъ, древній гласъ ея, падетъ съ башни Ярославовой и навсегда умолкнетъ!... Тогда, тогда мы позавидуемъ счастію народовъ, которые никогда не знали свободы. Ея грозная тѣнь будетъ являться намъ подобно мертвену бѣдному и терзать сердце наше бесполезнымъ раскаяніемъ! Но знай, о Новгородъ, что съ утратою вольности изсохнетъ и самый источникъ твоего богатства: она оживляетъ трудолюбіе, изощряетъ сѣрны и златитъ нивы; она привлекаетъ иностранцевъ въ наши стѣны съ сокровищами торговли; она же окрыляетъ суда новгородскія, когда они съ богатымъ грузомъ по волнамъ несутся... Бѣдность, бѣдность накажетъ недостойныхъ гражданъ, не умѣвшихъ сохранить наслѣдія отцовъ своихъ! Померкнетъ слава твоя, градъ великій, опустѣютъ многолюдныя Концы твои! широкія улицы зарастутъ травою, и великолѣпіе твое, исчезнувъ навѣки, будетъ баснею народовъ. Напрасно любопытный странникъ среди печальныхъ развалинъ захочетъ искать того мѣста, гдѣ собиралось вѣче, гдѣ стоялъ домъ Ярославовъ и мраморный образъ Вадима: никто ему не укажетъ ихъ. Онъ задумается горестно и скажетъ только: *здѣсь была Новгородъ!...*»

Рѣчь Марѣи произвела сильное возбужденіе. „Нѣтъ, нѣтъ! мы всѣ умремъ за отечество!“ восклицаютъ безчисленные голоса: „Новгородъ государь нашъ! да явится Іоаннъ съ воинствомъ!“—

„Итакъ, да будетъ война между великимъ княземъ Іоанномъ и гражданами новгородскими!“ говоритъ князь Холмскій въ отвѣтъ на восклицанія народа—и удаляется изъ Новгорода.

Во второй книгѣ описывается приготовленіе новгородцевъ къ войнѣ. Марѳа сама избираетъ вожди „надежнаго, смѣлаго, рѣшительнаго“—юнаго Мірослава, съ сердцемъ „благороднымъ и чувствительнымъ“, и женитъ его на своей дочери Ксеніи. Она же отъ имени новгородцевъ написала письмо къ союзному Пскову, прося у него помощи; но псковитяне только пожелали новгородцамъ счастья, а въ помощи отказали. Зато услуги свои предложили Казимиру. Марѳа съ достоинствомъ ихъ отвергла. „Въ самую глубокую полночь Марѳа слышитъ тихій стукъ у двери; открываетъ ее—и входитъ человекъ суроваго вида, въ одеждѣ не русской, съ длиннымъ мечомъ литовскимъ, съ золотою на груди звѣздою; едва наклоняетъ свою голову, объявляетъ себя тайнымъ посломъ Казимира, и представляетъ Марѳѣ письмо его. Она съ гордою скромностію отвѣтствуетъ: «Жена новгородская не знаетъ Казимира; я не возьму грамоты». Хитрый полякъ хвалитъ героиню великаго града, извѣстную въ самыхъ отдаленныхъ странахъ, уважаемую царями и народами... Марѳа внимаетъ ему съ равнодушіемъ. Полякъ описываетъ ей величіе своего государя, счастье союзниковъ и бѣдствіе враговъ его... Она съ гордостію садится. Казимиръ великодушно предлагаетъ Новгороду свое заступленіе, говоритъ онъ: «Требуйте—и легіоны польскіе окружаютъ васъ своими щитами!» Марѳа задумалась... «Когда же спасемъ васъ, тогда...» Посадница быстро взглянула на него... «тогда благодарные новгородцы должны признать въ Казимирѣ своего благодѣтеля—и властелина, который, безъ сомнѣнія, не употребитъ во зло ихъ довѣренность...» — «Уможнѣ!» грозно восклицаетъ Марѳа... Изумленный пылкимъ ея гнѣвомъ, посоль безмолвствуетъ; но, устыдясь робости своей, возвышаетъ голосъ и хочетъ доказать необходимую гибель Новгорода, если Казимиръ не защититъ его отъ князя московскаго... «Лучше погибнуть отъ руки Іоанновой, нежели спастись отъ вашей!» съ жаромъ отвѣтствуетъ Марѳа: «Когда вы не были лютыми врагами народа русскаго?... И вы дерзаете мыслить, что народъ великодушный захочетъ упасть на колѣни передъ вами? Тогда бы Іоаннъ справедливо укорялъ насъ измѣною. Нѣтъ! если угодно Небу, то мы падемъ съ мечомъ въ рукѣхъ предъ княземъ московскимъ: одна кровь течетъ въ жилахъ нашихъ; русскій можетъ покориться русскому, но чужеземцу—никогда, никогда! Удалась немедленно, и если восходящее солнце

освѣтитъ тебя въ стѣнахъ новгородскихъ, ты будешь высланъ съ безчестіемъ. Такъ, Марѳа любима народомъ своимъ; но она велитъ ему ненавидѣть Литву и Польшу... Вотъ отвѣтъ Казимиру!»—Посолъ удалился“. Между тѣмъ пришло извѣстіе, что Іоаннъ уже спѣшитъ къ Новгороду. Мірославъ вывелъ войско на равнину. Марѳа явилась среди его и сказала: „Воины! въ послѣдній разъ да обратятся глаза ваши на сей градъ, славный и великолѣпный: судьба его написана теперь на щитахъ вашихъ! Мы встрѣтимъ васъ со слезами радости или отчаянія, прославимъ героевъ, или устыдимся малодушныхъ. Если возвратитесь съ побѣдою, то счастливы родители и жены новгородскія, которые обнимутъ дѣтей и супруговъ; если возвратитесь побѣжденные, то будутъ счастливы сироты, безчадные и вдовцы!... Тогда живые позавидуютъ мертвымъ.—О воины великодушные! вы идете спасти отечество и навѣки утвердить благіе законы его; вы любите тѣхъ, съ которыми должны сражаться: но почему же ненавидятъ они величіе Новаграда? Отразите ихъ—и тогда съ радостію примиримся съ ними!—Грядите—не съ миромъ, но съ войною для мира! Донынѣ Богъ любилъ насъ; донынѣ говорили народы: *кто противъ Бога и Великаго Новагорода!* Онъ съ вами: грядите!“ Войско двинулось и скоро сошлось съ дружинами Іоанна. Первый гонецъ Мірослава извѣститъ Марѳу, что войско его изъясняетъ жаркую ревность; второй привезъ извѣстіе, что новгородцы разбили отрядъ Іоанновъ и взяли въ плѣнъ 50 московскихъ дворянъ. „Съ третьимъ Мірославъ писалъ только одно слово: «сражаемся». Тутъ сердце Марѳы наконецъ затрепетало: она спѣшила на Великую площадь, сама ударила въ вѣчевой колоколъ, объявила гражданамъ о началѣ рѣшительной битвы, стала на Вадимовомъ мѣстѣ, устремила взоръ на московскую дорогу и казалась неподвижною. Солнце восходило... уже лучи его пылали, но еще не было никакого извѣстія. Народъ ожидаетъ въ глубокомъ молчаніи, и смотрѣтъ на посадинцу. Уже наступать вечеръ... и Марѳа сказала: «Я вижу облака пыли». Всѣ руки поднялись къ небу... Марѳа долго не говорила ни слова... Вдругъ, закрывъ глаза, громко воскликнула: «Мірославъ убитъ! Іоаннъ побѣдитель!» и бросилась въ объятіе къ несчастной Ксеніи“.

Третья книга начинается разсказомъ о томъ, какъ блѣдный, окровавленный Михаилъ Храбрый, личный врагъ Борейскихъ, по примирившійся съ ними ради любви къ отечеству, привозитъ въ Новгородъ тѣло Мірослава. „На щитахъ посадили витязя отъ ранъ ослабѣвшаго; но онъ собралъ изнуренныя силы, поднялъ

томную голову, оперся на мечъ свой, и вѣщаль твердымъ голосомъ: «Народъ и граждане! разбито воинство храброе, убитъ полководецъ великій. Небо лишило насъ побѣды—не славы! На берегахъ Шелони мы встрѣтились съ Іоанномъ... Я видалъ битвы, но никогда такой не видывать. Грудь русская была противъ груди русской, и витязи съ обѣихъ сторонъ хотѣли доказать, что они славяне. Взаимная злоба братіи есть самая ужасная!.. Тысячи падали... Войны Іоанновы стояли твердынею непоколебимою: новгородцы стремились на нихъ, какъ бурныя волны. Одни сражались за честь, другіе за честь и вольность. Мы шли впередъ... за полководцемъ нашимъ... Скоро главная дружина московская замѣшалась. Новгородцы воскликнули побѣду; но въ то же мгновеніе имя Іоанново гремѣло за нами... Мы съ удивленіемъ обратили взоръ: князь Холмскій съ тылу разилъ лѣвое крыло новгородское... Димитрій *) измѣнилъ согражданамъ!... не исполнилъ повелѣній вождя, завелъ стражу **) въ непроходимыя блатъ, не встрѣтилъ врага и далъ ему время окружить наше войско. Мірославъ спѣшилъ изумленныхъ шелонцевъ: онъ помогъ имъ только умереть великодушнѣе!.. Онъ увидѣлъ Димитрія среди московской дружины—постыднымъ ударомъ наказалъ измѣнника и палъ отъ руки Холмскаго...» Тутъ ослабѣлъ голосъ Михаила; взоръ номрачился облакомъ; блѣдныя уста онѣмѣли; мечъ выпалъ изъ руки его; онъ затрепеталъ, взглянулъ на образъ Вадимовъ, и закрылъ навѣки глаза свои...» Чиновники заключились въ домъ Ярослава для совѣта съ Марою, а легіоны Іоанновы приближались къ Новгороду и медленно окружали его. Тысячскій отправился посломъ къ Іоанну. „Новгородцы, готовые умереть за вольность, тайно желали сохранить ее миромъ. Марѳа знала сердца народныхъ, душу великаго князя, и спокойно ожидала его отвѣта. Тысячскій возвратился съ лицомъ печальнымъ. Граждане! сказалъ онъ: ваши мудрые чиновники думали, что князь московскій, хотя и побѣдитель, но самою побѣдою, трудною и случайною, увѣренный въ великодушіи новгородскомъ, можетъ еще примириться съ нами... Бояре ввели меня въ шатеръ Іоанна... Вы знаете его величіе: гордымъ взоромъ и повелительнымъ движеніемъ руки онъ требовалъ отъ меня знаковъ рабскаго униженія... «Князь московскій!» я вѣщаль ему: «Новгородъ еще свободенъ! Онъ желаетъ мира, не рабства. Ты видѣлъ, какъ мы умираемъ за

*) Димитрій Сильный—одинъ изъ вождей новгородскихъ.

**) Авангардъ.

вольность: хочешь ли еще напраснаго кровопролитія? Поцеди своихъ витязей: отечеству русскому нужна сила ихъ. Если казна твоя оскудѣла; если богатство новгородское прельщаетъ тебя— возьми наши сокровища: завтра принесемъ ихъ въ станъ твой съ родостію, ибо кровь согражданъ намъ драгоцѣннѣе золота; но свобода и самой крови намъ драгоцѣннѣе. Оставь насъ только быть счастливыми подъ древними законами, и мы назовемъ тебя своимъ благотворителемъ... Но если не хочешь мира съ людьми свободными, то знай, что совершенная побѣда надъ ними должна быть ихъ истребленіемъ: а мы еще дышимъ и владѣемъ оружіемъ: знай, что ни ты ни преемники твои не будутъ увѣрены въ искренней покорности Новаграда, доколѣ древнія стѣны его не опустѣютъ или не примутъ въ себя жителей, чуждыхъ крови нашей!» *Покоритесь безъ условія, или гибель мятежникамъ!* отвѣтствовалъ Іоаннъ, и съ гнѣвомъ отвратилъ лицо свое. И удалился". Начались новыя битвы. Тутъ авторъ повѣсти восклицаетъ: „Дѣла славныя и великія! Одни русскіе могли съ обѣихъ сторонъ такъ сражаться... Опытность, хладнокровіе, мужество и число благопріятствовали Іоанну; пылкая храбрость одушевляла новгородцевъ, удвояла силы ихъ, замѣняла опытность... Какъ Іоаннъ величіемъ своимъ одушевлялъ легіоны московскіе, такъ Марѳа въ Новѣгородѣ воспаляла умы и сердца". Но когда Іоаннъ обложилъ городъ, и въ немъ сильно обнаружилась „ужаса глѣда", народъ палъ духомъ: „съ изнуреніемъ тѣлесныхъ силъ, и самая душа его ослабѣла". Марѳа на колѣняхъ молила новгородцевъ быть твердыми еще нѣсколько дней. „Отчаяніе да будетъ нашею силою!" говоритъ она. „Оно есть послѣдняя надежда героевъ. Мы еще сразимся съ Іоанномъ, и Небо да рѣшитъ судьбу нашу!..." Всѣ воины въ одно мгновеніе обнажили мечи свои, зывая: „Идемъ, идемъ сражаться!" — „Битва продолжалась три часа; она была чудеснымъ успіемъ храбрости... но Марѳа увидѣла наконецъ хоругвь отчества въ рукахъ Іоаннова оруженосца, знамя дружны великодушныхъ въ рукахъ Холмскаго; увидѣла пораженіе своихъ; воскликнула: *совершилось!* прижала любезную дочь къ сердцу, взглянула по лобное мѣсто, на образъ Вадимовъ и — тихими шагами пошла въ домъ свой, опираясь на плечо Ксении. Никогда не казалась она величественнѣе и спокоинѣе". — Побѣжденный Новгородъ сдался. Іоаннъ вступилъ въ городъ. Тутъ слѣдуетъ описаніе двухъ сценъ: одна посѣщеніе Іоанномъ въ глубокую полночь могилы Мірослава, другая казнь Марѳы. По совершеніи казни, Холмскій, держа въ рукѣ хартію, прочелъ на-

роду между прочимъ слѣдующее: „Народъ и бояре! не ужасайтесь... Кровь Борейской примиряетъ вражду единоплеменныхъ; одна жертва, необходимая для вашего спокойствія, навѣки утверждаетъ сей союзъ неразрывный. Отнынѣ предадимъ забвенію все минувшія бѣдствія; отнынѣ вся земля Русская будетъ вашимъ любезнымъ отечествомъ, а государь великимъ отцомъ и главою. Народъ! не вольность, часто гибельная, но *благоустройство, правосудіе и безопасность* суть три столпа гражданскаго счастья: Іоаннъ обѣщаетъ ихъ вамъ предъ лицомъ Бога всемогущаго...“— Вѣчевой колоколъ былъ снятъ и отвезенъ въ Москву. „Народъ и нѣкоторые знаменитые граждане далеко провожали его. Они шли за нимъ съ безмолвною горестію и слезами, какъ нѣжныя дѣти за гробомъ отца своего“.

Повѣсть: „Марья Посадница“, будучи выраженіемъ чувствъ и мыслей ея автора, есть вмѣстѣ съ тѣмъ и идеализація, значительно отступающая отъ исторіи. Въ послѣдствіи, излагая „Обозрѣніе исторіи Новгорода ¹⁴⁶⁾“ и рассказывая о его покореніи ¹⁴⁷⁾ въ историческомъ трудѣ своемъ, Карамзинъ рисуетъ картины иными красками. Во-первыхъ, историкъ усматриваетъ въ жизни Новгорода два періода: древнѣйшій и позднѣйшій. За новгородцами древнѣйшаго періода онъ дѣйствительно признаетъ ту доблесть, ту добродѣтель, которая дѣлала ихъ достойными гражданами своей республики; позднѣйшій же періодъ онъ считаетъ временемъ упадка и характеризуетъ его такими словами:

„Паденіе Новгорода ознаменовалось утратою воинскаго мужества, которое уменьшается въ державахъ торговыхъ съ умноженіемъ богатства... Сей народъ... болѣе и болѣе усилъ въ купечествѣ, но слабѣлъ доблестью: сія вторая эпоха, цвѣтущая для торговли, бѣдственная для гражданской свободы, начинается со времени Іоанна Калиты. Богатые новгородцы стали откупаться серебромъ отъ князей московскихъ и Литвы, но вольность спасается не серебромъ, а готовностію умереть за нее: кто откупается, тотъ признаетъ свое безсиліе, и манитъ къ себѣ властелина. Ополченія новгородскія съ XV в. уже не представляютъ намъ ни пылкаго духа, ни искусства, ни усилъховъ блестящихъ. Что, кромѣ неустройства и малодушнаго бѣгства, видимъ въ послѣднихъ рѣшительныхъ битвахъ за свободу? Она принадлежитъ лъву, не агнцу, и Новгородъ могъ только избирать одного изъ двухъ государей: литовскаго или московскаго“.

Во-вторыхъ, рассказывая о покореніи Новгорода, Карамзинъ передаетъ слѣдующее. Распря у Новгорода съ Іоанномъ началась

еще въ 1469 г. Новгородцы захватили многіе доходы, земли и воды княжескіе, презирали Іоанновыхъ намѣстниковъ и пословъ, дѣлали обиды москвитянамъ. Іоаннъ только требовалъ удовлетворенія и просилъ новгородцевъ „исправиться“. Многіе желали прекратить распрю и жить съ Москвою въ мирѣ: „но скоро открылся мятежъ, какого давно не бывало въ сей народной державѣ“. Винницею этого мятежа была Марѣа Борецкая, которую историкъ изображаетъ въ слѣдующихъ чертахъ:

„Вопреки древнимъ обыкновеніямъ и правамъ славянскимъ, которые удаляли женскій полъ отъ всякаго участія въ дѣлахъ гражданскихъ, жена гордая, честолюбивая, вдова бывшаго посадника Ісаака Борецкаго, именемъ Марѣа, предпріяла рѣшить судьбу отечества. Хитрость, велерѣчіе, знатность, богатство и роскошь доставили ей способъ дѣйствовать на правительство. Народные чиновники сходились въ ея великолѣпномъ домѣ пировать и совѣтоваться о дѣлахъ важнѣйшихъ... Сія гордая жена хотѣла освободить Новгородъ отъ власти Іоанновой, и, по увѣренію лѣтописцевъ, выйти замужъ за какого-то вельможу литовскаго, чтобы вмѣстѣ съ нимъ господствовать, именемъ Казимировымъ, надъ своимъ отечествомъ... Марѣа предпріяла дѣйствовать рѣшительно. Ея сыновья, ласкатели, единомышленники, окруженные многочисленнымъ сонмомъ людей подкупленныхъ, явились на вѣче и торжественно сказали, что настало время управиться съ Іоанномъ... Громогласное восклицаніе: «не хотимъ Іоанна! да здравствуетъ Казимиръ!» служило заключеніемъ ихъ рѣчи“. Образовалось двѣ партіи: одна — за московскаго князя, другая — за Казимира. „Но Борецкіе превозмогли, овладѣли правленіемъ и погубили отечество, какъ жертву ихъ страстей личныхъ... Новгородъ поддался Казимиру добровольно и торжественно... Многочисленное посольство отправилось въ Литву... съ предложеніемъ, чтобы Казимиръ былъ главою новгородской державы на основаніи древнихъ уставовъ ея гражданской свободы. Онъ принялъ все условія“.

Итакъ Марѣа въ „Исторіи“ не тождественна съ героиней повѣсти.

Свѣдавъ объ указанномъ посольствѣ къ Казимиру, Іоаннъ отправилъ въ Новгородъ „благоразумнаго чиновника“, но не князя Холмскаго, а Ів. Ѳ. Товаркова, съ такимъ увѣщаніемъ: „Люди новгородскіе! Рюрикъ, Св. Владимиръ и Великій Всеволодъ Іурьевичъ, мои предки, повелѣвали вами; я наследовалъ сіе право; жажду васъ, храню, но могу и казнить за дерзкое ослушаніе. Когда вы были подданными Литвы? Нынѣ же работливостуете иновѣр-“

нымъ, преступая священные обѣты. Я ничѣмъ не отяготилъ васъ и требовалъ единственно древней законной дани. Вы измѣнили мнѣ: казнь Божія надъ вами! Но еще медлю, не любя кровопролитія, и готовъ миловать, если съ раскаяніемъ возвратитесь подъ сѣнь отечества“. Но „Марѳа съ друзьями своими дѣлала что хотѣла въ Новгородѣ... Клевреты или наемники Борецкихъ воили: «Новгородъ государь нашъ, а Казимиръ покровитель!»... Посолъ московскій возвратился къ государю съ увѣреніемъ, что не слова и не письма, а одинъ мечъ можетъ смирить новгородцевъ. Великій князь изъявилъ горестъ: еще размышлялъ, совѣтовался,... открылъ государственную думу, и предложилъ ей на судъ измѣну новгородцевъ... Отвѣтствовали единогласно: «Государь, возьми оружіе въ руки!» Тогда Іоаннъ произнесъ рѣшительное слово: «да будетъ война!»“

Началось страшное опустошеніе: съ одной стороны дѣйствовали войска самого Іоанна и князя Холмскаго, а съ другой союзные съ Москвой псковитяне. Новгородцы уже хотѣли вступить въ переговоры, но Марѳа и ея единомышленники не допустили до этого, собрали большую рать—и произошла битва на берегу Шелони. О доблести новгородцевъ говорить лишь ихъ лѣтописецъ; по другимъ же извѣстіямъ—они не стояли и часу, потерпѣли пораженіе, разбѣжались; нѣкоторые изъ ихъ вожаковъ были казнены, въ томъ числѣ и сынъ Марѳы—Дмитрій. Новгородъ готовъ былъ смириться; но Марѳа снова начала „дѣйствовать на умы и сердца, возбуждая ихъ противъ великаго князя“. Іоаннъ сталъ готовиться обступитъ Новгородъ, чтобы нанести послѣдній ударъ. Тогда только новгородцы запросили мира — и „государь изрекъ слово великодушнаго прощенія... Давъ слово забыть прошедшее, великій князь оставилъ въ покоѣ и самую Марѳу Борецкую“.—Слѣдовательно не только Марѳа, но и новгородцы въ „Исторіи“ не тѣ герои, что въ повѣсти.

Прошло нѣсколько лѣтъ послѣ Шелонской битвы — и тогда лишь Іоаннъ посѣтилъ Новгородъ для личнаго разбирательства разныхъ дѣлъ по жалобамъ младшихъ гражданъ на старшихъ. Это было въ 1475 г. Нѣкоторые бояре—и въ числѣ ихъ другой сынъ Марѳы—Федоръ—были взяты подъ стражу. Правосудіе Іоанна многимъ понравилось — и эти люди захотѣли „видѣть судную власть въ однѣхъ рукахъ его... Сии многочисленные друзья великаго князя, можетъ быть сами собою, а можетъ быть и по согласію съ нимъ, замыслили слѣдующую хитрость. Двое изъ оныхъ... явились передъ Іоанномъ (въ Москвѣ 1477 г.) и торже-

ственно наименовали его *государемъ* Новагорода, вмѣсто *господина*, какъ прежде именовались великіе князья въ отношеніи къ сей народной державѣ. Вслѣдствіе того Іоаннъ отправилъ къ новгородцамъ боярина... спросить, что они разумѣютъ подъ названіемъ государя; хотятъ ли присягнуть ему, какъ *полному властителю*, единственному законодателю и судіи... Изумленные граждане отвѣтствовали: «Мы не посылали съ тѣмъ къ великому князю; это ложь». Сдѣлалось общее волненіе. Они терпѣли оказанное Іоанномъ самовластіе въ дѣлахъ судныхъ, какъ *чрезвычайное*, но ужаснулись мысли, что сія чрезвычайность будетъ уже *закономъ*; что древняя пословица: «Новгородъ судится своимъ судомъ» утратитъ навсегда смыслъ, и что московскіе тиуны будутъ рѣшать судьбу ихъ. Древнее вѣче уже не могло ставить себя выше князя, но по крайней мѣрѣ существовало именемъ и видомъ: Дворъ Ярославовъ былъ святилищемъ народныхъ правъ: отдать его Іоанну значило торжественно и навѣки отвергнуться оныхъ. Сіи мысли возмутили даже и самыхъ мирныхъ гражданъ, расположенныхъ повиноваться великому князю... Забвенные единомышленники Марѣины воспрянули какъ бы отъ глубокаго сна, и говорили народу, что они лучше его предвидѣли будущее; что друзья и слуги московскаго князя суть измѣнники, коихъ торжество есть гробъ отечества. Народъ остервенился. Послано было сказать Іоанну, что звать его будутъ господиномъ, а не государемъ; суда его не хотятъ, „Дворища Ярославля“ не отдаютъ. „Но Іоаннъ не любилъ уступать, и, безъ сомнѣнія, предвидѣлъ отказъ новгородцевъ, желая только имѣть видъ справедливости въ семъ разборѣ“. Объявленъ былъ походъ; собралась сильная рать со многими военачальниками, въ числѣ которыхъ былъ и князь Холмскій. Псковитяне опять были на сторонѣ великаго князя. Іоаннъ подступилъ къ самому Новгороду и обложилъ его. Новгородцы хотя и избрали себѣ военачальника — князя Василя Шуйскаго-Гребенку, однако ужъ не сражались, а лишь вели переговоры объ условіяхъ своего подчиненія и, угрожаемые и мечомъ и голодомъ, дѣлали все большія и большія уступки твердости Іоанна — и дѣло наконецъ кончилось тѣмъ, что Іоаннъ безъ битвы „привелъ Великій Новгородъ во всю волю свою“. Въ январѣ (15-го) 1478 г. рушилось новгородское вѣче, вѣчевой колоколъ былъ снятъ и отвезенъ въ Москву, куда была отправлена (а не казнена) и Марѣя Борецкая.

Разсказъ въ „Исторіи“, представляя событіе иначе, чѣмъ въ повѣсти, производитъ и иное впечатлѣніе: въ историческомъ по-

вѣствованіи сила подчиняетъ себѣ безсиліе, въ повѣсти сила одо-
лѣваетъ силу же—и событіе вслѣдствіе этого получаетъ траги-
ческій характеръ: Марѳа, Мірославъ, Михаилъ Храбрый и новго-
родцы вообще—это трагическіе герои, исполненные нравственной
силы и доблести въ борьбѣ за свою свободу. Повѣсть: „Марѳа
Посадинца“ заключаетъ въ себѣ прекрасный сюжетъ для высокой
исторической трагедіи въ Шекспировскомъ духѣ; но при сравненіи
ея съ историческимъ рассказомъ она должна быть названа иде-
ализаціей.

Карамзинъ и самъ чувствовалъ, что его Марѳа ужъ слиш-
комъ далека отъ дѣйствительной, и хотѣлъ ослабить идеализа-
цію введеніемъ въ повѣсть того эпизода, въ которомъ она, открыв-
шаясь Ксеніи и Мірославу, объясняетъ свои дѣйствія единственно
любовью къ покойному своему мужу и данной ему клятвой „быть
вѣчнымъ врагомъ непріятелей свободы новгородской“. Въ со-
отвѣтствіи съ этимъ эпизодомъ находится и то мѣсто предисло-
вія, гдѣ Карамзинъ, выдавъ свою повѣсть за пересказъ старин-
ной рукописи, говоритъ: „Тайное побужденіе, данное имъ (т.-е.
авторомъ рукописи) фанатизму Марѳы, доказываетъ, что онъ ви-
дѣлъ въ ней только *страстную*, пылкую, умиую, а не великую
и добродѣтельную женщину“. Но эпизодъ этотъ—лишь искусствен-
ная вставка, и Марѳа въ повѣсти все-таки производитъ впечатлѣ-
ніе героини и великой и добродѣтельной. Достаточно вспомнить
только эти слова ея: „Когда бы все небо запылало, и земля, какъ
море, всколебалась подъ моими ногами,—и тогда бы сердце мое
не устранилось: если Новгороду должно погибнуть, то могу ли
думать о жизни своей“¹⁴⁸).

Объ этой повѣсти Карамзина находимъ слѣдующую замѣтку
у Бестужева-Рюмина: „Въ нравственномъ чувствѣ Карамзина есть
одна высокая сторона, доступная немногимъ: для него не суще-
ствуетъ Бреново «*vae victis!*»; онъ понимаетъ законность борьбы,
историческое значеніе побѣды; но съ сожалѣніемъ, съ участіемъ
останавливается на участи побѣжденнаго; его плачъ о паденіи
Новгорода, по изящному краснорѣчію высокаго нравственнаго
чувства, достоинъ стать на ряду съ лѣтописнымъ плачемъ о па-
деніи Пскова. Карамзинъ, какъ и лѣтописецъ (Карамзинъ, разу-
мѣется, еще больше лѣтописца), понимаетъ нравственную не-
правду, погубившую Новгородъ и Псковъ; но... Карамзинъ еще
сверхъ того понимаетъ государственную необходимость; если
сердцемъ онъ сожалеетъ о Новгородѣ, то по разуму онъ на про-
тивной сторонѣ“¹⁴⁹).

Въ повѣсти и дано преимущественное мѣсто голосу сердца, въ „Исторіи“ же—голосу разума. Тамъ, заканчивая свое „Обозрѣніе исторіи Новгорода“, Карамзинъ говоритъ:

„Хотя сердцу человѣческому свойственно доброжелательствовать республикамъ, основаннымъ на коренныхъ правахъ вольности, ему любезной; хотя самыя опасности и безпокойства ея, питая великодушіе, плѣняютъ умъ, въ особенности юный, малоопытный; хотя новгородцы, имѣя правленіе народное, общій духъ торговли и связь съ образованнѣйшими нѣмцами, безъ сомнѣнія, отличались благородными качествами отъ другихъ росіянъ, униженныхъ тиранствомъ моголовъ: однакожъ исторія должна прославить въ семъ случаѣ умъ Іоанна, ибо государственная мудрость предписывала ему усилить Россію твердымъ соединеніемъ частей въ цѣлое, чтобы она достигла независимости и величія, то-есть, чтобы не погибла отъ ударовъ новаго Батыя или Витовта; тогда не уцѣлѣлъ бы и Новгородъ: взявъ его владѣнія, государь московскій поставилъ одну грань своего царства на берегу Наровы, въ угрозу нѣмцамъ и шведамъ, а другую за Каменнымъ Поясомъ, или хребтомъ Уральскимъ, гдѣ баснословная древность воображала источники богатства, и гдѣ они дѣйствительно находились, во глубинѣ земли, обильной металлами, и во тѣмѣ лѣсовъ, наполненныхъ соболями.—Императоръ Гальба сказалъ: «Я былъ бы достоинъ возстановить свободу Рима, если бы Римъ могъ воспользоваться ею». Историкъ русскій, любя и человѣческія и государственныя добродѣтели, можетъ сказать: «Іоаннъ былъ достоинъ сокрушить утлую вольность новгородскую, ибо хотѣлъ твердаго блага всей Россіи“ ¹⁵⁰).

„Марѳа Посадница“ при своемъ появленіи должна была произвести сильное впечатлѣніе, какъ своимъ величавымъ содержаніемъ, такъ и языкомъ того стиля, которымъ впоследствии написана „Исторія государства Россійскаго“. Погодинъ замѣчаетъ: „Эта повѣсть имѣла успѣхъ не менѣе «Бѣдной Лизы». Вся молодежь твердила наизусть: «Раздался звукъ вѣчевого колокола и вздрогнули сердца въ Новгородѣ»... Характеры, положенія, встрѣчи—все это было здѣсь совершенно ново, необыкновенно, разительное.—Украшенія, преувеличенія, идеализація не бросались тогда въ глаза читателямъ такъ, какъ нынѣ“ ¹⁵¹).

Въ „Вѣстникѣ Европы“ помѣщена была и извѣстная уже отчасти намъ недоконченная повѣсть: „Рыцарь нашего времени“ (1802—1803). Она имѣетъ автобіографическое значеніе.

но не лишена и значенія историческаго: въ ней сохранены многія черты жизни старинныхъ русскихъ дворянъ, и выведено нѣсколько ихъ типовъ. Въ дополненіе къ тому, что приведено уже изъ этой новѣсти въ представленномъ нами біографическомъ очеркѣ Карамзина¹⁵²), выпишемъ еще слѣдующій отрывокъ.

„Капитанъ Радушинъ, отецъ Леоновъ, любитъ угощать добрыхъ пріятелей, чѣмъ Богъ послалъ. Сынъ всякій разъ съ великимъ удовольствіемъ бѣжалъ сказать ему: «Батюшка! ѣдутъ гости!» а капитанъ нашъ отвѣчалъ: «Добро пожаловать!» надѣвалъ круглый парикъ свой и шелъ къ нимъ на встрѣчу съ лицомъ веселымъ... Провинціалы наши не могли наговориться другъ съ другомъ; не знали, что за звѣрь политика и литература, а разсуждали, спорили и шумѣли. Деревенское хозяйство, охота, извѣстныя тяжбы въ губерніи, анекдоты старины — служили богатою матеріею для разсказовъ и примѣчаній... Ахъ! давно уже смерть и время бросили на васъ темный покровъ забвенія, витязи С—скаго уѣзда, вѣрные друзья капитана Радушина! Лебрюнь и Лампи не сохранили для насъ вашего образа; но я не даромъ авторъ Леоновой исторіи: зеркало памяти моей ясно. Какъ теперь смотрю на тебя, заслуженный майоръ Ѳадей Громиловъ, въ черномъ большомъ парикѣ, зимою и лѣтомъ въ малиновомъ бархатномъ камзолѣ, съ кортикомъ на бедрѣ и въ желтыхъ татарскихъ сапогахъ; слышу, слышу, какъ ты, не привыкнувъ ходить на цыпкахъ въ комнатахъ знатныхъ господъ, стучишь ногами еще за двѣ горницы и подаешь о себѣ вѣсть издали громкимъ своимъ голосомъ, которому нѣкогда рота ландмилиціи повиновалась, и который въ яркихъ звукахъ своихъ нерѣдко ужасалъ дурныхъ воеводъ провинціи! Вижу и тебя, сѣдовласый ротмистръ Буриловъ, прострѣленный насквозь башкирскою стрѣлою въ степяхъ Уфимскихъ; слабый ногами, но твердый душою; ходившій на клюкахъ, но сильно махавшій ими, когда надлежало тебѣ представить живо или ударъ твоего эскадрона, или омерзеніе свое къ безчестному дѣлу какого-нибудь недостойнаго дворянина въ вашемъ уѣздѣ! Гляжу и на важную осанку твою, бывший воеводскій товарищъ. Прямодушинъ, и на орлиный носъ твой, за который не могъ водить тебя секретарь провинціи, ибо совѣсть умище крючкотворства; вижу, какъ ты, разсказывая о Биронѣ и Тайной Канцеляріи, опираешься на длинную трость съ серебрянымъ набалдашникомъ, которую подарилъ тебѣ фельдмаршалъ Минихъ... вижу всѣхъ васъ, достойные матадоры провинціи, которыхъ бесѣда имѣла вліяніе на характеръ моего героя; и чтобы предста-

вить разительно все благородство сердецъ вашихъ, сообщаю здѣсь условія, заключенныя вами между собою въ домѣ отца Леонова и написанныя рукою Прямоушина“. Слѣдуетъ уже извѣстный намъ „Договоръ братскаго общества“¹⁵³).

Автобіографическое значеніе можетъ имѣть и разсказъ: „Чувствительный и холодный“ (1803). Карамзинъ сопоставляетъ тутъ два противоположные типа людей: Эрастъ—типъ челоѣка чувствительнаго, Леонидъ—хладнокровнаго, и въ этихъ лицахъ можно узнать нѣкоторыя черты—въ первомъ—самого Карамзина, во второмъ—Петрова. Интересно, между прочимъ, вступленіе къ этому разсказу: въ немъ авторъ дѣлаетъ общую оцѣнку людей чувствительныхъ и хладнокровныхъ и указываетъ выгодныя и невыгодныя стороны чувствительности. „Первые“,—говоритъ Карамзинъ,—„безъ сомнѣнія, живѣе наслаждаются; но какъ въ жизни болѣе горестей, нежели удовольствій, то слабѣе чувствовать тѣ и другія есть выигрышъ. *Боги не даютъ, а продаютъ намъ удовольствія*, сказалъ греческій трагикъ¹⁵⁴); и слишкомъ дорого, можно примолвить, такъ что мы съ покупкою остаемся въ глупцахъ. Но чувствительный есть природный мотъ: онъ видитъ свое разореніе, борется съ собою—и все покупаетъ. Однакожъ, любя справедливость, замѣтимъ и свойственныя ему преимущества. Равнодушные люди бываютъ во всемъ благоразумнѣе, живутъ смирнѣе въ свѣтѣ; менѣе дѣлаютъ бѣдъ и рѣже разстраиваютъ гармонію общества; но одни чувствительные приносятъ великія жертвы добродѣтели, удивляютъ свѣтъ великими дѣлами, для которыхъ, по словамъ Монтаня, нуженъ всегда *небольшой примѣсъ безразсудности*, un peu de folie! они-то блистаютъ талантами воображенія и творческаго ума: поэзія и краснорѣчіе есть дарованіе ихъ. Холодные люди могутъ быть только математиками, географами, натуралистами, антикваріями и—если угодно—философами!“...

Разсказъ объ Эрастѣ и Леонидѣ и служитъ реальнымъ подтвержденіемъ указаннаго взгляда.

Довольно крупной статьей въ „Вѣстникѣ Европы“ была статья: „О Богдановичѣ и его сочиненіяхъ“ (1802). Она заключаетъ въ себѣ біографическій очеркъ этого писателя и прекрасный разборъ его „Душеньки“, правильный взглядъ на которую выраженъ въ слѣдующихъ словахъ автора статьи: „Она не есть поэма героическая; мы не можемъ, слѣдуя правиламъ Аристотеля, съ важностію разсматривать ея *басню, нравы, характеры и выраженіе* ихъ; не можемъ, къ счастью, быть въ семъ случаѣ педантами, которыхъ боятся граціи и любимцы ихъ. Душенька

есть легкая игра воображенія, основанная на однихъ правилахъ нѣжнаго вкуса; а для нихъ нѣтъ Аристотеля. Въ такомъ сочиненіи все правильно, что забавно и весело, остроумно выдуманно, хорошо сказано. Это кажется очень легко, и въ самомъ дѣлѣ не трудно — но только для людей съ талантомъ“.

Въ своемъ журналѣ Карамзинъ помѣщалъ и свои философскія статьи и свои стихотворенія. Такъ, онъ помѣстилъ въ немъ уже извѣстное намъ разсужденіе: „О счастливѣйшемъ времени жизни“ и небольшую статейку: „Мысли объ уединеніи“ (1803), въ которой подробнѣе развиваетъ то, что раньше было высказано имъ по этому предмету въ письмѣ изъ Ліона¹⁵⁵). Въ стихотворномъ отдѣлѣ встрѣчаемъ стихотворенія издателя: „Меланхолія“, „Къ Добродѣтели“, „Къ Эмилиі“ и др. Отдѣлъ этотъ разнообразился произведеніями и другихъ писателей—Державина, Дмитріева, Вл. Измайллова, В. Пушкина, Ал. Пв. Тургенева, и тутъ же впервые появилось имя Жуковского, подписанное подъ первымъ его напечатаннымъ произведеніемъ—переводомъ элегіи Грея: „Сельское кладбище“.

5. Дополнительный очеркъ „Вѣстника Европы“.

Указаннымъ матеріаломъ однако еще не исчерпывается содержаніе разсматриваемаго журнала, который названъ Вѣстникомъ *Европы* не только потому, что онъ долженъ былъ „содержать въ себѣ главныя европейскія новости въ политикѣ“, но еще и вотъ по какой причинѣ: объявляя о продолженіи своего изданія въ 1803 г. и указывая подробнѣе его программу, Карамзинъ говорилъ: „лучшіе авторы Европы должны быть въ нѣкоторомъ смыслѣ нашими *сотрудниками* для удовольствія русской публики, а намъ остается избирать ихъ мысли, какъ умѣемъ. Не многіе получаютъ иностранные журналы, а многіе хотятъ знать, *что и какъ* пишутъ въ Европѣ: Вѣстникъ можетъ удовлетворять сему любопытству, и притомъ съ нѣкоторою пользою для языка и вкуса. Намъ пріятно думать, что въ Грузіи или въ Сибири читаютъ тѣ самыя піесы, которыя (двумя или тремя мѣсяцами прежде) занимали парижскую и лондонскую публику“. Другими словами, издатель желалъ, чтобы черезъ его посредство русское общество знакомилось съ европейскою литературой. И дѣйствительно, въ „Вѣстникѣ Европы“ мы находимъ статьи изъ слѣдующихъ произведеній иностранной прессы: изъ „Moniteur“, „Journal de Paris“, „Decade“, „Spectateur du Nord“, „Gazette de France“, „Philosophical Magazine“, „Univ. Chronicle“ и даже изъ одного

американскаго журнала. Нѣкоторыя статьи должны были имѣть большой современный интересъ; къ такимъ надо отнести, напри- мѣръ, слѣдующія: „Анекдоты о Бонапартѣ“, „Бонапартѣ въ пира- мидѣ“ (перев. изъ описанія египетской экспедиціи); интересны также статьи, очерчивающія личности Людовика XVI и Маріи Антуанеты (изъ „Mémoires de Soultave“ и „Maximes de Louis XVI“). Изъ беллетристическихъ писателей наибольшее мѣсто отведено г-жѣ Жанлисъ, подобно тому какъ въ „Московскомъ журналѣ“ такое же мѣсто удѣлено было Мармонтелю.

Критическаго отдѣла въ „Вѣстникѣ“ не было, такъ какъ Карамзинъ, признававшій прежде за критикою большую пользу, теперь измѣнилъ свой взглядъ, находя, что, въ виду тогдашней малочисленности у насъ авторовъ, лучше не пугать ихъ, а поощрять. Новый взглядъ свой онъ выразилъ въ первомъ же номерѣ журнала (въ формѣ безыменнаго письма къ издателю), сказавши: „Глупая книга—небольшое зло въ свѣтѣ: у насъ же такъ мало авторовъ, что не стоитъ труда и пугать ихъ. Но если выйдетъ нѣчто изрядное, для чего не похвалить? Самая умѣренная похвала бываетъ часто великимъ ободреніемъ для юнаго таланта“. Въ статьѣ: „О книжной торговлѣ и любви ко чтенію въ Россіи“ (1802, № 9), радуясь, что въ обществѣ началъ пробуждаться замѣтный интересъ къ книгамъ,—хотя пока еще главнымъ образомъ только къ романамъ,—Карамзинъ говоритъ: „Теперь въ страшной модѣ Коцебу... Романъ, сказка, хорошее или дурное—все одно, если на титулѣ имя славнаго Коцебу!—Не знаю, какъ другіе, а я радуюсь, лишь бы только читали! И романы, самые посредствен- ные, даже безъ всякаго таланта писанные, способствуютъ нѣкото- рымъ образомъ просвѣщенію. Кто плѣняется «Никаноромъ, зло- счастливымъ дворяниномъ», тотъ на лѣстницѣ умственнаго образо- ванія стоитъ еще ниже сего автора, и хорошо дѣлаетъ, что читаетъ сей романъ: ибо, безъ всякаго сомнѣнія, чему-нибудь научается въ мысляхъ или въ ихъ выраженіи. Какъ скоро между авторомъ и читателемъ велико разстояніе, то первый не можетъ сильно дѣй- ствовать на послѣдняго, какъ бы онъ уменъ ни былъ. Надобно вся- кому что-нибудь поближе: одному Жанъ-Жака, другому Никанора. Какъ вкусъ физическій вообще увѣдомляетъ насъ о согласіи пищи съ нашею потребностію, такъ вкусъ нравственный открываетъ человѣку вѣрную аналогію предмета съ его душою; но сія душа можетъ возвыситься постепенно—и кто начинаетъ *Злосчастливымъ дворяниномъ*, перѣдко доходитъ до „Грандисона“.

По замѣчанію Грота, главною причиною такой перемѣны во взглядѣ Карамзина на критику „была, конечно, испытанная имъ истина, что критика раздражаетъ самолюбіе и производитъ разладъ между писателями. Достигнувъ большого вѣса въ литературѣ, вызвавъ толпу послѣдователей, онъ въ то же время нашелъ много враговъ и завистниковъ и предвидѣлъ, что критика вовлекла бы его въ нескончаемую борьбу, противную его мягкому характеру, и онъ заранее уклонился отъ этой щекотливой обязанности журналиста“ ¹⁵⁶). „То, что имъ сдѣлано внѣ области критики“, — говоритъ Гротъ далѣе, — „такъ многозначительно, что потомство не можетъ слишкомъ строго судить его за отсутствіе этого элемента въ его журналѣ; а успѣхъ молодыхъ писателей, которые вскорѣ явились на его сторонѣ и доставили ему рѣшительную побѣду надъ противниками, еще болѣе оправдываетъ его“ ¹⁵⁷).

Подобное же замѣчаніе дѣлаетъ и Пятковскій. „Наученный опытомъ «Московского журнала», Карамзинъ исключилъ рецензіи, какъ слишкомъ хлопотливое и неблагодарное дѣло. Кромѣ того, онъ могъ имѣть въ виду, что отсутствіе подобныхъ статей не будетъ потерей для большинства читателей, смотрѣвшихъ на критику, какъ на пустое пересмѣиванье и зубоскальство“. II авторъ этой замѣтки какъ бы соглашается съ мыслью Карамзина, что, при ограниченномъ количествѣ выходившихъ тогда книгъ, нечего было осуждать и плохую книгу; что бездарная книга—ничтожное зло, и что въ то время лучше было поощрять у насъ литературную дѣятельность, чѣмъ запугивать писателей жесткими приговорами ¹⁵⁸).

Карамзинъ, какъ увидимъ, остался до конца вѣренъ этому взгляду: въ своей академической рѣчи, произнесенной имъ въ 1818 г., онъ совѣтовалъ нашей тогдашней критикѣ взять себѣ основнымъ правиломъ: *„болѣе хвалить достойное хвалы, нежели осуждать, что осудить можно“*.

6. Заключение.

Изъ приведенныхъ нами очерковъ читатель, конечно, видитъ, чѣмъ отличался „Вѣстникъ Европы“ отъ „Московского журнала“ и несрочныхъ сборниковъ Карамзина: тамъ мысль издателя занята главнымъ образомъ человекомъ вообще; здѣсь, въ „Вѣстникѣ“, не упуская изъ виду ни человечества, ни человѣчности, издатель съ особеннымъ вниманіемъ останавливается на Россіи.

Какъ органъ, посвященный интересамъ Россіи, „Вѣстникъ

Европы“ находится въ связи—съ одной стороны —съ тѣми произведеніями, которыми Карамзинъ встрѣтилъ Александровскую эпоху, а съ другой—съ его „Исторіей государства Россійскаго“, и именно вотъ какимъ образомъ.

„Похвальное слово императрицѣ Екатеринѣ“ и двѣ оды Карамзина были обращеніемъ его къ правящей власти съ цѣлю высказать свой идеалъ правленія. „Вѣстникъ Европы“ былъ обращеніемъ къ обществу съ цѣлю указать ему свой идеалъ гражданина.

Если мысли издателя „Вѣстника“ сопоставить съ мыслями тогдашней либеральной партіи, то окажется, что Карамзинъ не только не приблизился къ либераламъ, а напротивъ—разошелся съ ними еще болѣе, такъ какъ, кромѣ вопроса о формѣ правленія, его раздѣляли съ ними и вопросъ крестьянскій—вопросъ, разрѣшеніе котораго Карамзинымъ могло, какъ мы уже говорили, имѣть въ извѣстномъ отношеніи неблагоприятное вліяніе на современное ему общество¹⁵⁹). Новѣйшая критика главнымъ образомъ и судитъ Карамзина, сопоставляя его взгляды со взглядами тогдашнихъ либераловъ. Но вѣдь помимо этихъ двухъ вопросовъ—вопроса крестьянскаго и о формѣ правленія, Карамзинъ въ своемъ журналѣ говорилъ еще и о многомъ другомъ—и между этимъ другимъ было кое-что, имѣвшее, несомнѣнно, огромную важность: издатель „Вѣстника“ поднималъ въ обществѣ народное самосознаніе, безъ котораго едва ли мыслимъ истинный гражданинъ въ цивилизованномъ государствѣ.

Служа этому важному дѣлу при помощи своего журнала, Карамзинъ затѣмъ продолжалъ служить ему при помощи своей „Исторіи“.

V. «Исторія государства Россійскаго».

1. Первоначальныя предположенія автора „Исторіи“ и его работа надъ нею.—Взгляды прежней критики и новѣйшей.—Выводъ.—Предисловіе къ „Исторіи“.

Еще будучи за границей, Карамзинъ высказывалъ свое сожалѣніе, что у насъ все еще не было тогда „хорошей Россійской исторіи“, и, какъ видно, на созданіе ея смотрѣлъ скорѣе не какъ на трудъ ученый, а какъ на произведеніе литературное, имѣющее своею цѣлю занять, заинтересовать читателя, въ видахъ патриотическихъ. Такъ по крайней мѣрѣ можно думать, основываясь на слѣдующемъ мѣстѣ майскаго письма его изъ Парижа, написаннаго по поводу встрѣчи русскаго путешественника съ Левекомъ.

„Больно“, — говоритъ Карамзинъ, — „но должно по справедливости сказать, что у насъ до сего времени нѣтъ хорошей россійской исторіи, т.-е. писанной съ философскимъ умомъ, съ критикою, съ благороднымъ краснорѣчіемъ. Тацитъ, Юмъ, Робертсонъ, Гиббонъ — вотъ образцы! Говорятъ, что наша исторія сама по себѣ менѣе другихъ занимательна: не думаю; нуженъ только умъ, вкусъ, талантъ. Можно выбрать, одушевить, раскрасить — и читатель удивится, какъ изъ Нестора, Никона и проч. могло выйти нѣчто привлекательное, сильное, достойное вниманія не только русскихъ, но и чужестранцевъ. Родословная князей, ихъ ссоры, междоусобія, набѣги половцевъ — не очень любопытны: соглашаюсь; но зачѣмъ наполнять ими цѣлые томы? Что не важно, то сократить, какъ сдѣлалъ Юмъ въ англійской исторіи; но всѣ черты, которыя означаютъ свойства народа русскаго, характеръ древнихъ нашихъ героевъ, отмѣнныхъ людей, происшествія дѣйствительно любопытныя — описать живо, разительно. У насъ былъ свой Карлъ Великій — Владимиръ, свой Людовикъ XI — царь Іоаннъ, свой Кромвель — Годуновъ, и еще такой государь, которому нигдѣ не было подобныхъ: Петръ Великій. Время ихъ правленія составляетъ важнѣйшія эпохи въ нашей исторіи, и даже въ исторіи человѣчества: его-то надобно представить въ живописи, а прочее можно обрисовать, но такъ, какъ дѣлалъ свои рисунки Рафаэль или Микель-Анжело“ ¹⁶⁰).

Въ виду того, что въ письмѣ, отправленномъ къ Муравьеву съ просьбой объ исторіографской пенсіи, Карамзинъ высказывалъ надежду „управиться съ исторіей“ въ пять или шесть лѣтъ, надо думать, что онъ и тогда такъ же легко смотрѣлъ на предстоящій трудъ и предполагалъ написать лишь отличающееся умомъ, вкусомъ и талантомъ историко-литературное произведеніе. Погодинъ такъ и думаетъ — и вотъ какъ представляетъ себѣ тогдашнія предположенія Карамзина:

„Объ дѣлѣ исторіи“, — пишетъ Погодинъ, — „особенно въ отношеніи къ пригготовительнымъ, критическимъ работамъ, онъ имѣлъ понятія очень поверхностныя; классическаго образованія онъ не получилъ, и даже собственно-ученой подготовки въ смыслѣ Шлецера у него не было. Онъ хотѣлъ прежде всего сочинить занимательную книгу для чтенія; онъ хотѣлъ развернуть пріятную, поразительную картину предъ взорами своихъ читателей; распространить въ обществѣ, въ народѣ историческія свѣдѣнія, доступныя прежде только для немногихъ. Учености у него не было въ виду. Онъ надѣялся управиться при одномъ здоровомъ смыслѣ,

живости воображенія, при талантѣ краснорѣчія. II такіе образы, какъ Рюрикъ, неизвѣстный витязь, приплывающій изъ-за моря въ Новгородъ на княженіе, Олегъ подъ Константинополемъ, приближающій щитъ къ вратамъ полулѣнной столицы, Ольга, принимающая святое крещеніе отъ греческаго патріарха, Владимиръ, завоевывающій вѣру, Мономахъ съ его поученіемъ, Боголюбскій, Мстиславы — казались предметами, достойными художественной кисти. А тамъ еще Донской, св. Сергій, Іоаннъ III съ наслѣдницею греческой имперіи, Грозный, Годуновъ, самозванцы!“

„Какое раздолье для таланта могутъ представить норманскіе походы, принятіе христіанской вѣры, нашествіе дикихъ монголовъ, Куликовская битва, освобожденіе Москвы отъ поляковъ съ Пожарскимъ, Мининымъ, Гермогеномъ, Лянуновымъ, Палицынымъ, Сусанинымъ,—и Петръ, Петръ, которому никакая исторія никого не представляетъ подобнаго!“

„Восхитительныя зрѣлища представлялись воображенію! II какъ все это легко—матеріалы готовы, подъ руками: вотъ Несторъ и его продолжатели, лѣтописи Кіевская, Суздальская, Новгородская, Курбскій, Палицынъ... Столбовая дорога проложена Татищевымъ, Щербатовымъ, Стриттеромъ, который только что вышелъ тогда въ свѣтъ. Миллеръ, Болгинъ, Мусинъ-Пушкинъ, Бантышъ-Каменскій дополняютъ, поясняютъ. Наконецъ иностранные путешественники, съ которыми уже онъ познакомился и сдѣлать опытъ, какъ можно ими воспользоваться! — Стоитъ только прочесть, какъ говорилъ онъ, разобрать, украсить, умѣть воспользоваться оригинальными чертами, готовыми красками—и весь этотъ грубый, сырой матеріалъ приметъ совсѣмъ другой видъ, заговоритъ душѣ, взволнуетъ сердце новыхъ читателей, имъ же сотворенныхъ, друзей Писемъ русскаго путешественника, Бѣдной Лизы и Ильи Муромца, Замѣтокъ на пути къ Троицѣ!.. II онъ приступаетъ къ дѣлу!“ ¹⁶¹⁾

Однако, приступивъ къ дѣлу, Карамзинъ увидѣлъ, что и историко-литературное произведеніе на такую тему, какъ „Исторія государства Россійскаго“, написать было не легко: нужно было много работать и—волей или неволей—не отстраняться отъ учености. Онъ проработалъ не пять-шесть лѣтъ, какъ было думалъ, а слишкомъ двадцать—и не только не кончилъ своей „Исторіи“, но не довелъ ее и до Романовыхъ. II, не смотря на этотъ продолжительный срокъ, историки наши находятъ, что Карамзинъ все-таки работалъ быстро, и нѣкоторые изъ нихъ быстротѣ этой даже удивляются.

Само собою разумѣется, что удивленіе это есть слѣдствіе представленія о трудѣ Карамзина, какъ о громадной работѣ, о гигантскомъ подвигѣ. Но въ томъ-то и дѣло, что въ вопросѣ о степени трудности его работы наши историки-критики расходятся, потому что расходятся во взглядѣ на предшествовавшее Карамзину состояніе русской исторіи. Отсюда, конечно, вытекаетъ и неодинаковое рѣшеніе вопроса о томъ, насколько Карамзинъ внесъ новаго сравнительно съ тѣмъ, что было сдѣлано до него. Въ виду того, что оцѣнка всего этого есть дѣло специалистовъ, намъ остается только привести ихъ мнѣнія—и сдѣлать изъ нихъ лишь тотъ выводъ, который очевиденъ каждому, даже и не специалисту.

Прежде всего остановимся на характеристикѣ состоянія русской исторіи до Карамзина, сдѣланной Погодинымъ.

„Библіотеки“—говоритъ онъ—„не имѣли каталоговъ; источниковъ никто не собиралъ, не указывалъ, не приводилъ въ порядокъ, лѣтописи не были изслѣдованы, объяснены, даже изданы ученымъ образомъ; грамоты лежали, разсыпанныя по монастырямъ и архивамъ; хронографовъ никто не зналъ; ни одна часть исторіи не была обработана—ни исторія церкви, ни исторія права, ни исторія словесности, торговли, обычаевъ; для древней географіи не было сдѣлано никакихъ приготовленій; хронологія перепутана, генеалогіей не занимались; нумизматическихъ собраній не существовало; археологій не было въ поминѣ; ни одинъ городъ, ни одно княжество не имѣли порядочной исторіи; сношенія съ сосѣдними государствами покоились въ статейныхъ спискахъ; иностранныя лѣтописи, кромѣ греческихъ, не принимались въ соображеніе; древніе европейскіе путешественники въ Россіи едва были извѣстны по слуху; съ сочиненіями иностранныхъ ученыхъ, въ которыхъ разсѣяны разсужденія о древней Россіи, никто не справлялся; ни одного вопроса изъ тысячи не рѣшено окончательно, ни одного противорѣчія не соглашено.—Что же было сдѣлано?—Издано нѣсколько лѣтописей, коими нельзя было пользоваться по отсутствію всякой отчетливости. Написано нѣсколько исторій, удовлетворявшихъ потребностямъ своего времени; но онѣ не помогали, а увеличивали работу, приводя ученаго въ сомнѣніе своими прибавленіями, и заставляли отыскивать ихъ источники. Объяснено нѣсколько древнихъ памятниковъ, но безъ необходимыхъ строгихъ доказательствъ. Положено прочное основаніе разрѣшенію одного вопроса—о происхожденіи Руси, и Шлецеръ только что указалъ, какъ надо приниматься за лѣтописи, на-

печатавъ первую часть своихъ толкованій на Нестора. Россійская Вивліюэика, изданная Новиковымъ, и ея продолженіе, изданія Миллера: Степенная книга, Царственная книга, Родословная, Кенигсбергскій Никоновскій списокъ Нестора съ прод., Новгородская лѣтопись, сочиненія Татищева, критическія замѣчанія Болтина, опыты Мусина-Пушкина съ помощію Болтина: о Русской правдѣ, о Тмудораканскомъ камнѣ, о Мономаховомъ поученіи, о Словѣ о полку Игоревѣ. Вотъ главныя пособія Карамзина“.

Далѣе Погодинъ говоритъ уже главнымъ образомъ о положеніи Карамзина на самыхъ же первыхъ порахъ его работы. „Надо въ введеніи сказать о народахъ, проходившихъ черезъ наши страны, жившихъ тамъ по нѣскольку времени, оставившихъ слѣды въ именахъ, и даже въ нѣкоторыхъ памятникѣхъ, упоминаемыхъ въ сочиненіяхъ грековъ и римлянъ. Надо прочесть свидѣтелей, а сколько ихъ, начиная отъ Продота! Какія разнорѣчивыя показанія! Сколько толкованій! Многое ли приведено въ ясность, которую такъ любилъ Карамзинъ, такъ ревностно искалъ вездѣ! Стриттеръ со своими *Memoriae pporlogum* послужилъ ему, разумѣется, первымъ руководителемъ. Потомъ изслѣдованія Тунмана объ исторіи сѣверныхъ и восточныхъ племенъ помогли ему опознаться въ этомъ темномъ періодѣ. Наконецъ Сѣверная исторія Шлецера и Маннертъ съ своею Географіей грековъ и римлянъ. Но эти писатели должны были съ другой стороны раскрыть передъ нимъ и всю трудность предпріятія. Разумѣется, не входя въ дальнѣйшія разысканія, онъ рѣшился передать только результаты мастеровъ и указанія ими изысканія второклассныхъ дѣлателей... Такимъ образомъ въ мартѣ 1805 г. онъ кончилъ свое введеніе“.

На написаніе этого введенія Погодинъ смотритъ, какъ на трудъ хотя и научно несамостоятельный, тѣмъ не менѣе и важный и весьма нелегкій. Эта первая глава, по его отзыву, не заключала въ себѣ ничего новаго для ученыхъ, но зато представляла „ясное, полное обозрѣніе многочисленныхъ прежнихъ работъ“. Написаніе этой главы критикъ, принимая во вниманіе непродолжительный срокъ работы надъ нею, назвалъ „трудомъ и подвигомъ геркулесовскимъ“.

Но стало ли затѣмъ Карамзину работать легче? спрашиваетъ Погодинъ—и отвѣчаетъ: „Ничуть не бывало. Онъ увидѣлъ нужду, почувствовалъ необходимость останавливаться на буквахъ,... онъ увидѣлъ невозможность ступить ни шагу безъ утомительныхъ изслѣдованій объ одномъ словѣ, имени, числѣ; но желѣзная воля, но здравый смыслъ, но внутренній свѣтъ ему помогали. Онъ дѣлѣ-

лся самъ строгимъ критикомъ, многостороннимъ ученымъ, противъ воли, самъ не примѣчая того, и доходилъ до удачныхъ результатовъ“ ¹⁶²).

Подобнымъ же образомъ характеризуетъ „состояніе науки русской исторіи передъ началомъ работы Карамзина“ и извѣстный историкъ нашъ—Бестужевъ-Рюминъ ¹⁶³).

„Изданіе источниковъ“—удостоверяетъ онъ—„началось еще въ XVIII вѣкѣ; но бѣлая часть рукописей были и прочитаны и изданы чрезвычайно небрежно. Всѣмъ извѣстно, какъ князь Щербатовъ въ изданіи такъ называемаго «Древняго лѣтописца», вмѣсто: «утѣчными ловцы», читалъ: «Утечь и Миловцы», принимая эти слова за собственные имена. Львовъ, издавая «Русскій Временникъ», оговаривался въ предисловіи, что за слогъ онъ не отвѣчаетъ. «Все дѣло мое было, говоритъ онъ, привести оныя (старыя тетради; что за тетради это объяснить издатель счелъ за лишнее) только въ порядокъ, исправить ошибки писцовъ, объяснить неупотребительныя слова и вычеркнуть нѣкоторыя нелѣпости». Для объясненія неупотребительныхъ словъ издатель счелъ возможнымъ замѣнить ихъ въ текстѣ словами новаго времени: напри- мѣръ, вы встрѣчаете слово «баталія» въ описаніи битвы Ярослава съ Святополкомъ, и т. д. Не считаю уже нужнымъ послѣ этого говорить о Барковѣ, исказившемъ Радзивилловскій списокъ начальной лѣтописи. Изданія были до того небрежны, что страницы, перепутанныя въ рукописи, путались и въ изданіи и даже въ изложеніи исторіи: такъ случилось съ Царственною книгой. Щербатовъ напечаталъ ее такъ, какъ нашелъ въ рукописи, и отнесъ событія, записанныя на перепутанныхъ листахъ, къ тѣмъ годамъ, куда они попали ошибкой. Самые важные списки лѣтописи оставались не только неизданными, но даже неизвѣстными; такъ, Шлецеръ, списавшій себѣ первыя страницы Платьевскаго списка, не подозревалъ даже, что въ томъ же списокѣ заключается Кіевская лѣтопись, извѣстная только Татищеву, и Волинская, никому неизвѣстная. Впослѣдствіи Карамзинъ нашелъ этотъ списокъ въ числѣ дефектовъ академической библіотеки. Если не было хорошихъ изданій лѣтописи, то тѣмъ менѣе можно было ждать ученыхъ коментаріевъ; и дѣйствительно только Шлецеръ началъ объясненіе нашихъ лѣтописей, и въ ту пору появился одинъ первый томъ его «Нестора». Только Шлецеръ началъ отдѣлять источники, годные къ употребленію, отъ негодныхъ, сталъ добиваться, какимъ путемъ дошли извѣстія; прежде объ этомъ такъ мало думали, что даже Болтинъ, одинъ изъ самыхъ умныхъ и дарови-

тыхъ дѣятелей по русской исторіи, упрекали Щербатова за то, что онъ извѣстія Татищевскія не предпочиталъ лѣтописнымъ; коментаріи самого Татищева ограничивались по большей части соображеніями здраваго смысла. Его примѣчанія интересны главнымъ образомъ своими указаніями на нравы и обычаи XVII и XVIII вѣка, и вовсе не имѣютъ цѣны, какъ ученія объясненія самаго текста. Какъ печатали лѣтописи, такъ печатали и грамоты: печатали то, что подъ руку попадетъ, съ перваго попавшагося списка, и рѣдко заявляли, откуда взята грамота. Ученыхъ пособій совсѣмъ не было: генеалогическія таблицы были такъ перепутаны, что одинъ князь являлся два раза сыномъ двухъ разныхъ князей. Такъ у Щербатова случилось со Всеволодомъ Чермнымъ. Вообще, чтобы понять всю эту путаницу, происшедшую отъ неумѣнья согласить два разные источника—лѣтопись и родословныя, стоитъ взять второй томъ исторіи Щербатова. Географія древней Россіи была не въ лучшемъ состояніи: постоянно путались такіе извѣстные города, какъ Владимиръ на Клязьмѣ и Владимиръ на Волынѣ, такіе народы, какъ болгары Камскіе и болгары Дунайскіе. Состояніе археологіи было таково, что въ 1824 г., уже послѣ изданія «Исторіи» Карамзина, ученое общество печатаетъ въ своемъ изданіи описаніе грузинской хоругви св. Владимира. Конечно, нашелся Оленинъ, доказавшій ея подтѣльность; но тѣмъ не менѣе возможно ли былъ бы этотъ фактъ при другомъ состояніи науки? О мифологіи уже и говорить не стоитъ: въ XVIII вѣкѣ мифологію считали дѣломъ празднаго любопытства, и мифографы, для забавы читателя, изобрѣтали не только обряды, но даже боговъ. Къ этому еще слѣдуетъ прибавить огромное количество недоразумѣній: такъ, изъ Перунова *уса злата* сдѣлали бога *Услада*, и потомъ уже приписали ему разные атрибуты. Такъ писалась у насъ мифологія; тотъ же взглядъ замѣтитъ и въ собраніи пѣсенъ, сказокъ и т. п. Въ сборникахъ постоянно являлись присочиненныя пѣсни и сказки: изслѣдователи не только не умѣли отличить ихъ отъ дѣйствительно народныхъ, но даже не считали этого нужнымъ, ибо и произведенія народной словесности считали занятіемъ празднаго любопытства, и то для черни“.

Перейдя затѣмъ къ работѣ Карамзина, Бестужевъ-Рюминъ называетъ ее „трудомъ великимъ“ и говоритъ: „хорошо было работать современнымъ ему историкамъ Запада: у нихъ Болландисты, и Бенедиктинцы, и Дюканжъ, и Муратори, и Монфоконъ; у нихъ и памятники были изданы, и библіотеки и архивы въ большемъ порядкѣ, и пособій больше“. Не таково было положеніе

Карамзина: ему приходилось многое отыскивать самому, и какъ онъ работалъ лучше всего показываютъ его примѣчанія. Эти примѣчанія критикъ признаетъ „однимъ изъ правъ Карамзина на безсмертіе“, и такъ продолжаетъ свой отзывъ:

„Просматривая примѣчанія Карамзина, нельзя не чувствовать глубокаго уваженія къ громадной его работѣ. Едва ли можно указать большое число памятниковъ, теперь намъ извѣстныхъ, которые были бы неизвѣстны Карамзину: перечислимъ болѣе крупныя. Такъ, у него не было «Домостроя», «Тверской лѣтописи», «Панонскихъ житій», Несторова «Житія Бориса и Глѣба», «Слова нѣкоего Христолюбца» и еще немногихъ; но зато какъ громадна масса памятниковъ, которые онъ въ первый разъ нашелъ, или которыми онъ впервые пользовался. Сюда принадлежит *Хльбниковскій списокъ* (можно считать и *Ипатьевскій*), *Лаврентьевскій Троицкій*, *Ростовскій*, нѣкоторыя изъ Новгородскихъ лѣтописей и едва ли не обѣ *Псковскія* (впрочемъ считаю нужнымъ оговориться: Щербатовъ цитуетъ лѣтописи по нумерамъ, и потому трудно сказать, что именно было у него въ рукахъ); потомъ *Даніиль Паломникъ*, *Иларіонова Похвала Владимиру*, множество житій святыхъ, множество грамотъ, сказаній... И все это онъ прочелъ, изучилъ, провѣрилъ, изъ всего выписать самое любопытное и нигдѣ не спутался... Выписки его такъ точны, что даже имѣющіяся печатныя изданія не всегда въ равной степени удовлетворительны. До него никто (кроме Миллера и Успенскаго, книга котораго вышла въ 1813 г.) не пользовался такъ много иностранными писателями о Россіи. Встрѣтивъ указанія на неизвѣстный ему матеріалъ, онъ не успокоивался, пока не добывалъ этого матеріала: такъ, съ большимъ трудомъ досталъ онъ себѣ *Баварскаго географа*, но нашелъ его недостовернымъ“...

„Каждый памятникъ онъ подвергаетъ критикѣ, и критикѣ всегда удачной; такъ, превосходно разобрано «Житіе Константина Муромскаго», «Дѣяніе собора на Мартина Армянина». Въ лѣтописяхъ онъ также нередко указываетъ на ихъ составныя части: такъ, въ «Повѣсти временныхъ лѣтъ» онъ очень основательно подмѣтилъ одно чисто новгородское сказаніе; помощью приписки на Остромировомъ Евангеліи возстановилъ одинъ годъ въ лѣтописи; указываетъ въ Кіевской лѣтописи одно извѣстіе, записанное, вѣроятно, въ Черниговѣ и т. д. Не довольствуясь нашими библіотеками и архивами, ищетъ возможности получать нужные для него документы и изъ архивовъ заграничныхъ: такъ, изъ Кенигсбергскаго архива ему доставляется много интересныхъ

бумагъ, между прочимъ — грамоты галицкихъ князей, о которыхъ только изъ этихъ грамотъ и можно было получить нѣкоторыя свѣдѣнія; такъ, черезъ Муравьева ищетъ онъ возможности добыть переписку папъ изъ Ватиканскаго архива и т. д. — Памятники вещественные интересуютъ его такъ же, какъ и памятники письменные: онъ собираетъ все извѣстія о святыняхъ, хранимой въ ризницахъ, о раскопкахъ,кладахъ, зданіяхъ — словомъ, обо всемъ, что сохранилось отъ жизни нашихъ предковъ. Имъ помѣщены рисунки буквъ Десятинной церкви, изображеніе стариннаго рубля, буквы зырянской азбуки Стефана Пермскаго. Когда въ наличныхъ источникахъ онъ не находитъ требуемыхъ свѣдѣній, то вступаетъ въ переписку съ мѣстными жителями, и получаетъ нужное свѣдѣніе на мѣстѣ. — Все, что возбуждаетъ какой-либо вопросъ касательно древностей, не остается у Карамзина безъ изслѣдованія: какая-нибудь сомнительная дата, генеалогія того или другого князя, банное строеніе, старинный русскій счетъ, вѣсы и монеты, и т. д., и т. д. Все чужія мифы тщательно разсматриваются и провѣряются. Изслѣдованія Карамзина обыкновенно чрезвычайно точны и могутъ опровергаться только столь же точными изслѣдованіями или новыми памятниками. Словомъ, на пространствѣ времени до 1611 г. немного найдется вопросовъ, которые бы онъ не предвидѣлъ и на которые нельзя было бы найти у него рѣшенія, указанія или по крайней мѣрѣ намекъ. Кто самъ работалъ, тотъ пойметъ, сколько трудовъ нужно было употребить, чтобы собрать такую массу свѣдѣній; тому покажется страннымъ только одно: какъ успѣлъ собрать все это Карамзинъ въ 22 года, если еще припомнимъ притомъ, что въ послѣднее время онъ уже старѣлъ и былъ часто боленъ, и что наконецъ самое изложеніе требовало много времени; много времени уходило на соображенія. Этою-то своею стороною «Исторія» Карамзина особенно сильна и въ наше время: можно утверждать, что онъ не такъ изобразилъ ту или другую эпоху, то или другое лицо и быть правымъ; но отвергать въ немъ великаго ученаго, утверждать, что онъ былъ только литераторъ, нельзя. Сюда, въ эти примѣчанія, долженъ ходитъ учиться каждый занимающійся русскою исторіею, и каждому будетъ чему тутъ поучиться.

Отъ взгляда Погодина и Бестужева-Рюмина значительно отличается взглядъ Милюкова¹⁶⁴). „Конечно,“ говоритъ этотъ критикъ въ возраженіе двумъ только что упомянутымъ историкамъ: — „занятіе лѣтописями не представляло во времена Карамзина такихъ удобствъ, какъ теперь, когда мы имѣемъ изданія архео-

графической комиссії. Но все же къ его времени было не мало списковъ. Изъ 21-го списка, которыми пользовался Шлецеръ для своего «Нестора», только 9 было рукописныхъ. Татищеву, дѣйствительно, пришлось работать тогда, когда ни одинъ списокъ не былъ еще напечатанъ; при тѣхъ же условіяхъ и Щербатовъ началъ составленіе своей исторіи, такъ какъ изданіе лѣтописей началось не раньше 1767 г. Невѣрно и то, что изданными въ XVIII в. лѣтописями нельзя было пользоваться. Изданіе Радзивиловскаго списка, приводимое обыкновенно въ примѣръ искаженія лѣтописей ихъ издателями, прежде всего, было не такъ худо, какъ это утверждаютъ со словъ Шлецера. Во всякомъ случаѣ это и единственный примѣръ... Итакъ, по отношенію къ пользованію лѣтописями Карамзинъ имѣлъ огромное преимущество передъ своими предшественниками. Онъ не только имѣлъ въ своемъ распоряженіи печатныя изданія лѣтописей, но могъ воспользоваться и тою предварительною разработкой лѣтописнаго матеріала, какую нашелъ у своихъ предшественниковъ — Татищева и Щербатова: у него былъ въ рукахъ и комментированный сводъ лѣтописныхъ извѣстій и основанное на нихъ историческое изложеніе. Что касается актовъ и статейныхъ списковъ, — не только они не лежали безъ употребленія въ архивахъ, но имѣлась уже цѣлая исторія (Щербатова), по нимъ составленная; имѣлись и изданія нѣкоторой части ихъ въ подлинникъ — въ приложеніяхъ къ исторіи Щербатова, въ «Вивлюенкѣ», а къ концу составленія Карамзинской исторіи — и въ Румянцевскомъ собраніи грамотъ и договоровъ. Конечно, это не освобождало отъ обязанности еще разъ пересмотрѣть рукописные подлинники и столбцы архива иностранной коллегіи; но перечитывать ихъ, имѣя подъ руками подробное изложеніе и получая весь матеріалъ къ себѣ на домъ, было, конечно, гораздо легче, чѣмъ впервые доискиваться этого матеріала и приводить его въ извѣстность во время самой работы, какъ приходилось дѣлать Щербатову. Наконецъ иностранные источники и изслѣдованія о древнѣйшемъ періодѣ русской исторіи были, какъ мы знаемъ, не только приняты во вниманіе, но и напечатаны въ извлеченіяхъ Татищевымъ. Предшественники Карамзина не имѣли только подъ руками такой вспомогательной работы, какую получилъ исторіографъ въ *Memoriae populorum* Стриттера; они не могли имѣть также и тѣхъ новыхъ данныхъ, которыми обогатила древнѣйшую нашу исторію дѣятельность Румянцевскаго кружка. Средневѣковыя путешествія и сказанія иностранцевъ также уже Щербатовымъ были употреблены

въ дѣло съ такою полнотою, сравнительно съ которой «Исторія государства Россійскаго» представила немного новаго. Что касается спеціальной иностранной литературы о Россіи, то она только и появляться начала во второй половинѣ XVIII в. и, конечно, своевременно становилась извѣстна русскимъ спеціалистамъ... Остается замѣчаніе о неразработанности вспомогательныхъ наукъ ко времени Карамзина. Съ нимъ нельзя не согласиться, но нельзя не прибавить также, что рѣзкой перемѣны въ состояніи этихъ наукъ мы не видимъ и много времени спустя послѣ Карамзина; множество цѣнныхъ замѣтокъ по всѣмъ этимъ наукамъ разсѣяно въ примѣчаніяхъ Карамзина—и все-таки родоначальникомъ русской исторической географіи мы должны считать Байера и Татищева, родоначальникомъ русской генеалогіи—Миллера и Щербатова; другія же вспомогательныя науки и до и послѣ Карамзина, нѣкоторыя даже до нашего времени остаются въ зачаточномъ состояніи¹⁶⁵).

Всѣми этими данными Милуковъ имѣетъ въ виду указать, что оцѣнка Карамзинской работы, какъ „труда исполнскаго“, есть оцѣнка невѣрная, а по отношенію къ предшественникамъ Карамзина несправедливая, и извѣстная часть изъ того *новаго*, что приписывается автору „Исторіи государства Россійскаго“, должна быть засчитана за предыдущими историками, и въ особенности за Щербатовымъ, который, по словамъ критика, „былъ для Карамзина основнымъ источникомъ свѣдѣній по русской исторіи“. Въ первомъ томѣ вліяніе Щербатова стушевывается, въ виду богатства спеціальной литературы; но тѣмъ яснѣе выступаетъ это вліяніе, по мѣрѣ оскудѣнія исторической литературы, въ слѣдующихъ томахъ «Исторіи»... Конечно, Карамзинъ самостоятельно изучаетъ свои источники, но и тутъ Щербатовъ указываетъ ему, гдѣ, когда и что надо изучать. Княжескіе договоры и завѣщанія, присоединяющіеся къ лѣтописямъ съ половины XIII в., статейные списки посольствъ, присоединяющіеся съ конца XV в., иностранцы, начиная съ Плато Карпини и кончая Мартиномъ Беромъ, —всѣ эти источники уже разставлены по мѣстамъ и употреблены въ дѣло Щербатовымъ. Но не только въ указаніяхъ на источники помогаетъ Карамзину Щербатовъ: еще сильнѣе обнаруживается его вліяніе въ самомъ разсказѣ. Часто порядокъ изложенія Щербатова принимается и Карамзинымъ; еще чаще Карамзинъ принимаетъ отдѣльныя толкованія и предположенія Щербатова, его поправки и объясненія какихъ-нибудь генеалогій или недостающихъ событій. Разумѣется, нерѣдко встрѣ-

чаемъ и поправки Карамзинымъ Щербатова. Степень вліянія Щербатовскаго разсказа на Карамзинскій, конечно, вполне можетъ быть выяснена только разборомъ цѣлыхъ частей «Исторіи государства Россійскаго», какой и сдѣланъ въ статьяхъ Соловьева. Но и статьи эти не могутъ еще дать полнаго впечатлѣнія о характерѣ вліянія Щербатова: нужно самому сличить страница за страницей эти параллельныя изложенія, чтобы почувствовать, какъ повсюду, въ началѣ, въ серединѣ, въ концѣ сочиненія, на каждой страницѣ Карамзинъ имѣетъ въ виду Щербатова. Видно, что томъ Щербатовской исторіи всегда лежалъ на письменномъ столѣ исторіографа и давалъ ему постоянно готовую нить для разсказа и тему для разсужденія; и часто Карамзину оставалось только передѣлать ссылку и сдѣлать соотвѣтственную выписку изъ источника. Въ результатѣ пересказа и передѣлки тяжеловѣсныя, неуклюжія фразы Щербатова превращаются въ блестящія, закругленные и отточенные періоды Карамзина“ ¹⁶⁶).

Затѣмъ Милюковъ приводитъ нѣсколько параллельныхъ мѣстъ изъ Карамзина и Щербатова. Вотъ одно изъ нихъ:

Щербатовъ, т. III, стр. 355.

Тогда какъ таковыя дѣла въ областяхъ новгородскихъ происходили, князь Александръ (Михайловичъ) пребывалъ въ Твери, гдѣ вскорѣ новыя ему огорченія отъ неудовольствія на него тверскихъ бояръ учинились, которые и отъѣхали отъ него въ Москву къ великому князю Іоанну (Калитѣ). Лѣтописатели наши нѣмало не повѣствуютъ о причинахъ сего неудовольствія, и трудно, безъ всякихъ знаковъ поступка сего князя,—его ли оправдать, или бояръ обвинить. Тако не въ утвержденіе, но токмо яко догадку, нужную для связи дѣяній и прониканія тайныхъ причинъ дѣлъ, осмѣлюсь предложить, что долгоевременное пребываніе князя Александра во Псковѣ и оказуемая къ нему вѣрность отъ псковитянъ, можетъ быть, склонила его и по пріѣздѣ въ Тверь взять многихъ псковскихъ бояръ съ собою и правленіе имъ препоручить; яко и точно обрѣтаемъ, что онъ учинилъ съ пріѣзжимъ къ нему нѣмцемъ Долемъ, который бояриномъ въ Твери былъ..., а не легко есть сыновьямъ отечества зрѣть пришлецовъ мѣста ихъ въ правленіи занимать, что, можетъ статься, и огорчило бояръ тверскихъ: пбо точно помянуто, что тверскіе бояре отъ него отъѣхали. Самый сей отъѣздъ боярскій требуетъ изъясненія, какимъ образомъ они могли покинуть своего природнаго князя и отъѣхать къ другому: хотя въ лѣтописцахъ и не обрѣтается изъясненія о семъ, но мню, что съ основаніемъ могу приложить ко изъясненію сего найденное о правѣ бояръ въ грамотѣ духовной великаго князя Іоанна Даниловича, что тогда князья давали земли и помѣстья своимъ служителямъ, за которыя они обязаны были имъ служить; оставляя же сѣи помѣстья, обязанность оставляли. Рѣдко кто въ неудовольствіи своемъ можетъ въ границахъ умѣренности остаться; тако и сѣи бояре...

чаятельно не оставили усугубить причинъ, которыя ихъ понудили оставить Тверь, а, можетъ статья, дабы выслужиться передъ великимъ княземъ, сказывали на князя Александра что противное князю Іоанну Даниловичу; по крайней мѣрѣ изъ послѣдующаго его поступка то можно заключить.

Карамзинъ, т. IV, стр. 235.

Въ сіе время многіе бояре тверскіе, недовольные своимъ государемъ, переѣхали въ Москву съ семействами и слугами, что было тогда не безчестною измѣной, но дѣломъ весьма обыкновеннымъ. Произвольно вступая въ службу князя великаго или удѣльнаго, бояринъ всегда могъ оставить оную, возвративъ ему земли и села, отъ него полученыя. Вѣроятно, что Александръ, бывъ долгое время въ отчизны, возвратился туда съ новыми любимцами, коимъ старые вельможи завидовали: напримѣръ, мы знаемъ, что къ нему выѣхалъ изъ Курляндіи во Псковъ какой-то знаменитый пѣмецъ, именемъ Доль, и сдѣлался первостепеннымъ чиновникомъ двора его. Сіе могло быть достаточнымъ побужденіемъ для тверскихъ бояръ искать службы въ Москвѣ, гдѣ они, безъ сомнѣнія, не старались успокоить великаго князя въ разсужденіи мнимыхъ или дѣйствительныхъ замысловъ несчастнаго Александра Михайловича.

Въ этой помощи Карамзину со стороны Щербатова Милюковъ видитъ главную причину сравнительной быстроты созданія „Исторіи государства Россійскаго“.

Стремясь доказать, что работа исторіографа не была „египетскою“, какъ назвалъ ее Погодинъ, и что многое приписываемое ему, какъ *новое*, не было *новымъ*,—Милюковъ тѣмъ не менѣе признаетъ и большія заслуги Карамзина, какъ ученаго, и очень высоко цѣнитъ его *примѣчанія*. Онъ говоритъ:

„Надо отдать справедливость исторіографу: онъ усердно хлопоталъ о подборѣ новыхъ историческихъ матеріаловъ, въ значительной степени обновилъ фактическое обоснованіе разсказа и надолго сдѣлалъ свою «Исторію» необходимою для всякаго изслѣдователя хрестоматіей источниковъ русской исторіи. Особенно чувствуются эти преимущества «Примѣчаній» при сравненіи ихъ съ тѣмъ самымъ сочиненіемъ, которому Карамзинъ такъ много обязанъ былъ при составленіи текста: съ исторіей Щербатова. Не говоримъ уже о томъ, что вся иностранная литература, относящаяся къ началу русской исторіи, является у Карамзина совершенно обновленной: мы замѣтили раньше, что эта литература, сколько-нибудь компетентная, только и появляется со второй половины XVIII вѣка; и мы знаемъ также, какъ облегчено было Карамзину знакомство и съ литературой и съ источниками русскихъ *origines*. Но далѣе первые шаги въ области фактическаго разсказа должны были быть сдѣланы на основаніи русскихъ лѣто-

писныхъ источниковъ. Щербатовъ основалъ свое изложеніе болѣе, чѣмъ на тридцати спискахъ лѣтописей, добрая половина которыхъ была имъ заимствована изъ Патріаршей (Синодальной) и Типографской библіотекъ въ Москвѣ, а около четверти нашлось въ его собственной библіотекѣ. Изъ всего этого множества списковъ наиболѣе надежными были, однакоже, только два... Но, кромѣ этихъ двухъ списковъ, Карамзину удалось найти два лучшихъ списка Суздальскаго свода (Лаврентьевскій и Троицкій) и два списка южной лѣтописи, ранѣе извѣстной только по началу: Ипатьевскій и Хлѣбниковскій“.

„Большая часть лѣтописей Щербатова послѣ находокъ Карамзина окончательно потеряла значеніе для древнѣйшаго періода: ссылки на синодальные и типографскіе списки съ полнымъ основаніемъ могли быть замѣнены обширными выписками изъ вновь открытыхъ текстовъ, представлявшихъ крупную ученую новинку. Но для позднѣйшаго времени и второстепенные списки были важны. Рукописи, употребленныя въ дѣло Щербатовымъ, ко времени Карамзина были сосредоточены въ Синодальной библіотекѣ. Туда и обратился Карамзинъ за своими поисками: не знаемъ, все ли онъ нашелъ, чѣмъ пользовался Щербатовъ, но, несомнѣнно, онъ впервые наткнулся въ синодальномъ книгохранилищѣ на множество первостепенныхъ по важности матеріаловъ, о существованіи которыхъ Щербатовъ не имѣлъ никакого понятія. Такъ, Карамзинъ первый воспользовался синодальною рукописью Кормчей книги (XIII столѣтія), изъ которой извлекъ такіе важные памятники, какъ церковный уставъ Владимира Святого («подложный», по мнѣнію Карамзина), уставъ новгородскаго князя Святослава 1137 г., древнѣйшій списокъ Русской Правды, вопросы Кирика Нифонту, правила митроп. Іоанна и Кирилла. Не меньшую услугу, чѣмъ Синодальная библіотека, оказало Карамзину собраніе рукописей Мусина-Пушкина“... (Тоже были сдѣланы Карамзинымъ важныя находки).

„Послѣ татарскаго нашествія характеръ источниковъ русской исторіи нѣсколько мѣняется. Лѣтописи, конечно, продолжаютъ оставаться основнымъ источникомъ вплоть до княженія Івана III; и составъ лѣтописнаго матеріала какъ у Щербатова, такъ и у Карамзина остается прежній. Но рядомъ съ лѣтописями появляются грамоты. Щербатовъ воспользовался, какъ мы знаемъ, тѣми важнѣйшими изъ грамотъ, которыя хранились въ московскомъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ; къ нимъ онъ присоединилъ нѣсколько ханскихъ ярлыковъ, найденныхъ имъ въ

одной рукописи Синодальной библиотечки. Карамзинъ засталъ всѣ эти документы уже напечатанными; тѣмъ не менѣе изъ нихъ, какъ и изъ печатныхъ лѣтописей, онъ дѣлаетъ выписки, а иногда и сообщаетъ полный текстъ, особенно если ему удалось найти новый списокъ документа (напр. ярлыкъ Узбека и др.). Но и здѣсь къ наличному матеріалу Карамзинъ дѣлаетъ весьма существенныя добавленія. Отъ Мусина-Пушкина онъ получаетъ драгоценное собраніе Двинскихъ грамотъ... Но, кромѣ этихъ прежнихъ источниковъ своихъ находокъ, Карамзинъ отыскиваетъ и новые. Цѣлый рядъ важнѣйшихъ документовъ онъ получаетъ изъ Кенигсбергскаго архива... Публичная библиотечка, Волоколамскій монастырь и нѣкоторые другія учрежденія и лица также доставляютъ не мало интересныхъ документовъ".

Далѣе авторъ статьи говоритъ, что и иностранная литература въ этихъ томахъ „Ист. гос. Росс.“ тоже значительно обновлена и дополнена: Карамзинъ пользуется Нарушевичемъ, Кадлубкомъ, Богуфаломъ, Длутошемъ и др., которыхъ Щербатовъ не зналъ.

Въ третій разъ измѣняется составъ историческихъ источниковъ со времени Ивана III—и Карамзинъ снова обладаетъ многимъ, чего не было у Щербатова, напр. *Судебникомъ* Ивана III и изданіями иностранныхъ сказаній о Россіи—Герберштейна, Павла Іовія, Гваньини, Одерборна, Контарини.

„За время царствованія Ивана Грознаго основнымъ источникомъ продолжаютъ оставаться грамоты и статейные списки архива иностранной коллегіи. Карамзинъ присоединяетъ къ нимъ, попрежнему, документы, полученные изъ Кенигсбергскаго архива; кромѣ того, онъ пользуется выписками изъ Ватиканскаго архива, сдѣланными Альбертланди; канцлеръ Румянцевъ снабжаетъ его также нѣкоторыми актами Мекленбургскаго архива и Британскаго музея. Къ извѣстной уже Щербатову перепискѣ Грознаго съ Курбскимъ исторіографъ присоединяетъ знаменитые «синодики» Грознаго и его письмо въ Бѣлозерскій монастырь“. Онъ пользуется многими не бывшими въ рукахъ Щербатова лѣтописями и хронографами, а „исторія завоеванія Сибири, изложенная у Щербатова по Миллеру и Фишеру, получаетъ у Карамзина новое освѣщеніе съ помощью неизвѣстныхъ до тѣхъ поръ лѣтописей—Саввы Есинова, Ремезова и Тобольской. По обыкновенію, вновь появляются въ «Исторіи государства Россійскаго» памятники, важные для церковной исторіи: *Стоглавъ*, свѣдѣнія о соборѣ 1554 г. противъ московскихъ еретиковъ и др. Наконецъ, и въ этомъ отдѣлѣ впервые входятъ въ ученый оборотъ сказанія иностран-

цевъ. Щербатовъ въ своемъ пятомъ томѣ знаетъ только сборникъ «Гаклюйта» въ французскомъ переводѣ и сообщаетъ оттуда одну грамоту царя Ивана Васильевича къ Эдуарду VI. Карамзинъ пользуется оригинальнымъ изданіемъ Гаклюйта и извлекаетъ оттуда свѣдѣнія о Ченслерѣ, Баусѣ, Ленѣ, Дженкинсонѣ. Помимо Гаклюйтовскаго собранія Щербатову извѣстны одни «Комментаріи» Поссевина; Карамзинъ присоединяетъ, кромѣ Бреденбаха, Таубе и Крузе, тогда еще не изданныхъ и полученныхъ имъ въ 1811 г. въ рукописи изъ Кенигсбергскаго архива—Гейденштейна, Пернштейна (Кобенцеля), Ульфельда, Горсея, Маржерета и Петрея“.

„Обращаемся къ исторіи Россіи со времени Ѳедора Ивановича до междуцарствія, на которомъ остановились оба историка. Матеріалъ, заимствованный изъ дипломатическихъ документовъ, опять одинаковъ у того и другого. Главныя лѣтописи смутнаго времени—«Новый лѣтописецъ», «Лѣтописи о мятежахъ», Паллицынъ, нѣкоторые хронографы уже извѣстны Щербатову. Карамзинъ дополняетъ ихъ нѣсколькими повѣстями, нѣсколькими любопытными списками хронографа, такъ называемою рукописью Филарета. Важнымъ пособіемъ для исторіи этого періода былъ для Щербатова «Опытъ новѣйшей исторіи» Миллера... Руководимый Миллеромъ, Щербатовъ начинаетъ шире пользоваться иностранцами, чѣмъ мы это видѣли ранѣе. Переносъ въ свою «Исторію» иногда цѣлыя страницы Миллеровскаго труда, онъ передаетъ и его цитаты. Нѣкоторыми изъ нихъ онъ интересуется и достаетъ самыя цитированныя сочиненія. Такимъ образомъ Щербатовъ пользуется въ VII томѣ Маржеретомъ, Страленбергомъ, Де-Ту, книжкой, подъ заглавіемъ: «*Relation curieuse de l'état présent de la Russie*». Однако Карамзинъ и здѣсь далеко превосходитъ его знакомствомъ съ иностранцами. Кромѣ названныхъ выше, онъ знаетъ еще Бера, полученнаго имъ отъ Румянцова, Горсея, Шия, Мильтона, Паерле, Маскѣвича и др.; значительный польскій матеріалъ даютъ ему изданія Нарушевича и Нѣмцевича, а также выписки Альбертранди (дневники Оленицкаго и Гонсѣвскаго, описаніе событій 1604—9 неизвѣстнаго автора)“.¹⁶⁷⁾

Сопоставленіе этихъ мѣстъ Цогодина, Бестужева-Рюмина и Милпокова—приводитъ къ слѣдующему выводу: если на работу Карамзина и нельзя смотрѣть, какъ на „египетскую“, какъ на „подвигъ геркулесовскій“; если мы должны помнить, что онъ имѣлъ уже много потрудившихся предшественниковъ, изъ кото-

рыхъ Щербатовъ преимущественно облегчать его трудъ и служить ему путеводною нитью,—то и такое ограниченіе все-таки не мѣшаетъ считать работу исторіографа очень значительной и въ высокой степени плодотворной: онъ не только пересматрѣлъ уже прежде извѣстные источники, но и привлекъ къ дѣлу массу новаго историческаго матеріала, которымъ до Карамзина у насъ не пользовались, и этой работой своей облегчить въ свою очередь труды послѣдующихъ историковъ, и не только облегчить, но, благодаря „Примѣчаніямъ“, надолго сдѣлать свою „Исторію“, какъ говоритъ Милюковъ, *необходимою для всякаго изслѣдователя хрестоматіей источниковъ*.

Далѣе: имѣя въ виду написать лишь историко-литературное произведеніе. Карамзинъ все-таки написать вмѣстѣ съ тѣмъ и сочиненіе научное. Характеръ научности за трудомъ Карамзина признаютъ и отрицательные его критики.

Выводъ, что въ авторѣ „Исторіи государства Россійскаго“ совмѣщается литераторъ и ученый, находится въ согласіи и со взглядомъ самого Карамзина на исторію, высказаннымъ имъ въ „Предисловіи“ къ своему труду. Главнѣйшее изъ того, что имъ тутъ высказано, сводится къ слѣдующему:

1) Карамзинъ смотритъ на исторію прежде всего, какъ на *художественное воспроизведеніе прошлаго*. Исторія, по словамъ его, отверзаетъ гробы, поднимаетъ мертвыхъ, влагаетъ имъ жизнь въ сердце и слово въ уста, изъ тлѣнія вновь создаетъ царства и представляетъ воображенію рядъ вѣковъ, съ ихъ отличными страстями, правами, дѣяніями...; *ея творческою силою мы живемъ съ людьми всѣхъ вѣковъ, видимъ и слышимъ ихъ, любимъ и ненавидимъ*. Такое *живое, художественное* воспроизведеніе прошлаго Карамзинъ считалъ *долгомъ историка*.

2) Задачею *художественнаго воспроизведенія* прошлаго, по мнѣнію Карамзина, должна быть польза *моральная и практическая*. Моральная польза исторіи заключается въ ея воспитательномъ вліяніи. Исторія, говоритъ Карамзинъ, „питаетъ нравственное чувство и праведнымъ судомъ своимъ располагаетъ душу къ справедливости“. Отечественная же исторія, сверхъ того, питаетъ и чувство патріотизма. Практическая польза исторіи заключается въ томъ руководствѣ, которымъ она можетъ, какъ думалъ Карамзинъ, служить въ дѣлахъ государственныхъ. Онъ полагалъ, что политическіе опыты предыдущихъ поколѣній должны служить урокомъ для послѣдующихъ, и называетъ исторію „забѣгомъ

предковъ къ потомству“, „изъясненіемъ настоящаго и примѣромъ будущаго“.

Указанными до сихъ поръ сторонами взгляда на исторію Карамзинъ сходится еще съ древними историками Греціи и Рима, которые также смотрѣли на исторію, какъ на художественное воспроизведеніе прошлаго, съ цѣлію возбудить нравственное, или эстетическое, или патріотическое чувство, а вмѣстѣ съ тѣмъ и дать людямъ возможность пользоваться опытомъ прошедшихъ поколѣній. Такая точка зрѣнія отличаетъ гораздо болѣе художника, чѣмъ ученаго. Но для греческихъ и римскихъ писателей исторія и была болѣе искусствомъ, нежели наукою: они даже позволяли себѣ выдумывать рѣчи и влагать ихъ въ уста историческихъ лицъ. Карамзинъ же жилъ въ иную эпоху: ему уже было извѣстно и требованіе отъ исторіи достовѣрности. И исторіографъ нашъ заявляетъ, что исторія, будучи художественнымъ воспроизведеніемъ прошлаго, должна быть въ то же время *совершенно чужда вымысла и основана на историческихъ документахъ, разсмотрѣнныхъ критически*. „Нельзя“ говоритъ онъ — „прибавить ни одной черты къ извѣстному“; „историкъ обязанъ представлять единственно то, что сохранилось отъ вѣковъ въ лѣтописяхъ и архивахъ“; „здравый вкусъ навсегда отлучилъ дѣяніе отъ поэмы, отъ цвѣтниковъ краснорѣчія, оставивъ въ удѣлъ первому быть вѣрнымъ зеркаломъ минувшаго, вѣрнымъ отзывомъ словъ, дѣйствительно сказанныхъ героями вѣковъ. Самая прекрасная выдуманная рѣчь безобразитъ исторію“.

Такимъ образомъ, сохраняя художественную точку зрѣнія на исторію, Карамзинъ смотрѣлъ на нее въ то же время и съ точки зрѣнія научной.

Въ какой мѣрѣ въ трудѣ Карамзина художникъ и ученый мирятся—это другой вопросъ; но во всякомъ случаѣ высказанный въ „Предисловіи“ взглядъ на исторію гораздо строже взгляда автора „Исемъ русскаго путешественника“, хотя и говорившаго, что хорошая исторія должна писаться не только съ философскимъ умомъ и благороднымъ краснорѣчіемъ, но и съ *критикою*, однако въ то же время допускавшаго возможность такого обращенія съ историческими фактами, которое характеризуется словами: *выбрать, одушевить и даже — раскрасить*. — Большая серьезность взгляда выразилась и въ томъ обстоятельстве, что Карамзинъ въ своемъ трудѣ остановился на междоусобіяхъ нашихъ древнихъ князей гораздо подробнѣе, нежели полагать это нужнымъ, когда разсуждалъ о русской исторіи въ извѣстномъ парижскомъ письмѣ своемъ.

Изъ сказаннаго въ этой главѣ слѣдуетъ, что „Исторію государства Россійскаго“ надо разсматривать и какъ произведеніе литературное и какъ сочиненіе научное.

2. «Исторія государства Россійскаго», какъ литературное произведеніе.

Какъ литературное произведеніе, „Исторія государства Россійскаго“ получила очень мѣткое названіе „величественной поэмы, воспѣвающей государство“. Такъ назвалъ ее историкъ Соловьевъ не только потому, что въ трудѣ своемъ Карамзинъ занялъ преимущественно государственнымъ развитіемъ Россіи, но главнымъ образомъ потому, что въ основу его „Исторіи“ положена чисто государственная идея: идея о величій Россіи, основанномъ на самодержавіи, которое и признается кореннымъ началомъ русской государственности. Вся „Исторія“ Карамзина есть не что иное, какъ рассказъ о томъ, какъ подготавливалось, а затѣмъ развивалось и укрѣплялось это коренное начало. Россія, рожденная *единовластіемъ*, была уже при Владимирѣ и Ярославѣ I великой и сильной державой. Удѣльная система установила *разновластіе*, которое вмѣстѣ съ междоусобными войнами испровергло это величіе. Затѣмъ нѣкоторые князья начинаютъ мало-помалу *собира́ть Русь* и стремиться къ *единовластію*. Наконецъ является Іоаннъ III— и съ нимъ устанавливается *самодержавіе*, и съ этого времени подѣйствию самодержавной власти все болѣе и болѣе растетъ величіе Россіи.

Милюковъ говоритъ, что такое пониманіе смысла русской исторіи, т.-е. объясненіе ея хода изъ личныхъ пріемовъ княжеской политики, Карамзинъ унаслѣдовалъ отъ русскихъ историковъ XVIII вѣка ¹⁶⁸). Соловьевъ же иначе объясняетъ происхожденіе „величественной поэмы“ Карамзина. Онъ говоритъ, что исторіографа одинаково могли привести къ ней два пути: русско-славянское чувство и изученіе нашего прошедшаго. „Мысль русскаго человѣка, мысль славянина“—говоритъ Соловьевъ—„должна была остановиться прежде всего на томъ явленіи, что изъ всѣхъ славянскихъ народовъ народъ русскій одинъ образовалъ государство, не только не утратившее своей самостоятельности, какъ другія, но громадное, могущественное, съ рѣшительнымъ вліяніемъ на историческія судьбы міра“ ¹⁶⁹). Исторія государства Россійскаго и есть отраженіе этого „сознанія единственнаго славянскаго государства, полноправнаго, пользующагося главными благами историческаго существованія: самостоятельностью и великимъ значеніемъ среди другихъ государствъ“. Далѣе Соловьевъ объясняетъ,

какъ къ тому же выводу Карамзинъ пришелъ и научнымъ путемъ. „Когда вскрылись (передъ Карамзинымъ)—говорить онъ памятники древности, то глазамъ историка предстала эта медленная и великая работа вѣковъ надъ государственнымъ зданіемъ, и почувствовалъ онъ благоговѣйное уваженіе къ этой работѣ и ея слѣдствіямъ“.

Впрочемъ оба объясненія—и Милюкова и Соловьева—могутъ быть легко соглашены: Карамзинъ, уже раньше расположенный къ самодержавію, могъ усвоить взглядъ предшествовавшихъ ему историковъ, но затѣмъ во время собственнаго изученія нашей исторіи могъ увидѣть оправданіе этому взгляду—и такимъ образомъ закрѣпилъ его за собою окончательно.

Тутъ укажемъ кстати, что изъ этого „благоговѣйнаго уваженія Карамзина къ вѣковой работѣ надъ государственнымъ зданіемъ“ Соловьевъ объясняетъ и его отношеніе къ возникшему при императорѣ Александрѣ вопросу о формѣ правленія, и его „Мнѣніе русскаго гражданина“. Послѣднюю мысль—толкуетъ Соловьевъ—„явилась для него столь же беззаконною, какъ и отсутствіе движенія: хотѣть лишняго и не хотѣть нужнаго равно предосудительно, говорилъ онъ. И во имя исторіи заявилъ онъ протестъ противъ движеній перваго десятилѣтія XIX вѣка, бывшихъ въ его глазахъ слишкомъ быстрыми, не истекавшими изъ существенныхъ потребностей страны. Къ древнимъ государственнымъ зданіямъ прикасаться опасно, говорилъ онъ; Россія существуетъ около тысячи лѣтъ, и не въ образѣ дикой орды, но въ видѣ государства великаго, а намъ все твердятъ о новыхъ уставахъ, какъ будто мы недавно вышли изъ темныхъ лѣсовъ американскихъ. Воспитанникъ Екатерининскаго вѣка твердилъ людямъ, поклоннымъ къ вышнимъ преобразованіямъ, что не формы, а люди нужны“.

„Чѣмъ болѣе историкъ вглядывался въ постепенное образованіе великаго государственнаго тѣла Россіи, чѣмъ болѣе возникалъ онъ, какъ присоединялись кость къ кости и суставъ къ суставу, тѣмъ яснѣе сознавалъ онъ величіе дѣла собиранія Русской земли, тѣмъ яснѣе сознавалъ онъ единство русскаго народа: вотъ почему такъ сильно заволновался историкъ и заявилъ горячій протестъ во имя русской исторіи и во имя Екатерины II, когда явилась мысль о возможности урѣзать живое тѣло Россіи: подобно древнимъ русскимъ дѣятелямъ, не потерялъ историкъ, чтобы разносили розно Русскую землю, и въ народномъ русскомъ поминаньи о Карамзинѣ напишется то же, что писалось въ лѣто-

писяхъ о людяхъ, знаменитыхъ обороной родной страны: Онъ постоялъ на сторожѣ Русской земли“.

Какъ художественная поэма, въ которой всѣ части объединены одной основной идеей, „Исторія гос. Россійскаго“ имѣетъ и своихъ героевъ. Имъ являются тѣ князья, которые содѣйствовали возвеличенію Россіи — сперва только подготовленіемъ, а затѣмъ и утвержденіемъ въ ней самодержавія. Однимъ изъ первыхъ такихъ героевъ былъ Ярославъ Великій, который „сдѣлался монархомъ всей Россіи и началъ властвовать отъ береговъ моря Балтійскаго до Азіи, Венгріи и Дакіи“. Но онъ же былъ и виновникомъ начавшагося послѣ него ослабленія Русской земли: онъ „ожидалъ только возраста сыновей, чтобы вновь подвергнуть государство бѣдствіямъ удѣльнаго правленія... Какъ скоро большому сыну его, Владимиру, исполнилось 16 лѣтъ, великій князь отправился съ нимъ въ Новгородъ и далъ ему сію область въ управленіе. Здравая политика, основанная на опытахъ и знаніи сердца человѣческаго, не могла противиться дѣйствию стѣпной любви родительской, которое обратилось въ несчастное обыкновение“ ¹⁷⁰).

За Ярославомъ выдвигается Андрей Боголюбскій. Онъ, „мужественный, трезвый и прозванный за его умъ *вторымъ Соломономъ*, былъ, конечно, однимъ изъ мудрѣйшихъ князей русскіхъ въ разсужденіи политики, или той науки, которая утверждаетъ могущество государственное. Онъ явно стремился къ спасительному единовластію“ ¹⁷¹). Далѣе стѣдуетъ Всеволодъ III, который „хотя не могъ назваться самодержавнымъ государемъ Россіи, однакожъ, подобно Андрею Боголюбскому, напомнилъ ей счастливые дни единовластія“ ¹⁷²). За нимъ выступаетъ уже крупный герой, *собиратель земли Русской* — Іоаннъ Калита, со времени котораго Москва „сдѣлалась истинною главою Россіи“. „Благоразумный Іоаннъ, видя, что всѣ бѣдствія Россіи произошли отъ несогласія и слабости князей, съ самаго восшествія на престолъ старался присвоить себѣ верховную власть надъ князьями древнихъ удѣловъ Владимірскихъ, и дѣйствительно въ томъ успѣлъ“ ¹⁷³). Онъ кончилъ жизнь, „указавъ наслѣдникамъ путь къ единовластію и къ величію“ ¹⁷⁴).

Но для достиженія величія надо еще было свергнуть татарское иго. Ослаблять его началъ уже Іоаннъ Калита. „Лѣтописцы говорятъ, что съ восшествіемъ Іоанна на престолъ великаго княженія миръ и тишина воцарились въ сѣверной Россіи; что моголы

перестали наконецъ опустошать ея страны и кровію бѣдныхъ жителей орошать пепелища: что христіане на сорокъ лѣтъ опочили отъ *истома* и насилій долговременныхъ... Отечество наше сѣтовало въ уничиженіи; головы князей все еще падали въ Орлѣ по единому мановенію хановъ: но земледѣльцы могли спокойно трудиться на поляхъ, купцы ѣздить изъ города въ городъ съ товарами, бояре наслаждаться избыткомъ; кони татарскіе уже не топтали младенцевъ, старцы не умирали на снѣгу. Первое добро государственное есть безопасность и покой; честь драгоценна для народовъ благоденствующихъ: угнетенные желаютъ только облегченія, и славятъ Бога за оное" ¹⁷⁵). Сынъ Калиты — Симеонъ — велъ политику отца: съ одной стороны, „строго повелѣвалъ князьями россійскими и заслужилъ имя *Гордаго*", а съ другой — ласкалъ хановъ и тѣмъ уберегалъ отъ нихъ Россію ¹⁷⁶). Но „Калита и Симеонъ готовили свободу нашу болѣе умомъ, нежели силою: настало время обнажить мечъ" ¹⁷⁷). Его обнажилъ Димитрій Донской на Куликовомъ полѣ. Однако, славя этого князя, какъ перваго побѣдителя татаръ, историкъ упрекаетъ его, какъ политика, за то, что онъ „имѣвъ случай присоединить Рязань и Тверь къ Москвѣ, не воспользовался онымъ". ¹⁷⁸) Но вотъ явился наконецъ государь, который и утвердилъ самодержавіе и свергнулъ татарское иго. Государь этотъ — Іоаннъ III.

Переходя къ изложенію исторіи его царствованія, Карамзинъ оглядывается назадъ и говоритъ:

„Было время, когда Россія, рожденная, возвеличенная единовластіемъ, не уступала въ силѣ и въ гражданскомъ образованіи первѣйшимъ европейскимъ державамъ, основаннымъ на развалинахъ Западной имперіи народами германскими: имѣя тотъ же характеръ, тѣ же законы, обычаи, уставы государственные, сообщенные намъ варяжскими или нѣмецкими князьями, явилась въ новой политической системѣ Европы съ существенными правами на знаменитость и съ важною выгодною быть подъ вліяніемъ Греціи, единственной державы, не испроверженной варварами. Правленіе Ярослава Великаго есть, безъ сомнѣнія, сіе счастливое для Россіи время... Но раздѣленіе нашего отечества и междоусобныя войны, истощивъ его силы, задержали россіянъ и въ успѣхахъ гражданского образованія... Съ половины XI вѣка состояніе Европы явно перемѣнялось въ лучшее; а Россія со времени Ярослава до самаго Батыя орошалась кровію и слезами народа. Порядокъ, спокойствіе, столь нужные для успѣховъ гражданского общества, непрестанно нарушались мечомъ и пламенемъ

княжескихъ междоусобіи, такъ что въ XIII вѣкѣ мы уже отстали отъ державъ западныхъ въ государственномъ образованіи. — Нашествіе Батыево испровергло Россію... Сѣнь варварства, омрачивъ горизонтъ Россіи, сокрыла отъ насъ Европу въ то самое время, когда благодѣтельные свѣдѣнія и навыки болѣе и болѣе въ ней размножались, народъ освобождался отъ рабства, города входили въ тѣсную связь между собою для взаимной защиты въ утѣсненіяхъ; изобрѣтеніе компаса распространило мореплаваніе и торговлю; ремесленники, художники, ученые ободрялись правительствами; возникали университеты для высшихъ наукъ; разумъ пріучался къ созерцанію, къ правильности мыслей; нравы смягчались; войны утратили свою прежнюю свирѣпость; дворянство уже стыдилось разбоевъ, и благородные витязи славились милосердіемъ къ слабымъ, великодушіемъ, честію; обходительность, людскость, учтивость сдѣлались извѣстны и любимы. Въ сіе же время Россія, терзаемая моголами, напрягала силы свои единственно для того, чтобы не исчезнуть: намъ было не до просвѣщенія!... Отъ временъ Василия Ярославича до Іоанна Калиты (періодъ самый несчастнѣйшій!) отечество наше походило болѣе на темный лѣсъ, нежели на государство... Съ Калиты государственный порядокъ измѣнился: не родилось еще, но уже рождалось самодержавіе. „Сія перемѣна, безъ сомнѣнія, непріятная для тогдашнихъ гражданъ и бояръ, оказалась величайшимъ благодѣяніемъ судьбы для Россіи. Удержавъ нѣкоторыя обыкновенія свободы, естественной только въ малыхъ областяхъ, предки наши не могли обуздывать ими воли государя единодержавнаго, каковъ былъ Владимиръ Святой или Ярославъ Великій, но пользовались оными во время раздробленія государства, и бореніе двухъ властей, княжеской съ народною, еще болѣе ослабляло силу его. Если Римъ спасался диктаторомъ въ случаѣ великихъ опасностей, то Россія, обширный трупъ послѣ нашествія Батыева, могла ли инымъ способомъ оживиться и воскреснуть въ величіи? Требовалось единой и тайной мысли для намѣренія, единой руки для исполненія: ни шумные сонмы народные ни медленныя думы аристократіи не произвели бы сего дѣйствія. Народъ и въ самомъ униженіи ободряется и совершаетъ великое, но служба только орудіемъ, движимый, одушевляемый силою правителей. Власть боярская производила у насъ *боярскія смуты*. Совѣтъ вельможъ иногда внушаетъ мудрость государю, но часто волнуется и страстями. Бояре не рѣдко питали междоусобіе князей россійскихъ; не рѣдко даже судились съ ними въ Ордѣ, обнося ихъ предъ

ханами. Самодержавіе, искоренивъ сіи злоупотребленія, устранило важныя препятствія на пути Россіи къ независимости, и такимъ образомъ возникало вмѣстѣ съ единодержавіемъ до временъ Іоанна III, которому надлежало совершить то и другое“¹⁷⁹⁾.

Такимъ образомъ самодержавіе, въ періодъ времени отъ Калиты до Іоанна III только возникавшее, при этомъ государѣ наконецъ возникло—и потому, какъ говоритъ Карамзинъ, начиная VI-ой томъ своего труда, *„Отсель исторія наша пріемлетъ достоинство истинно государственной“* — и описываетъ уже не „бесмысленныя драки княжескія, но дѣянія царства, пріобрѣтающаго независимость и величіе“. Затѣмъ историкъ рисуетъ такую сжатую картину царствованія Іоанна III:

„Разновластіе исчезаетъ вмѣстѣ съ нашимъ подданствомъ; образуется держава сильная, какъ бы новая для Европы и Азіи, которая, видя оную съ удивленіемъ, предлагаютъ ей знаменитое мѣсто въ ихъ системѣ политической. Уже союзы и войны наши имѣютъ важную цѣль: каждое особенное предпріятіе есть слѣдствіе главной мысли, устремленной ко благу отечества. Народъ еще коснѣетъ въ невѣжествѣ, въ грубости; но правительство уже дѣйствуетъ по законамъ ума просвѣщеннаго. Устраиваются лучшія воинства, призываются искусства, нужнѣйшія для успѣховъ ратныхъ и гражданскихъ; посольства великокняжескія спѣшатъ ко всѣмъ дворамъ знаменитымъ; посольства иноземныя одно за другимъ являются въ нашей столицѣ: императоръ, папа, короли, республики, цари азіатскіе привѣтствуютъ монарха россійскаго, славнаго побѣдами и завоеваніями, отъ предѣловъ Литвы и Новгорода до Сибири. Издыхающая Греція отказываетъ намъ остатки своего древняго величія; Італія дастъ первые плоды рождающихся въ ней художествъ. Москва украшается великолѣпными зданіями. Земля открываетъ свои нѣдра, и мы собственными руками извлекаемъ изъ оныхъ металлы драгоцѣнные. Вотъ содержаніе блестящей исторіи Іоанна III, который имѣлъ рѣдкое счастье властвовать 43 года, и былъ достоинъ онаго, властвуя для величія и славы россіянъ“.

Вслѣдъ за этими вступительными строками, уже дающими понять, какъ высоко ставилъ Карамзинъ Іоанна III, слѣдуетъ подробное изложеніе его царствованія, а затѣмъ—слѣдующая характеристика этого государя, съ предпосланнымъ ей очеркомъ состоянія тогдашней Европы и состоянія Россіи временъ до-Іоанновскихъ:

„Іоаннъ III принадлежитъ къ числу весьма немногихъ госу-

дарей, избираемыхъ Провидѣніемъ рѣшить надолго судьбу народовъ: онъ есть герой не только Россійской, но и всемірной исторіи. Не теряясь въ сомнительныхъ умствованіяхъ метафизики, не дерзая опредѣлять вышнихъ намѣреній Божества, внимательный наблюдатель видитъ счастливыя и бѣдственные эпохи въ лѣтописяхъ гражданскаго общества, какое-то согласное теченіе мірскихъ случаевъ къ единой цѣли, или связь между оными для произведенія какого-нибудь главнаго дѣйствія, измѣняющаго состояніе рода человѣческаго. Іоаннъ явился на театръ политическомъ въ то время, когда новая государственная система вмѣстѣ съ новымъ могуществомъ государей возникала въ цѣлой Европѣ на развалинахъ системы феодальной или помѣстной. Власть королевская усилилась въ Англіи, во Франціи. Испанія, свободная отъ ига мавровъ, сдѣлалась первостепенною державою. Португалія цвѣла, пріобрѣтая богатства успѣхами мореплаванія и важными для торговли открытіями. Раздѣленная Італія хвалилась по крайней мѣрѣ флотами, купечествомъ, искусствами, науками и тонкою политикою. Безпечность и равнодушіе императора, Фридерика IV, не могли успокоить Германію, волнуемую междоусобіями; но сынъ его, Максимилианъ, уже готовилъ въ умѣ своемъ счастливую перемѣну для ея внутренняго состоянія, которой надлежало возвысить достоинство императорское, униженное слабодушіемъ Рудольфовыхъ преемниковъ, и поставить домъ Австрійскій на вышнюю степень величія. Венгрія, Богемія, Польша, управляемая тогда Гедиминовымъ родомъ, составляли какъ бы одну державу и вмѣстѣ съ Австріею могли обуздывать ужасное для христіанъ властолюбіе Баязета. Соединеніе трехъ государствъ сѣверныхъ, обѣщая имъ силу и важность въ политической системѣ Европы, было предметомъ усилій короля датскаго. Республика Швейцарская, основанная любовью къ вольности, безопасная въ оградѣ твердынь Альпійскихъ, но побуждаемая честолюбіемъ и корыстію, хотѣла славы участвовать въ распряхъ монарховъ сильнѣйшихъ, и заслуживала оную храбростію своихъ пастьерей. Ганза—сей торговый и воинскій союзъ осьмидесяти пяти городовъ нѣмецкихъ, непримѣрный въ лѣтописяхъ и весьма достопамятный въ отношеніи къ древней Россіи—пользовалась всеобщимъ уваженіемъ государей и народовъ. Личная слава Плеттенбергова возвысила достоинство Ордена Ливонскаго и Нѣмецкаго.—Кромѣ успѣховъ власти монархической и разумной политики, которая произвела сношенія между самыми отдаленными государствами—кромѣ лучшаго гражданскаго состоянія, если не всѣхъ, то по

крайней мѣрѣ многихъ державъ. вѣкъ Іоанновъ ознаменовался великими открытіями. Гуттенбергъ и Фаустъ изобрѣли книгопечатаніе, которое болѣе всего способствовало распространенію знаній, едва ли уступая въ важности и въ пользѣ изобрѣтенію буквъ. Колумбъ открылъ новый міръ, привлекательный для хищнаго корыстолюбія и торговли, любопытный для испытателей естества и для философа, который, видя тамъ человѣчество въ состояніи дикой природы и всѣ начальныя степени ума гражданскаго, исторіею Америки объяснилъ для себя всемірную. Драгоцѣнныя произведенія Индіи достигали Азова чрезъ Персію и море Каспійское, путемъ многотруднымъ, медленнымъ, невѣрнымъ: сія страна, древнѣйшая населеніемъ, образованіемъ, художествами, скрывалась отъ европейцевъ какъ бы за щитомъ непроницаемымъ, и темныя объ ней слухи рождали басни о несмѣтныхъ ея богатствахъ. Смѣлые порывы нѣкоторыхъ мореплавателей обойти Африку увѣнчались наконецъ совершеннымъ успѣхомъ, и Васко де-Гамо, оставивъ за собою мысъ Доброй Надежды, съ такимъ же восторгомъ увидѣлъ берегъ Индіи, съ какимъ Христофоръ Колумбъ Америку. Сія два открытія, обогативъ Европу, распространивъ ея мореплаваніе, умноживъ промышленность, свѣдѣнія, роскошь и пріятности гражданской жизни, имѣли сильное вліяніе на судьбу державъ. Политика сдѣлалась хитрѣе, дальновиднѣе, многосложнѣе: при заключеніи государственныхъ договоровъ министры смотрѣли на географическіе чертежи, и вычисляли торговые прибитки, основывая на нихъ государственное могущество; родились новыя связи между народами; однимъ словомъ, началась новая эпоха, если не для мирнаго счастья людей, то по крайней мѣрѣ для ума, для силы правительствъ и для общественнаго духа государствъ благопріятная.

„Россія около трехъ вѣковъ находилась внѣ круга европейской политической дѣятельности, не участвуя въ важныхъ измѣненіяхъ гражданской жизни народовъ. Хотя ничто не дѣлается вдругъ; хотя достохвальныя усилія князей московскихъ, отъ Калиты до Василія Темнаго, многое приготовили для единовластія и нашего внутренняго могущества: но Россія при Іоаннѣ III какъ бы вышла изъ сумрака тѣней, гдѣ еще не имѣла ни твердаго образа ни полнаго бытія государственнаго. Благотворная хитрость Калиты была хитростію умнаго слуги ханскаго. Великодушный Дмитрій побѣдилъ Мамаю, но видѣлъ непеть столицы и работничествовать Тохтамышу. Сынъ Донского, дѣйствуя съ необыкновеннымъ благоразуміемъ, соблюлъ единственно цѣлость Москвы, невольно уступивъ Смоленскъ и другія наши области Ви-

товту, и еще искалъ милости въ ханахъ; а внукъ не могъ противиться горсти хищниковъ татарскихъ, испилъ всю чашу стыда и горести на престолѣ, униженномъ его слабостію, и, бывъ плѣнникомъ въ Казани, невольникомъ въ самой Москвѣ, хотя и смирилъ наконецъ внутреннихъ враговъ, но возстановленіемъ удѣловъ подвергнулъ Великое Княжество новымъ опасностямъ междоусобія. Орда съ Литвою, какъ двѣ ужасныя тѣни, заслоняли отъ насъ міръ и были единственнымъ политическимъ горизонтомъ Россіи, слабой, ибо она еще не вѣдала силъ, въ ея нѣдрѣ сокровенныхъ“.

„Іоаннъ, рожденный и воспитанный данникомъ степной Орды, подобной нынѣшнимъ киргизскимъ, сдѣлался однимъ изъ знаменитѣйшихъ государей въ Европѣ, чтимый, ласкаемый отъ Рима до Царяграда, Вѣны и Копенгагена, не уступая первенства ни императорамъ, ни гордымъ султанамъ; безъ ученія, безъ наставленій, руководствуемый только природнымъ умомъ, далъ себѣ мудрыя правила въ политикѣ внѣшней и внутренней; силою и хитростію возстановляя свободу и цѣлость Россіи, губя царство Батыево, тѣся, обрывая Литву, сокрушая вольность Новгородскую, захватывая удѣлы, расширяя владѣнія московскія до пустынь сибирскихъ и Норвежской Лапландіи, изобрѣлъ благоразумнѣйшую, на дальновидной умѣренности основанную для насъ систему войны и мира, которой его преемники должныствовали единственно слѣдовать постоянно, чтобы утвердить величіе государства. Бракосочетаніемъ съ Софіею обративъ на себя вниманіе державъ, раздравъ завѣсу между Европою и нами, съ любопытствомъ обзрѣвая престолы и царства, не хотѣлъ мѣшаться въ дѣла чуждыя; принималъ союзы, но съ условіемъ ясной пользы для Россіи; искалъ орудій для собственныхъ замысловъ, и не служилъ никому орудіемъ, дѣйствуя всегда, какъ свойственно великому, хитрому монарху, не имѣющему никакихъ страстей въ политикѣ, кромѣ добродѣтельной любви къ прочному благу своего народа. Слѣдствіемъ было то, что Россія, какъ держава независимая, величественно возвысила главу свою на предѣлахъ Азіи и Европы, спокойная внутри, и не боясь враговъ внѣшнихъ“...

„Внутри государства онъ не только учредилъ единовластіе, до времени оставивъ права князей владѣтельныхъ однимъ украинскимъ или бывшимъ литовскимъ, чтобы сдержать слово и не дать имъ повода къ измѣнѣ,—но былъ и первымъ, истиннымъ самодержцемъ Россіи, заставивъ благоговѣть предъ собою вельможъ и народъ, восхищая милостію, ужасая гнѣвомъ, отмѣнивъ частныя

права, несогласныя съ полновластіемъ вѣнценосца. Князья племени Рюрикова и Св. Владимира служили ему наравнѣ съ другими подданными и славились титломъ бояръ, дворецкихъ, окольничихъ, когда знаменитою, долговременною службою пріобрѣтали оное.... Предсѣдательствуя на соборахъ церковныхъ, Іоаннъ все-народно являлъ себя главою духовенства; гордый въ сношеніяхъ съ царями, величавый въ пріемѣ ихъ посольствъ, любилъ пышную торжественность; установилъ обрядъ *цѣлованія* монаршей руки въ знакъ лестной милости; хотѣлъ и всѣми наружными способами возвышаться предъ людьми, чтобы сильно дѣйствовать на воображеніе; однимъ словомъ, разгадавъ тайны самодержавія, сдѣлался какъ бы земнымъ богомъ для Россіянъ, которые съ *сего времени* начали удивлять всѣ иные народы своею безпредѣльною покорностію волѣ монаршей. Ему первому дали въ Россіи имя *Грознаго*, но въ похвальномъ смыслѣ: грознаго для враговъ и строптивыхъ ослушниковъ. Впрочемъ, не будучи тираномъ подобно своему внуку, Іоанну Василіевичу Второму, онъ, безъ сомнѣнія, имѣлъ природную жестокость во нравѣ, умѣряемую въ немъ силою разума. Рѣдко основатели монархій славятся гнѣвною чувствительностію, и твердостью, необходимая для великихъ дѣлъ государственныхъ, граничитъ съ суровостію. Пишутъ, что робкія жѣнщины падали въ обморокъ отъ гнѣвнаго, пламеннаго взора Іоаннова; что просители боялись идти ко трону; что вельможи трепетали, и на шракахъ во дворцѣ не смѣли шепнуть слова, ни тронуться съ мѣста, когда государь, утомленный шумною бесѣдою, разгоряченный выпомъ, дремалъ по цѣлымъ часамъ за обѣдомъ; всѣ сидѣли въ глубокомъ молчаніи, ожидая новаго *приказа* веселить его и веселиться“...

„Исторія не есть похвальное слово, и не представляетъ самыхъ великихъ мужей совершенными. Іоаннъ, какъ человекъ, не имѣлъ любезныхъ свойствъ ни Мономаха ни Донского, но стоитъ, какъ государь, на высшей степени величія. Онъ казался иногда боязливымъ, нерѣшительнымъ, ибо хотѣлъ всегда дѣйствовать осторожно. Сія осторожность есть вообще благоразуміе: оно не плѣняетъ насъ подобно великодушной смѣлости; но усиліями медленными, какъ бы неполными, даетъ своимъ твореніямъ прочность. Что оставилъ міру Александръ Македонскій?—славу. Іоаннъ оставилъ государство, удивительное пространствомъ, сильное народами, еще сильнѣйшее духомъ правленія, то, которое нынѣ съ любовію и гордостію именуемъ нашимъ любезнымъ отечествомъ. Россія Олегова, Владимірова, Ярославова погибла въ нашествіе

моголовъ: Россія нынѣшняя образована Іоанномъ; а великія державы образуются не механическимъ сдѣленіемъ частей, какъ дѣла минеральныя, но превосходнымъ умомъ державныхъ“.

Далѣе слѣдуетъ краткое сопоставленіе Іоанна III съ Петромъ Великимъ, заканчивающееся выраженіемъ той мысли, которая, какъ увидимъ, гораздо подробнѣе высказана въ „Запискѣ о древней и новой Россіи“.

„Нѣмецкіе, шведскіе историки шестого-надесять вѣка согласно приписали ему (Іоанну III) имя Великаго; а нынѣшніе замѣчаютъ въ немъ разительное сходство съ Петромъ Первымъ: оба, безъ сомнѣнія, велики; но Іоаннъ, включивъ Россію въ общую государственную систему Европы и ревностно заимствуя искусства образованныхъ народовъ, не мыслить о введеніи новыхъ обычаевъ, о перемѣнѣ нравственнаго характера подданныхъ; не видимъ также, чтобы некъ о просвѣщеніи умовъ науками: призывая художниковъ для украшенія столицы и для успѣховъ воинскаго искусства, хотѣлъ единственно великолѣпія, силы; и другимъ иноземцамъ не заграждалъ пути въ Россію, но единственно такимъ, которые могли служить ему орудіемъ въ дѣлахъ посольскихъ или торговыхъ; любилъ изъяслять имъ только милость, какъ пристойно великому монарху, къ чести, *не къ униженію* собственнаго народа. Не здѣсь, по въ исторіи Петра должно изслѣдовать, кто изъ сихъ двухъ вѣнценосцевъ поступилъ благоразумнѣе или согласнѣе съ истинною пользою отечества“.

Продолжателемъ Іоаннова дѣла былъ преемникъ его — Василій Іоанновичъ.

„Государствованіе Василія казалось только продолженіемъ Іоаннова. Будучи, подобно отцу, ревнителемъ самодержавія, твердымъ, непреклоннымъ, хотя и менѣе строгимъ, онъ слѣдовалъ тѣмъ же правиламъ въ политикѣ внѣшней и внутренней; рѣшилъ важныя дѣла въ Совѣтѣ бояръ, учениковъ и сподвижниковъ Іоанновыхъ; ихъ мнѣніемъ утверждая собственное, являлъ скромность въ дѣйствіяхъ монархической власти, но умѣлъ повелѣвать; любилъ выгоды мира, не страшась войны и не упуская случая къ пріобрѣтеніямъ важнымъ для государственнаго могущества; менѣе славился воинскимъ счастіемъ, болѣе опасною для враговъ хитростію; не унижилъ Россіи, даже возвеличилъ оную, и послѣ Іоанна еще казался достойнымъ самодержавія“ ¹⁸⁰).

Заканчивая изложеніе исторіи царствованія Василія Іоанновича, Карамзинъ останавливается на созданномъ московскими царями самодержавіи — и говоритъ:

„Ничто не удивляло такъ иноземцевъ, какъ самовластіе государя російскаго и легкость употребляемыхъ имъ средствъ для управленія землею. «Скажетъ — и сдѣлано», говоритъ баронъ Герберштейнъ: «жизнь, достояніе людей, мірскихъ и духовныхъ, вельможъ и гражданъ, совершенно зависитъ отъ его воли. Нѣтъ противорѣчія, и все справедливо, какъ въ дѣлахъ Божества: ибо русскіе увѣрены, что великій князь есть исполнитель воли небесной. Обыкновенное слово ихъ: *такъ угодно Богу и государю; вѣдастъ Богъ и государь*. Усердіе сихъ людей невѣроятно. Я видѣлъ одного изъ знатныхъ великокняжескихъ чиновниковъ, бывшаго посломъ въ Испанію, сѣдого старца, который, встрѣтивъ насъ при вѣздѣ въ Москву, скакалъ верхомъ, суетился, бѣгалъ, какъ молодой человѣкъ; потъ градомъ текъ съ лица его. Когда я изъявилъ ему свое удивленіе, онъ громко сказалъ: *ахъ, господинъ баронъ! мы служимъ государю не по-вашему!* Не знаю, свойство ли народа требовало для Россіи такихъ самовластителей, или самовластители дали народу такое свойство». Безъ сомнѣнія, дали, чтобы Россія спаслась и была великою державою. Два государя, Іоаннъ и Василій, умѣли навѣки рѣшить судьбу нашего правленія и сдѣлать самодержавіе какъ бы необходимою принадлежностію Россіи, единственнымъ уставомъ государственнымъ, единственною основою цѣлости ея, силы, благоденствія. Сія неограниченная власть монарховъ казалась иноземцамъ *тиранією*: они въ легкомысленномъ сужденіи своемъ забывали, что *тиранія* есть только злоупотребленіе самодержавія, являясь и въ республикахъ, когда сильные граждане или сановники утѣсняють общество. Самодержавіе не есть отсутствіе законовъ: ибо гдѣ *обязанность*, тамъ и *законъ*: никто же и никогда не сомнѣвался въ обязанности монарховъ блюсти счастье народное“¹⁸¹).

Такъ писалъ Карамзинъ, готовясь перейти къ царствованію Грознаго, и писалъ такъ потому, что даже и это царствованіе не повліяло на взглядъ исторіографа на самодержавіе, какъ на единственную основу цѣлости Россіи, ея силы и благоденствія. Іоаннъ IV, какъ тиранъ, былъ, по взгляду историка, явленіемъ случайнымъ, исключительнымъ, и жестокія дѣла его были хотя тяжкимъ, но временнымъ зломъ, которое народъ забылъ въ послѣдствіи; дѣла же Іоанна, какъ правителя, „неуклонно слѣдовавшаго великимъ намѣреніямъ своего дѣда“¹⁸²), жили и живутъ вмѣстѣ съ Россіей. Карамзинъ говоритъ: „Добрая слава Іоаннова пережила его худую славу въ *народной памяти*: стенанія умолкли, жертвы неслились, и старія преданія затмѣлись новѣйшими: по имя Іоан-

ново блистало въ Судебникѣ и напоминало пріобрѣтеніе трехъ царствъ могольскихъ; доказательства дѣлъ ужасныхъ лежали въ книгохранилищахъ, а народъ въ теченіе вѣковъ видѣлъ Казань, Астрахань, Сибирь, какъ живые монументы царя-завоевателя; чтить въ немъ знаменитаго виновника нашей государственной силы, нашего гражданскаго образованія; отвергнуть или забыть названіе *мучителя*, данное ему современниками, и по темнымъ слухамъ о жестокости Иоанновой донынѣ именуешь его только *Грознымъ*, не различая внука съ дѣдомъ, такъ названнымъ древнею Россіею болѣе въ хвалу, нежели въ укоризну. Исторія злопамятнѣе народа!“ ¹⁸³⁾

Но хвала и современной Иоанну Россіи за то, что она вынесла грозу этого самодержца. Она „устояла съ любовью къ самодержавію, ибо вѣрила, что Богъ посылаетъ и язву, и землетрясеніе, и тирановъ; не преломила желѣзнаго скиптра въ рукахъ Иоанновыхъ, и 24 года сносила губителя, вооружаясь единственно молитвою и терпѣніемъ, чтобы, въ лучшія времена, имѣть Петра Великаго и Екатерину Вторую“ ¹⁸⁴⁾.

Но Карамзинъ не дошелъ до дома Романовыхъ, и въ его исторіи — поэмѣ послѣднимъ героемъ, продолжавшимъ дѣло величія Россіи, является Борисъ Годуновъ, но главнымъ образомъ не какъ царь, а какъ правитель за Θεодора Иоанновича. Заканчивая исторію царствованія этого послѣдняго монарха „варяжскаго племени“, Карамзинъ пишетъ: „Никогда *внѣшнія* обстоятельства Московской державы, основанной, изготовленной къ величію Иоанномъ III, не казались столь благопріятными для ея цѣлости и безопасности, какъ въ сіе время“ ¹⁸⁵⁾.

Воспѣвая государство, Карамзинъ вмѣстѣ съ тѣмъ стоялъ на стражѣ добродѣтели: отмѣчалъ какъ согласныя, такъ и несогласныя съ нею дѣйствія людей, выражалъ свое сочувствіе первымъ и несочувствіе вторымъ, одобрялъ и осуждалъ — и такимъ образомъ вносилъ въ свою „Исторію“ моральный элементъ — черта, которая если и вредитъ научной сторонѣ труда Карамзина, то зато возвышаетъ его литературное достоинство.

„Правила нравственности и добродѣтели святѣе всѣхъ иныхъ, и служатъ основаніемъ истинной политики. Судъ исторіи — единственный для государей, кромѣ суда небеснаго — не извиняетъ и самаго счастливаго злодѣйства: ибо отъ человѣка зависитъ только дѣло, а слѣдствіе отъ Бога“ ¹⁸⁶⁾.

Вотъ основное положеніе Карамзина, какъ историка-мора-

листа, положеніе, въ силу котораго многія историческія лица подверглись его строгому осужденію. Такъ, напр., похваливъ Іоанна Калиту за то, что онъ „указалъ наслѣдникамъ путь къ едино-властію и величію“, историкъ продолжаетъ: „Но справедливо хваля Іоанна за сіе государственное благодѣяніе, простимъ ли ему смерть Александра Тверского, хотя она и могла утвердить власть великокняжескую?“ ¹⁸⁷⁾ Отдавъ Грозному должную дань хвалы, какъ правителю, Карамзинъ, какъ нравственный судія, называетъ его тираномъ, извергомъ — и, чтобы показать, какое моральное значеніе можетъ имѣть описаніе его жестокихъ дѣлъ, говоритъ: „Изверги вѣкъ законовъ, вѣкъ правилъ и вѣроятностей разсудка: сіи ужасныя метеоры, сіи блуждающіе огни страстей необузданныхъ озаряютъ для насъ, въ пространствѣ вѣковъ, бездну возможнаго человѣческаго разврата, *да видя содрогаемся!* Жизнь тирана есть бѣдствіе для человѣчества, но его исторія всегда полезна—для государей и народовъ: вселять омерзѣніе ко злу есть вселять любовь къ добродѣтели — и слава времени, когда вооруженный истинною дѣятельностью можетъ, въ правленіи самодержавномъ, выставить на позоръ такого властителя, да не будетъ уже впредь ему подобныхъ! Могилы безчувственны: но живые страшатся вѣчнаго проклятія въ исторіи, которая, не исправляя злодѣевъ, предупреждаетъ иногда злодѣйства, всегда возможные, ибо страсти дикія свирѣпствуютъ и въ вѣки гражданскаго образованія, веля уму безмолвствовать или рабскимъ гласомъ оправдывать свои изступленія“ ¹⁸⁸⁾. Далѣе Карамзинъ, какъ моралистъ, особенно ярко выступаетъ въ рассказѣ о Годуновѣ.

Еще въ X-мъ томѣ своей „Исторіи“ знакомя читателя съ Годуновымъ-правителемъ, который не имѣлъ добродѣтели, и если иногда и дѣлалъ добрыя дѣла, то они были у него не цѣлью, а лишь средствомъ къ цѣли, — ¹⁸⁹⁾ Карамзинъ раскрываетъ между прочимъ слѣдующую картину внутренняго состоянія „властолюбца“:

„Годуновъ томился душевнымъ голодомъ, и желалъ, чего не имѣлъ. Надменный своими достоинствами и заслугами, славою и лестию; упоенный счастіемъ и могуществомъ, волшебнымъ для души самой благородной; кружась на высотѣ, куда не восходилъ дотолѣ ни одинъ изъ подданныхъ въ російской державѣ, Борисъ смотрѣлъ еще выше — и съ дерзкимъ вождельніемъ: хотя властвовалъ безирекословно, но не своимъ именемъ; сіялъ только заимствованнымъ свѣтомъ; долженъ былъ въ самой надменности трудить себя личною смиреніемъ, торжественно унижаться предъ тѣнію

царя и бить ему челомъ вмѣстѣ съ рабами. Престолъ казался Годунову не только святымъ, лучезарнымъ мѣстомъ истинной, самобытной власти, но и райскимъ мѣстомъ успокоенія, до коего стрѣлы вражды и зависти не досягають, и гдѣ смертнѣйшій пользуется какъ бы божественными правами. Сія мечта о прелестяхъ верховнаго державства представлялась Годунову живѣе и живѣе, болѣе и болѣе волнуя въ немъ сердце, такъ что онъ наконецъ непрестанно занимался ею. Лѣтописецъ рассказываетъ слѣдующее любопытное, хотя и сомнительное обстоятельство: «Имѣя умъ рѣдкій, Борисъ вѣрилъ однакожъ искусству гадателей; призвалъ нѣкоторыхъ изъ нихъ въ тихій часъ ночи и спрашивалъ, что ожидаетъ его въ будущемъ. Лъстивые волхвы, или звѣздочеты, отвѣтствовали: *тебя ожидаетъ вѣнецъ...* но вдругъ умолкли, какъ бы испуганные дальнѣйшимъ предвидѣніемъ. Нетерпѣливый Борисъ велѣлъ имъ договорить; услышалъ, что ему царствовать только семь лѣтъ, и, съ живѣйшею радостію обнявъ предсказателей, воскликнулъ: *хотя бы семь дней, но только царствовать!*» Столь нескромно Годуновъ открылъ будто бы внутренность души мнимымъ мудрецамъ суевѣрнаго вѣка! По крайней мѣрѣ онъ уже не таился отъ самого себя; зналъ, чего хотѣлъ! Ожидая смерти бездѣтнаго царя, располагая волею царицы, наполнивъ думу, дворъ, приказы родственниками и друзьями, не сомнѣваясь въ преданности великоименитаго іерарха Церкви, надѣясь также на блескъ своего правленія и замышляя новыя хитрости, чтобы овладѣть сердцемъ или воображеніемъ народа, Борисъ не страшился случая безпримѣрнаго въ нашемъ отечествѣ отъ временъ Рюриковыхъ до Оеодоровыхъ: трона упраздненнаго, конца племени державнаго, мятежа страстей въ выборѣ новой династіи, и, твердо увѣренный, что скипетръ, выпавъ изъ руки послѣдняго вѣнценосца Мономаховой крови, будетъ врученъ тому, кто уже давно и славно царствовалъ безъ имени царскаго, сей алчный властолюбецъ видѣлъ между собою и престоломъ одного младенца безоружнаго, какъ алчный левъ видитъ агнца!.. Гибель Димитріева была неизбежна!» 190)

Затѣмъ, продолживъ рассказъ о Борисѣ въ первой главѣ XI-го тома, Карамзинъ начинаетъ вторую его главу вопросомъ чисто нравственнаго же характера: „Достигнувъ цѣли, возникнувъ изъ ничтожности рабской до высоты самодержца усиліями неутомимыми, хитростію неусыпною, коварствомъ, происками, злодѣйствомъ, наслаждался ли Годуновъ въ полной мѣрѣ величіемъ, коего алкала душа его—величіемъ, купленнымъ столь дорогою

цѣною? Наслаждался ли и чистѣйшимъ удовольствіемъ души, благотворя подданнымъ, и тѣмъ заслуживая любовь отечества?“

И весь дальнѣйшій разсказъ служить разъясненіемъ этого вопроса, отвѣтомъ на него.

Сперва все,—разсказываетъ историкъ, — благопріятствовало Годунову: первые два года его царствованія казались лучшимъ временемъ Россіи съ XV вѣка; она была на высочайшей степени своего внѣшняго могущества, а внутри управлялась съ мудрою твердостью и съ необыкновенною кротостью. Борисъ казался отцомъ народа, отцомъ сирыхъ и бѣдныхъ, другомъ человѣчества. Всѣ были довольны за себя и еще довольнѣе за отечество, и Россія любила Бориса. Можно бы думать, что при такихъ обстоятельствахъ Борисъ могъ бы быть счастливымъ. Однако онъ счастливъ не былъ: какъ человѣкъ съ нечистою совѣстью, Годуновъ былъ недовѣрчивъ и подозрителенъ, избѣгалъ людей и въ то же время какъ бы насильно хотѣлъ заставить народъ думать о немъ, какъ о монархѣ, котораго умъ есть пучина мудрости, а сердце исполнено любви и долготерпѣнія. Чѣмъ далѣе, тѣмъ все болѣе и болѣе росла подозрительность Бориса—и вотъ онъ наконецъ рѣшается возстановить бѣдственную Іоаннову систему доносовъ, за которою начинается цѣлый рядъ опалъ, ссылокъ, заключеній въ темницы, пытокъ, отнятіи имущества и другихъ насилій. Все это заставило народъ разочароваться въ своемъ правителѣ—и россияне уже не любили Бориса. Но Борисъ страдалъ не только вслѣдствіе внутренней тревоги своей души: скоро судъ Божій загремѣлъ надъ державнымъ преступникомъ, и Небо за беззаконія царя начало казнить царство: сперва появился страшный голодъ, а за нимъ, какъ его слѣдствіе, моровая язва. Не успѣла еще Россія успокоиться, какъ открылось новое бѣдствіе, въ которомъ современники непосредственно винили Бориса: появился Самозванецъ. Борисъ мучился; душа его жила ужасомъ и притворствомъ. Онъ не имѣлъ чистѣйшаго утѣшенія: не могъ предаться въ волю святого Провидѣнія, служа только идолу властолюбія. Но есть—говоритъ Карамзинъ—предѣлъ мукамъ въ бренности нашего естества земного. Борисъ умеръ. Но „сія безвременная кончина была небесною казнію для Россіи еще болѣе, нежели для Годунова: онъ умеръ по крайней мѣрѣ на тронѣ, не въ узахъ предъ бѣглымъ діакономъ, какъ бы еще въ воздаяніе за государственныя его благотворенія; Россія же, лишенная въ немъ царя умнаго и попечительнаго, сдѣлалась добычею злодѣйства на многія лѣта“.

Глава заканчивается строгимъ судомъ историка надъ Борисомъ.

„Но имя Годунова, одного изъ разумѣйшихъ властителей въ мірѣ, въ теченіе столѣтій было и будетъ произносимо съ омерзѣніемъ, *во славу нравственнаго неуклоннаго правосудія*. Потомство видитъ лобное мѣсто, обогренное кровію невинныхъ, св. Димитрія, издыхающаго подъ ножомъ убійцы, героя псковскаго въ петлѣ, столь многихъ вельможъ въ мрачныхъ темницахъ и келліяхъ; видитъ гнусную мзду, рукою вѣнценосца предлагаемую клеветникамъ-доносителямъ; видитъ систему коварства, обмановъ, лицемерія предъ людьми и Богомъ... вездѣ личину добродѣтели, и гдѣ добродѣтель? въ правдѣ ли судовъ Борисовыхъ, въ щедрости, въ любви къ гражданскому образованію, въ ревности къ величію Россіи, въ политикѣ мирной и здоровой. Но *сей яркій для ума блескъ хладенъ для сердца*, удостовѣреннаго, что Борисъ не усомнился бы ни въ какомъ случаѣ дѣйствовать вопреки своимъ мудрымъ государственнымъ правиламъ, если бы властолюбіе потребовало отъ него такой перемѣны“.

Съ возмущеннымъ духомъ говоритъ историкъ и о „гнусномъ предателѣ“—Басмановѣ. „Сей честолюбецъ безъ правилъ чести, жадный къ наслажденіямъ временщика,... не зная, что *сильные духомъ падаютъ, какъ младенцы, на пути беззаконія*“¹⁹¹⁾. Съ такимъ же возмущеніемъ говоритъ онъ и о гнусныхъ дѣлахъ Самозванца, „*презирающаго святыя законы нравственности*“¹⁹²⁾.

Возставая противъ тиранства и злодѣйства, авторъ „Исторіи“, какъ и авторъ „Бѣдной Лизы“ и „Острова Боригольма“, тепло сочувствуетъ невинно страдающимъ и угнетеннымъ. Такъ напр. большимъ сочувствіемъ проникнуты тѣ строки, въ которыхъ Карамзинъ касается грустной судьбы, постигшей внука Іоанна III Димитрія. „Василій пріялъ державу отца, но безъ всякихъ священныхъ обрядовъ, которые напомнили бы россіянамъ о злополучномъ Димитріи, пышно вѣнчанномъ и сверженномъ съ престола въ темницу. Василій не хотѣлъ быть великодушнымъ: ненавидя племянника, помня дни его счастья и своего униженія, онъ безжалостно осудилъ сего юношу на самую тяжкую неволю, сокрытъ отъ людей, отъ свѣта солнечнаго въ тѣсной, мрачной палатѣ. Изнуряемый горестію, скукою празднаго уединенія, лишенный всѣхъ пріятностей жизни, безъ отрады, безъ надежды въ лѣтахъ цвѣтущихъ, Димитрій представился въ 1509 году, бывъ одною изъ умилительныхъ жертвъ лютой политики, оплакиваемыхъ добрыми сердцами и находящихъ мстителя развѣ въ другомъ мірѣ“¹⁹³⁾. По-

добнымъ же сочувствіемъ проникнуты и рассказы объ убіеніи Бориса по приказанію Святополка, объ ослѣпленіи Василька и др. Вообще Карамзинъ умѣлъ изображать несчастье такъ, чтобы оно шевельнуло филантропическое чувство читателя. Но въ „Исторіи государства Россійскаго“ читатель найдетъ не однѣ только „умилительныя жертвы“ лютѣй политики или страстей: Карамзинъ умѣлъ изображать и *величіе страданія*, возбуждая благоговѣйное уваженіе къ страдающему. Такое чувство должны возбуждать, напримѣръ, образы двухъ замученныхъ татарами Михайловъ—Черниговскаго и Тверскаго, образъ митрополита Филиппа и др.

Но Карамзину, для счастья человѣческаго нужна добродѣтель. Законы ея обыкновенно пишутся въ сердцахъ людей. Но такъ какъ существуютъ страсти, то для обузданія ихъ необходимы и „твердые законы государственные“. Гдѣ ихъ нѣтъ, тамъ всегда возможны несправедливость и неурядица. Наличие той и другой историкъ видитъ въ древней Руси и говоритъ: „Не имѣя твердыхъ государственныхъ законовъ, основанныхъ на опытѣ вѣковъ, князья и подданные въ нашемъ древнемъ отечествѣ часто дѣйствовали по внушенію страстей; сила казалась справедливостію: иногда государь, могущественный усердіемъ и мечами дружины, угнеталъ народъ; иногда народъ презиралъ волю государя слабаго. Неясность взаимныхъ правъ служила поводомъ къ мятежамъ.“¹⁹⁴⁾ Но и законовъ однихъ мало: надо блюсти за ихъ исполненіемъ. „Нужно вѣдать государю, что онъ не можетъ быть любимъ безъ строгаго, блительнаго правосудія“¹⁹⁵⁾. Словами митрополита Филиппа историкъ напоминаетъ о долгѣ державныхъ быть отцами подданныхъ, блюсти справедливость, уважать заслуги; напоминаетъ о гнусныхъ льстецахъ, которые тѣсняются къ престолу, ослѣвляють умъ государей, хвалятъ достойное хулы, порицають достохвальное; напоминаетъ о тѣнѣ земного величія, о побѣдахъ *невооруженной любви*, которыя пріобрѣтаются государственными благодѣяніями и еще славнѣе *побѣдъ ратныхъ*¹⁹⁶⁾.

Но мы должны замѣтить, что когда Карамзинъ устремляетъ свое преимущественное вниманіе на „государство“, на созданіе его величія, — въ немъ моралистъ дѣлаетъ значительныя уступки политику. Въ этомъ отношеніи интересно сопоставить приведенное нами выше основное положеніе Карамзина: „Правила правственности и добродѣтели святѣе всѣхъ иныхъ, и служатъ основаніемъ истинной политики“ съ тѣми строками „Похвальнаго

слова императрицы Екатеринѣ“, гдѣ говорится слѣдующее: „Правило народовъ и государей не есть правило частныхъ людей; благо сихъ послѣднихъ требуетъ, чтобы первые болѣе думали о внѣшней безопасности: а безопасность есть могущество! Слабый народъ трепещетъ; сильный, подъ эгидою величія, свободно наслаждается политическимъ бытіемъ. Сія истина рождаетъ правила для монарховъ“. Такимъ образомъ, въ силу послѣдняго положенія, нѣкоторыя дѣянія, осуждаемыя въ частномъ человѣкѣ, могутъ въ монархѣ не только оправдываться, но даже вмѣняться ему въ заслугу. Такія уступки моралиста политику мы и встрѣчаемъ въ „Исторіи государства Россійскаго“. Ставя Годунову въ укоръ его „неусыпную хитрость“, направленную для достиженія личныхъ цѣлей, историкъ сочувствуетъ хитрости Іоанна III, направленной къ восстановленію свободы и цѣлости Россіи. На томъ же основаніи и хитрость Калиты называется „благодѣтельной“. Сочувствуя проявляемой людьми чувствительности, которая Карамзину было такъ симпатична, онъ не только не осуждаетъ Іоанна III за его суровость, а скорѣе хвалитъ его за то, что онъ не былъ чувствителенъ.

Но такое раздвоеніе морали все-таки не мѣшаетъ „Исторіи“ Карамзина въ общемъ производить впечатлѣніе труда, написаннаго авторомъ, стоящимъ на стражѣ добродѣтели, нравственныхъ принциповъ.

Какъ художественное произведеніе, имѣющее въ виду воскресить прошедшее, „Исторія государства Россійскаго“ заключаетъ въ себѣ рядъ живыхъ рассказовъ и картинъ, раскрывающихъ доблести нашихъ предковъ: ихъ геройскіе подвиги, обусловленные любовью къ родинѣ и сознаніемъ долга, ихъ мужество, ихъ умѣнье умирать, не посрамляя земли Русской. Такихъ рассказовъ и картинъ въ особенности много на тѣхъ страницахъ труда Карамзина, которыя повѣствуютъ о двухъ самыхъ тяжелыхъ эпохахъ въ нашей исторіи: объ эпохѣ татарскаго владычества и о временахъ Василия Шуйскаго и междоусобицъ. Тутъ, на этихъ страницахъ, изображены не только такія крупныя по своему значенію событія, какъ, напримѣръ, Куликовская битва и осада Троицкой лавры, гдѣ сидѣли люди *низкіе званіемъ, но великіе душою*, люди, „цѣловавшіе крестъ на томъ, чтобы сидѣть въ осадѣ безъ измѣны“ и „пить чашу смертную за отечество“, — но не забыты историкомъ и герои, хотя и менѣе популярныя, но не менѣе доблестныя. Таковы, напримѣръ,

жители Рязани, Владимира, Кіева, которые „любя честь болѣе жизни, рѣшились умереть великодушно“. Таковъ и попавшій въ плѣнъ къ татарамъ герой битвы на Сити—князь Василько. „Сей достойный сынъ Константиновъ гнушался постыдною жизнію невольника. Изнуренный подвигами жестокой битвы, скорбію и голодомъ, онъ не хотѣлъ принять пищи отъ руки враговъ. «Будь нашимъ другомъ и воюй подъ знаменами великаго Батыя!» говорили ему татары. «Лютые кровопійцы, враги моего отечества и Христа, не могутъ быть мнѣ друзьями», отвѣтствовалъ Василько: «о темное царство! есть Богъ, и ты погибнешь, когда исполнится мѣра твоихъ злодѣяній». Варвары извлекли мечи и скрежетали зубами отъ ярости: великодушный князь молилъ Бога о спасеніи Россіи, Церкви православной и двухъ юныхъ сыновей его — Бориса и Глѣба. Татары умертвили Василько и бросили въ Шеренскомъ лѣсу“ ¹⁹⁷).

Подобные рассказы и картины были не результатомъ безстрастной работы ученаго, а слѣдствіемъ желанія художника и патріота заставить читателя въ такой же мѣрѣ участливо отнестись къ судьбѣ нашихъ предковъ, въ какой относился къ ней самъ авторъ „Исторіи государства Россійскаго“. А уваженіе къ предкамъ,—говоритъ Карамзинъ въ своемъ „Предисловіи“,—государственная нравственность ставитъ въ достоинство образованному гражданину.

Наконецъ, говоря объ „Исторіи государства Россійскаго“, какъ о литературномъ произведеніи, нельзя не упомянуть и о картинности, живости самаго изложенія, которое въ свое время удовлетворяло даже такихъ художниковъ, какъ Пушкинъ и Батюшковъ. Объ этой сторонѣ „Исторіи“ Карамзина находимъ слѣдующую замѣтку у Погодина:

„Карамзинъ представилъ многія событія такъ, что они именно воспроизводятся въ нашемъ воображеніи; изобразилъ многія лица такъ, что они живутъ передъ нами, если иногда не своею собственною, то по крайней мѣрѣ тою жизнію, которую сообщалъ имъ художникъ, въ разныя минуты ихъ дѣятельности. Прочитавъ, наприимѣръ, внимательно 6-й томъ, вы видите передъ собою величественный образъ Іоанна III, вы слышите его тяжелые шаги, вы встрѣчаетесь съ его суровыми взглядами, отъ которыхъ женщины падали въ обморокъ... А счастливый и несчастный Борисъ, потомокъ татарскаго мурзы Чета, между родовыми князьями, средь колѣнопреклоненій и заговоровъ, съ его

изобрѣтательностью, осторожностью, мнительностью, поражаемый непреклонною судьбою, ударъ за ударомъ, не смотря на всѣ благія предположенія и разумныя мѣры! А легковѣрный Самозванецъ, умный, веселый, живой, пирующій наканунѣ гибели, пляшущій на краю пропасти, между нѣмцами и поляками, подъ зоркими взглядами угрюмыхъ россіянъ, которые, кланяясь, выбираютъ на тѣлѣ его мѣсто, гдѣ нанести ударъ смертоноснѣе! Всѣ эти лица изображены такъ близко къ природѣ, какъ только можетъ искусство. Точно то же должно сказать о многихъ происшествіяхъ: мы присутствуемъ съ Карамзинымъ на Флорентійскомъ соборѣ, и слышимъ строгую рѣчь Марка Ефесскаго, который лучше хочетъ подвергнуться игу турковъ, нежели отступить на шагъ отъ православія. Трепетъ объемлетъ ваше сердце, когда вы видите передъ своими глазами висѣлицы, воздвигнутыя на московской площади, и смотрите украдкою на Грознаго Іоанна, пріѣхавшаго въ толпѣ опричниковъ судить и казнить своихъ вѣрныхъ подданныхъ. Или, перенесясь въ Успенскій соборъ, внемлете торжественному слову св. Филиппа, угрожающаго злобному царю гнѣвомъ небеснымъ за его незаконное правленіе... Чѣмъ далѣе шелъ Карамзинъ, чѣмъ болѣе писалъ, тѣмъ болѣе талантъ его усиливался, даръ слова увеличивался“ ¹⁹⁸).

3. «Исторія государства Россійскаго», какъ научное сочиненіе.

Научное значеніе „Исторіи“ Карамзина опредѣляется главнымъ образомъ значеніемъ приложенныхъ къ ней „Примѣчаній“, оцѣнку которыхъ нашими историками мы уже знаемъ. Бестужевъ-Рюминъ сказалъ, что „въ эти примѣчанія долженъ ходить учиться каждый занимающійся русской исторіей“. Милюковъ тоже признаетъ, что „Примѣчанія“ сдѣлали „Исторію“ Карамзина надолго необходимою для всякаго изслѣдователя хрестоматіей источниковъ. Такимъ образомъ трудъ исторіографа есть во всякомъ случаѣ заслуга его передъ русской исторіей. Но во время Карамзинскаго юбилея въ 1866 году наши ученые юристы заявили, что и русская юридическая наука весьма многимъ обязана „Исторіи государства Россійскаго“. „Въ Москвѣ самый видный знатокъ русскихъ историческихъ законодательныхъ памятниковъ, Н. В. Калачовъ, въ своей рѣчи прошелъ черезъ всю Исторію Карамзина и раскрылъ великую его работу по этой части. Такъ, онъ между прочимъ указываетъ, что только изъ Карамзина мы знаемъ объ устройствѣ опричнины, о земскомъ постановленіи 1611 при Ляпуновѣ, о дѣйствіи у насъ при Алексѣѣ Михайловичѣ и въ гражданской области греческаго помоканона... Въ Казани профессоръ

Шилевскій произвелъ подобный же пересмотръ Исторіи Карамзина, даже сопоставилъ его съ послѣдующими дѣятелями-специалистами въ области права, каковы Эверсъ, Рейцъ, К. Д. Кавелинъ, и признаетъ, что если многія мнѣнія Карамзина оказались невѣрными, то все юристы ему много обязаны фактическими указаніями" ¹⁹⁹).

Тѣмъ не менѣе тотъ же Бестужевъ-Рюминъ говоритъ, что если нельзя отвергать въ Карамзинѣ великаго ученаго и считать его только литераторомъ, то съ другой стороны „можно утверждать, что онъ не такъ изобразилъ ту или другую эпоху, то или другое лицо, и быть правымъ“ ²⁰⁰).

Одною изъ причинъ нарушенія исторической вѣрности было внесеніе сентиментализма въ изображеніе русской старины. Даже знаменитый своей суровой жизнью Святославъ—и тотъ изображенъ у Карамзина въ значительной степени чувствительнымъ, между тѣмъ какъ лѣтопись не даетъ права представлять этого князя способнымъ слишкомъ растрогиваться. Въ лѣтописи сказано: „То слышавъ (т.-е. о бѣдствіяхъ, причиненныхъ Кіеву печенѣгами), Святославъ вборзѣ всѣде на конѣ съ дружиною своею, и приде Кіеву, цѣлова (т.-е. привѣтствовалъ, а не лобызалъ) мать свою и дѣти своя, и съжался о бывшемъ отъ печенѣтъ“ ²⁰¹). Карамзинъ это мѣсто пересказываетъ такъ: „Тронутый князь съ великою посигъшностію возвратился въ Кіевъ. Шумъ воинскій, любезный его сердцу, не заглушилъ въ немъ *нѣжной чувствительности* сына и родителя: лѣтопись говоритъ, что онъ съ *горячностію лобызалъ* мать и дѣтей, радуясь ихъ спасенію“ ²⁰²).

Карамзинъ вообще любитъ психологическую мотивировку дѣйствій—и Милюковъ находитъ ее „вредящей научному достоинству изложенія“. — „Щербатовъ“, говоритъ Милюковъ, ²⁰³) „тоже любитъ психологическую мотивировку, хотя и отдѣляетъ ее отъ строго-фактическаго изложенія; но любимые мотивы обоихъ историковъ такъ же различны, какъ раціонализмъ Щербатова и сентиментализмъ Карамзина. Герои Щербатовской исторіи дѣйствуютъ преимущественно изъ „политическихъ видовъ. Герои Исторіи государства Россійскаго руководятся въ своихъ дѣйствіяхъ *«нѣжною чувствительностію»*. Вотъ, для примѣра, разскажи обоихъ историковъ о томъ, почему Борисъ не хотѣлъ дѣйствовать противъ Святополка Окаяннаго.

Щербатовъ: «Борисъ, *страшась неустройствъ, которыя могутъ отъ междоусобныхъ войны произой-*

Карамзинъ: «Борисъ отвѣтствовалъ: могу ли поднять руку на брата старѣйшаго; онъ долженъ быть мнѣ

титъ, и почитая старѣйшаго себѣ брата, имъ на сіе отвѣтствовалъ, что онъ никогда не вооружится на своего брата, котораго вмѣсто отца намѣренъ почитать. Таковымъ отвѣтомъ доброжелательныя его войска, бывъ приведены въ уныніе и опасаясь, чтобы должайшее пребываніе съ нимъ—отъ Святополка имъ не вмѣнилось въ преступленіе, его оставя, разошлись...; однако Святополкъ, зная всенародную любовь къ Борису, послалъ къ нему нарочно объявить, что онъ желаетъ съ нимъ быть въ братской дружбѣ и т. д.

вторымъ отцомъ. Сія *нѣжная чувствительность* казалась воинамъ малодушіемъ: оставивъ князя мягкосердечнаго, они пошли къ тому, кто *властолюбіемъ своимъ заслуживалъ въ ихъ глазахъ право властвовать*. Но Святополкъ имѣлъ только дерзость злодѣя. Онъ послалъ увѣрить Бориса въ любви своей и т. д.

Какъ видимъ, дѣйствія Бориса, войска и Святополка у Щербатова представляются дѣломъ простаго расчета: Борисъ боится междоусобной войны, войска боится гнѣва Святополка, Святополкъ боится народной любви къ Борису. У Карамзина тѣ же дѣйствія являются слѣдствіемъ душевныхъ движеній: братней нѣжности, уваженія къ силѣ, трусливости Святополка. Въ источникѣ обонхъ—въ лѣтописи—нѣтъ ни той ни другой мотивировки *)“.

Далѣе Милюковъ приводитъ еще нѣсколько примѣровъ литературныхъ пріемовъ Карамзина и говоритъ:

„Но даже тамъ, гдѣ источникъ даетъ мотивировку, Карамзинъ предпочитаетъ иногда замѣнить ее своею, болѣе соответствующею его литературной манерѣ. По лѣтописи, князь Дмитрій Константиновичъ Суздальскій старается отнять у младшаго брата Нижегородское княженіе; во время борьбы онъ получаетъ изъ Орды ярлыкъ на великое княженіе Владимирское, но поступаетъ имъ Дмитрію Донскому съ тѣмъ, чтобы получить отъ послѣдняго помощь противъ Нижняго Новгорода. Такъ и изложено было у Щербатова. По Карамзину, Дмитрій Константиновичъ отказывается отъ Владимирскаго стола, «видя слабость свою» и «предпочитая дружбу Дмитрія (Донского) милости» хана, безъ всякихъ опредѣленныхъ расчетовъ; а затѣмъ освобождается Нижегородскій столъ и изъ «благодарности» Дмитрію помогаетъ Суздаль-

*) Лавр. подъ 1015 г.: „онъ же (Борисъ) рече: не буди ми възняти руки на брата своего старѣйшаго; аще и отецъ ми умре, то съ ми буди въ отца мѣсто. И се слышавше вои, разыидошася отъ него... Святополкъ же исполнився безаконья, канновъ смыслъ пріимъ, посылая къ Борису, глаголаше: яко съ тобою хочю любовь имѣти..., а лъстя подъ нимъ, како бы и погубити“.
(Примѣч. Милюкова).

скому князю занять его. Такимъ образомъ отказъ Дмитрія Суздальскаго и помощь ему Дмитрія Московскаго—два факта, связанные въ источникѣ причинною связью, у Карамзина связываются только стилистическимъ оборотомъ съ сентиментально-психологическою мотивировкой: «умѣренность, вынужденная обстоятельствами (т.-е. отказъ отъ великаго княженія) не есть добродѣтель; однакожь Димитрій Іоанновичъ изъяснилъ ему за то благодарность». Даже прямо-формальныя, юридическія выраженія княжескихъ договоровъ, въ которыхъ слабѣйшій общается обыкновенно «держатъ великое княжение честно и грозно», а сильнѣйшій обязуется держать слабѣйшаго «въ братствѣ, безъ обиды»,—у Карамзина превращаются въ обязательства младшаго «уважать», а старшаго—«любить» своего контрагента“.

„Стилистическою связью событій и сентиментально-психологическою мотивировкой не исчерпываются, однакоже, литературно-художественные приемы Карамзинскаго изложенія. Предметомъ исторической живописи, вопреки скудости источниковъ, служатъ у Карамзина и въ первой части его Исторіи—и положенія и характеры. Мы не встрѣчаемъ здѣсь, конечно, вымышленныхъ рѣчей à la Фукидидъ или Ливіи, какія встрѣчали у Эмина. Карамзинъ хорошо знаетъ, что историку «нельзя прибавить ни одной черты къ извѣстному, нельзя вопрошать мертвыхъ; говоримъ, что передали намъ современники; молчимъ, если они умолчали,—или справедливая критика заградить уста легкомысленному историку, обязанному представлять единственно то, что сохранилось отъ вѣковъ въ лѣтописяхъ, въ архивахъ». «Мы не можемъ вымыслить»,—прямо заявляетъ Карамзинъ въ своемъ предисловіи,—«вытѣйствовать въ исторіи... Самая прекрасная выдуманная рѣчь безобразитъ исторію, посвященную не славѣ писателя, не удовольствію читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истинѣ, которая уже сама дѣлается источникомъ удовольствія и пользы»... Эта *profession de foi* не всегда выдерживалась исторіографомъ... Сравните, напримѣръ, съ только что цитированными заявленіями Карамзина нарисованную имъ картину смерти Александра Невскаго: «Источивъ силы душевныя и тѣлесныя въ ревностномъ служеніи отечеству,—передъ концомъ своимъ онъ думалъ уже единственно о Богѣ: постригся, принявъ схиму и, слыша горестный плачь вокругъ себя, тихимъ голосомъ, но еще съ изъясненіемъ нѣжной чувствительности, сказалъ добрымъ слугамъ: удалитесь и не сокрушайте души моей жалостію! Они всѣ готовы были лечь съ нимъ во гробъ, любивъ его всегда, но

собственному выраженію одного изъ нихъ,—гораздо болѣе, нежели отца родного». Откуда взяты краски для этой картины и эти «собственные выраженія»? Формально Карамзинъ правъ: все это есть въ источникѣ, но въ такомъ источникѣ, изъ котораго никакой историкъ и даже самъ Карамзинъ не рѣшился бы взять этихъ данныхъ, если бы они не понадобились для его художественныхъ цѣлей. Въ древнемъ житіи Александра Невского, написанномъ «самовидцемъ» возраста его, человекомъ близко къ нему стоявшимъ, мы встрѣчаемъ только короткое лирическое отступленіе автора передъ описаніемъ кончины князя; картину же самой кончины Карамзинъ заимствовалъ изъ позднѣйшей передѣлки житія (въ XVI вѣкѣ), помѣщенной въ Степенной книгѣ⁴.

Затѣмъ, указавъ на невѣрность изображенія характера Олега Рязанскаго (обрисованъ слишкомъ черными красками) и Василія Темнаго, критикъ говоритъ, что особенно большая погрѣшность допущена въ изображеніи личности Іоанна Грознаго. Погрѣшность эта,—говоря словами Погодина, —состоитъ въ томъ, что исторіографъ „отложилъ все дурное объ Іоаннѣ до смерти Анастасіи, до IX тома, между тѣмъ какъ очень многое уже случилось, представляющее Іоанна совсѣмъ съ другой стороны“.

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ Карамзинѣ-историкѣ художникъ и ученый не всегда были другъ съ другомъ въ согласіи.

4. Значеніе «Исторіи государства Россійскаго» и отношеніе къ ней современниковъ.

Значеніе историческаго труда Карамзина опредѣляется не тѣмъ, конечно, чего онъ *не* далъ, а тѣмъ, что онъ *далъ* и наукѣ и обществу.—¹Что сдѣлалъ Карамзинъ для науки—объ этомъ мы уже говорили въ предыдущей главѣ. Но еще важнѣе то, что далъ онъ въ своей „поэмѣ“ современному ему обществу, а отчасти и поколѣніямъ послѣдующимъ.

О состояніи современнаго Карамзину общества мы тоже уже говорили. Вотъ еще краткая его характеристика, набросанная Бестужевымъ-Рюминымъ.

„Въ концѣ XVIII, а особенно въ началѣ XIX вѣка, въ эту пору самага сильнаго разгара русскаго европеизма, въ такъ называемой образованной *средѣ* древность русская была совершенно неизвѣстна: мѣсто отцовскихъ библіотекъ, состоявшихъ изъ старыхъ рукописей, заняли въ боярскихъ палатахъ собранія французскихъ писателей XVIII вѣка и ихъ англійскихъ первообразовъ, разумѣется, во французскомъ переводѣ; старинное воспитаніе, съ

дѣтства пріучавшее слухъ къ звукамъ языка церковно-славянскаго, то воспитаніе, о которомъ съ такимъ умиленіемъ воспоминаетъ Фонвизинъ, отошло въ область преданій; русскія дѣти съ самаго нѣжнаго возраста лепетали по-французски; многіе герои 12-го года и думали и говорили по-французски; самъ Ростопчинъ былъ остроумнѣе на французскомъ языкѣ, чѣмъ въ своихъ знаменитыхъ афиннахъ... Въ высшихъ сферахъ дѣйствуютъ... галломаны, англоманы и даже враги Россіи. Наполеоновъ кодексъ — созданіе отвлеченнаго мышленія — переводится на русскій языкъ и назначается служить руководствомъ въ нашихъ судахъ...; поэты, въ минуту опасности отечества, чтобъ одушевить войско, призываютъ къ тѣнямъ героевъ прежнихъ лѣтъ, и встаютъ на ихъ зовъ тѣни Оссіановыхъ героевъ, только названные русскими именами; въ этихъ туманныхъ картинахъ мы не узнаемъ тѣхъ, чьи имена должны быть дороги сердцу каждаго русскаго; лица, создаваемые воображеніемъ тогдашнихъ поэтовъ, такъ же мало похожи на русскихъ людей, какъ эти герои на русскихъ героевъ: это — лица Расина или Мольера, но не живые русскіе типы. Къ памятникамъ старины не было никакого уваженія... Только тамъ, гдѣ еще живы были преданія старины, гдѣ еще читали лѣтописи и хронографы, тамъ безсознательно жилъ русскій духъ, любовь и уваженіе къ славіи предковъ: то была сфера грамотныхъ простолюдиновъ“²⁰⁴).

Въ такую пору появилась „Исторія“ Карамзина. Какое произвела она впечатлѣніе на общество, видно изъ слѣдующихъ словъ Пушкина: „Это было въ февралѣ 1818 года. Первые восемь томовъ Русской исторіи Карамзина вышли въ свѣтъ. Я прочелъ ихъ въ своей постелѣ съ жадностію и со вниманіемъ. Появленіе сей книги (какъ и быть надлежало) надѣлало много шума и произвело сильное впечатлѣніе; 3000 экземпляровъ разошлось въ одинъ мѣсяць (чего никакъ не ожидать и самъ Карамзинъ) — примѣръъ единственный въ нашей землѣ. Всѣ, даже свѣтскія женщины, бросились читать исторію своего отечества, дотолѣ имъ неизвѣстную. Она была для нихъ новымъ открытіемъ. Древняя Россія казалась найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ. Нѣсколько времени ни о чемъ иномъ не говорили“²⁰⁵).

Сравнивая Карамзина съ Колумбомъ, Пушкинъ былъ совершенно правъ, потому что если Карамзинъ, какъ ученый, и имѣлъ предшественниковъ, то въдѣ публикой они не читались, и она съ русской исторіей познакомилась впервые только благодаря художественному труду Карамзина. И самое то обстоятельство, что исторіографъ сумѣлъ заинтересовать общество, уже должно быть

вмѣнено ему въ великую заслугу. По „Исторіи государства Россійскаго“,—говоритъ Бестужевъ-Рюминъ,—общество „училось уважать свое прошлое, видѣть въ немъ не исторію варварскаго народа, а исторію народа европейскаго. Карамзинъ часто указываетъ на аналогію съ Европою... Такія аналогіи должны были убѣдительно дѣйствовать на людей, привыкшихъ смотрѣть на Европу и тамъ искать образцовъ и примѣровъ. «Стало быть, и мы тоже имѣемъ исторію, не наполненную только Атиллами и Чингисханами, какъ говорятъ о насъ въ Европѣ»—вотъ что многимъ могло придти въ голову; а Карамзина читали многіе: нельзя, онъ быть въ модѣ“²⁰⁶).

Слова эти невольно напоминаютъ о томъ впечатлѣніи, которое Карамзинъ произвелъ на Батюшкова. Въ 1809 г. Батюшковъ писалъ къ Гігдичу: „Нѣтъ, невозможно читать русской исторіи хладнокровно, т.-е. съ разсужденіемъ. Я сто разъ принимался: все напрасно. Она дѣлается интересною только со временъ Петра Великаго. Подивись, подивимся мелкимъ людямъ, которые роются въ этой пыли“²⁰⁷). И этотъ же Батюшковъ въ 1818 г. написалъ слѣдующее стихотвореніе, посвященное Карамзину:

Когда на играхъ Олимпійскихъ,
Въ надеждѣ радостныхъ похвалъ,
Отецъ исторіи читалъ,
Какъ грекъ разилъ вождей азійскихъ
И силы гордыхъ сокрушилъ,—
Народъ, любитель громкой славы,
Забывъ ристанья и забавы,
Стоялъ—и весь вниманье былъ.

Но въ сей толпѣ многонародной
Какъ старца слушалъ Фукидидъ,
Любимый отрокъ Аонидъ,
Надежда крови благородной!
Съ какою жаждой онъ внималъ
Отцовъ дѣянья знамениты,
И на горящія ланиты
Какія слезы проливалъ!

И я такъ плакалъ въ восхищеньи,
Когда скрижалъ твою читалъ,
И геній твой благословлялъ
Въ глубокомъ, сладкомъ умиленьи.
Пускай талантъ не мой удѣлъ;
Но я для музъ дышалъ не даромъ:
Любилъ прекрасное и съ жаромъ
Твой геній чувствовать умѣлъ²⁰⁸).

„Исторія“ Карамзина, знакомя общество съ родною стариною, явилась вмѣстѣ съ тѣмъ и воспитывающей силой. „Не ду-

маю“, — говоритъ Бестужевъ-Рюминъ, — „чтобы кому-нибудь изъ людей, хорошо знающихъ «Исторію государства Россійскаго» (а кто изъ людей сколько-нибудь образованныхъ не знаетъ ея?), показалось страннымъ то мнѣніе, что трудно найти въ какой-либо литературѣ произведеніе болѣе благородное. Оно благородно сочувствіемъ ко всему великому въ природѣ человѣческой, благородно отвращеніемъ отъ всего низкаго и грубаго. 9-й томъ „Исторіи“ Карамзина служитъ лучшимъ доказательствомъ, что авторъ не останавливался ни передъ какими соображеніями, если хотѣлъ высказать все свое негодованіе: мягкій, снисходительный, любящій, Карамзинъ умѣлъ быть неумолимъ, когда встрѣчался съ явленіемъ, возмущающимъ его душу; вспомните, съ какимъ негодованіемъ онъ относится къ Грозному, съ какимъ презрѣніемъ къ его окружающимъ. Я выбралъ самый рѣзкій примѣръ, а такихъ примѣровъ можно найти множество. Карамзинъ не проходитъ ни одного позорнаго дѣянія, чтобы не выразить къ нему своего отвращенія; зато посмотрите, съ какою любовію онъ останавливается на каждомъ свѣтломъ лицѣ, на каждомъ доблестномъ подвигѣ... Въ наше время считаютъ, — и совершенно основательно, — неумѣстнымъ вмѣшательство личнаго чувства; но вспомнивъ, какое сильное воспитательное дѣйствіе имѣли эти выраженія личнаго чувства на нравственное развитіе нѣсколькихъ поколѣній, удержимся осуждать ихъ... Поколѣніе, воспитанное Карамзинымъ, уже не могло повторить Куралесова или Салтычиху; по крайней мѣрѣ оно значительно смягчило эти типы“²⁰⁹).

Наконецъ въ „Исторіи“ Карамзина чрезвычайно ярко сказалось патріотическое чувство автора — и, — какъ говоритъ критикъ, — „сказалось такъ, что невольно сообщается читателю: онъ страдаетъ во время ига татарскаго, торжествуетъ освобожденіе отъ него, тяготится временемъ Грознаго, негодуетъ на Шуйскаго. Высокій художественный талантъ Карамзина не подлежитъ никакому сомнѣнію; но никакой талантъ не въ состояніи увлечь до такой степени, если бы писатель самъ не чувствовалъ того, что онъ внушаетъ. Только любви дается эта способность живого представленія, только живя сердцемъ въ изображаемую эпоху, можно перенести въ нее другого“²¹⁰).

Свой патріотизмъ исторіографъ подчеркнул и въ „Предисловіи“. „Чувство: мы, *наше*“ — сказалъ онъ тамъ — „оживляетъ повѣствованіе — и какъ грубое пристрастіе, слѣдствіе ума слабаго или души слабой, несносно въ историкѣ: такъ любовь къ отечеству даетъ его кисти жаръ, силу, прелесть. Гдѣ нѣтъ любви — нѣтъ и души“.

Такъ какъ авторъ „Исторіи государства Россійскаго“ въ политическихъ своихъ взглядахъ расходился съ либеральной партіей, то естественно, что партія эта не могла быть удовлетворена „поэмой“ исторіографа. Выразителемъ мнѣнія этой партіи былъ Никита Мих. Муравьевъ, сынъ извѣстнаго намъ товарища министра народнаго просвѣщенія. Разбирая „Предисловіе“, онъ сдѣлалъ многія возраженія, и въ особенности напалъ на то мѣсто, гдѣ Карамзинъ говоритъ, что исторія *мирно* насъ съ несовершенствомъ видимаго порядка вещей ²¹¹⁾. Но большинство ничего не имѣло противъ политической тенденціи Карамзина, видѣло въ немъ художника, моралиста и патріота — и благоговѣло передъ нимъ. Выразителемъ этого чувства былъ Жуковский, внесшій въ свое посланіе къ Пв. Пв. Дмитріеву (1831) слѣдующіе стихи:

Лежитъ вѣнецъ на мраморѣ могилы;
Ей молится Россія вѣрный сынъ;
И будитъ въ немъ для дѣлъ прекрасныхъ силы
Святое имя: Карамзинъ ²¹²⁾.

Кромѣ того, были люди, которые хотя и не раздѣляли *всѣхъ* убѣжденій Карамзина, тѣмъ не менѣе высоко цѣнили и его „Исторію“ и его самого. Представителемъ такихъ людей былъ Пушкинъ, всегда умѣвшій видѣть и цѣнить въ людяхъ и явленіяхъ ихъ свѣтлыя стороны. Увлеченный желаніемъ кинуть острое слово въ духѣ окружавшей его либеральной молодежи, онъ сочинилъ двѣ злыя эпиграммы на трудъ исторіографа, но тотчасъ же снова вернулся къ своему обычному благоговѣнію передъ Карамзинымъ. Онъ съ восторгомъ читалъ его „Исторію“ и называлъ ее „не только созданіемъ великаго писателя, но и подвигомъ честнаго человѣка“ ²¹³⁾. Въ другомъ мѣстѣ сказавъ, что „Неуваженіе къ именамъ, освященнымъ славою (первый признакъ невѣжества и слабомыслія), къ несчастію, почитается у насъ не только дозволеннымъ, но еще и похвальнымъ удалствомъ“, онъ продолжаетъ: „Чистая, высокая слава Карамзина принадлежитъ Россіи, и ни одинъ писатель съ истиннымъ талантомъ, ни одинъ истинно ученый человѣкъ, даже изъ бывшихъ ему противникамъ, не отказалъ ему въ дани уваженія глубокаго и благодарности“ ²¹⁴⁾.

VI. Записка о древней и новой Россіи ²¹⁵⁾.

1. Записка, какъ дополненіе къ „Исторіи государства Россійскаго“.

Записка о древней и новой Россіи распадается на двѣ части: первая представляетъ собою очень сжатый очеркъ политическаго

и гражданскаго состоянія Россіи до восшествія на престолъ императора Александра І; вторая заключаетъ въ себѣ критику того, что совершалось при этомъ императорѣ во внѣшней политикѣ и во внутреннемъ управленіи. Мы остановимся сперва только на одной первой части, которая, заканчиваясь очеркомъ царствованія дома Романовыхъ отъ Михаила Ѳеодоровича до Александра І, тѣмъ между прочимъ и интересна, что служитъ до нѣкоторой степени дополненіемъ къ „Исторіи государства Россійскаго“, обобравшейся на 1611 годѣ.

Изложивъ самымъ сжатымъ образомъ то, что подробно сказано въ 12-ти томахъ „Исторіи“, Карамзинъ говоритъ: „Князья московскіе учредили самодержавіе, отечество даровало его Романовымъ... Дуга небеснаго мира возсіяла надъ тронѣмъ русскимъ; отечество (послѣ бѣдствія междоусобицы), подъ сѣнію самодержавія, успокоилось, извергнувъ чужеземныхъ хищниковъ изъ нѣдръ своихъ; возвеличилось пріобрѣтеніями и вновь образовалось въ гражданскомъ порядкѣ, творя, обновляя и дѣлая *только* *необходимое, согласно съ понятіями народными и ближайшее къ существующему*“. Последнія слова обращаютъ на себя вниманіе: они, заключая въ себѣ похвалу предшественникамъ Петра Великаго, уже заранее даютъ понять, какъ отнесется историкъ къ преобразователю.—Затѣмъ Карамзинъ указываетъ, *что* именно и *какъ* было сдѣлано новаго при первыхъ Романовыхъ. „Дума боярская осталась на древнемъ основаніи, т.-е. совѣтомъ царей во всѣхъ дѣлахъ важныхъ - политическихъ, гражданскихъ, казенныхъ. Прежде монархъ рядилъ государство чрезъ своихъ намѣстниковъ или воеводъ: недовольные ими прибѣгали къ нему: онъ судилъ дѣло съ боярами. Сія *восточная простота* уже не соотвѣтствовала государственному возрасту Россіи, и множество дѣлъ требовало посредниковъ между царемъ и народомъ: учредились въ Москвѣ *Приказы*, которые вѣдали дѣла всѣхъ городовъ и судили намѣстниковъ. Но еще судъ не имѣлъ устава полнаго, ибо Іоанновъ оставлялъ много на совѣсть или произволъ судящаго“. При царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ „Россія получила *Уложеніе*... Оно, послѣ хартіи Миханлова избранія, есть донынѣ важнѣйшій государственный завѣтъ нашего отечества“. Далѣе авторъ Записки говоритъ о томъ, какъ при царяхъ Михаилѣ, Алексѣѣ и Ѳеодорѣ Россія продолжала сблизяться съ Европой, заимствовать у нея и измѣняться; но „сіе измѣненіе дѣлалось *постепенно, тихо, едва замѣтно, какъ естественное возростаніе, безъ порывовъ и насилія*;

мы замечтовали, но какъ бы не хотя, примѣняя все къ нашему и новое соединяя со старымъ“.

„Явился Петръ... Онъ сквозь бури и волны устремился къ своей цѣли, достигъ — и все перемѣнилось. Сею цѣлію было не только новое величіе Россіи, но и *совершенное* присвоеніе обычаевъ европейскихъ“.

Въ виду того, что взглядъ Карамзина на Петра, подѣ влияніемъ историческихъ занятій, значительно измѣнился, мы на этомъ мѣстѣ Записки должны остановиться и разсмотрѣть его подробно.

Воздавъ хвалу необыкновенной энергіи Петра, который „исправилъ, умножилъ войско, одержалъ блестящую побѣду надъ врагомъ искуснымъ и мужественнымъ, завоевалъ Ливонію, сотворилъ флотъ, основалъ гавани, издалъ многіе законы мудрые, привелъ въ лучшее состояніе торговлю, рудоконни; завелъ мануфактуры, училища. Академію, наконецъ поставилъ Россію на знаменитую степень въ политической системѣ Европы“, имѣлъ дарованіе „почти важнѣйшее для самодержавцевъ: дарованіе употреблять людей по ихъ способностямъ,—историкъ говоритъ: „Но мы, россіане, имѣя передъ глазами свою исторію, подтвердимъ ли мнѣніе несвѣдущихъ иноземцевъ и скажемъ ли, что Петръ есть творецъ нашего величія государственнаго? Забудемъ ли князей московскихъ: Іоанна I, Іоанна III, которые, можно сказать, изъ ничего воздвигли державу сильную и, что не менѣе важно, — учредили въ ней твердое правленіе единовластное? Петръ нашелъ средство дѣлать великое, князья московскіе приготовляли оное, и, славя славное въ семь монархѣ, оставимъ ли безъ замѣчанія *вредную сторону* его блестящаго царствованія?“

Стоя въ до-Александровскую эпоху между космополитизмомъ и западничествомъ съ одной стороны, и народничествомъ — съ другой, Карамзинъ, какъ мы знаемъ уже, не умѣлъ еще въ ту пору примирить эти противоположныя начала и увлекался то въ одну, то въ другую сторону. Два раза онъ высказывалъ тогда свой взглядъ на Петра, какъ преобразователя Россіи — и оба раза взглядъ этотъ высказанъ имъ подѣ сильнымъ влияніемъ космополитизма и благоговѣнія предѣ западной культурой, при чемъ онъ подчеркнул и свое пренебрежительное отношеніе къ народности — къ народности, къ которой въ другихъ случаяхъ онъ умѣлъ отнестись и съ уваженіемъ ²¹⁶). Внѣслѣдствіи Карамзинъ нашелъ наконецъ для себя формулу, въ которой оба боровшіяся другъ съ другомъ начала примирились. Формула эта слѣдующая: Россія должна была идти за Европой, но измѣненія въ русской жизни

должны были происходить „постепенно, какъ естественное возрастаніе, безъ порывовъ и насилія“. Съ точки зрѣнія этой формулы, реформы Петра, въ которыхъ Карамзинъ прежде, говоря о нихъ два раза, не отмѣтилъ ничего темнаго, теперь оказались не безукоризненными: онѣ имѣли и „вредную сторону“. Вредная сторона ихъ, по мнѣнію автора Записки, заключалась въ слѣдующемъ.

Страсть къ новымъ для насъ обычаямъ преступила въ немъ (въ Петрѣ) границы благоразумія. Петръ не хотѣлъ вникнуть въ истину, что духъ народный составляетъ нравственное могущество государствъ... Сей духъ и вѣра спасли Россію во время самозванцевъ; онъ есть не что иное, какъ привязанность къ нашему особенному, не что иное, какъ уваженіе къ своему народному достоинству. Искоренія древніе навыки, представляя ихъ смѣшными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь Россіи унижалъ россиянъ въ собственномъ ихъ сердцѣ. Презрѣніе къ самому себѣ располагаетъ ли человѣка и гражданина къ великимъ дѣламъ? Любовь къ отечеству питается сими народными особенностями, безгрѣшными въ глазахъ космополита, благотворными въ глазахъ политика глубокомысленнаго... Русская одежда, пища, борода не мѣшали заведенію школъ. Два государства могутъ стоять на одной степени гражданскаго просвѣщенія, имѣя нравы различныя. Государство можетъ заимствовать отъ другого полезныя свѣдѣнія, не слѣдуя ему въ обычаяхъ. Пусть сіи обычаи естественно измѣняются, но предписывать имъ уставы есть насиліе незаконное и для монарха самодержавнаго“...

„Петръ ограничилъ свое преобразование дворянствомъ. Дотогѣ, отъ сохи до престола, россияне сходились между собою нѣкоторыми общими признаками наружности и въ обыкновеніяхъ. Со временъ Петровыхъ высшій степени отличился отъ нижнихъ, и русскій земледѣлецъ, мѣщанинъ, купецъ увидѣлъ нѣмцевъ въ русскихъ дворянахъ, ко вреду братскаго, народнаго единодушія государственныхъ состояній“.

„Въ теченіе вѣковъ народъ обыкъ чтить бояръ, какъ мужей, ознаменованныхъ величіемъ... Петръ уничтожилъ достоинство бояръ: ему надобны были министры, канцлеры, президенты! Въмѣсто древней славной Думы явился Сенатъ, вмѣсто Приказовъ—Коллегіи, вмѣсто дьяковъ—секретари и проч. Та же бессмысленная для россиянъ перемѣна въ воинскомъ чиноначалѣ: генералы, капитаны, лейтенанты изгнали изъ нашей рати воеводъ, сотниковъ, пятидесятниковъ и проч. Честию и достоинствомъ россиянъ сдѣлалось подражаніе“.

„Семейственные нравы не укрылись отъ вліянія царскоі дѣятельности. Вельможи стали жить открытымъ домомъ... Чѣмъ болѣе мы усиѣвали въ людскости, въ обходительности, тѣмъ болѣе слабли связи родственныя: имѣя множество пріятелей, чувствуемъ менѣе нужды въ друзьяхъ и жертвуемъ свѣту союзомъ единокровія“.

„Не говорю и не думаю, чтобы древніе россіяне, подѣ великокняжескимъ или царскимъ правленіемъ были вообще лучше насъ; не только въ свѣдѣніяхъ, но и въ нѣкоторыхъ нравственныхъ отношеніяхъ мы превосходили... однакожъ должно согласиться, что мы, съ пріобрѣтеніемъ добродѣтелей человѣческихъ, утратили гражданскія. Имѣя русскаго имѣеть ли теперь для насъ ту силу несповѣдимую, какую оно имѣло прежде?... Мы стали гражданами міра, но перестали быть въ нѣкоторыхъ случаяхъ гражданами Россіи. Виною Петръ“.

„Онъ великъ, безъ сомнѣнія; но еще могъ бы возвеличиться гораздо болѣе, когда бы нашелъ способъ просвѣтить умъ россіянъ безъ вреда для ихъ гражданскихъ добродѣтелей. Къ несчастію, сей государь, худо воспитанный, окруженный молодыми людьми, узналъ и полюбить женевца Лефорта, который отъ бѣдности заѣхалъ въ Москву, и весьма естественно, находя русскіе обычаи для него странными, говорилъ ему объ нихъ съ презрѣніемъ, а все европейское возвышалъ до небесъ. Вольныя общества Нѣмецкой слободы, пріятныя для необузданной молодости, довершили Лефортovo дѣло, и пылкій монархъ, съ разгоряченнымъ воображеніемъ, увидѣвъ Европу, захотѣлъ Россію сдѣлать Голландіею“.

Къ темнымъ сторонамъ реформы Карамзинъ относитъ и то обстоятельство, что для проведенія ея въ нѣкоторыхъ случаяхъ нужно было „прибѣгнуть ко всѣмъ ужасамъ самовластія“. „Тайная канцелярія день и ночь работала въ Преображенскомъ; пытки и казни служили средствомъ нашего славнаго преобразования государственнаго. Многіе гибли за одну честь русскихъ кафтановъ и бороды“, ибо „симъ бѣднымъ людямъ казалось, что царь, вмѣстѣ съ древними привычками, отнимаетъ у нихъ самое отечество“.

Затѣмъ историкъ останавливается на дѣлахъ церковныхъ. „Церковь россійская искони имѣла главу, сперва въ митрополитѣ, наконецъ въ патріархѣ. Петръ объявилъ себя главою Церкви, уничтоживъ патріаршество, какъ опасное для самодержавія неограниченнаго. Но замѣтимъ, что наше духовенство никогда не противоборствовало мірской власти, ни княжеской ни царской, служило ей полезнымъ орудіемъ въ дѣлахъ государственныхъ и совѣстью въ

ея случайныхъ уклоненійхъ отъ добродѣтели. Первосвятители имѣли у насъ одно право: вѣщать истину государямъ, не дѣйствовать, не мятежничать,—право, благословенное не только для народа, но и для монарха, коего счастье состоитъ въ справедливости. Со временъ Петровыхъ упало духовенство въ Россіи. Первосвятители наши уже только были угодниками царей, и на каѳедрахъ языкомъ библейскимъ произносили имъ слова похвальные. Для похвалъ мы имѣемъ стихотворцевъ и придворныхъ; главная обязанность духовенства есть учить народъ добродѣтели; а чтобы сіи наставленія были тѣмъ дѣйствительнѣе, надобно уважать оное. Если государь предсѣдательствуетъ тамъ, гдѣ засѣдаютъ главные сановники Церкви; если онъ судитъ ихъ или награждаетъ мірскими почестями и выгодами, то Церковь подчиняется мірской власти и теряетъ свой характеръ священный; усердіе къ ней слабѣетъ, а съ нимъ и вѣра; а съ ослабленіемъ вѣры государь лишается способовъ владѣть сердцами народа въ случаяхъ чрезвычайныхъ, гдѣ нужно все забыть, все оставить для отечества, и гдѣ пастырь душъ можетъ обѣщать въ награду одинъ вѣнецъ мученическій. Власть духовная должна имѣть особенный кругъ дѣйствія, внѣ гражданской власти, но дѣйствовать въ тѣсномъ союзѣ съ нею: говорю о законѣ, о правѣ“...

Наконецъ историкъ говоритъ и объ основаніи новой столицы. „Утаимъ ли отъ себя еще одну блестящую ошибку Великаго Петра? Разумѣю основаніе новой столицы на сѣверномъ краѣ государства, среди зыбей болотныхъ, въ мѣстахъ, осужденныхъ природою на безплодіе и недостатокъ“...

Критика Петровской реформы заканчивается словами: „Но великій мужъ самыми ошибками доказываетъ свое величіе; ихъ трудно или невозможно изгладить: какъ хорошее, такъ и худое дѣлаетъ онъ навѣки: сильною рукою дано новое движеніе Россіи; мы уже не возвратимся къ старинѣ“.

Нѣтъ сомнѣнія, что какъ въ прежнемъ панегирикѣ Петру, такъ и въ позднѣйшемъ осужденіи его есть и доля правды и доля увлеченія. Но вопросъ, который же изъ этихъ двухъ противоположныхъ взглядовъ Карамзина вѣрнѣе такъ и остается вопросомъ. Наши такъ называемые „западники“, съ Панинымъ во главѣ, мыслятъ подобно тому, какъ мыслитъ Карамзинъ, когда писалъ свое письмо изъ Парижа. Противоположная имъ партія „славянофиловъ“, къ которой принадлежали Хомяковъ, братья Кирѣевскіе, семейство Елагиныхъ, Аксаковыхъ, „находили несостоятельнымъ русское общество новѣйшихъ, послѣ-Петровскихъ вре-

ментъ потому главнымъ образомъ, что оно стало жить жизнью, чужою для своего простого народа“ ²¹⁷). Историкъ Соловьевъ — поклонникъ реформы: „дѣло Петра онъ представляетъ дѣломъ русскаго народа и величіе Петра величіемъ русскаго народа“ ²¹⁸). У профессора Сергѣевича опять встрѣчаемъ такіа слова, которыя не говорятъ въ пользу насильственныхъ преобразованій: „Насильственное введеніе чужихъ порядковъ, соединенное съ презрѣніемъ къ своему народному, наноситъ народности величайшій вредъ... Оскорбляя народный духъ неумѣлымъ заимствованіемъ, какъ бы ни было хорошо это заимствование само по себѣ, подавляютъ ту силу, которая одна способна творить все великое въ исторіи“ ²¹⁹).

Для характеристики взгляда Карамзина на время отъ смерти Петра Великаго до восшествія императрицы Екатерины II — довольно привести слѣдующія мысли Записки. „Россія текла путемъ, предписаннымъ ей рукою Петра, болѣе и болѣе удаляясь отъ своихъ древнихъ правовъ и сообразуясь съ европейскими. Замѣчались успѣхи свѣтскаго вкуса. Уже дворъ нашъ блистать великолѣпіемъ и, нѣсколько лѣтъ говоривъ по-нѣмецки, началъ употреблять языкъ французскій. Въ одеждѣ, въ экипажахъ, въ услугѣ вельможи наши мѣрялись съ Парижемъ, Лондономъ, Вѣною“. Но истинно-великаго было не много: даже „царствованіе Елисаветы не прославилось никакими блестящими дѣяніями ума государственнаго. Нѣсколько побѣдъ, одержанныхъ болѣе стойкостію воиновъ, нежели дарованіемъ военачальниковъ, Московскій университетъ и оды Ломоносова остаются красивѣйшими памятниками сего времени“. Зато „ужасныя монополіи долго жили въ памяти народа, угѣсняемаго для выгоды частныхъ людей и ко вреду самой казны; многія изъ заведеній Петра Великаго пришли въ упадокъ отъ небреженія“. Кромѣ того, при Аннѣ Іоанновнѣ „воскресла Тайная канцелярія съ пытками“ и продолжала существовать и при Елисаветѣ. „Грозы самодержавія еще пугали воображеніе людей“.

Наконецъ явилась Екатерина. Взглядъ Карамзина на ея правленіе намъ уже извѣстенъ изъ его „Похвальнаго слова“; но въ виду того, что представитель западниковъ Пыпинъ — такъ часто упрекаетъ Карамзина въ приверженности къ „абсолютизму“, мы не можемъ не привести слѣдующихъ строкъ Записки:

„Екатерина II была истинною преемницею величія Петрова и второю образовательницею новой Россіи. Главное дѣло сей незабвенной монархини состоитъ въ томъ, что ея *смягчилось*

самодержавіе, не утративъ силы своей. Она ласкала такъ называемыхъ философовъ XVIII вѣка и плѣнялась характеромъ древнихъ республиканцевъ, но хотѣла повелѣвать, какъ земной Богъ — и повелѣвала. Петръ, насильствуя обычаи народные, имѣлъ нужду въ средствахъ жестокихъ. Екатерина могла обойтись безъ оныхъ,... ибо не требовала отъ россіянъ ничего противнаго ихъ совѣсти и гражданскимъ навыкамъ, стараясь единственно возвеличить данное ей Небомъ отечество или славу свою побѣдами, законодательствомъ, просвѣщеніемъ. Ея душа, гордая, благородная, боялась унизиться робкимъ подозрѣніемъ — и страхи Тайной канцеляріи исчезли; съ ними вмѣстѣ исчезъ у насъ и духъ рабства, по крайней мѣрѣ въ высшихъ гражданскихъ состояніяхъ. Мы приучились судить, хвалить въ дѣлахъ государя только похвальное, осуждать противное. Екатерина слышала, иногда сражалась съ собою, но побѣждала желаніе мести — добродѣтель, превосходная въ монархинѣ! Увѣренная въ своемъ величій, твердая, непреклонная въ намѣреніяхъ, объявленныхъ ею, будучи единственною душою всѣхъ государственныхъ движеній въ Россіи, не выпуская власти изъ собственныхъ рукъ, безъ казни, безъ пытокъ, вліявъ въ сердца министровъ, полководцевъ, всѣхъ государственныхъ чиновниковъ живѣйшій страхъ, сдѣлаться ей неугоднымъ и пламенное усердіе заслужить ея милости, — Екатерина могла презирать легкомысленное злословіе; а гдѣ искренность говорила правду, тамъ монархиня думала: «Я властна требовать молчанія россіянъ-современниковъ, но что скажетъ потомство? И мысль, страхомъ заключенная въ сердце, менѣе ли слова будетъ для меня оскорбительна?» Сеи образъ мыслей, доказанный дѣлами 34-лѣтняго владычества, отличаетъ ея царствованіе отъ всѣхъ прежнихъ въ новой россійской исторіи, т.-е. Екатерина *очистила* самодержавіе отъ примѣсовъ тиранства; слѣдствиемъ были спокойствіе сердець, успѣхи пріятностей свѣтскихъ, знаній, разума“.

Далѣе слѣдуетъ краткій очеркъ свѣтлыхъ сторонъ царствованія императрицы, выразившихся въ пересмотрѣ и исправленіи внутреннихъ частей государственнаго зданія; въ ея внѣшней политикѣ, доставившей Россіи одно изъ первыхъ мѣстъ среди европейскихъ державъ; въ ея умѣньи избирать вождей и правителей, и наконецъ еще вотъ въ чемъ: „Петръ III, желая угодить дворянству, далъ ему свободу служить или не служить: умная Екатерина, не отмѣнивъ сего закона, отвратила его вредныя для государства слѣдствія. Любовь къ святой Руси, охлажденную въ

насть переменами Великаго Петра, монархиня хотѣла замѣнить гражданскимъ честолюбіемъ: для того соединила съ чинами новыя прелести или выгоды, вымышляя знаки отличія, и старалась поддержать ихъ цѣну достоинствомъ людей, украшаемыхъ оными. Крестъ св. Георгія не рождалъ, однакожъ усиливалъ храбрость. Многіе служили, чтобы не лишиться мѣста и голоса въ дворянскихъ собраніяхъ; многіе, не смотря на успѣхъ роскоши, любили чины и ленты гораздо болѣе корысти; снѣтъ утвердилась нужная зависимость дворянства отъ трона“.

Но въ Запискѣ указаны не однѣ свѣтлыя стороны царствованія Екатерины: отмѣчены и „нѣкоторыя пятна“, а именно: *„Нравы болѣе развратились въ палатахъ и хижинахъ“*: тамъ — отъ роскоши, здѣсь — отъ выгоднаго для казны умноженія штейныхъ домовъ. *„Правосудіе не цвѣло въ сіе время“*: вельможа, чувствуя несправедливость свою въ тяжбѣ съ дворяниномъ, переносилъ дѣло въ Кабинетъ. Тамъ засыпало оно и не пробуждалось. *Въ самыхъ государственныхъ учрежденіяхъ* Екатерины видимъ болѣе блеска, нежели основательности; избиралось не лучшее по состоянію вещей, но красивѣйшее по формамъ. Таково было новое учрежденіе губерній, изящное на бумагѣ, но худо примѣненное къ обстоятельствамъ Россіи... Екатерина хотѣла умозрительнаго совершенства въ законахъ, не думая о легчайшемъ, полезнѣйшемъ дѣйствіи оныхъ: дала намъ суды, не образовавъ судей; дала правила безъ средствъ исполненія. — Многія вредныя слѣдствія Петровой системы также яснѣе открылись при сей государынѣ: *чужеземцы овладѣли у насъ воспитаніемъ; дворъ забылъ языкъ русскій; отъ излишнихъ успѣховъ европейской роскоши дворянство одолжало; дѣла бесчестныя, внушаемыя корыстолюбіемъ для удовлетворенія прихотямъ, стали обыкновеннѣе; сыновья бояръ нашихъ разсыпались по чужимъ землямъ тратить деньги и время для пріобрѣтенія французской или англійской наружности. У насъ были академіи, высшія училища, народныя школы, умные министры, пріятные свѣтскіе люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флотъ и великая монархиня, — не было хорошаго воспитанія, твердыхъ правилъ и нравственности въ гражданской жизни.*

Однако, сопоставляя „Похвальное слово императрицѣ Екатерины“ съ очеркомъ ея царствованія, представленнымъ въ „Запискѣ“, мы видимъ, что послѣдній отличается отъ перваго не только тѣмъ, что въ немъ къ свѣтлымъ сторонамъ *прибавлены* и темныя, но и тѣмъ, что самый взглядъ Карамзина на нѣкото-

рыя явленія *измѣнились*: что казалось прежде совершенно свѣтлымъ, послѣ оказалось не безупречнымъ. Положимъ, что жалобы „Записки“ на отсутствіе хорошаго воспитанія и на то, что правосудіе не процвѣтало въ судахъ, не противорѣчатъ похваламъ „Слова“: тамъ говорилось лишь о стремленіи императрицы создать хорошее воспитаніе и правосудіе, слѣдовательно рѣчь шла о теоріи; въ „Запискѣ“ же рѣчь идетъ о практикѣ. Но, напри-
мѣръ, два отзыва Карамзина объ Учрежденіи для губерній трудно примирить другъ съ другомъ: въ „Запискѣ“ оно признается „худо примѣненнымъ къ обстоятельствамъ Россіи“; въ „Словѣ“ же наоборотъ: вполне соотвѣтствующимъ потребностямъ. Тамъ говорится: „Едва умолкли громы войны, въ самый первый годъ счастливаго мира Екатерина обнародовала новое Учрежденіе для губерній, которое составляетъ вторую важную эпоху въ ея правленіи, и которое, мало-помалу, удивительнымъ образомъ пере-
мѣнило Россію какъ въ умахъ, такъ и во правахъ. Государства, подобно человѣку, имѣютъ разные нравственные возрасты: мудрый законодатель слѣдуетъ взоромъ своимъ за ихъ измѣненіями, и отъ времени до времени обновляетъ систему свою, прибавляя или иначе располагая части ея. Что въ вѣкъ Петра Великаго было достаточно для скорого производства дѣлъ, то во дни Екатерины уже не отвѣтствовало новымъ потребностямъ россіянь“ ²²⁰).

Но, не смотря на „нѣкоторыя пятна“, Карамзинъ все-таки царствованіе императрицы Екатерины считалъ самымъ лучшимъ изъ всѣхъ дотошъ пережитыхъ Россіей. Онъ говоритъ: „сравнивая всѣ извѣстныя намъ времена Россіи, едва ли не всякій изъ насъ скажетъ, что время Екатерины было счастливѣйшее для гражданина россійскаго; едва ли не всякій изъ насъ пожелалъ бы жить тогда, а не въ иное время“.

Первая часть Записки оканчивается очеркомъ правленія Павла, существенная часть котораго нами уже приведена выше ²²¹).

2. Записка, какъ критика того, что совершалось въ правленіе императора Александра I.

Однако главная цѣль Записки заключалась не въ томъ, чтобы охарактеризовать различные періоды нашей исторіи, а въ томъ, чтобы указать императору Александру на тѣ современныя ему явленія какъ во внѣшней политикѣ Россіи, такъ и во внутреннемъ управленіи ею, которымъ Карамзинъ не сочувствовалъ. На этомъ основаніи и главное значеніе Записки состоитъ именно въ томъ,

что она явилась критикой мнѣній и дѣяній въ первое десятилѣтіе царствованія Александра. Критикъ этой посвящена вторая часть Записки, а первая примыкаетъ къ ней —отчасти, какъ основаніе для нѣкоторыхъ выводовъ, отчасти, какъ изъясненіе настоящаго прошедшимъ, на что указываетъ и самъ авторъ, начавши эту часть такими словами: „Настоящее бываетъ слѣдствіемъ прошедшаго. Чтобы судить о первомъ, надлежитъ вспомнить послѣднее. Одно другимъ, такъ сказать, дополняется и въ связи представляется мыслямъ яснѣе“.

Главное, въ чемъ расходился Карамзинъ съ либеральной партіей, и что болѣе всего его заботило — это былъ вопросъ о формѣ правленія. Уже вступая въ Александровскую эпоху, Карамзинъ, какъ мы знаемъ, былъ на сторонѣ монархіи. Унаслѣдовалъ ли онъ, какъ думаетъ Милюковъ, свой взглядъ на развитіе русскаго государства отъ предшествовавшихъ историковъ ²³²), или пришелъ къ нему самостоятельно—это все равно; но во всякомъ случаѣ то представленіе, которое онъ имѣлъ о ходѣ государственнаго развитія Россіи, убѣждало его, что она „основалась единоначаліемъ, гибла отъ разновластія, а спаслась самодержавіемъ“. Эта мысль и приведена въ Запискѣ, какъ основное положеніе, которое Карамзинъ и старается доказать раскрытіемъ историческаго хода развитія нашего государства.

Онъ говоритъ: уже „въ XI вѣкѣ государство Россійское могло, какъ бодрый, пылкій юноша, обѣщать себѣ долготлѣтіе и славную дѣятельность... Къ несчастію, Россія въ сей бодрой юности не предохранила себя отъ государственной общей язвы тогдашняго времени“—удѣльной системы... Она раздѣлилась... „Открылось жалкое междоусобіе малодушныхъ князей... Открылось и другое зло, не менѣе гибельное: народъ утратилъ почтеніе къ князьямъ. Владѣтель Торопца или Гомеля могъ ли казаться ему столь важнымъ смертнымъ, какъ монархъ всей Россіи? Народъ охладѣлъ въ усердіи къ князьямъ, видя, что они, для ничтожныхъ личныхъ выгодъ, жертвуютъ его кровію, и равнодушно смотрѣлъ на паденіе ихъ троновъ, готовый всегда взять сторону счастливѣйшаго, или измѣнить ему вмѣстѣ съ счастіемъ... Итакъ, съ ослабленіемъ государственнаго могущества, ослабѣла и внутренняя связь подданства съ властію. Въ такихъ обстоятельствахъ удивительно ли, что варвары покорили наше отечество?“ Но вотъ явилась Москва—и Русь стала собираться вокругъ нея. „Глубокомысленная политика князей московскихъ не удовольствовалась

собраніємъ частей въ цѣлое: надлежало еще связать ихъ твердо— и единовластіе усилить самодержавіемъ“... Тогда „столица ханская на берегу Ахтубы, гдѣ столько лѣтъ потомки Рюриковы преклоняли колѣна, исчезла навѣки“. Россія снова явилась могущественной. „Сіе великое твореніе князей московскихъ было произведено... единственно умною политическою системою, согласною съ обстоятельствами времени... Европа устремила глаза на Россію: государи, папы, республики вступили съ нею въ дружелюбныя сношенія... Политическая система государей московскихъ заслуживала удивленія своею мудростію, имѣя цѣлю одно благоденствіе народа. Они воевали только по необходимости, всегда готовые къ миру; уклоняясь отъ всякаго участія въ дѣлахъ Европы, болѣе пріятнаго для суетности монарховъ, нежели полезнаго для государства, и, возстановивъ Россію въ умѣренномъ, такъ сказать, величіи, не алкали завоеваній невѣрныхъ или опасныхъ, желая сохранять, а не приобрѣтати“.

Въ послѣднихъ словахъ императоръ Александръ долженъ былъ, конечно, видѣть упрекъ себѣ за вмѣшательство въ дѣла Европы и за завоеваніе Финляндіи.

Далѣе Карамзинъ пишетъ: „Внутри самодержавіе укоренилось: никто, кромѣ государя, не могъ ни судить ни жаловать; всякая власть была изліяніемъ монаршей... Наконецъ царь сдѣлался для всѣхъ россіянъ земнымъ богомъ“. Чтобы показать, какъ смотрѣлъ русскій народъ на царскую власть и какъ чтилъ ее, Карамзинъ останавливается на Грозномъ. „Тицетно Іоаннъ IV, бывъ до 35 лѣтъ государемъ добрымъ и по какому-то адскому вдохновенію возлюбивъ кровь, лилъ оную безъ вины и сѣкъ головы людей славнѣйшихъ добродѣтелями. Бояре и народъ, во глубинѣ души своей, не дерзая что-либо замыслить противъ вѣщеносца, только смиренно молили Господа, да смягчитъ ярость цареву, сію казнь за грѣхи ихъ. Кромѣ злодѣевъ, ознаменованныхъ въ исторіи названіемъ опричнины, всѣ люди, знаменитые богатствомъ или саномъ, ежедневно готовились къ смерти и не принимали ничего для спасенія жизни своей. Время и расположеніе умовъ достопамятное! Никогда и нигдѣ грознѣе самовластіе не предлагало столько жестокихъ искушеній для народной добродѣтели, для вѣрности или повиновенія; но сія добродѣтель даже не усомнилась въ выборѣ между гибелью и сопротивленіемъ“. Но вынесши Грознаго, россіяне не могли вынести Лжедмитрія, „презираваго русскіе обычаи и вѣру“: они „возложили руку на Самозванца“. „Сіе происшествіе имѣло ужасныя слѣдствія для Россіи;

могло бы имѣть еще и гибельнѣйшія. Самовольныя управы народа бывають для гражданскихъ обществъ вреднѣе личныхъ несправедливостей или заблужденій государя. Мудрость цѣлыхъ вѣковъ нужна для утвержденія власти; одинъ часъ народнаго изступленія разрушаетъ основу ея, которая есть уваженіе нравственное къ сану властителей“.

Шуйскій, принявъ скипетръ отъ Боярской Думы, „измѣнить самодержавію“: онъ уступилъ часть своей власти боярамъ. „Случилось, чему необходимо надлежало случиться. Бояре видѣли въ полу-монархѣ дѣло рукъ своихъ, и хотѣли, такъ сказать, продолжать оное, болѣе и болѣе стѣсняя власть его. Поздно очнулся Шуйскій и тщетно хотѣлъ порывами великодушія утвердить колеблемость трона. Воскресли древнія смуты боярскія, и народъ, волнуемый на площади наемниками нѣкоторыхъ коварныхъ вельможъ, толпами стремился къ дворцу Кремлевскому предписывать законы государю“. Наконецъ Шуйскій палъ, „сверженный вельможами недостойными“. Владычествовать начала „многоглавая гидра аристокраціи“. Что же было слѣдствіемъ?—„Правительство рушилось, государство погибало“. Но скоро „бѣдствія мятежной аристокраціи просвѣтили гражданъ и самихъ аристократовъ: тѣ и другіе единогласно, единодушно наименовали Михаила самодержавцемъ, монархомъ неограниченнымъ; тѣ и другіе, воспламененные любовію къ отечеству, вzywали только: Богъ и Государь! Написали хартію и положили оную на престолъ; сія грамота, внушенная мудростію опытовъ, утвержденная волею бояръ и народа, есть священнѣйшая изъ всѣхъ государственныхъ хартій“.

Итакъ, Михаилу самодержавіе было дано самимъ народомъ. Преемники его продолжали править самодержавно, и только въ небольшой сравнительно промежутокъ времени, когда „пигмеи спорили о наслѣдіи великана“—Петра, „аристокрація, олигархія губили отечество“, пока снова не явилась неограниченная власть въ лицѣ Анны Іоанновны.

Слѣдя за развитіемъ у насъ самодержавія, Карамзинъ вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣчаетъ и самый характеръ его. Грознымъ было оно въ рукахъ московскихъ князей—и не утрачивало этого характера до самой Екатерины, которая его смягчила и „очистила отъ примѣсовъ тиранства“, не умаливъ однако его силы и достоинства. Послѣ Екатерины новый Іоаннъ IV вызвалъ къ себѣ уже не тѣ отношенія, какія были къ Іоанну московскому.

Такъ подготовилъ Карамзинъ почву, на которой онъ хотѣлъ дѣйствовать на императора Александра относительно возникшаго

тогда вопроса о формѣ правленія—вопроса, съ котораго авторъ Записки и начинается вторую ея часть.

Онъ говоритъ, что тогда были два мнѣнія въ умахъ: „одни хотѣли, чтобъ Александръ, къ вѣчной славѣ своей, взялъ мѣры для обузданія неограниченнаго самовластія, столь бѣдственнаго при его родителѣ, другіе, сомнѣваясь въ надежномъ успѣхѣ такого предпріятія, хотѣли единственно, чтобы онъ возстановилъ разрушенную систему Екатеринина царствованія, столь счастливую и мудрую въ сравненіи съ системою Павла. Стоя на сторонѣ послѣдняго мнѣнія, котораго онъ и былъ представителемъ, Карамзинъ возражаетъ противъ перваго: „Самодержавіе основало и воскресило Россію; съ переменною государственнаго устава ея, она гибла и должна погибнуть, составленная изъ частей столь многихъ и разныхъ, изъ коихъ всякая имѣетъ свои особенныя гражданскія пользы. Что, кромѣ единовластія неограниченнаго, можетъ въ сеѣ махинѣ производить единство дѣйствія?“ „Самодержавіе есть палладіумъ Россіи“. —Что же касается вопроса объ „обузданіи самовластія“, то,—говоритъ авторъ Записки,—„нашъ государь (Александръ) имѣетъ только одинъ вѣрный способъ обуздать своихъ наслѣдниковъ въ злоупотребленіи власти: да царствуетъ благотѣльно, да пріучить подданныхъ ко благу! Тогда родятся обычаи спасительные, правила, мысли народныя, которыя лучше всѣхъ бранныхъ формъ удержатъ будущихъ государей въ предѣлахъ законной власти; чѣмъ?—страхомъ возбудить всеобщую ненависть, въ случаѣ противной системы царствованія. —Тиранъ можетъ иногда безопасно господствовать послѣ тирана; но послѣ государя мудраго—никогда! «Сладкое отвращаетъ насъ отъ горькаго», сказали послы Владимировы, извѣдавъ вѣры европейскія“.

Покончивъ съ вопросомъ о формѣ правленія, Карамзинъ переходитъ къ другимъ и говоритъ, что хотя Александръ преисполненъ ревности къ общему благу,—правительство все-таки совершаетъ „важныя ошибки“.

Прежде всего авторъ Записки указываетъ на ошибки во внѣшней политикѣ. Въ виду выгоднаго для насъ,—по его мнѣнію,—взаимнаго отношенія между державами послѣ обращенія французской республики въ монархію, „основаніемъ російской политики долженствовало быть желаніе всеобщаго мира, ибо война могла измѣнить состояніе Европы“. Между тѣмъ „Россія привела въ движеніе всѣ силы свои, чтобы помогать Англіи и Вѣнѣ, т.-е

служить имъ орудіемъ въ ихъ злобѣ на Францію, безъ всякой особенной для себя выгоды“. Россія потерпѣла при Аустерлицѣ и Фридландѣ и кончила войну Тильзитскимъ миромъ, которому Карамзинъ не сочувствовалъ, ибо миръ этотъ имѣлъ „непосредственное вліяніе на внутреннее состояніе государства“. И въ этомъ отношеніи Карамзинъ также былъ выразителемъ чувства и мнѣнія большинства. Шильдеръ, считающій Тильзитскій миръ „дѣломъ разумнаго политическаго расчета“, говоритъ: „Въ тяжелыя минуты, послѣдовавшія послѣ Фридландскаго сраженія, императоръ Александръ не поколебался принести въ жертву долгу и Россіи свои личныя чувства и дорогія сердцу привязанности: примиреніемъ съ Наполеономъ онъ обезпечилъ отечество отъ непріятельскаго вторженія и приобрѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ для имперіи существенныя выгоды. Но то, что было ясно и осязательно для государя, не могло быть усвоено въ той же мѣрѣ современниками этихъ происшествій. Искусственно возбужденная ненависть противъ Наполеона и политическое недомысліе принялись подтачивать дѣло разумнаго политическаго расчета. На Петербургъ, на Москву, на всѣ тѣ мѣста, коихъ наиболѣе коснулось просвѣщеніе, Тильзитъ произвелъ самое тягостное впечатлѣніе. Проигранныя сраженія, какъ Аустерлицъ и Фридландъ, не оскорбили народной чести; это были неудачи, какъ выразился современникъ, но не пятно; а Тильзитскій миръ Россія признала постыднымъ для себя. Когда же послѣдовалъ въ томъ же 1807 году разрывъ съ Англіею, вызвавшій остановку въ торговлѣ, затрудненія въ денежныхъ оборотахъ и упадокъ ассигнацій, то союзъ съ Франціей сдѣлался предметомъ единодушнаго осужденія всѣхъ сословій государства“ ²²³). И Карамзинъ далѣе упрекаетъ правительство и за разрывъ съ Англіею и за наступившія финансовыя затрудненія, а также и за войну со Швеціею, на которую современники смотрѣли, какъ на желаніе Александра дѣйствовать въ угоду Наполеону. „Мы завоевали Финляндію“,—говоритъ авторъ Записки: — „пусть «Мониторъ» славить сіе приобрѣтеніе! Знаемъ, чего оно намъ стоило, кромѣ людей и денегъ. Государству, для его безопасности, нужно не только физическое, но и нравственное могущество; жертвуя честію, справедливостію, вредимъ послѣднему. Мы взяли Финляндію, заслуживъ ненависть шведовъ, укоризну всѣхъ народовъ, — и я не знаю, что было горестнѣе для великодушія Александра: быть побѣжденнымъ отъ французовъ или принужденнымъ слѣдовать ихъ хищной системѣ“.—Разъясненіе значенія этихъ словъ Карамзина находимъ у Шильдера. „Враж-

дебное настроеніе“, — говоритъ онъ, — „съ которымъ относились въ Россіи къ союзу съ Наполеономъ, привело къ странному явленію: наступательная война противъ шведовъ, этихъ старинныхъ враговъ имперіи, была громко осуждаема всѣми русскими, и успѣхи нашихъ войскъ почитались безславіемъ. Современникамъ этихъ событій казалось, что Александръ вооружился противъ слабаго сосѣда во исполненіе не своей собственной, а чужой воли, исходящей отъ ненавистнаго завоевателя и притѣснителя народовъ; въ новомъ пріобрѣтеніи усматривали одно только незаконное насиліе“ ²²⁴).

Отъ внѣшней политики авторъ Записки переходитъ къ внутреннему управленію—и, подобно тому, какъ упрекалъ Петра, такъ упрекаетъ и Александра въ излишней любви къ заимствованію.—Рѣчь идетъ объ учрежденіи, по иностраннымъ образцамъ, министерствъ и Государственного Совѣта и, какъ выразился Кояловичъ, о „безцеремонномъ пересаживаніи на нашу русскую почву Кодекса Наполеона“ ²²⁵).

Отчего происходятъ заимствованія? — Оттого, — объясняетъ Карамзинъ, — что слишкомъ полагаются на *формы* и забываютъ *людей*. „Главная ошибка законодателей сего царствованія состоитъ въ излишнемъ уваженіи формъ государственной дѣятельности: оттого изобрѣтеніе разныхъ министерствъ и учрежденіе Совѣта и проч. Дѣла не лучше производятся только въ мѣстахъ и чиновниками другого названія. Послѣдуемъ иному правилу и скажемъ, что *не формы, а люди важны*... Итакъ, первое наше доброе желаніе есть да способствуетъ Богъ Александру въ счастливомъ избраніи людей! Такое избраніе, а не учрежденіе Сената съ коллегіями, ознаменовало величіемъ царствованіе Петра во внутреннихъ дѣлахъ имперіи“.

По поводу идеи: „не формы, а люди важны“ Порфирьевъ дѣлаетъ такое замѣчаніе: „совершенно справедливо, что самыя хорошія учрежденія не принесутъ пользы, если не будетъ хорошихъ исполнителей; но также справедливо и то, что хорошихъ дѣятелей могутъ создать только хорошія свободныя учрежденія и могутъ дать имъ возможность безирепятственно исполнять законъ и достигать предуставленныхъ цѣлей“ ²²⁶).

Итакъ, по мнѣнію Карамзина, прежде всего слѣдуетъ заботиться о пріисканіи хорошихъ дѣятелей. Но если бываютъ нужны реформы, то, какъ мы уже знаемъ, измѣненія — по взгляду автора Записки — должны происходить постепенно, какъ естественное воз-

растаніе, безъ порывовъ и насилія, такъ, чтобы новое соединялось со старымъ. Въ силу этого принципа Карамзинъ предлагать, въ случаѣ надобности, не заимствование чужихъ формъ, не перенесеніе ихъ цѣликомъ на нашу почву, а лишь улучшение, усовершенствованіе своихъ, старыхъ, или, какъ онъ сказалъ, *исправленіе ихъ по основательному разсмотрѣнію*. Въ силу этого же принципа Карамзинъ, отнесшійся въ „Вѣстникъ“ такъ сочувственно къ учрежденію министерствъ, теперь не одобрялъ его, равно какъ не одобрялъ и учрежденіе Государственнаго Совѣта, а тѣмъ болѣе заимствованія изъ Наполеонова Кодекса.

Но къ этому принципу наши ученые относятся не одинаково: Пыпинъ предложенную Карамзинымъ мѣру уподобилъ *„штопанью стараго хлама“* ²²⁷); Сергѣевичъ же, профессоръ русскаго права, упрекнулъ Петра именно за то, что онъ, устраивая у насъ судопроизводство, *„вмѣсто того, чтобы выяснитъ основныя начала нашего стараго порядка, развитъ то, что въ немъ было хорошаго, и положить конецъ дурному,“*—обратился къ переводамъ съ нѣмецкаго“ ²²⁸).

Очевидно послѣ этого, что въ данномъ случаѣ вся суть въ вопросѣ: какъ же слѣдуетъ отнестись къ тому обстоятельству, что реформы Александра, а также и Петра, были основаны на заимствованіи? чего въ этомъ обстоятельствѣ было больше: худого или хорошаго?—Отъ разрѣшенія этого вопроса зависить въ значительной степени осужденіе или оправданіе и Карамзина, какъ автора Записки. Разрѣшать же этотъ вопросъ есть дѣло специалистовъ: историковъ, юристовъ, администраторовъ. Наше же дѣло—указать лишь мысль Записки.

Политическая философія въ ней имѣла, слѣдовательно, такой видъ: важны государственныя дѣятели, а не государственныя формы; на этомъ основаніи и нѣтъ надобности гнаться за чужими формами, а если нужно преобразование, то совершать его на исторической почвѣ, т.-е. удерживать старыя учрежденія и исправлять ихъ по основательному разсмотрѣнію, „ибо“—говоритъ Карамзинъ—*„мы болѣе уважаемъ то, что давно уважаемъ, и все дѣлаемъ лучше отъ привычки“*.

Въ разсматриваемомъ сочиненіи Карамзинъ, безспорно, является консерваторомъ, но отнюдь не проповѣдникомъ застоя, косности, какъ то видѣтъ въ немъ новѣйшая критика. Но дѣло въ томъ, что Карамзинъ, какъ человѣкъ чувствительный, увлекающійся, вносилъ въ свою Записку такія выраженія, аргументировалъ ее такими мыслями, которыя дѣйствительно бросаются въ глаза, какъ

величайшія крайности, въ особенності, если брать ихъ отдѣльно внѣ связи съ цѣлымъ. Приведемъ для примѣра слѣдующія строки: „Вмѣсто того, чтобы отмѣнить единственно излишнее, прибавить нужное, однимъ словомъ, исправлять по основательному разсмотрѣнію,—совѣтники Александровы захотѣли новостей въ главныхъ способахъ монаршаго дѣйствія, оставивъ безъ вниманія правила мудрыхъ, что *всякая новостъ въ государственномъ порядкѣ есть зло*, къ коему надо прибѣгать только въ необходимости“. Отмѣченная курсивомъ фраза, будучи взята отдѣльно, конечно, можетъ казаться проповѣдью застоя; однако въ связи съ требованіемъ „отмѣнять излишнее, прибавлять нужное, исправлять по основательному разсмотрѣнію“ она получаетъ свой истинный смыслъ и теряетъ характеръ указанной проповѣди.

Вообще надо замѣтить, что Карамзинъ значительно затемнилъ свою Записку внесеніемъ въ нее неясныхъ и противорѣчивыхъ выраженій. Такъ, на примѣръ, онъ, очевидно, недоволенъ современнымъ ему положеніемъ дѣлъ, въ особенності недоволенъ губернаторами. „Каковы нынѣ большею частію губернаторы? Люди безъ способностей и даютъ всякою неправдою наживаться секретарямъ своимъ, или безъ совѣсти и сами наживаются“.—Какую же мѣру предлагаетъ онъ? Онъ предлагаетъ, найти хорошихъ людей. „Дѣла пойдутъ, какъ должно; если вы найдете въ Россіи 50 мужей умныхъ, добросовѣстныхъ, которые ревностно станутъ блюсти ввѣренное каждому изъ нихъ благо полумилліона россіянь, обуздають хищное корыстолюбіе низкихъ чиновниковъ и господъ жестокихъ, возстановятъ правосудіе, успокоятъ земледѣльцевъ, ободрятъ купечество и промышленность, сохранятъ пользу казны и народа“. Выходитъ, что дѣло дѣйствительно не въ формахъ, а въ людяхъ. Но дальше сказано: „Если губернаторы не умѣютъ или не хотятъ дѣлать того, виною худое избраніе лицъ; *если не имѣютъ способа, виною худое образованіе губернскихъ властей*“ (т.-е. худая административная постановка ихъ). Выходитъ, что возможны и такіе случаи, когда дѣло не въ людяхъ, а въ формахъ. Еще примѣръ. Карамзинъ говоритъ, что всякая новостъ въ государственномъ порядкѣ есть зло, и рядомъ съ этимъ признаетъ, что введенная Петромъ новостъ—Сенатъ и коллегіи, благодаря умѣлому выбору людей, не только не оказалась „зломъ“, но и нисколько не помѣшала „величію царствованія Петра во внутреннихъ дѣлахъ имперіи“.

Такая неотчетливостъ Записки даетъ отрицательной критикѣ возможность сильно сгущать темныя краски — и вотъ причина.

почему въ то время, какъ одни видятъ въ Запискѣ „одно изъ правъ Карамзина на почтительную признательность потомства“ ²²⁹), другіе, основываясь на ней же, такъ легко развѣнчиваютъ его и выставляютъ проповѣдникомъ застоя ²³⁰), а третьи даже прямо отказываются понимать ее. Баронъ Корфъ говоритъ: „Карамзинъ, какъ человѣкъ умный и добросовѣстный, не могъ... не желать улучшеній. Но чего именно онъ желалъ, то остается, для насъ по крайней мѣрѣ, неразгаданнымъ“ ²³¹).

— Но какъ бы ни было, для исторіи нашей общественной мысли въ Александровскую эпоху Записка Карамзина важна не менѣе проектовъ Сперанскаго. Если эти послѣдніе свидѣтельствуютъ о стремленіи извѣстной части общества примѣнить къ русской жизни европейскія государственныя формы, то первая свидѣтельствуетъ о томъ, что другая часть общества усиленно сопротивлялась этому стремленію.

Для полноты очерка Записки, мы должны остановиться еще на нѣкоторыхъ мѣстахъ ея.

Карамзинъ и въ Запискѣ затронулъ крестьянскій вопросъ. Точно такъ же, какъ и въ „Письмѣ сельскаго жителя“, онъ боится дать свободу людямъ раньше, чѣмъ они подготовлены къ ней воспитаніемъ. „Не знаю“, говоритъ онъ,—„хорошо ли сдѣлать Годуновъ, отнявъ у крестьянъ свободу (ибо тогдашнія обстоятельства не совершенно извѣстны), но знаю, что теперь имъ неудобно возвратить оную. Тогда они имѣли навѣкъ людей вольныхъ, нынѣ имѣютъ навѣкъ рабовъ. Мнѣ кажется, что для твердости бытія государственнаго безопаснѣе поработить людей, нежели дать имъ не во-время свободу, къ которой надобно готовить человѣка нравственнымъ исправленіемъ; а система нашихъ винныхъ откуповъ и страшные усилія пьянства служатъ ли къ тому спасительнымъ приготовленіемъ?“ Но въ Запискѣ выставлена Карамзинымъ и еще одна причина его страха въ вопросѣ объ освобожденіи: вопросъ *змельный*. Рѣчь тогда шла лишь объ освобожденіи личномъ; до освобожденія съ землею додумались позднѣе—и потому Карамзинъ пишетъ: „Что значитъ освободить у насъ крестьянъ? Дать имъ волю жить гдѣ угодно, отнять у господъ всю власть надъ ними, подчинить ихъ одной власти правительства. Хорошо; но сіи земледѣльцы не будутъ имѣть земли, которая (въ чемъ не можетъ быть и спора) есть собственность дворянская. Они или останутся у помѣщиковъ съ условіемъ платить имъ оброкъ, обрабатывать господскія поля, доставлять хлѣбъ,

куда надобно, — однимъ словомъ, для нихъ работать, какъ и прежде; или, недовольные условіями, пойдутъ къ другому, умѣреннѣйшему въ требованіяхъ владѣльцу. Въ первомъ случаѣ, надѣясь на естественную любовь человѣка къ родинѣ, господа не предпримутъ ли имъ самыхъ тягостныхъ условій? Дотолѣ щадили они въ крестьянахъ свою собственность: тогда корыстолюбивые владѣльцы захотятъ взять съ нихъ все возможное для силъ физическихъ.) Напишутъ контрактъ, и земледѣльцы не исполнятъ его: тяжбы, вѣчныя тяжбы! Во второмъ случаѣ, буде крестьянинъ нынѣ здѣсь, а завтра тамъ, казна не потерпитъ ли убытка въ сборѣ подушныхъ денегъ и другихъ податей? не потерпитъ ли и земледѣліе?“

Безземелье крестьянъ, тяжбы, „навыки рабовъ“, отсутствіе надзора помѣщика — все это „какая богатая жатва для кабаковъ и мздоимныхъ исправниковъ, но какъ худо для нравовъ и государственной безопасности... Первая обязанность государя есть блюсти внутреннюю и внѣшнюю цѣлость государства; благотворить сословіямъ и лицамъ — есть уже вторая. Онъ желаетъ сдѣлать земледѣльцевъ счастливейше свободою; но ежели сія свобода вредна для государства? II будутъ ли земледѣльцы счастливы, освобожденные отъ власти господской, но преданные въ жертву ихъ собственнымъ порокамъ, откупщикамъ и судьямъ безсовѣстнымъ?“

Но разсматриваемое мѣсто Записки болѣе всего замѣчательно тѣмъ, что Карамзинъ тутъ интересы государства ставитъ выше не только интересовъ частныхъ лицъ, но и цѣлыхъ сословій. Уваженіе къ „государству“ высказывалось Карамзинымъ и въ первые годы его литературной дѣятельности, но тогда оно заслонялось его любовью къ „человѣчеству“. Въ Запискѣ же человѣчество, общество уступило первенствующее мѣсто государству. Въ общемъ взглядѣ на крестьянскій вопросъ автора Записки явился болѣе сухимъ, чѣмъ въ „Письмѣ сельскаго жителя“: повидимому, Карамзинъ и тутъ не безусловный врагъ освобожденія, ибо говоритъ не просто о свободѣ, а о свободѣ, данной не во-время, но остальные его рѣчи парализуютъ эту условность. Тутъ есть какое-то противорѣчіе, есть что-то недосказанное.

Критикуя различныя правительственныя мѣры, Карамзинъ коснулся и министерства народнаго просвѣщенія. „Всѣ намѣренія Александровы клонятся къ общему благу. Гнушаясь бессмысленнымъ правиломъ держать умы въ невѣжествѣ, чтобы властвовать тѣмъ спокойнѣе, онъ употребилъ милліоны для основанія универ-

ситетовъ, гимназій, школъ; къ сожалѣнію, видимъ болѣе убытка для казны, нежели выгодъ для отечества. Выписали профессоровъ, не приготовивъ учениковъ; между первыми много достойныхъ людей, но мало полезныхъ; ученики не разумѣютъ иноземныхъ учителей, ибо худо знаютъ языкъ латинскій, и число ихъ такъ не велико, что профессора теряютъ охоту ходить въ классы. Вся бѣда оттого, что мы образовали свои университеты по нѣмецкимъ, не разсудивъ, что здѣсь иныя обстоятельства... вмѣсто 60 профессоровъ, пріѣхавшихъ изъ Германіи въ Москву и другіе города, я вызвалъ бы не болѣе 20 и не пожалѣлъ бы денегъ для умноженія числа казенныхъ питомцевъ въ гимназіяхъ; скудные родители, отдавая туда сыновей, благословляли бы милость государя, и призрѣнная бѣдность черезъ 10 или 15 лѣтъ произвела бы въ Россіи ученое состояніе. Смѣю сказать, что нѣтъ иного дѣйствительнѣйшаго средства для успѣха въ семъ намѣреніи. Строить, покупать дома для университетовъ, заводить библіотеки, кабинеты, ученыя общества, призывать знаменитыхъ иноземныхъ астрономовъ, филологовъ—есть пускать въ глаза пыль. Чего не преподаютъ нынѣ, даже въ Харьковѣ и Казани? А въ Москвѣ съ величайшимъ трудомъ можно найти учителя для языка русскаго, а въ цѣломъ государствѣ едва ли найдешь человѣкъ сто, которые совершенно знаютъ правописаніе“.

Положимъ, что для своей критики Карамзинъ имѣлъ нѣкоторое основаніе: дѣйствительно были слушатели, которые „не разумѣли иноземныхъ учителей“, о чемъ говоритъ и Сухомлиновъ въ своемъ очеркѣ; примемъ во вниманіе и то, что въ 1811 году еще нельзя было видѣть то огромное значеніе тогдашнихъ университетовъ, о которомъ мы узнаемъ изъ того же очерка: но и при всемъ томъ нельзя не сочувствовать негодованію Пышина, высказанному имъ по поводу этого мѣста Записки. „Вся тирада о министерствѣ народнаго просвѣщенія“ — говоритъ Пышинъ — „есть одно изъ самыхъ жалкихъ мѣстъ въ Запискѣ. Въ словахъ Карамзина слышится такое недоброжелательство, которое даже не легко себѣ объяснить, и которое производитъ чрезвычайно тяжелое впечатлѣніе, если вспомнить, что эти слова говорились однимъ изъ первыхъ людей тогдашней литературы и образованнаго общества... Чѣмъ же онъ недоволенъ? Основаніе университетовъ кажется ему только прискорбнымъ убыткомъ для казны! У него нѣтъ и мысли о томъ, что если бы даже были какія ошибки въ дѣйствіяхъ министерства, то онѣ были бы весьма извинительны при первыхъ опытахъ и особенно, когда эти опыты надо было дѣлать въ странѣ,

къ сожалѣнію, слишкомъ невѣжественной. Въмѣсто доброжелательнаго совѣта, у Карамзина нашлись только раздражительныя осужденія. Не говоря о томъ, что человѣку, истинно любящему просвѣщеніе, не пришло бы въ голову жаловаться на *такія* траты правительства, Карамзинъ забываетъ, что если бы тутъ и въ самомъ дѣлѣ иныя траты оставались на первое время непроизводительными, *этотъ* убытокъ все-таки не могъ быть такъ великъ и вреденъ, какъ другого рода убытки, къ которымъ издавна привыкла русская казна — убытки отъ всякаго чиновническаго грабежа и воровства, убытки въ родѣ тѣхъ, на какіе жалуется Карамзинъ, говоря о временахъ Екатерины и т. д., наконецъ, что этотъ убытокъ долженъ былъ вознаграждаться полезнымъ дѣйствіемъ на общество правительственной заботы о просвѣщеніи (какъ это и было) и тѣмъ дальнѣйшимъ развитіемъ, какого можно было ожидать отъ ученыхъ заведеній впослѣдствіи. Онъ жалуется, что правительство основало университеты, но не приготовило учениковъ; но, во-первыхъ, рядомъ съ университетами основаны были приготовительныя школы и гимназіи, которыя открывали путь въ университетъ; во-вторыхъ, правительство могло рассчитывать на прежнія учебныя заведенія... И все это говорилъ тотъ же человекъ, который съ чувствительностью и жаромъ толковалъ бывало о просвѣщеніи, которое должно привести людей къ благополучію“ ²³²).

Но Карамзинъ все-таки не сошелъ со сцены, не загладивъ своего проступка: въ 1818 г. въ торжественномъ собраніи Императорской Россійской Академіи произнесена была имъ рѣчь, въ которой онъ снова явился прежнимъ поклонникомъ науки, искусства и вообще—просвѣщенія.

Есть однако въ Запискѣ Карамзина и такія мысли, къ которымъ даже отрицательные его критики не могутъ не отнестись сочувственно. Такова, напримѣръ, мысль объ отыскиваніи и возвышеніи способныхъ людей. Петръ „имѣлъ страсть къ способнымъ людямъ, искалъ ихъ въ кельяхъ монастырскихъ и въ темныхъ каютахъ: тамъ нашелъ Θεοφана и Остермана... Обстоятельства иныя, и скромныя, тихія свойства души отличаютъ Александра отъ Петра, который вездѣ былъ самъ, со всѣми говорилъ, всѣхъ слушать—и бралъ на себя по одному слову, по одному взору, рѣшить достоинство человѣка; но да будетъ то же правило: *искать людей*. Кто имѣетъ довѣренность государя, да замѣчаетъ ихъ вдали для самыхъ первыхъ мѣстъ. Не только въ республи-

кахъ, но и въ монархіяхъ кандидаты должны быть назначены Уединственно по способностямъ. Всемогушая рука единовластителя одного *ведетъ*, другого *мчитъ* на высоту; медленная постепенность есть законъ для множества, а не для всѣхъ. Кто имѣетъ умъ министра, не долженъ посѣдѣть въ столоначальникахъ или секретаряхъ. Чины унижаются не скорымъ ихъ пріобрѣтеніемъ, но глупостію и безчестіемъ сановниковъ.

VII. Характеръ и значеніе Карамзина, какъ литературнаго дѣятеля въ Александровскую эпоху.

Мы уже имѣемъ представленіе о Карамзинѣ, какъ литературномъ дѣятелѣ до-Александровской эпохи. Это былъ писатель, у котораго на первомъ планѣ стоялъ вопросъ о нравственномъ бытіи человѣка, о его счастіи, наслажденіи, страданіи. Въ Александровскую эпоху Карамзинъ останавливаетъ почти все свое вниманіе на Россіи: теперь главнымъ предметомъ его чувствительности является ужь не *человѣчество*, а *Россія*, или, какъ онъ любитъ выражаться, „любезное отечество“.—Но что измѣнилось съ такою перемѣною объектовъ чувствительности? Измѣнилось, конечно, многое, но далеко не все: Карамзинъ изъ литератора превратился въ политика, публициста, историка, измѣнилъ нѣкоторые свои взгляды, но вмѣстѣ съ тѣмъ и въ очень многомъ остался вѣренъ тому, съ чѣмъ вошелъ въ новую эпоху.

Мы думаемъ, что для уясненія Карамзина, какъ писателя Александровской эпохи, прежде всего слѣдуетъ разобраться въ различныхъ его мысляхъ и чувствахъ и указать, что въ нихъ еще прежнее и что новое.

Мы знаемъ, что Карамзинъ былъ энтузіастомъ умственнаго и нравственнаго достоинства человѣка: стоялъ за просвѣщеніе, за добродѣтель, за справедливость. Эта свѣтлая сторона его отразилась и въ произведеніяхъ Александровской эпохи. Соберемъ факты.

Одной изъ господствующихъ мыслей Карамзина, какъ писателя до-Александровской эпохи, была: „просвѣщеніе есть палладіумъ благонравія“. Эта же мысль повторена имъ и въ статьѣ: „Пріятные виды...“, гдѣ сказано, что просвѣщеніе есть „источникъ благородной нравственности“. Мысль, что счастье зависитъ отъ просвѣщенія, сохранена и въ первой одѣ императору Александру, въ стихѣ: „Наукой счастливъ человѣкъ“. Далѣе видимъ, что Ка-

рамзинъ и счастье государства ставить въ зависимость отъ просвѣщенія: въ одной изъ статей „Вѣстника Европы“ онъ говоритъ, что безъ просвѣщенія государство не можетъ наслаждаться внутреннимъ общимъ благоденствіемъ, ибо недостатокъ просвѣщенія рождаетъ злоупотребленія, несправедливости ²³³). Безъ просвѣщенія,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, — „люди служатъ только одному идолу подлой корысти“ ²³⁴). На основаніи всего этого Карамзинъ въ своемъ „Вѣстникѣ“ радуется, что Александръ размножаетъ университеты, гимназій, и въ особенности радуется желанію императора: „да будетъ свѣтъ и въ хижинахъ“. Заботы издателя „Вѣстника“ о просвѣщеніи доходятъ даже до того, что онъ рекомендуетъ правительству мѣры „имѣть въ Россіи довольно учителей“. Въ виду того, что наши дворяне того времени, „учась не доучивались“, Карамзину поневолѣ пришлось остановиться на низшихъ слояхъ и совѣтовать правительству создать ученое сословіе, въ особенности педагоговъ, путемъ „призрѣнія бѣдности“; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ стремился возвысить это сословіе въ глазахъ общества. Въ статьѣ объ учителяхъ читаемъ такіа слова автора: „если въ другихъ земляхъ Европы, гораздо опытнѣйшихъ и старѣйшихъ въ гражданскомъ образованіи, ученый дворянинъ есть нѣкоторая рѣдкость, то можемъ ли въ Россіи ждать благородныхъ на профессорскую кафедру? Хотя—признаюсь—я душевно бы обрадовался первому феномену въ семь родѣ. Что въ самомъ дѣлѣ священнѣе храма наукъ, сего единственнаго мѣста, гдѣ человѣкъ можетъ гордиться саномъ своимъ въ мірѣ, среди богатствъ разума и великихъ идей? Воинъ и судья необходимы въ гражданскомъ обществѣ; но сія необходимость горестна для человѣка. Успѣхи просвѣщенія должны болѣе и болѣе удалять государства отъ кровопролитія, а людей отъ раздоровъ и преступленія: какъ же благородно ученое состояніе, котораго дѣло есть возвышать насъ умственно и приближать счастливую эпоху порядка, мира, благоденствія!“ ²³⁵). Не забылъ Карамзинъ нравственно возвысить и народнаго учителя. Этотъ скромный труженикъ.—по его словамъ, „можетъ скорѣе возгордиться нежели унизиться въ своихъ чувствахъ“ ²³⁶). Съ удовольствіемъ привѣтствуя открытіе публичныхъ лекцій при Московскомъ университетѣ, Карамзинъ высказываетъ надежду, что лекціи эти современемъ умножатъ у насъ число „любителей учености“ ²³⁷). Правда, дисгармонію съ такимъ сочувственнымъ отношеніемъ къ просвѣщенію составляетъ странное мѣсто „Записки“ объ университетахъ ²³⁸); но это—лишь временный диссонансъ: въ академической рѣчи Карамзина 1818 г., о которой

будемъ говорить еще, мы видимъ въ немъ все того же поклонника просвѣщенія, возлагающаго на него великія надежды. „Вѣкъ Перикловъ, Августовъ“ говоритъ ораторъ—„еще впереди для Россіи: да настанетъ онъ въ благословенное царствованіе Александра I, и да назовется его великимъ именемъ. По крайней мѣрѣ желаемъ того. Видимъ новыя училища, новыя средства воспитанія, новыя ободренія для наукъ и талантовъ; видимъ счастливыя дарованія, любовь ко знаніямъ и къ изящному, несомнительныя успѣхи языка и вкуса, сильнѣйшее движеніе въ умахъ — и слѣдственно можемъ надѣяться“. Что Карамзинъ не сочувствовалъ крайностямъ реакціоннаго движенія при Голицынѣ объ этомъ можно судить по письму его къ Дмитріеву отъ 9 февраля 1822 г., гдѣ рѣчь идетъ о строгости цензуры и объ увольненіи профессоръ Петербургскаго университета за „вольнодумство“. Въ письмѣ этомъ читаемъ: „Наконецъ явился Жуковскій, съ любовью къ Берлину... Говоритъ, будто въ Берлинѣ сердца теплѣе и умы дѣятельнѣе: чего добраго! Здѣсь тепла только зима, а наши литераторы жалуются на лѣнь и цензуру. — Ты слышалъ о судѣ профессоръ: говорятъ, что дѣло кончилось въ комитетѣ министровъ отрѣшеніемъ Германа, Раушаха и Арсеньева, но безъ дальнѣйшей казни. Ожидаютъ конфирмаціи. Еще неизвѣстно, получить ли Руничъ награжденіе блестящее, котораго требуетъ для него министръ просвѣщенія, какъ сказываютъ... Нашъ почтенный Шишковъ говоритъ: „поздно хватились, я давно обнаруживать нечестіе!“ Другіе думали, что надлежитъ закрыть классы, гдѣ преподавалось якобинство и атеизмъ, т.-е. исторія и статистика; но люди благоразумные не согласились съ ними“ ²³⁹). Министерство же Шишкова, не сочувствовавшее распространенію грамотности, Карамзинъ, какъ знаемъ, называлъ министерствомъ затменія — и 30 дек. 1824 г. не безъ ироніи писалъ тому же Дмитріеву: „Читалъ ли ты рѣчи министра просвѣщенія? Возставать противъ грамоты есть умножать къ ней охоту: слѣдственно дѣйствіе хорошо и достойно цѣли министерства, которому ввѣрено народное просвѣщеніе. Какова Харибда, такова и Сцилла: корабль нашъ стучится объ ту и другую, а все плыветъ. Я увѣренъ, что Россія не погрязнетъ въ невѣжествѣ: т.-е. увѣренъ въ милости Божіей“.

Явившись въ первую половину своей литературной дѣятельности энтузіастомъ нравственнаго достоинства человѣка, Карамзинъ является таковымъ и въ позднѣйшихъ своихъ сочиненіяхъ. Уже не говоря о его стихотвореніи: „Къ Добродѣтели“ и другихъ разсѣянныхъ тамъ и сямъ выраженій, свидѣтельствую-

иныхъ о томъ, что имъ не забыта его прежняя этика, его прежняя идея о „небесномъ санѣ“ человека, —вспомнимъ его „Исторію“ и въ особенности слѣдующія слова его: „правила нравственности и добродѣтели святѣе всѣхъ иныхъ“. Далѣе вспомнимъ его гуманныя требованія, высказанныя имъ и въ „Похвальномъ словѣ императрицѣ Екатеринѣ“, и въ „Вѣстникѣ“, и въ „Запискѣ“. Чѣмъ велика Екатерина?—Тѣмъ, что она „уважила въ подданномъ санъ человека, нравственнаго существа, рожденнаго для счастья въ гражданской жизни“, смягчила самодержавіе, очистила его отъ примѣсовъ тиранства. И рядомъ съ этимъ вспомнимъ его рѣчи объ ужасахъ при Грозномъ, о Тайной канцеляріи при Аннѣ, Елисаветѣ и Петрѣ, и вспомнимъ его отзывъ о правленіи Павла, а затѣмъ—его благоговѣйное отношеніе къ императору Александру, какъ къ „красѣ человечества своимъ великодушіемъ, милосердіемъ, незлобіемъ рѣдкимъ“. Наконецъ, по взгляду Карамзина, подобно тому, какъ просвѣщеніе нужно не только отдѣльному человеку, но и всему государству,—такъ и добродѣтель нужна и отдѣльнымъ людямъ и государству. „Государству нужно не только физическое, но и нравственное могущество“, говоритъ онъ въ „Запискѣ“ по поводу завоеванія Финляндіи.

Еще въ „Письмахъ“ своихъ, касаясь политическихъ вопросовъ, Карамзинъ требовалъ справедливости, законности ²⁴⁰). Это требованіе безпрестанно повторяетъ онъ и послѣ. Въ „Исторіи“ онъ указываетъ какъ на одну изъ слабыхъ сторонъ древней Руси именно то, что въ ней была „несправедливость и неурядица“ ²⁴¹). Желаемой степени справедливости не достигла и Екатерина: „правосудіе не цвѣло въ сіе время“, жалуется авторъ „Записки“ ²⁴²). Между тѣмъ „государь долженъ быть отцомъ подданныхъ, блюсти справедливость“ ²⁴³). Отсюда неоднократные совѣты Карамзина правительству обратить вниманіе не только на изданіе законовъ, ясныхъ и систематическихъ, но и на „истребленіе злоупотребленій“.

Во всемъ указанномъ здѣсь Карамзинъ рисуется намъ такимъ же, какимъ мы видѣли его и въ до-Александровскую эпоху. Но рядъ другихъ фактовъ обнаруживаетъ въ немъ и нѣчто новое, а именно: сильное увлеченіе *государствомъ, какъ величественнымъ политическимъ тѣломъ*, увлеченіе, вызванное тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ съ нѣкотораго времени сталъ обращать особенное вниманіе на Россію и ея исторію—и подобно тому, какъ прежде поражался величіемъ вселенной, такъ теперь поразился

210
величіемъ огромнаго Русскаго государства, и въ своей одѣ на коронованіе уже называлъ Россію „почтеннымъ и величавымъ колоссомъ, вѣнцомъ земныхъ царствъ“.

Какъ только Карамзинъ остановился передъ этимъ могущественнымъ колоссомъ, должны были, разумѣется, всплыть и всѣ тѣ мысли и чувства, которыя уже раньше связывались у него съ мыслью о государствѣ—и вотъ у него мало-помалу образуется цѣлая сѣть понятій, представленій и чувствъ, въ сотканіи которой принимаютъ участіе многіе элементы. Прежде всего играетъ роль оптимистическое воззрѣніе Карамзина на государство, воззрѣніе, о которомъ мы уже говорили подробно въ своемъ мѣстѣ ²⁴⁴); далѣе—вынесенное имъ еще изъ пансіона Шадена уваженіе къ монархіи; затѣмъ—впечатлѣнія отъ французской революціи, отъ анархіи, и выводы, сдѣланные имъ изъ наблюденія надъ республиками ²⁴⁵); потомъ—такое представленіе о ходѣ государственнаго развитія Россіи, по которому она „основалась единовластіемъ, гибла отъ разновластія, а спаслась самодержавіемъ“; наконецъ—удивленіе предъ величіемъ современной Карамзину Россіи. Кромѣ того, занятія исторіей внушаютъ Карамзину мысль, что нравственное могущество государствъ опирается на „духъ народный“, или иначе, по объясненію Карамзина, на уваженіе гражданъ къ своему народному достоинству ²⁴⁶).

Подъ вліяніемъ всего этого слагается такая политическая теорія Карамзина. Государство есть нѣчто священное; „гражданскій порядокъ священъ даже въ самыхъ мѣстныхъ или случайныхъ недостаткахъ своихъ“. „Власть есть для народа не тиранство, а защита отъ тиранства“. Государство сильно „нравственнымъ уваженіемъ къ сану властителя“ и „духомъ народнымъ“. Недостатки исправляются временемъ: просвѣщеніемъ и „благою волею законныхъ правительствъ“. Реформы должны совершаться на исторической почвѣ, „какъ естественное возрастаніе, безъ порывовъ и насилія“ и „по основательному разсмотрѣнію“. Частные люди должны „имѣть довѣренность къ дѣйствию времени и мудрости властей“—и „жить спокойно, повиноваться охотно“. Самые счастливыя государства—самодержавныя, ибо „нѣтъ порядка безъ власти самодержавной“. Для Россіи же самодержавіе необходимо вдвойнѣ: и потому, что имъ держится порядокъ (ибо „что, кромѣ единовластія неограниченнаго, можетъ въ сеѣ махинѣ производить единство дѣйствія?), и потому, что имъ создано величіе Россіи, этого могучаго „колосса“. „Самодержавіе есть поллаіумъ Россіи“.

Такимъ образомъ мы находимъ у Карамзина двѣ сѣти понятій, представленій и чувствъ, изъ которыхъ въ одной главнымъ предметомъ были *люди, общество*, а въ другой—*государство*. Въ одной Карамзинъ являлся *либеральнымъ и гуманнымъ философомъ*, въ другой—*консервативнымъ политикомъ*, подчасъ *жесткимъ*. Эта жесткость является у него новою чертою, какъ результатъ его увлеченія государствомъ.

Въ чемъ же выразилась эта новая черта? — Политическая теорія Карамзина сама по себѣ не мѣшала ему быть гуманнымъ, стоять за справедливость, хвалить императрицу Екатерину за то, что она уважила въ подданномъ санъ человека, и вообще не мѣшала ему высказываться въ такомъ духѣ, который и самая недружелюбная къ нему критика находитъ болѣе или менѣе согласнымъ съ новыми вѣяніями Александровской эпохи. Карамзинъ даже, какъ авторъ „величественной поэмы, воспѣвающей государство“, остается вообще человекомъ очень гуманнымъ, и, думая о пользѣ государства, сердцемъ сочувствуетъ и новгородцамъ. Но съ другой стороны — и гуманная философія его иногда нѣсколько ему не мѣшала увлечься государствомъ до того, что политикъ въ немъ становился въ противорѣчіе съ философомъ: тогда мягкость чувства смѣнялась значительной жесткостью.

Самымъ рѣзкимъ примѣромъ жесткости служить то мѣсто „Записки“, гдѣ Карамзинъ по поводу крестьянскаго вопроса говорить, что „для твердости бытія государственнаго безопаснѣе *поработить* людей, нежели дать имъ не во-время свободу“, и говорить это сухо, не смягчая никакой оговоркой въ родѣ той, какая сдѣлана имъ въ „Исторіи“ относительно покоренія Новгорода²⁴⁷⁾ (о „Марѣѣ Посадницѣ“ мы ужъ и не упоминаемъ).—Другое рѣзкое противорѣчіе обнаруживается при сопоставленіи отношенія Карамзина къ Екатеринѣ и къ Іоанну III. Императрица Екатерина не только въ „Похвальномъ словѣ“, но и въ „Запискѣ“ изображена идеальной правительницей потому между прочимъ, что была преисполнена гуманныхъ идей и чувствъ, „не хотѣла повелѣвать, какъ земной богъ“, внушала къ себѣ не страхъ, а любовь, и хотя „царскимъ долгомъ побѣждала нѣжность своего сердца“, однако „служила совершеннѣйшимъ образцомъ той высокой добродѣтели, которую могутъ имѣть одни Небеса: милосердія!“ Іоаннъ III представленъ также идеальнымъ правителемъ, и именно потому между прочимъ, что онъ, „разгадавъ тайны самодержавія, сдѣлался какъ бы земнымъ богомъ для Россіянъ“, который хотя и восхищалъ милостію,

противорѣчія, какъ слѣдствіе его увлеченія государствомъ. Такъ, напримѣръ, онъ, являясь обыкновенно консерваторомъ умѣреннымъ и вовсе не проповѣдникомъ застоя, не противникомъ реформъ въ принципѣ, а лишь противникомъ способа ихъ введенія,—вдругъ обмолвится такой фразой, какъ „всякая новостъ въ государственномъ порядкѣ есть зло“.

Изъ всего сказаннаго нами о Карамзинѣ ясно, почему въ нашей литературѣ существуютъ о немъ столь противоположныя представленія и отзывы. И дѣйствительно, критиковъ Карамзина раздѣляетъ на два лагеря не только солидарность или несолидарность съ нимъ въ такихъ важныхъ вопросахъ, какъ, напримѣръ, вопросъ объ историческомъ ходѣ развитія нашего государства или вопросъ о заимствованіи изъ Запада государственныхъ учреждений, но раздѣляетъ ихъ и самая, такъ сказать, двойственная личность этого писателя, у котораго одинаково легко набрать фактовъ какъ для панегирика ему, въ родѣ сочиненія Погодина, такъ и для развѣнчанія его, въ томъ родѣ, какъ это сдѣлано [Ивановымъ]. Конечно, ни то ни другое не можетъ соответствовать истинѣ. Панегиристы Карамзина обходятъ его увлеченія, развѣнчивающая критика слишкомъ на нихъ налегаетъ. Притомъ же послѣдняя болѣе всего останавливается на „Запискѣ“. Между тѣмъ она не была заключительнымъ словомъ Карамзина: право считаться таковымъ словомъ имѣетъ не „Записка“, а академическая рѣчь Карамзина 1818 года. А изъ этой рѣчи видно, что къ этому времени многое въ немъ улеглось, сгладилось, со многимъ онъ примирился: его опасенія за народность,—можетъ быть, нѣсколько излишнія,—исчезли; его любовь къ государству является уже вполнѣ примиренною съ любовью къ человѣчеству; его патриотизмъ выражается въ желаніи видѣть Россію не только могущественнымъ государствомъ, но и страною, слава которой „да будетъ славою человѣчества“.

Рѣчь, о которой мы говоримъ теперь, посвящена словесности. Обращаясь къ членамъ Россійской Академіи, Карамзинъ ставитъ одною изъ задачъ ихъ—„посвятить часть досуговъ своихъ критическому обозрѣнію россійской словесности“. Сказавъ (о чемъ мы уже знаемъ ²⁴⁸), что критика должна быть снисходительною и ободряющею, ораторъ далѣе говоритъ, что хотя послѣ реформъ Петра мы стали европейцами, однако не перестали быть и русскими. „Петръ Великій, могущею рукою своею преобразивъ отечество, сдѣлалъ насъ подобными другимъ европейцамъ. Жалобы

безполезны. Связь между умами древнихъ и новѣйшихъ россіянъ) прервалась навѣки... Съ другой стороны, Петръ Великій, измѣнивъ многое, не измѣнилъ всего коренного русскаго... Сии остатки, дѣйствіе ли природы, климата, естественныхъ или гражданскихъ обстоятельствъ, еще образуютъ народное свойство россіянъ... Сходясь съ другими европейскими народами, мы и разнствуемъ съ ними въ нѣкоторыхъ способностяхъ, обычаяхъ, навыкахъ, такъ что хотя и не можно иногда отличить россіянина отъ британца, но всегда отличимъ россіянъ отъ британцевъ: во *множествѣ* открывается *народное*. Сію истину отнесемъ и къ словесности“. Она тоже стала европейскою, но не перестала быть и русскою. „Мы не хотимъ подражать иноземцамъ, но пишемъ, какъ они пишутъ: ибо живемъ, какъ они живутъ; читаемъ, что они читаютъ; имѣемъ тѣ же образцы ума и вкуса; участвуемъ въ повсемѣстномъ, взаимномъ сближеніи народовъ, которое есть слѣдствіе самаго ихъ просвѣщенія“... Но, „будучи зеркаломъ ума и чувства народнаго“, словесность наша „также должна имѣть въ себѣ нѣчто особенное, незамѣтное въ одномъ авторѣ, но явное во многихъ. Имѣя вкусъ французовъ, имѣемъ и свой собственный: хвалимъ, чего они не хвалятъ; молчимъ, гдѣ они восхищаются. Есть *звуки сердца русскаго*, есть *игра ума русскаго* въ произведеніяхъ нашей словесности, которая еще болѣе отличится ими въ своихъ дальнѣйшихъ успѣхахъ“.

Рѣчь заканчивается такими строками, изъ которыхъ ясно видно, что у Карамзина опять всплыла мысль объ умственныхъ и нравственныхъ успѣхахъ человѣчества. Но теперь эта мысль соединена и съ другой важной мыслью: Россія можетъ и должна принять въ этихъ успѣхахъ участіе. „Для того ли образуются“, — говоритъ ораторъ, — „для того ли возносятся державы на земномъ шарѣ, чтобы единственно изумлять насъ грознымъ колоссомъ силы и его звучнымъ паденіемъ; чтобы одна, низвергая другую, чрезъ нѣсколько вѣковъ обширною своею могилою служила вмѣсто подножія новой державѣ, которая въ чреду свою падетъ неминуемо? Нѣтъ! и жизнь наша и жизнь имперіи должны содѣйствовать раскрытію великихъ способностей души человѣческой; *здѣсь все для души, все для ума и чувства; все бессмертно въ ихъ успѣхахъ!* Смысль, среди гробовъ и тлѣнія, утѣшаетъ насъ какимъ-то великимъ утѣшеніемъ. Возвеличенная, утвержденная побѣдами, сіяетъ Россія всѣми блестящими дарами ума бессмертнаго: да умножаетъ богатства наукъ и словесности; да слава Россіи будетъ славою человѣчества“.

Въ этой же рѣчи сказано о нашихъ писателяхъ: „Хорошо писать для Россіи; еще лучше писать для всѣхъ людей“.

Такимъ образомъ, бросая общій взглядъ на тотъ путь, который пройденъ Карамзинымъ отъ написанія „Похвального слова Екатеринѣ“ до произнесенія рѣчи въ Академіи, мы видимъ, что указанная нами двѣ сѣти его понятій, представленій и чувствъ наиболѣе расходились именно въ серединѣ этого пути, а наиболѣе примиренными являются въ его началѣ и въ концѣ. Если Карамзина характеризовать не на основаніи только одного промежуточного періода его дѣятельности, къ которому относится между прочимъ и „Записка“, а на основаніи того, что имъ высказывалось болѣе или менѣе постоянно, и въ особенности—на основаніи того, что имъ говорилось въ самые зрѣлые его годы,—то придется сказать о немъ слѣдующее. Это былъ писатель, убѣжденный, что Россія должна оставаться государствомъ самодержавнымъ. Характеръ самодержавія долженъ быть такимъ, какимъ его опредѣлила императрица Екатерина II. При такомъ положеніи дѣла Россія, сдѣлавшись величавымъ колоссомъ, какъ государство, можетъ и должна, не утрачивая своей народности, идти рядомъ съ Европой и принимать наравнѣ съ ней участіе въ умственномъ и нравственномъ прогрессѣ человѣчества.

До сихъ поръ мы занимались опредѣленіемъ общаго характера Карамзина, какъ писателя Александровской эпохи. Среди этого общаго было много такого, что вызывало и вызываетъ къ себѣ—у однихъ сочувствіе, а у другихъ несочувствіе, при чемъ многіе вопросы и до сихъ поръ остаются спорными. Спорными называлъ ихъ и Пыпинъ ²⁴⁹). Но вмѣстѣ съ тѣмъ была въ дѣятельности Карамзина и такая сторона, которая *безспорно* признается его заслугой передъ русскимъ обществомъ. Сторона эта заключается въ слѣдующемъ.

Карамзинъ и въ Александровскую эпоху продолжалъ воспитывать въ русскомъ человѣкѣ „человѣка“. Вспомнимъ отзывъ Бестужева-Рюмина о нравственномъ значеніи „Исторіи государства Россійскаго“, которую онъ называетъ произведеніемъ „благороднымъ“ какъ вслѣдствіе сочувствія автора „ко всему великому въ природѣ человѣческой“, такъ и вслѣдствіе его „отвращенія отъ всего низкаго и грубаго“ ²⁵⁰). Даже въ крестьянскомъ вопросѣ, въ которомъ Карамзинъ былъ наименѣе чувствителенъ, слова его въ „Вѣстникѣ Европы“ могли имѣть для многихъ важное зна-

ченіс: онъ напминалъ помѣщикамъ объ ихъ обязанности не только заботиться объ улучшеніи быта своихъ крѣпостныхъ, но и считать ихъ „людьми и братьями по человѣчеству и христіанству“. „Вѣстникомъ“ и „Исторіей“ продолжалось то великое дѣло смягченія нравовъ, которое началось переводомъ Геснеровой идилліи,— и Бестужевъ-Рюминъ, какъ мы видѣли, замѣчаетъ, что „поколѣніе, воспитанное Карамзинымъ, уже не могло повторить Куралесова или Салтычиху“ ²⁵¹).

Содѣйствуя смягченію нравовъ, Карамзинъ въ то же время вліялъ на общество и какъ патріотъ. Говоря о Россіи всегда съ особеннымъ жаромъ; питая благоговѣйное уваженіе къ предкамъ, „изготовившимъ наше величіе;“ дорожа всякимъ воспоминаніемъ, связаннымъ съ какимъ-нибудь великодушнымъ ихъ подвигомъ, онъ пробуждалъ эти чувства и въ читателяхъ—чувства, которыя, какъ онъ указывалъ, отличаютъ самые образованнѣйшіе народы міра. Но особенно полезенъ былъ Карамзинъ для тѣхъ членовъ общества, которые ужъ слишкомъ далеко заходили въ своемъ критическомъ отношеніи къ Россіи и ко всему русскому. Онъ стремился обратить вниманіе этихъ людей на Россію, показать имъ, что она страна все же не варварская, имѣетъ много славнаго въ своемъ прошломъ и можетъ надѣяться на славное въ будущемъ; говорилъ, что будущее Россіи во многомъ зависитъ отъ самого же общества и указывалъ ему на необходимость благотворной дѣятельности какъ въ сферѣ общественной, такъ и семейной жизни; совѣтовалъ быть разумнымъ въ подражаніи и заимствованіи, позаботиться о самобытности, о національномъ воспитаніи; укорялъ за небрежное отношеніе къ отечественной словесности, за предпочтеніе чужого языка родному, за отсутствіе интереса къ родной старинѣ. Наконецъ нельзя не согласиться съ Пушкинымъ, что Карамзинъ открылъ тогдашнему обществу русскую исторію, какъ Колумбъ открылъ свѣту Америку. Каковы бы ни были научныя ошибки въ „Исторіи государства Россійскаго“, во всякомъ случаѣ она важна ужъ тѣмъ, что съ появленіемъ ея стала невозможнымъ такой взглядъ на до-Петровскую Русь, какой прежде высказывали Завадовскій и Батюшковъ. γ

Свободу Карамзинъ понималъ не такъ, какъ понимали ее современные ему либералы. Но и при своемъ пониманіи онъ высказывалъ много такихъ гуманныхъ идей, на которыхъ мирились съ нимъ и самые передовые либералы. Таковы, напримѣръ, его рѣчи о просвѣщеніи, о законности, о справедливости, о нестѣснительной цензурѣ.

Если, подводя итоги дѣятельности Карамзина, надо считаться съ отрицательными его критиками, то нельзя не принимать во вниманіе и мнѣнія такихъ лицъ, которыя, какъ напр. Гротъ, полагаютъ, что „близкое знакомство съ Карамзинымъ сдѣлалось навсегда необходимымъ элементомъ образованія для каждаго русскаго“ ²⁵²).

Наконецъ нельзя забывать и великія литературныя заслуги Карамзина. О нихъ мы уже говорили, когда подводили итоги его дѣятельности въ до-Александровскую эпоху ²⁵³). Въ послѣдующіе затѣмъ годы заслуги эти, не смотря на то, что Карамзинъ отказался отъ критики, росли все болѣе и болѣе — и самая важная изъ нихъ не та, конечно, которая касается какого-нибудь отдѣльнаго рода произведеній, а та, которая имѣла значеніе для всей нашей послѣдующей литературы. Заслуга эта состоитъ въ томъ, что Карамзинъ придалъ нашей литературѣ то *изящество языка*, какого она до него, говоря вообще, не имѣла. На этой сторонѣ его дѣятельности намъ теперь и остается остановиться.

VIII. Преобразование Карамзинымъ нашего литературнаго языка.

Желающихъ болѣе подробно ознакомиться съ этимъ вопросомъ мы отсылаемъ къ статьѣ академика Грота: „Карамзинъ въ исторіи русскаго литературнаго языка“, помѣщенной въ первомъ томѣ его „Филологическихъ разысканій“ (Спб. 1885 г. изд. 3-е, стр. 61—132). Здѣсь же мы извлечемъ изъ этой статьи только самое существенное.

Въ исторіи, какъ и въ природѣ, скачковъ не бываетъ, — говоритъ Гротъ, — и улучшенія въ русской письменной рѣчи начались еще до Карамзина; но они никѣмъ не были проведены въ общее сознаніе, не признавались даже самими писателями, у которыхъ встрѣчаются. Хорошее является у нихъ вмѣстѣ съ дурнымъ, нѣтъ выдержанности, нѣтъ системы. Въ то время, къ которому относится изданіе „Московского журнала“, только „у одного Карамзина мы видимъ рѣчь вездѣ ровную, свидѣтельствующую о ясномъ пониманіи условій чистоты и изящества языка, о разумной строгости въ выборѣ словъ и ихъ расположеніи“. Такимъ образомъ только „въ трудахъ Карамзина совершилось рѣшительное вступленіе языка въ новый періодъ его литературнаго развитія“.

Въ чемъ же именно состояла заслуга Карамзина въ этомъ отношеніи?

Въ рѣчи Карамзина прежде всего слѣдуетъ отдѣлить то, что составляетъ индивидуальную особенность автора, и что профессоръ Лавровскій назвалъ „совершенно органическимъ продуктомъ врожденныхъ способностей Карамзина, духовной организаціи и всего его образованія, всей совокупности образовательныхъ элементовъ, вошедшихъ въ его душу и участвовавшихъ въ окончательной выработкѣ его общаго душевнаго настроенія“²³⁴). Эта индивидуальная особенность опредѣлится всего лучше, если мы языкъ Карамзина назовемъ языкомъ сердца. Подражать этой индивидуальной особенностямъ безнаказанно, не будучи вторымъ Карамзинымъ, невозможно—и потому не удивительно, что писатели, желавшіе усвоить себѣ этотъ „языкъ сердца“, такъ легко доходили до непріятной приторности, до смѣшныхъ крайностей.

Но, помимо индивидуальнаго, въ новомъ языкѣ Карамзина было еще много такого, что могло быть усвоено всѣми, и что дѣйствительно скоро сдѣлалось общимъ достояніемъ всего русскаго образованнаго класса, и чѣмъ собственно и было произведено преобразование. Въ этомъ отношеніи Гротъ указываетъ слѣдующее.

Въ противоположность стилистическимъ началамъ Ломоносова, Карамзинъ сталъ:

1) писать недлинными, не утомительными предложеньями;

2) располагать слова сообразно съ теченіемъ мыслей и съ особыми законами языка.

Это относится къ синтаксису, котораго упрощеніе, такимъ образомъ, совершилось въ сочиненіяхъ Карамзина „вовсе не въ силу подражанія французскому или англійскому языку, а въ силу потребности русскаго ума и вкуса“.

Далѣе къ синтаксической сторонѣ Гротъ относитъ и введеніе Карамзинымъ новыхъ выраженій, оборотовъ и приводитъ такіе примѣры:

«Пришла весна, и благодѣтельные *вліянія* сего прекраснаго времени года *возвратили* мнѣ друга; бальзамическія *испаренія* зеленѣющихъ травъ *освѣжили* его сердце; вмѣстѣ съ цвѣтами *расцвѣтала* душа его, и вмѣстѣ съ нѣжными *птенцами* слабый духъ его *оперялся*».—«Знанія *разливаются*, какъ волны морскія».—«Помнишь, другъ мой, какъ мы *иногда...* *ловили* въ исторіи всѣ благородныя *черты* души человѣческой».—«Доказательство, что сердца ихъ *отверзались* *впечатлѣніямъ* изящнаго». «Такія великодушныя, безкорыстныя чувства трогательны для всякаго, еще

не мертваго душою человека». — «Видимъ людей, углубленныхъ въ свою личность и холодныхъ для всего народнаго».

Наконецъ важной чертой Карамзинскаго синтаксиса было „установленіе твердыхъ началъ въ словоуправленіи“. Какъ на характерный примѣръ, Гротъ указываетъ на фразу (изъ статьи: „О нов. образ. народн. просв.“): „слѣдовать ихъ волѣ и за ихъ знаменами“.

Въ отношеніи къ лексическому составу литературнаго языка Гротъ отмѣчаетъ у Карамзина слѣдующіе элементы рѣчи:

- 1) Весьма значительное ограниченіе славянизмовъ.
- 2) Введеніе иностранныхъ словъ для новыхъ понятій, но введеніе чрезвычайно осторожное. У Карамзина встрѣчаются слова: *моральный, эстетическій, эпоха, гармонія, энтузіазмъ, катастрофа, серьезно, меланхолія, мифологія, религія, рецензія, героизмъ*, выраженія: *быть на сценѣ, выходить на сцену* и т. п.; но употреблявшіеся у прежнихъ писателей галлицизмы, каковы напр. у Фонвизина: *резонъ, эстима, консидерація, универсальный, апробація*, Карамзинымъ отвергнуты. Притомъ же въ нѣкоторыхъ случаяхъ на ряду съ иностранными словами онъ употреблялъ и русскія, напримѣръ: *моральный и нравственный; интересный и любопытный, занимательный; натура и природа*.

3) Сообщеніе прежнимъ словамъ новаго значенія, напримѣръ словамъ: *потребность* (души), *развитіе* (характера), *образъ* (поэтическій), *положеніе* (въ драмѣ), *выработанный* (слогъ), *вкусы* (во мн. ч.).

4) Составленіе новыхъ словъ, частію самостоятельно, напримѣръ: *промышленность, общественность, усовершенствовать, человечный, общепользныи*; частію путемъ перевода съ иностраннаго, напримѣръ: *трогательный, сосредоточить, представитель, начитанность, обдуманность, онтънокъ*, и мн. др.

Все эти черты Карамзинскаго языка въ отдѣльности суть только частности; но важно то, что въ своей совокупности онѣ направлялись къ тому, чтобы придать языку впечатлѣніе рѣчи изящной, удовлетворяющей эстетическому чувству. Насколько Карамзинъ достигъ этой цѣли, можно видѣть изъ сравненія его рѣчи съ рѣчью писателей старой, не Карамзинской школы. Вотъ, напримѣръ, отрывокъ изъ Бюффона въ переводахъ Малиновскаго (1783), Лепехина (1792) и Карамзина (1798, въ Пант. иностр. слов.): 255)

Малиновскаго. Я вспоминаю о той исполненной веселія и смущенія минутѣ, въ которую въ первый разъ почувствовалъ отмѣнное мое бытіе:

тогда я не могъ себѣ представить, что я, гдѣ былъ и откуда взялся. Я открылъ глаза; коль превосходное чувствованіе! свѣтъ, небесная твердь, зеленѣющая земля, прозрачныя воды—все меня занимало, одушевляло и несказаннымъ образомъ чувства мои увеселяло. Изъ чего я заключилъ, что всѣ сіи предметы находились во мнѣ и составляли часть самого меня.

Тепехина. Исполненъ веселія и смущенія, привожу я на память ту минуту, въ которую я первый разъ ощутилъ чудное бытіе мое; я не зналъ, что я такое былъ, гдѣ находился и откуда пришелъ. Открывъ глаза, какое приращеніе ощутилъ я въ чувствованіяхъ! Свѣтъ, сводъ небесный, зеленѣющая земли поверхность, кристалловидныя воды—всего меня занимали, оживляли и возбуждали во мнѣ неизреченное чувствованіе удовольствія; въ началѣ мнилъ я, что всѣ сіи предметы, во мнѣ находяся, составляли существенную моего сложенія часть.

Карамзина. И теперь еще живо помню ту минуту радости и смятенія, какъ въ первый разъ ощутилъ я чудное бытіе свое. Не зная, что я, гдѣ, откуда взялся, открываю глаза: какое неописанное чувство! Свѣтъ, небесный сводъ, зелень травы, кристаллъ воды—все занимаетъ, трогаетъ, веселитъ меня несказанно. Мнѣ кажется, что всѣ предметы во мнѣ и составляютъ часть моего существа.

„Слогъ Карамзина“—замѣчаетъ Гротъ „быть новъ по своей пластичности, по богатству образовъ и живописи выраженій, въ которыхъ слова являлись въ новой связи, въ новыхъ счастливыхъ сочетаніяхъ. Такъ возникла въ первый разъ на русскомъ языкѣ проза ровная, чистая, блестящая и музыкальная, въ выразительности и изяществѣ не уступающая прозѣ самыхъ богатыхъ литературъ Европы. Эта проза имѣла еще свои недостатки: иногда ей вредила нѣкоторая искусственность, имѣвшая цѣлю удовлетворить особеннымъ, своенравнымъ требованіямъ слуха. Но эти недостатки не умаляютъ великой заслуги Карамзина, давшего русскому литературному языку рѣшительное направленіе, въ которомъ онъ еще и нынѣ продолжаетъ развиваться“.

Языкъ далеко не маловажная сторона въ литературномъ произведеніи. Бѣлинскій сказалъ: „Карамзинъ первый родилъ въ обществѣ *потребность чтенія, размножилъ читателей, создалъ русскую публику*;... безъ той публики не было бы и теперешней. Поэтому дѣло Карамзина великій подвигъ, вполне достойный того, чтобы наше время обезсмертило его монументомъ“²⁵⁶). Нѣтъ сомнѣнія, что въ совершеніи указаннаго Бѣлинскимъ подвига не малую роль игралъ и преобразованный Карамзинымъ литературный языкъ нашъ.

ПРИМѢЧАНІЯ.

¹⁾ „Императоръ Александръ I и идея священнаго союза“. Рига, 1886 г., т. I, 13.

²⁾ „Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I“. Спб. 1885 г., изд. 2-ое, стр. 20.

³⁾ Надлеръ: „Императоръ Александръ I...“ I, 15.

⁴⁾ „Императоръ Александръ Первый, его жизнь и царствованіе“. Спб. 1897 г., т. I, 40.

⁵⁾ Тамъ же, II, 18.

⁶⁾ „Исслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію“, т. I, заключающій въ себѣ „Матеріалы для исторіи образованія въ Россіи въ царствованіе Императора Александра I“. Спб. 1889 г., стр. 398 и 414—415.

⁷⁾ Тамъ же, стр. 419.

⁸⁾ Свѣдѣнія объ университетахъ, какъ тутъ, такъ и далѣе, заимствуемъ изъ упомянутаго уже выше (примѣч. 6-ое) сочиненія академика Сухомина.

⁹⁾ „Общественное движеніе въ Россіи...“, стр. 111.

¹⁰⁾ Эти свѣдѣнія заимствуемъ не прямо у Шторха, а изъ упомянутой уже книги Пыпина, стр. 109—110.

¹¹⁾ Шильдеръ, I, 116.

¹²⁾ Шильдеръ, I, 164.

¹³⁾ II, 22.

¹⁴⁾ Въ письмѣ къ княгинѣ Маріи Григ. Голицыной, обратившейся къ государю съ незаконной просьбой и говорившей ему, что государь выше закона.

¹⁵⁾ Шильдеръ, II, 249—250.

¹⁶⁾ Такъ современное общество называло тѣсный дружескій союзъ, который образовали между собою Новосильцевъ, Строгановъ и Чарторижскій.

¹⁷⁾ Свѣдѣнія о „планѣ“ Сперанскаго заимствуемъ изъ кн. Пыпина („Общественное движеніе...“, 148—172), который въ изложеніи этого плана основывается на данныхъ, сообщенныхъ Н. И. Тургеневымъ въ изданномъ имъ за границей сочиненіи: „La Russie et les Russes“.

¹⁸⁾ Шильдеръ, I, 191 и II, 128.

¹⁹⁾ Шильдеръ, I, 129.

²⁰⁾ Шильдеръ, II, 100—104

²¹⁾ Шильдеръ, III, 38.

²²⁾ Шильдеръ, III, 244.

- 23) Шильдеръ, III, 322.
- 24) Сухомлиновъ: „Изслѣдованія и статьи...“, I, 160.
- 25) Гр. Завадовскій былъ первымъ у насъ по времени министромъ народнаго просвѣщенія.
- 26) Пыпинъ: „Общественное движеніе...“, 113.
- 27) Сухомлиновъ: „Изслѣдованія и статьи...“, I, 419.
- 28) Тамъ же, 108—110.
- 29) Тамъ же, 157.
- 30) Тамъ же, 119.
- 31) Тамъ же, 121.
- 32) Факты эти заимствуемъ изъ той же кн. Сухомлинова (стр. 132, 133 и 118).
- 33) „Изслѣдованія и статьи...“, I, 184—186.
- 34) Тамъ же, 163.
- 35) Тамъ же, 163—165.
- 36) Подробное изложеніе столкновенія Жуковскаго съ цензурою по поводу указанной баллады помѣщено у Сухомлинова („Изслѣдованія и статьи...“ I, 436—447).
- 37) „Императоръ Александръ I...“, I, 135.
- 38) Соловьевъ: „Императоръ Александръ Первый. Политика—дипломатія“. Спб. 1877 г., стр. 13.
- 39) „Императоръ Александръ I...“, I, 14—15.
- 40) Пыпинъ: „Общественное движеніе...“, 75.
- 41) Письма Батюшкова цитируемъ по пятому „общедоступному“ изд. его сочиненій 1887 г., Спб.
- 42) См. письмо Батюшкова къ Гнѣдичу отъ 1 ноября 1809 г.
- 43) „Исторія рус. словесности“ Порфирьева, ч. II, отд. 3-й, стр. 10.
- 44) „Императоръ Александръ I...“, I, 63—64.
- 45) Сухомлиновъ: „Изслѣдованія и статьи...“, I, 171.
- 46) „Императоръ Александръ I...“, II, 13.
- 47) См. „Письма изъ Москвы въ Новгородъ“ (въ Нижній Новгородъ) Муравьева-Апостола, въ „Рус. Архивъ“ 1876 г., кн. 3.
- 48) „Императоръ Александръ I...“, II, 9.
- 49) Такъ выразился Державинъ въ своихъ запискахъ (Сочин. Державина, VI, 758).
- 50) Шильдеръ, II, 41.
- 51) „Общественное движеніе...“, 356—357. Въ приведенномъ мѣстѣ Пыпинъ цитируетъ замѣтку Муравьева-Апостола, помѣщенную въ „Русской Старинѣ“ 1873 г., т. VIII, 109.
- 52) Тутъ Муравьевъ-Апостолъ намекаетъ, главнымъ образомъ, на то мѣсто рѣчи импер. Александра, въ которомъ онъ заявлялъ о своемъ намереніи ввести свободныя учрежденія и во всей имперіи.
- 53) Шильдеръ, I, 172.
- 54) Хотя мысли въ этомъ письмѣ весьма близки къ мыслямъ Карамзина, но во всякомъ случаѣ написано оно не Карамзинымъ, такъ какъ этотъ писатель и самъ былъ предметомъ оцѣнки автора письма. Говоря о современной ему литературѣ нашей, относящейся къ отдѣлу прозы, авторъ письма осуждаетъ отсутствіе въ ней серьезности и исключеніемъ считаетъ лишь „Теорію налоговъ“ Н. И. Тургенева, немногія страницы у Батюшкова и „Исторію“ Карамзина.

- 77) Шильдеръ, III, 50.
- 78) Пыпинъ: „Общественное движеніе...“, 401.
- 79) Шильдеръ, III, 231.
- 80) См. выше, стр. 6.
- 81) Перечень этихъ указовъ есть у Пыпина („Общ. движеніе...“, 62—64) и у Шильдера (II, 16—19).
- 82) Погодинъ: „Н. М. Карамзинъ, по его сочиненіямъ, письмамъ и отзывамъ современниковъ“, I, 325.
- 83) См. выше, стр. 34.
- 84) Сентябрьское письмо изъ Лондона. (Сочин. Карамз. II, 778).
- 85) „Н. М. Карамзинъ...“, I, 326.
- 86) „Карамзинъ, какъ историкъ“. Рѣчь, читанная въ торжественномъ собраніи С.-Петербургскаго университета 2-го дек. 1866 г.—Впослѣдствіи эта рѣчь вошла въ составъ книги того же автора: „Біографіи и характеристики“. Спб. 1882.
- 87) См. выпускъ I, 118.
- 88) „Н. М. Карамзинъ...“, 326.
- 89) „Общественное движеніе...“, 211.
- 90) „Н. М. Карамзинъ...“, I, 327.
- 91) См. выпускъ I, 217—218.
- 92) Письма эти собраны въ книгѣ Погодина, I, 382—388.
- 93) Въ статьѣ: „Карамзинъ, какъ оптимистъ“. (Отеч. Записки 1858 г. № 1).
- 94) См. выпускъ I, 218.
- 95) „De senectute“ (О старости).
- 96) Мысли эти собраны въ III-мъ т. Смирдинскаго изд. соч. Карамзина. подъ заглавіемъ: „Нѣсколько мыслей“ (стр. 703—704).
- 97) См. выпускъ I, ст. о повѣсти: „Наталья, боярская дочь“.
- 98) Едва ли можно согласиться съ Милюковымъ („Главныя теченія русской исторической мысли“, Русск. Мысль, 1894, январь, стр. 54), будто слова эти относятся не къ Исторіи, а къ Пантеону иностранной словесности. Сомнительно, чтобы Карамзинъ мечталъ, хотя и робко, объ этомъ сборникѣ, какъ о „памятникѣ для потомства“.
- 99) Погодинъ: „Н. М. Карамзинъ...“, II, 17, и Дмитріевъ: „Взглядъ на мою жизнь“, 82.
- 100) „Главныя теченія русской исторической мысли“. („Русск. Мысль“ 1894, январь, май и д.
- 101) „Н. М. Карамзинъ...“, II, 27.
- 102) Пыпина, Пятковского, Милюкова, Иванова (автора статьи: „Исторія русской критики“).
- 103) Милюковъ, Русск. Мысль, май, 106.
- 104) Сочин. В. А. Жуковскаго, I, 306—307, изд. 7-ое, 1878 г.
- 105) В. Л. Пушкина, дяди знаменитаго поэта.
- 106) Въ письмѣ къ Дмитріеву отъ 26 ноября 1812 г. (См. академич. изд. „Писемъ Н. М. Карамзина къ Дмитріеву“).
- 107) Въ п. къ нему же отъ 28 октября.
- 108) Въ п. къ нему же отъ 26 ноября.
- 109) Въ п. къ нему же отъ 18 декабря.
- 110) Въ статьѣ: „О письмахъ Карамзина“, тоже помѣщенной въ „Торжественномъ собраніи Императ. Ак. Наукъ 1-го дек. 1866 г.“, стр. 67—69).

⁸⁹⁾ См. выше, стр. 8—9.

⁹⁰⁾ „Н. М. Карамзинъ...“, II, 76—77.

⁹¹⁾ См. у Надлера, I, 97 и у Шильдера, III, 64.

⁹²⁾ Погодинъ: „Н. М. Карамзинъ...“, II, 112—113.

⁹³⁾ Катерины Ѳеодоровны. Муравьевъ умеръ 1807 г.

⁹⁴⁾ „Письма Карамзина къ супругѣ (1816 г.)“ собраны въ книгѣ „Неизданныя сочиненія и переписка Н. М. Карамзина“, ч. I. Тутъ же помѣщена и „Переписка съ императоромъ Александромъ I (1822—25 г.)“ и переписка съ имп. Елисаветой Алексѣевной, съ в. кн. Екатериной Павловной и съ имп. Николаемъ I.

⁹⁵⁾ Въ письмѣ къ Тургеневу отъ 30 марта.

⁹⁶⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, 239.

⁹⁷⁾ Т.-е. у вдовствующей импер. Маріи Ѳеодоровны.

⁹⁸⁾ Алексѣй Ѳеодоровичъ Малиновскій, членъ многихъ ученыхъ обществъ, извѣстенъ между прочимъ своимъ „Собраніемъ россійскихъ государственныхъ грамотъ“.

⁹⁹⁾ Въ той же статьѣ: „О письмахъ Карамзина“.

¹⁰⁰⁾ Тамъ же.

¹⁰¹⁾ Въ Царскомъ селѣ Карамзинъ жилъ въ Китайскомъ домикѣ, или вѣрнѣе—въ двухъ домикахъ, такъ какъ кабинетъ его находился въ отдѣльномъ флигелѣ.

¹⁰²⁾ Въ сдѣланной 18 дек. 1825 г. припискѣ къ „Мнѣнію русскаго гражданина“, о которомъ рѣчь идетъ у насъ ниже.

¹⁰³⁾ Гурьевъ—тогдашній министръ финансовъ.

¹⁰⁴⁾ При Шишковѣ.

¹⁰⁵⁾ Въ той же статьѣ: „О письмахъ Карамзина“.

¹⁰⁶⁾ Выписана изъ книги „Неизданныя сочиненія и переписка Н. М. Карамзина“, ч. I.

¹⁰⁷⁾ „Общественное движеніе...“, 401.

¹⁰⁸⁾ Приписка помѣщена въ той же книгѣ: „Неизданныя сочиненія...“, ч. I. Часть приписки озаглавлена: „Для потомства“ (29 дек. 1819), а еще болѣе поздняя часть ея названа „Новымъ прибавленіемъ“ (18 дек. 1825).

¹⁰⁹⁾ Въ припискѣ (въ „Новомъ прибавленіи“) есть между прочимъ слѣдующія слова: „Правда, Россія удержала свои польскія области; но болѣе счастливыя обстоятельства, нежели мои слезныя убѣжденія, спасли Александра отъ дѣла равно бѣдственнаго и несправедливаго: по крайней мѣрѣ, такъ сказали онъ мнѣ въ ноябрѣ 1824 г.“

¹¹⁰⁾ Письмо государя къ Карамзину отъ 16 февр. 1825 г.

¹¹¹⁾ Письмо къ Дмитріеву отъ 19 марта 1825 г.

¹¹²⁾ Въ „Новомъ прибавленіи“ къ ней.

¹¹³⁾ См. письмо Карамзина къ государю, приведенное выше, на стр. 77.

¹¹⁴⁾ „Н. М. Карамзинъ...“, II.

¹¹⁵⁾ Съ 1820 г. Карамзинъ поручалъ Сербиновичу, тогда еще очень молодому человѣку, переводъ изъ латинскихъ и польскихъ писателей, болѣею частью о временахъ самозванцевъ и междуцарствія.

¹¹⁶⁾ Карамзинъ въ Петербургѣ жилъ сперва на Фонтанкѣ у Аничкова моста, въ домѣ Е. О. Муравьевой, а потомъ на Моховой ул., въ домѣ Межуева.

¹¹⁷⁾ Погодинъ: „Н. М. Карамзинъ...“, II, 157.

118) „Очеркъ дѣятельности и личности Карамзина“, 29.

119) „Неизданныя сочиненія...“, I, 9.

120) Погодинъ: „Н. М. Карамзинъ...“, II, 430—435.

121) Письма Карамзина къ бурмистру собраны у Погодина: „Н. М. Карамзинъ...“, II, 437 и далѣе.

122) А. П. Тургеневъ въ письмѣ къ своему брату Николаю называетъ братьевъ Карамзина: *frères lents*. (Русск. Архивъ 1895 г., № 9).

123) Оскаръ Лереръ: „Новѣйшая исторія“, изд. Маркса, Сиб., т. IV, 148.

124) Тамъ же.

125) Въ статьѣ: „Паденіе Швейцаріи“.

126) „Ист. рус. словесности“, II, 38 (изд. 1880 г.).

127) См. письмо Мелодора къ Филалету (вып. I, 191).

128) См. выше, стр. 5.

129) Шильдеръ, II, 58 и 60.

130) Государемъ былъ уже подписанъ рескриптъ къ гр. Завадовскому о составленіи полного и методическаго собранія гражданскихъ законовъ.

131) Упомянутое о „Герцехоринныхъ группахъ“ и вообще вся эта рѣчь Карамзина о „безразсудной, разорительной роскоши“ дворянъ того времени заставлятъ вспомнить слѣдующіе стихи изъ монолога Чацкаго:

Или вонъ тотъ еще, который для затѣй,
На крѣпостной балетъ согналъ на многихъ фурахъ
Отъ матерей, отцовъ отторженныхъ дѣтей?
Самъ погруженъ умомъ въ зефирахъ и амурахъ,
Заставилъ всю Москву дивиться ихъ красѣ;
Но должниковъ не согласилъ къ отсрочкѣ;
Амуры и зефиры всѣ
Распроданы по одиночкѣ!

132) См. выше, главу I, отд. 4, б.

133) Мѣсто это приведено въ переводѣ Шникова и взято изъ „Ист. рус. словесности“ Галахова, II, 130.

134) „Вѣстн. Европы“ 1802 г., № 19, въ отдѣлѣ „Извѣстій и замѣчаній“.

135) Пятковский: „Изъ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развитія“, II, 89—90.

136) Тамъ же, 94—96.

137) См. выше, стр. 93.

138) См. выше, стр. 45—46.

139) См. выпускъ I, 194.

140) Относительно этого вывода мы должны сдѣлать слѣдующую оговорку. Въ „Письмѣ сельскаго жителя“ есть слова: „главное право русскаго дворянина—быть помѣщикомъ“. Если на нихъ смотрѣть, какъ на гордое и настойчивое требованіе сохранить за дворянами это право навсегда,—то въ такомъ случаѣ авторъ „Письма“ окажется принципиальнымъ и рѣшительнымъ врагомъ освобожденія. Но такому толкованію мѣшаютъ многія другія выраженія въ „Письмѣ“, напр. признаніе „системы мудрыхъ англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ головъ“ *хорошей*; далѣе: совѣтъ законодателью не совершенно устранять либеральныхъ мѣръ, а только лишь *не обламывать* время; наконецъ выраженіе увѣренности, что просвѣщеніе со временемъ сдѣлаетъ все *хорошее возможнымъ*. На этомъ основаніи мы слова Карамзина: „главное право русскаго дворянина—быть помѣщикомъ“ толкуемъ не въ

смыслъ требованія сохранить это право навсегда, а лишь въ смыслъ просто-го констатированія наличнаго факта—и потому выводимъ, что Карамзинъ, какъ авторъ „Письма сельскаго жителя“ не былъ безусловнымъ врагомъ освобожденія, но крайней мѣрѣ не отрицалъ его возможности въ будущемъ. Въ „Запискѣ о древней и новой Россіи“ онъ высказался противъ освобожденія гораздо сильнѣе.

Для сопоставленія приведемъ мнѣніе Пушкина о крестьянскомъ вопросѣ, выраженное имъ въ 1834 г. въ статьѣ: „Мысли на дорогѣ“. „Судьба крестьянина“—говоритъ Пушкинъ,—улучшается со дня на день, но мѣрѣ распространенія просвѣщенія. Избави меня Боже быть поборникомъ и проповѣдникомъ рабства; и говорю только, что благосостояніе крестьянъ тѣсно связано съ пользою помѣщиковъ,—и это очевидно для всякаго. Злоупотребленія встрѣчаются вездѣ. Конечно, должны еще произойти великія перемѣны, но не должно торопить времени, и безъ того уже довольно дѣятельнаго. Лучшія и прочи́йшія измѣненія суть тѣ, которыя происходятъ отъ одного улучшенія нравовъ, безъ насильственныхъ потрясеній политическихъ, страшныхъ для человѣчества...“ (Сочин. А. С. Пушкина. изд. общ. для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ т. V, стр. 240).

¹⁴¹⁾ Пышинъ: „Общественное движеніе...“, 396—397.

¹⁴²⁾ „Исторія рус. словесности“ Галахова, II, 58.

¹⁴³⁾ „Н. М. Карамзинъ...“, II, 5.

¹⁴⁴⁾ См. выпускъ I, 156.

¹⁴⁵⁾ Въ письмѣ: „Въ каретѣ дорогою“ точно такъ же выразился русскій путешественникъ о швейцарцахъ. (См. вып. I. 152).

¹⁴⁶⁾ „Исторія государства Россійскаго“, т. VI, стр. 133—139. Изд. Смирдина, 1852 г.

¹⁴⁷⁾ Тамъ же, стр. 24—50 и 99—133.

¹⁴⁸⁾ Сочин. Карамзина, III, 189.

¹⁴⁹⁾ „Карамзинъ, какъ историкъ“, отдѣльный оттискъ 1866 г., стр. 13.

¹⁵⁰⁾ „Ист. госуд. Россійскаго“, VI, 138—139.

¹⁵¹⁾ „Н. М. Карамзинъ...“, II, 15.

¹⁵²⁾ См. выпускъ I, 5—11.

¹⁵³⁾ Тамъ же, стр. 11.

¹⁵⁴⁾ Подобное выраженіе есть, но не у трагика, а у комика Эпихарма: τῶν πάντων πωλῦσις ἡμῖν πάντα τ' ἀγαθ' οἱ θεοί.

¹⁵⁵⁾ См. выпускъ I, 120.

¹⁵⁶⁾ „Очеркъ дѣятельности и личности Карамзина“, стр. 24.

¹⁵⁷⁾ Тамъ же, стр. 40.

¹⁵⁸⁾ „Изъ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развитія“, II, 49.

¹⁵⁹⁾ См. выше, стр. 126.

¹⁶⁰⁾ Сочин. Карамзина, II, 511—512.

¹⁶¹⁾ „Н. М. Карамзинъ...“, II, 22—24.

¹⁶²⁾ Тамъ же, II, 24—26, 29 и 31.

¹⁶³⁾ Въ статьѣ: „Карамзинъ, какъ историкъ“.

¹⁶⁴⁾ Онъ изложенъ въ статьѣ, упомянутой у насъ въ 78-мъ примѣчаніи.

¹⁶⁵⁾ Русская Мысль, январь, 51—52.

¹⁶⁶⁾ Тамъ же, 59—60.

¹⁶⁷⁾ Тамъ же, май, 116—122.

¹⁶⁸⁾ Тамъ же, 127.

- 169) Эти слова Соловьева, равно какъ и приводимыя нами далѣе, мы приводимъ по Кояловичу („Исторія русскаго самосознанія“, 189—190), который беретъ ихъ изъ Москов. университ. извѣстій 1866—7 г., № 3, стр. 179 и 183—4.
- 170) „Ист. гос. Росс.“, изд. Смирдина (6-ое), т. II, 27—28.
- 171) Тамъ же, III, 32—33.
- 172) Тамъ же, III, 141.
- 173) Тамъ же, IV, 232.
- 174) Тамъ же, IV, 244.
- 175) Тамъ же, IV, 218—219.
- 176) Тамъ же, IV, 258.
- 177) Тамъ же, V, 8.
- 178) Тамъ же, V, 110.
- 179) Тамъ же, V, 364—367 и 371, 373, 374.
- 180) Тамъ же, VII, 9.
- 181) Тамъ же, VII, 200—202.
- 182) Тамъ же, IX, 441.
- 183) Тамъ же, IX, 471—472.
- 184) Тамъ же, IX, 437.
- 185) Тамъ же, X, 222—223.
- 186) Тамъ же, IV, 244.
- 187) Тамъ же, IV, 244.
- 188) Тамъ же, IX, 439.
- 189) Тамъ же, X, 13.
- 190) Тамъ же, X, 118—120.
- 191) Тамъ же, XI, 179.
- 192) Тамъ же, XI, 217.
- 193) Тамъ же, VII, 7—8.
- 194) Тамъ же, III, 87.
- 195) Тамъ же, III, 32.
- 196) Тамъ же, IX, 100.
- 197) Тамъ же, III, 289—290.
- 198) „Н. М. Карамзинъ...“, II, 190—192.
- 199) „Исторія русскаго самосознанія“ Кояловича, 190—191.
- 200) „Карамзинъ, какъ историкъ“. (Отдѣльн. оттискъ 1866 г., стр. 30).
- 201) „Изъясненіе по Лаврентіевскому списку“ Изданіе Археографической комиссіи. Спб. 1872 г., стр. 66.
- 202) „Исторія гос. Росс.“, I, 176—177.
- 203) „Главныя теченія русской исторической мысли“, Русск. Мысль 1894 г., май, 109.
- 204) „Карамзинъ, какъ историкъ“, 2—3.
- 205) „Остатки автобіографіи“. Сочин. А. С. Пушкина, изд. общ. для по-собія нуждающимся литер. и ученымъ, т. V, 40. (Спб. 1887).
- 206) „Карамзинъ, какъ историкъ“, 16.
- 207) Пятое общедоступное изд. сочин. К. Н. Баглюшкова, стр. 438.
- 208) Тамъ же, 144. Стихотвореніе озаглавлено: „Н. М. Карамзину“.
- 209) „Карамзинъ, какъ историкъ“, 12—13.
- 210) Тамъ же, 14.
- 211) Погодинъ: „Н. М. Карамзинъ...“, II, 198—203.
- 212) Сочин. В. А. Жуковскаго, изд. 7-ое, 1878 г., т. III, 87.

- 213) Сочин. А. С. Пушкина, изд. общ. для пособія нужд. лит. и уч., V, 41.
- 214) Тамъ же, V, 304.
- 215) Напечатана въ „Русскомъ Архивѣ“ за 1870 г., стр. 2230—2350.— Впрочемъ, первая часть Записки была напечатана еще раньше — въ концѣ XII-го тома „Ист. гос. Росс.“, изд. Смирдина.
- 216) См. выпускъ I, стр. 25, 136—142 и 175—176.
- 217) Кояловичъ: „Исторія русскаго самосознанія“, 279.
- 218) Тамъ же, 358.
- 219) Тамъ же, 272—273.
- 220) Сочин. Карамзина, I, 330.
- 221) См. выше, стр. 37.
- 222) См. выше, стр. 172.
- 223) „Императоръ Александръ Первый“, II, 209—210.
- 224) Тамъ же, II, 227.
- 225) „Исторія русскаго самосознанія“, 191.
- 226) „Исторія рус. словесности“, ч. II, отдѣлъ 3-й, стр. 74. (Казань, 1891).
- 227) „Общественное движеніе...“, 233.
- 228) „Лекціи и изслѣдованія по исторіи русскаго права“ Спб. 1883, стр. 988.
- 229) Слова издателя Русскаго Архива. (См. его предисловіе къ Запискѣ).
- 230) Пыпинъ, Пятковский, Ивановъ.
- 231) „Жизнь Сперанскаго“, I, 141.
- 232) „Общественное движеніе...“, 235—236.
- 233) Въ статьѣ: „О новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи“.
- 234) См. выше, стр. 98.
- 235) Сочин. Карамзина, III, 343—344.
- 236) См. выше, стр. 115.
- 237) См. выше, стр. 116.
- 238) См. выше, стр. 219—220.
- 239) Подробности о дѣлѣ этихъ профессоровъ см. у Сухомлинова („Изслѣдованія и статьи...“, т. I, гл. VI.
- 240) См. выпускъ I, 155.
- 241) См. выше, стр. 189.
- 242) См. выше, стр. 208.
- 243) См. выше, стр. 189.
- 244) См. выпускъ I, 150—151.
- 245) См. на примѣръ, въ „Похвальномъ словѣ“ на стр. 45—46.
- 246) См. выше, стр. 203.
- 247) См. выше, стр. 148.
- 248) См. выше, стр. 152—153.
- 249) „Общественное движеніе...“, 187.
- 250) См. выше, стр. 199.
- 251) См. выше, стр. 199.
- 252) „Очеркъ дѣятельности и личности Карамзина“, 31.
- 253) См. выпускъ I, 261—262.
- 254) „Карамзинъ и его литературная дѣятельность“, 41. Цитата изъ Лавровскаго приведена нами по Гроту (стр. 100—101).
- 255) Отрывки эти приводимъ по Гроту (127—128).
- 256) „Систематическое собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго“, изд. Николая Зинченко, вып. III, стр. 5.

„ПЕТЕРБУРГСКИЙ УЧЕБНЫЙ МАГАЗИНЪ“

(Спб., Петерб. ст., Больш. пр., д. № 7)

въ числѣ многихъ другихъ имѣетъ на складѣ нижеслѣдующія книги:

- Барсовъ. Сборникъ статей по истолковательному и назидательному чтенію дѣяній св. Апостоловъ и Апокалипсиса Ц. 3 р.
- Вышеславцевъ, М. Анекдоты, изреченія и пословицы изъ жизни древняго міра. Ц. 20 к.
- Глазуновъ. Пять комич. пьесъ для дѣтскаго театра, съ рис. Ц. 80 к.
- Ерминъ, Н. Родныя Звѣзды. Для юнош. и народа чтеніе изъ произвед. лучшихъ нашихъ писателей. Ц. въ папкѣ 1 р.
- Ивановъ, Е. А. Средневѣковой замокъ и его обитатели въ эпоху процвѣтанія рыцарства. 2-е изд. съ рис. 75 к.
- Его-же. Средневѣковой городъ и его обитатели, съ 16 рис. 1895г. Ц. 75 к.
- Его-же. Средневѣковой монастырь и его обитатели, съ 26 рис. 1895 г. Ц. 1 р.
- Его-же. Средневѣковая деревня и ея обитатели, со мн. рис. Ц. 75 к.
- Его-же. Исторія среднихъ вѣковъ (курсъ систематическій). 3-е изд. 1899 г. Ц. 80 к.
- Его-же. Исторія древнихъ вѣковъ (курсъ систематическій). Иллюстрированное изданіе.
- Корытинъ. Обзоръ учебной литературы по ариметикѣ и геометріи съ объяснительной запиской о преподаваніи ариф. въ нач. школ. Ц. 1 р.
- Ливановъ, Н. Учебный курсъ теоріи словесности для среднихъ учебныхъ заведеній. 2-е изд. 1899 г. Ц. 1 р.
- Некрасовъ. Руководство къ Практическому курсу правописанія. Посobie для учителей и учительницъ 60 к.
- Раевскій, В. А. Записки по исторіи философіи. 2-е изд. 1893 года. Св. Синодомъ одоб. для духов. учеб. заведеній мужскихъ и женскихъ. Ц. 80 к.
- Рихтеръ, Е. Соціально-демократическія картины будущаго въ Германіи. Ц. 50 к.
- Смирновскій, П. Исторія русской литературы XIX вѣка. Первый выпускъ. Карамзинъ въ до-Александровскую эпоху. Ц. . 1 р. 25 к.
- Его-же. Исторія русской литературы XIX вѣка. Второй выпускъ. Карамзинъ въ Александровскую эпоху 1 р. 25 к.
- Тихоміровъ, П. Кафедра Новгородскихъ Святителей (30 жизнеописаній, съ 17 изображеніями). Ц. 1 р. 50 к.

ПОЛНЫЙ КУРСЪ КЛАССНАГО ЧТЕНІЯ

въ начальной школѣ состоитъ изъ нижеслѣдующихъ книгъ Н. Я. Некрасова: 1) **Азбука** совмѣстнаго обученія чтенію и письму Ц. 5 к. 2) **Послѣ азбуки** первая книга для класснаго и домашняго чтенія. Ц. 15 к. 3) **Послѣ азбуки** вторая книга для класснаго и домашняго чтенія. Ц. 35 к. 4) **Послѣ азбуки** третья книга для класснаго и домашняго чтенія Ц. 35 к. и 5) **Домашнее чтеніе**. Книга для самостоятельныхъ занятій ученикамъ старшаго отдѣленія начальной школы. Ц. 25 к.

НОВЫЯ КНИГИ,
поступившія въ продажу въ „ПЕТЕРБУРГСКОМЪ УЧЕБНОМЪ МАГАЗИНѢ“
(С.-Петербургъ, Петербургская Стор., Большой пр., № 7).

1. П. Смирновскій.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ девятнадцатаго вѣка.

Выпускъ I. Карамзинъ въ до-Александровскую эпоху. Ц. 1 р. 25 к.

Выпускъ II. Карамзинъ въ Александровскую эпоху. Ц. 1 р. 25 к.

Выпускъ III. Консерваторы и либералы Александровской эпохи (печатается).

2. Н. Гераховъ.

ХРЕСТОМАТІЯ по исторіи русской словесности.

I. Образцы народной словесности. II. Памятники древне-русской словесности (XI—XV вв.) съ историческими, литературными и грамматическими объясненіями и со словаремъ. Ц. 2 р.

3. Его - же.

СБОРНИКЪ ОБРАЗЦОВЪ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ для заучиванья наизусть и выразительнаго чтенія. Ц. 1 р. 25 к.

4. А. Бардовскій.

ЧТЕНІЕ О „ЗАПИСКАХЪ ОХОТНИКА“ И. С. ТУРГЕНЕВА.

(Читано 21 Декабря 1897 г. въ С.-Петербургѣ, въ Александринскомъ театрѣ, для учениковъ старшихъ классовъ гимназій и реальныхъ училищъ и для ученицъ 8-го класса женскихъ гимназій). Ц. 35 к.

5. Н. Ливановъ.

УЧЕБНЫЙ КУРСЪ **ТЕОРИИ СЛОВЕСНОСТИ** для среднихъ учебныхъ заведеній,

2-е изд. Ц. 1 р.

6. К. А. Ивановъ.

ИСТОРИЯ ДРЕВНИХЪ ВѢКОВЪ (курсъ систематическій).

Иллюстрированное 37 рис. изданіе (печатается).

7. В. Раевскій.

ЗАПИСКИ ПО ПРЕДМЕТУ НАЧАЛЬНЫХЪ ОСНОВАНІЙ и краткой исторіи философіи. 2-е изд. Ц. 80 к.

Учебнымъ Ком. при Св. Синодѣ книга эта одобрена къ употребленію въ духовныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго пособия.

8. Ладыженскій и Орелкинъ.

БЕСѢДЫ ПО ВОПРОСАМЪ ВОСПИТАНІЯ И ОБУЧЕНІЯ въ народной школѣ. Ц. 75 к.



2007041274